



Леонид Машинский

Беги и смотри

Леонид Александрович Машинский

Беги и смотри

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29822718

SelfPub; 2018

Аннотация

Каждый человек проживает множество жизней во сне и наяву, но все эти жизни более или менее параллельны. Сможет ли человек, не умирая, покинуть свои привычные рельсы, пойти по перпендикуляру, вылупиться из собственной плоскости? Попытке ответа на этот вопрос посвящён роман.

Реальность

«Если попытаемся мы сказать тебе слово - не тяжело ли будет тебе...»

Иов 4,2.

Я давно это понял. Я давно понял, что надо бежать. Но любовь держала меня, держала в своих цепких объятиях. Я столько раз говорил ей, что люблю её, я так просил её быть моей, уйти со мной. Но теперь я остаюсь там же, где был и неделю, и месяц, и год назад. Моё бегство откладывается. По уважительным причинам. Только сам я не уважаю эти причины. Любой другой сказал бы, что ничего не поделаешь, надо ждать и терпеть, а возможно, только терпеть. Что ещё остается?

Я попал в западню. Вернее, может быть, я всегда был в западне? Я в ней родился, в ней вырос... Но почему раньше я этого не чувствовал? Детство похоже на розовые очки, но краска на стёклах выгорает, сами стёкла становятся мутными. Я многое понял, или мне казалось, что я многое понял. Но то, что началось, никак не хотело приходить хоть к какому-нибудь пристойному драматическому финалу.

О, если бы я сам что-нибудь понимал! Застаёшь себя среди разорённой квартиры, и даже не можешь понять, ночь или день. И не можешь вспомнить, пил ли ты вчера, и если пил,

то с кем. Может это были наркотики? Может, это виновата болезнь? Эпилепсия?

Но через некоторое время всё встаёт на свои места. Понимаешь, что ночь, что за окном горит фонарь, шумят деревья, где-то проезжает машина. Эта реальность похожа на ту, которую ты помнишь с детства. Только и всего. Нет никаких доказательств, что это – единственная возможная реальность.

У меня что-то накапливается в груди, не то боль, не то духота. Может быть, у меня туберкулёз или ещё что-нибудь похуже. Мне хочется кричать, но, во-первых, я не знаю, к кому я мог бы обратиться со своим криком, во-вторых, я боюсь разбудить кого-то невидимого. Зачем? Зачем мне будить его? Что я ему скажу? Чем то, что я ему скажу, лучше сна, которым он забылся? На самом деле, я вообще не знаю, что хочу сказать.

Утро приходит без особых сюрпризов. То, что я не знаю, где я проснулся, давно перестало меня волновать. Всегда что-то меняется. День сменяет ночь, весна – зиму, и т.д. Что в этом удивительного? Человек бодрствует и видит сны. Многие склонны чётко различать эти состояния. Но мне кажется, нет никакой грани, что бы как-то различить между собой наши ночные и дневные грёзы. В равной степени и то, и другое является иллюзией. В равной степени и то, и другое иллюзией не является.

Нет, ориентиры не утеряны вовсе. Можно встать с посте-

ли, можно даже убрать постель. Можно сделать зарядку, почистить зубы, принять душ. Я не знаю, есть ли здесь холодильник и есть ли что-нибудь в нём, но если в нём всё-таки что-нибудь есть, можно позавтракать.

В конце концов, чашка крепкого кофе создаст иллюзию трезвости. Некоторые, как говорят, страдают алкоголизмом и наркоманией, но мне кажется, что это такие же иллюзии, как и всё прочее. Просто когда иллюзии становятся несколько проще, человек отдыхает. Может быть, именно поэтому он так склонен оглушать себя какими-то странными жидкостями и дымами?

Я вот даже не помню, курю я или нет. Курил ли я когда-нибудь? Вспоминаются почему-то белые акации, плывущие мимо поезда на повороте, и запах дыма. Тепловозного, а отнюдь не табачного.

Я влип. Любовь? Да – эта будет покруче всех иллюзий. Может это не иллюзия? Или – это та единственная иллюзия, за которую мне хотелось бы уцепиться? Но я ощущаю смутную опасность. Я не знаю, что такое жизнь, но всё-таки хочу жить. Любовь угрожает моей жизни. Или жизнь, или любовь.

В холодильнике есть колбаса, и это ненадолго прерывает поток философских прозрений, только что безостановочно мелькавших в моей голове. Я жую, и у меня хрустит в висках. Я вспоминаю, не могу не вспомнить, что у меня в зубах дупла. Может, это и есть реальность?

Всё-таки процесс насыщения, впрочем, как и противопо-

ложный ему процесс очень успокаивает. Под полуприкрытыми веками начинает смутно брезжить что-то хорошее, что-то такое, что якобы может вот-вот произойти. И неправда, что ничего такого никогда не происходит.

Самое главное – вспомнить куда и зачем я должен идти. Но вместо этого, я вспоминаю Юнга и его теорию о подвешенном человеке. Я вероятно являюсь идеальным случаем подвешенного человека. Только вот – кто и на чём меня подвесил? Почему-то я представляюсь сам себе болтающимся на каком-то неуклюжем, но мощном кронштейне, торчащем из давно не крашенной, когда-то жёлтой, стены неуютного малооконного дома. У меня под ногами этажей пять, а то и восемь зияющей пустоты. Я одет в какой-то старый, но ещё прочный, почти бесцветный плащ, и кронштейн пропущен сзади мне под воротник. Очень неудобно – грубое железо упирается в затылок, кровь приливает к болтающимся без опоры рукам и ногам. А сам я вынужден смотреть только вниз и никогда в небо, и лишь боковым взором я замечаю скитающихся по небу голубей.

Пока я воображал себе такое состояние, моё тело привычно выполняло нехитрые утренние ритуалы. Вот я уже почти одет, но присел на заправленную кровать. В руках у меня кепка, она-то и сбила меня с толку. Я её было надел, а потом, почувствовав что-то непривычное на голове, снял, и теперь озадачился вопросом: давно ли я последний раз ходил в кепке? Этот вопрос вызвал у меня ступор. Я чуть было опять ни

завалился на постель и ни уснул. Новая реальность отличалась от того, что я мог себе вообразить. Вот – эта кепка...

Уверенность в том, что состоишь из атомов, вовсе не делает тебя прочнее. Знание о том, что за пределами земной атмосферы почти абсолютный вакуум, не добавляет нам плотности. Если мне хочется выбраться из этого странного киселя, то почему я из него не выбираюсь?

Собственно, кто и что мне обещал? Почему я ещё питаю какие-то надежды? Скажем так: что-то продолжается, некое действие. Условно назовём это жизнью. Хотя бы условно. Раз так, то что-то, хотя бы чуть-чуть этого чего-то, есть впереди. Я ведь вот сейчас вроде бы сижу и не умираю, и время идёт. Значит – почему бы не иметь надежды, что что-то изменится. Даже наверняка что-то изменится. Например, после этого дня опять настанет ночь. Вот, если подойти к окну и достаточно долго смотреть, то наверняка увидишь какую-нибудь птицу или прохожего. Есть повод надеяться. Может быть, нельзя надеяться на то, что что-то переменится в голове у другого человека? Но разве у меня в голове никогда ничего не меняется?

Этот вопрос оказался опасным, он опять заставил меня замереть у окна в нелепой позе. Вдруг мне представилось, что в каком-то смысле я могу быть подобен картине, вот этому неотчётливому отражению в неровном стекле. Вот эта ослабленная, как бы куда-то улетающая физиономия. Невесомость. Может быть, если выпустить кепку из рук, она не упа-

дёт? Я выпускаю. Кепка падает. Как хороша реальность! Или то, что называется реальностью.

Вот я уже совсем одет. Кепка как кепка. На улице ветер и, вероятно, осень. Ветер срывает с тонких берёз последние, закрученные в воронки, листья. Пахнет тонкой пожухшей опалю и сухим морозцем. Хорошо, оказывается, что что-то у меня есть на голове, хотя бы эта кепка. Но уши мерзнут.

В городе – а это несомненно город – почти пусто. Подозрительно пусто. Может быть, в этот день они поскупились на декорации? Может быть, актёры ушли в отпуск? Я хотел бы пойти туда, куда идёт большинство. Но на улице нет большинства.

Трамвай. Уже останавливается. Я бегу к нему. Очень хорошо, что пришёл трамвай, уж он-то наверняка куда-нибудь меня отвезёт. Если ты не очень знаешь, куда и зачем тебе ехать, не спрашивай об этом у случайного встречного. В лучшем случае он примет тебя за сумасшедшего. Дорога сама подскажет, куда она ведёт. Чем ближе к её концу, тем виднее.

Сострадание

*«Да не допустят Будды, являя силу своей милости,
чтобы меня обуяли в Бардо страх, ужас и трепет...»*

Бардо Тёдол

Существует ли смерть? Это наверно самый идиотский во-

прос из всех, какие вообще кто-нибудь кому-нибудь мог бы задать.

Если я умру, что со мной произойдёт? Может ли со мной ничего не происходить?

Я сую руку в карман, и обнаруживаю там деньги. Деньги – это тоже реальность. Можно, например, заплатить за билет. Деньги гарантируют тебе хоть какое-то общение, конечно, при условии, что поблизости найдётся ещё хотя бы один человек. А если этот человек будет сумасшедшим? Если он не понимает, что такое деньги?

Я кажусь себе совершенно глупым. Это неудобно. Я должен сказать что-то умное. Я должен? Мне хочется плакать. Я стыжусь. Может, меня кто-нибудь пожалеет? Но на что, собственно, мне жаловаться?

Я смотрю за окно. Солнце. Солнце само по себе прекрасно. Я улыбаюсь. Это не деланная улыбка, или почти не деланная. А что, в конце концов, если не солнце, способно вызывать у меня улыбку? Мороз и солнце... Только снега нет.

Я приехал. Конечная станция. Отсюда ходят электрички. Куда-то. Может быть, это мой шанс сбежать из города? Но куда и для чего я должен бежать? Что я там буду делать? Где – там?

Я ведь всё это знаю. Я только притворяюсь, что не знаю. Не может быть иначе, я знаю. Опять вспоминаю её. Может быть, я должен ехать к ней? Наверняка должен. Боль. Опять будет больно. Может быть, я наконец проснусь?

Как хочется спать. Это солнце заставляет слипаться мои ресницы. Никогда я не чувствовал себя более бессильным. Что я могу? Повернуть время? Изменить себя? *Её*? Всё, что она говорит, кажется мне неправдоподобным. Все чувства, о которых она сообщает, кажутся мне ненастоящими, её чувства. А мои чувства – настоящие? Может быть я вообще не испытываю никаких чувств? Может быть, это всё только блики на воде? Или – более осязаемо – упавшие в воду, уже мёртвые листья. Они разлагаются, становятся чёрной водой, от них вода чернеет, приобретает свой характерный весенний цвет.

Ты будешь мне, в конце концов, отвечать или нет? Это я у тебя спрашиваю? Это я пытаю тебя, свою душу? Будешь говорить? Только от этого не легче. Всё – как во сне. Хочешь убежать – изо всех сил стараешься. Но какой-то неведомый режиссер включил предательский рапид. Хорошо ещё, если и для преследователя – те же правила игры. Но он нагоняет – ой, нагоняет! Бьёшь врага по лицу, а рука ватная – словно у тебя и нет руки. Может, и нет никаких рук? Как у того парня, который стоит в переходе между станциями «Охотный ряд» и «Театральная»?

Говоришь. Но это какие-то – вот такие же бессмысленные слова. И я вынужден признать, что мои слова ничуть не лучше. Они даже хуже. Ведь ты сильнее – ты не любишь меня, а я тебя люблю.

Можно вычислить, когда это начало происходить. Но мог-

ло ли это не начаться? Есть большой соблазн наивно полагать, что чего-то могло не быть. Может быть, это от большого желания, чтобы чего-то не было? А как же жить? Может, мы хотим умереть? Не хотим мучиться?

Опять я чувствую себя последним глупцом. Сажусь в электричку. Еду. Кажется, я забыл купить билет. Нет, купил. Билет – это тоже реальность.

Когда реальность ускользает из рук, помогают бумаги – деньги, билеты, документы... Я судорожно нащупываю паспорт у себя на груди, во внутреннем кармане плаща. Велик соблазн – вынуть его и убедиться, моя ли там фотография. Но я не хочу расстраиваться – вдруг не моя? Но всё же какой-то паспорт есть. Поехали. За окном начинает мелькать реальность.

Ты, может быть, не любишь меня. Но я тебя люблю. Добавляет ли это реальности? Если бы я мог хотя бы дотронуться до тебя, безнаказанно коснуться. Почему я тебя боюсь? Боюсь, что ты исчезнешь? Но тебя и так нет. Мне нечего терять. Разговаривать с тобой – это всё равно, что разговаривать с эхом. Может я брежу – веду разговор сам с собой? Но почему же, в таком случае, я не могу ответить самому себе «да»? Хреновый из меня гермафродит!

Бегу, бегу, бегу... Куда? За границу? Да нет никаких границ – кончились все. Стёрли их ластиком. Включить телевизор и увидеть другие страны. Телевизор придумали, другие страны тоже придумали. Нет никаких других стран. Дру-

гие страны существуют только в моей голове. Я – абсолютный идеалист, солипсист... Может быть, ты тоже существуешь только у меня в голове? Но отчего же ты тогда болишь? Это голова болит. Всё понятно.

Понятно, и я почти счастлив. Я смотрю в окно. Главное вовремя себе всё объяснить. Вот было бы потеплее – поднял бы стекло и высунул бы голову наружу, чтобы её там обдуло свежим ветром. Вероятность того, что реальность является реальностью – совсем невелика. Вероятность того, что вообще существует какая-то вероятность...

Я слабый, ничтожный, глупый, ещё раз глупый. Я ничего не могу, я исчезаю. Я неспособен победить, я не знаю пути к победе. Может быть, я даже его знаю, но не умею по нему идти. Нет у меня способности – бесталанен я.

Хорошо, что рельсы не очень петляют. Хорошо, что я не держусь за руль – мне бы наверняка захотелось повернуть вбок, потом ещё вбок. В конце концов я бы обязательно сверзнулся в кювет или бы врезался в дерево. Дерево жалко. Вот – пожалел. Как всегда.

Я устаю от самого себя. Я хочу уснуть. Я закрываю глаза. Мне жалко того, что я уже не смотрю в окно. Мне жалко того, что за окном. Ко всему, что за окном, я способен испытывать сострадание. Значит, не так уж я и бесталанен...

«Трагедия есть подражание действию важному и законченному...»

Аристотель

Есть такие люди, которые только и делают, что выдумывают сюжеты, один глупее другого. Хороший сюжет выдумать трудно, почти невозможно, поэтому выдумывают плохие. Но публика непритязательна. В сущности – всё, чего она хочет, это иллюзии времени, т.е. чтобы у неё создалось впечатление, что нечто происходит, именно нечто, а не что-то. Слишком осязаемая, слишком грубая реальность больно ранит воображение. Колыбельная должна быть пропета тихо.

Я хочу колыбельную! Почему мне никто не поёт колыбельную? Или это я вру, что хочу? То хочу, то не хочу. Вот сейчас хочу. И уже сплю. Уже сплю, значит не хочу. Пульсирующее желание. Неустойчивый дефект – самый трудноустраняемый дефект в любой технике. Я – техника на грани фантастики. Я мужчина на грани нервного срыва. Может быть, я вообще не мужчина? С чего я взял, что я мужчина?

Но вам нужен сюжет? Вот сейчас, сейчас... Сейчас уже начнётся.

Война

«Но вдруг неожиданно воздух надулся

И вылетел в небо, горяч и горюч...»

Д. Хармс

В соседней комнате взорвалась какая-то петарда. Но я тут же понял, что это не петарда, а шашка с ядовитым газом. Часть стены обвалилась, и в пролом начал вползать дым. Я взял тебя за руку, и мы побежали. Не помню, что я говорил тебе. Слова не были важны – ты и так понимала меня. Нам нужно было спастись. Здесь было слишком опасно, уже скоро можно было умереть.

Мы выбежали первыми. Я словно предчувствовал это наваждение. Люди за нами тянулись как-то медленно, как и преследующий их дым. Может быть, это уже сказывалось действие яда? Ты приотстала. Вероятно неторопливость всех остальных вызвала у тебя сомнения. Может быть, ты что-то забыла там?

И тут я узнал тебя. Ты не была моей женой. Ты была той, другой, от которой я терпел боль. Но это была ты, никакой другой не было. Я увидел твои пронзительные зелёные глаза, вернулся к тебе, схватил тебя за руку и потащил за собой.

Мы работали с тобой на каком-то совместном предприятии, или, может быть, это была американская база под Москвой. Теперь нас расстреливали, началась война, большая или маленькая. Пора было уносить ноги.

Мы не то, чтобы бежали очень скоро, но мы были первыми. Остальные участники «забега» как-то уж очень расслаб-

лено растянулись по «беговой дорожке».

Я увидел в небе самолёт, он летел кого-то бомбить. Может быть, нас. Мы побежали быстрее. Ты, слава Богу, вышла из ступора и окончательно убедилась, что здесь нам оставаться очень нежелательно.

Асфальт был мокрым от росы. Поздний вечер, или очень раннее утро. Сумерки. Я не мог различить, какая сторона неба светлее. Слышался вой и дальние разрывы. Мы выбежали за ворота. На вахте не было никакой охраны. Их то ли убили, то ли они поддались всеобщей панике. Ворота были распахнуты, вернее, раздвинуты настежь.

Шоссе. Пусто. Сразу за шоссе – лес. Ни одной попутной машины, вообще ничего. Да и куда нам с кем по пути? Мы бежали пока ни выбились из сил. Я конечно выбился первым. Я предложил свернуть в лес. В лесу было сухо, мы сели на травяные кочки под соснами. Я долго сглатывал липкую слюну. Ты молчала. Я боялся выпустить твою руку. Тебе, должно быть, было противно. Ты молчала.

– Куда мы пойдём? – спросил я.

То же самое с тем же самым успехом могла бы спросить у меня и ты.

– А куда мы можем пойти? – спросила ты.

То же самое с тем же успехом мог бы спросить и я.

Бежать в Сибирь? Лучше всего в Сибирь. Сибирь большая, там холодно. Немногие польстятся, нескоро польстятся. Может, оставят нас в покое?

– Где мы будем жить? – спросила ты.

Я не знал, что ответить, наконец, пошутил:

– Построим здесь шалаш и будем жить. Или нет, отойдём чуть подальше, совсем далеко, и построим там шалаш, и опять-таки будем жить.

Ты кивнула. Я бы тоже на твоём месте кивнул. Что ещё остаётся? Только жить в шалаше. Это самое лучшее. Только мил ли я тебе? Вот не знаю. Мил ли я самому себе? Самолёты вроде стихли. Может, выйдем на шоссе?

– Может, будет ядерная война? – спросила ты.

– Да, может, будет ядерная война? – спросил я.

Оба мы посмотрели на небо сквозь ажурные ветки. Светлело. Значит всё-таки утро.

– А где мы находимся? – спросил я.

Ты удивлённо посмотрела на меня.

– Вероятно, в лесу, – ответила ты.

Я кивнул.

– Будем выбираться, – сказал я.

Ты кивнула.

– Есть хочется, – сказал я.

Ты кивнула.

Мы уже на шоссе. Мы поймали машину. Какую-то легко-ушку не первой свежести, фиолетовую. Денег у меня нет, а впрочем, есть. Но не так много. Мы доехали до Москвы. В Москве не было войны. Мы расплатились с шофёром и сели в метро.

– К тебе? – спросила ты.

– Ко мне? – спросил я.

Бегство

«Великие полководцы, превозносившие твоё имя и славу, будут думать, что лишь из страха ты покинул поле боя...»

Бхагавад-Гита

Тут приходится разбираться, где я нахожусь. Я прихожу к себе домой и обнаруживаю там тебя. Не только тебя, но и ещё двух мужчин. Эти мужчины мне не нравятся, они ко мне очень плохо относятся. Наверно, это какие-то бандиты или правительственные чиновники, или ещё какая-нибудь сволочь... Какое отношение к ним имеешь ты?

Они говорят мне, что я всё равно не убегу! Они не убивают меня прямо сейчас не потому, что не хотят, а потому, что уверены, что я никуда не смогу деться.

Наверно, они думают, что я не уйду без тебя. Но я же вижу, что ты с ними. Останусь – и погибну у тебя на глазах, возможно бесславно. Лучше всё-таки попробовать убежать. Здесь уж точно нет никаких надежд. Конечно лучше было бы взять тебя с собой...

Последний раз предлагаю, протягиваю тебе руку. Ты смотришь как-то странно, ты почему-то не можешь. Я не понимаю. Вот – всегда так. Они что, тебя завербовали? Ты от

них зависишь? Или ты любишь кого-то из них? Например, вот этого потного мужлана? Ну что ж, не слишком плохой выбор. Я бегу, гигантскими шагами соскакиваю с лестницы.

В самом деле, что за идиотская уверенность у этих людей, что я не уйду?! Остаться? Ну оставайтесь. Даже ты – ты! – захотела остаться. Неужели в самом деле всё так безнадежно? Да нет, это гипноз, глупость! Мир ещё велик, в нём есть куда скрыться. Та же Сибирь...

Я подошёл к выходу со двора. Вот сейчас я сяду на троллейбус и уеду куда глаза глядят – только меня и видели! Но вдруг ко мне с двух сторон бросаются два инвалида:

– Вы бежите! Бежите! – кричат они восторженно.

И мне сразу становится не по себе, моя холодная уверенность начинает подтаивать.

Особенно этот инвалид справа, он без ног, от него разит дерьмом и сивухой.

– Я тоже, тоже был профессором, – горячо утверждает он и вцепляется мне в руку. – Возьмите меня с собой!

То есть они тоже хотят убежать. Но почему они до сих пор не убежали? Это не возможно? Предательская слабость появляется в поджилках. Омерзительный инвалид дышит мне в ухо мокрым беззубым ртом, и тянет, тянет меня вниз, в асфальт. Я сдаюсь, я закрываю глаза.

Я никогда не был профессором. Но если бы был – что толку? – разве это помогло бы мне бежать?

– Пойдёмте, пойдёмте! – тянет меня за руку другой инва-

лид, седой очкарик полуслепой, но, похоже, ещё вполне уверенно передвигающийся на своих двоих.

Безногий же едет за нами следом на своей каталке – громыкает на выбоинах асфальта.

Вот и троллейбусная остановка. Инвалиды провожают меня как героя. Мало того, они сами намереваются ехать со мной. На фига мне такое воинство?

Погода, надо сказать, испортилась. Идёт дождь. Я сажусь в троллейбус и делаю инвалидам ручкой. Самого настырного выпихиваю в дверь. Он, кажется, там ушибся, бедный. Я долго ещё не могу разглядеть на своём лице гадливо сочувствующую гримасу. В автобусе, т.е. в троллейбусе, никого нет – только шофёр. Шофёра, кажется, тоже нет – автоматический троллейбус. Едем. Уходим. Никакой погони. Никаких сирен. Дорога пуста. Уже и домов не видно. Откуда тут провода?

Я закрываю глаза, грустно. Я хочу вернуться домой. Но где мой дом? Там будут *эти*. Там будет *она*. С *ними*. Я плачу.

На какой-то неведомой станции я сошёл и поплёлся по перпендикуляру от шоссе по сырой траве. В траве – шмели, кузнечики. Это несколько утешает. Трава хоть и мокрая, пахнет клевером. Лечь бы сейчас и отдохнуть. Когда меня уже начнут ловить? Где кончится мой путь? Боюсь ли я, что он кончится слишком скоро? Зачем мне очень длинная дорога, если рядом не будет *её*, не будет никого?

Буду просто смотреть на солнце, смотреть на небо... Может быть, ещё встречу кого-нибудь интересного, кого-то, кто

мне поможет, женщину или лучше...

Ноги мои мокры от пят до колен, с неба опять начинается накрапывать. Я иду по лесам и полям, иду наугад. Не буду ничего придумывать, ничего планировать. Так *им* будет труднее найти меня. Они знают только логику, а я знаю... Что же я знаю?

В конце концов, я вышел в какой-то город. Снял номер в гостинице – благо деньги ещё были – и уснул. И вот я сплю, и мне снится вся моя жизнь, или как будто это была моя жизнь, ведь, может быть, эта жизнь была совсем не такой? Да и как может уместиться вся жизнь – какая бы она ни была – в одном сне?

Война

«...мы можем утешать себя мыслью, что эта война, которую ведёт природа, имеет свои перерывы, что при этом не испытывается никакого страха, что смерть обыкновенно разит быстро и что сильные, здоровые и счастливые выживают и размножаются...»

Ч.Дарвин

Когда я проснулся, в городе этом началась война. Или она начиналась везде, где бы я не оказывался.

Люди бежали, прятались. Гостиница опустела за несколько минут. Вместо постояльцев в двери ворвались солдаты. На меня никто не обращал ни малейшего внимания. Но пер-

вое, что сделали солдаты – это закрыли все номера на ключ. Так, что я остался стоять в коридоре с зубной щеткой в руке – только и успел купить себе внизу зубную щетку. Пробегая мимо, солдаты часто задевали меня плечом. Но никто не бил. На солдатах были противогазы и капюшоны – наверное, уже началось что-то совсем серьезное. Наверное, скоро я – лишенный средств защиты – умру. Это почему-то даже утешает. Никто со мной не разговаривает, словно я шкаф, – и это меня устраивает. Их интересует только пожарный рукав, который они разматывают по коридору – они готовятся тушить какой-то пожар... Может, это учения?

Я пытаюсь спуститься вниз, но снизу бегут и бегут солдаты – совершенно негде пройти. Подожду – а то ещё затопчут меня своими коваными сапожищами. А может, попробовать улизнуть в окно? Может, мне отсюда живым не уйти? Может, это *они* и есть?

Я вспомнил, что есть ещё какая-то другая лестница. Я не мог отдать себе отчета, на самом ли деле видел её или это какой-то обман памяти. Но выбирать – не было времени. Я побежал и вскоре очутился в углу, где пахло окурками и туалетом. Там, и правда, начиналась чёрная лестница.

Однако, спустившись на четыре этажа, никакого выхода в город я не обнаружил. Здесь был склад, или что-то вроде раздевалки со множеством индивидуальных шкафчиков. Ещё больше это напоминало вокзальную автоматическую камеру хранения. В одной из таких комнат, стены которой были за-

ставлены сейфами, посередине стоял стол и две скамьи. Я присел отдохнуть, а в открытые двери моего едва обрётённого убежища уже залетали солдаты.

Слава Богу, они не стали обращать на меня никакого внимания. Им нужны были сейфы – некоторые они вскрывали ключами, другие отмычками, а в двух или трёх случаях не обошлось без помощи автогена – из-за этого в комнате распространился удушающий запах окалины. Во всех несгораемых шкафах было одно и то же – противогазы и средства химической защиты. Такое снаряжение вовсе настроило мои мысли на апокалипсический лад. Солдаты – как я ещё раз убедился – и сами были уже сплошь в противогазах и прорезиненных комбинезонах. Вероятно, скоро я должен был почувствовать первые признаки отравления. Но пока кроме металлической гари я ничего не чувствовал.

Хотя солдаты заняли почти всё свободное пространство в комнате, меня они по-прежнему не то не замечали, не то из-за какого-то странного уважения не трогали. Может быть, они относились ко мне как к заразному? Может быть, руководствовались каким-то странным указанием? А вдруг, они просто не видели меня, потому что я был призраком, невидимкой?

Как выяснялось у меня на глазах, из всех комплектов химзащиты военных собственно интересовали только резиновые сапоги, и то не все сапоги, а только каблуки. Они извлекали эти каблуки, или вернее то, что было внутри них некими

специальными приспособлениями. Причём один из участвующих в этом процессе солдат – а все они разделились на бригады по четыре человека – вынужден был, пренебрегая опасностью (коли таковая существовала), снять с себя противогаз и продуть, образующийся после опустошения каблука, просвет через полиэтиленовый рукав. Смысла последней операции я, естественно, не понимал, впрочем, как и смысла всего остального, что предо мной происходило. Можно было только предположить, что солдаты по экстренному приказу извлекают на свет божий какие-то, до сей поры тщательно замаскированные, запасы – не то с химическими реагентами, не то с дезактивированными возбудителями опасных болезней. Не исключено, также, что в каблуках, в раздробленном виде, хранился ядерный заряд.

Сначала мне было интересно следить за слаженными движениями воинов. Эта, вдруг возникшая, молчаливая конвейерность как-то завораживала. Но потом, от монотонности, начало клонить в сон. К тому же, ожидания смерти – которые было вызвали у меня бурное выделение адреналина – не оправдывались. В конце концов, я уснул, уронив голову на свои сложенные руки.

Голод

«...поэзии и философии была бы оказана большая услуга, если бы с помощью их нельзя было зарабатывать деньги...»

Когда я проснулся, война или учения кончились. Можно было выйти из гостиницы подышать свежим воздухом. Обнаружилось, что я хочу есть. Это сразу заставило задуматься о деньгах. Необходимо было, если не банально устроиться на работу, то хотя бы изыскать ещё какой-нибудь способ не умереть с голоду. Может быть, кто-нибудь мне вышлет сюда деньги «до востребования»? Может, она...

Эти постоянные круговые возвращения мыслей здорово раздражали меня. Раздражали своей бесплодностью.

Может быть, *они* того и ждут? Чтобы я умер с голоду? Меня, например, никуда не будут брать на работу, и я вынужден буду пойти на криминал. Тут-то меня...

А есть ли мне что терять? Только уж очень не хочется играть в поддавки с *ними*.

А что, если у меня параноидальный бред и больше ничего? А что, если я давно у *них*? Сажу в этой комнате для буйнопомешанных, – которые, наверное, бывают только в фильмах – и бьюсь в мягкие матрасные стены, воображая на них какую-то мелькающую реальность? Кто такая, наконец, эта *она*, которая вызвала в моей жизни всё идущие, идущие и никак не могущие остановиться, изменения. Сколько здесь действительно от *неё*? Сколько...

Я хотел сказать – от меня. Может быть, от других. Но, кто такие я и другие, – похоже, знаю ещё меньше. В её суще-

ствовании я, по крайней мере, уверен. Она, так или иначе, существует. Хотя бы в моём воображении. Логика. Значит, существует логика. Помилуйте, но ведь нельзя, же выводить из существования «а», существование «я»!

Меня затошнило от этой философии, и от голода. Очень захотелось кого-нибудь ограбить. Но все прохожие на улице – как на зло – выглядели скорее бедными, чем зажавшимися. Что поделаешь – провинция. Тогда – нападать на машины. Но для этого – недурно иметь хотя бы пистолет. Почему я не воспользовался только что прошедшей войной для того, чтобы прикарманить себе хоть какое-нибудь оружие? Какой я дурак!

Постепенно я пришёл к берегу озера. Песчаный берег, заброшенные раздевалки, вернее скелеты раздевалок. Никакого народа. Даже не мусорно. На вид – почти чистая, предположительно тёплая вода. Я решил, что искупаюсь. Можно даже нагишом. Ну ладно уж, не буду искушать нравственность невидимых свидетелей.купаюсь в трусах, не совсем чистых.

Это купание живо напомнило мне какое-то другое купание. Которое, может быть, мне только снилось. Да, точно снилось. Вряд ли наяву может быть такое смешение в воде – грязи, снега и купающихся тел. В какой-то момент мне показалось, что я утонул. Эта мысль в первое мгновение заморозила меня, но уже во второе – я испугался. Вода была, однако, холодная, пора вылезать.

Я сидел на скамейке под железными структурами зонтика

и стучал зубами. Капли желтоватой влаги катились у меня с посиневших губ. Вокруг не было никого. На том берегу озера росли сосны. Кажется сосны. Везёт же мне на сосновые леса. Можно подумать, что их, в самом деле, много. Захотелось втянуть ноздрями смолистый аромат. И тут же я – словно по волшебству – почувствовал его. А ведь, и вправду, мог донести его с того берега ветер.

Всё-таки меня преследует сосновый аромат, а не химическая тревога. Это лучше. Солнце светило. Я почти согрелся. Я оделся, хотя и не вполне высох. Надев штаны, и пройдя несколько шагов, я нашёл, что зря не снял мокрые трусы. Надо было бы их хотя бы выжать.

Надо было куда-то податься и чем-то заняться. Я мог бы устроиться работать дворником или внештатным журналистом. В моём понятии эти работы очень похожи – как сказал один писатель – «разработать культурологические аспекты...» Первая работа, правда, мне больше нравится. Она как-то яснее, честнее, и больше времени проводишь на чистом воздухе. Но по дороге мне раньше попалась редакция местной газеты. Газета называлась «Круг». Или это шрифт у вывески был слишком странный, и я перепутал? Впрочем, какое мне дело до названия газеты? Круг так круг.

Вспомнив о своей до сих пор насквозь мокрой заднице, я несколько застеснялся. Но, для уверенности поплевав через левое плечо, решительно переступил порог. За порогом сразу запахло тоской и пылью. За дверью в конце коридора,

в серой комнате сидело три человека. Пол одного человека отличался от пола остальных двух. У всех троих на лицах была запечатлена неизбывная, какая-то просто сверхъестественно вечная, скука. Не то от этого их выражения, не то от застарелого несвежего запаха меня опять затошнило. Я едва сдержался, чтобы не блевануть прямо на эту компанию. Может быть, их спасло лишь то, что блевать мне было нечем. Однако, судороги моего горла их нисколько не удивили.

– Здравствуйте, – сказал я, несколько раз глубоко вдохнув через рот. Я старался засасывать воздух нацеленно, из открытой форточки.

Существо женского пола подняло глаза:

– Вы по какому делу?

– Хочу устроиться на работу.

Существо женского пола подняло брови:

– Кем?

– Ну, насколько я понимаю, здесь что-то пишут. Я могу писать.

Существо женского пола поковыряло что-то в клавишах своего компьютера.

– Внештатником? – догадалось оно.

Я кивнул.

Существо женского пола посмотрело поочередно на двух остальных существ, относящихся к полу мужскому.

Никто из них ничего не сказал. Мне показалось, что один собирается вздохнуть, а второй пожать плечами. Но и этого

не произошло.

Дама закурила. Господа последовали её примеру. Я закашлялся от одного вида их дыма. Наверное, я действительно давно бросил курить. Мне уже хотелось сбежать. Может, взять и попросить их, чтобы они меня накормили, просто так, один раз? Или, может быть, ради хохмы набить этим мужикам рожи? Но, может быть, *эти* только этого от меня и ждут? Рассуждаю – как типичный параноик.

– Садитесь, – наконец сказала дама.

Я зачем-то посмотрел в потолок и сел.

Обшивка стула сразу же плотно прилипла к моему заду.

Больше всего на

свете мне теперь хотелось расправить неудобные складки штанов под собой.

– Вы приезжий? – спросила дама.

– Да, я приезжий, – ответил я. – Так что, могу я на что-то рассчитывать? Любой срочный заказ – реклама, репортаж, какая-нибудь коротышка на научную или историческую тему...

– Но что вы знаете о нашем городе?

Мужчины по-прежнему сохраняли мудрое молчание.

Я откашлялся.

Опять долгое молчание. Очень хочется встать и разглядеть штаны на жопе.

Дама стряхнула в пепельницу длинную палочку пепла.

– Насколько я понимаю, у вас сейчас нет никакой работы?

Я задумался, что ответить.

– Мы можем вам предложить работу курьера, – сказала она.

– Это временно или постоянно? – поинтересовался я.

– У вас есть паспорт? – поинтересовалась она.

– А прописка нужна? – поинтересовался я.

– А что, у вас нет прописки? – поинтересовалась она.

– Короче, – сказал я. – Есть у меня и паспорт, и прописка, только московская. Только всё это осталось в номере, в гостинице.

– Ну, приносите паспорт, тогда и поговорим, – сказала дама.

– А до каких вы работаете?

Дама посмотрела на часы:

– Ну, если обернётесь за полчаса, возможно, я смогу вам помочь. Всё-таки удивительно милая женщина.

Мужики почему-то закивали. Пардон, но я же не мыслю вслух.

– Постойте, – сказала дама, когда я уже собрался уйти. – А какими судьбами вы – из Москвы к нам?

Я почесал горло.

– Война, – сказал я.

– Война? – переспросила дама, опять подняв брови.

Мужики закивали.

– Ну, я пошёл? – спросил я уже совсем по-курьерски.

– Идите, – кивнула дама.

Запустение

«В этой сумрачной хате для меня ничего не осталось...»

М.В Исаковский

Когда я вернулся в гостиницу, всё уже было кончено. Можно сказать, и самой гостиницы не осталось. Т.е. дом конечно стоял, и даже окна и двери кое-где были целы. Но сразу было ясно, что все сбежали отсюда даже не два-три месяца, а, пожалуй, два-три года тому назад. Всё-таки изумительные вещи творятся со временем!

Все уехали. Я обнаружил только голые стены. Ото всего этого пахло пластиком и цементной пылью. Но если верить моей памяти, моей *нормальной* памяти, каких-нибудь два с половиной часа назад здесь всё ещё дышало жизнью. Где же запах пота? И даже испарения от носков и портянок показались бы мне теперь милыми, ибо не осталось ничего. Ничего, за что можно было бы зацепиться.

Каким-то шестым чувством, всегда выручавшим автопилотом, нахожу свою комнату. Двери настежь распахнуты, обивка на них разорвана и болтается языками. Внутри мне даже не на что присесть. Но мои чемоданы собраны и стоят на полу посередине. Сколько у меня, оказывается, вещей! Тишина. Только капает вода в туалете. Значит, воду всё же не отключили? Разве что лечь на пол. Паук ползёт по белой

пластмассовой стене, ему скользко.

На меня налетает сон. Я хочу уехать? Значит, мой срок кончился? Куда? Но пока мне не хочется шевелиться. Я бессильно сажусь на пол, прямо в пыль. Когда же здесь уберут? Кажется, прошло два года...

Программа

«Разве во чреве матери мы учились жить?..»

Р.Акутагава

Я очнулся и встал с чемодана. Нужно было действовать. Значит так. Немедленно добраться до вокзала. Сесть в поезд и уехать, куда глаза глядят. Лучше всего в Новосибирск. Там я устраюсь на работу и начну новую жизнь. Не беда, что у меня нет денег – я впрыгну в какой-нибудь порожний вагон товарняка, как герой Джека Лондона. Главное – не перепутать направление – а то уедешь куда-нибудь на запад.

Прохаживаюсь по номеру взад-вперёд по диагонали, вырисовываю андреевский крест. А что', если тут порт? Что-то не видел.

Хватит уже мечтать! – быю себя по коленкам. Беру в обе руки по чемодану и выхожу на улицу. Там поют птички, сидя на липах. Вполне сносно. И трусы высохли. Расправляю их с оглядкой на прохожих. Но прохожих нет. Всё же везёт мне на пустоту.

Может всё же устроиться в «Редакцию»? Пожалуй, ещё не опоздал. Нет, опоздал. Прочь сомнения! А то вообще ничего не успею. Надо жить. Надо Спешить.

Вот уже ноги приводят меня на вокзал. И в самом деле, я нахожу какой-то товарняк. Но никаких пустых вагонов в нём нет. Я хожу вдоль состава, от головы к хвосту и обратно. Он довольно длинный. Может, попросить машиниста? Нет, буду рассчитывать сам на себя. В конце концов, я так устал. Так устал.

Я сажусь на свой чемодан рядом с рельсами. Легкий ветер ворошит былинки между шпалами. Воняет дерьмом и дёгтем. Весьма романтичный запах, запах дорог. Щас бы напиться – само бы собой всё решилось – как в «Москве-Петушки». Петушки – чем не место для человека, клюющего носом? Жаль, ни разу там не был.

Я закрываю глаза, «засыпаю». Когда я открываю их вновь, я уже еду. В каком-то наполовину наполненном углём коробе. Ну и слава Богу. Это избавляет меня от необходимости решать. Вдруг, на запад? Но гудок поезда почему-то убеждает меня в обратном. Так не гудят локомотивы, которые едут в Европу. Почему? Ну, вот птицы, которые летят на юг или же обратно с юга – они ведь кричать по-разному? И прочая чепуха...

Я вновь засыпаю. Конечно, очень неудобно. И холодно. Я весь продрог. Уже ночь. Роса. Ветер. Но кроме обычного железнодорожного коктейля, пахнет и зеленью, дремучей

растительностью, ельниками, пихтовниками, кедровниками. Наверное, уже приближаемся к Новосибирску.

Я вновь засыпаю...

Работа

«...от такого человека скрыто не только что делает его ближайший сосед, но чуть ли и не то, человек он или ещё какая-то тварь...»

Платон

В Новосибирске я устроился работать в какое-то конструкторское бюро. Оборонное предприятие, как их ещё называют. Как меня туда занесло – сам ума не приложу.

Сначала я долго бродил по улицам и искал кинотеатр с названием на «Б» – не то «Байкал», не то «Балтика» – но точно на «Б» и точно какое-то большое водное пространство. Может быть – «Балатон»? Но не река. Я ездил на Новосибирском метро, выходил на совершенно незнакомых мне станциях. Считал, похожие друг на друга как близнецы, пятиэтажки.

Никакого «Б» я не обнаружил. Но потом всё как-то само собой уладилось. И стал я работать на оборонном предприятии.

Вернее, сначала я занимался шпионской деятельностью. Недаром ведь приехал с Запада на Восток. Выслеживал ка-

кого-то конструктора или инженера (может – профессора?) по дороге домой. Он должен был проходить под эстакадой.

Тем временем уже настали холода. Всю зелень с деревьев сдуло. А эстакада над головой погромыхивала своими серыми рёбрами, как голыми костями. Профессор должен был возвращаться вечером. Темнело рано, но фонари включали вовремя. Он курил и бросал по дороге пепел. По этой-то пепельной дорожке я его и выследил, и настиг.

Потом не помню, что было. Возможно, я убил профессора и завладел его планами. Тюкнул по башке сзади какой-нибудь строительной трубой и переоделся в его одежду. Возможно, так и было. Могло же найти на меня затмение?

А иначе как я смог устроиться на оборонное предприятие? Уж наверно – на место кого-то. Нам даже платить со временем обещали лучше. И всё совсем наладилось.

Я даже где-то жил. То есть имел квартиру. Впрочем – возможно, это было общежитие – не уверен.

Сидел на кухне, курил и просматривал старые письма. Одно из них почему-то было адресовано не мне, а одному моему старому другу. Как оно ко мне попало? Интересно.

Потом я задумался и забылся. За окном что-то начало громыхать – не то молния, не то салют.

И я понял, что опять война и воодушевился. На этот раз я решил сам принять участие в войне. Твёрдо решил.

Война

«Бешеную негу и упоенье он видел в битве...»

Н.В.Гоголь

И вот я уже на танке. В Новосибирске ещё много чего происходило. Я не могу припомнить всего. Помню, гонялись за какой-то бабой, у которой в авоське были банки с тушенкой или дымовыми шашками. Поймали.

Но теперь я на танке. У нас всего два танка, но это неважно – воевать можно. Революции делаются не числом, и даже не умением. А чем же они делаются? Они делаются... Ну, их делают те, кто владеет идеями. У кого-то есть идеи – они делают революции. А остальные сидят и ждут, пока по ним прокатятся гусеницами. Таких можно и двумя танками всех передавить, постепенно конечно. Хватило бы горючего. И резерва техники.

А пока мы на взлёте. То есть на горе. И нам надо спуститься. Чтобы всё-таки начать осмысленные боевые действия. И я командую своим подопечным, чтобы поскорей стелили дорогу досками. Как-нибудь проедем. Страшно. Уж больно большой уклон. Доски ломаются под танком с таким хрустом... что хоть уши затыкай. Но мне весело.

Давно мне не было так весело. Пахнет еловой смолой. Опять – хвойные. Когда-то так пахло от крема после бритья, когда я ещё брился и был влюблён, а не уподоблялся всяким хемингуэям и кастрам. Сердце замирает, как в детстве, ко-

гда скатывался с дощатой «американской» горки. Танк того гляди сорвётся в пропасть. Но мы проезжаем.

Впереди – пустынный двор какого-то склада лесопильной продукции. Чтобы спуститься туда с нашей горы, опять-таки надо сделать скат – настил. Благо досок по близости хватает. Ах, как благоухают эти умирающие доски!

Вот спустимся, развернёмся, поломаем вокруг все возможные заборы, и помчимся прямо на врага, – как под Прохоровкой! А второй-то танк от нас приотстал. Как бы не перевернулся. Вдвоём – всё же веселее и больше надежды победить. Отдаю приказ *своим*, чтобы поднялись обратно на гору и постелили нашему напарнику дорогу.

С кем мы воюем и за что? – неважно. Вероятно, с капиталистами. Они же последнее время нам больше всего досаждали. Где-то далеко, но не очень далеко, надрывно гудят заводы, дымят трубы. Там ещё работают. Вероятно, эти капиталисты там и спрятались. Засели, понимаешь. Разворачивайтесь в марше! Огонь! От воодушевления у меня чуть было не случается апоплексический удар. Лысина вся вспотела – как после ложки хорошего перца!

Ура! Ур-ра! Урррра! Танки идут на штурм. Я – на башне. Мои люди со мной. Доски хрустят, трескаются, ломаются, разлетаются вокруг фонтанами щепок. И не только доски. Но пасаран!

Новосибирск (Перекрёсток)

«...призраки убеждают спящего в том, в чём бодрствующего не могут живые...»

Блаженный Августин

Новосибирск не оправдал моих надежд. Всё в нём было как-то сумрачно и непригоже. Из знакомых нашёлся только один якобы костоправ. Который всего больше хотел прописаться в Москву или на худой конец – в Англию. Какой же он патриот! Я, к тому же, очень сомневался в его целительских способностях. Уж очень всё это отдавало дилетантизмом, если не сказать шарлатанством.

Я возобновил поиски пресловутого кинотеатра с названием на «Б». Смутное предчувствие подсказывало мне, что отыскав эту точку на карте, я смогу нечто, хотя бы *нечто*, для себя решить.

Однажды мои поиски увенчались успехом. На станции метро, на скамейке сидел тот самый «чудо-доктор» и читал газету. В газете этой был список увеселительных заведений с указанием репертуара на неделю. Тут-то я и обнаружил своё «Б» и сразу выяснил, как до него добраться – благо, что рядом со мной был старожил. Он, впрочем, сам довольно слабо ориентировался в Новосибирске.

Со времён войны город сильно разросся и так шагнул за Обь, что одна его нога не видела другую. Помощник мой указал мне на север. И вот, наконец, я добрался до вожделенно-

го кинотеатра.

Только это оказался не кинотеатр, а кафе, и называлось оно почему-то вовсе не на «Б», а «24 камушка».

Впрочем, я сразу понял, что это как раз то, что мне надо. Кафе располагалось уже не в Новосибирске, а в пригороде, в далёком пригороде, в лесу (впрочем, может быть, это был лесопарк внутри города).

В детстве мне снилось точно такое же кафе, и тогда я никак не мог понять, почему оно носит такое странное название. Теперь же мне всё сразу стало ясно. «24 камушка» – это, потому что 24 часа – т.е. кафе работает круглосуточно; к тому же, камушки ассоциируются с часами. Механические часы ведь работают на камнях.

Внешне заведение представляло собой довольно приземистое, одиноко стоящее, строение из жёлтого кирпича. Под карнизом плоской крыши, над витринами, в качестве оригинального украшения имелся неровный пояс из здоровенных бесформенных кусков разноцветного стекла, кое-как вмурованных в бетонную основу. Я ради интереса сосчитал "камни" на фасаде, их и правда было ровно 24. На всякий случай, обошёл здание по периметру, убедился, что ни на торцах, ни на тыльной стороне больше нет никаких "барельефов", и помочился на заднем дворе, напоминающем небольшую свалку.

И вот после этого я зашёл в кафе, чтобы передохнуть от всех, натёрших мои пятки, дорог.

Когда я вышел, во рту моём царил привкус дрянного кофе с не менее дрянным молоком. Из дверей кафе разило в н-ный раз разогреваемым несвежим дерьмом, скорее всего рассольником. Но песчаные дорожки, крестами разбегающиеся среди юных стволов елей, пахли свежим дождём. А квадратные еловые участки между ними благоухали лисичками. Я пригляделся и, несмотря на сумерки, обнаружил несколько небольших оранжевых грибов в каких-нибудь пяти метрах дороги. А дорога моя вела прямо, прямо и в гору. Она как бы прокалывала не оправдавшее моих ожиданий кафе и заново начиналась от глухого забора той самой помойки, где я оставил метку.

Довольно скоро я дошёл до вершины пологого куполообразного холма, сплошь усаженного несколько кривящимся молодым лесом. Обширная выпуклость была крест накрест рассечена двумя, обильно усыпанными бурой хвоей, аллеями.

Шестым чувством я понял, что именно здесь, на перекрёстке, должен дожидаться дальнейших указаний от доверенного лица. Или это был какой-то сказочный проводник – вроде бабы Яги или старичка Лесовичка? Слегка моросило и продолжало темнеть, но наверху всё же было светлее, чем внизу. Вдруг из безветрия и шелеста опадающих капель за моей спиной родилось лёгкое и, пожалуй, тёплое, дуновение. Оно потрогало меня за воротник и пошевелило волосы у меня на затылке. Затем Кто-то подошёл ко мне и указал

дорогу. И я пошёл от центра по диагонали, по извилистой тропинке. Не помню в какую сторону, но снова в город.

Москва

«В Москве весь мир уже готовился признать моё превосходство...»

Наполеон Бонапарт

Это была Москва. За время войны немцы успели построить новое метро. Всё-таки ведь – пять лет.

Обычно им не пользовались, но на участке красной линии «Красносельская» – «Сокольники» засорился туннель. Его давно не чистили, и он просто-напросто забился ржавчиной. Рельсы ведь, как известно, – из железа. И не только рельсы.

Поэтому пришлось ехать в объезд. Тут-то и пригодилось немецкое метро. Оно, кстати, было ничуть не хуже нашего.

Только, чтобы попасть на немецкую линию... Она, кстати, выдвигалась на северо-восток города дальше нашей и доходила чуть ли не до Балашихи. А некоторые говорили, что и до Щёлкова. Немецкая линия пересекала Москву не окружностью с радиусами, а зетообразно.

Ну, так вот – чтобы попасть туда, нужно было сперва проехать по секретной русской линии, которая тоже раньше не использовалась, – по так называемому банану. Вот сколько секретов пришлось открывать населению из-за какого-то банального засора! Но, как говорится, всё тайное рано или

поздно становится явным.

В Ленинском цикле мне понравилось. Только поезд ехал очень медленно – чтобы пассажиры успели осмотреть экспонаты в витринах. Станции там все (насчитал три или четыре) были устроены на манер музеев, стены сплошь стеклянные – а за ними природа, мебель, утварь и всякие документы, повествующие о жизни вождей. Ну и сами вожди – в виде восковых фигур. Конечно, особенно впечатляли разные пейзажные зарисовки, вроде Ленина в «Разливе» и пр.

Впрочем, пока мы дотащились до поворота на немецкую линию, мне всё это уже успело порядком надоест. Спрашивается, за что' мы воевали?

На станции, где я вышел, преобладали сельские дома. На улице, как гнилые зубы, торчали колонки. Говорили, что колонки, как и питающий их артезианский колодец, тоже остались ещё от немцев.

Здесь я снимал квартиру. Вернее веранду. Едва утеплённую, очень дёшево. Но жить можно. Даже зимой.

Я сел за стол. И углубился в свои размышления. Я решил написать книгу. О своей жизни. Я приготовился поднести ручку к первому листу раскрытой тетради...

Книга

«...никакая книга не может объять все разнообразные события жизни!»

Н.С.Лесков

Когда-нибудь и в самом деле произойдут события, которые будут достойны описания. Но пока я могу написать лишь о нескольких своих опытах, которые, впрочем, могут оказаться неожиданно поучительными для усердного читателя.

Так, однажды, в далёком прошлом... Вероятно, это было ещё тогда, когда я собирался стать международным агентом. Так вот, мне, разумеется, нужно было учиться. И мне дали книгу. И я ходил с этой книгой, буквально не выпуская её из рук.

Дело в том, что книга была очень ценная. И редкая. Из соображений секретности подобные книги не выпускаются большим тиражом. В специальной засекреченной библиотеке имеется только несколько экземпляров, которые выдаются студентам лишь на время их интенсивного обучения конкретному предмету. Обычно на усвоение курса даётся не более полутора месяцев. Не уложившихся в этот срок безжалостно исключают. И поделом. Такие, не умеющие должным образом сосредоточиться, индивидуумы, уже тут сразу же выявляют свою профнепригодность. А что бы они делали в тылу врага, вдали от Родины?

Чтобы получить *такую книгу*, даже будучи студентом соответствующего факультета, надо ещё постараться. На одну предварительную проверку и идентификацию личности уходят те же полтора, а то и два месяца. Так что, те, которые хотят успешно закончить курс, должны позаботиться об обес-

печении себя литературой заранее. Воистину, такие подготовительные процедуры чем-то напоминают оформление международного паспорта и визы перед выездом за границу.

Мало того, что ты даёшь подписку о невыезде и о неразглашении, в виду особой ценности и важности *книги* необходимо обеспечить её надёжную охрану. У государства нет средств, чтобы приставлять к каждому курсанту (который, кстати, может ещё и не оправдать надежд) по квалифицированному охраннику. Поэтому, как из соображений экономии и демократии, так и способствуя дальнейшему профессиональному росту обучаемого, ему доверяют самому быть своим охранником, т.е. охранником *книги*, читателем которой на обусловленный срок он является.

Таким образом, для того, чтобы получить книгу, необходимо одновременно получить разрешение на ношение оружия. Оружием же необходимо уметь пользоваться. Это, однако, не проблема, т.к. к курсу овладения книгой не может быть допущен человек, не прошедший всех предварительных курсов, один из которых включает обучение стрельбе из всех наиболее распространённых в нашей стране видов оружия.

Самым надёжным видом оружия, употребляемым в нашей стране, является автомат из семейства Калашниковых, один из далёких потомков великого послевоенного патриарха, впрочем, при всех своих неоспоримых достоинствах, отличающийся недостаточной кучностью стрельбы.

Но я приготовился поражать врага на коротком расстоянии – так что для моих целей вышеуказанного автомата было вполне достаточно.

Итак, обучение моё проводилось в таком темпе, что я не мог терять буквально ни минуты. В специальном набрюшнике, напоминающем приспособление для ношения грудных детей, помещалась моя книга. Я закрепил её кронштейнами в раскрытом состоянии с таким расчётом, чтобы даже на ходу (т.е. передвигаясь по улицам) иметь возможность хотя бы время от времени обращать свой взор на страницы и выхватывать то или иное слово или фразу.

Конечно, случайному прохожему мой вид мог бы показаться нелепым. На животе – откляченная книга, за спиной – автомат, лоб – сосредоточенно наморщен. От этой наморщенности и наклона головы очки то и дело сползали на кончик носа, чему способствовал и обильный трудовой пот. Но я был слишком собран и целеустремлён, чтобы обращать внимание на чьи бы то ни было провоцирующие взгляды. К тому же, мой автомат готов был отрезвить любого слишком зарвавшегося созерцателя.

К сожалению, улицы в том районе, где мне волею судеб приходилось прогуливаться тем вечером, были недостаточно освещены. Это вызывало добавочное напряжение в моих глазах.

Мимо, справа от меня, чуть не наступив мне на ногу, нарочито грубо разбрызгивая дрызги из луж, промаршировал

здоровенный полицейский. *Наша* контора не то чтобы очень долюбливает *их* контору. Даже мелькнула мысль: а не выстрелить ли этому г-ну в его широкую жирную спину. Но, покосившись на этого парадоксального нарушителя спокойствия лишь слегка, я тут же забыл о его существовании. То, что я изучал, было так важно, что ничто уже не имело значения, ничто другое.

«Бразилия», – сказал я и прикусил язык. Это уже было почти разглашение. Полисмен обернулся ко мне. Его сальная, иссиня-выбритая физиономия тускло мерцала в сгущающихся сумерках.

«Бразилия? – переспросил легавый, оглянувшись. – Ни хера себе! Он ещё и оружие нацепил!"

Мне бы следовало объясниться с ним, или, на худой конец, сорвать автомат с плеча и ценой восстановления справедливости испортить себе карьеру. Но его наглость так поразила меня, так сбила с мысли, что я будто проснулся.

«Бразилия», – повторил я беззвучными губами. А почему Бразилия? Я забыл. Полицейонер, помотав с отвращением головой, проследовал дальше. А какое ещё отношение мог вызвать у этой гориллы вооруженный автомат очкарик? А я... Я замер, оступился и чуть не упал, неудачно шагнув с бортового камня на мостовую. Слава Богу, на этой улице практически не было машин. До ближайшего фонаря метров 50. Ни души.

От чего-то в голове у меня опустело и как-то посерело

– как будто от асфальта и сумерек. Жёлтый свет далёкого фонаря воспринимался как жидкость, способная хоть слегка размочить застилающую моё сознание пыль...

Япония (Красная гейша)

«Вы называете любовью лихорадку, помешательство, вид химического невроза...»

Ошо

Эти странные беспорядки с моим сознанием повторялись ещё неоднократно уже в процессе моей работы международным агентом. Сперва меня отправили в Японию. К сожалению, я не умел говорить на японском языке. Но нет худа без добра. Во всяком случае, я при всех обстоятельствах не мог сболтнуть лишнего. Японские агенты по этим параметрам были ничуть не лучше наших, т.е. тоже не знали русского языка – возможно из тех же соображений – чтобы не проболтались.

Так что общение было затруднено. Я почти не выходил из гостиницы, а когда выходил, спотыкался о каких-то очень прилично одетых, но в дребадан пьяных, валяющихся поперёк всех порогов, людей. Так японцы отдыхали от своих трудовых будней. Они ни в чём не знали меры – ни в труде, ни в отдыхе. Одно слово – самураи!

Собственно, я очень долго не мог понять, в чём состоят

здесь мои обязанности. Ясно было одно – надо на всё внимательно смотреть и всё запоминать. Записывать, разумеется, категорически запрещалось. А вот память моя, даже по системе образов, не говоря уже о языке, так отличалась от японской, что никакие *их* суперсовершенные системы и приспособления не смогли бы вытащить из неё её хоть что-нибудь для них удобоваримое. Ещё в двадцатом веке было известно, что мы, в отличие от японцев, пользуемся для повседневной жизни совсем другими полушариями.

Проживание в Японии показалось мне удивительно скучным. Все эти непонятки наводили на меня неутолимую тоску – не в пример Фрейду, который тащился от наших буковок, когда катался на паровозе где-то в окрестностях Ленинграда.

Я сижу и пью непонятное японское пиво. Пытаюсь медитировать – ибо, может быть, дзен-будистский стиль приведения себя в состояние готовности будет наиболее успешным и эффективным на этой территории. Использовать оружие врага – вот одна из не перечёркнутых грифом секретности, очевидных до банальности истин, которым нас учили, прямо-таки вколачивали в голову сызмальства.

О как мне скушно! Телевизор показывает каких-то уродов. К тому же, эти уроды говорят не по-русски, и даже не по-английски. Я никого здесь не знаю. Агент двенадцатые сутки не выходит на связь, и я уже перестал надеяться. Помню, смотрел какой-то фильм с подобной ситуацией – от этого ещё скучнее. Там ещё было что-то про публичный дом. Не

податься ли мне здесь в подобное заведение? Но ведь этим я рискую вскрыть все карты. Что же, сыграю ва-банк! Опять это напоминает какой-то фильм...

Неожиданно приходящее решение всегда бывают самым правильным. Так нас учили. Естественно, я не мог заказать себе девушку по вызову со своего номера. На мой телефон сразу бы вышли. Как оплачивать сотовый в Японии, я так и не разобрался, по этому поводу почему-то не было даже никаких инструкций. Так что я пошёл прогуляться по бесконечно утомительным токийским улицам, где только и делали, что мелькали автомашины из «Соляриса» Тарковского.

Вскоре, в одной из телефонных будок, я почти наугад выбрал телефон рекламирующей там проститутки. Конечно, не совсем наугад. Листочков с раскосыми красотками в разных телефонных будках было расклеено предостаточно, хоть их то и дело и срывала специальная служба по борьбе с мусором и за хорошие нравы. Эта особа – скажем так – понравилась мне на картинке несколько более остальных.

Я волновался. Я не мог припомнить, чтобы вообще когда-либо в жизни связывался с проститутками. Хотя – мало ли чего я не мог припомнить? Память моя мне не принадлежала. Кто и когда обрабатывал её, мою память? Знаете ли вы об этом?

Так вот. Затаив дыхание, напряжённым, чуть ли ни окаменевшим, пальцем я набрал номер, какой-то очень длинный... Каково же было моё удивление, когда с того конца без

всякой задержки ответили на чистейшем русском языке?

– Красная гейша слушает. У меня и так был комок в горле, но – тут я поперхнулся и закашлялся. Одновременно, как молния пронеслась мысль: «Раскрыт!» «Отвечать?» – мелькнула вторая мысль. Очень хотелось повесить трубку и бежать. Но, возможно, враги только того и ждали.

– Красная гейша предоставляет услуги всем желающим независимо от национальности, цвета кожи, вероисповедания, пола, возраста, формы носа...

Я с облегчением выдохнул: это был автоответчик. Вероятно, вражеская техника дошла до такого совершенства, что уже в будке была скрытая камера и микрофоны. Наверняка! Я чуть ни в панике начал оглядываться по сторонам.

– Я вас слушаю, – прорвался сквозь бормотание автоответчика опять-таки русский голос. – Вы будете делать заказ или нет?

Я всё ещё молчал. Может быть, вот он и наступил, пресловутый момент истины?

– Эй, – потеревил меня женский голос, впрочем, довольно приятный.

– На кого вы работаете? – обречённо поинтересовался я. Тут она произнесла что-то невразумительное по-японски. – Понятно, – сказал я. – А почему вы называетесь красной гейшей? Это имеет какое-нибудь отношение к политике?

– Нет, это имеет отношение к сексу, – остроумно парировала моя собеседница.

– Так. А вы могли бы меня просветить? Я, знаете ли, тёмный иностранный а... – (тут я чуть было не проговорился и даже подумал, что сверхчувствительные японские датчики наверное уловили моё недосказанное слово).

– Мы всё знаем, – как обухом по голове стукнула меня моя собеседница.

– То есть?

– Знаем таких как вы.

– А вы, извините, японка?

Она помолчала, довольно долго, будто с кем-то советовалась. «Здесь нечисто», – подумал я.

– Это конфиденциальная информация, – ответила она.

– Так почему же всё-таки красная? – вернулся я к более безопасной теме.

– Вы никогда не слышали о стиле... (тут она снова выпалила какую-то чисто японскую, на русский слух ругательную, скороговорку).

– Увы, – ответил я, – хотя звучит заманчиво!

Девушка на том конце провода опять замолчала. И молчала на этот раз долго. Я уже хотел повесить трубку.

– Так вы будете заказывать гейшу или нет? – спросила она. Вопрос прозвучал неожиданно грубо, совсем не в японском духе. Впрочем, что я знаю о японцах?

– А сколько это стоит? – спросил я, чтобы уйти от прямого ответа.

– В зависимости от того, что вы закажете, – ответила

девушка тоном уж совсем какой-нибудь хамоватой русской почтовой работницы. Её голос окончательно мне перестал нравиться. Я разозлился.

– Пожалуйста объясните мне всё, что связано именно с красной окраской вашей уважаемой гейши и тогда я, может быть, воспользуюсь вашими услугами.

Иногда на хамство полезно отвечать приторной вежливостью.

Девушка хмыкнула и неожиданно опять включила автоответчик. Он начал откуда-то с полуфразы:

– ... древней японской традиции, используя современную передовую фармакологическую технологию, был разработан новый более эффективный препарат, небольшого количества которого...

"Господи! – подумал я, – наверно речь идёт о каком-то наркотике. Вот тебе и гейша! Ну, так оно и должно быть – все пороки всегда тяготеют один к другому".

Автоответчик не унимался:

– ... обученные сотрудницы нашего центра принимают препарат непосредственно перед встречей с клиентом. Препарат приходит в действие от тактильного раздражения не только эрогенных зон, но всей кожи и слизистых девушки, а также от адресованных ей ласковых и нежных слов, а всего более – от обещаний дополнительной оплаты за удовольствие.

«Бизнес – превыше всего!» – буркнул я про себя.

– Уже в первые минуты клиент может заметить постепенное изменение окраски кожи работницы...

«Как они всё-таки неуклюже составляют свои комментарии – констатировал я в сердце своём. Какие-то работницы. Ну, ясно – речь идёт о каком-то стимуляторе.

– ... желательно наличие вблизи от принявшей препарат гейши какого-нибудь резервуара с водой. Это удваивает действие и облегчает все последующие операции для девушки и клиента...».

"Операции, резервуары – ужас какой-то" – исходил я сарказмом в уме.

– «...Наибольшей интенсивности окраска достигает в момент оргазма. Бывают случаи, когда клиент сам краснеет в объятиях гейши, как бы пропитавшись от неё этим необъяснимым внутренним жаром...»

– Спасибо, объяснили... – хмыкнул я вслух и спрятал голову в плечи.

Автоответчик закашлялся, но продолжал:

– Покраснение кожи объясняется общим возбуждением и повышением температуры кожи девушки. Для её здоровья и тем более здоровья клиента это не опасно. Красный цвет способствует скорейшей разрядке скрытых комплексов мужского организма, накопившихся в результате воздержания или неудовлетворительного секса в течение предшествовавшего времени.

«Целая лекция», – резко констатировал я про себя.

Автоответчик замолчал. Больше на том конце никто не подавал голоса. Но и не вешали трубку. Только какое-то потрескивание – словно из бездонной космической пропасти.

Я подумал и, ничего не сказав, повесил трубку. Вдруг в будке раздался телефонный звонок. Я-то и забыл, что за границей в телефонах автоматах возможна обратная связь. Я, было, схватился за трубку, но всё же, не снял её с рычага.

Достаточно. Даже слишком достаточно на сегодня. Начало делу положено. Но мне нужна дополнительная информация. Кажется, я что-то придумал, кажется...

И тут я понял, что очень хочу есть. Меня прямо-таки мутило от голода. А может от этой красной гейши, когда я её себе представлял, валяющуюся навзничь с закрытыми глазами возле воняющего хлоркой бассейна? Да, в этом есть нечто сексуальное. До тошноты.

Покопавшись в закромах профессиональной памяти, я отрыл одну шуточную стихотворную максиму, которой снабдил меня мой непосредственный начальник перед тем, как выпало мне отправиться в дальнюю дорогу.

– Если очень хочешь кушать, съешь какое-нибудь суши, – говаривал он.

И – ах! – как мне сейчас пригодилась его простецкая среднерусская мудрость. Я – таки взял и съел какое-то суши. Убей, не помню, из чего оно было сделано. Но попало мне в нём что-то неумеренно пряное, какой-то японский перец или что-то в этом роде. Что-то такое, от чего у меня темпе-

ратура поднялась, и голова вспотела, и покраснел я лицом не хуже самой сексуальной гейши на свете.

Тут у меня произошло что-то вроде оргазма или озарения. И опять показалось, что я проснулся.

Фанаты

«В индивидуальных случаях мы имеем дело с невротическими симптомами, у людей же, не склонных к неврозам, возникают коллективные мании...»

К.Г.Юнг

Несмотря на мой успех в Японии, карьера моя скоро и бесповоротно закончилась. В Москве сменилось руководство, наш отдел сократили, и личность моя перестала быть для кого-либо интересной.

Пришлось устраиваться охранником – благо, оставались ещё кое-какие связи. Работа была связана с обеспечением безопасности спортивных мероприятий. Фирма была частная, но тесно связанная и подотчетная государству. Мне, как новичку, достался наиболее грязный участок фронта.

Дело в том, что за последний десяток лет у болельщиков одной из московских команд, название которой не могу здесь указывать (т.к. это была бы реклама), сложилась весьма оригинальная и опасная новая традиция.

После очередной игры с участием любимой команды наи-

более ярые фанаты стали собираться вблизи одного московского общественного водоёма. Водоём этот ранее был мало кому известен, вряд ли даже обозначен на картах. Однако, с некоторых пор, он стал привлекать внимание телевидения, прессы и нездоровых зевак.

Вне зависимости от того, выиграла или проиграла любимая команда, болельщики устраивали в её честь массовое омовение. Вернее, это можно было бы назвать погружением в одежду. Трудно сказать, кому первому пришло в голову окунуться, не раздеваясь, в грязную и мутную воду этого небольшого и, вероятно, уже тогда дурно пахнущего пруда. Непонятно даже от радости или горя это произошло, понятно только – что, скорее всего, спьяну. Именно в такой системе координат и родилась эта традиция. Ясное ведь дело, что кумира надо поддержать и на пике успеха, и на дне поражения, а уж выпить – как же без этого?

Так вот, все эти похоже одетые и постриженные мальчики, впрочем, и с некоторым количеством девочек, что ни матч под вечер всеми правдами-неправдами стекались со всех углов Москвы и Московской области к вожделенному водоёму.

Одурманенному культурой оку тут, конечно же, виделась аналогия и с языческим купанием в Иванову ночь (летом), и с Крещением в Иордане (зимой). Но всего более мне лично это почему-то напоминало насильственное приведение в христианскую веру киевлян. Так мне это представлялось.

Хотя этих мальчиков погружаться в отбросы никто не заставлял, никаких мечей никакого князя, да и Днепр во времена оны был наверное на теперешний вкус чист как слеза. И всё же...

Слишком их было много, целая армия, слишком они теснились – как будто кто-то их гнал, наступал им на пятки. И не радовались они, и не целовались как в купальскую ночь, и не получали очищение, как в крестильной купели, а напротив, мучились и сердились, часто толкались, били друг друга локтями, кулаками и вообще дрались всеми различными способами, какие только позволяли обстоятельства. «Видь на Волгу. Чей стон раздаётся...» – вот ещё что это напоминало. Шум стоял соответствующий.

Давно ходили разные разговоры, что пора положить этому конец. Некоторые горячие головы в Думе предлагали огородить объект колючей проволокой, что отчасти и было сделано, но произвело лишь возбуждающий страсти эффект. Тогда кто-то предложил пустить по проволоке ток и заминировать всё кругом метров на пятьдесят. Но это уже в нашем демократическом государстве нельзя было воспринимать всерьёз.

Несмотря на то, что водоём был мелкий, в самом глубоком месте – едва ли два метра, люди в нём тонули. Особенно много тонуло, если любимая команда выигрывала. Вероятно, успех лишал болельщиков бдительности.

Сам обряд тоже представлял не малую опасность для здо-

ровья, т.к. желающий быть посвящённым в настоящие фанаты должен был не только быть готовым погрузиться в тёмные воды с головой, но и по возможности набрать этих нечистот в рот, а желательно и проглотить их. Наибольшего же уважения был достоин фанат, свободно пьющий воду из этой лужи. Многие специально копили жажду и отказывали себе даже в пиве, чтобы потом напоказ лихо лакать эту вовсе не приспособленную для питья гадость.

Естественно, после таких злоупотреблений в среде болельщиков стали распространяться заразные болезни, как то: гепатит, дизентерия, брюшной тиф. Была отмечена даже холера. Прилетел и свил себе гнёздышко на берегу также злобный малярийный комар. Я уж не говорю о венерических недугах. Резко повысилась заболеваемость СПИДом, так как многие из погружавшихся являлись по совместительству наркоманами. Как говорится, только тропической лихорадки здесь не хватало.

Естественно, молодые люди нашли способ избегать самых дурных и печальных последствий. Наиболее хитрые из них специально перед обрядом употребляли дезинфицирующие напитки вроде спирта в купе с самыми современными антибиотиками. Пили они всё это и, так сказать, на закуску, чтобы тем вернее продемонстрировать публике свою крутость. Мол, из лужи пил, спиртягой закусывал и колёсами закатывал. Ну а потом, наверное, ещё и полировали чем-нибудь. Эти приспособленцы оказывались наиболее живучими, по-

тому и были заводилами и формировали новые узкие течения в уже утвердившейся моде на омовение.

Чтобы не допустить распространения заразы, власти стали подсыпать в пруд всякие средства, причём самые дорогие из них, разумеется, разворовывались. Поэтому преобладала хлорка. Но кроме хлорки сыпали разные инсектициды – от малярийных комаров, особенно усердствовали в этом заинтересованные в спокойном сне жители окрестных домов.

После такой обработки фанаты болеть стали несколько реже, но зато стали чаще травиться. Случалось, умирали прямо здесь же, не выходя из лужи, и товарищи затем несли их до дома на своих плечах, причём на этот случай они уже успели придумать особые заупокойные кричалки.

Вообще, водоём, возле которого мне довелось служить, кипел как питательный бульон, переполненный амёбами и инфузориями. Но это наблюдалось лишь по великим фанатским праздникам.

В обычные же дни тут было тихо – с некоторых пор даже автовладельцы брезговали мыть здесь свои машины. Разве что выходцы с Кавказа по невежеству и настырности пытались проникнуть сюда. Однажды у меня даже произошла с ними перестрелка, и меня ранили в палец.

Я сколотил себе будочку на берегу пруда, и её многие принимали за туалет, так что требовалась дополнительная бдительность. Там я и ночевал, не выпуская оружия из рук.

Когда же случались молодёжные нашествия, мне, разуме-

ется, отряжали подмогу. Нам запрещалось вмешиваться в процесс до тех пор, пока в воде не оказывалось одного или нескольких утопленников.

Тут мы принимались свистеть в свистки, стреляли в воздух из ракетниц и трассирующими пулями, разматывали сверхпрочные сети и начинали лов. Мёртвых, после того, как подоспевший врач констатировал смерть, мы запаковывали в спецмешки. А живых, после того как являлся полк милиции, сдавали под арест. Обычно двое-трое из этих архаровцев получали сроки, впрочем, чаще всего условные. Ибо не проходило и полугода, как я снова видел в пруду некоторые из этих наиболее выдающихся физиономий.

Работа у меня была, как сами понимаете, вредная, и платили мало. Но я не жаловался. Не то, чтобы нельзя было подыскать что-нибудь получше. Но тут я был с народом, так сказать, в самой гуще событий.

И как там они давились бедненькие, в этой клоаке. Я всегда удивлялся, что из неё вылезают живыми. А ведь живые явно преобладали. Воистину непостижимо! Сколь живуч человек!

Если у пришедшей толпы объявлялся какой-нибудь мало-мальски авторитетный лидер, обряд приобретал хотя бы относительно приличные очертания. Первыми шли старики, т.е. мужчины лет восемнадцати от роду. Они входили в воду со всех сторон и встречались ближе к центру пруда, где образовывали хоровод, поймав друг друга под водой за руки. К

этому времени наиболее высокие из них были погружены в воду по грудь, а наиболее короткие уже еле-еле ловили ртами воздух, судорожно вскинув над гладью воды подбородки. Затем все разом они издавали какой-то дикарский возглас и приседали с таким расчётом, чтобы под водой оказалась отключенная нижняя челюсть.

Глаза закрывать было нельзя. В таком положении они застывали, пока первый из них не мигнёт. Затем опять вставали и произносили по очереди некий отрывистый речитатив, восхваляющий любимую команду и предающий анафеме команды отнюдь не любимые. Затем следовало второе погружение, уже с головой. Тут души менее сильные и любвеобильные, а зачастую просто более короткие, могли отступить. Но самые крутые и стойкие, побулькав из-под воды вдосталь и продержавшись там столько, сколько кому позволяло здоровье, наконец победно всплывали, чтобы опять отрывисто и теперь уже по большей части хором провозгласить нечто во славу родной команды, причём их поддерживали все зрители на берегу, кольцо которых при этом всё больше сужалось. Вскоре передние из удерживающейся на берегу толпы уже погружали свои ноги в ил, и, слабо заполненная до поры, доступная взору водяная гладь начинала всё более ускоренно сужаться. Кричалки и вопилки переходили во всёобщий неясный гвалт и гомон. Мёртвая вода лужи, теснимая столькими телами, поднималась, пожалуй, на добрые полметра. В это время некоторые яростно пили на по-

каз тухлую, перемешанную с илом и бензопродуктами, жижу. В конце концов, начиналась вакханалия. Кто-то нырял, кто-то невольно уходил под воду с головой. Девчонки визжали, мальчишки орали во всё горло матерные поношения. Всё чаще слышались шлепки взаимных оплеух. И... наконец раздавался первый предсмертный вопль. Впрочем, это случилось далеко не всегда, разве что кто-нибудь кого-нибудь в сердцах ткнёт ножичком или огреет дубинкой по голове. В основном, гибли молча, просто уходили на дно, в ил.

Тут подоспевали мы со всеми нашими репрессивными и спасательными средствами и вылавливали разбаловавшихся идиотов из коричневой хляби. Они, разумеется, сопротивлялись, дрались, плевались, а уж ругались – хоть святых выноси. Случалось получить в глаз от только что откаченного на берегу утопленничка. Но, несмотря на полное отсутствие благодарности со стороны этих неразумных, недобрых детей, мы делали своё дело честно и были горды тем, что спасаем юные жизни.

Несмотря на постоянные обследования и прививки, которые мы чуть ли ни ежемесячно проходили в ведомственной поликлинике, я всё же тяжело заболел.

Мне довольно долго не могли поставить диагноз. Скорее всего, дало себя знать непрерывное нервное напряжение последних лет. Но не исключена, конечно, была и какая-нибудь инфекция или интоксикация. Словом, организм мой терпел поражение по всем фронтам.

Я лежал под капельницей и умирал. Никто меня не навещал, никого у меня не было. Медсёстры воровали у меня лекарства и подливали мне в капельницу дистиллированную воду, хорошо ещё – не воду из-под крана.

Я вспоминал свои былые дела...

Учитель

«Среди святых воспоминаний

Я с детских лет здесь возростал...»

А.С.Пушкин

Особенно приятно было вспомнить, как я когда-то был учителем. Тогда тоже приходилось иметь дело с детьми, но все они были такие чистенькие и незапятнанные – как на подбор.

Я только, что устроился в школу, а учебный год уже кончался, и в школе назревала всеобщая предвыпускная уборка. Это тоже была традиция, вероятно, свойственная не только этой школе. Но насчёт других я просто не имею информации.

Я уже успел перезнакомиться и подружиться со всеми своими учениками, однако, испытывал некоторые опасения касательно того, не слишком ли фамильярно они ведут себя по отношению ко мне. Мой учительский статус обязывал. В классе я был отделён от них учительским столом, как ал-

тарём. Они же сидели за партами, как католическая паства. Это уже внушало мне некоторую уверенность. А уж указка в руке и вовсе успокаивала меня, как магический жезл.

Я помавал головой и указывал очередному вызываемому на доску. Он вынужден был встать из-за парты, подойти к доске и писать на ней слова, любые, какие я скажу. Иногда я испытывал непреодолимое извращённое желание продиктовать очередному ученику что-нибудь из обсценной лексики. Это характеризовало меня как ещё не устоявшегося профессионала. Однако это говорило и за то, что огонь открытий ещё не угас в моей груди, и я не стал ещё бездушным, ничего нового подопечным своим не предлагающим, функционером.

Мне, разумеется, нравилось некоторые, вполне достигшие половой зрелости, старшеклассницы, особенно когда они надевали достаточно короткие юбки. Я даже досадовал, что текущая мода не слишком располагала к такому обнажению. Но я не позволял себе слишком много думать о подобном и безжалостно затапывал ростки педофилии, как только они появлялись на пороге моего головного мозга.

Мальчишками я совсем не интересовался, разве что как друзьями. Но и в дружбе – при таком неравенстве по возрасту – некоторые чересчур бдительные наблюдатели могли усмотреть некоторую противоестественность. Поэтому я сдерживал себя от проявления чувств.

Несмотря на эту вынужденную зажатость, я радовался

жизни, ежедневно вдыхая освежающий аромат детства и юности. Никто бы не запретил мне делать мои маленькие наблюдения. Всегда было интересно догадываться и констатировать про себя факты влюблённости, имеющие место в моём подростковом классе. Я радовался и сострадал всем моим ученикам. Я испытывал смущение и гордость вместе с девочками, когда у них начинались первые месячные. Я горячо соперничал мальчишкам, которые в большинстве своём ещё в течение продолжительного времени будут лишены возможности получить необходимую сексуальную разрядку, за исключением самоудовлетворения, которое как я замечал, заметно изнуряло некоторых моих учеников.

Впрочем, мог ли я осуждать их за это? Дети мои программу осваивали хорошо, писали грамотно. Что же касается литературных талантов, пока я не мог бы кого-либо из них определённо выделить. Хотя один мальчик подавал кое-какие надежды. Но я работал здесь ещё так недолго.

В то утро началась уборка. В честь неё были отменены все занятия. Мой класс во главе со мной проявлял самое живое участие в общем деле. На нашу долю выпал подвал и прилегающие к нему подсобные помещения. Это было несколько несправедливо, т.к. объект оказался особенно запущенным и при этом обширным по площади. Так что большинству других классов достались не в пример гораздо более лёгкие территории.

Но я призвал моих орлят и голу'бок проявить понима-

ние и смирение. Кое-кто из них возроптал, но, вразумлённые мною, демагоги стихли – и это была моя педагогическая победа.

Особенно мне запомнился один холодильник. Мы чистили его добрых четыре часа, хотя потом выяснилось, что он уже сто лет как не работает и никому не нужен, а достоин только того, чтобы оказаться на свалке. И уже обессиленные, ребяташки мои были вынуждены поднимать по ступенькам эту допотопную тяжеленную железяку и тащить её на ближайшую помойку.

Ой, чего только мы не вынули из этого заскорузлого холодильника! И кто, интересно, всё это туда положил? Огурцы, помидоры, какие-то бутерброды, банки с недоеденным хреном и кетчупом, слипшиеся пельмени в морозилке и застывшая кровь... Вы представляете – какой был запах?!

Но мои бедные дети, видя моё усердие, не покладая рук и даже не используя их, чтобы зажимать носы, трудились вместе со мной. Мальчики даже позволяли себе похлопывать меня по плечу, как бы поддерживая и одобряя. Но я ёжилась и ускользал от подобных проявлений фамильярности, т.к. не без основания предполагал в них покушение на свою ещё недоформированную авторитетность.

Но, несмотря ни на какие неудобства, несмотря на явную бесполезность большей части наших тяжёлых работ, по завершении их все мы были довольны. Ибо совместные направленные действия сплотили нас, превратили нас в кол-

лектив! Такова алхимия труда, воспетая классиками марксизма-ленинизма. Стар и млад, умный и дурак, мужчины и женщины, представители всех национальностей и конфессий – легко сплачиваются и сколачиваются, становятся единым целым, можно сказать, одним организмом, когда упорно занимаются каким-нибудь низкоквалифицированным, изматывающим и пусть даже грязным трудом. В этом смысл всех великих строек.

Однако, моё сердце переполнял вовсе не гражданский пафос, моё сердце переполняла любовь. И это была не любовь к пресловутому безликому коллективу, это была любовь к каждому по отдельности и в то же время к нам всем вместе взятым, к нам всем как к одному организму!

Поднятию настроения также способствовала весна. Прогладный, пахнущий набухшими древесными почками ветер. Зайчики солнца на меловых пронумерованных квадратах, украшавших асфальт перед школой.

Того гляди, должны были зацвести тополя...

Интерлюдия

«Что же касается речи, то над нею нужно особенно трудиться в частях, лишённых действия и не замечательных ни по характерам, ни по мыслям...»

Аристотель

Пережив клиническую смерть в реанимации, я вернулся к жизни. Я стал никчёмным инвалидом, несчастным пенсионером. Теперь я не был способен не только на дальние перемещения в пространстве, но и на душевные порывы...

Ну, хватит! Пора проснуться и пойти попить из колонки, потому что у меня дома в ведре кончилась вода. Не беда, что на улице зима – колонка надёжно замотана какими-то толстыми серыми тряпками. Вокруг наледь. Я наклоняюсь издалека и, с трудом продавив рычаг, жадно пью. И от струи и от меня валит пар. Отдышавшись, пью опять. Чистая холодная вода с лёгким привкусом металла. Что-то это мне напоминает.

Семья

«...брак есть предчувствие смерти и начало её...»

Н.Ф.Фёдоров

Это напомнило мне родник, тот, куда мы изредка ходили за водой, когда я проводил лета в моей родной деревне. Вода с шумом вырывалась из старой неровно обрезанной трубы, и белые остроугольные камни в заливишке под ней все были покрыты несмываемым слоем ржавчины. Родник бил откуда-то из-под кладбища, так что некоторые сельчане брезговали пить из него. Но вода была вкусная. Из трубы вода

очень коротким и бурливым ручьём впадала непосредственно в большую реку.

В последний раз, навещая то место, я не обнаружил там никакой трубы и вообще не узнал его. Вместо родника образовался напоминающий горную речку приток, до истока которого я так и не дошёл. Можно было подумать, что он теперь и вправду находился на самом кладбище. Приток был очень извилистый и с силой протискивался среди, бурно заросшей приречной зеленью, пухлой земли. Мне почему-то не захотелось пить из него, да и нечем было зачерпнуть. Камни в русле теперь были по преимуществу белые.

Потом я ещё раз приезжал в те места, но на родник уже не заходил, больше не ожидая отыскать там что-нибудь знакомое и родное сердцу. Не помню даже, почему я оказался там в последний раз. Кажется, меня вызвали телеграммой. Очевидно, я подумал, что на похороны или на свадьбу и, не очень-то сознавая необходимость своих действий, поехал.

Внутри знакомого деревенского дома меня уже дожидалась целая компания. Я не ожидал увидеть так много родственников сразу, к тому же, большинство из них были мне почти не знакомы. Справа, у калитки, консолидировались родственники со стороны моего отца, а слева, у скамейки, со стороны матери. Я хорошо знал только одну тётушку с материнской стороны. К ней-то я и подошёл, с остальными даже не поздоровавшись, хотя некоторые сделали неуверенные попытки пойти мне навстречу.

Тётушка была мягкой, оплывшей женщиной лет 63-ёх, впрочем, не то чтобы слишком жирной, в прошлом наверняка миловидной и приветливой на беседу. Мы сели на скамейку, и она поведала мне кое-какие новости двух последних десятков лет. Кое-что в нашем семейном клане таки изменилось.

За это время толпа, живописно расформированная перед забором, как-то рассосалась. Наверно пошли за стол. Я вообще не хотел есть, меня вообще подмывало отсюда убраться. Кстати, я так даже и не соизволил никого спросить, по какому поводу торжество. Все вели себя как-то подчёркнуто ровно – так, что трудно было догадаться. Никто не плакал и не смеялся. Не было видно пьяных. Никакой музыки.

Тётушка встала, отряхнула платье и, улыбнувшись мне, проследовала за калитку. Она поманила меня оттуда ручкой.

– Там твои, – сказала она.

– Где? – спросил я, хотя не понял, кого точно она имеет в виду.

– Пойдём, покажу, – тетушка с интригующей гримаской на лице мотнула головой. За время нашего разговора она значительно подтянулась и помолодела.

Я поднялся со скамейки и последовал за ней. Она провела меня к заднему дому, тому, что был за первым, выходящим окнами на улицу деревни. Указав рукой на дверь, она сама исчезла в доме переднем, где глухо сидели гости.

Мне, честно говоря, было тревожно. Я открыл захрясшую

дверь и проскрипел шагами по давно готовому развалиться крыльцу. Внутри пахло паклей пополам с плесенью. Сосновые брусья стен давно почернели. С ещё более душераздирающим скрипом раскрылась внутренняя дверь, линолиум в коридоре весь покоробился и вовсе потерял определённый цвет. Но внутри меня ждала жена. Не то, чтобы я совсем не ожидал её увидеть. В конце концов, кого ещё я должен был подразумевать, когда тётушка сказала мне «твой»?

У жены на коленях сидело, вероятно, совсем недавно научившееся сидеть, малое дитя. И жена, и ребёнок были одеты в белое. Во всяком случае, их свежая одежда резко контрастировала с общим тёмным фоном дома.

Я взял ребёнка на руки и стал носить по комнате. Он не плакал и внимательно смотрел на меня. У него слегка пахло изо рта. И я вспомнил, что когда-то хотел, но почему-то так и не попробовал на вкус грудное молоко. Почему?

По нежному выражению личика и замысловатым кружевам на чепчике, я догадался, что это девочка. Так и должно было быть.

Жена сидела молча и улыбалась. Руки у неё были сложены на сомкнутых коленях. Она была очень красивой, вся свети-лась.

Я прижал ребёнка к груди. Почему-то захотелось плакать. Почему-то не хотелось ни о чём думать, хотя возникало даже слишком много вопросов.

Я выглянул в приоткрытое окно. Темнело. С полей тянуло

попынью и сеном. Крикнула какая-то птица.

– И что теперь? – спросил я, обернувшись к жене.

Притча (Два брата)

«Вся земля мала и ничтожна, и мы должны искать средств к жизни в иных мирах...»

Н.Ф.Фёдоров

Теперь я глотал дымящуюся воду из ледяной январской колонки. И мне хотелось пойти к кому-нибудь гости, выпить водки с каким-нибудь хорошим мужиком, на худой конец – чаю. Я промакнул слезу тыльной стороной рукавицы и выпрямился, чтобы отдышаться. Под ногами было очень скользко. Стараясь не упасть, я опёрся на колонку. Задрал голову и, заметив на небе звёзды, некоторое время разглядывал их.

И вот, мне пришла на ум притча. Когда-то я её слышал или где-то прочитал:

Жили-были два брата. Один был романтик и лежебока, другой – прагматик и работяга. Кажется, второй был старше первого, или наоборот.

Первый вообще ничего не делал, только мечтал. И второй так привык, что его брат ничего не делает, что и не ожидал когда-либо увидеть какие-либо плоды его труда.

Зато сам, т.е. этот второй брат, сделал очень много. Я не

помню точно что. Но, во всяком случае, он трудился достаточно много для того, чтобы обзавестись просторным удобным домом и приличной многодетной семьёй. Он был каким-то начальником, возможно, даже министром. Возможно, даже его имя было занесено в какую-нибудь энциклопедию. Он старался не думать ни о чём грустном, и всегда был весел и предприимчив. Растил детей, занимался их здоровьем, давал им образование. Они, возможно, даже учились где-то за границей. Он не воровал, не брал взяток, не изменял жене. Ну, разве что было несколько случаев – ну, с кем не бывает? Но он во всех своих грехах сильно раскаивался – совестливый был человек. И даже ходил в церковь или, не помню, что там было – может, синагога или мечеть. Он не верил в Бога, очень хотел поверить, но не верил. Однако допускал, что Бог существует. Это могло быть вполне вероятным уже потому, что многие, уважаемые им, люди, на его взгляд, были весьма религиозны.

Так вот, этот прагматик и работяга, не зря потрудившийся на своём веку, в какой-то момент почувствовал себя очень несчастным. Просто так, без особой причины. Все его близкие вроде бы были живы и относительно здоровы. И у него самого кроме геморроя и простатита ничего ужасного не развилось, лечили его самые лучшие врачи. Но ни водка, ни новейшие транквилизаторы теперь не помогали. Да и пил он умеренно.

И вот тогда, как бы само собой, всплыло воспоминание

о младшем брате. Он как-то давно потерял его из виду, а сам брат не давал о себе знать. Может, он умер? Старший забеспокоился. Нехорошо ведь так бессердечно относиться к судьбе родственника. К тому же, у него в тот период как раз образовалось немного свободного времени, что за всю его жизнь случилось ой как нечасто. Он принялся искать брата.

Брат, оказывается, жил неподалёку и нашёлся почти сразу. Он очень обрадовался вновь обрётённому кровному родственнику, усадил его за стол, напоил чаем и водкой. Чай был не самый лучший, да и водка слегка пахла бензином. Но старший брат не стал возражать. Ему было хорошо, он – словно согрелся и оттаял. Вот только то и дело обуревали мысли, мол, надо куда-то спешить, хотя спешить вроде бы было и вовсе некуда.

– Ну, как у тебя дела? – спросил, наконец, младший брат.

И старший брат задумался – может быть, впервые за все последние годы. Всё у него было хорошо, лучше некуда. Всё у него сбылось, и даже обещало сбыться ещё что-нибудь. Старший сын вот уже почти превзошёл его на служебной лестнице, да и младший подтягивается. Но что-то внутри, возможно, какое-то главное желание – не было удовлетворено.

Младший брат смотрел на него с любовью и сочувствием, и ждал.

– А у тебя как дела? – спросил старший брат.

У младшего брата всё было так себе. Жив и ладно. С се-

мьёй не заладилось. Лечится от алкоголизма. Карьера не получилась. Живёт один, в какой-то несурзной квартире. И мечтает – надо же! – всё о том же, о чём мечтал в детстве. Чему тут завидовать?

– Да, – сказал старший брат. – А может быть тебя... – тут он опять задумался. Что он собственно мог посоветовать младшему брату? Начинать что-нибудь серьёзное в жизни ему уже было поздно. Разве что помочь ему деньгами, но предложить деньги – обидится. Может быть, врача ему порекомендовать?

– Да, – сказал младший брат. – Я когда-то был почти как ты. А теперь у меня почему-то ни на что не осталось сил. Вот разве...

– Разве что?

И младший брат стал рассказывать о том, как он мечтает построить воздушный шар и взлететь на нём, и посмотреть, как выглядят сверху окрестности.

Старший брат рассказал, что не раз летал и на воздушном шаре, и на вертолёте, и на самолёте, и видел все окрестности вокруг.

Младший брат слушал с восхищением. А старший даже начал в сердце своём гордиться, хотя его и не покидало чувство какой-то тонкой, непонятно откуда взявшейся, горечи.

– Знаешь что, – предложил младший брат. – Пойдём погуляем.

Старшему брату стало неудобно. Он давно отвык гулять

просто так. К тому же, куда можно было пойти ночью в этом тёмном посёлке, где жил его брат?

– Да ты не бойся, здесь рядом. Я хочу показать тебе одну вещь, – сказал младший брат.

Старший нехотя встал. Они вышли из вонючего подъезда на морозный воздух поздней осени.

– Видишь вон ту голубятню, – указал младший брат на какое-то едва видимое за деревьями невнятное строение. – Там теперь нет голубей.

Они подошли ближе.

– Иногда я залезаю наверх, – сказал младший брат. Я думаю, что именно отсюда лучше было бы запустить воздушный шар.

Старший брат смотрел на него, как на сумасшедшего, впрочем, он не хотел бы чем-нибудь расстроить своего несчастного родственника.

– Давай залезем? – попросил младший брат.

Это было уже слишком. Но старший брат всё-таки не выразил несогласия.

– А мы не сломаем себе шею? – спросил он.

– Можем, – честно ответил младший брат. – Тут очень гнилые балки. Но всё же, я надеюсь, мы сможем взобраться.

Он полез, а старший брат пока остался внизу.

– Иди сюда, – позвал младший откуда-то сверху, из темноты.

Старшему ничего не было видно из-за, густо нависавших,

толстых веток деревьев.

Он начал карабкаться, порвал брюки об гвозди, испачкал голову в старой паутине, занозил руку, кряхтел, чертыхался, но всё же добрался до тускло светящегося прямоугольного отверстия в крыше строения. Ещё усилие, и старший брат высунулся по пояс наружу из трухлявого лаза. Под ногами предательски хрустело, поджилки дрожали.

– Ну? – спросил младший брат.

Старший не ответил. Он смотрел вверх. Ему показалось, что где-то рядом поскрипывает стропами корзина воздушного шара. Он увидел звёзды. Вдруг мир как бы перевернулся. Это произошло оттого, что он впервые за долгие годы поднял голову вверх. Шейные позвонки трещали.

– Ну? – позвал младший брат откуда-то, словно издалека.

Но у старшего брата перехватило дыхание, да и не знал он, что ответить.

Почему-то он понял, что вот это, то, что сейчас произошло, и было тем, чего он больше всего хотел. Он просто не знал, что хочет именно этого, или забыл, что хотел. Или постарался забыть.

Если бы сейчас у них был воздушный шар, они бы конечно улетели вместе. Куда глаза глядят. Или куда ветер дует. Но шара не было.

Наверно всё это кончилось довольно скоро. Старший брат вернулся к своим делам и умер в мире и покое. А младший – остался со своим бездельем и умер каким-нибудь необык-

новенно грязным способом.

Но в *то* мгновение – времени больше не существовало. Были только звёзды. И неважно, что не было воздушного шара. Неважно, что, весьма вероятно, в следующий момент доски под старшим братом подломились, и он переломал себе ноги.

Слой воздуха около земли до этого самого мгновения словно отделял его от звёзд. Словно был наполнен чем-то мутным, не дымом и не паром, а каким-то газообразным студнем. Младший брат помог ему избавиться от этой мути. Бессильный младший брат.

Вот такая грустная история, бесконечно повторяющаяся во всех временах и народах.

Я улыбнулся. Холод бодрил и располагал к каким-то действиям. Но по времени – давно пора было спать. Почему человек не делает сразу того, что ему хочется? Почему человек не знает сразу, чего ему хочется?

Я слишком засиделся на одном месте, в своём медвежьем углу – совсем как младший брат. Необходимо было куда-то бежать – совсем как старшему брату.

Поезд

«...фффишиууфф где-то поезд свистит...»

Д. Джойс

И тут мне вспомнился ещё один эпизод. С опозданием на поезд. Эти опоздания на поезд всегда меня смущали. Вроде бы сны об убегающих поездах намекают на то, что ты чего-то не успеваешь. Недаром ведь сложилась поговорка новейших времён: «Поезд ушёл». Но может быть, иногда опоздание на поезд даётся как благодать. Может быть, иногда надо сойти с рельсов и пойти по перпендикуляру.

Тогда мы были с бабушкой. Только вот никак не могу вспомнить – в каком городе? Саратов или Ростов-на-Дону? Но, во всяком случае, это был достаточно большой город. А реки что-то я там большой не заметил.

Мы опоздали на поезд. И решили сегодня больше уже не спешить. Но сумерки быстро сгущались, на улицах вблизи вокзала разгорались редкие фонари. Необходимо было найти место для ночёвки. Мы решили углубиться во дворы. Сначала думали – ночевать на лавочках. Но довольно скоро, хотя уже совсем в потёмках, обнаружили старую машину с незапертой дверцей. Преодолев сомнения, мы залезли внутрь. Там оказалось достаточно чисто, ничем особо плохим не пахло, да и сиденья были не в пример мягче полуразбитых уличных скамеек. К тому же, снаружи становилось весьма прохладно. Стояла средняя весна, и континентальный климат давал себя знать.

Не все окна машины были целы, но мы довольно ловко завесили недостающее старым бабушкиным тряпьем, та-

ким образом дополнительно замаскировавшись. Надо сказать, что машина, давшая нам пристанище, была загнана в такой угол, что вряд ли кто-нибудь стал бы ею там интересоваться. В довершение всего, её, весьма удачно для нас, скрывали, в беспорядке разросшиеся, дворовые кусты и деревья.

Разве что мальчишки заберутся сюда поиграть в войну, или какой-нибудь любитель пива забредёт облегчиться. В общем, мы устроились что надо. И сразу стало нам тепло и уютно. Одного боялись мы: проспять и не успеть завтра утром на следующий поезд в нужном направлении. Ведь конечной точкой нашего назначения был отнюдь не этот город.

Бабушка утешала меня как маленького. Я и был не очень большой, выглядел на лет 12-13. А я уговаривал её не слишком волноваться, выявляя своё знание современной быстрой жизни. Кажется, она доверилась мне или только сделала вид. Мне же, на самом деле, с ней было намного спокойнее. Мы были два сапога пара, нам вместе было хорошо. Хотя иногда мы и тиранили друг друга, в конце концов, нам это обоим шло на пользу. Но уж ни за что на свете мы бы не согласились доверить это тиранство кому-нибудь другому, оно должно было быть чисто взаимным, то есть – домашним.

Мы спали. Над городом вставали звёзды, и ещё заметнее холодало. Но мы лишь крепче жались друг к другу и поплотнее укутывались в припасённое на дорогу тряпье. Этот не много затхлый запах бабушкиного демисезонного пальто я бы ни с чем не спутал и сейчас. Время тянулось. И казалось,

что это не звёздный свод поворачивается над нами, и даже не земля вместе с нами под звёздным сводом, а сами мы – поворачиваемся со своей машиной, как будто заключённые в толстую стрелку гигантского компаса. И так – плавно и музыкально всю ночь меняли мы положение по отношению к светилам, позволяя их лучам пробегать по нашим лицам круглыми пятнышками. И хотя от крепчающего морозца и масштабов пространства нас пробирал временами лёгкий озноб, всё-таки это было очень уютное поворачивание – как в планетарии.

Мы знали, что далеко не улетим. Не уедем. Мы в городе, в заштатном дворе. Завтра встанем и пойдём осматривать окрестности. Раз уж мы сюда попали, глупо упустить возможность ознакомиться со здешними достопримечательностями. Главное – не проспать.

Мы проспали. Когда проснулись – было уже совсем светло. Хотя каждому из нас казалось, что вот-вот только ещё светает. Я-то известный соня, а вот бабушке полжизни приходилось вставать до восхода. Но тут и она сплеховала. Видно, утром мы пригрелись и захрапели по-настоящему. А до этого она не только мёрзла, жертвуя собой и стараясь лучше утеплить меня, но ещё и волновалась за двоих о нашей текущей и дальнейшей судьбе.

Выглянув из окошка, мы никак не могли сообразить в какой стороне вокзал, т.к. при свете дня всё вокруг выглядело совсем по-другому. К тому же, никто из нас – по странному

стечению обстоятельств – не мог вспомнить, во сколько собственно отправляется поезд.

Бабушка полагала, что где-то в три часа, я сомневался и полагал, что в двенадцать. У нас не было часов, и мы не могли точно определить время. По солнцу время определять мы не умели, да и не было его видно, солнца. Тогда мы встали и вышли из машины. И опять-таки решили, что не будем торопиться, а пойдём не спеша. Кажется, до трёх ещё много времени, и мы успеем осмотреть город.

Этим мы и занялись. Бабушка ходила медленно, ей приходилось с трудом догонять меня. Я же то убегал вперёд, то возвращался обратно, всегда с маленьким открытием, типа того, что вон там, на углу, продаётся мороженое. Она ждала меня и волновалась.

В городе бабушке нравилось. Особенно она расплывалась в улыбке, когда мы нашли место для отдыха в одном из центральных скверов и, наконец, присели после довольно продолжительной пешей прогулки. Мы ели мороженое. Я – уже не первое.

Тут мы оба вдруг вспомнили, что надо торопиться на поезд. И пошли. Слева громоздился необычайно длинный дом с почти безоконной жёлтой стеной. По верху стены шло украшение, вроде, перемежающихся щербинами, квадратных зубов башни.

Бабушка запыхалась, но всё равно продолжала идти быстро. Теперь я едва поспевал за ней. Вот уже ограждение, за

которым платформа, откуда должен был отправляться наш поезд. Но нужно ещё как-то пройти туда, вероятно, придётся обходить.

Бабушка совсем занервничала, схватила меня за руку, и мы побежали. Это, конечно, мало походило на спринтерский рывок, бабушка с её сердцем и весом мало была способна на такие подвиги. Однако, несмотря на все препятствия – как-то: неудачное расположение дверей, подходов, ступенек, людей, деревьев и прочего, – мы всё-таки успели. Почти... Поезд тронулся, когда бабушка уже была готова схватиться свободной рукой за поручень. Ко всему прочему, пошёл он не в ту сторону, куда мы ожидали.

Бабушка чуть не расплакалась. Но может быть, это был не наш поезд? Может, следует дождаться следующего? Как там с билетами? Может быть, в этом проблема? Есть ли у нас деньги?

А я смотрел как зачарованный на медленно уплывающие вагоны. Если бы я был один, без бабушки, непременно бы вскочил на ходу. Это представлялось совсем лёгким делом. Но бабушка мне бы никогда не позволила. А сама она, боюсь, не смогла бы правильно запрыгнуть и удержаться – возраст не тот. Вот так мы и остались, я и бабушка, словно клещами сжимающая мою вспотевшую и выскальзывающую руку.

Правда, вагоны уходящего поезда были какие-то страшные. Больше половины из них – товарные. На платформах ехали некие громоздкие кубообразные агрегаты, накрытые

чёрными чехлами – не то танки, не то комбайны.

Слёзы приостановились на бабушкиных щеках. Я заметил, что и она сомневается. Она обернулась ко мне.

– Ну что, пойдём? – сказала она.

Это значило, что мы опять будем ночевать в машине или там, где на эту ночь нас поселит судьба. Похоже, мы становились профессиональными авантюристами. Странная у нас подобралась для этого компания.

– Это не наш поезд, – сказала бабушка, когда мы немного отошли от платформы. Может быть, таким способом она пыталась себя утешить, а возможно, это был вполне трезвый вывод умудрённого горьким опытом старого человека.

Я молчал. Снова темнело. Бабушка подняла лицо и посмотрела на небо. Нужно было чего-нибудь поесть. Чего-нибудь более серьёзного, чем мороженое. Мы сели на пристанционную скамейку и распаковали наши пожитки. Там нашлись огурцы и помидоры. Ещё хлеб, чёрный. Крутое яйцо. Бабушка ела мало, всегда мало. Удивительно, как она при этом оставалась толстой, относительно толстой. Я тоже был так себе едок. Бабушка вздохнула. Я прислонился головой к её мягкому плечу. Так мы и сидели, ещё не засыпая, следили, будто исподтишка, за товарняками и электричками, поглядывали, как мерцают загадочные разноцветные огни на железнодорожном полотне, и слушали, как лаются на непонятном жаргоне в мегафоны, казавшиеся тут всемогущими властителями, невидимые диспетчеры.

На город быстро спускался вечер. Тени от проводов проплывали по асфальту в свете проезжающих фар. Где-то совсем вдалеке шумела кабацкая музыка.

Зазимки

«Всё обледело с размаху...»

Б.Л.Пастернак

В юности своей, а точнее в позднем детстве – пожалуй, тот самый возраст, в котором я предстаю в ранее описанном эпизоде – я часто, даже слишком часто, помышлял о побеге.

Все мальчишки хотят бежать. По крайней мере, у детских литераторов и обслуживающих их литературоведов сложилась такая стойкая легенда.

Я хотел не просто бежать. Я хотел бежать, чтобы вернуться. Мне уже тогда казалось всё это невыносимым. Я не видел выхода из лабиринта.

Я думал, что во всём виноват город. Стоит мне разорвать его цепи, и я стану свободным. Я хотел бежать в лес. Мне не давали. Не пускали меня те люди, которые меня больше всего любили, то есть мать и бабушка.

Это было тяжёлое испытание. И для меня, и для них. Они победили. Но это была Пиррова победа. В каком-то смысле я всё-таки убежал. То есть стал взрослым. Возненавидел уют родного крова, оторвался от родных. И сумел по настоящему

возлюбить ещё что-то.

О, это удел всех юных! Увы, опять-таки не всех. Судьба избавила меня от скучной участи мамино сына, но бабушкиным внуком я остался ещё и до настоящего момента.

Отчего же убежал мой герой? От пошлости. А под пошлостью я подразумевал в первую очередь секс, отделённый от любви. В одной из поэм я описывал какую-то ужасную пьянку, в которой все опились, облевались и целовались между собой без особого разбора. В юности во мне очень сильны были обличительные тенденции, вероятно, из-за того, что я не пользовался удовлетворительным спросом со стороны женского пола.

Ну а ещё, как бы убивая двух зайцев, мой герой бежал от неразделённой любви. Почему-то считалось – в соответствии с ни на чём не основанной, но вполне уверенно сложившейся в моей голове парадигмой – что это парадоксальное бегство должно привести к успеху. Под успехом подразумевалось моё триумфальное возвращение в общество, где я сразу обрету любовь раскаявшейся в своих ошибках суженой и устойчивое положение, которое всем прочим подобает поднести и бросить под ножки Победителю.

Такой проект, конечно, не мог не вызывать некоторых сомнений даже у его смелого создателя. Сколько лет придётся сидеть в лесу? Удастся ли там выжить? И каковы гарантии, что все желания в реальности исполнятся?

Но я успешно отгонял от себя все эти и подобные им ма-

лодушные вопросы, и продолжал ваять в душе обелиск прошедшему все испытания и получившему все блага Триумфатору.

Тем усиленнее шлифовал я бока своему кумиру, чем менее обстоятельства моей жизни хоть каким-то боком давали мне основания надеяться на хорошее.

Итак, поскольку мероприятие с самого начала получало ореол трагической безнадёжности, оно хотя бы внешне должно было выглядеть как можно более привлекательным. Тут уж ничего лучшего не придумаешь, чем романтика и фантастика, кто бы что в разные эпохи ни подразумевал под этими двумя расплывчатыми терминами.

Летом ещё понятно, что делать в лесу. Можно питаться грибами и ягодами. Если есть река и рыболовные снасти, можно ловить рыбу.

Но зимой, при нашем климате... А я ведь имел в виду именно наш, русский, лес, даже преимущественно сибирскую тайгу, а вовсе не какие-то там индийские джунгли.

Тут выходила неувязочка: как я там буду? Смогу ли пережить хоть одну зиму? Ведь я не намериваюсь жить в деревне, а вовсе хочу порвать с людьми.

Перебирая возможные варианты, я остановился на медвежьем. Может, получится хотя бы часть зимы проспять?

Но берлога слишком похожа на могилу. От земли тянет холодом. Брр! Если уж я туда лягу, то наверняка весной не встану или весенними водами меня затопит. Сами подумай-

те, велико ли удовольствие выбираться из ямы, затопленной талым льдом пополам с грязью?

С другой стороны, как впрок не утеплийся, достаточного количества вещей с собой всё равно не унесёшь. В палатке костёр не разведёшь. Снежные хижины я строить не умею, да и не очень верю в них. Вспомните хотя бы лисичку из сказки. Плотницкому ремеслу не обучен и не хочу учиться. Деревья рубить жаль. Охотиться не хочу, зверей жаль. И нет ружья. И нет разрешения на ружьё. Нет даже охотничьего ножа. Вот это жаль!

Короче, остаётся только берлога. Но не на земле, на дереве. Я всё-таки неплохо знаю биологию. Прячутся же там всякие более мелкие звери – сони, например, точно впадают в спячку, на то и сони.

Вопрос только в том, где найти такое дупло, чтобы в нём уместиться? Вот проблема. Или предварительно надо как следует похудеть? С этим проблем не будет, если победовать некоторое время на подножном корму. Так что, всё удовлетворительно решается – как-нибудь втиснусь. А уж вылезу-то тем более.

Надо всё-таки только как можно более утеплиться. Ну там, все возможные тряпки – само собой. Но ещё и трава, т.е. сено и мох, т.е. сфагнум и ... Что найдётся, то и использую. Жаль, конечно, костра там нельзя будет разжечь. Дупла у нас такие могучие не бывают. Тут тебе не баобабы. Разве что – в дубе? Конечно – только в дубе!

Я всё пытался представить себе такое дупло. Но всё, что успел я разглядеть в нашей бедной городской жизни, это зияющие пустоты в основании умирающих от старости и людского внимания вётел. В этих пустотах, несколько скрючившись, вполне можно было поместиться, но оттуда обычно разило мочой и другими нечистотами. Это несколько портило впечатление.

Помнится, я жадно перечитывал в детской энциклопедии те места, где описывались супердеревья, в корнях одного из которых была сделана арка для проезда машин, а на пне другого устроена танцплощадка. Но, увы – всё это было только в Америке.

Я же уже тогда не мог отступить от своего патриотизма. Сибирь – так Сибирь.

И вот мой герой в дупле. Он залез туда заблаговременно, как только начало холодать и в лесу кончились последние грибы. Наверное, он просидел там с месяц-полтора, пытаясь спать, чтобы не испытывать муки от холода и голода. Вероятно, это всё-таки как-то ему удавалось, т.к. в противном случае мы бы вряд ли застали его живым.

Итак, герой спал, а в лесу настала зима, настоящая зима. Т.е. выпал снег и ударили нешуточные морозы. Казалось бы: тут-то как раз спать да спать, крыться от греха в самую глубокую диапаузу. Но не тут-то было. Что-то будит нашего героя, какой-то звон. Внутренний или внешний.

Непонятно. Но странная тревога заставляет его проснуть-

ся в самый неподходящий момент. А может быть, если бы не это неожиданное пробуждение, он бы уже замёрз? Может, сработал некий предохранитель, а значит – необходимо размяться, немного поесть? Хотя бы снега погрызть, чтобы утолить жажду и избежать обезвоживания организма?

И кто же, кто, в конце концов, разбудил героя? Тут не обошлось без мистики, без сил леса, которые являются амбивалентными, т.е. не то чтобы совсем добрыми, не то чтобы совсем злыми.

И это были не банальные старички-лесовички и кикиморы, а совсем необычные, ранее не известные герою даже из сказок, существа, которых здесь уместнее всего будет называть Зазимками.

Они смеялись, катаясь по свежему, ещё неглубокому, но уже жёсткому, а потому хрустящему, снегу, и похохатывали. Кататься было удобно и привольно, потому что формой они были похожи на яйца, особенно когда прижимали к туловищу мохнатые руки и ноги, а кругом, рядом с дубом, где почивал герой, было полно всяких ямок, пригорков да кочек.

Из дупла же можно было выглянуть на довольно обширную и, ещё более как будто расширившуюся от белизны снега, поляну, где и бесновались Зазимки.

Поначалу герой принял их за медвежат. Но потом испугался. А потом его пробрал озноб. Да такой, что уже не до мистического созерцания и эстетизма ему стало. Он как мешок или сам как яйцо, выкатился из гнезда, довольно больно

плюхнулся на корни и покатился вниз, и стал кувыркаться и ухахатываться вместе с Зазимками. Только так можно было согреться.

Через полчаса или через час всё пришло в норму. И Зазимки исчезли, сделав своё дело, т.е. побудив героя к действию. Герой согрелся и остался один в лесу. Он озирался вокруг совершенно новыми глазами. От него теперь – и не только изо рта – валит не кончающийся пар. И – словно этот самый пар застывал на окрестных деревьях инеем. Деревья же свешивали к нему свои ветви, словно белые кораллы.

Нужно было что-то решать...

Интерлюдия

«Нет убедительных доказательств необходимости любить...»

Б.Паскаль

Всегда нужно что-то решать. Но не всегда хочется. Всегда костеришь себя за лень, и снова откладываешь на завтра. Но и если поторопишься – что в конце концов сделаешь? Что можно сделать, если ничего нельзя сделать? С собой покончить? Тоже мне – выход.

Так вот: я этого и жду, я сижу и жду, я лежу и жду, я сплю и жду...

И во сне я...

Есть такие способы движения, которые для человека до-

ступны только во сне. Говорят, что можно себя запрограммировать на полёт. Мне это представляется нечестным. Если ты без всякой предварительной программы во сне не летаешь – значит, тебе некуда летать и незачем. Значит – ещё не пора тебе лететь.

Я убегаю сам от себя. Говорят, от себя никуда не деться. На первый взгляд – так. Но что-то во мне противится. Должен, должен быть какой-то выход. Надо только подождать. Или уже сейчас начать рыть... Вот только где?

«И где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Кажется, что сейчас-сейчас пойму. Уж очень прозрачно стих этот евангельский на мою ситуацию намекает. Я уже очень близко. Но то ли ещё окончательно не проснулся, то ли наоборот окончательно не заснул. Я и с открытыми, и с закрытыми глазами вижу плохо, опять-таки пользуясь новозаветными терминами, «как бы сквозь мутное стекло».

Возможно ли преодоление этого унижительного состояния? Но, может быть, состояние это не такое уж унижительное? Как у всех?

А что мне за дело всех? Кто они? Я уже не знаю. Есть ли они? Только молва о них идёт. Вдруг она идёт только в моей голове? Вдруг я солипсист? Но даже в этом, предельном, случае надо что-то решать.

Я не знаю, что мне делать со *всеми*. Но с *собой*-то мне что делать? Вот вопрос. Я не столь наивен, чтобы предполагать, что я могу не быть. Быть. Но *как быть?*

Пришёл бы кто-нибудь из этих *всех* и стукнул бы по моей голове деревянной киянкой! Такой киянкой – командиры успешно вправляют неумеренно залихватски выгнутые наружу кокарды на ушанках подчинённых. Ум мой лезет из меня подобно такой кокарде, как грыжа, горит на моём лбу, как звезда. Не дьявольская ли это программа? Свят! Свят! Свят!

Всё в конце концов должно быть уплощено, возвращено в привычную плоскость. Я прорезался как барельеф, но всё ещё никак не могу обрести полного объема. Жалкий плоскостик!

Это на философском языке называется трансценденцией. Вот – чего мне не хватает! Эко – чего захотел!

Что же, что может помочь человеку трансцендировать? Ну? Кажется, я догадываюсь... Вы тоже уже догадались? Это так просто, но так больно.

Позор

«...тем самым Гитлер лишился ощущения реальной действительности...»

Э.Маништейн

И опять началась война. На этот раз с Китаем. Всё с самого начала было безнадежно. Мы пропустили нужный момент, когда ещё можно было пойти на переговоры. Наверняка добились бы уступок. Но теперь...

Солдаты, мёртвые и живые, лежали в окопах, до половины наполненных талой водой со снегом. Там же плавало дерьмо. Всё это соответствующим образом пахло.

Военные действия велись неспешно, так неспешно, что казалось, все мы за это время успеем умереть. Для китайцев такая стратегия была выгодна, т.к. их было значительно больше, им можно было просто подождать.

Хорошо ещё – я был каким-то маленьким начальником и не в пехоте.

В казарме, впрочем, вполне чисто. Койки – в один ярус, ровными, по ниточке, рядами – по обе стороны от широкого прохода. В этот час тут было совершенно пусто.

Вид белоснежных накрахмаленных простыней отвлёк меня от дела, по которому я собственно забежал сюда. Пакеты, канцелярии, штаб, майор и прочая – проносились в моём мозгу каким-то серым туманом. Вдруг всё улеглось. Я поправил планшет у себя на боку, не понимая, что это такое.

В горле образовался небольшой, но вполне ощутимый комок. Скорее – повод прокашляться, чем тоска по дому. Но я почему-то не прокашлялся, а постарался вспомнить дом. Из этого ничего не получилось. Глаза были абсолютно сухи – даже пальцем из них не выдавить слёз. Векам стало больно от шершавых подушек пальцев.

Я углубился в узкую гавань между двух рядом стоящих коек. Я ещё не знал, зачем это делаю. Всего за минуту до этого или за десять минут у меня были совсем другие мысли.

Понятные и совсем другие.

Я оглянулся – нет ли кого в казарме? Прислушался. Всюду было тихо и пахло свежесмытым деревянным полом. Разве что где-то в неугадываемой дали, работала какая-то машина, скорее всего, что-то отсасывал насос. Даже часы не тикали.

Я обернулся лицом к проходу и присел. Мне захотелось спрятаться за этими, свисающими с обеих коек по углам, простынями. Мне даже не пришло в голову, что постели в казарме были застелены каким-то особым, не совсем солдатским стилем.

Я снял штаны и... Я не мог удержаться. Не припомню, что я ел, не припомню, чтобы у меня было что-то похожее на понос накануне. Сначала ещё я как-то пытался дозировать то, что из меня выходило, но потом сдался. Вышло всё, всё что могло.

Я не стал смотреть на пол, а лишь инстинктивно пошире переступал, чтобы не вляпаться. Кажется, брызги попали мне на щиколотки. Бумаги не было. Я меланхолично посмотрел на планшет.

Мне даже странно было, отчего я не пугаюсь. Я прислушался, ожидая уловить чьи-нибудь приближающиеся шаги, но, честно говоря, мне было всё равно. Мне не было стыдно, или почти не было.

Почему-то я знал, что меня не засекут. Никого здесь нет. Я могу не торопиться. Уйду когда захочу. Я даже наслаждался своей безнаказанностью.

Пусть потом думают кто что хочет. Это не моя война и не моя казарма. Я был здесь случайно, это всё мне кое-что напоминало... А дальше? Что дальше?..

Цветы

«Огнём дохните, и конец цветам...»

И.В.Гёте

Тема дерьма нерасторжимо связана не только с золотом, но и с цветами. По этому поводу нелишне будет рассказать ещё одну притчу.

Случилось так, что двое полюбили друг друга. Это были очень молодые люди. Вероятно, студенты. Она – этакая эфемерная блондиночка в голубом пальто, серёжки колечками, и такие же, как пальто – пронзительно голубые глаза. Он – довольно высокий, жилистый, русоволосый, с глазами цвета зеленого чая, несколько неуверенный и неуклюжий в движениях. Трудно сказать, кто из них влюбился сильнее! Это был редкий случай. Тот случай, когда Господу угодно, чтобы двое сразу соединились и навсегда.

Тут не было долгих ухаживаний с его стороны. Не было хитроумных попыток обратить на себя внимания – с её. Никакого соперничества. Вообще – почти никакой интриги.

Они просто встретились. Кажется, это произошло в музее. Просто начали говорить. Вышли вместе, пошли по ули-

це, взялись за руки, а когда расставались, не только обменялись телефонами, но и поцеловались, в губы. В общем, ничего особенного. Если не считать того, что они увиделись снова уже на следующий день, хотя и жили на разных концах города.

Не знаю, сколько времени прошло. Но было лето, когда они, встретившись в Ботаническом Саду, стали мужем и женой. Цветы и деревья были тому свидетелями. И даже пыливый милиционер не вмешивался в таинство, а ходил поодаль по тропинке, словно охраняя влюблённых.

А может быть, у них ничего и не произошло. Может быть, и не было того, что на скупом языке протоколов называется связью или интимными отношениями. Может быть, и не целовались. Может, только бабочки над ними порхали – устраивает?

Так или иначе – они вступили в брак, но не могли скрепить его печатью в гражданском учреждении или освятить в церкви. На то были свои причины, а уж насколько они были объективны – не нам судить.

И он и она побаивались родителей, которые наверняка стали бы досадовать на столь раннее образование семьи и ратовали бы за продолжение учёбы. Ибо их чада должны быть – лучше их, умнее их, счастливее их...

Может быть, его забрали в армию. Он ведь из-за пожаром разгоревшейся любви, наверно, совсем забросил учёбу. Может быть, она забеременела. Хотя вряд ли. Ведь не было у

них ничего.

Она, может быть, попала под машину. А он просиживал ночами в приёмном покое и умолял, чтобы у него взяли для неё кровь. И ни один врач не мог объяснить ему, что группа не подходит. Или нет – в таких случаях группы должны совпадать.

Потом, при вскрытии, оказалось, что она таки была беременна. Ему не сказали. Но он случайно узнал. Мать погибшей во всём обвиняла «жениха», чуть не сошла с ума. Он хотел идти на войну или покончить собой. Начал пить.

Скорее всего, его убили на войне. Или вовсе уж банально – замочили деда', где-нибудь в сортире. Или нет – он умер с голоду, забытый офицерами на «точке»...

В общем, он умер и она умерла. Но любовь... Никому и при жизни до них не было дела. Разве что – родителям и немногочисленным друзьям. А уж после смерти – все поплакали и почти забыли.

А эти двое не могли оказаться ни в раю, ни в аду. Слишком их тянуло друг к другу и на место их «преступления», хотя можно ли, даже взирая со строгой христианской колокольни, назвать преступлением чудо, в результате которого двое становятся одним. Может быть, как раз из-за несоблюдения традиций и приличий они не сумели совершенно слиться и объединиться при жизни? И теперь мучились – два одиноких, но вечно влекущихся и влекомых друг к другу, призрака.

Это была великая песнь цветов. Торжественная и пронзительная. Там, где цвели целые поля – тюльпаны, розы, георгины – теперь там не было ничего – лишь мерзость и запустение. И лишь старый-престарый мусорный бак, покрытый многократно облупливавшейся грязно-зелёной краской, напоминал, что здесь сажали и выращивали цветы. Один из букетов, уже совершенно завядший, длинноногий – то ли не уместился внутри бака, то ли просто был неряшливо переброшен через его бортик. Истрёпанные мёртвые растения сломались пополам. Вокруг пахло тлением. А на поле, где когда-то росли розы, стлы каменистые кочки.

Вот тут они и встретились, им теперь вовсе уж ни к чему было бояться милиционера или какого-нибудь пенсионерского самосуда. Даже если бы все прогуливающиеся в парке хором напрягли свои душевные очи – ничего бы они не увидели. Ибо действие происходило не для них. Роман касался лишь двоих, лишь того, что они друг другу недосказали.

Остальные же участвовали в эпилоге трагедии только как статисты, точно так же – как шелестящие осенними кронами деревья и замерзающая на корню под первым инеем трава.

И мне не дано было видеть призраков. Но я знал, что они есть. Они гуляли и не могли нагуляться по этому брошенному полю. И птицы летали над ними, вороны и воробьи, зимние птицы. И одинокая снежинка кружила над полем.

И так хотелось плакать – когда знаешь всё это, чувствуешь всё это, не видишь всего этого – что музыка сама собой рож-

далась из сомкнутого горла. И песнь звучала. И улетала она хоральными открытыми тонами в бесконечно тоскливое серое, истерзанное ветром, небо, где облачка казались хилыми тампончиками, скрывающими ужасные чёрные раны.

И только в час заката на землю нисходило примирение. Призраки разнимали руки и смотрели друг другу в несуществующие глаза. Он любил её, а она его. И это продолжалось. Выглянувшее на мгновение, солнце награждало пространство червонно-золотым поцелуем. Вдруг делалось тепло, вдруг у любого, кто присутствовал на поле, появлялось предчувствие, что сейчас, вот-вот, он заметит на земле человеческие тени. Но солнце скрывалось, а ветер, пришедший ему на смену, был уже не так зол. В нём была какая-то свежесть и надежда, хоть и царапал он живые щеки наждачной варежкой.

Крест

«Кто скажет мне,

Куда ушёл мой друг?..»

Ли Бо

И вспомнилось мне ещё одна притча. Про городского сумасшедшего. Он не особо выделялся своей одеждой и манерой поведения. Но вдруг – вдруг им овладела странная и

опасная идея. Никто не знает, как долго зрело в нём решение, но в один прекрасный (или злосчастный) день он решил обзавестись оружием, желательно автоматом.

В те поры, когда всё это происходило, автомат не был такой уж недоступной вещью. Требовались только деньги и некоторая настойчивость в поисках. И пусть деньги для простого смертного были немалые, и сам факт ввязывания в такую авантюру явно грозил плохим концом – нашего героя ничто не пугало. На то он и сумасшедший.

Есть такая теория. О том, что дети с ослабленной и замедленной сердечной деятельностью более склонны к агрессии. Им якобы требуется дополнительная стимуляция, чтобы ощутить возбуждение, т.е. иначе говоря, полноту жизни. Так вот, возможно наш герой был из таких. Из таких вырастают всевозможные убийцы и герои. Хотя это всего-навсего и теория, а все теории – в приложении к реальности – как правило, оказываются чушью собачей.

Но мы так и не выяснили, что же такое реальность, поэтому – не будем об ней... Для героя – реальностью было то, что он знал. Если бы он не убедился (для себя) в реальности собственных подозрений, то уж наверняка бы не взялся за такое серьёзное дело, как поиски оружия.

Долго ли коротко ли, но желание его было удовлетворено. Естественно, близкие друзья отговаривали героя от совершения столь опрометчивых поступков. Оружием в основном пользовались если не солдаты, то бандиты и милиционеры.

Как бы там ни было, все описанные категории не пользуются уважением и являются маргинальными для нормального интеллектуального общества.

Но он пустился во все тяжкие: дай ему автомат и баста. Вспоминается одна песенка, которой открывался на титрах некий советский фильм. Впрочем, ничего забавного, кроме этой песенки, в том фильме не было. Некий мальчик там просил купить своего папу, вероятно американского миллионера, автомат. Так и говорил: «Купи мне автомат, и баста!». И даже намёкал, что до тех пор, пока его желание не удовлетворено, он не видит никакого смысла в своей жизни.

Разумеется, имея папу-миллионера, гораздо легче удовлетворить безумные желания. У нашего героя с этим были проблемы. Папа, хотя был и не из пролетариев, но зарабатывал по мировым стандартам мало, возможно, рано бросил семью, где развивался мальчик, возможно, к тому моменту, когда всё это происходило, уже отдал Богу душу, царство ему небесное.

В общем, всеми правдами и неправдами, "мальчик" сумел достать автомат. И даже ухитрился избежать немедленного задержания милицией, которая, кажется, только и ждёт, когда ей попадётся подобный олух, чтобы хоть немножко улучшить свою дутую отчётность.

А автомат описываемому персонажу нужен был – как вы думаете – для чего? Для того, чтобы бороться со злом. Но не с каким-нибудь маленьким злом, в лице вредного сосе-

да или начальника, в лице соперника по любви или кого-нибудь грабителя-обидчика. Нет, героя волновали гораздо более глобальные проблемы. То зло, с которым он хотел сразиться, в контексте сего сочинения вполне уместно было бы писать с большой буквы. Да-да, он намеривался помериться силами с самим дьяволом. Ну, если ни самим дьяволом, то с его наместниками, теми управляющими, которые правили бал как раз в то время и в том месте на земле, где находился наш «автоматчик».

Очень долго можно описывать, каким образом герой вычислил точное место. Время, конечно, не менее важно. Допустим, это было провидение. Должен же кто-то сразаться с нечистью – кого-то же Бог сподобляет.

Может быть, это появилось у него уже в детстве, или ещё раньше – при рождении, при зачатии. Некое зерно, которое не могло не развернуться и не дать ростка, ростка, который должен был побудить его к действию.

Место, впрочем, было выбрано почти безопасное для окружающих. Некое поле, далеко к югу от Москвы. Весьма живописное и весьма безлюдное место. Настолько живописное, что, увидев его, многие недоброжелатели тут же в голос бы заговорили о несерьёзности героя. Мол, всё это он придумал только для того, чтобы проводить больше времени на природе. Ну, а автомат? Наверно для того, чтобы охотиться на зайцев. Или на бабочек. Мало ли извращенцев.

Когда герой, наконец, получил в свои руки долгожданное

оружие, он и обрадовался и прослезился одновременно. Может быть, он сам бессознательно оттягивал до сих пор этот момент. Теперь всё ясно. Враг силён. Настолько силён, что лучше со всеми попрощаться заранее.

Мало кто его понимал, даже близкие друзья – не очень. И он больше не просил их о помощи. Они же, те, кто знали, утешали себя тем, что в чистом поле с их мечтателем-другом вряд ли что-то может случиться. Но может быть, таким красивым способом он всего-навсего решил покончить с собой? Возникал ехидный вопрос: не стоит ли молодому человеку обратиться к психиатру? А может: сдать его властям, и хотя бы таким образом уберечь от самого себя? Но благо, в нашем народе ещё сохранилось патриархальное мнение, что доносить на ближнего своего – грех. Уж слишком сильные сделаны нам были в недалёком прошлом прививки. Друзья смотрели на мечтателя с грустной улыбкой: чем бы дитё не тешилось... Он ведь был хорошим, они любили его, да и он их любил. Раз пришла такая блажь – что тут поделаешь.

У героя была любимая девушка. Герой был молод, как и подобает герою. Но с девушкой у него что-то всё никак не ладилось. Тот факт, что он ещё не успел обзавестись семьёй и родить детей, конечно, не освобождает его от ответственности, но несколько смягчает вину.

К своей девушке он пришёл проститься в последнюю очередь. Она его совсем не ждала и, как всегда, была не слишком рада визиту. Ей не импонировала его экстравагантность,

она не видела в нём необходимой для брака надёжности. И вообще, он ей не нравился. Однако из её поклонников он был самым настойчивым и постоянным. И потому она всё-таки временами склонялась к мысли о том, что нужно, наконец, ответить ему хотя бы показной взаимностью.

Герой, ощущая, что его не любят, страдал. Может быть, это и было одной из скрытых причин его странного поведения? Но, оставив в стороне психологию, вернёмся к мистике. Отчего бы герою, например, перед столь сложным предприятием не посоветоваться со своим духовным отцом? Неважно, к какой он относится конфессии – везде нашлись бы люди, готовые наставить на путь истинный.

Он остался один. И не то, чтобы был атеистом. Какой уж тут атеизм, если учитывать, с кем он собирался драться. Наверно он был не прав, но поспешим ли мы осуждать такого, как он?

И на следующий день после того, как он простился с девушкой, он исчез. Девушка ничего не поняла, только рассердилась, когда услышала, что с ней прощаются навсегда. У неё-то были другие планы. «Ну и ладно», – подумала она, и ей даже стало легче, хотя она для порядка и поплакала, потом, вечером, когда никто не видит.

У друзей были дела и они хватились слишком поздно. Но что можно было сделать раньше? Запретить? Посадить под замок? Уговорить его уже никто не надеялся.

Они подумали, что он просто уехал куда-то. Скоро вер-

нётся. А может быть, уехал за границу. Впрочем, это было самое глупое предположение. Герой был патриотом и почвенником.

Один из его друзей, не то чтобы самый близкий, но самый религиозный, всё никак не мог найти себе места после разговора с героем. Тот разговор тоже случился в последний день, непосредственно перед тем, как герой направился к девушке.

Он горячо объяснял другу свои планы. Зло невозможно терпеть, оно должно быть побеждено. А он, именно он, знает место и время, где можно с ним встретиться лицом к лицу. Возможно ли ещё рассуждать?

«Пусть так, – возражал религиозный друг. – Но почему ты уверен, что на злых нелюдей подействуют обыкновенные пули? Разумнее было бы предполагать обратное. Не лучше ли бороться с чертями по старинке, постом и молитвой, как это делают монахи?»

Герой со всем соглашался, но твердил, что каждый должен бороться со злом всеми известными и доступными методами. Он не монах, а воин, и выпало ему бороться с чертями с автоматом в руках, хотя, разумеется, ни постом, ни молитвами он пренебрегать не собирается. А пули он отлил серебряные, на всякий случай.

Религиозный друг возразил, что, может быть, нечисть его специально подобным образом морочит и провоцирует. Что, может быть, ей только того и надо. Вдруг он, ослеплён-

ный видениями, перестреляет каких-нибудь невинных животных, или, не дай Бог, людей?

Герой же сказал, что почему-то уверен, что в худшем случае повторит один из подвигов Дон Кихота, только на современный манер. А в лучшем... Но перестанем шутить.

На этом они и расстались, пожав друг другу руки, ибо оба спешили. О многом можно было бы ещё поговорить, но у нас вечно не хватает времени на дружеские беседы. И потом ещё неизвестно, на что мы досадуем больше: на то, что мало общаемся или на то, что мы такие разные и общение часто скорее раздражает, чем утешает душу.

Через три дня религиозный друг с нешуточной силой почувствовал неладное. Его мучила совесть, что он оставил своего ближнего одного перед лицом такой страшной, пускай и выдуманной проблемы. Ведь герой ни один год звал его съездить на то место, рассказывал всякие чудеса, с ним связанные, призывал удостовериться. Но ехать нужно было далеко и непонятно собственно зачем.

Только за тем, чтобы удовлетворить невероятные амбиции милого фантазёра? Или для того, чтобы переубедить его? Нет, такого не переубедишь. Он даже очевидные факты будет трактовать по-своему. У каждого ведь свои глаза.

С ним было приятно общаться, но некогда. У него была слишком свободная жизнь. А тут – примерный семьянин и работник. Всегда найдётся, как использовать свои короткие выходные более продуктивно. Необходимо, например,

ходить в церковь. Он это чувствовал. И в душе осуждал легкомысленного друга-воина, который церковь почему-то не посещал.

Как раз был подходящий день. Примерный семьянин и работник исповедался и причастился, а уж затем начал обзванивать родственников и прочих друзей человека, с которым, как он всей душой чувствовал, приключилось-таки что-то недоброе.

Позвонили и девушке, которая видела мечтателя последней. Она чуть не бросила трубку в самом начале разговора, но потом всё-таки рассказала всё, что ей известно. Т.е. почти ничего. Такие пустяки её не очень волновали. Религиозному другу захотелось своей рукой убить эту девку, хотя он сразу же осудил себя внутри за такие греховные помыслы.

Общими усилиями он и ещё несколько друзей героя (никто из них без него между собой раньше почти не общался) – они сумели вычислить приблизительный маршрут, по которому мог направиться исчезнувший. Кто-то из них припомнил от руки нарисованную карту, которую герой неоднократно совал им под нос.

Наконец, спустя ещё несколько дней, несмотря на то, что были всё ещё будни, решили ехать. Стояло почти лето. Самая сладкая пора, жаркий май. К югу же от Москвы, где предположительно пропал герой, всё это вовсе могло сойти за июнь.

У них ещё была жива надежда, что мечтателя повяза-

ли где-нибудь по дороге за ношение несанкционированного оружия. Однако все они припоминали, каким он мог вдруг становиться хитрым и осторожным, если это ему было необходимо.

Религиозный друг и ещё двое других взяли отгулы на работе. Почти всем это стоило неприятностей, но теперь они ощущали себя правыми, и это чувство, что делаешь правое дело, далеко превышало на весах все возможные бытовые и карьерные неприятности.

Стояла неправдоподобно прекрасная погода. Едучи в полупустой электричке и обозревая обочины, они восторгались и корили себя, что до сих пор ещё никто из них не поддался на уговоры общего друга, и не отправился с ним туда, куда они нынче ехали. Может быть, тогда всё было бы иначе?

Но что с ним, в самом деле, могло там случиться? Не такой же он дурак, чтобы стрелять себе в голову? И стоит ли для этого тащиться так далеко? Всякое бывает... Знали ли они его достаточно хорошо? Но поверить было трудно.

Когда они вышли на нужной станции, день уже начинал клониться к вечеру. Но до темноты даже здесь, на недалёком юге, было ещё очень далеко.

Они пошли по плану, который создали вместе, вспомнив каждый что-нибудь своё. И к их удивлению, план этот вполне помогал им в передвижении. Например, сразу была найдена тропинка, про которую, как выяснилось, всем им говорил их общий друг. А потом нашёлся источник под горой, о кото-

ром он тоже всем им говорил. У них стала крепнуть уверенность, что они отыщут его. Если не его, то хотя бы место, где он предположительно должен находиться. Но, может, он их обманул? Преднамеренно ввёл всех в заблуждение? Чтобы его никто не искал? Или искали, да не там?

Конечно, их мучили и такие сомнения. Ведь никому неохота было тащиться по такому пустому поводу в такую даль, к тому же рискуя своей репутацией на службе и в семье.

Но воздух в этих полях и перелесках был воистину пленительным. Уже зацвёл шалфей и земляные орешки, травы о существовании которых друзья до сих пор даже не догадывались. Ветер доносил запахи навоза и гнилой соломы, но и они на фоне открывшегося вдруг холмистого раздолья казались таинственными и очаровательными.

– И с чего он взял, что здесь водятся черти? – сказал один друг.

– Черти знают, где им обосноваться, – сказал другой.

– Да уж, плохое место не выберут, – завершил религиозный.

И дальше они шли молча по узкой, неведомо кем утоптанной, тропинке, гуськом. Поднимались и спускались, минуя пологие травянистые холмы. Кругом никого не было – ни зверя, ни человека.

Места были довольно однообразны. Надо сказать, что они были однообразно красивы. Такова русская природа. Эти берёзки и кусты, ветви которых, словно косу, заплетает души-

стый ветер... Пиши сколько хочешь пейзажей или лирических стихков.

Все сошлись на том, что идти от станции нужно несколько километров. Сошлись и в направлении – северо-восток. Вспоминались и кое-какие приметы, вроде отдельных возвышенностей или деревьев. Но никакой уверенности не было. Решили присесть отдохнуть и обсудить положение, заодно и перекусить.

Понятно, что нужно было спешить, но куда? Ведь наобум можно забрести вовсе в сторону от цели.

Ели бутерброды. Нашлось и вино, и чай из термоса. Жаворонки звенели у них над головами, и от них делалось ещё тревожнее. Выпили за удачные поиски, за то, чтобы оказался жив. От третьего захода религиозный друг отказался. От алкоголя у него начинала болеть голова.

Если он жив, то стоит ли его здесь искать? А если... Эта мысль пришла им всем одновременно, вернее она всплыла оттуда, где её они до сих пор удерживали, точно поплавок в темноте под водой. Они ещё не успели доестъ. На запах...

Конечно. Если он, не дай Господи-Боже, погиб, то это скорее всего произошло не сегодня. Не сидел же он здесь в ожидании своих чертей неделю? Тогда где-то здесь должна быть его палатка.

Они засуетились, встали, собрали вещи. Куда идти? Место было похоже на то, которое описывал им не раз их друг. Но здесь было столько похожих мест!

И тут одному из них – ибо все они стали приноховаться – показалось, что он чует. Конечно, это могло быть какое-нибудь полуразложившееся животное, например, собака.

Они пошли на запах. Но ветер морочил их. Они долго кружили по холмистым полям. Вспотели и устали – почти все они обулись в слишком тяжёлую обувь. И тут кто-то вспомнил, что *место* должно быть плоским. Друг описывал его как чашу, вернее тарелку, плоское округлое пространство среди невысоких кочек, поросших кустарником. Им показалось, что именно в таком пространстве они сейчас и находятся. Еле заметную тропинку, по которой они шагали, перебежал опрометью небольшой заяц. Они остановились. Может быть, это был знак?

– Вот он! – вдруг заорал один из них.

И все сразу почувствовали, как запах усиливается, лавиной. Теперь уже никто не сомневался, что это запах тления и что речь идёт о ком-то мёртвом. Погода и все предыдущие дни стояла погожая, почти жаркая. На таком солнце он должен был уже достаточно хорошо разложиться.

– Это он, – сказал тот, что кричал.

– Ты уверен? – спросил религиозный, который не доверял своему зрению.

Они подошли ближе. Удивительно было, как они раньше его не заметили. Кружили где-то рядом. И тут же один из них ударился мыском ботинка обо что-то твёрдое.

– Пуля, – сказал он и подобрал из травы расплюсченную

металлическую бляшку.

– Серебряная, – полуспросил религиозный.

Они подошли ещё ближе. Запах стал невыносимым. Они поневоле отворачивались и зажимали носы.

Он лежал на спине, крестом, широко раскинув руки. Он смотрел бы в небо, но глаза уже успели выклевать во'роны. Почему-то сейчас их не было поблизости.

Религиозный, учащённо дыша, вытер пот со лба тыльной стороной руки.

– Это он? – спросил он.

– Похоже, – сказал тот, что кричал.

– Что будем делать? – спросил третий.

Они, не сговариваясь, отошли подальше, навстречу ветру. Садиться как-то не хотелось, смотреть в сторону трупа – тоже. Всеми овладела растерянность. Что хотели, то и получили – что дальше?

Каждый из них представлял себе сейчас, что тут случилось. Отчего погиб герой? С кем он вправду сражался? Может быть, это была группа каких-нибудь вооружённых бандитов?

Об кого он расплющил пулю? – спрашивал каждый себя в душе своей. И каждому представлялась армия монстров, наступающих на героя, который залёг за травянистыми кочками со своим жалким автоматом. И вот он палит, палит, палит серебряными пулями... Сколько было у него обойм? Откуда он взял столько серебра?

А может быть, они и не нашли его, не стали искать. Так и пропал он без вести. Так и лежал в поле, пока не превратился в абсолютно чистый скелет, скелет, раскинутый крестом. Автомат, конечно, подобрали добрые люди, если не сами черти. Кто-нибудь из этих добрых людей, возможно, вырыл могилу и похоронил его здесь же. И наверняка он постарался, чтобы не осталось ни холмика, ни какого-нибудь иного знака, отличающего место захоронения. Кому нужен автомат, тому не нужны свидетели. Да и кому не нужен автомат – ни к чему общаться с нечистоплотными законниками – упекут ведь – надо же на кого-то убийство повесить.

Все у нас всё знают. А он знал вот нечто большее, за то и поплатился. И друзья его оплакали. Собрались через год после приблизительной даты предположительной смерти и выпили за него как за живого. И опять религиозный пил мало – голова болела.

А что изменилось в мире? Удалось ли герою хоть немного уменьшить количество зла? Бог весть!

Страх

«Ибо нет спасенья от любви и страха...»

О.Э.Мандельштам

Общество было переполнено страхом. Особенно страшили выходцы с Кавказа, такие чёрные, и на самом деле чем-то похожие на святоотеческих чертей. И носы-то у них крюч-

ками.

Я ехал в трамвае к одному своему другу. Вечерело, но почему-то в вагоне не зажигался свет. Вдруг на одной из остановок зашли контролёры. Их было трое, и, когда я присмотрелся к ним в полумгле, то понял, что это те самые, с Кавказа.

Наверняка, удостоверения у них были поддельные, хотя и говорили они между собой чисто по-русски.

Кто-то стал возмущаться, что его собираются оштрафовать, и посоветовал контролёрам убираться восвояси, т.е. на Кавказ. У меня хоть и был проездной, но душой я не мог не стать на сторону братьев по крови. Ибо, во всяком случае, плохо знаю о своей кровной связи с кавказскими народами, в славянской же своей составляющей – почти уверен.

Тут – как раз, на следующей станции – вошли настоящие контролёры, и ситуация совершенно прояснилась, стала, можно сказать, вопиющей. Больше некому было поддерживать самозванцев, и они, чертыхаясь, стали ретироваться, пытаясь покинуть вагон через одну из дверей. Хотя, вовремя среагировавший водитель уже и прихлопнул все двери, одну из них хитроумный кавказец всё же успел застопорить своей ногой, таким образом оставляя путь на свободу своим подельникам. Общество между тем наступало, и двое, успев воспользоваться расширенной ими совместно лазейкой, прыгнули, когда трамвай притормозил у светофора.

– Деревня! – ругнулся последний из отступающих по по-

воду приближающихся законных контролёров.

И правда, в говоре последних улавливалось как бы гораздо менее интеллигентности, чем в подобных же диалогах кавказцев.

Тут мною овладел праведный гнев. Вскочив, я протолкнул к выходу, отмахивающегося от цеплявшихся за него бабок, наглеца и, схватив его за шиворот, сбросил со ступенек.

Вожатый как раз в этот момент, уже на ходу, приоткрыл дверь. Так что враг общества вывалился мешком прямо на асфальт. Возможно, он даже сломал себе ногу или что-нибудь ещё. Я торжествовал. Все присутствовавшие в трамвае мне чуть ли не аплодировали. Жаль, я не видел их лиц, было слишком темно. Пожалуй, даже темнее прежнего. Мы въехали в какой-то узкий проулок, где было мало фонарей. Настоящие контролёры не стали меня проверять – какой с победителя спрос? Спустия две станции я сошёл.

Всю дорогу, т.е. несколько минут, пока мы ехали после описанного инцидента, мною вместе с оправданной гордостью владело всё возрастающее опасение, что кавказцы могут отомстить. Они ведь вообще очень мстительный народ. Да и вёл я себя, если уж быть до конца откровенным, не совсем благородно. Выставил в спину, и без того уже смирившегося со своим поражением, противника. Конечно, это был полезный пример в том смысле, чтобы показать обществу, что мы *вообще* можем с *ними* бороться. Не надо бояться! Но я боялся. Ещё как!

На нужной мне остановке я сходил как обречённый. Думал – может проехать ещё – запутать следы? Но сошёл – будь что будет. Герой должен играть свою роль. В конце концов, мне надо именно сюда. Почему я должен бояться?

Я ступал вниз по ступенькам скованно, словно металлический робот, боясь оглядываться назад и по сторонам. Отовсюду я готов был получить удар. Сердце ушло в пятки. Я не был готов к борьбе. Даже к бегству я не был готов.

Друг ждал меня на станции, как договорились. Он недавно переехал, и я не знал его нового точного адреса. На остановке он был один. Наконец позволив себе осмотреться, я с облегчением вздохнул. Он, разумеется, не мог предположить, что произошло, и поэтому как обычно шлепнул меня по плечу и предложил следовать за ним. Надо сказать, что мне в настоящий момент как нельзя более импонировала его деловая и быстрая манера – я опасался погони.

Чем дальше мы отходили от трамвайных путей, тем легче делалось у меня на сердце. Друг наверно удивлялся тому, что я молчу и ёжусь всю дорогу.

– Холодно, что ли? – спросил он.

– Что? – вернулся я на землю, – А? Да, холодновато.

Но мне ещё не хотелось рассказывать ему о происшедшем. Может быть, вообще – не стоит.

Здесь стояли довольно старые дома, хотя внутри квартиры были отделаны по-современному. Мой друг был достаточно состоятельным человеком, чтобы поселиться близко

к центру. Когда мы проходили в какую-то арку, я заметил нескольких молодых людей, рассредоточенной группой стоявших впереди неподалёку. Тут поёжился мой друг. Я прищелкнул к парням, но не заметил в них ничего подозрительного – все они явно были не кавказцы.

Вдруг один из них подошёл ближе и, остановившись перед нами, выпятил в сторону моего друга какой-то предмет из-под отставшей полы куртки. Мне уж подумалось – не извращенец ли какой-нибудь? Оказалось – это нож в аккуратном прошитых по краю кожаных ножнах. Во всяком случае, в ножнах угадывалось нечто твёрдое.

Друг сделал полшага назад и вбок от подошедшего человека, и в то же мгновение я различил в руке незнакомого парня тускло сверкнувшее лезвие. Набравшись смелости, я заглянул нападавшему в глаза. Он опустил взор. Вероятно, ему нужен был только мой друг, но не я. Он отступил и спрятался в тени за углом арки.

Мы быстро пошли вперёд, шаги гулко отдавались под сводами. Неприятная компания отделилась заметно в сторону и не помешала нам пройти. Но не успели мы дойти до подъезда, как услышали за спиной ускоряющуюся музыку погони.

Как назло – не работал лифт, а лестницы были по-старинному широкие и шли квадратами, оставляя посередине дырку, в которую, если что, было бы так удобно сбрасывать противника.

Мы побежали вверх. Враги наши, чуть-чуть замешкав-

шлись внизу, последовали за нами.

– Он не будет здесь жить, – шипел один из них. – Думает, будет здесь жить...

– Мы убьём его! – кричал сзади другой, у него срывался голос от спешки.

Мы бежали что было силы.

– Приехал, – причитал кто-то внизу, и эхо гулко отдавалось в украшенных изразцами стенах.

– Нам такие здесь не нужны...

Тяжёлое дыхание погони, казалось, уже выступило горячей росой на наших затылках.

Мой друг всегда был ловок. Он буквально одним движением повернул ключ в замке и открыл дверь. Мы влетели внутрь, будто нас выстрелили из пушки, при этом мы столкнулись, но ухитрились не удариться головами. Дверь тут же захлопнулась. Преследователи остались ни с чем. Они только слышно дышали за железной непреступной плоскостью, как дышат запыхавшиеся собаки, высунув языки.

– Что они от тебя хотят? – спросил я, когда мы разделись и сами отдышались. Оба были мокрые – хоть выжимай, а ведь совсем недавно мёрзли.

– Если я б знал, – печально ответил друг.

Чем он им не понравился? – тут я многое мог бы предполагать. Но это был мой друг, и я должен быть и буду на стороне друга. Такова жизнь.

В квартире у друга уже находилось трое людей, тоже ка-

кие-то его друзья или знакомые. Две женщины и мужик – никого из них я не знал.

Собственно говоря, у меня не было особого дела. Я собирался просто так – посидеть в мужской компании, попить чайку. А тут – и компания оказалась не совсем мужская... Но, может быть, я забыл о нём, о своём деле? Было ведь что-то важное.

Вдруг те трое, что были в квартире, куда-то засобирались. Мы с другом тем временем, и в с самым деле, примостились пить чай за низким и неудобным – на мой взгляд – журнальным столом. Сидеть приходилось прямо на ковре.

Троица же, выйдя в прихожую, вернулась оттуда в одетом виде. Они, оказывается, собирались вовсе не на улицу, а в лоджию – наверно курить. Но когда они уже все вышли туда и закрыли за собой дверь, друг сообщил, что пошли они не курить, а колоться. Для чего нужно было колоться на холоде, предварительно одевшись, я не понял, но спрашивать не стал. Друг мой, насколько я знал, наркоманом не был, а что себе будут там вливать эти мирные жители, меня не особенно волновало.

– Просто у меня там всё лежит, – объяснил друг.

«Конспирация, – подумал я. – Всё равно нелепо...» – и понимающе закивал головой.

Чай был непривычный, с каким-то остро-восточным вкусом. В комнате играла такая же пряная протяжная музыка. Мне не хотелось волноваться, даже из-за наркоманов. Надо

им – так надо.

– А это героин? – всё же спросил я.

Друг не ответил и вздохнул. Я так понял, что не героин. Эти трое как-то не были похожи на героинщиков.

– А они не взбесятся? – спросил я.

Друг как-то неопределённо посмотрел в сторону лоджии. Я ничего не мог разобрать за отсвечивающими стёклами – какая-то суета, не более.

Троица вернулась, аккуратно прикрыв за собой дверь. Они сели вместе с нами к столу, как ни в чём не бывало. Ни по зрачкам их, ни по чему бы то ни было ещё я не смог ничего заметить. Может, они и не кололись? Может, это только так называется? Может, прикалывались?

Всё равно, мне было с ними здесь как-то неуютно. Да и они словно не знали о чём разговаривать. Сидели и улыбались – то мне, то друг другу – такими светскими, ни к чему не обязывающими улыбками.

Я спасался от неудобства тем, что прихлёбывал свой чай, уже третью чашку. Чашки, правда, были маленькие.

Тут вдруг все снова засобирались и стали прощаться. С облегчением поднялся и я. Ноги затекли от сидения по-турецки. И, как оказалось, очень хотелось в туалет. Справив нужду, я сказал другу, что тороплюсь и пойду вместе со всеми. Он не стал возражать.

На улице я направился в одну сторону, а троица в другую. Мне даже ничего не пришлось выдумывать – нам было не

по пути. Как-нибудь в другой раз – спрошу у друга, кто они такие и с чем их едят. Почему это собственно он позволяет им колоться в своём доме? Уж не распространяет ли он наркотики?

От этих мыслей мне стало неуютно. И только тут, уже пройдя добрые два квартала – ибо я спонтанно решил добираться до дома пешком – я вспомнил, что мне сегодня дважды за вечер угрожали, и довольно серьёзно.

Это заставило меня прибавить шагу, но оглядываться я принципиально не стал.

Почему-то не хотелось домой, и я решил зайти к другому своему другу – благо он жил поблизости – попить пивка. И то правда – одним чаем сыт не будешь. А наркотики я не употреблял, почти.

Друг оказался дома и как раз пил пиво. Тут я почувствовал себя в своей среде, и мы сразу решили сходить за пивом дополнительно. Почему-то на улице я посмотрел в сторону своего дома. Что-то меня настораживало. Какие-то не такие люди выходили из моего двора. Я не успел заметить и понять, кавказцы ли это, но почувял, что дело неладно.

Я поспешил войти во двор и, уже бегом, бросился к своему подъезду. Друг последовал за мной. Мы не успели добежать, и к лучшему. Взрыв, ожидание которого как раз к этому моменту переросло в уверенность, произошёл, когда до цели нам оставалось метров двадцать. Большая часть двухэтажного здания, начиная с крыши и кончая нижними под-

оконниками, рухнула внутрь двора. В жёлтой упаковке стен содержалось что-то тёмное и не слишком аппетитное. Это напоминало извержение, раздавленного ударом ноги, гриба-порховки.

Дым, пыль, гнилые доски ещё некоторое время продолжали сыпаться на мокрый асфальт и, отстоящий несколько далее, замусоренный газон. Естественно, мусора теперь везде прибавилось.

Едва оправившись от шока и парадоксальной очарованности происшедшим, ещё продолжая слышать грохот внутри ушей, я бросился к повисшей на одной нижней петле подъездной двери и одним рывком оторвал её. Поблуждав очень недолго в удушающей тьме по обломкам камней, путанице перилл и валяющейся там и сям искорёженной человеческой плоти, я обнаружил дочь, возвращаясь назад, прямо за удалённой мной дверью. Её прикрыл пухлым волосатым животом какой-то большой дядька. У него что-то не было видно головы. Доченька, тёплая и голенькая, в одних трусиках, спала. Она ещё продолжала спать. Я поднял её за талию, вынес наружу и поставил на асфальт. Она сделала мне навстречу несколько шагов. Она открыла глаза и узнала меня. Целенькая. Только, может быть, контузило немного.

В первой половине ночи я обнаружил себя совершенно пьяным на неудобной автобусной остановке. Здесь было противно светло, и несколько моих товарищей по несчастью, ве-

роятно, долго и тщетно дожидавшихся транспорта, не вызвали у меня никакого подозрения. Они были смирны как мир.

Но нужно было пописать. И я, рискуя упустить последний автобус, пошёл куда-то за прозрачную скорлупу остановки, в едва угадывающиеся там кусты. Кусты – не иначе, как спьяну – показались мне слишком хлипкими, чтобы скрыть мою наготу, и я решил зайти поглубже. Вскоре я обнаружил под ногами узкую, в прошлом веке заасфальтированную дорожку, о существовании которой можно было догадаться лишь по тусклому блеску фонарей в лужах. Слева маячила белая стена недавно окрашенной пятиэтажки. Кусты везде были очень низкие, и ни одного приличного дерева. Это вовсе не соответствовало общему впечатлению старого спального района. Словно здесь года два назад потрудились бульдозеры, а потом сажала заново неумелая рука. Но как же тогда уцелела дорожка?

Я шёл вперёд медленно, как сомнамбула, и уже почти забыл зачем шёл. Только взгляд назад и долгое созерцание противно-сероватых вертикальных теней в мутно освещающемся аквариуме слегка меня отрезвило, но и вызвало тошноту. Я понял, что мне предстоит туда вернуться и ехать... Если повезёт.

Вдруг я задел нечто левым бедром. Приглядевшись, я увидел кресло. Вернее – что-то среднее между стулом и креслом, стул с мягким сидением и приделанными по бокам деревянными поручнями. Сделан он был не иначе, как в на-

чале прошлого века – почти антиквариат. На вид – весьма шаткий. Странно ещё, что он не упал, когда я его толкнул.

Впереди же, тоже слева, ближе к маячащему дому, за тёмными невысокими кустами, слышны были какие-то движения и позвякивание монет в кармане. Молодой бандитский мужской голос сообщал нечто женскому блядскому. Несмотря на небольшое расстояние, я почему-то не мог разглядеть там ни самих людей, ни понять, о чём они собственно разговаривают.

Я предположил, что обо мне. Наверное – это была чистой воды паранойя. Но зачем они там прячутся, в таком неудобном месте? Кажется, там нет подъезда. Может быть е... Нет, они хотят меня убить и ограбить – предчувствия меня редко обманывают. Вот – затаились и молчат. Вот – опять что-то звякнуло у него в кармане, она – хохотнула.

Идти дальше мне не хотелось. Всё более тормозясь, я замер наконец, как муха в сгущающемся янтаре. Я очень устал – трудно, но необходимо было повернуть назад. На удивление сильно хотелось сесть в кресло. Даже больше, чем пописать. Оборачиваясь сто лет, я всё-таки обернулся.

Сзади уродливо шумели невидимые враги. Впереди справа светились, точно флуоресцировало, заманчивое кресло, слева темнели кусты. На этот раз они показались мне вполне достаточными. Остановки отсюда уже совсем не было видно.

Кресло светилось крайне притягательно и подозрительно – этаким неуёмный зов – сядь в меня! Нужно было идти в ку-

сты, влево, чтобы пописать. Враги опять настороженно молчали. Я стал прислушиваться, до звона в ушах. За этими по- мехами я рисковал пропустить *их* шаги.

Если сяду в кресло, то наверняка усну и буду обворован и убит. Но зачем *им* меня убивать, если можно обобрать спящего? Да есть ли *что* у меня отбирать? Не могу вспомнить, нет сил, чтобы похлопать себя по карманам. Нет ни силы, ни духа, чтобы повернуться к врагу лицом. Крикнуть бы *им* что-нибудь – но язык пристыл к глотке. Глаза слипаются, и даже невозможно расстегнуть ширинку. Кресло справа манит, но кусты всё ближе, хотя сам я уже не двигаюсь. Ближе их – темнота. Непроницаемая. На две-три секунды мною овладевает паника. Света совсем больше не видно. Всё плывёт куда-то влево, в беспросветную ночь. Я даже не знаю, падаю я или нет – кажется, нет... Да!.. Но даже страх покидает мои обессиленные плечи. Я отпускаю себя и теряю сознание.

Sex

«Становится липко, зябко. Последствия не очень прият- ные...»

Д.Дэжойс

Темнота, под покровом которой я – неизвестно как долго – находился, оказалась всего-навсего грубым и тёмным шерстяным одеялом. Не помню, что' было до того, но, если

сравнивать на ощупь с пустотой, это всё-таки была приятная трансформация.

Я тут спал. А иначе – что я тут делал? Этот вопрос заставил меня обратить внимание на эстетику телесного низа. Что-то там происходило, шевелилось. Я давно запустил этот вопрос, попеременно обращаясь то к мастурбации, то к сублимации. Но вот назрели перемены. Как всегда внезапные.

Слева, во тьме, не такой уж беспощадной, если как следует разуть глаза, кто-то угадывался. И посредством не то зрения, не то умозаключения, я вскоре убедился, что это особы женского пола. Именно особы – их было три. Лежали они на почтительном расстоянии от меня, т.е. мы не соприкасались. Одному Богу известно, как мы все умещались на такой узкой кровати!

Поняв и оценив своё положение, я стал подумывать, отчего бы собственно мне не познакомиться ближе с имеющими быть рядом особами. Я знал, что они достаточно молоды, кожей белы и в общем-то положительно ко мне относятся. Все мы – и я, и они – под тонким, протёртым одеялом без пододеяльника были голыми. Я даже местами слегка подмерзал. Отчего бы нам хотя бы не прижаться друг к другу, чтобы, по крайней мере, удобнее сохранять тепло?

Девушки, ни одной из которых не было более двадцати лет, словно дожидались, пока я проснусь и соображу что к чему. Что-то такое должно было случиться. И случилось. Порядком потомив меня, уже несколько возбуждённого и наце-

ливающегося на определённую, они наконец выделили мне одну из своей среды.

Две остальные как бы выдавили эту третью из щели между ними. Поняв, как они там плотно слеплены на краю кровати, я почти перестал удивляться комфорту, с которым расположился.

Дамы соблюдали какой-то неведомый мне, почти пуританский, этикет. Девушка выделялась мне, если не в жёны, то как дар вежливости, вроде женщины на ночь гостю в каком-нибудь дикарском доме. Почему они все три не могли участвовать в этом, и, если не могли, зачем тут валялись – было совершенно непонятно. Я удовлетворился тем, что вот такой у них здесь (где здесь?) ритуал, и ничего не подделаешь...

«Ладно, – подумал я, – мне и одной хватит», пока отряженная девушка, короткая, но не лёгкая, переваливалась через мой бок. Интересно, какая это была сестра, младшая, старшая или средняя? В каждом из трёх случаев могла быть соблюдена особая определённая (А чего я так жаждал?). В любом случае – своя симметрия.

Мне было в общем всё равно – девки все молодые. Одна из них теперь оказалась справа от меня, почти на мне, так что я, приобняв её под спину, мог ощупать её живот. Две другие смотрели на нас широко раскрытыми глазами, изредка хлопая ресницами, – этот звук был особенно отчётлив. Они то ли просто любопытствовали, то ли продолжали участвовать

в ритуале и ждали той самой *определённости*.

А мне, честно говоря, было лень. Я ещё не совсем выспался, не совсем пришёл в себя. Да и живот этот... Девки смотрели на меня с лёгкими улыбками, но без напряжения. Может, те две получше?

Под рукой у меня находилась, покрытая хоть гладкой, но толстой и холодной кожей, мощная складка жира. Не было даже тонкой пуховой растекаемости, свойственной животам некоторых пожилых толстых женщин. Какой-то оковалок – словно внутри там не текучее сало, а замороженное в холодильнике масло. А кожа была толщиной не меньше чем 2, а то и 3 миллиметра. Как вы думаете, приятно щупать такой животик?

Но сёстры чего-то от меня ждали. Мне было неудобно отказывать им вот так, вдруг. В конце концов, я почти удобно лежал на кровати, почти выспался здесь. Возможно они меня – подобрали, обогрели. Отказаться от их подарка теперь – разве это не выглядело бы чёрной неблагодарностью? Встать и бежать? Но куда? Я понятия не имел.

Не было у меня никакой определённой цели. Я только что вернулся в этот мир, и сразу же получил во владение сексуальный объект. Дарёному коню в зубы не смотрят... А вот брюхо – брюхо, интересно, можно у него проверить? Мне даже страшно было опускать руку ниже. Моя рука так и замерла, полузажав в ладони могучую прохладную складку, скорее даже какую-то угловатую, чем округлую.

Девки смотрели на меня и ждали, но не волновались. Выражение их лиц не менялось. Может, всё шло как надо? По их плану? Куда торопиться? Я улыбнулся им. Они заметно не среагировали, чуть-чуть только потупились. Я потянулся, аккуратно, чтобы не спихнуть свою партнёршу справа. Если они сёстры – наверно все такие, хотя... Я принял соломоново решение. Мне ещё хочется спать? Вот и славно. Надо просто закрыть глаза, прижать к себе покрепче эту холодноватую пигалицу – хорошо ещё, что от неё ничем не пахнет! – и баиньки. Утро вечера мудренее, человек умнее. Может, на свету она окажется и не такой отвратительной? Хотя – странное предположение – что это у меня такое иначе под рукой? Всю эрекцию как ветром сдуло. Покой, покой! Я делаю усилие, чтобы провалиться, и вспоминаю, что для этого как раз не надо делать никаких усилий. Ещё разок виновато оборачиваюсь к левым девкам. Они всё так же смотрят – вот пробки! И засыпаю. Только ещё правой рукой некоторое время чувствую, как она затекла, – сестрёнка попалась тяжёленькая.

Просыпаюсь я на углу некоего зелёного поля. Подо мной выдавшая виды подстилка. Возможно, то самое одеяло, под которым я «развлекался» с девками.

Я отдыхаю в санатории (Давно пора!). И хожу сюда загорать. Почему именно сюда – не ясно, довольно неудобное место. Вдоль полей всегда какие-нибудь дороги. И здесь такая имеется. По дороге же нет-нет да кто-нибудь и пройдёт.

Так что, если я ищу здесь одиночества, то скорее всего напрасно. Уж лучше бы спрятался за кусты, которые слева. Но за кустами, может быть, ещё одно поле, а перед ним – дорога.

И если уж я загораю здесь один, почему я не снимаю трусов? Слишком много вопросов – надо расслабиться и впитывать кожей солнце. Но как только начинаешь расслабляться – начинаешь досадовать. То мухи мешают, то лежишь неудобно – камни какие-то под подстилкой – ну ясное дело, дорожку-то трактор торил.

Я лежу на животе. Вдруг надо мною сзади возникает существо женского пола. Так я и знал, что на свету оно может оказаться гораздо более соблазнительным.

Те трое были не больно-то хорошенькие, хотя и отличались изрядной молодостью, которая нас, стариков, всегда влечёт. Они все были низкорослые. Эта же – вытянутых пропорций, хотя и не так молода. И хотя я не самый большой охотник до длинных женщин – трудно было сразу заметить в ней какой-нибудь серьёзный изъян. К тому же – она молчала, и, может быть, это спасало всё.

К тому же – у неё были красивые руки, с правильными пальцами и аккуратно, но не броско отделанными ногтями. А у, давеча мне подсунутой, молодухи была скорее не ручка, а лапка – пухлая, потненькая и липкая, с пальчиками коротюсинькими, будто обрубленными, и почти без ногтей. Подержавшись за одну такую ручку, навсегда расхочешь иметь в жизни какую бы то ни было женщину.

Но *эта* меня вдохновляла. Почти. Я всё никак не мог отделаться от своей усталости и сна. Что это на неё нашло? Издалека, что ли, заметила меня? Что ж, бывает и такое. Мне повезло. Баба что надо.

На ней был ярко-розовый, почти лиловый купальник. Лифчик без лямок, собранный соразмерными складками между грудей, и трусики, скорее напоминающие маленькие шорты, однако, очень сексуальные. И хотя, как я уже говорил, это был не мой тип, она мне понравилась. Что касается её намерений, тут, несмотря на её молчание, а вернее благодаря ему, не оставалось никаких сомнений. Но возникла помеха. Вдалеке, за спиной дамы, сквозь шорох колыхающейся травы и веток, я расслышал какое-то детское лопотание. Ребёнок? Ну, точно – её.

Я поднял глаза. Дама виновато улыбнулась. Лет 25, не больше. А девочке... Или это был мальчик? Нет, девочка. Девочке – 3 или 4.

М-да... Ну и что тут прикажете делать? Почти не обращая внимания на своё неумолимо приближающее дитя, женщина расположилась рядом со мной на подстилке, грациозно переступив через моё уже успевшее подгореть тело.

Ребёнок о чём-то бормотал в траве. Он не дошёл до нас метров 20-30-ти и чем-то там увлёкся, бабочкой или жуком. Дама, воспользовавшись этой заминкой, стянула с себя трусики. Если бы и после этого я не прижал её поближе к себе и не сделал бы то, что должен был сделать, – что бы вы обо

мне подумали?

Я держал её одной рукой за горячее загорелое плечо, а другой старался засунуть куда надо свой член, в котором я был не до конца уверен. Дело в том, что я его как-то давно не видел. И не ощущал. Есть ли он там? Хотя иногда, именно при сильной эрекции, член вроде как бы теряет чувствительность. Стоит – в прямом смысле – как дерево.

Что-то там у меня всё-таки было, ибо что-то я сумел нащупать пальцами. И у неё видимо что-то было – куда-то я сунул, хотя опять-таки ничего не почувствовал. Да и она не выражала бурных эмоций. Но тут было объяснение – близость ребёнка. Уж он наверняка прибежит узнать в чём дело, если мама начнёт стонать на всю Ивановскую.

Я поделал полагающиеся движения. Прислушался – девочка уже колупалась в соломе где-то совсем поблизости. Но бормотала она себе что-то под нос, не особенно адресуясь к маме, а уж тем более ко мне. Может быть, ей не впервой? Как, в конце концов, даме пофлиртовать на природе, если хочется, а дитё девать некуда? Моральные соображения как-то не приходили мне в голову. Я, конечно, немного стеснялся, но – очень хотелось...

Погоди, но если очень хочется, почему я тогда... Надо проверить визуально. Я заставляю свою даму немного приподняться, не вынимая при этом предполагаемого жезла. Она с готовностью полуприсяживает. Я пытаюсь что-нибудь рассмотреть. И вижу, очень даже. Этаким острым буго-

рок у неё на животе, под пупком. Неужели это мой сучок? Ей не больно? Она молчит и ждёт наверно, когда я продолжу. Что-то у неё не в порядке со внутренним строением. Или она мазохистка? Я раньше как-то считал – да и не раз убеждался в этом – что у женщин на лобке вполне достаточный слой приятно плотного, тёплого сала, к тому же прикрытый шубкой из шелковистых волос. А тут... Волосы, правда, есть – те, что остались после усердной работы бритвой. Но не скоблила же она себя изнутри?!

Несмотря на мои размышления, выпуклость на коже живота женщины не пропадает, а значит, не пропадает и эрекция. Получается какой-то чисто умозрительный секс. Продолжать или... Да и ребёнок уже чуть ли ни дышит мне сзади в ухо.

Невероятная глупость ситуации вызывает у меня уныние. Но она же способна вызвать истерический хохот. Я смотрю на солнце, чтобы не видеть ничего другого. Я жажду раствориться в слепящих лучах. Я стараюсь не зажмуривать глаз, хотя это невозможно. Расплавленное золото затопляет мои слезящиеся и словно дымящиеся зрачки. Я перестаю что-либо видеть кроме пульсирующего кровавого месива. Может быть, это оргазм?

Кино

«Весь фильм в вас самом, проектор за вашим сознани-

ем...»

Ошо

Как я уже сказал, мне пора было отдохнуть. Лес с правой стороны от дороги, по которой мы ехали, на первый взгляд говорил именно об этом, т.е. о том, что я, наконец, отдыхаю. Местность была явно сельская, время майское или около того. Припахивало далёкой скотофермой и рекой.

Мы с другом сидели в открытом кузове большого грузовика. Друг прислонился спиной к бортику, непосредственно сзади кабины, а я сидел перед ним по-турецки на каких-то старых спущенных камерах.

Нас снимали в кино. Вернее, в данный момент как раз не снимали. Эта сцена всё не получалась, казалось режиссеру слишком натуральной. Что поделаешь – мы ведь не были профессиональными актёрами.

Нам всего-навсего требовалось разговаривать друг с другом на тему, на которую мы чаще всего в обычной жизни и разговаривали, т.е. обсуждать наши дела. Друг писал музыку, а я тексты. Но что-то не заладилось. Никак мы не могли расслабиться. А когда расслаблялись и напрочь забывали о режиссере, это его тоже не устраивало. Нам же обоим всё более становилось ясно, что он сам не знает, чего хочет. А время шло, деньги тоже шли – впрочем, это были не наши деньги. Нам только было досадно, что вместо того, чтобы отправиться на речку или в лес по грибы, мы должны удовле-

творять этого нудного болвана.

Ну, положим, он был не совсем болван. Довольно известный режиссер. Молодой да ранний. Измучившись с нами с утра, он решил предоставить нам свободу, т.е. чтобы мы сами порепетировали – не под надзором неусыпного ока кинокамеры. Это – конечно, была непозволительная роскошь, имея в виду бюджет и всё такое. Но наш шеф любил почудить. Может быть, за это я его больше всего и уважал. А нам чего? Катайся себе в кузове в живописной обстановке.

Как только съёмочная группа скрылась за поворотом, мы молча решили, что больше не будем говорить. Оттуда не видно, а языки устали – их надо беречь. Мы только указывали друг другу взглядами на красоты природы.

Хорошо, что нашему дураку понадобилось снимать на ходу. Иначе фиг бы он дал нам покататься. Даже сквозь гул мотора можно было расслышать, как поют птицы. Даже сквозь бензиновые миазмы можно было учуять аромат едва распустившихся берёзовых почек.

Было тепло, по-летнему. В том, что о нас решили снять фильм, мы не находили ничего удивительного. Но вот почему мы должны были рассуждать на наши любимые музыкально-философские темы, мотаясь и прыгая на колдобинах в кузове грузовика, – это надо спросить режиссера.

Впрочем, отъехали мы ещё совсем немного, а я уже начал подозревать нечто неладное. Уж слишком легко он нас отпустил в «свободное плавание». И бензина-то не пожалел...

– Послушай, – спросил я друга, – там кто-нибудь есть?

– Где? – спросил он, обернувшись к кабине.

Мы оба напряглись, но машина поворачивала и даже вроде бы притормаживала в нужных местах. Благо, дорога была почти прямая.

Друг мой почесал за ухом и посмотрел на небо. Я тоже посмотрел и ничего там не увидел. Правда, облака были приятные. Тут произошло то, что должно было произойти. Вместо того чтобы повернуть в начале встретившейся деревни направо, наш экипаж врезался в могучий вяз, росший на углу чьего-то, огороженного ветхой оградой, участка.

Нас тряхнуло, но не так сильно, чтобы мы вылетели из кузова или хотя бы разбили зубы. Всё-таки как-то затормозили. Может, он там пьяный?

– Ты видел, чтобы кто-нибудь туда садился?

Друг пожал плечами. Машина надрывно редела, бодаясь с невозмутимым древесным великаном. Если бы не он, мы бы уже перепахали в этом палисаднике все грядки и въехали в дом – здравствуйте, не ждали?!

К нам подбежали какие-то доброжелатели или наоборот. Мы расправили затёкшие ноги и прыгнули на землю. Она тут была коричневая и кое-где посыпана нежно-оранжевой опалью лиственницы.

– Ты умеешь водить?! – постарался я перекрыть рёв мотора.

Друг полез в кабину. Доброжелатели – хоть их и было не

больше двух – столпились позади, потирая руки. Я посмотрел на них, плюнул и полез вслед за другом.

Нам удалось нажать на тормоз, и стронуть машину назад задним ходом, чуть не задавив надрывающихся от жестикуляций советчиков. Славно это у нас получилось или бесславно – но как-то мы поехали вперёд. Можно было даже не давить на газ, дорога всё шла под горку. Я с облегчением вздохнул, когда участливые мужики в бейсболках скрылись за поворотом.

Огляделся кругом. Мы уже были в городе Р. Вот как быстро доехали! Да и чего удивляться – тут каких-нибудь полтора километра, т.е. от съёмочной группы.

Раз уж мы сюда приехали – отчего бы не прогуляться, не размять ноги? Вернёмся – глядишь, режиссер на нас так насядет, что не продохнёшь. И не видать нам Р., как своих ушей.

Но друг, кажется, был не совсем со мною согласен. Он не до такой степени, как я, любил гулять и боялся попусту тратить время.

Дорога к центру города Р. теперь устремлялась вверх. Мы притулили машину справа от начинающейся улицы. А слева – начинался и тянулся в гору, сколько хватало глаз, жёлтый-прежёлтый дом. Почти без окон, вернее – с узкими и редкими глазками-бойницами. За горой же, справа, угадывалась река. Город был на редкость безлюден и почти без машин.

Мне вовсе не хотелось отсюда куда-либо спешить. Друг мой остался у машины, нехотя отпустив меня на короткую прогулку, – сам же он лезть в гору отказался наотрез. Я, правда, тоже не альпинист. Но именно здесь и сейчас мною овладел какой-то энтузиазм. Морда моя так и расплывалась в улыбке.

Отчасти, это объяснялось тем, что окружающие места были мне знакомы с детства. Всё здесь, конечно, с тех пор сильно изменилось. Я узнавал и не узнавал – и в этом был весьма своеобразный кайф.

Было и ещё одно толстое обстоятельство. Совсем недавно в одном из не очень серьёзных журналов я прочёл о том, что в Подмосковье замечены летающие лягушки. Статья была крайне бестолкова, написана не специалистом – так что, скорее всего, это была утка (а не лягушка). Но что-то в ней взволновало меня. Я стал вспоминать, даже кинулся к справочной литературе, но поблизости не сумел обнаружить ничего путного. В библиотеку брести было лень. Единственное, что я вспомнил, это то, что действительно есть какие-то так называемые летающие лягушки или кваквы (может, кряквы?), которые собственно не летают, а планируют с ветки на ветку, как летяги, используя для этого растопыренные перепонки на руках и ногах.

Нечто подобное я и ожидал здесь увидеть. Почему бы нет? Климат меняется в тёплую сторону. Конечно, человек всё вокруг засирает. Но некоторые виды от этого только выигрыва-

ют. Иногда – вовсе неожиданные. Отчего бы – не оказаться в их числе летающим лягушкам? А может, они уже мутировали и научились летать по-настоящему? Так я рассуждал.

Кряквы (кваквы?) к тому же красивы, т.е. имеют на брюшке желтые или красные разводы. Тут уже получается целая райская птичка. И поёт. Никогда вот правда не слышал, как поёт кваква.

Друг мой был недоволен моей отлучкой, не совсем безосновательно виня меня в сердце своём за непростительное фантазёрство.

А я уже узрел то, что хотел. Кто-то летал в воздухе. Это были птицы, множество птиц. С розовым оттенком. Хотя возможно, это происходило от надвигающегося заката. Я уже нафантазировал себе и чаек, и пеликанов, и попугайчиков. И вот – воочию увидел лягушек среди этих стай. Они были темнее прочих и редко-редко махали лапками, вися в воздухе почти неподвижно и вертикально, развернутые спинками ко мне, а носами – в сторону уходящего солнца. И не галдели они как птицы, а нежно пели: ква, ква, ква! Но этого – не передать словами!

Я хотел позвать композитора-друга послушать, но он и сам уже всё увидел и услышал. Созерцая меня на расстоянии, он красноречиво крутил указательным пальцем у своего седеющего виска. Наверное, выражение на моём лице достигло опасных пределов блаженства. Птиче-лягушачий галдёж звал меня куда-то ещё наверх, в убегающую даль, к реч-

ке, неведомо куда...

С правого бока, чуть в стороне, тянулся глухой дощатый забор, довольно новый, любовно выкрашенный тёмной морилкой. Возле этого забора стояло несколько рыболовов со спиннингами. Тут вспомнилось, что и я, узнав, куда мы едем, прихватил с собой на съёмки спиннинг, специально купил, хотя с самого детства ни разу не ловил никакой рыбы. Теперь он мог пригодиться. И какой же я был молодец, когда предусмотрительно кинул его под сиденье в кабине грузовика!

Я вернулся к машине, и друг мой с облегчением засобирался, думая, что и я уже готов ехать. Но я разочаровал его, начав рыться под сидением. Он не понимал, что я там потерял. Терпя стоически его иронические взоры, я, наконец-то, выудил из-под стула своё, телескопически сложенное в метровую тросточку, удило.

– Хочешь, пойдём поудим? Ты вроде умеешь... – предложил я другу для очистки совести.

Но он скептически помотал головой. Ясное дело, он видел отсюда лишь часть забора, а что там, за забором, не понимал. Я же, глядя на остальных рыбаков, на ходу перенимал их тактику и стратегию.

Червяков они выкапывали здесь же, чуть ли ни у себя из-под ног. И, насадив наживку на крючок, закидывали удочки (т.е. спиннинги) за забор, как можно подальше. В том, что где-то там, за забором и под горой, протекала река, можно было не сомневаться, хотя бы потому, что время от време-

ни то один, то другой из удильщиков наматывал на катушку длиннющую леску и возвращал из-за забора конец удила с поблескивающей под ним, точно новая монета, небольшой серебристой рыбкой.

Такой способ лова, разумеется, был мне в диковинку, но именно эта странность заставила меня попробовать свои силы, так как я люблю всё неординарное и необычное. Рыбаки, ловящие вслепую, вызывали моё уважение.

Рыба, правда, была мелкая и, в основном её тут же съедали вертящиеся под ногами, предупредительно мяукавшие, кошки. Но на это никто не обращал внимания, все были увлечены делом. Делом жизни. Прямо – как наш режиссер.

Я закинул свою удочку (т.е. спиннинг). И – о чудо! – первый же бросок оказался удачным. Я даже расслышал, как грузило плюхнулось в воду. Скоро торкнуло. Соседние рыбаки стали указывать подбородками и бровями: мол, тяни. Я стал судорожно наматывать на барабан скрипящую леску. И вот уже скользкая красноглазая плотвичка – трепыхается в моей руке. Я не знал, что с ней делать, и скормил ближайшему коту.

Скоро ты там?! – раздражённо позвал друг.

Я начал спускаться к нему с горы, ещё ощущая на ладони слизь и чешую только что выловленной рыбы. Сильно пахло рекой. Оказавшаяся теперь позади, половина неба окончательно покраснела от заката. Всё это – словно меня загнипотизировало.

Когда я спустился, друг ударил меня по плечу:
– Эй! – заглянул он мне, как психиатр, в глаза.

Мы сели в машину и поехали. Не помню, кто вёл – неважно. Очевидно было, что этот съёмочный день уже безвозвратно потерян. Я обернулся и ещё раз посмотрел на летающих лягушек. Наверное, их тоже можно поймать на спиннинг. Наверное, всё-таки вёл не я.

Кафка

«Повсюду будет серый сумеречный свет, днём и ночью, во все времена...»

Бардо Тёдол

А вы знаете, что мать Кафки, уже после его смерти, написала роман, хотя и весьма небольшого объёма, в котором умирает она, а не сын, и она затем является сыну в виде призрака.

Об этом, в свою очередь, написала исследование одна дама, моя современница. Вообще-то, она зарабатывала на жизнь писанием детективных романов, а ещё более того – торговлей. Вблизи дома, где я когда-то жил, у неё был небольшой магазин. Торговали там исключительно шляпами. Сначала она служила там директором, но скоро подкопила денег и сама стала хозяйкой.

У женщины этой был друг и любовник, один довольно бо-

гатый и известный грузин. Оба эти персонажа отличались некоторой приятной старомодностью и, где бы они ни находились – хоть в соседних домах, – постоянно вели между собой переписку. Эта переписка тоже опубликована, разумеется, далеко не полностью и с купюрами.

Из этих писем, а также из уже упомянутого специального исследования писательницы, мы можем узнать, что её в первую очередь интересовала не личность Кафки и не его произведения, и даже не личность его матери, а только тот образ, в котором она после смерти – как это описывалось в указанном выше романе – вернулась к сыну.

Дело в том, что призрак этот, призрак матери – а не отца, как у Гамлета – имел некоторые языческие, а конкретнее, античные черты. В своей работе писательница отнюдь не бесосновательно проводит параллель с представлением о Флоре, Артемиде и других богинях и героинях древнегреческих и древнеримских мифов.

В общем-то истины, которые сообщала сыну не существующая во плоти мать, были достаточно банальны. Естественно, творчество матери не идёт ни в какое сравнение с творчеством сына. Однако именно она произвела его на свет, и это даёт ей право, как всякой матери, считать – хотя бы отчасти – дитя своей собственностью. Разумеется, сын должен прислушиваться к материнским поучениям, особенно, если мать специально навестила его даже после смерти.

Может быть, случись таковое на самом деле, она смогла

бы предостеречь его от некоторых ошибок, в конечном счёте поведших к болезни и смерти? Но если бы он так уж предостерегался – написал бы он тогда то, что написал? Это вечная дилемма, вечная история между матерью и сыном. Мать хочет спасти и сохранить ребёнка, провидя его трагическое будущее. Но решает не только мать.

Так вот, призрак был не обычен уже тем, что не имел лица. Т.е. диалоги с сыном вело не целое изображение человека, а – если так можно выразиться – только его бюст. Тут напрашивается аналогия с японскими квайданами, в которых привидения зачастую изображались лишёнными ног, в чём и было их видимое отличие от настоящих людей.

Но, если у японцев ноги иногда заменял дым или нечто неосязаемое и бесформенное в этом роде, то в разбираемом романе бюст был снабжён как бы провисающим книзу венком, этакой растительной виньеткой, которая, однако, простиралась никак не ниже предполагаемой талии.

Т.е. мать вещала сыну, как бы выплывая из кустов или из стога свежескошенного сена, с той только разницей, что эти флористические украшения у неё всегда имелись с собой как неизменные атрибуты.

Отчего мать Кафки выбрала для своего призрака именно такой странный облик – остаётся загадкой. Именно эту загадку и силилась разрешить, очарованная её несуразностью, писательница. Грузин, весьма интеллигентного полёта человек, подсказывал ей, что, вероятнее всего, корни данного

явления следует искать в Эдиповом комплексе. Разумеется, предосудительно и глупо всё сводить и выводить из постулатов фрейдизма. Но, будучи для сына первой женщиной уже самим фактом своего существования, мать, даже после смерти, хотела бы соблюсти телесную неприкосновенность и чистоту. Там, ниже кормящей груди, конечно же, что-то есть, но это что-то целомудренно скрывается в куцах невинного растительного царства. Фрейд бы не преминул назвать такую юбку цензурой. А я, как острослов, даже склонен назвать её фиговым листком.

Сама же писательница полагала, что интересы матери скорее лежали не в сфере подавленной сексуальности, а в сфере, так сказать, близкой к Танатосу. Имеется в виду самый обычный архетип прорастания, возобновления жизни весной, который наиболее зримо иллюстрируется именно восстанием зелёных великанов из праха, из почти не видимых глазу семян. «Если семя не умрёт...». Т.е. призрак матери в таком образе получал недостающую любому видению основательность, те самые корни, которые выводили его на свет. А не терял бюст своей растительной бороды потому, что должен был вновь приземлиться и укрепиться. И через корни – вернуться во прах.

Весьма сомнительная теория, но красивая. Тут вспоминается и омфал Диониса и происхождение чернозёмов, а более всего – разнообразные библейские притчи. Сойдемся на том, что мать уже, как подобает растению, принесла свой плод. И

плод оказался весьма достойный. «Судите о дереве по плодам его...».

Я вспомнил о шляпнице и её милым друге, когда переезжал на новое место. Переезд мой поневоле должен был быть стремительным. Новые жильцы, желающие занять мою старую квартиру, буквально стояли уже на пороге. И я сбивал каблуки, бегая то на пятый этаж, то с пятого. Лифт недавно поставили, но он ещё, как водится, не работал.

Однако мне было весело, когда я в очередной раз пронёсся со своими пожитками мимо знакомой витрины. Что-то она совсем забросила своё дело, или не в меру углубилась в романы, или стала прибаливать – пожилая уже женщина. Прилавок поразил меня своей бедностью – однообразные и серые женские шляпки вряд ли могли привлечь чьё-то внимание. К тому же, фасад магазина выходил не на улицу, а во двор. Трудно было поверить, что когда-то торговля тут процветала. Но я помнил эти времена.

Грузин подолгу жил в Москве, на той же улице, только двумя кварталами дальше от центра. Почти каждую неделю я видел его машину у крыльца магазина. Он был очень галантен, часто привозил букеты. Пешком, похоже, совсем не ходил. Но почти не толстел – хорошая конституция. У дамы тоже была хорошая фигура, только вот с возрастом она начала одеваться как-то всё более и более блёкло. Грузину, наверное, это не нравилось, но он не подавал вида.

Мне подумалось, что вот и она стала сознательно, или ско-

рее бессознательно, играть во Флору. Осенью листьям положено желтеть, блёкнуть. Почему она не хотела быть, например, клёном? Не от того ли, что клён – мужского рода?

Все эти наивные радости богатых людей не вызывали моей классовой ненависти. Да и были ли они столь богаты?

Лихорадка переселения целиком захватила меня, но всякий раз, пробегая мимо шляп, я вспоминал какой-нибудь маленький эпизод. Магазин, казалось, уже был закрыт. Экспонаты за стёклами пылились, как в музее. На некоторых крючках – ничего не было – это выглядело, как прискорбные щербины. Жива ли старушка? Жив ли её обожатель?

На душе становилось грустно, но и тепло. В конце концов, все мы должны стариться и умирать, любя друг друга.

Пока я не обрёл более-менее постоянного пристанища, мне пришлось жить в довольно странных домах. И этот дом, рядом со шляпницей, не являлся исключением. Дело в том, что это был как бы дом в доме, выстроенном по новому проекту, пятиэтажка – внутри нарастающего гипермодного гиганта.

Мне всё как-то было раньше недосуг, но однажды вечером я вышел на лестничную клетку, чтобы проверить, как идут дела у строителей.

Вместо чердака моему взору открылось уводящее в даль пространство, некий коридор, попасть в который можно было, взобравшись на небольшой бетонный уступ, как на подоконник. Наверное, в недалёком будущем здесь примостят

ступеньки. Рискаю испачкаться строительной пылью и мусором, я влез на возвышение. Назначение коридора представлялось мне совершенно непонятным. Это была то ли какая-то мощная вентиляционная система, то ли нечто связанное с электричеством. Опасаясь, что меня таки ударит током, но не в силах превозмочь нахлынувшее любопытство, я двинулся вперёд. Благо, никаких предостерегающих надписей видно не было, да и публики, которой возможно пришлось бы что-то объяснять, не было заметно.

Как полагается, бетонный коридор был весьма гулким. Шаги отдавались в стенах и сводах вместе с хрустом раздавливаемых кусков штукатурки. Когда-нибудь стены отделают кафелем, а потолок пластиковыми плитками, а то и зеркалами. Впрочем, может быть, это помещение всё-таки имеет только чисто техническое назначение?

Сверху свешивались какие-то жестяные ленточки, они больше всего напоминали серебристый дождь, каким украшают ёлки. Похоже было, что их привязали за оставленные торчащими из потолка концы арматуры. Эти потолочные торчки намекали на какой-то шахматный порядок. Серебряный гибкий частокол свисал аккуратно до самого пола, но не ниже, т.е. едва чиркал, но не волочился по нему. Все эти Вероникины волосы время от времени ходили волнами. Их движения не были хаотичными, в них заключался ритм. Но я никак не мог уразуметь, чем он вызван – ветром ли, который устремлялся навстречу мне из невидимого конца ко-

ридора или статическим электричеством, стекающим сюда с плоскости крыши. Судя по характерному потрескиванию, я больше склонялся ко второй гипотезе.

Шуршащие ленты начинались не сразу, а метрах в пяти от входа в туннель. Я сперва опасался к ним прикасаться. Они казались слишком наэлектризованными. Но очередная волна так сильно подбросила ближайшую ко мне серебряную змею, что она сама «укусила» меня за палец. Раздался щелчок, но боли я не почувствовал, вернее, почти не почувствовал. Можно было идти – на свой страх и риск.

Я шёл, то и дело ощущая лёгкие уколы от колыхающихся и приникающих ко мне полос. Иные же, так же как я заряженные, отшатывались от меня, точно в испуге. Всё вокруг шипело и щебетало, словно лес, полный пресмыкающихся и соловьёв. Волосы на голове стояли дыбом, отклоняясь – как привязанная игла под действием магнита – то в одну, то в другую сторону. Было страшновато, но и здорово – электричество действовало возбуждающе.

Зря я тепло оделся – здесь и так было тепло, даже жарковато. Сквозняк, дувший навстречу, наверняка был спровоцирован какими-то кондиционерами. Ещё меня порадовало, что никто не успел оставить здесь куч. Запахи были почти стерильными, если не считать цементной пыли. Ну и озон конечно! Голова слегка кружилась, нос пощипывало.

Коридор шёл не совсем прямо, он лёгкой дугой заворачивал налево. Пол начал понемногу спускаться вниз. Я вдруг

испугался поскользнуться. Висевшие змеи кончились, а впереди уже был хорошо виден яркий люминесцентный свет. Редкие тускловатые лампы остались позади.

Я прошёл ещё метров тридцать и остановился. Тут начинался устеленный гранитными плитами пол. Недалеко маячили стеклянные двери. Всё выглядело почти шикарно. За дверями угадывались даже люди в форме. Неужели уже швейцары? Однако, неустроенность, вернее нестроенность ещё была превалирующим качеством этого видения – серые бетонные стены.

Я разглядел впереди слева вывеску парикмахерской и даже выглядывающий оттуда фен – чтобы сушить женскую голову. Запахло парфюмерией. Я улыбнулся. Как быстро они всё тут обживают! А вот мне – уже пора отсюда.

А то ведь можно было бы ходить в магазин, не выходя из дома. Наверное, на то и рассчитано. И парикмахерская, и всё такое. У меня, правда, волосы плохо растут. Супермаркет, не иначе, и очень большой, тут строят. Наверное, самообслуживание – это я не люблю. Для очень богатых – они и будут здесь жить. Пусть живут. Мне как-то холодно от этого дурацкого блеска. К чему?

Я иду назад. Ветер, дующий в спину, становится прохладным. Всё-таки не зря я оделся. Полосы шуршат как ивовые ветви, скользя по моему лицу, но уже не бьют электричеством. Разрядились на время. Тут, скорее всего, всё работает, как холодильник, – то работает, то не работает.

Только в самом конце дороги включается опять, и я, выйдя под голый потолок, отлепляю от рук приставучие серебряные дождины. Грустно улыбаюсь – почти как царь Соломон.

И ещё я жил в одном доме. Это было и того раньше. На окраине, да уже и не на окраине. Но как-то забыли про нас, вернее про тот дом, и ещё не успели его к тому времени снести. Собственно, необычным был не сам дом, а дворик, к нему примыкающий. О нём – вот чудо – словно никто и не знал. Даже бомжи и шпана сюда не забредали. И жили мы в городе – а словно в деревне – со своим огороженным двором. Правда, сада не было.

Двор был чисто хозяйственного назначения. Былые хозяева здесь занимались чем-то вроде слесарно-столярных работ. Так что сохранился верстак с огромными ржавыми тисками, которые даже самому жадному обывателю трудно было унести с собой. Сохранились бочки, железные и деревянные, и те и другие в продвинутой стадии разложения, какие-то куски шифера, фанеры, многочисленные доски, железки, арматурины, сетки, безнадёжно заляпанные замазкой оконные стёкла. Всё это в живописном беспорядке лежало стопками и валялось кучами по периметру овального двора, как бы подкрепляя и удерживая от падения сплошной, но подгнивший и покрывшийся плесенью, дощатый забор. Калитка держалась на одной петле, но её можно было плотно припереть, используя проволоку.

Когда-то здесь, похоже, пробовали разводить кур и кро-

ликов. Кое-где ещё можно было найти прилипший пух или окаменевшие шарики помёта. Клетки свидетельствовали о том же. Иногда в воздухе витал неистребимый животный запах. Хотя, наверное, прошло уже не менее десяти лет с тех пор, как последние обитатели этого бастиона были зарезаны.

Тогда к нам ходило очень много друзей. Зачастую, и даже чаще всего, если позволяла погода, располагались прямо на улице. Пили пиво, курили, веселились. Вот что значит – иметь двор, даже такой убитый, как этот.

Воспоминания о дворе и об убожестве быта тех времён вызывают у меня умиление. Мы почти не ели мяса, но не потому, что были вегетарианцами. Просто денег было мало.

Особенно здорово было зимой. Ранней зимой, когда весь мрачный и попахивающий тленом дворовый скарб присыпало свежим влажноватым снежком.

Я садился прямо на снег и смотрел в небо. В городское небо, в котором ничего не было видно. Только тучи, рождающие снег. Подсвеченные заревом огней, тучи. Я улыбался.

Само же помещение не выдерживало никакой критики. Половицы не то что скрипели, а хрипели под ногами, готовые вот-вот ухайдакать тебя в тартарары. Особенно мы опасались за ребёнка. Но он был лёгкий и танцевал на пьяных досках, как на трамплинах. Мы боялись, что он побежит за укатившимся клубком и угодит в какую-нибудь дыру. Он был маленький. У нас был также котёнок.

Очень плохо было с мебелью. Мы укрывали старье не ме-

нее старыми полурваными покрывалами. Простыни, правда, были чистыми. Я спал на каком-то сундуке. Мы не могли спать вместе с женой – было негде.

Но друзья ходили к нам, по двое, по трое... И всегда приходилось что поесть и выпить. Наверное – это и была моя молодость.

Запотевшие окна, ранние подъёмы, печальная улыбка жены, ребёнок на коленях, голубь в окне, котёнок...

Хлопья, хлопья, хлопья – валили за окнами что ни день. Зима была недолгой и сказочной. Несмотря на это, она всё никак не кончалась. Заскорузные варежки отмокали на батарее, в щели дуло, мы затыкали их чем попало. Котёнок чихал. Ребёнок, правда, нет, он был закалённый.

На плите что-то подгорало. Пахло рыбьим жиром. И укусом. Но было здорово!

Я выходил и садился на снег – на какую-то картонку или фанеру, покрытую тонким снегом – и медитировал, как Будда, хотя в округе – насколько хватало глаз – не было никаких деревьев. Я медитировал на снег, пока какая-нибудь прилипшая к носу снежинка не отрезвляла меня. Я возвращался домой с мокрой рожей, смеясь. Всё мне было нипочём.

Весна

«Весны пословицы и скороговорки

По книгам зимним проползли...»

Весна наступала на московские тротуары, как тот самый «сумасшедший с бритвою в руке». Мой дядюшка, кстати, когда-то видел такого сумасшедшего. Он выбежал из парикмахерской на противоположенной стороне улицы и перерезал горло каждому, кто попадался ему под руку. Так он бежал, роняя на ходу прохожих – и уронил их человек 5-7 – до тех пор, пока один здоровенный и смелый мужчина ни изловчился и ни двинул его сзади по голове кирпичом. О дальнейшем развитии событий источники умалчивают.

Ранняя весна в Москве всегда напоминает мне о человеке, с которого содрали кожу, а новая ещё не успела нарасти. Может быть, и не всю кожу ободрали, а только верхний слой с лица – как это некогда было модно у молодящихся красавиц. Пройдёт недолгое время и сплошная лимфоточащая рана станет очаровательной розовой кожей, увы, опять-таки ненадолго.

Чувство открытости, неуюта, незащищённости, однако, давало шанс сделать какой-нибудь новый шаг в неведомое. За поворотом вас могло ждать всё что угодно – тот самый сумасшедший или прелестница со стоячими грудями третьего размера, которая, впрочем, на поверку тоже могла оказаться совершенно сумасшедшей.

Мосты стучали особенно нервно, вороны каркали так, что лопались барабанные перепонки. А уж лёд в водосточных

трубах обваливался с таким грохотом, что не оставалось никаких сомнений в надвигающемся конце света.

Мы, втроём, шли по улице, от периферии к центру. Я, моя жена и мой друг. Всего скорее, мы просто так вышли на прогулку – подышать этим сырым, будоражающим сознание и подсознание, воздухом.

Всё бы было ничего, если бы только не трупы на проезжей части. Сначала я заметил один. Подумал, что собака. Подойти ближе и рассматривать – как-то не удобно. К тому же движение было сильное, и я вполне мог лечь рядом жертвою своего непомерного любопытства. Труп был одет во что-то чёрное. Жена одёрнула меня, и я не полез ближе. А мой друг вообще и всегда бывал настроен слишком философски, ну разве что иногда ссорился с мамой, вместе с которой они проживали. Мы прошли мимо и за поворотом забыли о трупе. Мало ли случается дорожных происшествий?

Но спустя какое-то время я вновь бросил взгляд на дорогу, и снова увидел труп. На этот раз он валялся не так далеко от бровки тротуара. Никто из нас почему-то не мог припомнить, успели мы уже развернуться в нашем произвольном пути или нет. Так что, совершенно невозможно было понять: тот же самый труп наблюдаем мы сейчас или же другой? Этот труп, во всяком случае, тоже был одет в чёрное. И это точно была не собака, а какой-то священник или монах. Длинное чёрное одеяние на нём было не иначе как рясой.

– А может пальто? – спросил друг.

– Фасончик не тот, – сказал я.

Я вспомнил, как однажды наблюдал на выходе из своего двора следующую сцену. Действующими лицами в той сцене были – очень прилично одетая и по виду интеллигентная женщина средних лет и некое, опекаемое ею, существо, которое при ближайшем рассмотрении тоже оказалось монахом. Т.е. он был одет как монах – ряса и шапочка на голове, которая по-моему называется куфья (или скуфья?). Этот человек явно был нездоров, причём трудно было оценить в какой мере это заболевание душевное, а в какой телесное. Выглядел он как абсолютный идиот, у которого, к тому же, от слабости подкашиваются ноги. Я, прекрасно понимая насколько это нескромно, всё-таки никак не мог оторвать взгляда от происходящего. Женщина, по всей видимости, достала «монаха» из машины, но что же она хотела делать с ним дальше? Я быстро пошёл вперёд, за ларёк, а потом вынырнул оттуда и – как бы не спеша – побрёл в обратном направлении. Вряд ли, поглощённая своим нелёгким занятием, женщина обратит на меня внимание. Иду мимо и всё. Когда я вновь поравнялся с ними, «монах» уже сидел на корточках между отстаивающимися здесь машинами. Женщина задирала ему рясу, как юбку женщине, но между ног у него свешивался весьма достойного размера тяжёлый половой член. Похоже, что никакого белья, равно как и штанов, у «монаха» под рясой не было. А на улице было не тепло. Впрочем, он ведь до того находился в машине. А по какой нужде присаживал-

ся «монах» – я так и не сумел подсмотреть. Он всё как-то никак не мог собраться с силами, а женщина из последних сил удерживала его сзади под мышки, чтобы он не свалился. По-моему шапочка его всё же упала. Женщина изредка отпускала некие междометия приглушённым, но каким-то деланным, я бы сказал, актёрским голосом. Она словно чем-то давилась или немного задыхалась – может быть, оттого, что уже давно чувствовала на себе мой напряжённый взгляд. Дальше наблюдать я постеснялся, отвернулся и ушёл. Да, но эта необыкновенная пара мне надолго запомнилось – можно сказать, навсегда – важная дама и монах-идиот, с совершенно безмысленным, трясущимся и покрытым испариной лицом. Казалось – он собирается родить.

Теперь же я встретил труп похожего монаха. Что это труп – можно было не сомневаться. Кто-то уже заботливо прикрыл его огромным листом полиэтилена, как прикрывают мебель в квартире во время побелки потолков. К тому же, труп уже так основательно раскатали, что он сделался почти плоским. Монах и при жизни, правда, скорее всего не отличался толщиной. Черты лица невозможно было различить. Кровь на нём смешалась с грязью, а та, что пролилась, утекла вместе с талыми водами. Я наклонился, мне показалось, что из-под полиэтилена немного пахнет.

Мы всё-таки решили, что это всё тот же «монах» – т.е. тот, которого мы уже сегодня встречали. Не может же на одной и той же улице одновременно валяться сразу несколько сби-

тых монахов? Какова вероятность такого события? А какова вероятность *того* события – когда сумасшедший монах присаживался с голым задом и с женской помощью среди бела дня в центре города, на проходе между двух машин?

Запоминающиеся события вообще отличаются своей невероятностью.

Мы прошли ещё метров сто, причём миновали железнодорожный мост (один раз, т.е. не успели развернуться), и наткнулись на ещё одного мёртвого «монаха». Впрочем, что я их всё – монахи да монахи? Может быть, это были какие-нибудь дьячки? Или – во всяком случае – один из них был дьячком. Мне почему-то хочется так судить. Наверное потому, что все они, несмотря на свой раздавленный вид, выглядели молодо. Бороды были короткие, хотя, может быть, их и шишами стесало. И не было этих бегемотских священнических животов.

Но кому и зачем понадобилось сбивать столько дьячков? Неужели это, в самом деле, несчастные случаи? Их тут, по крайней мере, два, а то и три. А если подалее пройти – вдруг ещё найдём? Два – это точно. Уже есть о чём призадуматься. И почему их не убирают? Кто накрыл их полиэтиленом, зачем?

Почему все делают вид, как будто так и надо? Машины едут мимо, а то даже норовят ещё получше утрамбовать мёртвое тело. Им дай волю, они совсем вкатают этих «монахов» в асфальт – превратятся они в липковатые маслянистые

тени, как часто случается с незадачливыми зверушками поменьше.

Может быть, обратиться в милицию? Но вон идут милиционеры, и... Извиняюсь... Нам что, больше всех что ли надо? Но на душе всё же кошки скребут. Неужели это указание свыше? И насчёт полиэтилена... Сам Путин знает? Или это всё-таки просто наше обычное российское разгильдяйство? Как бы это утешило мою душу. Кто виноват? – скажи-ка брат и т.д. И т.п.

Жена моя, видя мою чрезмерную заинтересованность вопросом, начала злиться, потащила меня за руку с края проезжей части подальше на тротуар. Друг поспешал сзади, он уже готов был вывести во всеуслышание некую обобщающую теорию, но ему мешал разродиться шум проезжающего транспорта. Жена совсем осерчала и бросила как ненужную тяжесть мою, невольно сопротивлявшуюся ей, руку. Мало того – она, понюхав свой меховой воротник, внезапно истерически всхлипнула и, сорвав с себя дублёнку, бросила её лицевой стороной на асфальт – прямо в лужу, точно расстелила. Затем она, не оборачиваясь, широкими шагами, стала удаляться. У меня отвисла челюсть. Друг замер, покачиваясь – одной ногой на бордюрном камне. В этот момент сзади нас накрыло точно вороновым крылом – всё наполнилось холодом и одновременно затхлостью, даже не бензиновой вонью, а впрямь смрадом падали. Эта волна чуть не сбила меня с ног. Чтобы не упасть, я присел на корточки и закрыл глаза. Я

боялся упустить жену из виду и не знал, что там сзади происходит с другом. Совсем рядом истошно завизжала экстренно тормозящая машина.

Вдруг всё выключилось. Перед глазами возникла обморочная серая пелена, как в отыгранном все программы чёрно-белом телевизоре. Только какие-то пересекающиеся короткие чёрные царапины – вроде сучков или птичьих следов. Мне всё стало ясно, но я не испугался. Я уже проснулся.

Жар от люстры

«Я – половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам...»

Бхагавад-Гита

По этому поводу мне припоминается ещё одна притча, про одного моего знакомого. Он чрезвычайно увлекался всякими эзотерическими культами, особенно индийского толка.

И вот однажды, в Москву приехал некий учитель, имя которого я, возможно, весьма неправильно воспроизведу как Миларепа.

Этот самый Миларепа должен был выступать в одном из утративших былую посещаемость кинотеатров. Название у этого кинотеатра, насколько мне помнится, было какое-то географическое. Не то Урал, не то Севастополь, не то совсем – Горизонт.

Побывав на представлении учителя и впечатлившись не столько тем, что оный учитель говорил, сколько количеством собравшейся в зале публики, мой знакомый загорелся мыслью самому осуществить подобное мероприятие. Но, разумеется, с другим учителем и в другом месте.

Учителя, которого он имел в виду, звали, кажется, Жар от Люстры. Впрочем, я запросто могу что-то путать. Этот самый Жар от Люстры был наверно ничем не хуже и не лучше других учителей такого же ранга, но приятелю моему почему-то именно он очень нравился. Впрочем, может быть, не так уж он ему и нравился, а казался почему-то доступнее остальных. Уж этот Жар от Люстры точно должен был согласиться на его предложение. И в самом деле, почему бы ему не выступить в одном из московских кинотеатров?

Приятель мой вообще человек был деловой. Он тут же начал приготовления. Первым делом присмотрел подходящий кинотеатр, с опять-таки географическим названием. Причём название это чисто по расстоянию должно было быть ближе сердцу индийского гуру. Это например могло быть какая-нибудь Ганга или, на худой конец, Ханой. В общем, и кинотеатр и название отыскивались такие, что ищи лучше, да не куда.

Приятелю моему, привыкшему действовать нахрапом, подобно каким-нибудь монголо-татарским кочевникам, удалось сходу влюбить в себя директора избранного учреждения культуры, хотя и был он мужчиной и даже не гомосексуалистом.

Директор и его немногочисленные подчинённые, за последнее время поотвыкшие от приличных денег, были приятно поражены вновь прибывшей энергией и инициативой.

Приятелю не пришлось убеждать их, что это только начало, что впереди, может быть, целая серия подобных встреч, что надо только решиться и сделать выбор. Впрочем, выбрать было не из чего – кинотеатр на тот момент практически пустовал.

Теперь оставалось решить частные технические вопросы. Дело в том, что моего знакомого совершенно не устраивал бледный вид будничных киношных билетов. Ему предложили удвоить цену, но от этого эстетика билетов не улучшилась. Решено было, что до представления он успеет связаться со своими друзьями, и они помогут напечатать красочные билеты, причём не только билеты, но и рекламные флайеры, програмки, и иже с ними. Директор так расчувствовался, что даже неосторожно предложил покрыть часть ожидаемых расходов приятеля за счёт предстоящего сбора.

Приятель летал по Москве словно на крыльях. Дело горело у него в руках – и это было его дело, только его. Это тебе не какие-то банковские счета, не вонючая нефть, не бездушные металлы. Это даже не сомнительный по нравственности шоубизнес. Речь идёт о самом высоком, о духе. Именно для лечения духа прибудет сюда учитель из Индии. А это даже выше учителей и врачей. Да и что они там знают, священники, в своих православных церквях? Индийская религия – не

в пример древнее, значит и знает больше. Не тело надо лечить, а дух. Не нищих и голодающих спасать, а нищих и голодающих духом. Хотя – с этими *нищими духом* оставалось много непонятного...

Так вот. Всё ему удалось. И друзей, которые в общем-то были совсем не друзья, а люди весьма расчетливые и прижимистые, расстрясти на посильную помощь. И деньги, которых не хватало, найти у других таких же «друзей». Ради святого дела – он не стеснялся влезать в долги.

Даже собственную бабушку, старушку, которая на ладан дышала, он подключил к работе. Она, глядя сквозь толстенные очки, трясущимися руками, вынуждена была вырезать из компьютерных распечаток картинки – только чтобы угодить любимому внучку. И то – ей ведь дома делать нечего.

Уже был назначен точный срок. Это было что-то в декабре. Или в марте. Во всяком случае, то и дело наступали оттепели. А когда снег тает, всегда пахнет весной.

Приятель обзвонил всех знакомых, все заинтересованные организации. Инвалиды и сироты из интерната могли рассчитывать получить научение бесплатно, ветераны всех войн – тем более. Приглашён был даже некий член правительства, правда, через третьи руки, и фамилия его, даже при некоторой расшифровке, никому бы ничего не сказала.

Тут пришла пора оформлять сцену. Опять приятелю пришлось тратиться и отягощать займами близких своих, ибо у нищего кинотеатра ни денег, ни строительных материалов,

ни рабочих не было.

Из пыльных загашников была извлечена выдавшие виды трибуна, с которой когда-то по праздникам выступали партийные деятели. Трибуну подкрасили, и забили по углам недостающие гвозди. Нашёлся даже графин, который приятель в течение трех дней безуспешно отмачивал у себя дома от ржавчины. Не выдержав, он решился и подменил фамильный графин у бабушки в заветном шкафу. Одна надежда была – на бабушкину прогрессирующую слепоту. Хрустальные стаканы – на всякий случай два – он украл оттуда же. Синева этой посуды его отнюдь не смущала, т.к. должна была выражать чистоту помыслов предполагающегося учителя. А уж с кем пить после концерта, с ним или с директором, учитель сам разберётся.

Для оформления задников пришлось привлечь знакомую художницу, т.к. штатный кинотеатровский художник пребывал в состоянии почти перманентного запоя. Результат получился несколько абстрактным, однако, за неимением лучшего – терпимым. Подумав, приятель пририсовал кое-где к расплывчатым цветовым пятнам стилизованные крылья и ноги – что-то такое ангельское. Вышло недурно – приятель и сам был не дурак рисовать.

Надо было ещё написать или распечатать большие плакаты и афиши. Что до афиш – без типографии уже нельзя было обойтись. Но и это оказалось легко. Голодная типография была согласна на любую работу. И оплату потребовали снос-

ную – как раз хватило того, что удалось ему перехватить у собственной бабушки накануне.

И ещё моему приятелю пришлось провести целый день в библиотеке, где с ручкой в руке он неутомимо выписывал из соответствующих книг необходимые санскритские термины. В итоге подобных занятий у него всё перепуталось в голове. Так – что и под дулом пистолета он не смог бы вразумительно объяснить, чем отличается сатсанг от дансинга. Впрочем, последний термин, кажется, никакого отношения к Индии не имеет. Но нужно иметь в виду, что там довольно долго управляли англичане, а значит и сейчас ещё кое-что осталось от английского языка.

В конце концов, приятель всё-таки решил пользоваться в объявлениях исключительно русскими понятиями. Ведь он не хотел уподобиться каким-нибудь декабристам от эзотерики – узок круг этих людей... Народ – вот кто должен был получить в дар возвышающее и озаряющее, единственно ценное и необходимое всем земным существам знание. А для народа – надо было сказать всё просто и понятно.

Помолясь, приятель написал вот такой эскиз:

*Жар от Люстры,
великий индийский учитель.
Лекция, семинар,
благословление желающих
и посвящение в ученики.*

«А потом дискотека» – приписал он, невольно улыбнувшись, и всерьёз задумался о том, что если он хочет, чтобы мероприятие получилось истинно народным, без дискотеки никак не обойтись.

А ещё внизу он написал в скобках: «Билеты в кассах кинотеатра». Пожалуй, всё: простенько и со вкусом, и ни одного лишнего слова. И всё по-русски, разве латинизмы? Но они ведь давно прижились. А вот захочет ли учитель желающих благословлять и в ученики посвящать? Ну, как-нибудь упросим – пусть хоть вид сделает. Может быть, он всё-таки пьющий? – тогда легче будет.

Только вот насчёт дискотеки – это действительно головная боль. И вместо того, чтобы просто вычеркнуть ненароком вырвавшееся словцо (к тому же ещё и не очень-то русское), приятель мой, сообразуясь с упрямством и взбалмошностью собственного характера, отнёс в типографию эскиз в неисправленном виде. Про эту, предполагаемую, дискотеку кроме него на тот момент никто не знал.

Если дискотека, то хорошо бы и буфет. В буфете – выпивка. А как насчёт лицензий? Можно ли курить? Надо же создать людям комфорт! И попкорн с кока-колой неплохо бы на входе продавать. Некоторые уже привыкли. Особенно молодежь. А на кого нам ещё рассчитывать?

До срока оставались всего четыре дня. Он понял, что не успевает. Т.е. с дискотекой не успевает. Успел только най-

ти, опять-таки где-то в кинотеатровых закромах, совершенно расстроенный и неистребимо пыльный рояль, и неимоверными усилиями всех присутствующих сотрудников втащить его на сцену. Единственный в кинотеатре рабочий, человек далеко за 60, после этого слёг с грыжей. Ещё был приглашён детский хор из трёх девочек, по знакомству, из ближайшего домоуправления. Одна из девочек была дочка касирши, хотя на вид больше годилась ей во внучки.

Единственная молодая дама в кинотеатре – то ли секретарь, то ли любовница директора – должна была естественно играть роль конферансье. В предпоследний момент для украшения сцены ещё были закуплены разноцветные воздушные шарик. Среди них неприятно превазировали жёлтые и красные, что не гармонировало с коричневато-чёрными задниками и синей посудой. Впрочем, пестрота могла напоминать о брэнности мира. Может, убрать задники и оставить белый экран?

Дискотеку на всех афишах пришлось вымарывать, вернее замазывать белой краской. Белой краски не хватило. Кто-то предложил использовать клей ПВА. В пылу этой работы приятель испортил себе длиннополое чёрное пальто, которым очень гордился. Дома не отмывалось, а в химчистку сдавать было поздно. Он чуть не расплакался, но собрался в кулак, как и подобает продюсеру, организующему такое солидное и богоугодное дело.

Итак, настал час «Х», вернее утро дня «Х». Чтобы чув-

ствовать больше уверенности, приятель даже разрешил себе лишний час поспать и побрызгаться, до сей поры не початым, дарёным дорогим одеколоном. Он вышел из дома и сразу же увидел хвост очереди, который торчал из дверей касс кинотеатра. Мы забыли сообщить, что подходящий кинотеатр он по счастливому стечению обстоятельств обнаружил как раз рядом со своим домом.

Такого аншлага это старое культмассовое заведение, скорее всего, не переживало уже с десятков лет. У директора сейчас, наверное, при взгляде в окно замирало не совсем здоровое сердце, а у его секретарши сводило не совсем здоровую шейку матки.

Значит – дала-таки себя знать реклама. Значит – не зря приятель лепил дрожащими пальцами несанкционированные листочки в вагонах метро. Удалось! Ему невероятно захотелось закурить, но он не мог решить – что предпочтительнее – подобрать окурок или стрельнуть у проходящего мимо. На него напал какой-то паралич. Он посмотрел на часы. До сеанса оставалось ещё четыре часа. Вот сейчас он как победитель проследует вовнутрь через парадные двери кинотеатра...

Может быть, не следует курить? Осквернять своё чистое дыхание? Ещё бы ничего смотрелась в его зубах хорошая трубка или же сигара. А сигарета или папироса – нет, они могут его только унижить, профанировать момент.

Он стоял, и улыбка растягивала его губы так, словно кто-

то держал его за углы рта сильными пальцами. Какая-то тупость и опустошённость поселилась в нём, в ней затерялись даже мысли, проистекавшие из тоски по никотину. Это была великая пустота. Весьма возможно, та самая великая пустота, за которой ныне стремились люди к означенному кино-театру. И вот, он имел её бесплатно, не от кого, просто так...

Приятель упал в грязный сугроб, отделявший тротуар от мостовой, ибо единственная мысль поразила его в звенящей пустоте в самое сердце. И снаряд этот был куда более разящим, чем Амурова стрела. Возможно, он был запущен из какой-нибудь чудо-баллисты. Приятель упал ничком и бился лицом об заскорузлый и закопчённый снег, уже отнюдь не опасаясь испачкать свои парадные одежды.

Никакого Жара от Люстры не было. И этот факт вдруг открылся ему с такой неотвратимой силой реальности, что он чуть не умер на месте. Во всяком случае, это было вполне похоже на эпилептический припадок или, может быть, на пресловутое озарение!

Люди ждали его. Вернее не его, а Жара от Люстры. Почти все билеты уже были распроданы. Кассирша охрипла с отвычки, а дочка, вертясь поблизости, натёрла ей колени. У директора же с секретаршей уже начались судороги лица от непрекращающихся улыбок. А в глазах моего несчастного приятеля – облезала позолота, оставалась свиная кожа. Вся мельтешащая пестрота превращалась в чёрный прах, а затем – в бесконечный белый экран. Кина не будет. Только необъ-

ятно широкий лоб, начисто выбеленного, всеобщего скелета.

Он не мог плакать. Он задышался. Весь мир перед ним, самый воздух, шевелился как созревающая лягушачья икра, чёрными точками и наступал, надвигался, тотально и неотвратно, но почему-то издевательски медленно, толчками, как в зависающем видео. Он даже не мог закрыть глаза, чтобы не видеть этого, и осколки льда с солью больно льнули и ранили роговицу...

Наконец из горла его вырвалось гомерическое рыдание, а с ним чуть не вырвался и лёгкий, но изысканный завтрак, которым он накануне себя столь любовно снабдил. Это был крах, полный крах!

Отец

«С приличествующим случаю величием духа он должен скрывать свою боль...»

С.Кьеркегор

И вот я стою и торгую видеокассетами на рынке. Всё как обычно. Распространяюсь перед покупателями, что новенького и припоминаю, что они ещё не смотрели из старенького. Суббота – самый бойкий день. Я только и делаю, что грешу – в субботу по еврейским понятиям, в воскресенье – по православным. Народа на редкость много. Такой час. Но может быть, уже через несколько минут все разбегутся, и будешь

здесь сидеть и куковать в гордом одиночестве.

На рабочем месте меня нередко навещают друзья. Так что я не очень удивляюсь, разглядев среди лиц клиентов какое-нибудь уж слишком знакомое и не вписывающееся сюда лицо. Клиенты, впрочем, тоже почти сплошь мои знакомцы. Только тот клиент ценен, который постоянен. Только тот хорош, с которым поговорить приятно, если даже ничего ему и не продашь.

Я на секунду закрыл глаза. Просто моргнул. Только что мне пришлось общаться сразу с несколькими заинтересованными людьми. Одному объяснять возможную причину брака на возвращённой им кассете, другому отдавать сдачу, с третьим просто здороваться и улыбаться. К тому же, необходимо было записать все проданные кассеты в тетрадь.

Я закрыл глаза и почувствовал *это*. Мне стало страшно. Вернее, я не успел испугаться и поплыл. Я понял, что плыву, и это меня испугало. Испуг отрезвил меня, и я открыл глаза. Не могу сказать, что я им не поверил. Просто на тот момент у меня не нашлось ни слов, ни мыслей, ни эмоций. Вдруг напала какая-то лень, дрёма, слабость. Так на лицо напозапет мертвецкая бледность, когда тебя избивают, а ты не находишь в себе ни сил, ни воли защищаться.

Это была не какая-нибудь моя старая любовь, на что я в тайне надеялся. Это был... отец. Он стоял, зажатый с обеих сторон клиентами. Мужчины по сторонам были мне не очень знакомы – благо, они, не задавая вопросов, углублён-

но изучали товар, разложенный на столе. Отец тоже молчал и виновато улыбался.

– Привет, – зачем-то сказал я и удивился гулкости своего голоса.

– Привет, – ответил он приглушённо.

Я опустил глаза. Брови были тяжёлыми как гири. Я очень-очень рассчитывал, что когда я их подниму, он исчезнет. Пауза зрела и звенела. Я рывком поднял веки и голову. Отец стоял передо мной. Оба клиента исчезли, так ничего и не купив. «Философы» – как мы таких называем.

– Может быть, зайдёшь сюда, присядешь, – опять-таки неожиданно для самого себя предложил я отцу.

– Да нет, – ответил он тихо и покачал головой. Его голос едва пробивался через рыночную музыкальную какофонию.

Я вздохнул. Так тяжело, что отец не мог этого не заметить. Я всё ещё отводил взор, боялся смотреть ему в глаза.

«Наверное, надо что-то спросить...», – мелькнула у меня мысль. Отец, по всей видимости, моих мыслей не читал. Он – то ли не хотел, то ли не мог подсказать мне образ действий.

Я пожевал губами, и, набравшись духа, сфокусировал зрение прямо перед собой.

– Я не знаю, на самом деле это происходит или нет – выговорил я. – Но то, что происходит, для меня очень тяжело. Скажи пожалуйста, зачем ты пришёл?

Я говорил, но мне казалось, что я скорее не говорю, а слушаю сам себя – голос звучал как чужой, раздавался как в

бочке. Мало того, я не понимал, нужно ли это говорить. Мне вовсе не хотелось обижать отца. Но что я должен был делать? Обнять его, повиснуть на шее?

Отец улыбался всё той же, довольно жалкой, улыбкой. Эту улыбку я помнил у него с тех пор, как мне в малолетстве пришлось отбиваться от навязываемой им дружбы после того, как он разошёлся с матерью.

– Ну, ты скажешь что-нибудь? – вдруг спросил я почти раздражённо.

Отец опять улыбнулся, на этот раз, я бы даже сказал, галантно. И это слегка разрядило ситуацию. Он вообще был светским человеком, весьма светским:

– Я узнал, что ты здесь. Смотрю, как устроился.

– Если хочешь, расскажу, чем мы торгуем, – предложил я.

Отец очередной раз улыбнулся, теперь уже на какой-то свой иронический и развлекающий лад.

Я натянуто улыбнулся в ответ. Улыбаясь, я осознал, насколько устал за последние минуты. Будто на самом деле на мне воду возили. Захотелось сесть, но было неудобно перед отцом.

– Как ты себя чувствуешь? – предупредительно спросил он.

Голос у него был, как я уже сказал, очень тихий, но всё-таки я его отчётливо слышал, в то время как, чтобы слышать сквозь окружающий шум некоторых клиентов, мне приходилось заставлять их по три раза повторять на повы-

шенных тонах одно и то же.

«Может быть, это звучит всё-таки только в моей голове?» – сделал я осторожный, но обнадеживающий вывод.

Отец наклонился к моему уху. Была, кажется, у него такая привычка. И я ощутил знакомое дыхание, дыхание с придыханием. Услышал, как посвистывает его горло, как он сглатывает слюну. Это был несомненно он – целиком и полностью. Был даже его слегка кисловатый запах.

– Ты долго здесь будешь? – спросил меня отец на ухо – так, точно собирался вступить со мной в какой-нибудь сговор.

– А что? – спросил я, невольно отпрянув, ибо его дыхание щекотало волоски у меня внутри уха.

– Да может быть, я мог бы тебя дождаться?

Я посмотрел на часы:

– Нет, ещё долго. Мне здесь надо быть хотя бы до семи часов, – а сам подумал: «Что я говорю? Мне наверно в таком случае следует всё бросить и идти за отцом, куда он пожелает...»

– Жаль, – отец разочарованно нажал плечами.

– Ты торопишься? – спросил я.

Отец замялся.

– В общем, нет – сказал он вскоре. – Но если ты занят...

– Только ты не обижайся! – взмолился я. – Суббота – у меня самый доходный день!

Отец улыбнулся понимающе и панибратски вскинул подбородком.

– Блин! – выругался я. – Был бы кто-нибудь, кто мог меня заменить... Как назло – все разбежались. А клиенты так и прут.

Отец стал озираться по сторонам. Я врал. Вернее, уже врал. Клиенты были, но вот их и след простыл. Толпы бродили по рынку, но всё мимо. Так бывает. Не всякий ведь забредёт в нашу закуту.

Отец почесал нос:

– Жарко тут у вас, – сказал он.

– Кондиционеры работают, – похвастался я. – А тыними плащ, я на спинку повешу.

– Да ладно, – отмахнулся отец. – Расскажи лучше, как ты здесь? Как заработки?

– Ну, когда как. В общем, ничего. – Ушёл я от прямого ответа, сам не знаю зачем.

– Как семья?

– Семья – как семья, – снова неопределённо ответил я. Как будто у меня могли быть какие-то основания что-то скрывать от отца.

Он помолчал.

– А в поездки больше не ездешь?

– Что? – не понял я.

– Ну, на поездах?

– А, нет. Уже давно. Там перестали платить. Да и поездок мало. А сидеть здесь – сторожить вагоны – не велика радость.

Это я отцу – про свою, не так уж давно оставленную, про-

фессию проводника почтового вагона.

– Да-а, – протянул отец, чтобы что-нибудь сказать. А как стихи?

Я шмыгнул носом:

– Ну, пишу иногда. Но щас мало.

– А почему? – вроде расстроился отец.

– Да возраст уже, – смущённо улыбнулся я. – Хватит. Или придётся ещё раз влюбиться. Возможен адюльтер – сам понимаешь, нехорошо.

Отец помрачнел. И я вспомнил, что он всегда болезненно воспринимал подобные шутки. Кто знает – может быть, сработало подсознание, и я вновь мстил ему, вроде бы невзначай его подковыривал.

– А как мама? – переменил он тему.

– Жива, здорова – слава Богу, – я перекрестился.

– А бабушка?

Я широко раскрыл глаза.

Отец будто что-то припомнил и, оттопырив нижнюю губу, сокрушённо покачал головой:

– Когда это произошло?

– Да уж ... почти десять лет прошло. А ты разве не знаешь?

Он посмотрел на меня испытующе. Была в этом взгляде какая-то внутренняя боль. Он словно проверял меня на вшивость. Но я даже не мог понять, в какого рода вшивости он пытался меня уличить. Я чуть не утонул в этих глазах, зелё-

ных с разводами растворённого на молоке кофе. Я вовремя спохватился.

– Уу-х! – выдохнул я.

Отец примирительно улыбнулся.

– Ничего, – сказал он. – У меня что-то с памятью, знаешь.

Иногда вылетает. Годы.

– Что-то непохожее на тебя рассуждение, – зачем-то сказал я.

Отец поднял брови – он так всегда иронизировал. Вернее – это был привычный сарказм. Отец как отец. Значит всё в порядке. И эта его, тщательно скрываемая, но вечно проби- вающаяся сквозь тонкую кожу наружу, нежность... Она сей- час – как никогда сильно чувствовалось. Я, кажется, унасле- довал эту его черту. Но чувствует ли хоть кто-нибудь меня так, как я его сейчас?

– Ну, мне наверно пора, – полуспросил он.

Я уже с непритворным сожалением вскинул глаза:

– Уходишь?

Мне очень захотелось спросить у него телефон. Или... я дал бы ему свой. Но ведь он должен знать! В голове у ме- ня опять всколыхнулся какой-то сумбур. Я никак не мог ре- шить: что' следует, а чего не следует спрашивать теперь у па- пы?

Вот, что бабушка умерла, он почему-то не знает. Или при- творяется? Или забыл?.. Там ведь ему – должно быть вид- нее...

Может быть, пойти всё-таки проводить его хотя бы до дверей рынка? Или до метро? Но куда он? Да, куда он едет?

– А куда ты сейчас? – вырвалось у меня.

Отец грустно улыбнулся.

Я знал один из возможных его теперешних адресов. Не так давно мы с дочкой закопали тюльпанные луковицы в его, ещё не успевшую как следует провалиться, могилу.

– А ты оттуда можешь звонить? Хоть иногда? – спросил я, и мне было невыносимо страшно и неудобно за свои вопросы.

Отец криво и загадочно улыбнулся и нетерпеливо повертел головой, его уже подмывало уйти.

– Я что, тебя больше никогда не увижу?

Он посмотрел на меня в упор и не ответил.

Я обессиленно опустил глаза и руки. Веки стали неприподъёмно тяжёлыми.

Казалось, что в слёзных мешочках зреют такие крупные слёзы, которым во веки не пролезть сквозь узкие протоки. Скорее, верблюд...

Я всё-таки поднял лицо. У меня тряслась шея. Отца не было. Я пошарил вокруг сумасшедшими глазами. Весь мир подёрнулся дымкой. Звуки и запахи тоже. Слава Богу, что никто из клиентов меня в этот момент не доставал. Язык прилип к нёбу, вся слюна во рту внезапно кончилась. Надо попить. Но вместо того, чтобы пойти за водой, я водрузился на своё сидалище. Пока никого нет – можно закрыть глаза и всё

обдумать.

Случалось, покойники являлись ко мне во сне. Да с кем такого не случалось?

Бабушка однажды приснилась, и я обнял её.

– Наконец-то ты появилась! – возликовал я.

– Нет, это не я, – сказала бабушка.

– Как не ты, а где же ты? – удивился и расстроился я – ведь все мои пять чувств совершенно убедительно свидетельствовали, что вот это, сейчас, передо мной, именно моя бабушка.

– Твоя бабушка в другой комнате, – сказала бабушка неожиданно жёстко, и даже стала отталкивать меня руками.

– А кто же ты?

– Я призрак. Не обнимай меня! – она окончательно отстранилась.

Я стоял перед ней как оплётанный и смотрел на неё снизу вверх умалаяющими глазами. Она почему-то стала очень большой – как башня. Или это я – что гораздо более вероятно – опять стал маленьким, как в детстве.

Эта бабушка была для меня недоступна и взирала строго. Но в уголках её глаз и губ я всё же угадывал знакомую любовь.

– Ты не шутишь? – с последней надеждой спросил я.

– Я не шучу, – отрезала бабушка и, уперев руки в боки, отвернулась.

Я открыл дверь в маленькую комнату, куда указала бабушка, вбежал туда, но никого там не обнаружив, бегом же вер-

нулся обратно. В большой комнате тоже уже никого не было. Я лихорадочно осматривался. Даже на шкаф и под диван заглянул. Кинулся ещё раз в маленькую. Но там было по-прежнему пусто. Бабушка ушла, испарилась. Зачем-то обманула меня. Может быть, хотела предостеречь? И то – общение с призраками – наверно не самое безобидное занятие. Такого не пожелаешь собственному внуку.

Ещё ко мне приходил мой двоюродный, безвременно умерший брат, второй внук той же бабушки. У него всегда что-то не в порядке было с лицом – какая-то кровь, и на руках... Но это было понятно – ведь он погиб при весьма загадочных и трагических обстоятельствах...

Являясь ко мне во сне, брат с каждым разом становился всё чище – пока совсем не исчез. Быть может, Господь наконец-то освободил его заблудившуюся душу? Хотелось бы на это надеяться.

А тут... Призрак отца явился среди белого, пусть и изрядно подсвеченного люминесцентными лампами, но дня, на рынке, а отнюдь не в храме, в цитадели, можно сказать, всех возможных грехов и пороков. Вот это, всё что находилось здесь, – я приоткрыл глаза и вместе со светом поймал в щёлки меж век тревожный и гнетущий гул – это и есть самая что ни на есть вопиющая реальность! Иначе – какая ещё земная реальность может быть на Земле?!

От этих мыслей с ума можно было сойти. Я опять поплотнее сомкнул веки и постарался переключиться. Клиенты –

молодцы – всё ещё меня не беспокоили. Хотя и деньги между тем – какие-никакие – конечно утекали из рук.

Вдруг я вскочил и заметался, как испуганная лошадь. Никого не было – ни призраков, ни людей. Только девчонки напротив наяривали какую-то до исступления реальную попку. Я опять присел и вытер со лба засморканным платком липкий горячий пот. Ещё раз встал и для надёжности огляделся. Поджилки дрожали и ноги подкашивались. Ладно. Как бы там ни было – надо отсидеться и ... переключиться. Сейчас, может быть, кто-то придёт... И попить. Но идти куда-то – пока выше моих сил. А вдруг?.. Вдруг – всё *это* вообще сейчас исчезнет? Я зажмурил с натугой свои, самостийно вылупляющиеся, как подоспевшие цыплята, глаза. Может быть, глаза боялись быть закрытыми? Глаза боятся...

Мне всё-таки удалось переключиться. Я стал думать о тшете «реальности», о том, что вот уже очень скоро мы будем продавать вместо громоздких кассет DVD, после DVD – какие-нибудь минидиски, а потом – если доживём и не прихлопнет нас, негодников, какая-нибудь инспекция – вовсе станем торговать какими-нибудь микрочипами, которые будут прикрепляться, скажем, к виску, а там, глядишь, и безболезненно внедряться в мозг. Зачем тогда все эти телевизоры, голография? Зачем сами глаза, которые боятся? Можно ведь, наверное, когда-нибудь будет продавать сны, сны в чистом виде. Конечно, это будет выглядеть совсем не так, как в наивном фильме 40-ых годов. Да и нужны ли кому-то чу-

жие сны? Риторический вопрос! Что за болезненное любопытство?!

Тут ко мне пришли клиенты, и я до самого конца рабочего дня уже не задавался никакими вечными вопросами.

Когда спящий проснется

*«То, что следует принимать как данное нам, – это, можно сказать, **формы жизни...**»*

Л. Витгенштейн

Допустим, меня усыпили. Не сейчас, а скажем, в 60-ых, 70-ых годах благословенного 19-го века, пусть и поднимала уже в те годы драконью голову прогрессивная еврейская печать, пусть и готовы уже были подрывать своими бомбами расслабившихся царей бескорыстные до отвращения народовольцы.

Пусть это даже будет самое начало 20-го. Ещё достаточно тихо, и всё в диковинку. И дамы ходят в широкополых шляпах – или я ошибаюсь в моде? – и даже кинематограф ещё толком из яйца не вылупился...

Так вот, некий, не до отвращения бескорыстный, изобретатель, каковыми, как известно, всегда полнилась и полнится земля русская – прямо как червями пузырится – этот изобретатель помогает мне впасть в анабиоз, или как там его ни назови. Совсем как у Герберта Уэллса. Он вот только поче-

му-то в своих трудах не отразил ни одного русского изобретения. А вообще, здорово могло бы получиться: представляете себе этакую помесь «Бесов» с «Войной миров»? Круто! А то какая-то Россия во мраке... Скучно, господа. Вечно-то вы подозреваете нас, европейне треклятые, в недостаточной культурной зрелости и в отсутствии самоиронии, которой англичане бравируют так, как не бравировал Леонид Ильич своими звёздами Героя Советского Союза.

А я азиат, и если у меня мрачная рожа, это ещё не значит, что в душе я не ржу как кобыла над нынешними высокоумными европейскими идиотами... Вам что Шпенглер говорил? А Ницше? А Жар от Люстры?

Но пардон, опять мы отвлеклись. Так вот, значит, заморозили меня, или там – утопили в каком-нибудь геле – отчего бы не в меду, например? И пролежал я, значит, в таком состоянии никак не меньше, а скорее всего, даже побольше, чем 100 лет. «И вот настало пробужденье»!

Я жду, пока сфокусируются глаза. Я уже понимаю, что опять появился на свет. Вполне можно сказать, что второй раз родился. Я жажду увидеть хоть что-то кроме снов (которые, может, всё-таки как-нибудь можно рассмотреть в непроглядном анабиозе?).

Шум. Я понимаю, что это шум. Довольно ровный и однообразный. Сначала я думал, что это кровь шумит в оживающих венах. Но больно уж громко. Может быть, водопад, река? Или извергающийся Везувий? От последнего предпо-

ложения я вспомнил, что когда-то умел смеяться. Надо будет как следует поупражнять уголки губ. Губы – теперь я чувствую, что они у меня есть. Ещё не одна осень пройдёт, прежде чем я вновь научусь свистеть. Оказывается зато, что я вновь умею мыслить поэтически...

Итак. Что же это передо мной? Дымка помаленьку редет. На каком это расстоянии? Я ещё слаб и перед тем, как окончательно вернуться в реальность, вновь прикрываю глаза. Я готовлюсь к окончательному броску. Я начинаю по-настоящему ощущать собственное тело, собираю его по кускам. Вот руки, они затекли – не мудрено – проваляться 100 лет без движения! Смогу ли я вообще теперь ими двигать? Не атрофировались ли мышцы напрочь? А что, это было бы вполне логично...

Ноги, ногам что-то мешается. Они, кажется, согнуты... И вообще – как я лежу? Неужели я лежу на животе? Не может быть! Покойников и лежащих в анабиоз всегда укладывают на спину. По крайней мере, только так я видел в фильмах. А здесь, а теперь?

Так, всё-таки я, скорее всего, лежу на животе. Поэтому и трудно дышать. Но если я понимаю, что трудно дышать, значит, скорее всего, всё-таки дышу – и то дело.

Что-то мне давит на шею. Так – и шея есть. И грудь во что-то упирается, во что-то жёсткое... Вот, оказывается, на какие тонкие ощущения мы уже способны. И запах – бьёт в нос...

Погоди! Если я лежу на животе, каким образом могут быть согнуты мои ноги? Они что, приподняты? То-то отлило от ступней – почти их не чувствую. Но значит – ступни всё же есть – оглянуться бы. А то вдруг это всё фантомы?

А вонь? Это прямо ни на что не похоже. Ну, во всяком случае, это никак не запах разложения – и на том спасибо.

Вот сейчас я открою глаза и всё увижу. Не буду даже пытаться как-то ещё шевелиться, ибо на этом рискую растратить последние силы. Только раскрою глаза. Итак...

Это какие-то жуки... Огромные, разноцветные. Может быть, они не такие уж огромные, но просто находятся где-то совсем рядом, у моих глаз. Кажется, у Эдгара По было что-то такое...

Жуки очень быстро бегут. Все в одну сторону. Нет, погоди – одни в одну, другие в противоположную, но точно первым навстречу. Но они не сталкиваются. Одни бегут по одной стороне, другие по другой. Это похоже на какую-то дорогу...

Неужели это жуки так сильно шумят? Наверное, мне всё ещё продолжает сниться какой-то анабиозный сон. Надо успокоиться и расслабиться, надо доспать, и тогда... Я пробую снова уснуть, закутаться, провалиться в своё недавнее, пускай неподвижное и, как говорят, похожее на смерть, но такое уютное состояние. Я открыл глаза – и что же? – поговорить не с кем. Значит – надо снова заснуть, уснуть во сне – может быть, именно тогда, наконец, истинно проснись?

Может быть, и не было на самом деле никакого *вечного* сна? Сейчас меня обнимут как первопроходца экспериментаторы, которые всего-навсего испытывали крепость моей воли и разума, вводя меня в изменённое состояние сознания? Может, я вовсе проснусь со своей женой? А может... Губы раскатал!

Я убаюкиваю себя этими рассуждениями и предположениями, убаюкиваю изо всех сил. И отмечаю, что вот уже опять научился мыслить вполне отвлечённо. Значит – и во сне можно мыслить. Но довольно скоро это переливание из пустого в порожнее начинает меня раздражать. На самом деле – сплю я или не сплю? Почему мне снится, что я не сплю? – Вот вопрос!

Надоело лежать с закрытыми глазами – опять открою глаза. А ведь я уже это делал, вот совсем недавно – гляди-ка, и чувство времени начинает восстанавливаться – или мне всё это только кажется, снится? Надо проверить. Вот открою глаза и проверю. Хотя... В общем, каков критерий реальности? В общем – хватит демагогию разводить – проснись.

Злой сам на себя, я резко разлепляю глаза. И резко навожу их на резкость. Я вижу. Действительно: подо мной (я ощущаю это именно под собой, с чувством земного тяготения всё порядке) ползают жуки. Быстро – ног не видно, они – то ли у них под брюшками, то ли ...

Вдруг к горлу подкатывает тошнота. Это может быть от удушливого запаха. Он идёт явно от жуков – но так не может

пахнуть что-либо живое. Или это от шума – кажется, он уже поселился внутри головы – неотвратимый, монотонно гнетущий. Я бы блеванул, да нечем – не ел больше ста лет, да и сил у пищевода, наверно, не хватит. Да и что это давит мне на верхнюю переднюю часть туловища? Какая фигня мне подбородок царапает?

И вдруг я осознаю, что проснулся. И мгновенно становится страшно, до того, что дыбом встают волоски где-то на задней стороне шеи. Лежу и не могу пошевелиться. Кончится ли этот паралич? Подбородок, похоже, упирается во что-то каменное – такое оно холодное и шершавое – и смотрю я вниз, именно вниз...

Боже!.. И вот я начинаю орать, ибо ничто человеческое не дано увидеть мне в этом веке – машины, машины, машины... Истощенным, как у роженицы или умирающего, криком я пытаюсь разбудить, разбудить себя в последний раз, чтобы только не видеть этот кошмар.

Я могу кричать. И я кричу только потому, что понимаю, что проснулся. Это – невероятный ужас – то, что я вижу перед собой. Может быть, всё-таки можно ещё хоть как-то напрячься или наоборот расслабиться, чтобы перейти в другое, хоть чуть-чуть более выносимое состояние?

Мой крик звучит всего несколько секунд, и одновременно – он длится вечность. Вообще понятие «одновременно» не подходит. Я проваливаюсь сам в себя, в свой крик, в бесконечную тоску, в нечеловеческое одиночество. Только там

я надеюсь найти что-то ещё, пусть умереть, но хотя бы так обрести *настоящее пробуждение*.

Такое, впрочем, могло мне привидеться и спьяну, вернее, с похмелья, когда я, открыв глаза, обнаруживаю себя лежащим поперёк узенького тротуара на одном из автомобильных мостов через Московскую Кольцевую. Голова – лицом вниз – торчит наружу между прутьями внешней ограды, а ноги коленями упираются в ограждение, за которым проезжая часть. Естественно, сначала я ничего не соображаю, вижу только бесконечно снующие подо мной, отвратительно воняющие и жужжащие автомобили, и от страха воплю. Вот *это* есть, и больше ничего *нет*. Только представьте себе *это!*.. Нужна ли такая жизнь? Моя ли это жизнь?

Ну а потом – я либо умру каким-нибудь образом в тот же день, либо продолжу жить и вернусь к своим повседневным обязанностям. Вот сейчас встану и пойду к ларьку – надо, наверное, похмелиться.

Случай с геморроем

«Вот, например, человек, который в течение одного дня ощутил девять тяжёлых впечатлений на одно приятное...»

И.И.Мечников

Ну, теперь самое время рассказать какую-нибудь весёлую историю. Ибо приблизилось Царство Небесное. И кто не спрятался, я не виноват.

Один мой бывший сослуживец, человек весёлый и толстый, однажды был весьма неприятно поражён тем, что стал испытывать боль, справляя большую нужду. Герой наш любил поест, соответственно и противоположенный поглощению пищи процесс имел в его жизни довольно выдающееся значение. Естественно, он был раздосадован и испуган – что же теперь – ни пожрать, ни... в туалет сходить?

Убедившись при очередной попытке в серьёзности и неотступности своей проблемы, он решил посоветоваться с женой, которая, как он полагал, была гораздо более сведущей, т.к. когда-то училась в медицинском училище. Он описал симптомы, и жена без колебания поставила диагноз: геморрой.

Обстоятельства складывались таким образом, что самым лучшим выходом было, не медля далее, посетить ведомственную поликлинику. Некоторое недоумение, правда, вызвал вопрос о том, к какому врачу обратиться. Как ни старались, ни умудрённая образованием супруга, ни – тем более – скромный супруг, не могли даже предположительно вспомнить, как называется нужная врачебная профессия.

Общими усилиями порешили на том, что больной попросту назовёт своё заболевание в регистратуре, а там уж его направят куда надо. Вопрос был несколько деликатный, и сослуживец мой немного стеснялся. Но вполне реальная боль гнала вперёд.

По дороге в поликлинику в его, не слишком привыкшую

к какой-либо рефлексии, голову, разумеется, лезли всякие неприятные мысли. В том числе и хрестоматийная мысль о жизни и смерти. Но жена успокоила, что это не рак, а то, что у него, бывает, если не у каждого первого, то уж наверняка у каждого второго, особенно у мужиков, особенно при сидячей работе, да и возраст уже... Почти всё совпадало. Но всё-таки – именно для собственного спокойствия – надо провериться. Это тоже был приговор жены.

Да и некогда было бедному толстячку думать о смысле жизни – ему бы сейчас только не забыть, как его проклятая болезнь называется. А уж всё остальное – как-нибудь приложится.

Ехать было довольно далеко. В автобусе, в метро, потом опять в автобусе – он всё повторял про себя и не совсем про себя, т.е. бормотал себе под нос, как какой-нибудь детский стишок или скороговорку: «Гемор, гемор, геморрой!»

Женщины в автобусной толкучке поглядывали на него подозрительно, но он только весело подмигивал им обоими глазами. Вообще, он был человеком вполне приспособленным к жизни, и не хотел учиться унывать.

Но поселившиеся в его душе мысли продолжали своё подковырывающее и даже разрушительное действие – прямо как какие-нибудь черви в сыре. Ему казалось, что он весь прорастает этими мыслями, но только мысли эти растут не как нормальные растения – снизу вверх, а устремляются от головы к заднему проходу. Может быть, именно от этого все

его затруднения? Все болезни, говорят, от нервов, – а значит, от головы. А нервы, ведь они такие длинные – похожи на ветки и стебли, похожи на змей... Впечатлённый мыслитель на этом образе передёрнулся. От нервов говорят, бывает рак. Мало ли что там жена говорит... А он ещё волнуется – значит нервничает – значит надо успокоиться. И, стараясь подавить в себе вредную душевную смуту, герой как спасительное отвлекающее заклинание повторял: «Гемор, гемор, ге-мо-рой...».

Однако под влиянием всё разъедающих и искажающих мыслей, внимание его поминутно и даже посекундно отвлекалось от механического произнесения одной и той же фразы. Ужасные нервы, чуть ли ни бритвой проскользнув между ягодиц, пускали свои змеиные головы ещё ниже и заставляли холодеть пятки и пальцы на ногах. Героя несколько раз пробивал озноб, и он не понимал отчего: от болезни или от плохих мыслей? Скорее всего – и от того и от другого. «Гемор, гемор, ге-мо-рой!» – тем не менее, упорно повторял он, держась за придуманную им говорилку, как за палочку-выручалочку. Тут нельзя не отдать должное выдержке и настойчивости нашего персонажа.

На автора этих строк, например, в подобной ситуации могла бы напасть такая прострация, что просто бы губы перестали шевелиться – какие уж тут скороговорки.

Но и у нашего волевого больного не всё оказалось так уж гладно. Дело в том, что из-за общей длины пути, а также из-

за постоянных отвлечений, как уже описанных, внутренне-го, так и внешнего порядка, вроде толчков в транспорте и необходимости переходить на светофор, содержание, а точнее форма, стоически повторяемого им высказывания начала терпеть всё нарастающие и необратимые изменения.

Бессознательно герой припомнил, как выглядит латинское написание названия предполагавшегося у него недуга. Они с женой вместе смотрели в энциклопедии. Это слово произвело на него тем большее впечатление, что было ещё длиннее соответствующего русского и тем менее удобовыговариваемым. На самом деле, он догадывался только о том, как могло бы произноситься лишь самое начало этого термина. Почему-то звучало оно не так, как по-русски. Сейчас, уже приближаясь к лечебному заведению, он, разумеется, уже не сумел бы точно припомнить, как выглядело высмотренное в книге иностранное словцо, но исподволь запечатлевшееся на сетчатке видение заставляло его потихоньку перековыривать слоги в своей считалке.

Так «Гемор, гемор, геморрой!» окончательно превратился в «Гаймор, гаймор, гайморит!» почти к тому самому моменту, когда он достиг крыльца поликлиники. Этот "гайморит" как бы явился естественным выводом из всех его тяжёлых рассуждений по дороге. Но на мгновение он вдруг заподозрил в этом выводе серьёзный подвох и даже затормозил, приоткрыв дверь, на пороге, за что был жестоко обруган некоей, торопящейся, вероятно, засвидетельство-

вать собственную нетрудоспособность, особой. Слово "гайморит" наш страдалец определённо уже когда-то слышал и почему-то был уверен, что так называется именно заболевание. "Гаймор, гаймор гайморит!" – повторил он ещё раз неуверенно и рассеянно, пропустив вперёд продолжающую что-то стрекотать скандалистку. Гайморит – вполне подходящее имя для болезни. Если он всё-таки искажил настоящее имя, то совсем немного, и специалист наверняка поймёт, о чём идёт речь. На этом он твёрдо решил поставить точку в череде, точивших его здоровую сущность, сомнений.

Выстояв, длиннюющую как всегда, очередь в регистратуру и успев вспотеть от перемены температуры воздуха и от внутренних, не прекратившихся, увы, по приказу воли, треволнений, он, наконец, обратился к регистраторше.

– Простите, у меня... Гаймо... – произнёс он несколько тише, чем следовало, с виноватой, но милой улыбкой. Окончание слова всё-таки продолжало его смущать.

– Гайморит? – грубовато спросила тётка из окошка после неприятно повисшей паузы. Сосед сзади с тёмной ненавистью дышал нашему весельчаку в шею.

– Вот, вот, – поспешил он упрочнить своё положение. Раз уж она говорит «гайморит», значит так и есть. Не может и не должно быть двух болезней с такими похожими названиями! Да и жена могла что-нибудь перевернуть – тоже мне медик!

Регистраторша уже всюю выписывала ему талон, потом поинтересовалась насчёт карточки и ушла её искать. Сзади

кашляли и сморкались злые и завистливые больные. Герою было всё-таки неудобно, и он переминался с ноги на ногу, поводя глазами то туда, то сюда – точно пританцовывал. Надо сказать, вид у него при этом был достаточно идиотский.

И вот все формальности были улажены, и герою, вооружённому необходимыми документами, надлежало незамедлительно следовать на третий этаж, в кабинет 31, где его должен принять нужный врач.

Вздыхнув с облегчением, от души поблагодарив работницу, страдалец почти побежал к лифту. Но тлеющая в теле рана вдруг наказала его за столь непозволительную игривость. При одном из резких и неосторожных движений ему внезапно стало так больно, что потемнело в глазах. Герой, конфузясь, оглянулся на очередь. Но, слава Богу, никому уже до него не было дела.

В вестибюле перед дверью заветного врача уже выжидало четыре человека. До конца приёма, как выяснилось ещё в регистратуре, оставалось менее часа. Так что наш герой стал переживать ещё и из-за того, что его могут сегодня не принять. Но опытная дама, находящаяся в очереди непосредственно перед ним, успокоила – мол, раз дали талон, должны принять. Ещё более успокоили болящего два соискателя, занявшие очередь после него. Если уж кому-то не повезёт – то скорей всего не ему.

Специальность врача, к которому сидели все эти люди, и в самом деле, внушала уважение уже тем, как выглядело слово

и как ощущалось оно на языке при попытке произнесения.

ОТОЛАРИНГОЛОГ –

значилось на двери. Что ж, вполне соответствующее важности и щепетильности момента название. Не даром же они никак не могли его воспроизвести вместе с женой, и даже не знали на какую букву искать его в энциклопедии.

Теперь можно было совсем успокоиться. Это слово он точно уже видел, и видел именно в больнице. Всё совпадает. Недурно было бы конечно посоветоваться с более опытными больными. Но здесь как-то больше всё женщины, и не старухи – прилично ли? У одной ухо бинтом замотано, ещё и ухо – бедняжка!

Очередь, против ожидания, шла довольно быстро. Герой, который раз в своей жизни, изумился, с какой скоростью слабый пол умеет снимать и надевать штаны.

Вот уже энергичный доктор, черноволосый еврей в солидных очках, приглашает его жестом внутрь. Герой заторопился, отчего затряслись складки на животе и опять отдало болью в интимное место. Чтобы не застонать, он широко улыбнулся врачу:

– Здравствуйте!

– Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, – сказал тот, пропуская объёмистого больного и закрывая за собой двери.

От обилия холодных инструментов на столе улыбка моего бывшего сослуживца невольно стала таять, на лбу выступила свежая испарина. Соблюдая все возможные предосторожно-

сти, он как на трон водрузился на предложенное ему доктором место.

– На что жалуетесь? – спросил доктор, поцарапав что-то недолго в своих бумагах. Сестры у него почему-то не было – и то ладно – будет не так стыдно. А то ведь он, бедный, всё представлял – что если и врач баба, и сестра у неё...

– Так на что жалуетесь? – повторил доктор, чтобы разбудить замечтавшегося пациента.

– Гай-мо-рит – по слогам произнёс тот.

– Давно у вас?

– Да нет, недавно. Жена сказала...

– Давайте посмотрим, – перебил врач и навёл мощную лампу прямо в лицо и без того бледного больного.

«Прямо как на допросе, – подумалось ему, – и инструменты подходящие. Сейчас он мне...»

– Поднимите голову, – потребовал врач. – Вот так.

Жёсткими умелыми руками он откинул крупную, поросшую седоватым ёжиком, голову пациента на подголовник.

«Интересно, что он ищет у меня в носу?» – подумал пациент, когда доктор засунул ему в ноздрю железную трубку, и начал, глядя в неё, что-то сосредоточенно изучать.

– Так, вроде всё нормально, – озадаченно сделал заключение врач и поправил очки на собственном, вполне соответствующем нации, носу.

– Откройте рот, – приказал он. Потом светил в самую глубь, в горло, похмыкивая, и лазил туда какими-то блестя-

щими палками.

Страдалец наш невольно припомнил один весьма известный в нашей стране ещё с советских времён анекдот (если кто не знает или позабыл – насчёт удаления гланд через задницу). Так вот, теперь всё было с точностью до наоборот. Вот до чего дошла отечественная медицина!

Ну, впрочем, в этом была своя сермяжная логика. Ротовая полость, в конце концов, является ничем иным, как входными воротами в желудочно-кишечный тракт. Некоторые вообще полагают, что голова для того, чтобы есть. Но это уже другой анекдот...

Так вот, после того, как доктор принялся изучать ещё и уши героя и, сделав ему больно, нетактично заметил, что их следует чаще мыть, тот наконец начал прозревать и кое о чём догадываться. Хотя...

– А голова у вас не болит? – спросил доктор.

– Голова не болит, – честно ответил пациент.

– Так зачем же вы пришли? Вам справка нужна?

– Понимаете, у меня болит совсем не голова, – начал издали мой бедный бывший сослуживец.

– Но ведь у вас, вы говорите, гайморит. Я вас осмотрел, у вас всё нормально. – Доктор опять углубился в свои бумаги. Внезапно он поднял глаза.

– Я вас больше не задерживаю, – резюмировал он жёстко.

– Но... – всполошился больной. – Вы же не посмотрели...

– Что я ещё должен посмотреть? – спросил доктор.

– Извиняюсь, у меня... – пациент, не найдя ничего лучшего, встал и, развернувшись к врачу тылом, показал, где у него болит.

Тут в воздухе повисло молчание. Наш страдалец боялся обернуться и посмотреть в лицо врачу. Молчание стало прерываться каким-то покашливанием или даже сипением. Герой вдруг разволновался от предположения, что самому лекарю в этот самый момент могло вдруг сделаться плохо – не мудрено ведь при такой нагрузке.

Он оглянулся и увидел, что врач беззвучно ржёт, упираясь локтями в стол и ловя сползающие очки.

– Как вы говорите... называется.. ваше... болезнь? – прерывающимся от смеха голосом выговорил он.

– Гайморит, – чётко, как солдат, ответил ошеломлённый пациент.

– Пой... дёмте, – продолжая похохатывать, выдавил из себя доктор и встал из-за стола. Он взял нашего любимца почти за шиворот и повёл вон. Те, кто успел занять очередь за героем, с интересом, и не без страха, наблюдали за действиями врача. Идти было недалеко. Нужный кабинет находился как раз напротив кабинета 31, по ту сторону просторного вестибюля. Доктор, не переставая судорожно всхохатывать, открыл тяжёлую дверь без стука и, заглянув, протолкнул внутрь совсем потерявшего дар речи толстяка...

Больные, и здесь парившиеся в ожидании, даже не успели возразить. Раз доктор привёл – значит надо.

Каково же было их удивление, когда они слышали откуда, где всем им предстояло пройти неприятные и постыдные процедуры, громовые раскаты хохота. Проктолог любил и умел смеяться.

Философское наступление

"Притом я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями..."

Н.В.Гоголь

Жизнь – что это такое? Наверное, всякий знает, кто живёт. А вот если кто-то живёт и не знает, что живёт – живёт ли он? Как это чувствуют животные? Банальные вопросы...

Пока я не знал, что кто-то умирает, разве я знал, что живу? Разве умел я делить предметы вокруг на живые и неживые, пока не убедился, что кроме жизни существует смерть? Впрочем, насколько может подходить госпоже Смерти эпитет «существовать»? Он ей как-то не к лицу.

Я виделдвигающиеся и недвигающиеся предметы. Откуда я мог, например, заключить, что камень – не живой? Высокоироничные англосаксы так подобострастно относятся к собственным, истончённым многовековой культурностью, персонам, что склонны именовать даже тёпленьких и пушистых своих питомцев – которых они так любят – *оно*, или вернее – по-русски так даже и не скажешь – *it* – это уж точно что-то *не* живое.

Надо воистину себя чувствовать слишком живым, чтобы неживой показалась собака и кошка. Вот ведь и церковь христианская настаивает, что у животных нет души. Не знаю, из какого Евангелия они откопали эту сомнительную истину. Всё Святоотеческое Писание – в конце концов, является только традицией. А почему традиция должна быть так уж безоговорочно права? Может мне кто-нибудь объяснить? Англичане – вон тоже гордятся своими традициями. Неужели святые становятся святыми потому, что их признают таковыми на таком-то и таком-то Соборе?

Святость – может быть, её и следует воспринимать как наивысшую степень жизненности? Избыточность жизни, по-другому – витальность... А как же быть с умерщвлением плоти? Жизнь духа? Опять жизнь.

Я хочу поймать, но определение ускользает. И не такие хотели. Это как с определением времени у Августина – жизнь и время – не одно ли и то же? Мы можем проживать жизнь только во времени и ощущать время, только измеряя его собственной жизнью.

Буду только задавать вопросы, как Витгенштейн. Он полагал, что дело в языке. Да, язык – это лабиринт. И что Гегель, что Хайдеггер – в свете этого представления – выглядят как пресловутые змеи, кусающие сами себя за хвост. Уроборосы. Что' собственно они объясняли? Кому? А ведь люди учились, учили, получали стипендии и гонорары, делали выводы и даже революции...

Хайдеггер пытался развить мысль Ницше и трактовал о покинутости Богом. Но у Ницше не было мыслей, у настоящего Ницше. Когда он говорил по-настоящему – за него говорил Бог, Тот Самый, Которого он вроде бы отрицал. А Хайдеггера этот Бог покинул, вот он и распускал слюни по всем своим скучноватым и неудобопонятным (особенно для верующего читателя) книгам.

А Гегель и вовсе возомнил *себя* Богом. По сути – он был новым гностиком и ничем иным. Если всё укладывается в законы диалектики, значит всё замечательно можно разложить по полочкам. Аристотель тоже всё раскладывал по полочкам, и Фома Аквинский – но первый хоть в поэзии что-то понимал, да и модник был, а второй имел веру.

Вот я говорю о них, как о живых, а они все давно мёртвые. Но эта буря мыслей, эта болтовня, в конце концов, виновниками которой они были, живёт ведь до сих пор – и эти строки тому доказательство!

Вот так некоторые стремятся увековечить себя на бумаге, и ваш покорный слуга конечно тут не исключение.

Любовь к мудрости – это скорее любовь к жизни или любовь к смерти? Сократ вот говорил, что философия – это наука умирать, и я склонен ему верить. Я бы только для себя уточнил – не наука, а искусство умирать – ибо термин «искусство» предполагает импровизацию, оставляет, так сказать, больше свободы.

Какие плоды может принести любовь к мудрости? А если

никаких – нужна ли бесплодная любовь? Что это – интеллектуальный онанизм и больше ничего?

Чем можно оплодотворить Мудрость? Может быть, только верой? Solo fide. А что же, что же, что же родится? Вот треклятая схоластика! А может быть, у Мудрости, оплодотворённой Верой, и рождается Наука? Какая наука может существовать, в самом деле, без уверенности, что она права? Величие любой науки – только в ощущении собственной правоты.

Но какое отношение наука имеет к жизни? Наука имеет много гитик – это столь же верное, сколь и бессмысленное утверждение. Собственно, оно исчерпывает существо науки. Наука имеет много гитик, целый гарем. А кто такие гитики? Это объясняет наука. Таким образом – наука имеет самое себя. И больше ничем существенным она собственно не занимается.

Жизнь окончательно ускользнула от нас, пока мы философствовали. Может, уместнее ловить её поэтическим сачком? Этаких «склизких бабочек душить»... Но бабочки, на поверку, оказываются не такими уж склизкими – с них осыпается самая настоящая, цветная и душистая пыльца. А потом выясняется, что они вообще имаго, т.е. вылупившиеся и покинувшие оболочки, духи в чистом виде, – вот она тебе и жизнь, и уже никакой слизи и вони...

Надо плюнуть и отвлечься, посмотреть, вернее, послушать, как тикают часы. Это всего лишь механизм – но что

он отсчитывает?..

Покидая один зелёный холм, я перехожу на другой. И не один из новых холмов не кажется мне намного хуже или лучше предыдущего. Можно обосноваться на любом холме, или у подножья холма, завести свой дом, возделывать свой сад, породить детей, попробовать тачать обувь и всё такое.

Можно идти и идти и идти, пока ни сдохнешь, ибо земной шар круглый и это всё равно, что мотать круги на стадионе. Можно сварганить себе ракету и улететь из этого мира перпендикулярно. Можно вгрызаться в грунт, обнаруживая там полезные ископаемые, всевозможные клады и – чем чёрт не шутит – ады. Можно разглядывать вселенную в телескоп и в микроскоп, и ещё в – Бог знает какие – скопы.

Но чего же хочет душа моя? Где укрыться ей, за что зацепиться? Сама ли она идёт или ведёт её за ручку, а то и как собачку, на поводке, Мудрый Бог? Вот уж она и заскулила – как собачка...

Один мой друг говорит, что многие современные писатели берут тему и расцвечивают её, упражняясь в красноречии. Такое искусство подобно скорее искусству ювелира, делающего драгоценный оклад иконе, чем искусству самого боговдохновенного живописца.

Может быть, волей-неволей я уподобляюсь таким? Многих самых современных и лучших писателей хвалят за то, что они-де творят новые мифы. Так-то оно так, да не совсем. Даже Гомер, говоря строго, не творил мифы. Эти мифы су-

ществовали наверняка задолго до него. Он только обработал ходячие сюжеты, придал им солидную форму, правильный размер, добавил логики в мотивировки поступков и т.п. Т.е. он тоже вроде бы только расцвечивал, таким образом – что отражено в Манифесте Постмодернизма – являясь тоже постмодернистом. Ибо и до него уже в устной речи было много чего наворочено. Особенно – усердными бабушками и нянечками, рассказывающими своим дитяткам сказочки на ночь.

Мифы в основе своей просты. И один Бог знает, откуда они берутся. Будем исходить из того, что они что-то вроде Спасов нерукотворных. Юнг назвал эти исходные мифы архетипами, но это ничего не меняет.

Можно ли изобрести миф? Или, может быть, можно открыть миф? По поводу *мифа* много распространялся Лосев, но, похоже, тоже окончательно запутался в словах.

Не будем, однако, кого-то обвинять и выяснять, кто прав, а кто виноват. Сами с усами. Иногда, правда, и жонглирование терминами восхищает – чем тебе не умственная эквилибристика?– цирк – высший пилотаж!

Уяснили ли вы что-нибудь для себя, прочтя все доступные философские произведения? Легче вам стало жить? И слава Богу! Значит – всё-таки имеют они хоть какое-то отношение к этой жизни. А не только к смерти.

Но нам пора закругляться. Пробило нас на философию, покуражились немножко – но надо же и какой-то челове-

ский стыд иметь!

Я не хочу сочинять мифы, я не знаю, умею ли я сочинять мифы. Разве что, приснится иногда что-нибудь такое, но я тут, скорее всего, ни причём. Я хочу, мне хочется рассказывать сказки. Как моя бабушка мне когда-то рассказывала, только письменно.

Говорят, именно сказки чаще всего просят заводить им слепые, когда, не снимая наушников, занимаются ручной работой.

Сахарный квадрат

*"Народов ненависть почила
И луч бессмертия горит..."
А.С.Пушкин*

А теперь о мрачном...

Для непонятливых сообщу только, что автор имел в виду, рассказывая предыдущую историю лишь то, что у человека весь в мир в душе может обвалиться, если у него что-то не в порядке с задницей. Так вот, началось с того, что статистика отметила некоторый прирост населения в североафриканских странах. Правда, там и без того всё последнее время отмечался изрядный прирост населения. Как, впрочем, и во всей Африке. Как и почти во всём мире.

Но удивление исследователей вызвало то, что люди теперь

стали чаще селиться в самых, казалось бы, не приспособленных для их проживания условиях. Давно уже была известна одна русская дама, которая не без успеха разводила в пустыне крошечной всевозможные фрукты и овощи. Но многие и многие почему-то решили последовать её примеру. Причём занимались не только растениеводством. На чудом выращенной под палящим солнцем траве стали пасти скот. Воспользовавшись же новейшими открытиями опять-таки русских учёных, стали выкачивать из-под Сахары воду, которая в немалом количестве была обнаружена в недрах орбитальными спутниками.

Вместе с водой нашли и какую-никакую нефть. Где нефть, там и газ. И ещё бог знает какие полезные ископаемые. Тут уж подтянулись американцы, которым, как известно, запах бензина неотразимо кружит головы. Ходили слухи, что уже разрабатываются залежи драгоценных камней и металлов. Не обошлось и без урана и без редкоземельных элементов. Кто-то стал высказывать опасение, как бы не увеличилось количество стран, владеющих ядерным оружием. Тут опять-таки Ислам...

Сахара начала понемногу сжиматься. Это не могло не вызывать оптимизма у сознательных жителей Земли. Человек, когда-то своей неуёмной и безмозглой деятельностью помог образоваться Сахаре, теперь он же исправляет свою ошибку. Разве это не справедливо? Все эти события выглядели тем более привлекательными на фоне продолжающихся небез-

основательных пророчеств насчёт глобального потепления климата, озоновых дыр и пр.

Вместо ожидаемого увеличения пустынных областей, имеем обратный процесс. Нежели человек начал браться за ум?

Но давали о себе знать и попутные негативные явления. Вдруг появившаяся сразу во многих регионах Земли тяга в Сахару нарушила кое-где сложившийся экономический уклад. В конце концов, даже в такой густонаселённой стране, как Китай стала заметна некоторая нехватка рабочих рук и рекрутов на службу в армию. Эксперты только руками разводили. Куда же делись все эти китайцы? Становилось страшновато.

Всеми правдами и неправдами, всеми возможными путями – пусть даже через Австралию или Антарктиду – народ перемещался поближе то ли к Египетской Колыбели Цивилизации, то ли к местам, где вообще впервые образовался человек. Народ тянулся не то к свободе, не то к приключениям, не то к какому-то мифическому богатству... Что ещё было в Сахаре кроме песка и жары? Мы уже сказали, что и там кое-что нашли. Но разве не стоило поискать клады у себя под печами?

Нет, всё пришло в движение. И разумеется, это было ненормально, и те из землян, кто ещё ухитрился сохранить рациональный стиль мышления, забили в набат. К тому же, так называемые коренные народы, населяющие страны, под-

вергшиеся столь неумеренной атаке, стали сопротивляться. Границы были закрыты, приём туристов прекратился, кое-где даже было объявлено чрезвычайное положение. Но желающие проникнуть в вожаделенное пекло не скупились на взятки, не страшились ни пуль, ни снарядов... Вскоре на территорию соответствующих стран хлынули уже не отважные одиночки, а целые толпы. Пограничники не могли уже при всём желании расстрелять такое количество людей. Их было так много, что они даже не обращали внимания, что против них ведётся война. ООН просто вся ходуном ходила от непрекращающихся справедливых протестов. Но никого ничего не мог поделать. Ясно было только, что *это* происходит. Но отчего, зачем... Вместо того, чтобы выяснять эти, столь странные, обстоятельства многие из высочайших международных чиновников уже паковали вещи и вместе со семьями собирались в дальний путь – не посчастливиться ли и им достигнуть обетованных земель...

Был момент, когда некоторые отчаянные головы из мусульман обсуждали вопрос о применении химического и бактериологического оружия. Но всем было ясно, что при обозначившейся уже скученности людей – это было бы равноценно самоубийству. К тому же, невероятный прирост населения вёл и к невероятному росту благосостояния стран. Многие из приезжих были готовы платить буквально кому угодно и сколько угодно – лишь бы хоть как-то устроиться. За рекордно короткие сроки были выстроены несколько но-

вых огромных аэродромов и проложены тысячи километров железнодорожных и шоссейных дорог. В правительствах воцарилась сытая анархия. Чиновники всех рангов уже почти не интересовались почему и зачем начинали свои трещащие по всем швам карманы.

Города и посёлки росли как грибы. Палаточные лагеря покрывали вековой песок, как парша и проказа. Коровы мычали, дети плакали, машины сигналили. Торговцы всех мастей и народностей в один день наживались так, что от радости тут же умирали, сражённые инсультом или разрывом сердца. Очень скоро было уже похоже, что количество пресной воды в Сахаре не намного уступает таковому же в Байкале.

Воду надо было чем-то заедать. Народу надо было во что-то одеваться, чтобы не мёрзнуть ночью и прикрываться от солнца. Кто-то хотел развлекаться. Почти все искали работу. Биржи труда работали круглосуточно. Кругом множились лечебные заведения, ибо люди страдали от перемены климата и многих незнакомых болезней, сказывались и стрессы. Следом за остальными потянулись сюда, поближе к котлу, и финансовые воротилы; открывались не только филиалы, но и совсем новые банки, и поднимались, как на дрожжах.

Издалека всё это, разумеется, выглядело, как форменное безумие. Уже добрый миллиард людей усердно топтался на самом жарком пяточке Земли. И ясно было, что это только начало. Остальные, почти все, упорядочились, построились в очереди и боевые ряды и тронулись в путь, мостя перед

собой новые широкие дороги. Никакие границы, ни моря, ни горы – уже не могли быть помехой. Общечеловеческий энтузиазм сметал всё на своём пути.

Бесконечные роты вполне по-граждански одетых людей маршировали по бывшему так называемому Шёлковому Пути. Только несколько менее заметное оживление наблюдалось на Пути из Варягов в Греки.

Из Америки возвращались переселенцы и бывшие африканские рабы. Последние-то хоть, может быть, захотели понюхать Родину. Но ехали и индейцы, и даже последние из огнеземельцев поднялись в невероятно долгий поход.

Возвращались экспедиции с Северного Полюса и из Антарктиды. Меняли маршруты сумасшедшие одиночки, застигнутые призывными сигналами посреди открытых морей. В брошенных большинством населения городах и весях постепенно кончалось продовольствие, все коммуникации без надзора пришли в негодность, царствовала преступность. Случались и такие, которые не очень-то и хотели, но и таким приходилось бежать – поближе к хотя бы относительно приличному обществу.

Это было куда почище пресловутой золотой лихорадки. Буквально все поголовно срывались с насиженных мест, целые страны пустели. Наука явно ничего не могла и уже не пыталась объяснить. Редкие и унылые высказывания скептических профессоров воспринимались как безответственное враньё – "небось сами уже прикупили себе участки". Име-

лись в виду, конечно же, неотступно всех влекущие барханы.

Народы по муравьиным дорожкам стекались в единственный муравейник. Кроме коммерции на этом фоне торжествовала и ещё одна часть человеческой деятельности. Если, конечно уместно говорить так, имея в виду самое высокое.

Пышным цветом расцвели на дорогах и в сердцах людей все и всяческие религии. Ибо этот поток, впрочем, противоположный библейскому исходу евреев, конечно же не мог не пробудить все дремлющие в крови народов первоначальные мифы. Даже атеистам было ясно, что свершается какой-то закон, очевидно, закон природы, даже им, по крайней мере – разумному их большинству, становилось доступно, что теперь, в свете текущих событий, уже не зазорно писать эти слова с большой буквы – Закон Природы. Даже на них веяло жутью, даже они чувствовали, что материя не так уж мертва, и куда-то ведёт их, куда-то заставляет их идти. Но не очень-то много времени было у них, чтобы спорить, какой именно Основной Инстинкт во всём виноват. Всё время и вся энергия уходили на дорогу. Разговаривали мало, экономя дыхание и влагу, которая так легко терялась в раскаленном и пыльном воздухе.

Встречи с богами перестали изумлять. И некому уже было заносить все эти чудеса в реестры. Целые армии людей наблюдали Христа и Богородицу. Трудно назвать по имени хоть одного христианского святого, который бы не встретился хотя бы одному из бесчисленных путников. Дух же Свя-

той парил над головами верующих непрестанно. Его окружали целые стаи серафимов, херувимов и прочих ангелов. Все эти летающие сверхъестественные существа воспринимались уже как обычные птицы. Глас Божий вместе с Небесным Громом раздавался ежеминутно. В том, что всё это была реальность, никто не сомневался. Ибо иной реальности не было.

Индусы гнали перед собой, как стадо праздничных баранов, весь миллион своих разномастных и, в основном, плохо ведущих себя, богов. Из европеоидов большинство узнавали только Кришну с Рамой, да ещё Шиву – потому что у него шесть рук. Хотя потом выяснилось, что таких шестируких в Индии хоть пруд пруди. Ожили, хоть и не причисленные к богам, будды. И конечно, тот самый, великий – Будда Гаутама. Этого все узнавали. Хотя, представляя в тысячах лиц, он уподоблялся то толстому китайцу, то смуглому индусу, соблюдая все возможные стадии в переходах. Возможно,, намекая на то, что он не хуже Христа, трюхал на осле Бодхидхарма. Это вызывало гнев у некоторых христианских адептов.

Ковыляли по пыльным тропинкам уж совсем не божественные Конфуций и Лао Цзы. Встретив их, многие обращались к ним, чтобы узнать будущее, словно к цыганам, гадающим по руке.

Это всё ещё была публика чистая и даже на вид приятная. А мусульманам вообще везло – их Аллах не имел никако-

го вида. Правда, от пророка Мухаммеда, каких-то его родственников, первых халифов и прочих подобных – так и рябило в глазах. Неприятие вызывало то обстоятельство, что при встрече с очередным уважаемым предком экстремально настроенные верующие начинали палить в воздух из огнестрельного оружия, с которым никогда не расставались.

Паче чаяния, между различными национальностями и религиозными конфессиями на дорогах пока не происходило вооружённых столкновений. Те несколько тысяч, которые всё-таки почили в результате таких стычек – теряются на фоне всего почти совсем мирно шагающего в единой цепи человечества. Гораздо больше землян падало с ног от усталости и болезней, попадало в авто– и прочие катастрофы. Но встретить умершего на дороге – теперь почему-то у представителей всех без различия верований считалось хорошим знаком. Душа путника опередила самого путника – так примерно можно было бы объяснить возникающий при созерцании трупа всеобщий оптимизм.

Некоторую неловкость и смущение массы испытывали при появлении вовсе чуждых цивилизованному человеку языческих божеств, иначе говоря разнообразной зловонной нечисти. От преградивших дорогу чертей многим делалось плохо, люди теряли рассудок, а зачастую и жизнь, не в силах оправиться от такого кошмара. Но жителям Африки, которые тоже валом валяли на север с юга, к ужасным эфиопам с рогами было не привыкать. Они даже радовались воз-

рождению своих народных культов. Проснулись и некрепко спящие божи в обеих Америках, не редкостью уже стали человеческие жертвоприношения в пути. И распивание крови переставало шокировать. Самые яростные святоши были вынуждены признать демократию в религиях. И потому что *всё это сразу* несомненно существовало, о чём наперебой свидетельствовали все пять человеческих чувств. И потому, что Всеобщий Зов одновременно обессиливал и давал надежду. Никому не хотелось спорить и драться по пустякам. Все экономили силы, хотя и не знали толком на что. На мысли и раздумия тоже не хотелось тратиться до поры. Вот доберёмся до цели, а там...

Наконец, уже почти все были в Африке. Государства, как таковые, перестали существовать. Произошло полное и окончательное смешение языков, в результате чего благоденствовали ещё и все и всяческие переводчики. Деньги остались только в одной новой валюте, которую было предложено назвать Афро, и которая штамповалась сразу несколькими монетными дворами в баснословных количествах. С неминуемыми при такой скученности эпидемиями боролись жесточайшей гигиеной. Трудно было увидеть человека на улице без респиратора. Все трупы немедленно кремировались, а место проживания умершего, если вовсе не уничтожалось, то подвергалось тотальной дезинфекции, после которой даже тараканы не выживали.

Люди конечно мёрли, но и медицина приносила кое-ка-

кие плоды. Рождаемость по понятным причинам была низкая. Хотя негры и индусы и здесь не переставали плодиться как дрозофилы. Попытки применять принудительную стерилизацию по-прежнему по разным причинам не удавались. Впрочем, дети эти чаще всего гибли, едва успев появиться на свет. Легкомысленным матерям даже было недосуг кормить своих чад. Нормальный материнский инстинкт попирался везде и всюду. Дворники только и делали, что засыпали негашеной известью мусорные контейнеры с миниатюрными покойниками.

Проповедники проповедовали на каждой площади, с каждого балкона, но их никто не слышал. В центрах городов шёл какой-то непрерывный карнавал. Создавалось впечатление, что люди празднуют все земные праздники одновременно. Семьи лопались как мыльные пузыри. Никто уже не боялся ни СПИДа, ни гепатита. Все наркотики, какие уже существовали, а также новые, ускоренными темпами изобретаемые, совершенно свободно продавались на улицах. Музыка и пение на тысяче языков, раздаваясь день и ночь изо всех окон и щелей, создавали всеобщую пугающую какофонию. Люди испражнялись и совокуплялись на всех углах, нисколько не стесняясь друг друга.

Можно было предположить, что это конец. Но это был ещё не конец. Во всей этой, копошащейся червями, вселенской куче дерьма ещё присутствовал один трезвый вектор движения. Люди уже почти дошли, но ещё почти, не совсем. Где-

то тут, уже близко, уже во вполне осязаемой дали, готовилось самое главное. Это была просто передышка, празднование достижения, каждый ещё должен был занять своё место, окончательное место.

Все знали, куда идти. И шли. Горляня песни, лупя в барабаны и пьянствуя на ходу. Никто уже не обращал никакого внимания на трупы под ногами. Разве, что вонь и стервятники раздражали. Главное – дойти.

И вот. Уже всё было готово. И подобные тем же стервятникам, роящиеся вертолётны над головами, и ангельские полчища, и драконы... Вся эта людская масса – съеживающимся осьминогом – стремилась в одну точку, в узкий кружок, вернее даже в квадрат, где каждому невидимой рукой была выделена соответствующая площадь. Человечество целиком легко уместилось на пространстве менее чем 100 на 100 километров.

Довольно долго невидимые благодетели оглашали окрестности разноязыкими голосами, направляя орды и отдельных господ и граждан по только им ведомым путям. Это были какие-то сверхгигантские, расчерченные на клеточки поля, где каждый из этих миллиардов должен был найти именно ему и только ему причитающийся кусочек земли. Неведомые благодетели сбрасывали с небес вниз воду, провизию, медикаменты и всё остальное необходимое. Деньги уже никому не были нужны, их жгли ночью, чтобы погреть руки у костра.

Чтобы уменьшить падежи от солнечных ударов применялся искусственный дождь, доставлявшийся с морей на огромных летающих тарелках. Дождь имел вкус крови и запах йода.

И настало утро, когда все оказались там, где им следовало оказаться. Ну, может быть, не совсем все. Может, кое-кто ещё доживал свой срок вдалеке от Прекрасной Сахары. Ведь не все могли и имели силы идти. Возможно, ещё где-нибудь в лесах и на горах прятались какие-нибудь безумные отщепенцы и сопротивленцы. Но их было немного, ох, как немного. Их бы немедленно убили, если бы поймали, но всем остальным смертным сейчас уже было недосуг вести охоту на этих изгоев рода человеческого.

Хотя, может быть, как раз в этот момент их находили и истребляли какие-нибудь небесные силы, пользуясь неведомыми и невообразимыми для нас техническими средствами.

Если уж кого-то и решило оставить Провидение – мы о том никогда ничего не узнаем.

Все стояли в своих квадратах или прямоугольниках – кто как. Кто не мог стоять, могли присесть или даже прилечь, свернувшись калачиком. Некоторые спали. Уже никто не ходил к друг другу в гости. Не было общих трапез, ни бесед, ни совокуплений. Даже матери отпустили своих детей на положенные им клетки, впрочем, прилежащие к материнским. Бесконечные шахматные доски замерли в ожидании. Но разноокрашенные фигуры были перемешаны и вовсе не соби-

рались вступать в сражение. И не было никакого Арджуны, и никакого Кришны, чтобы второй из них объяснил первому, зачем всё это нужно. Все боги испарились. Настала тишина. И ночь. И люди увидели звёзды, огромные-преогромные; и все, даже грудные младенцы, на секунду замолчали. И полыхнул синий огонь, так быстро, что никто не успел заметить. И все люди испарились, подобно богам.

По самым скромным подсчётам, на многострадальную Сахару из этого образованного людьми облака должно было пролиться не менее трёхсот миллионов тонн воды. Заодно Сахара получила и удобрение. Климат сдвинулся. Сахара вновь стала цвести, её населили разнообразные твари, вплоть до человекообразных обезьян. Только не было человека. Земля очистилась, и успокоилась, и задышала спокойно. Ибо не было ещё такого бестолкового и ненужного существа на Земле, как человек.

И прошла тысяча лет, и все дурацкие камни цивилизации поросли дикими цветами. И источники радиации поослабли, по мере остывания помогая образовываться новым животным и растительным видам. И наступил, наконец, Золотой Век. И мог длиться этот век хоть сколько угодно миллионов лет. Потому, что некому и незачем было считать счастливые дни.

Интерлюдия

«Обладают ли другие люди такой чудесной способностью образовывать абстрактные идеи, о том они сами могут лучше всего сказать...»

Дж. Беркли

И дал нам Господь Новое Небо и Новую Землю. И на этой земле под этим небом мы устроили всё по-старому. Вот он Китай, вот она Америка. Вот она – матушка Россия. Не считая уже остальных, более мелких стран.

Я сижу на промозглой веранде и мараю бумагу замысловатыми знаками кириллицы. Теми самыми знаками, которые когда-то так будоражили подсознание Фрейда. Или это был Юнг?

Морозные узоры на стёклах будоражат моё подсознание. Похоже на то, что в воздухе перед окнами неслышно дерутся сказочные стеклянные птицы, оставляя на квадратах между рам прилипшие хрустальные пёрышки.

Бесконечный снег русской зимы должен меня отрезвить. Один мой друг, стараясь победить своё тело, выходил на мороз и в одних трусах лежал на снегу. Что-то с ним такое происходило, особенно когда он оттаивал. Может, стоит попробовать?

Человеческое общество небезосновательно опасалось своих наиболее любвеобильных членов и норовило их посадить на кол или поджарить на костре. Взять хотя бы нашего милейшего библиотекаря Фёдорова. Если иметь доста-

точно воображения, чтобы представить себе воплощение его идей, то получим такой тоталитаризм, который даже не снился никакому Гитлеру вкупе со Сталиным и Мао. Самое замечательное, что этому добрейшему мыслителю ни на одной странице его замечательного труда ни разу даже в голову не пришло задаться вполне закономерным вопросом: А хотят ли отцы, чтобы их оживляли? Воскресение – под вопросом.

Если жизнь мы ещё как-то можем описать, хотя бы просто указывая на то, что она с нами происходит, то что мы знаем о смерти? Да ровным счётом ничего. Абсолютно ничего – как слепые о цвете и свете. Только болтаем, трепещем от страха, о каком-то пресловутом свете в конце тоннеля.

Есть, однако, ещё одна штука. Называется – Любовь. Она, говорят, даже посильнее смерти. Посмотрим, что мы сумеем выжать из этого понятия.

Мужчина в свете женщин

*"Не удивляйтесь, что он рассуждает плохо:
муха жуэжэжит над его ухом..."*

Б.Паскаль

(У этой главы было ещё и другое название, точнее, пояснение жанра. После "Мужчины в свете женщин" стояло в скобочках "Ублюдочный трактат". Трактат, и в правду, получился ублюдочным, из-за того, что автор писал его в состо-

нении наркотического опьянения (ничего особенного – анаша). Следует сделать вывод, что этот опыт не увенчался успехом. Но есть несколько неплохих фраз и даже абзацев, которые хотелось бы сохранить. Например (это самое начало):

"И мужчина и женщина запрограммированы, но только по-разному. У женщины X-хромосома, а следовательно цельная программа (см. целомудрие). У мужчины же Y-хромосома, а потому программа ублюдочная.

Отсюда – разные природы мужского и женского страдания. Мужчина страдает от недостатка цельности и тянется к женщине. А женщина мается в переизбытке цельности и ждёт, когда её кто-нибудь нарушит, какой-нибудь сумасшедший, – почему бы не мужчина?"

Или:

"Мужчина всегда остаётся идеалистом, т.к. не имеет куска вполне реальной ДНК. Ему приходится этот кусок воображать – вот он, основной стимул творчества."

Ну и, пожалуй:

"...что' бы ни творил хромой – далеко ему до двуногого цельного человека, каковым является только женщина.

X и Y – никакого сравнения".

Ещё симпатичной, на наш взгляд, является предложенная в этом трактате аббревиатура – ВЖП, что значит Великая Женская Программа.

Все же остальные изыски и метафоры, которыми изобилует данный опус, производят впечатление разваливающегоо-

ся сумбура и псевдовысокомыслия, короче – бреда. Поэтому мы и не приводим текст целиком.

Из оставленных же отрывков в принципе должно быть ясно, о чём хотел сказать автор. Добавим только, что опущенные нами длинные рассуждения о размотанной ДНК, которой как качелям трудно найти центр равновесия, а также о щупах и ростках, которые вынужден пускать из себя мужчина, оставшись в темноте как разрубленная картофелина, вероятно, должны нас подводить, хотя бы чисто ассоциативно, к содержанию следующей главы.)

Молоко змей

"Когда она ускользает из наших рук, то указывает путь, которого человеку своим разумом не найти..."

К.Г.Юнг

Я вижу сплетение трав. Это нельзя назвать хаотическим сплетением. Но узор обошёл без участия рук человека. Множество видов, однодольных злакообразных и двудольных с бесконечными вариациями в форме листьев, сплетаются в один объёмный ковёр. Цветы всех оттенков радуги там и сям дополняют эту разно-зелёную картину. Травы глубоки, в них утопает даже взрослый человек, а подросток, тем более дитя, скрывается с головой.

Может быть, это случилось где-нибудь в горах Южной

Амери́ки. Есть ли там вот такие нетронутые уголки, безлюдные, но не каменистые и не покрытые сплошь всё затемняющими джунглями?

Один учёный-серпентолог, т.е. специалист по змеям, приехал сюда вместе с дочерью – скорее отдыхать, чем работать. Этот человек был довольно богат, но деньги он зарабатывал другими способами. Теперь же у него было время, чтобы посвятить его любимому делу. Он слышал, что здесь водятся совершенно особые змеи. Никто даже не знал, ядовиты они или нет. Потому, что их никто не видел, или почти никто. Судя по слухам и легендам, можно было предположить, что речь идёт о каком-то неизвестном виде анаконды. Змеи в рассказах упоминались очень длинные и толстые. Забавно, что некоторые "очевидцы" приписывали им ещё и наличие ног. Это последнее обстоятельство заставляло любителей сенсаций даже предполагать, что речь идёт не о змеях, а о каких-то гигантских сороконожках.

Учённый не надеялся открыть новый вид. Ему просто нравились все эти, ни на чём не основанные, удивительные рассказы, а когда он добрался сюда, ему очень понравилось место. У дочери были каникулы, и она неожиданно напросилась ему в попутчицы. Серпентолог несколько побаивался за её здоровье и жизнь, т.к. в этом, почти совершенно диком, месте наверняка водились если не змеи-гиганты, то другие опасные животные. Особенно много хлопот могло быть с насекомыми, пауками и пиявками. Опасался учё-

ный также гельминтов и неизвестных возбудителей болезней. Он-то привык рисковать и в молодости совершал такие путешествия, каждое из которых могло стоить ему жизни. Но вот дочь...

Однако, он не мог отказать своему единственному ребёнку. Его жена, мать девочки, жила своей уединённой жизнью и не стала возражать против такой поездки.

Там, куда они приехали, совершенно ничего не было. Сам бы он обошёлся и палаткой, но поскольку они собирались провести здесь не меньше месяца, решил создать для дочки комфорт. Огромными трудами по местному бездорожью в, любовно выбранную им, самую живописную точку был доставлен и надёжно укреплён на сваях крошечный дощатый домик со всеми современными удобствами. Запасов пищи должно было хватить обоим на два месяца. С аборигенами договорились, чтобы они угнали в свой городок портившую пейзаж машину и появились здесь ровно через тридцать дней, не раньше. Тогда учённый решит, пора уже возвращаться или нет. Пешком отсюда до ближайшего населённого пункта было как минимум дней пять.

Больше всего отец опасался, что дочка раскапризничается. В былые времена они конечно ездили с ней на разнообразные курорты, но так далеко от цивилизации вместе ещё никогда не забирались. Можно было предположить, что избалованной городской жизнью, девочке, не смотря на все её клятвы и обещания прекрасно себя вести, очень скоро станет

скучно. Скрепя сердце, хотя дочь его об этом и не просила, учённый прихватил с собой видеоманитофон и целую коробку её любимых фильмов. Электричество предполагалось брать от солнечных батарей, которыми была покрыта крыша. Немало в домике было и книг. Но девочка, казалось, вовсе не нуждается в этих привычных искусственных развлечениях, ей уже исполнилось двенадцать лет, и она решила стать взрослой, т.е. хотя бы отчасти уподобиться отцу. Всё это было странно и неожиданно, поскольку раньше серпентолог вовсе не замечал в своём отпрыске каких-либо явных склонностей к биологии.

Теперь дочка решила ловить бабочек. Это можно было объяснить тем, что бабочки были второй после змей страстью отца семейства. Дома у них была большая коллекция, состоящая не только из купленных и выменянных, но и собственноручно пойманных хозяином насекомых. Ещё в дошкольном возрасте девочка наблюдала, как правильно надо ловить, умерщвлять и препарировать крылатых красавиц. Впрочем, до поры она вовсе не принимала в этом участия и даже жаловалась на отца матери, что ей жалко зверушек. Зверушками она называла все живые существа, даже цветы.

Первые несколько дней они просто бродили по окрестностям и кушали, когда чувствовали голод, в своё удовольствие; а по вечерам созерцали закат и жгли маленький костёр, используя сухие ветви, редких здесь, кустов. Учёному, честно говоря, ничего не хотелось изучать. Ещё недавно,

несколько лет назад, когда ему все дни, а то и ночи, напролёт приходилось заниматься скучным изматывающим бизнесом, он часто вдруг ловил себя на том, что испытывает страстное желание разорвать к чёртовой матери, спалить все эти бесконечно ценные и замысловатые бумажки. Порою он доходил до того, что хотел взорвать себя вместе со своим офисом и всеми его сотрудниками.

Одна лишь мысль его согревала. Когда-нибудь денег будет достаточно, бизнес войдёт в накатанную колею, и он сможет отойти от дел. Всё это, однако, казалось таким несбыточным, что хотелось плакать. Сможет ли он остановиться? Стоит ли, вот на *это* тратить жизнь? Конечно, нужно дать дочери образование, обеспечить будущее. Но скажет ли она ему за это спасибо? Да и не в этом суть – никто, просто-таки никто, не знает, для чего на самом деле стоит жить на земле. И никто не имеет права никому навязывать, даже собственному ребёнку, какие-то свои, пусть вполне искренно выстраданные, взгляды на жизнь. Всё меняется, поколения меняются. Дети миллионеров идут в хиппи, а детям хиппи надоедает жить в грязи и они становятся примерными чиновниками. Ничего нельзя угадать, и богачом-бизнесменом и нищим наркомагом владеет одна и та же инерция.

И вот произошло почти невероятное. Вдруг то, что он уже отложил на полку несбыточных грёз, произошло. Дела пошли неожиданно хорошо, нашлись люди, которым можно было с лёгким сердцем передоверить дело. А может быть, всё

обстояло и не так радужно, может быть, он невольно сформировал для себя осязаемую иллюзию. Потому что устал. Устал и больше не хотел пошевелить и пальцем. Ему перестало казаться, что если он не успеет на подписание очередного контракта, мир может обвалиться. Ничего не происходило. Всё шло как всегда.

Раньше, глядя сквозь свои, деловой суетой занятые, будни, как сквозь тюремную решётку, он считал себя одержимым планами в науке, в той самой, которую он когда-то с таким прилежанием изучал в университете, и даже успел написать несколько работ...

Он освободится и займётся делом... Наконец-то – *делом*. Всё это изошрённое добывание финансовых средств он про себя никогда не мог назвать работой. Заботы по бизнесу требовали от него скорее какой-то, самому ему мерзковатой, хитрости, чем чистого беспристрастного интеллекта. Хоть и твердили все, что успех зависит от ума, только абсолютные дураки не сомневались в этом. Да, самые успешные люди, из тех кого он знал, конечно, не были полными идиотами, но и никакой особенной умственной тонкости он в них не подмечал. Богачи – как правило – крайне примитивны.

Легко судить! А сам-то он? Зачем полез в это ярмо? Ладно, теперь всё... Всё? Всё можно начинать сначала. Ловить змей, бабочек. Но это всё, всё, что ему снилось и мечталось наяву в течение стольких лет, вдруг отчего-то потеряло цвет. Он вспоминал, с каким трепетом когда-то открывал ещё не

читанные редкие книги по специальности, с каким благоговением разглядывал иллюстрации... А сколько наслаждения доставляла ему какая-нибудь случайно пойманная во время короткого отпуска необыкновенная бабочка!

Теперь спешить было некуда, и руки вдруг опустились. Он бы совсем впал в депрессию, если бы не эта чудесная история про змей, которой ему прожужжал все уши один из его немногих приятелей, безответственный пьяница и милый болтун.

Он вспомнил, что и когда-то раньше слышал о чём-то подобном. И хотя не было почти никаких сомнений, что всё это только сказки, он всё же решил собраться и съездить. Надо же что-то делать. Приятель ему компанию составить, разумеется, не смог – как всегда, было некогда – бабы, пьянки и вообще – всё чистейшая правда, всё здорово, но это же так далеко.... Зато вот вызвалась дочь.

Воспользовавшись своими деловыми навыками, учёный быстро собрал всю доступную информацию по интересовавшему его вопросу. Её оказалось до смешного мало, и это почему-то окончательно склонило его в пользу скорейшего осуществления авантюрного путешествия.

Он как бы снова отправлялся в край своей детской несбывшейся мечты. Там, куда он ехал, не было ничего научно обоснованного. Одни мифы. Так, словно ему что-то нашептали на задворках какие-нибудь мальчишки постарше.

А ещё ему собственное детство в этой поездке напоми-

нала дочка, которая, однако, уже потихоньку стала превращаться в девушку. Она хотела стать взрослой, а он вернуть-ся, и на какой-то черте они встретились. Может быть, именно поэтому у них паче чаяния возникло полное взаимопонимание. Он опасался обмануться, но иногда, провожая взглядом уходящую в травы дочь, стирал с уголка глаза невольную слезу умиления.

Они здесь, т.е. там, куда он хотел попасть, очень вероятно, всю свою жизнь – в краю непуганых птиц и зверей, в краю несуществующих змей.

В том, что огромные неведомые змеи не существуют, он был почти уверен. Анаконды любят большие реки и болота, а здесь, во всей округе, было суховато – разве что горный ручей с кристально чистой водой. Впрочем, трава росла хорошо. И в ней наверняка прятались какие-нибудь мелкие ядовитые гады.

Но в первый день они вообще не встретили никого, ни одной змеи. Только нескольких птиц, двух из которых учёному так и не удалось определить. Он подсадовал на себя, что так плохо знает орнитологию и забыл специальный атлас-определитель.

Конечно, было много насекомых. Но и дочка не поспешила гоняться за ними с сачком. Сначала они просто сидели и смотрели, и слушали, как они жужжат и стрекочут. К счастью, было мало кровососущих. Здесь дули приятные, не очень сильные тёплые ветры. Погода стояла без дождей, сол-

нечная, но не изнурительно жаркая.

Учёный тщательно осмотрел кожу побегавшей по лугам полуголой девочки, и не нашёл ничего опасного. Ни клещей, ни личинок – только неполный десяток бледных следов от укусов вездесущих moskitov.

– Просто рай какой-то земной, – вздохнув глубоко, сказал он дочке.

– А птицы нас всё же боятся, – возразила она.

– Неужели местные тут на них охотятся?

Дочка пожала плечами и опять куда-то убежала. Пока она ещё явно не скучала.

– И почему они тут не пасут свой скот? – задал он в странство давно мучавший его вопрос и тут же, в очередной раз, представил, как бы печально однообразно выглядели эти места, вытопанные стадами.

Уже через несколько дней он собрал целый гербарий из одних съедобных растений. Добавлял травы в чай и как приправы в супы и в жаркое. Дочь, правда, это не очень одобряла. А ему нравились пряные незнакомые запахи. Девочка же плела венки из диковинных цветов и украшала ими их комнату. Ему, в свою очередь, не нравилось, что цветы быстро вянут, он вообще не любил, когда рвут дикие цветы, ему даже наступать на них было жалко.

Здесьние птицы, и в правду, были не в меру пугливы для такого безлюдья – чуть что, мгновенно скрывались в траве или со свистом улепётывали в небо.

– Неужели они боятся... змей? – спрашивал он, глядя на них, в сотый раз у кого-то невидимого и усмехался.

Змей так и не было, никаких. Разве что – одна маленькая и ядовитая, но не из самых страшных, всё же попалась, но и та была весьма обычной и не представляла для серпентолога никакого интереса. Он отпустил её, после того, как отнёс подальше от лагеря.

Бабочек было много, красивых и разных, большинство из них он не мог сходу определить. Но ловить их не хотелось ни ему, ни дочери. Приятнее было наблюдать, как они танцуют в звенящем воздухе, иногда присаживаясь на подоконники, на панамы и даже простаивающие в безделии сачки. Можно было вдоволь полениться. Чем занималась дочка, он даже не знал и не спрашивал, Разговаривали они мало, телевизор и радио почти не включали. От чтения учёного быстро клонило в сон. Да и всё это существование было похоже на сон.

Чтобы девочка не заблудилась и не потерялась, у неё с собой всегда была малюсенькая рация. Каждый день он проверял её исправность и, если требовалось, подзаряжал аккумуляторы. Иногда она вызывала отца и сообщала, что всё в порядке. К тому же у дочери был компас, которым она прекрасно умела пользоваться. Тем безмятежнее он мог развалиться в устроенном неподалёку от домика гамаке. Комары и мухи, кажется, вовсе перестали ими интересоваться. Непуганые грызуны брали хлеб чуть ли не из рук. В ручье плескались маленькие золотистые рыбки. Одни стервятники, паря

в недостижимой вышине, намекали на то, что не всё так уж безопасно и бессмертно. Но ни разу эти большие птицы не садились и даже не снижались где-нибудь поблизости.

Никогда учёный не спал так долго и так спокойно. Сны то ли не снились, то ли были наполнены тем же самым, что и явь, и потому не запоминались. С лица его не сходила улыбка, и он перестал бояться выглядеть слабоумным. Здесь и надо было сделаться таким – слиться с этими травами, кузнечиками, жуками.

Дочка тоже молчала о чём-то своём и на загоревшем её личике, как самая прекрасная бабочка в мире, подрагивало крылышками нежное счастье.

Один день был похож на другой. Лёгкая тревога навешала учёного, лишь когда ветер вдруг усиливался, а дочери в это время не было поблизости. Впрочем, эти шумливые возмущения в окружающих травах всегда стихали ещё скорее и внезапнее, чем возникали. Он смотрел на календарь – неужели прошло пять дней? Много это или мало?

Он успокаивался, глядя вверх, на очередного стервятника. Всё бренно! Но умирать вот так, в гамаке, при полном душевном и телесном комфорте, всё лучше, чем на пыльном ристалище, где неумные толпы требуют от тебя невероятных усилий, только для того, чтобы порадоваться, когда ты наконец свалишься, истекая кровью. Им всё равно за кого болеть – умрёшь ты, будут болеть за кого-то другого. Он рассуждал, как бывший гладиатор, и удивлялся сам себе. Лени-

во удивлялся. И засыпал.

Возвращалась дочь, и они готовили ужин. Долго и тщательно. Пробовали жаренных термитов. Дочка не оценила, а он съел целую сковородку. Выпил немного вина.

Всё это не могло, конечно, продолжаться слишком долго. Он решил всё-таки по истечении недели заняться чем-нибудь систематическим. Во всяком случае – уж хорошая коллекция тропических бабочек ему тут обеспечена. Вполне потом может выясниться, что он открыл какой-нибудь новый вид, а то и не один. Для этого только нужно ловить не самых заметных и красивых, а налегать на всякую мелочь – чем неприметней, тем лучше. Вряд ли тут кто-нибудь до него успел всё хорошо запротоколировать. Работы – непочатый край. Но не хотелось ему начинать эту работу. Что ж, придётся себя заставить...

Однажды, очнувшись перед рассветом, он почувствовал, что что-то неладно. Всё настойчивее напевали насекомые за окном, к ним прибавлялись птичьи голоса. Отец вдруг понял, что нет дочери, и на лбу у него мгновенно выступила испарина. Он присел на постели и вслушивался в темноту, пытаясь уловить её дыхание, но всё забивал пульс, стучащий в висках. Страшно было зажечь свет и посмотреть туда, где она должна была лежать. Дрожащей рукой он всё-таки нащупал выключатель – её не было!

"Ну и что? – подумал он. – Пошла в туалет. Или..." Теперь уже с головы до ног покрываясь холодным потом, учёный

остановил взгляд на тумбочке в головах койки дочери. Рация лежала на ней.

Он несколько раз резко вдохнул и выдохнул неожиданно ставший мало пригодным для дыхания воздух. Сигнальная лампочка на кондиционере, впрочем, горела, не мигая. "Сейчас она вернётся," – подумал он и закрыл глаза. Внутри было то же, что снаружи. "Может быть, мне всё это снится?" – подумал он с закрытыми глазами.

Оставалось вслушиваться в законную мглу. Там было ещё совершенно темно, но нараставший гвалт животных говорил о том, что рассвет вот-вот произойдёт.

Он встал, потому что не мог больше ни лежать, ни сидеть, снял с полки ещё ни разу не использованный мощный электрический фонарь и чуть не выронил его – руки оказались предательски ватными.

Не на шутку разозлившись на самого себя, он нарочито твёрдо протопал босыми ногами по направлению к двери, которая оказалась незапертой. Учёный, хоть убей, не мог вспомнить, запирали ли он её накануне вечером. Да и от кого здесь было закрываться?

Он включил свой минипрожектор и рывком распахнул дверь. Звуки усилились и приобрели объёмность. Поёживаясь от нахлынувшей предутренней сырой прохлады, он начал с крыльца обшаривать лучом всю доступную округу. Ничего, кроме разномастных ночных мотыльков, которые тут же потянулись к нему, на свет. Восток уже начинал бледнеть.

Здесь это происходило очень быстро.

"Господи! Куда она ушла? Зачем?"

Вдруг он догадался покричать:

– Ау!.. – попробовал неуверенно и сам испугался своего сорвавшегося голоса.

Тут, окончательно расшвыряв на собственное бессилие, он принялся звать и орать как только мог и шагнул вперёд, размахивая фонарём как оружием.

От разрывающего грудь и голову бесполезного крика он на несколько минут потерял счёт времени, а когда очнулся, серые мотыльки уже куда-то исчезли и свет лампы перестал быть нужным. Грохот цикад и кузнечиков надвигался со всех сторон, как грозящий погрести его под собою невидимый камнепад.

Учёный стоял посреди луга с опущенными руками. Никто не отозвался, никого не было видно. Он сглотнул горькую слюну. Вот чего-то такого, чего-то очень плохого, он подспудно и ожидал. Провидение как всегда ударило по самому больному месту. И что теперь делать?

Он поплёлся назад, чтобы одеться и собраться на поиски. От росы и страха за дочь на него навалился озноб. Пришлось оставить в траве фонарь и почти добежать до крыльца. По ступенькам он вскарабкался на четвереньках, клацкая зубами. Сначала – необходимо было согреться.

Пока страдалец пытался унять дрожь, спрятавшись под всеми нашедшимися одеялами, солнце успело подняться и

заглянуть в окно. Озноб вдруг отпустил. Стало жарко, невыносимо жарко. «Да я болен», – подумал он, но взял себя в руки и решил, прежде чем идти, выпить кружку горячего чая.

Почему-то он предполагал, что дорога будет долгой. Не убежала же дочка в город? Это было бы полным безумием. Она всегда ему казалась умной и даже расчетливой девочкой. Утонула в ручье? Но что она там делала ночью? Да и глубина там в самом глубоком месте – по пояс. Змеи? Тигры?.. Да, должны же тут быть хоть какие-то хищники...

Он усиленно припоминал, не было ли этой ночью чего-нибудь необычного, хотя бы во сне. Какого-нибудь стона, рычания? Может, какой-нибудь вспышки? Нет, он вообще не мог вспомнить, что ему снилось – спал как убитый, до того самого момента, как обнаружил, что остался один. Не слышал он и как она ушла. Хоть бы записку оставила! Эта новая мысль заставила его перерыть весь дом в поисках записки. Но он ничего не обнаружил, никакого намёка. И почему она не взяла рацию? Забыла? Это тоже не было похоже на его дочь, иногда даже чересчур аккуратную.

Слишком долго возился он, приводя в порядок свою походную амуницию, так долго, что стал ловить себя на желании тянуть время. Словно всё уже предрешено и он боится убедиться в правде. А что' правда? Она умерла, или... При этом «или» у него язык присыхал к нёбу, потому что, собственно, никаких предположений не было. Всё было слишком нелепо, потрясающе нелепо – именно так, как это быва-

ет в жизни.

Нетвёрдой походкой он спустился с крыльца, медленно поднял обречённый взор и увидел её, идущую к дому по узкой тропинке, которую они уже успели за несколько дней протоптать в этих неизмеренно буйных травах. Маленькая, загорелая, гибкая, она семенила мелкими шажками ему навстречу как бы по дну мягкого зелёного ущелья.

Вот она уже коснулась его руки, он почувствовал её дыхание на щеке и окончательно потерял дар речи. Сморгнул, чтобы вытолкнуть густые, скопившиеся под ве'ками, слёзы. Просто обнял её за плечи и прижал к себе. И так они стояли некоторое время молча. А потом, так же молча, вошли в дом.

Дочка не торопилась что-либо объяснять. А у отца не было ни сил, ни желания устраивать ей допрос. Всё было опять хорошо и спокойно. Для полного счастья не хватало только приготовить завтрак и съесть его. Учёный почувствовал, как он проголодался от всех этих треволнений – и тут перед ним замаячила уже совсем безумная идея: а что если это?.. Да, молодой человек? Он так изумился глупости и неуместности собственной мысли, что тут же громко рассмеялся.

– Чего ты хохочешь? – поинтересовалась занимавшаяся стряпнёй дочь.

– Да так. Уж не объявился ли у тебя тут жених?

– Даже два, – серьёзно ответила дочь.

И отец захмыкал и начал усиленно чесать нос, чтобы скрыть смущение.

– Ты так шутишь? – наконец выдавил из себя он.

– Не совсем.

Он ещё помолчал, пытаясь придать своему лицу хоть относительно достойное выражение.

– А где ты всё-таки была? – он постарался, чтобы это не прозвучало ни чересчур строго, ни – не приведи, Господи! – плаксиво.

– Понимаешь папа, это трудно объяснить, – серьёзно ответила дочь.

И в глубине души учёный начал сердиться, подозревая, что она над ним просто издевается. Он, посапывая обеими ноздрями, ждал. Дочка молчала.

– Иди есть, – вдруг позвала она.

– А? – очнулся он. – Уже готово? – и подосадовал на себя, что вот уже несколько минут стоит посреди комнаты, застыв в самой дурацкой позе.

В любой ситуации отцу не пристало демонстрировать свою слабость и растерянность перед ребёнком.

Дочка явно его жалела, но её благосклонность ещё более его возмущала. Он уже готов был взорваться, но вместо этого вдохнув и выдохнув несколько раз как можно более глубоко, заставил себя почти спокойно сесть за стол.

– Не волнуйся, папа, сказала дочка, погладив его по тыльной стороне ладони. – В этом нет ничего ужасного. Кушай.

Он кивнул и принялся за еду. Что ещё ему оставалось? Аппетит, правда, куда-то исчез, но стоило проглотить

несколько кусков, как он вспомнил, насколько хочет есть. Основательно заправившись приготовленными дочерью бутербродами, он повеселел.

В конце концов, всё это было всего лишь маленькое происшествие. Вот дочь, перед ним, жива и здорова, и с выражение счастья на лице. Чего ещё ему надо? Ругать её? За что? Мало ли – может, это у неё новая причуда такая – ходить гулять по ночам. Может, она любит солнце и луну (луны, кстати, не было). Или ей нравится купаться в росе? Или она ловила ночных насекомых?

– Ты не ловила бабочек? – спросил он и осёкся – он ведь совершенно точно помнил, что когда она вернулась, у неё в руках не было никакого сачка.

Она опустила глаза и покачала головой, вздохнула, подняла глаза. И у него опять внутри шевельнулось: «А вдруг влюблена?!» – и опять он отмахнулся от этой догадки, как от фантастической нелепости.

Но ведь она говорила про каких-то женихов? Нет, это он говорил. Он про одного. Она про двух.

– Ну объясни мне – что было, в конце концов? – попросил он почти жалобно.

– Я познакомилась с двумя мальчиками.

– С мальчиками?.. – у отца отвисла челюсть.

Дочь пожала плечами:

– Ты вот думаешь, что здесь никого нет, а это оказалось не совсем так. Двое здесь всё-таки живут.

Отец не знал, что сказать, с интересом слушая дочь, но не переставая подозревать, что она разыгрывает его – может быть, как раз для этого только она и покинула ночью дом. Соскучилась – таки девочка – вот и выдумывает. Он раньше никогда не уличал дочь в таких сложных розыгрышах, да и выражение лица её говорило о чём-то совсем другом, никак уж не о склонности к пустым развлечениям. Неужели она так хорошо умеет скрывать свои чувства? Изображать счастье? Скучая?

– Да успокойся ты, – снова потрогала его за руку дочь, и он со стыдом пощупал свои горящие щёки. – Я же сказала, ничего страшного не произошло. Мальчики хорошие. Только дикие совсем. Очень хорошие.

– Ну, это меняет дело, – попробовал шутить отец. – Так значит, говоришь, их двое?

– Да.

– А где же их родители? Им сколько, кстати, лет?

– Примерно столько же, сколько и мне.

– А они на кого похожи? Ну, на индейцев или...

– Они, скорее, похожи на нас.

– Что, европеиды?

– Если я правильно понимаю, что это такое, то да. Только они очень загорелые, почти чёрные. Потому что всё время ходят голые.

– Так. И где же эти господа живут? Дом у них есть?

– Дом? – дочка задумалась. – Понимаешь, в нашем пони-

мании, у них, кажется, нет дома.

Задумался и отец:

– Слушай, а не разыгрываешь ты меня? – спросил он наконец.

– Ты не веришь? – спросила дочь, но он не почувствовал в её голосе обиды.

– Не то, чтобы... Но согласишься, очень странно. Два мальчика, европеиды – в этой пустыне... Откуда они здесь?

– Я сама ещё не очень всё понимаю, – призналась дочь.

Он взял её за тонкое запястье, и они помолчали.

– Ты мне точно правду говоришь? – спросил он, как будто проверяя её искренность по пульсу.

Она кивнула, не поднимая глаз.

– Я тебе верю, – сказал он.

Он не мог не верить. Дочка ещё ни разу его не обманывала, во всяком случае, он не мог такого припомнить. Шутила наверное когда-то, но так...

Значит – всё это факт. Ничего себе факт! А что с ним делать? Ведь это всё меняет... Дети эти...

Он опять был в смятении, тысяча вопросов роилась в голове, но один казался важнее другого и он не знал, с чего начать. Отец опасался показаться дочери глуповатым и назойливым. Пожалуй, разумнее было дождаться, когда она сама ему всё толком расскажет. Раз уж он посвящён в часть её тайны, не будет же она до бесконечности таить в себе подробности? Нужно же ей с кем-то поделиться, излить... Тут

испарина снова выступила на его лбу – он осознал, что теперь они не одни, теперь он не один у дочери, а есть ещё какие-то двое, предположительно её ровесники. Может быть, она их всё-таки выдумала? Тут он поперхнулся – настолько крамольным показалось ему мысленное предположение, что дочь его от одиночества стала сходить с ума.

Насколько он помнил, ни у кого в их роду подобного не было. Но, может быть, у жены... Он окоротил себя, понимая, что так недалеко самому дойти до сумасшествия. Надо за что-то держаться – за стены, за реальность, за дочку, хотя бы даже за бабочек. Он выглянул в окно – бабочки порхали. Как ни странно, это его успокоило.

Учёный всё-таки задал ещё один, может быть, больше других его мучивший, вопрос. Голос его прозвучал неестественно, он старался быть ироничным, хотя ему было вовсе не до иронии.

– А скажи пожалуйста, на каком языке вы, хм, общались с этими ... юношами?

– На том же самом, на каком с тобой общаемся.

Он замолчал и закрыл глаза. Там, в голове, и на ве'ках, перед глазами, – словно вращалась целая тысяча злых планет. Ничего не было понятно. Какой-то бред! Он открыл глаза, в тайной надежде, что всё опять станет на свои места.

Дочка смотрела на него с сочувствующей улыбкой, а он не неё с мольбой, точно просил, чтобы она соврала и выдала всё ею раньше рассказанное за фантазию.

– Нет, папа, это правда, – сказала она и, легко поднявшись, вышла из дома.

– Рацию не забудь, – только и сказал он ей вдогонку.

– Я взяла, – улыбаясь, обернулась она.

– А чего ночью не взяла? – всё-таки позволил себе поворочать отец.

– Я думала, ты спишь.

– А ты что, и раньше так уходила? – осведомился он, внутренне содрогаясь.

– Да, ты не просыпался.

Он вспомнил, как крепко спал.

– И давно это началось?

– Три дня, – ответила она, – недолго подумав. – Ну, я пошла? – спросила она кокетливо.

– Только недолго, – пробурчал он, изображая строгого отца.

– Угу, – кивнула она и упорхнула.

А он остался на дороге, точно облитый из ведра холодной водой. Поднял глаза и пошарил ими в обозримой дали, но дочка уже исчезла в травах. Позвать? А что ещё он может ей сказать? Сама вернётся... А вдруг... Выросла девочка. Учёный грустно усмехнулся. Повалиться в гамаке? Или побродить? Или взяться, наконец, за ум? Он нащупал древко сачка и увидел стервятника. Так он простоял несколько минут, глядя в небо как замороженный.

Всё переменялось в одночасье. От, ставшей уже было на-

скучивать, прекрасной безмятежности не осталось и следа. Он расхаживал с сачком по окрестностям, но так и не поймал ни единой бабочки, хотя те как нарочно встречались ему в изобилии и прямо-таки садились на нос. Зато вскоре он поймал себя на тайном желании – невзначай увидеть дочь. Ещё больше он хотел посмотреть на её таинственных новых друзей. Как ни убеждал себя, так и не смог до конца поверить в их существование. Всё было слишком фантастично – как в дурном сне. И чем более разумные доводы в подтверждение возможной реальности этих детей удавалось ему отыскать в собственной голове, тем более невероятной и раздражающей становилась для него вся эта история.

По разворачивающейся спирали он обошёл всю округу. Местность была довольно однообразной – если бы не изобилие процветающих здесь животных и растительных видов. Из-под ног с треском разбегались проворные ящерицы. Увидел он и ещё одну змейку, но не обратил на неё никакого внимания. Зачем он сюда приехал? Зачем взял дочь? Ему приходило в голову, что с самого начала он знал, что что-то должно будет случиться.

И вот... Нет, такого он никак бы не мог предположить. Его снова начинала мучить нешуточная тревога: зачем он отпустил её? Но, может, она уже дома? Он даже не велел, чтобы она вернулась хотя бы к обеду. Впрочем, здесь они, по обоюдному молчаливому согласию, очень скоро отучились соблюдать часы.

Он дошёл почти до основания скал. Это был единственный поблизости выход горных пород посреди укрытых жирной почвой волнообразно пологих холмов. Дальше рельеф начинал повышаться и переходил в настоящий горный. На самом горизонте отсюда виднелись неправдоподобно синие конусообразные вершины.

Он повернул назад и почти бегом домчался в лагерь. Дочь была уже дома, она сидела на ступеньках крыльца, отмахиваясь от надоедливого жёлтого мотылька. Голову её украшал жёлто-оранжевый венок из свежих цветов, а губы были ярко красны, будто измазаны какими-то ягодами. Она с недоумением и сожалением посмотрела на взмокшего и запыхавшегося отца.

Он, стараясь казаться спокойным, сейчас имел вид школьника, скрывающего от родителей свои плохие отметки.

– Ну, где ты бродишь? – иронично спросила дочь .

– Будем обедать? – сказали они одновременно друг другу, чтобы как-то смягчить неловкость.

– Я тоже только пришла, – призналась она.

– Ну как твои новые друзья? – как бы между прочим поинтересовался отец, взбираясь не крыльцо.

Дочь приподняла брови:

– В общем – ничего.

– Слушай, – вдруг нашёлся отец. – А отчего бы тебе их не пригласить? Сюда, к обеду?

Дочь опять задрала брови и пожала плечами:

– Они не пойдут.

– Почему?

– Они тебя боятся.

Отец помолчал.

– Ну, ладно давай есть, – сказал он, уже пройдя в комнату.

За обедом он всё никак не мог подобрать нужные фразы, чтобы продолжить разговор.

– Ты что-то хочешь спросить? – догадалась дочь.

– Угу, – ответил он с набитым ртом. – Слушай, а эти свои, мальчишки... Чем вы с ними занимаетесь?

– Мы играем, – невинно ответила дочь.

– Играете? – он чуть не подавился. – Во что, если не секрет?

– Ну... – несколько затруднилась дочь. – Во что дети играют? В прятки, в салочки, в дочки-матери...

– Даже в дочки-матери? – отец пребывал в искреннем изумлении.

– Угу. А ещё они учат меня стрелять из лука.

– А что, у них есть луки?

– Ну да.

– Настоящие.

– Ну, почти настоящие.

– Что значит – почти?

– Ну, они никого не убивают.

– Погоди, а зачем же им тогда вообще луки?

– Ну, они ведь дети.

– А что они едят?

Дочь запнулась и, отвернувшись, посмотрела за окно.

– И всё-таки, – тронул он её за плечо. – Мы вот – сейчас обедаем. А они – что сейчас делают?

– Я не знаю, – честно ответила дочка.

Отец почесал лысоватую макушку.

– М-м-да, – промычал он, прихлёбывая чай. – Всё совсем понятно. И всё-таки очень бы хотелось на них посмотреть.

– Правда? – дочь расширила глаза.

– А что в этом удивительного?

– Ну, ты, мне казалось, здесь совсем не любопытствуешь.

– Правда? – в свою очередь удивился отец.

– Угу, – кивнула дочь, оттопырив губы.

Он допил чай.

– Сегодня опять к ним пойдёшь? – спросил он.

– Если ты не возражаешь.

– А можно я с тобой пойду?

Дочь задумалась.

– Нет, – сказала она в конце концов. – Лучше не надо.

– Почему?

– Ну, это трудно объяснить... В общем, я думаю, они не обрадовались бы, если бы ты пришёл...

– Знаешь, это несколько обидно.

– Понимаю. Я бы сама обиделась. Но такая ситуация.

Он хотел было действительно обидеться и накричать на неё, начав с бессмысленного вопроса на повышенных тонах

вроде «какая такая ситуация?!», но удержался и только опустил голову на руки, изображая усталость и растерянность.

– Ну хочешь, я не пойду? – сказала дочь, потрогав его за руку.

– А они не обидятся? – спросил он.

– Не знаю. Могут. Хотя вообще я не знаю – обижаются они когда-нибудь или нет.

– Можешь мне о них ещё что-нибудь рассказать?

– Что?

Он подумал.

– Ну, хотя бы: кто у них мать, отец? Откуда они взялись, в конце концов?

– Они сироты.

– Ты точно знаешь?

– Угу, – она кивнула.

– А... а почему они вообще здесь живут? – он чувствовал, что вот-вот сорвётся.

– Да успокойся ты, – сказала дочь. – А почему им собственно здесь не жить? Здесь что, плохо?

Этот ответ в виде вопроса поставил его в тупик.

– Ладно. И всё-таки это очень интересно, – резюмировал он. – Я конечно не специалист по людям, не этнограф. Можно предположить, что здесь обитает какое-то племя. Или что это одинокие пастухи. Но где же скот?

– Нет никакого скота, – перебила его рассуждения дочь.

– Они что, вегетарианцы? – спросил он.

Дочь помолчала, видимо, вспоминая кто такие вегетарианцы.

– Да нет, насекомых они едят, – ответила она.

– Значит они всё же что-то едят – и то слава Богу! – выдохнул отец.

– А ты думал – они духи?

– Чем чёрт не шутит?! – ухмыльнулся он.

– Свят! Свят! Свят! – кокетливо открестилась дочка.

Оказалось, что больше говорить не о чем.

– Ладно, – сказал отец, чтобы что-нибудь сказать, – я тут всё-таки попробую кое-чем подзаняться, а ты...

– Отпускаешь?

– А что мне ещё остаётся?

– Рация – вот, – показала она.

Дочь пропала из виду, а он прилёт тут же, в домике, ненадолго и неожиданно для самого себя уснул – сказалось бессонное и тревожное утро.

Когда он проснулся, дочка опять была рядом с ним.

– Сегодня ночью не пойдёшь? – спросил он с надеждой.

– У-у, – помотала она головой.

– А они что, не спят?

– Кто? А... Почему? Спят.

– Но почему ты к ним ночью-то ходила?

– Мы так договорились.

– Очень понятно. О чём вы договорились-то?

– Это наша тайна.

– Ах, вот как? – отец, до того продолжавший нежиться на койке, раздражённо присел.

– Ну, может же быть у детей маленькая тайна? – дочь смотрела на него совершенно чистыми голубыми глазами.

Ему нечего было возразить. Хотя он так и не сумел для себя придумать – чем таким могли бы они заниматься там ночью. Разве что – животных каких-нибудь ночных ловили – но она даже фонаря с собой, кажется, не брала. Всё лезли в голову какие-то бредни сексуального характера, но он с ожесточением отмахивался от них – до того грязным и неестественным представлялось всё, что он мог вообразить, рядом с непорочным образом его девочки. Тогда *что?* Этот вопрос мучил его неотступно. Червь сомнения – не из тех червей, которые насыщаются легко и быстро.

Так и пошли у них дни за днями. Дочь куда-то исчезала – иногда ненадолго, иногда больше, чем не полдня. Однажды он ещё раз обнаружил её отсутствие ночью. При всей доверительности отношений между ними, его не покидало щеко-чущее желание – которого он сам стыдился как слабости – как-нибудь всё-таки выследить её и убедиться своими глазами во всём, что она ему рассказывала. Один раз он уже попробовал сделать это, но дочка его заметила, когда оба они не отошли ещё и километра от лагеря, и тут же вежливо, но твёрдо попросила не вмешиваться в её личную жизнь.

– Ты можешь всё испортить, – сказала она. Так и сказала. – Не надо пожалуйста этого делать, папа. Я ведь жива, здорова.

Если тебя волнует моя девственность – я вполне девственна. Чего ещё тебе надо?

Что ему было возразить? Он вернулся домой как побитый. Теперь соображения внутреннего морального порядка не давали ему разыгрывать из себя ищейку. Всё-таки его маленькая доченька оказалась сильным человеком. Интересно, в кого? Знал ли он самого себя?

Им овладела апатия. Он не хотел портить дочке жизнь. Даже вот такую – странную и эфемерную. Для удобства он про себя решил, что она выдаёт желаемое за действительное. Раньше он с этим не сталкивался? Ну и что с того? Во-первых, раньше у него вечно не хватало времени пообщаться с дочерью. Во-вторых, у неё сейчас возраст такой – переходный. У девочек, и у его дочери в частности, в это время начинают расти груди, проявляются маленькие такие, как бутончики, сосочки и всё более набухают. На лобке густеют и темнеют волосы. Голос становится глубже. Это всё, разумеется, он замечал. Они даже взяли с собой в поездку прокладки, на случай, если у дочки произойдёт здесь первая менструация. Но вроде пока ничего такого не происходило. Хотя – жаркий климат мог ускорить события.

Неужели? Неужели всё-таки это имеет какое-то отношение к сексу? «Всё имеет хоть какое-нибудь отношение к сексу», – утешал он самого себя.

Поскольку учёный по-прежнему не мог заставить себя заняться хоть какой-нибудь околонучной работой, а на пре-

следование дочери было положено табу, ему стало как-то совершенно нечего делать. И захотелось домой.

Он вспомнил свои ощущения, когда несколько раз ему приходилось гулять с ещё маленьким ребёнком в сквере и наблюдать, сидя на лавочке, как малыши копаются в песочнице. Это была какая-то совершенно особая скука. С одной стороны – ты не мог не улыбаться, созерцая своё счастливое дитя и иже с ним. С другой – ты чувствовал себя здесь если не совсем лишним, то уж, во всяком случае, далеко не первостепенным персонажем, таким сторожем, приставленным к бесценной принцессе. Твоя личность, столь долго лелеемая всяческими человеческими учреждениями, начиная с семьи, где с тобою возились родители, вдруг теряла свою абсолютную ценность. Здесь ты присутствовал – лишь постольку поскольку. Постольку, поскольку был необходим вот этому малюсенькому комочку новой жизни, который ещё толком не научился ходить и говорить. И в этом угадывались какая-то внутренняя несправедливость.

Много раз ему приходилось быть свидетелем перемалывания косточек *этому* веку: мол, раньше так не носились с детьми; рожали больше, но и больше умирало; в первобытном обществе, мол, вообще больше ценились пожилые люди, те, которые уже успели кое-чему научиться. Но разве те же обезьяны не таскают своих детёнышей повсюду за собой на спине? Разве жизнь родителя не обретает новый смысл, когда у него появляется потомок?

Это расставание с куском своего «я» при всей его необходимости и естественности, при всей красоте и целесообразности акта – не даётся без боли. Человек начинает понимать, что умирает. С того самого дня, как у него родился ребёнок, он уже не так много значит – сам для себя, сам по себе. В каком-то смысле – он теперь значит даже больше, но это теперь другой смысл. Как если бы он знал, что теперь уж наверняка присущая ему жизнь продолжится. Но если её будет продолжать пусть родственник, но другой, чуждый ему, разум, – что с того? Не всё ведь дано почувствовать отцу через сына или дочь напрямую.

Теперь этому растущему и открывающему мир созданию предоставлялась свобода действий. И тем менее ощутительной становилась свобода для тебя. Ты уже сделал выбор, и теперь, куда бы ты ни убежал – если только раньше смерти не потеряешь разум и память – знание о том, что ты уже получил продолжение, останется с тобой. И это продолжение – самостоятельно – вот в чём дело. Сейчас ты ещё помогаешь ему делать первые шаги, служишь ему, как преданный вассал господину, служишь будущему, но своему ли?

Эти смута и грусть с особенной силой охватывали его тогда, когда он переводил усталый взор с играющих детей на серое городское небо. Все мы там скроемся, все растворимся. И эти дети останутся одни. И будут так же, с сожалением, смотреть на своих детей. И всё же во всём этом была и правота, было и торжество. Невозможно было не улыбаться,

хотя бы и сквозь слёзы.

Всю эту гамму чувств, ещё даже усложнённую необычностью обстоятельств, испытывал он и теперь. Провожая дочь неведомо куда, глядя на её хрупкую спину, на изящные загорелые позвонки, мог ли он не улыбаться и мог ли не грустить?

У неё что-то начиналось, а это, между прочим, значило, что у него что-то заканчивается. Да, и с этим следовало смириться. Больше ничего не оставалось. Ничего.

Очень скоро он перечитал все прихваченные с собою книги, и делать стало уже совершенно нечего. Учёный не мог объяснить себе своё неожиданное и, похоже, бесповоротное охлаждение к биологии. Может, с самого начала *это* было не его? А что же – *его*? Или тут сыграли роковую роль всё те же странные *обстоятельства*?

Слова значили слишком много и не значили ничего. Часто ему хотелось плакать. Он чувствовал себя совсем стариком. Мышцы как-то одрябли, появилась одышка. Но он не мог заставить себя делать хотя бы зарядку. Всё больше лежал в гамаке и страдал.

Дочь видела, что с отцом происходит что-то неладное и стала к нему особенно ласкова. Он же считал дни, ибо до окончания месяца, на который они договорились с аборигенами, теперь – слава Богу! – оставалось уже немного. Это для него – слава Богу, а для дочки? С ней он об этом даже боялся заговаривать. Он не мог себе представить, что захочет

здесь задержаться хотя бы ещё на день после того, как прибудет машина. А ведь в самом начале и этот месяц представлялся ему лишь началом. Он не предполагал, что так скоро пресытится райским одиночеством. К тому же, и погода начинала портиться. После обеда – второй день подряд собирались тучи. Дожди были короткими и пока не сильными, но – имея в виду особенности тропического климата – можно было предположить, что скоро польёт по-настоящему. Он досадовал на себя, что перед отъездом довольно легкомысленно отнёсся к изучению сложностей местной метеорологии. Теперь ему чудились всякие ужасы – вроде потопов, селей и оползней. Хороши также были ураганы и торнадо – всё это могло приблизить возвращение домой. И ему было совершенно всё равно, что его там ждало, только бы – отсюда...

Дождей следовало ожидать. Если бы здесь всегда было так сухо, как в первые недели их пребывания, откуда бы взялась эта жирная трава? За это время она уже успела изрядно выгореть. Пейзаж изменил цвет – из изумрудно-зелёного он превратился в оливково-рыжий. Цвели уже совсем другие цветы и летали другие бабочки. Прибавилось и кровососущих насекомых, и змей. Но всё это было – не главное. И всё это, на самом деле, отнюдь не создавало каких-то таких уж непереносимых неудобств, от которых следовало бы бежать сразу и без оглядки. Всё дело было в дочери, в её более чем странных отлучках, в её новых друзьях, которых он до сих пор так и ни разу и не видел, хотя неоднократно просил, прямо-таки

умолял, дочку передать им свои приглашения. Должен же он, в конце концов, знать, с кем она проводит больше времени, чем с ним?! Что это за инкубы такие таинственные? Может и в самом деле – инкубы? Тут он повторял жест дочери, открещиваясь – вроде бы шутливо – от гипотетических нечистых.

– Пап, я вижу, как ты мучаешься, – сказала однажды дочка. – Ты хочешь уехать?

– Честно говоря, да, – ответил он.

– Ты даже похудел, – сказала дочь.

– Правда? Ну это пойдёт мне на пользу.

И вдруг:

– Ты очень хочешь их увидеть?

Он утвердительно кивнул.

– А зачем? Ты не веришь что они существуют на самом деле?

– Честно говоря, верится с трудом. Мы тут уже больше, чем три недели, а я кроме твоего как-то не ощутил здесь больше никакого человеческого присутствия.

– Ну, они не совсем люди.

– Вот те на, а раньше ты говорила прямо противоположное.

– Ну, то есть они конечно люди. Но они совсем другие. Выросли здесь. Понимаешь, у них совсем другие ценности.

"Эко она заговорила, – подумал про себя отец. – Совсем по-взрослому".

– Хорошо, пусть так, – сказал он. – Но если мы, и они и

мы, всё-таки – в каком-то из смыслов – люди, если, к тому же, мы говорим на одном языке, почему бы нам хоть один разок как следует не пообщаться? Ты же понимаешь, что' меня настораживает?

Она вздохнула.

– Они просили меня не говорить, но ладно, я скажу. Они бояться взрослых.

– Только взрослых? То есть не меня – а взрослых вообще?

– Угу.

– Но как они выросли? Они что, Маугли?

– Близко к тому.

– А точнее ты не знаешь? Или не хочешь говорить?

Дочь не нашлась сразу, что ответить, подумала и сказала:

– Они тоже приехали сюда, вроде, как мы с тобой. Только давно. Они были ещё маленькие. А потом... Знаешь, я толком сама не поняла, что у них тут произошло. В общем, их бросили. Они остались одни.

– То есть их родители их здесь оставили?

– Вроде того.

– А из какой они хотя бы страны?

– Не знаю.

– И они не знают?

– Скорей всего.

– Да-а, интересно было бы с ними пообщаться... Значит взрослых точно-точно нигде поблизости нет?

– Ну я, по крайней мере, никого не видела. И у меня нет

никаких оснований им не верить, – очень резонно ответила дочь.

– Всё-таки что-то меня в этом смущает, – постарался высказать свои сомнения отец. – Вроде бы всё хорошо, здорово. Ты ходишь куда-то, новые впечатления – счастливая, загорелая. Что' бы мне, отцу, не радоваться? Но всё-таки – всё это слишком смахивает на волшебную сказку. Дети какие-то, одни, без присмотра, европеиды, говорят на нашем языке. Тебе не кажется, что такое бывает только в книжках?

– Поначалу меня это тоже мучило.

– Ты что, не верила своим глазам?

– Вроде этого.

– Так может это...

– Нет, это не галлюцинация, – перебила она его. – И никакие грибы и кактусы я не ела.

– М-да. Значит, никак нельзя мне их увидеть? Ну хотя бы издалека? – уже без всякой надежды спросил отец.

Дочка опять задумалась и думала долго. В конце концов она сказала:

– Можно попробовать. Только если ты их спугнёшь, я тебе этого никогда не прощу.

Он истово побожился.

– Не шути, – окоротила его она. – Они, может быть, такие чувствительные, что не перенесут твоего вида и заболеют, и умрут от одного от этого.

– Да ну? Неужели я такой страшный?

Дочка усмехнулась.

– Ну?

– Что ну?

– Ну и когда?

– Не сегодня. Мне нужно подумать, как это всё получше обделать.

– И долго ты будешь думать?

– Дня два, – улыбнулась дочка.

– Смотри, а то дожди зарядят – не высунешься из дома.

– Им под дождём даже лучше.

– Правда?

Она кивнула.

– Странные они.

– Ещё какие странные! – произнесла она с восхищением.

– А они тебе нравятся?

– Если бы не нравились, я бы с ними не дружила.

– Нет, а как мальчики?

Она почесала висок.

– Пожалуй. Как мальчики – тоже.

Что ему было на это сказать?

– Ладно, – сказал он, – буду ждать, пока ты решишь.

– Жди, – сказала она. – Я пошла?

Он пожал плечами и развёл руками.

Эти – вроде бы наобум предложенные дочкой – два дня превратились для него в сплошное томительное ожидание. Дожди усиливались. На горизонте гремели иссиня-белые

грозы. Однако гром докатывался сюда, уже усмирённый пространством, отчасти напоминая отдалённый городской шум. Эти иллюзии были тем более приятны, что над лагерем никогда даже не пролетали самолёты. Одни стервятники. И учёный здесь научился с нежностью размышлять о цивилизации, по крайней мере, как о том месте, где всё наконец может вернуться на свои места.

Утром второго дня после их последнего длинного разговора дочь сообщила, что сегодня, он, может быть, *их* увидит. Накануне он не спал почти всю ночь, готов был взорваться, впасть в истерику, отстегать дочку первыми попавшимися под руку прутьями, чего не делал никогда в жизни.

Долгожданное же обещание дочери вдруг почему-то оказалось для него таким неожиданным, что у него всё похолодело внутри. А хочет ли он на самом деле их видеть? Это было похоже на то, как кому-нибудь даёшь свой телефон спяну – из самых лучших, альтруистических, соображений – а потом трусливо молишься Богу: "Только бы она (он) мне не позвонила!"

– Мне надо подготовиться, – сказал учёный, приседая на кровати.

Всей кожей он ощущал сейчас, какой у него глупый, помятый и испуганный вид.

– Не волнуйся папа, тебе не нужно готовиться, – сказала дочь.

Он не знал, что спросить, и молча ждал объяснений.

– Сейчас я схожу и их приведу.

– Они что, войдут сюда? – это предположение отчего-то привело его почти в ужас.

– Да нет. Ты посмотришь на них в окно.

– И всё?

– Но ты же хотел их увидеть?

– А они меня, значит, нет?

– Я же тебе объясняла.

Он вздохнул. Трудно было признаваться даже себе самому, что теперь ему уже, пожалуй, ничего не хотелось.

– Когда? – спросил он.

– Скоро.

– Ты сейчас уходишь?

– Угу.

– А дождь?

– Хорошо, что дождь.

– То есть?

– Иначе они не пойдут.

– То есть – пойдут только под дождём?

– Угу.

Он помолчал.

– Ладно. Мне надо привести себя в порядок. Вас через сколько – хоть примерно – ждать?

– Ну, часа через два.

– Два часа, два дня... Ты же за это время вся вымокнешь...

– Но там ведь не холодно.

Он начал разогревать завтрак.

– Есть будешь?

– Потом... Я пошла?

Он даже не кивнул.

– Ты что, не одобряешь? Ты же хотел.

– Я просто устал. Веди, конечно, веди их. Я хоть в окошко на них посмотрю.

– Ты только не делай никаких глупостей.

– Что ты имеешь в виду?

– Ну, не высказывай, и не пытайся их фотографировать. Вообще не выходи. Хорошо? – она вздохнула. – А ещё лучше было бы, если бы они тебя совсем не видели. Сможешь как-нибудь так выглядывать, чтобы самого не было видно?

Униженный отец горько рассмеялся, но остановил свой смех, чтобы тот не перерос в истерический хохот.

– Ты всё понял, папа? – настороженно спросила дочь.

– Да, я всё понял, дочка, – ответил он примирительно и поднял на неё грустные глаза. – Иди, я постараюсь не делать глупостей. Я буду ждать... Жаль, что ты не хочешь сейчас покушать...

– Угу, – она кивнула и ушла.

Он завтракал, не отрывая глаз от окна. Он видел, как она уходила, но сдержался и не вышел на порог, чтобы посмотреть ей вслед.

Уже с утра погромыхивало, было пасмурно, хотя време-

нами из-за облаков и вырывалось жаркое солнце. Он убил у себя над бровью отвратительно жирную тварь, успевшую насосаться крови.

Еда не имела никакого вкуса, а кофе было таким противным, что он, не допив, вылил его. Долгая тревога переросла в тоску. Такая тоска, может быть, называется смертельной.

Сегодня, скоро, всё решится. Он наконец увидит существ, по вине которых был испорчен весь его здешний отдых. Впрочем, он жаждал изучать змей, но его рвение куда-то испарилось. Ещё позавчера он страстно хотел визуализировать двух нелепых персонажей из сказки собственной дочери, а теперь ему было почти всё равно. Или ему было страшно? До тошноты. Так, может быть, бывает страшно грызуну перед взором удава. Вот сейчас к этому окну подойдёт и заглянет Судьба... И что? Он готов?

Ему было всё равно, а ладони вспотели. Он подумал, что наверно болен. Наверно это из-за перемены погоды. А может, сегодня ничего ещё и не будет? Вот так бы лучше всего... Прилечь? Поспать?..

Она посмотрел на часы: два названных дочкой часа уже истекли. На дворе шёл дождь, не ливень, а такой, который в других широтах назвали бы грибным. Ветра почти не было, поэтому вода падала отвесно, круглыми, чётко отделёнными одна от другой, тёплыми каплями. Временами, буквально на несколько секунд, в очередную прореху меж туч выглядывало ослепительное солнце. Погода, сама по себе, казалась

нереальной.

Он уже не мог волноваться. Глаза устали и всё сильнее и чаще накатывало желание вздремнуть.

Вдруг учёный заметил неподалёку какое-то движение. Он пригляделся и не обнаружил ничего, однако, осталось тревожное ощущение, что крупная тень промелькнула и забралась между свай, домику под дно. Он хотел постучать в пол ногой и крикнуть: «Эй, кто там? Выходи!», но вовремя понял, насколько абсурдно это бы выглядело, да и дочке он обещал...

Надо было договориться с ней, чтобы она подала какой-нибудь знак – тогда бы он хоть знал, куда смотреть. А теперь – чего ждать? Они здесь? Он пошарил глазами по всей доступной окрестности. Видно было не далеко – из-за дождя. Пока больше ничего.

Тень снова мелькнула... Он, затаив дыхание, подбежал к окну и вжался лбом в стекло, отчего оно сразу начало запотевать.

Действительно. Там стояли два мальчика. Фигуры их были несколько туманны. Маленькие, не толстые, скорее даже очень худые. Длинные волосы, пронзительные глаза, когда они посмотрели в его сторону. Он невольно присел ниже и спрятался. Выглянул вновь, но их уже не было. Он только запомнил ещё, что они были мокрые. Но какими ещё они могли быть – под дождём? Кожа блестела, тёмная, волосы... Да, скорее всё-таки европеоиды. Хотя – разве возможно бы-

ло их как следует разглядеть на таком расстоянии так быстро? Темновато, мутновато. Вообще – фантастично. Значит – они всё-таки есть? Или – что тоже вполне вероятно – дочь так долго внушала ему мысль об их существовании, что, в конце концов, они и для него сделались реальностью.

Больше за окном никто не появлялся. Дождь шумел, постепенно усиливаясь. Возникнув внезапно из мокрой травы, на порог взбежала дочь.

– Ну, видел? – возбуждённо спросила она.

– Да, – ответил он.

– Ну и?

Он развёл руками:

– А ты их специально сюда привела? Сказала им, что я на них хочу посмотреть?

– Ну, вроде того.

– А сейчас куда они делись? Надеюсь, не под полом у нас сидят?

– Как ты догадался?

– А что, правда сидят? – он в тревоге стал осматривать половицы.

Дочь рассмеялась.

– Они ушли.

– Успокоила. Давай садись есть. Только переоденься – вон чистое полотенце.

Он вышел под дождь, чтобы не смущать дочку, а заодно и справить малую нужду. На всякий случай заглянул под дом

– трава в некоторых местах показалась ему свежепримятой. И ещё померещился какой-то запах – резкий, но не сильный, трудно определимый. Отчего-то он вспомнил запахи серпентария, в котором часто бывал в детстве. Он потёр переносицу – просто наваждение какое-то – причём здесь змеи?

– Ну убедился, что там уже нет? – спросила она по его возвращении.

Нечего не говоря, он плюхнулся на кровать.

– Буду спать, – сказал он.

– Прямо днём?

– Дождь располагает.

– Я, может быть, ещё отлучусь.

– Валяй.

Он закрыл глаза. Она тем временем аппетитно закусывала. У него перед глазами огромными ярко-красными клубками вились бесчисленные жирные змеи. Видение было не то чтобы невыносимо неприятным, но уж слишком осязаемым. С одной стороны – казалось, что змеи того гляди заползут в голову, а с другой – не охота было поднимать веки. Так он и уснул, со змеями.

Оставшиеся дни непрерывно лил дождь. Почва набухла и стала противно подаваться под ногой. Дочка давно повадилась ходить босиком. А потом отмывать ноги, специально собираемой в вёдра, дождевой водой. Ему было лень сходить даже к ручью и он попробовал пить ту же дождевую воду – оказалась вполне пригодной. Самое неприятным бы-

ло то, что в мокрой траве народились пиявки. Пока их было немного, но, похоже, поголовье росло. Дочка же, паче чаяния, не обращала на эту гадость никакого внимания. Пиявки эти, впрочем, были не слишком приставучи, вероятно ориентируясь по большей части совсем не на человека. Очень скоро, может быть уже завтра, за ними должна была приехать машина.

– Вот и кончается рай, – с облегчением приговаривал уставший отдыхать благородный отец и с осторожностью распахивал кроссовкой расположившихся на крыльце жаб. На одной – всё-таки поскользнулся, упал и обжёг голень.

Ему уже давно всё это перестало нравиться. В голову лезли мысли насчёт того, что цивилизованный человек вообще склонен лицемерить, когда заявляет о своей любви к природе. Природа может быть столь же отвратительной, сколь и красивой. В любом раю, если покопать, можно отыскать москитов и пиявок. А уж о его любимых змеях – стоит ли говорить? Да и случайно ли он их вдруг разлюбил?

Машина могла приехать с минуту на минуту. Они точно не обговаривали время, но тридцать дней вышло. Конечно, аборигены могут подвести – с них станется. Но тот именно парень, с которым он договаривался, интуитивно вызывал у него доверие. Но ведь и дороги могут подвести – не мудрено, если всё раскисло.

Учёный сидел на крыльце, не обращая внимания на дождь, стекающий бахромой с полей его шляпы. От этого

дождя в пору было сойти с ума, но он надеялся раньше выбраться отсюда. Дочь опять гуляла где-то со своими друзьями. Теперь ему, на самом деле, было уже почти всё равно, кто они. Лишь бы только всё это поскорее кончилось.

И вот, как будто из глубины сна, засигналила долгожданная машина. Водитель почему-то не подъехал к самому дому, а остановился на почтительном расстоянии, точно давая понять, что никоим образом не собирается вмешиваться в дела уважаемых господ. Белое крыло автомобиля выглядело из-за угла домика так же чужеродно, как какая-нибудь деталь инопланетного корабля. Травы вокруг блестели ядовитой, упитанной зеленью.

Отец посмотрел в другую сторону, туда, откуда обычно возвращалась его дочь, но никого не было. Он кряхтя поднялся с насиженного места и пошёл объясниться с аборигеном – а то ведь так посигналит, посигналит, да и уедет, чего доброго. Абориген был вполне удовлетворён обвалившимися на его голову щедрыми чаевыми и выразил готовность ждать, если не до второго пришествия, но хоть до skonчания дождей.

Стараясь не волноваться из-за отсутствия дочери, отец пошёл собирать вещи. Абориген пожелал остаться в машине, причём так и не перегнал её поближе к дому. Его поведение казалось несколько странным, но не более.

Занимаясь приведением вещей в походный порядок, учёный, неожиданно для самого себя, стал сожалеть о напрас-

но потраченном месяце. Коллекции его почти не пополнились, хотя для этого здесь были прекрасные условия. «Может, остаться?» – вдруг вспыхнула у него уже совершенно безумная мысль.

Машина почему-то опять сигналила. Он раздражённо выглянул в окно, но тут же перевёл взгляд на окно в противоположной стене. С той стороны в этот момент появилось заплаканное солнце. Этого не случалось уже наверно несколько дней. То, что он увидел, ошеломило его.

Недалеко, ближе чем в прошлый раз, по грудь выглядывая из травы, стояли загадочные дочкины мальчики. Он сумел их хорошо разглядеть за недолгие мгновения чистого солнца.

Отец вспомнил, как дочка объясняла ему, что они, в основном, научились говорить уже не от людей, то есть от родителей, которые оставили их на произвол судьбы, а от звуковоспроизводящих приборов, которые ещё какое-то время работали в их домике, куда они иногда возвращались. Потом этот домик сдуло ураганом. Вся подобная информация только ещё более затуманивала эти совершенно фантастические детские образы. Этого просто не могло быть.

Ну, может быть, их родители – какие-нибудь хиппи, наркоманы, дураки, которых на Земле немало. Ну да, они кинули здесь детей, может даже специально их сюда завезли, чтобы издеваться над ними... Извращенцы какие-нибудь? Или тут с ума сошли? Иначе из-за чего бы им бояться взрослых? Да и помнят ли они этих своих родителей? Кто их выкормил?

Все эти вопросы опять закутились тошнотворным хороводом у него в голове. Но он видел их. Совершенно отчётливо. Мышцы и сухожилия. На вид никак не больше двенадцати, а скорее лет по десять. Никаких ублюдочных вздутых животов, на этом месте – квадратики великолепного детского брюшного пресса. На бёдрах... впрочем – это скрыто в траве. Дочь говорила – они иногда надевают какие-то травяные повязки. Глаза... да, глаза голубые. И... Ну да, они близнецы. Никак иначе. Дочь тоже говорила об этом. И в свои кулачишках сжимают луки, они настоroje. Кого и от чего собираются защищать? Вдруг ему пришло в голову, что они пришли сюда, чтобы уничтожить его водителя-аборигена. А что' – ведь он взрослый...

Водитель сигналил. Но дети не разбегались. Они стояли на месте, напряжённо озираясь; правая каждого держала стрелу на тетиве. Какого нападения они ждали, на кого охотились?

Всё это выглядело до того неправдоподобно и – одновременно – так грациозно, что нельзя было отделаться от впечатления, что видишь перед собой оживший древнегреческий миф. Неизвестно только, росли ли где-нибудь в Древнем Средиземноморье такие буйные травы. Всё-таки климат там не в пример посуше.

Солнце погасло, – от этого у него потемнело в глазах. Он в который раз подумал, что всё ему только чудится. Перед зрачками плавали чёрно-блестящие мушки, как бывает при

повышенном давлении. Он навёл фокус, дети стояли примерно на том же месте, в тех же живописных, словно специально принятых для художника, позах. Что-то в их осанке напоминало ему породистых охотничьих собак, каких он и видел-то наверное только на старинных гравюрах.

Подумав немного, учёный вышел на крыльцо. В конце концов, они давно бы могли убить его, если бы хотели.

– Эй! – крикнул он мальчикам. – Где моя дочь?

Они уставились на него, как вкопанные лани, ничего не отвечая. Маленькие, но не игрушечные, луки были натянуты и крошечные, но, возможно, отравленные, стрелки нацелены ему в грудь.

У него закружилась голова – может быть, от близости глупой смерти, может быть, от вдруг нахлынувших густой волной влажно-пряного аромата трав. Особенно рьяно цвели сейчас какие-то оранжево-махровые цветы, те самые, из которых дочка особенно любила плести венки.

Водитель без перерыва продолжал давить на сигнал. Или может – у него там заело?..

– Если вы хотите меня убить, сделайте милость, – чёткими словами высказал свою позицию отец. – Но прежде я всё-таки хотел бы увидеть мою дочь.

– Много шума из ничего, – прощebetала дочка, выпорхнув откуда-то чуть ли не у него из-под мышки.

– О Господи! – вздрогнул он. – Что всё это значит?

– Они пришли попрощаться.

– Зачем тогда в меня целиться?

– А ты не веди себя так агрессивно.

– Всё в порядке, ребята, – отец поднял руки, улыбаясь идиотской улыбкой.

– Значит они в курсе, что за нами приехали?

Дочь уже что-то делала в доме.

– Я тут оставлю им кое-какие сувениры, хорошо? – попросила она.

– Ну разумеется, – хмыкнул он, не став уточнять, какие именно. – Всё, что угодно. Я, пожалуй, пойду в машину. Только попроси их, чтобы они не стреляли мне в спину.

– Окей! – крикнула дочка.

Под настороженными взглядами маленьких дикарей он обошёл дом. Дождь змеистыми струями стекал по их непронаемым смуглым лицам и по тощим ключицам.

– Красивые ребята, – резюмировал он, скрываясь за углом.

"Чем же они всё-таки питаются?" – задал он себе в сотый раз, преследовавший его уже столько дней, вроде бы прозаический вопрос. За шорохом дождя и стеблей он не смог бы вовремя уловить их шаги, если бы они решили приблизиться к нему сзади. Однако он нашёл в себе силы ни разу не оглянуться и не перейти на бег; и, уже приближаясь к машине, ответил сам себе самым непринуждённым образом: "Наверное, одними бабочками."

– Да прекрати ты гудеть! – обрушился он на аборигена, но

спохватился, поняв, что выражается не на том языке. Сигнал всё-таки прервался.

Учёный хотел спросить водителя, видел ли тот что-нибудь необычное и как к этому относится. Но, во-первых, отсюда сейчас ничего – кроме домика, травы и дождя – не было видно, во-вторых, он затрудняется правильно сформулировать на чужом языке необходимые вопросы. Лицо же индейца-аборигена выражало не намного больше, чем каменные личики загадочных малышей. С него тоже можно было тут же лепить скульптуру.

Вдруг трава за фургоном немислимым образом всколыхнулась – словно там была не широкая луговина, а настоящее море и по морю прошла волна. Отец вскрикнул, а абориген, желая снова начать сигналить, замер с рукой на кнопке. Не распугивал ли он духов?

Путаясь и поскальзываясь в мокрой траве, учёный побежал назад. Новая волна прошла совсем близко, чуть ли не у него под ногами. Опять включилось солнце, и он увидел.

Змеи лежали на спинах, две огромные, неправдоподобно огромные, иссиня-белые змеи. И возле них – словно маленькие изваяния, смуглые и неправдоподобно изящные дети. К ужасу своему, он заметил рядом с мальчиками и дочку. Она целовала их и вручала им какие-то узелки. Одна из змей взмахнула хвостом, и ему стало окончательно ясно причина периодических возмущений, происходящих в траве. На первый взгляд, каждое из этих демонических созда-

ний было длиной не менее тридцати метров и не менее метра толщиной. Он не видел их голов, скрытых в траве, но видел животы, покрытые поперечными щитками, сверкавшими на вновь выглянувшем солнце, как воронёная сталь. Ещё он увидел какие-то выпуклости, возможно, рудиментарные конечности, которые вообще-то свойственны удавам. Однако, это почему-то заставило его вспомнить драконов, которым при всей их змеевидности, всё-таки обыкновенно во всех традициях пририсовывались хотя бы небольшие ножи.

Мальчики синхронно склонились в траве, точно исполняли какой-то неведомый рыцарский ритуал. Длиннющие мокрые, но всё-таки скорее светлые, чем брюнетистые, лохмы занавесками упали им на глаза. Что они делали? Они припадали губами к тем самым выростам, которые он посчитал ногами. Это были сосцы. Странная тошнота поднялась у него над серединой грудины. Солнце потухло и загорелось вновь, а змея пошевелилась, принимая более удобную для кормления позу. Наверное, это была самка. Второй змей, вероятно самец, аккуратно перевернулся на живот, и спина его вся заиграла ромбовидными, как у Арлекина, сине-зелёными пятнами. Из травы показалась и снова упала вниз его более чем лошадиная голова. У серпентолога земля уходила из ног. Всё было настолько невероятно и безумно. Слишком.

Индеец в машине за домом опять всюю сигналил, только этот звук теперь доходил до учёного как сквозь вату. Может быть потому, что змеи басовито шипели, вернее урчали, как

домашние кошки.

Мальчишки приподнялись из травы, они жестаами приглашали к себе свою подругу. Она подошла к ним, склонилась и... Она тоже сосала *это молоко*. Из застывших от напряжения распахнутых глаз отца выступили липкие, не желающие скатываться вниз по щекам, слёзы. Он чуть не потерял сознание. Творилось что-то ужасное и прекрасное одновременно. Мир переворачивался.

Девочка вдруг возникла рядом с отцом и взяла его за руку.
– Пойдём, – сказала она. – Мы уже попрощались. Мы ведь сюда вернёмся, правда?

Отец следовал за ней как сомнамбула. На крыльце оглянулась она, и он оглянулся. Змеи, теперь уже обе на животах, неслышно плыли по траве, отсюда в сторону скал. Мальчишки гарцевали верхом – каждый на своей. Дочка помахала им вдогонку рукой, и отец тоже помахал. Они же выстрелили из луков в небо и скрылись из виду. Дождь продолжал падать, то чаще, то реже.

Абориген заткнулся.

– Подъезжай ближе! – крикнул ему отец. – Будем подцеплять фургончик.

Тот уже завёлся, как будто только и ждал приглашения.

Когда индеец подрулил к самому крыльцу, учёный заглянул к нему в окошко, не выпуская из ладони напряжённую ручку дочери.

– Ты что-нибудь видел? – спросил он, тщательно выгова-

ривая слова.

– Нет! Нет! – замотал головой водитель.

– Ну и молодец.

– Молодец, господин, молодец, – с готовностью подтвердил тот.

Отец и дочка переглянулись.

– Не волнуйся, папа, он ничего не видел, – сказала дочь.

В это время далеко, по самому горизонту, прошла невысокая травяная волна и гроыхнул сердито давно не подававший голоса гром.

Детский опыт (О смерти)

"Неужели я настоящий,

И действительно смерть придёт?.."

О.Э.Мандельштам

Давай порассуждаем о смерти. Это я к тебе, читатель, обращаюсь – давай. Я уже достаточно пьян, чтобы говорить с тобой запанибрата. Так вот, то что я тебе имею честь сообщить, очень может быть, тебе уже и известно. Так что, не стоит читать. Хотя... Как в одном рассказе у Грина – наверное, зря я хочу у тебя вызвать заранее к этому чтиву отвращение. Может быть, это вовсе тебя не заинтригует, а наоборот.

Так вот, о смерти я уже говорил (или не говорил?), что мы к ней относимся, как слепые. Общее место – что мы бо-

имся того, что не знаем. Т.е. со внешней стороной смерти, если конечно, не слишком старательно отворачивали вспять свои взоры, мы знакомы. Там – агония, трупы, морги, рак, инфаркт. Почти все хоронили своих близких или домашних животных, меньшему количеству читающих довелось истребовать приближение смерти на себе. Тут уж точно найдутся такие, которые превзойдут меня по глубине знания вопроса. Очень может быть, что как раз наиболее глубоко знающие вопрос предпочитают помолчать об этом.

Но уж очень хочется, просто "не могу не писать", как говаривал граф Толстой! А в таком случае он, один из самых строгих судей, даже он, допускал и разрешал. Правда, он не одобрил бы, что я пишу пьяный. Пьяных он не любил. Но я склонен апеллировать к его христианскому (и, однако, преданному анафеме, всепрощению).

Я сижу на кухне, у одной достаточно известной актрисы. Как я сюда попал – долго объяснять. Мы провели несколько часов в беседе с одним очень интересным человеком (актриса болеет гриппом и спала). Он истомился и пошёл спать. А я попросился ещё часок посидеть на кухне и пописа'ть. Ибо неохота мне по разным причинам (не исключено, что главная из них – скаредность) ехать домой на такси.

Всё равно необходимо что-то писать в своём романе. Так отчего бы не здесь и не сейчас?

В детстве я очень боялся смерти. Не помню с каких лет я узнал о том, что люди умирают. Вернее – это не корректная и

избитая формулировка. Ребёнок то и дело наблюдает смерть – хотя бы мухи, хотя бы травы под снегом, хотя бы растаявшей снежинки. Не надо думать, что он настолько наивен и глуп, чтобы не понимать, что происходит. Понимание такого рода возникает в очень раннем возрасте. Предполагаю, что задолго до того, как мы научаемся ходить и говорить. Возможно также, что оно дано нам от самого рождения.

Я не помню, как беседовал с ангелами, но свой ужас перед смертью я помню. О смерти трактовала мне мать. Не помню точно, как и по какому поводу я её об этом спросил. Но, вероятно, она хотела меня утешить. В силу того, что она сама, будучи атеисткой, не имела никакого устоявшегося мнения по этому вопросу, разумеется, она меня ещё только больше растревожила и, таким образом, вызвала пробуждение того, что – тут я не склонен настаивать – у большинства людей именуется разумом.

Изначально же человек конечно судит не по себе. Он ещё не слишком освоился со своим я – смотрит из открытого (неведомо кем) окна и видит, что нечто происходит. Вдруг он узнаёт, что некоторые из этих движущихся, так называемых – живых, объектов обладают свойством останавливаться насовсем и переходить в разряд мусора. Пока это какая-нибудь муха или таракан – это не особенно впечатляет. Родители даже поощряют уничтожение таких надоедливых кровососущих тварей, как комар или клоп. Но очень скоро у младенца неизбежно развивается способность к интерполяции.

Чем мы лучше клопов? – задаётся он неожиданным, но весьма обоснованным вопросом.

Мама меня пыталась утешить, кажется, уже гораздо позже, используя свои, далеко не безукоризненные знания по биологии. Она говорила, что когда-нибудь где-нибудь (тут по всей видимости, она не грешила против законов вероятности, поскольку все мы, хотим мы того или нет, стоим перед Вечностью и Бесконечностью). Так вот, она утешала меня на предмет того, что неминуемо – пусть через миллион или миллиард лет – должен родиться точно такой же индивид, как я. Т. е. с точно таким же набором генов. Тогда – это меня почти утешило, хотя и какой-то червячок в душе остался всё же. Мама, сообщая мне своё видение вопроса не выглядела слишком спокойной и уверенной. А в общении между матерью и ребёнком именно чувства – это и ежу известно – играют первую скрипку.

Я подозревал, что она что-то не договаривает. Но мало ли чего не договаривают взрослые детям? С этими условностями в том возрасте я тоже был уже давно знаком, и мне не оставалось ничего, как только смириться. И не потому, что я не был любимым, а потому, что, как и все дети, я ощущал себя маленьким и беспомощным, но имел твёрдую надежду вырасти – что ж, тогда мы всё и узнаем и, если потребуется, посчитаемся с родителями.

Но родителей было жалко. Теперь ведь я знал – они умрут. И скорее всего – раньше меня. Люди старятся и умирают –

это я знал. Я представил себе мёртвую маму, потом бабушку – смерть которой, очевидно, была ещё ближе – и пролил слёзы. Оставалось только примерить эту тесную рубашку на себя.

Я припоминаю свои истерики, которые, кажется, случались со мной лет в шесть-семь, точно мне не было больше восьми. Обычно это происходило перед сном, когда уже темно. Ребёнок начинает бояться темноты и отхода ко сну именно тогда, когда осознаёт, что существует смерть. Смерть выглядит – в первую очередь – как остановка. У мёртвого закрыты глаза, мёртвого зарывают в землю – значит, темнота. Поэтому ребёнок боится уснуть, боится остановиться. Засыпание для него – маленькая агония, сон – маленькая смерть. Но тем труднее поверить в смерть окончательную и настоящую. Во сне ведь что-то снится, или, если даже не помнишь, что что-нибудь снилось, всегда, даже во сне, сохраняется ощущение, что выспишься и проснёшься. Боясь смерти, в сон конечно трудно входить – как в холодную воду – но когда там уже присидишься и приплаваешься – как неохота вылезать! Ведь недаром многие говорят, что сон смахивает не только на смерть, но и на внутриутробное блаженное состояние.

Ну вот, мне остался ещё часок – успею ли я сообщить для вас что-нибудь действительно новое о смерти. Пока какие-то всё банальности...

Может быть, самое интересное – постараться воспроиз-

вести те (теперь почти неповторимые) ощущения, связанные со смертью, которые мне довелось испытывать в детстве. Узнав и убедившись на сознательном уровне, что смерть существует, я естественно постарался самого себя представить мёртвым. Конечно, было жутко. Но таково уж свойство человеческой природы, что чем страшнее – тем притягательней. В ранней молодости почти все мы не умеем бороться со страстями и оттого ловимся на всяческие соблазны. Я же был совсем ещё дитя, уже переставшее общаться с ангелами, но наслушавшееся своей матери, которая ведь мне лучшего желала.

Фантазии у меня всегда хватало. Я сумел, вполне реалистично, вообразить себя лежащим в гробу. Причём, я не слишком акцентировал внимание на фоне – т. е. на том, как и кто будет меня провожать. Мама, разумеется, могла оказаться рядом и меня безутешно оплакивать. Но в том контексте, который она мне успела обрисовать, взрослые должны были умирать первыми – это и теперь мне представляется нормальным. Так что, я не утруждался, чтобы представить себе людей, которые будут присутствовать на моих похоронах. Если всё будет нормально, то наверняка это будут какие-то мне сейчас совершенно ещё неизвестные люди. Будут у меня какие-то друзья, какая-то семья и т. д. сейчас меня занимало совсем другое – а именно: сам я – что же будет со мной?

Ну вот, я лежу в гробу. Я – мёртвый. Не дышу, не двигаюсь, холодный. Догадываюсь, что начинаю разлагаться – т.е.

вонять – вероятно, уже тогда было впечатление от дохлой собаки. Там, в гробу, я – совершенно спокоен. Тоже, вероятно, впечатление, почерпнутое не то от уличных похорон, не то – что всего скорее – из фильмов. Особенно у нас всегда любили в советское время показывать похороны всяческих политических и иже с ними деятелей – тут уж во всех подробностях, не захочешь, а насмотришься. Родители ведь смотрят – даже слеза, не то искренно, не то для всеобщего порядка выступает. Слава Богу, что я ещё никогда не был – так и не сподобился! – в мавзолее В.И. Ленина.

Так вот, лежу я такой холодненький и безучастный – противный, как размёрзшаяся и вот-вот готовая начать протухать курица. С дохлыми курицами я уж к тому времени точно был знаком. Есть фотографии, где я вполне уверенно и профессионально поедаю куриную ножку. Говорят – любил. Не помню. В те времена ещё не умел говорить – оттого и память слабая.

И вот, этакая дохлая курица – неужели это я? Да, но ведь должен же я умереть? Мать говорит – должен. Какие основания у меня не верить? Я сам пришёл к этому открытию, к ней обратился только за подтверждением. Она сказала: да. Каких ещё более высших инстанций надо ребёнку?

Вот тут-то и начинается самый трудный вопрос. Если я дохлая курица, то кто я. Т. е. тот, кто в настоящий момент вообразил и созерцает эту дохлую курицу, которая является мною? Тут налицо какое-то странное раздвоение, с которым

я тогда, возможно только по младости своей, ещё не сталкивался.

Я могу прекрасно себе представить, что будет со мной происходить. Вот – я вырасту, буду как-то жить, учиться, работать, заведу семью, состарюсь, заболею... Могу даже во всех подробностях разрисовать себе на своём внутреннем экране, как я стану умирать. Вот я умер, перестал двигаться и дышать, стал мёртвой холодной курицей. Меня положили в гроб, венки и всё такое. Отнесли на кладбище, зарыли в землю... Ну и что? Я-то где?!!

Т. е. я, конечно, мог допустить, что вот я лежу в гробу, в холодной земле, и это крайне неприятно, но я ведь уже вполне удовлетворительно понимаю, что у меня тогда не будут работать ни глаза, ни другие органы чувств, ни даже сам мой – вот этот! – ум. Где же я буду тогда?

Глупый вопрос? А попробуйте себе вот сейчас – только достаточно честно – представить всё это. Уверен большинство откажется от этого моего предложения как от самой глупой и безответственной затеи. К чему? Живи пока живётся! Не помню кто это сказал – о смерти надо думать уже перед самой смертью. А вдруг не успеешь? Из своего опыта могу заметить – что часто не успевают. Другие советуют: Memento mori. Но кто действительно относится к этому всерьёз? Да и некогда.

Мне, конечно, легко. Я праздный и безответственный, напившись водки, сижу на чужой кухне. И завтра мне если и

на работу, то совсем вечером, да и то не обязательно – сам попросился. Захочу, не поеду – завидуйте! Правда, и денег я за эту работу не получаю – почитай, сам плачу – так может быть, в перспективе...

Так о чём бишь мы? Об этом трудно говорить, поэтому хочется отвлечься. На что угодно, хотя бы и на обстоятельства написания. Хотя, зная людей, я смею предположить, что у многих читающих этот рассказ только эти обстоятельства и могут вызвать конкретное любопытство. Больше всего их заинтересует – у какой именно актрисы я провёл эту ночь. Второе – с кем это я там беседовал. Что ж, проведите расследование – если вам не лень. Я не нанялся, чтобы облегчать вам жизнь. Но из вредности, замечу – все господа психоаналитики, и тут я к ним присоединяюсь, истолковали бы это именно так – что ваши происки насчёт таких частностей объясняются лишь вашим страхом смерти и страхом перед всеми её атрибутами. Всё, что вы называете смертью, априори вам кажется мрачным. И вам кажется, что *это* что-то объясняет?

Я курю, чем сокращаю свою беспримерную жизнь, и у меня осталось всего двадцать минут для того, чтобы, может быть, сообщить самое главное. Итак, в силу моей тогдашней незрелости, я, разумеется, никак не мог примириться с мыслью и собственной конечности и по-настоящему вообразить себя мёртвым. А вы можете? Никто не может – вот ведь в чём штука. Тут останавливается самое пылкое наше вообра-

жение. Умирает. Или я ошибаюсь?

Но дело не в этом. Дело в том, что происходило потом, т.е. уже после того, как мне вполне зримо удавалось представить себя неживым своим внутренним взором. Я задавался вопросом: ну всё, это произошло, это, как оказывается, допустимо и неизбежно, вот я мёртвый – но кто же я, т. е. тот я, который сейчас, пускай только пока и умозрительно, созерцает своё бездыханное тело. Как вообще такое возможно?

Вот тут меня било словно током. Играет похоронный оркестр. Я его слушаю. Кто его слушает? Тот я, который лежит в гробу, уже не может слушать... Погоди...

Хорошо, и вот этот я, пусть он и есть тот самый настоящий я, который и есть настоящий, потому что все смертны, и я, какой бы ни был, я тоже могу и должен умереть (так мне мама сказала!)

Хорошо, вот я, тот, который сейчас созерцает собственную смерть – почему-то почти безучастно, – тоже умираю. Старею, болею – как положено. Этот я – опять-таки в гробу, его хоронят. И опять-таки – я могу умственным взором наблюдать за этими предполагаемыми похоронами.

Тогда кто этот я, уже третий? Я опять как будто просыпаюсь – хотя уже и похоронил себя два раза. Но и этот я смертен – потому что все смертны – такова природа – как сказала мама – значит и я умру. Этот я.

Погоди, сколько у меня этих я, безусловно смертных, каждое из которых готово наблюдать и успешно наблюдает соб-

ственные свои похороны или, вернее – похороны своего я, которое неожиданно – вот здесь – оказывается как бы более низким по рангу, как бы более мелкой матрёшкой внутри более объёмной и объёмлющей это внутреннее, уже похороненное, я...

У вас не кружится голова? У меня да. Но может, потому что я выпил. А в детстве – Бог ты мой! – как кружилась! Вернее, это было ни с чем – ни до того ни потом из испытанного – не сравнимое чувство проваливания. Проваливания в самого себя.

Матрёшку можно считать и туда и обратно. И вовне и внутрь. Я говорил о внутренних матрёшках, но на самом деле, с каждой своей воображаемой смертью как бы скидывал кожу и не обнаруживал там, внутри, абсолютную пустоту.

Там было ещё одно я – и так до бесконечности. Об этом не так уж легко писать. Надо набраться смелости. Может быть, я об этом бы так никогда и не написал – хотя уже, кажется, целую тысячу лет собираюсь – если бы не выпил и волею судеб не оказался бы в таких странных условиях.

Время меня поджимает. Как и всех живущих. Декларированное мною выше двадцать минут почти истекли. Я рискую прийти поперёк горла милым хозяевам, которым обещал обратиться вовремя.

Приходится спешить. Хотя мне всё ещё кажется, что я так ничего и не сказал. Вернее, сказал чуть-чуть, но, может быть, не достаточно доходчиво. Всегда остаётся опасение, что че-

го-то не донёс до чужой и неведомой души.

Ведь все люди в каком-то смысле говорят на совершенно разных языках. И как только они ухитряются друг друга хотя бы изредка понимать?

Мои двадцать минут истекли. Всё, курю. Между прочим, чужие сигареты. Рискую, что хозяева – чего бы я очень не хотел – меня проклянут. Вот на какие жертвы я готов для тебя, читатель!

Ну, уж теперь за оставшиеся неполные полчаса точно надо успеть договорить всё самое главное. Почти не верю, что это у меня хоть в какой-то мере получится.

Эти мои детские погружения в самого себя – как я теперь понимаю – были своего рода спонтанными медитациями.

О том, как медитируют и что с медитирующими в это время происходит, я немного слышал от других и довольно много читал. Надо сказать, что эти чужие сообщения не вызывали у меня особого доверия. Даже самые авторитетные. Если кто-то кого-то считает авторитетом, пусть даже самый уважаемый мною человек, – что с того? Это меня не убеждает. А вас?

Так вот, кое в чём я убедился на своём собственном примере. Вы, конечно, в свою очередь, можете с недоверием отнестись к описаниям моих опытов, и будете совершенно правы. Тут я от вас, как уже выше сказано, ничем не отличаюсь. Более того, весьма разумно было бы предположить, что многие люди – если даже не все! – когда-либо, при каких-либо

обстоятельствах, испытывали подобные ощущения. Только не все склонны об этом говорить и тем более писать. Это ваш покорный слуга – такой болтун и писака. Со мной, по крайней мере, почти никто такими откровениями не делился. Но может я просто не достаточно пристрастно выпрашивал?

Но хватит бродить вокруг да около. Я пытаюсь возбудить в себе это прошлое состояние и не могу. Разве что временами появляется бледный намек на ужас, который я тогда в полной мере испытывал. Казалось, что, если я вот сейчас, сию минуту, не прекращу это погружение в самого себя – которое, чем дальше, тем становилось более стремительным и менее контролируемым – то я на самом деле умру. Только я не знал, не смел даже попытаться узнать, что это значит – *на самом деле*. Это погружение во всё сгущающуюся тьму, которая, однако, на каждом этапе всё-таки сохраняла какой-то, пусть даже только гипотетический, свет, которым был я, на самом деле становилось таким нарастающе ужасным, что я не мог остановиться. Я лишался основы в самом себе, пытаюсь её честно обнаружить. Под одной основой – была другая, там – ещё одна, и так – до бесконечности. Так – я соприкоснулся с бесконечностью и испугался. Очень испугался.

Не знаю, что *на самом деле* испытают взрослые медитирующие и испытывают ли они нечто подобное. Отчего-то в моём, уже вполне (почти сорок) зрелом возрасте я не испытываю никакого желания попробовать. Во-первых, если это именно так, как со мной когда-то происходило, то я это уже

испытал. И если при продолжении опыта происходит то, что называется *смерть при жизни*, то я этого не хочу и не потому, что боюсь, а оттого что желаю ещё в живом состоянии кое-что сделать, например, что-нибудь написать. Остались у меня ещё кое-какие желания. Или, может быть, – чем Будда не шутит – у меня миссия такая – донести до со мной живущих своё мелкое сострадание в виде своего же убогого индивидуального видения.

Ну времени у меня совсем в обрез. Если соблюдать хоть какие-то правила приличия – то десять минут. Через десять минут, в шесть часов, начнёт ходить метро, и у меня уже нет никаких вежливых оснований, чтобы тут задерживаться. Мог бы давно и заблаговременно выйти. Разве что случайно окажется, что пишу я здесь что-то гениальное. Но это вряд ли.

Однако – нахально – закончу. И – да, пожалуй, даже ещё выкурю одну сигарету – предпоследнюю в чужой пачке. Каков нахал!

Так вот – что' бы я там обрёл – если бы тогда, в детстве, позволил бы себе, решиться бы идти до самого конца? Умер бы я в действительности вот таким странным способом, провалившись в бездонные глубины своего многослойного я или – очень трудно такое вообразить – нашёл бы там универсальный ответ, иначе говоря – смысл жизни? Откуда такое откровение дитяте, который ни чему и ни у кого (кроме мамы) не учился, не стремился достичь и даже не пробо-

вал расслабляться и останавливать поток мыслей, поскольку не очень знал, что это такое?

Возможно ли было это путешествие до конца, чем бы оно не кончилось? Или мудрость Провидения состояла как раз в том, чтобы остановить меня в нужный момент, да так, чтобы у меня создалось впечатление, что если бы я не струсил и не отшатнулся, то вполне бы сумел двинуться дальше и провалиться до *Конца*.

Может быть, я тогда думал – да так наверняка оно и было – что я просто сейчас ещё слишком маленький и слабый, но вот зато, когда вырасту, то тогда уж обязательно пойму что' к чему и смогу сделать то, на что сейчас не решаюсь за неимением предварительного знания. Особенно ведь трудно и страшно – согласитесь – прыгать с высоты вниз головой в холодную воду, когда не знаешь какая там глубина и дно. Знаю ли я теперь нечто большее?

Надежда на книги и на мнения взрослых у меня пропала довольно рано. Во всяком случае, примерно через год после того, как я вернулся из армии, у меня, насколько я могу припомнить, её уже и в помине не было. Скорее всего, она у меня атрофировалась уже тогда – вольное предположение – когда я первый раз (а это произошло в 11 лет) влюбился. Не могу утверждать, поскольку ведь мой ум в те моменты был занят совершенно другим. Тут можно заметить, что любовь каким-то образом и, во всяком случае, на каком-то этапе, умеет преодолевать и отрицать смерть. Но это уже совсем

другая история.

Пожалуй, ещё бы мог измарать не один десяток страниц. Но совесть, моя железная, и то начинает ржаветь. Хозяева проснутся – а я на кухне. Не хотел бы я оказаться в их положении. Не желай другому того, чего самому себе не желаешь.

Посему буду кратким. Но сначала покурю. Узнал ли я что-нибудь о смерти тогда в детстве, или мне всё это только предстоит, как всем нам? Может, у меня ещё будет клиническая смерть – о ней тоже рассказывают много интересного. Но ведь все те, кто рассказывает, вернулись, они по-настоящему не умерли – а то как бы могли рассказать.

Стоит ли им доверять? Во всяком случае, им я доверяю ещё меньше, чем самому себе.

Стоит ли ещё что-нибудь говорить? Всё ли ясно? Всё ли ясно мне самому?

О смерти написано много прекрасных поэм и трактатов. Может быть, и я ещё сподоблюсь и напишу нечто гораздо более подробное и объективное. Надо ли это? Кому надо? Вот – вопрос!

Мне надо? Ну, допустим. Вот я вам *всё* это и рассказал.

И всё-таки у меня возникает впечатление, что какой-то очень важный – быть может, самый важный – вопрос я здесь так и не задал. Ведь самое важное сформулировать вопрос, прежде чем попытаться дать на него хоть какой-нибудь ответ. Так вот, этот вопрос, но крайней мере сейчас, этим похмельным утром – а я уже еду домой (пока на троллейбусе)

– как-то не ухватывается, ускользывает, вываливается из памяти, из сознания и даже – воображается мне – из-под сознания.

Может и об этом тоже позаботилось Наимудрейшее, берегущее нас... (уже в метро) от не нужного здесь, при нашей ординарной жизни, прозрения. Т. е. я хочу сказать, что, может быть, я уже один раз был совершенно прав тогда, в детстве, когда, как казалось, имея такую возможность, отказался от прорыва в неведомые области. Т. е. я был не по-детски благоразумен, когда отложил это на неопределённое будущее.

Но когда созревает такой момент? Такой, когда уже на самом деле пора? Когда человек становится по-настоящему взрослым, таким взрослым, когда уже можно не трусить и пойти до Конца? Но не значит ли это – стать таким и до того взрослым, что и умирать не страшно? Вы уже достаточно готовы?

Может быть, вся эта так называемая майя, весь этот узкий коридор жизни, на который мы привычно ропщем и клеветаем, и существует только для того...

Так вот... Я пересел на другую линию, уже свою и почти допил пиво, которое я купил перед погружением в метро ("ярославское янтарное" – если когда-нибудь возникнет интерес у грядущих исследователей). При этом меня обуревали размышления сексуального порядка.

Так вот, может быть, все эти условия и условности и су-

ществуют только для того, чтобы удерживать нас в рамках, в тех правилах игры, которые придуманы не нами?

Видимые отвлекающие причины могут выглядеть сколь угодно пошло. Прежде всего – это деньги, секс, жратва, алкоголь и другие наркотики, словом, благополучие – хоть на час. Сойдёт также – и слава, и власть, и стремление размножить себя в потомстве. Несть числа нашим иллюзиям. Об этом ещё Чехов писал в письме не помню кому.

Так вот, может быть, всё это – добро? Может, не стоит рыпаться? А то – медитируете – и домедитируетесь! Не могу сказать: мо'литесь и домолитесь, поскольку молятся всё-таки, в основном, о сохранении жизни, не важно какой (тут кстати, меня потеснила не важно какая жизнь).

Так вот. Всё что ни делает Бог – всё к лучшему. Не сподобляет вас он к преждевременному открытию неприкосновенных и недоступных глубин – и слава Богу, и радуйтесь.

Раз вы не можете принять, постичь и понять этого – значит так и надо. Вы здесь нужны, живыми. Для чего – не ваше дело. А если уж очень хотите знать, для чего, умрите, если не трусите – авось откроется. Только я, конечно, не призываю к банальному самоубийству. Это будет всего-навсего продолжение тех пошлых страстей, которые и застали вам путь к истине, как досадные заторы и заносы на пути.

Пиво я допил. Кто-то лягнул меня в пятку. Поскольку поезд – это у меня по крайней мере через раз случается – не идёт до моей конечной, пришлось сойти на одной из проме-

жуточных. Пиво я допил, а жаль. Неужели придётся покупать ещё одну, когда выйду? Совсем – спиваюсь! А ведь точно – куплю. Всё – пришёл – сажусь. Народу...

Хотел выругаться нецензурно, но лучше пропущу и допишу. Чем не буддистская мудрость?

А чего же хотел Будда? Чего он там себе вообразал, сидя под "индийской сосной"? Все страсти прошли перед ним парадом, он не испугался, не дрогнул, сидел себе с милейшей улыбкой и даже глаз не закрыл. Они, буддисты, и не стесняются заявлять, что он умер. Умершим тоже часто приходится пятаки на глаза класть, чтобы не лупили их почём зря. Будда хотел умереть, исчерпав все страсти до дна – ему легко было, он ведь был принц и красавец – вот таким необычным и достойным образом. И осыпали его лепестки, и сам он стал подобен лотосу...

Слава Богу, буддисты хоть допускают возможность иронии по отношению к своему небогу!

Даже: "Встретишь будду, убей будду!" А то ведь у нас – попробуй сыронизировать слегка по поводу какого-нибудь христианского святого – сразу же схлопочешь по морде. Анафема и х.. тебе по всей морде – тут уж от нецензуры не могу удержаться. Господи, прости или зажарь меня живьём!

Я не боюсь. Нет, боюсь, но не всегда. То боюсь, то не боюсь. Пульсирующее время прерывно. Оно состоит из квантов, как из кадров кинолента. И нам, может быть, не дано постигнуть тот самый, заветный 25-ый кадр, – по правилам

Высшей Игры, не дано.

Играйте же, дети, в свою игру, играйте в Нашу Игру, лучше – в Нашу, играйте постольку, поскольку вы способны понять Наши Правила. Или – медитируйте и умирайте, если настолько вам уж всё тут приелось и надоело.

Что' там за чертой, я не знаю. Хорошо ли, как придумал Будда, вести всех за эту черту, я тоже не знаю. Может быть, кто-то ещё не наелся? Это – даже скорей всего.

Но, на всякий случай, посоветовал бы самому себе и всякому подвернувшемуся держаться за своё место. А ещё – ведь не зря говорят – и это утвердилось почему-то в нашем сознании – что всему своё время.

Приехал...

Кстати, другую бутылку пива так и не купил. Пришёл домой. Уже – дома. Сейчас выпью рюмку водки и как следует закушу, т. е. то ли поужинаю (наконец-то), то ли позавтракаю.

Во как!* Даже водки не выпил – покурил и спать лёг. И правда, уже ложусь!

*Пьяное и самодовольное примечание: Если кого-то утомили мои частые самонаблюдения а la Розанов, извиняюсь. Если кто-то не знает, кто такой Розанов, – тем более, извиняюсь.

Ещё один опыт (На краю лужи)

"И болезнь, и отчаяние – это нередко тоже особые формы распущенности..."

Т.Манн

Мои родители поселились на краю города. С ними пришлось переехать и мне. Тогда это был действительно край. Когда я впервые вышел на прогулку на новом месте, то легко обнаружил этот край. После нашей пятиэтажки в одну сторону было ещё только два дома, а потом – пустырь. Там больше ничего существенного не было видно. Какая-то свалка, но не очень густая, жалкие останки низких разномастных заборов, пара-тройка крошечных, каким-то чудом склеенных из ржавых кусков жести, кубических домиков. Но и всё это разнообразие – в едва видимом отдалении. Ещё дальше, на горизонте, только серая полоса, которую можно было в равной степени принять и за лес и за грязные испарения, которые непосредственно над землёй были особенно густыми.

Это, несомненно, была Москва! Скоро и тут вырастут дома. Возможно, удивительная плоскость пустыря есть результат уже проведённой предварительной работы по расчистке и планированию. Но пока здесь ничего нет, и от этого бесплодного неоглядного поля веет гнилью и талой водой, ибо стоит ранняя весна, самое мучительное и самое прекрасное время года, – по крайней мере, так мне казалось в ранней юности.

Но я ещё ребёнок. Чувства во мне ещё только начинают пробуждаться. Хотя, нюхая этот аромат разложения, я что-то замечаю в себе, что-то ещё не ясное. Я пытаюсь соотнести это с чем-нибудь книжным или с тем, что слышал от родных и знакомых, но ничего не получается. То, что иные именовали любовью, почему-то всегда отдавало во мне напыщенной фальшью. Но должно же было существовать что-то такое, вокруг чего взрослые поднимали столько шума, этакого слащавого и нездорового. Они словно чего-то стеснялись или боялись.

Помню, меня всегда приводило в тяжёлое смущение это привычное сюсюканье между молодыми и не очень молодыми партнёрами по браку. Кого они хотели обмануть? Друг друга? Окружающих? Разговаривают ли они наедине между собой так же, как на людях? Зачем?

Вот этот последний вопрос больше всего меня волновал. Зачем вообще всё *это*, если от *этого* меня уже сейчас тошнит? Неужели *это* так привлекательно? Но ведь и водка горькая, и табак противен на вкус. Мало ли чего взрослые себе напридумывали! Но почему, почему они так любят привывать ко всяким гадостям?

Но если приверженность к алкоголю и табаку те же взрослые (впрочем, продолжая пить и курить) прилежно клеймят на каждом шагу, то *это самое*, т. е. так называемую *любовь*, наоборот воспевают. И всегда воспевали – насколько я мог проследить, пользуясь тогдашним своим детским обра-

зованием. Причём воспевали как-то по-идиотски. Всё время приплетали одно и то же. Каких-то соловьёв и роз – как будто нет других птиц и цветов. Всё время ходили вокруг да около, как какие-нибудь птицы из куриных, этакие петухи в брачном настроении. Да, это был ритуал! Но как я тогда мог понять ритуал?

Я страдал. Мир начинал мне казаться грязной лужей, разлагающимся смердящим трупом, который изо всех сил пытаются напрыскать духами и украсить цветами, за неимением настоящих, хоть пластмассовыми.

Вот такая-то лужа сейчас и начиналась прямо у моих ног. Она была похожа на море и звала и увлекала вдаль. И я пожалел, что не прихватил с собой и не наблюдаю поблизости ничего такого, из чего можно было бы смастерить подобие кораблика.

Лужа – странным, парадоксальным образом вдохновляла. Нужно смотреть грязи, смерти в лицо – это единственный выход. Нужно смотреть в лицо Любви. Какая бы она ни была. Я не знал, что увижу на самом деле. Я не кому не верил. Все ввали. Почему-то ввали. В этом я был уверен. Возможно, это был заговор молчания. Возможно, ещё существовали какие-то, скрываемые от детей, да и от простых смертных, книги, фильмы до 16-ти и даже до 18-ти, в которых всё проще, в которых есть правда, хоть немного правды, как бы она ни была страшна. Тогда я ещё имел глупость предполагать, что такие книги и фильмы действительно могут быть.

Но в луже, каковым мне представлялось обманывающее само себя человечество, отражалось небо. Оно сейчас, правда, было серым, но вот-вот могло появиться солнце. Должно же оно было когда-нибудь появиться!

И я представил, как в грязной чёрной луже будет отражаться светлое голубое небо с лёгкими облачками. Чем лужа чернее – там будет контрастнее.

Может быть, в этом дело? Может быть, Любовь – это небо? И в этом небе потонут все эти слюни, причмокивания, воздыхания... Я ещё понимал, когда умирают за любовь – я это видел, в фильмах. Мне было очень тягостно и жалко героев. Почему-то в фильмах, которые я видел, это, в основном, были какие-то экзотичные восточные люди. Более современные и понятные мне существа в кино умирали всё больше за другие идеалы – за революцию, за Родину – это было мне более понятно. За Родину – мне казалось – я и сейчас вполне готов был умереть. Но вот за Любовь? К кому? Разве что к маме ...

Но мне казалось странным умирать за любовь к маме. Обычно родители умирают за своих детей, они здесь уже прожили больше – это справедливо. Обратную ситуацию мне было трудно примерить на себя.

И потом, я уже прекрасно знал, что в той любви, открытия которой я ожидал, должно было содержаться нечто другое, то, что радикально отличало это предполагаемое чувство от моего отношения к матери. Это уже потом, гораздо позже, я

смог себе объяснить некоторые вспышки своих детских эмоций болезненной *влюблённостью* в мать. Тогда мне на ум ни в коем случае не приходило это слово.

Любовь была там, на дне, где скопление всевозможного ила и мусора, но вместо этой предполагаемой грязи я почему-то видел в луже небо, прекрасное пространство, пускай пока и серое. Пространство, в которое можно было лететь – как птица. Или – нырнуть, как рыбка. Но так – пожалуй, нос сломаешь...

Я уже тогда иронизировал – над самим собой. Я не позволял себе забываться, я был к себе очень требователен. И одновременно я был лиричен до полного самозабвения. Поскольку любовь ещё не сформировалась, не кристаллизировалась во мне, я ощущал её как раствор, как всеобщую потенцию воздуха, пространства, всего космоса. Любовь было также отвратительна и пугающа, как смерть. Но с другой стороны, познакомиться с любовью – ещё не значило наверняка умереть. В этом убеждали меня опять-таки уже полученные знания. Любовь опасна. Да. Но и притягательна. Тем более притягательна. До тошноты. Как меня разбирало любопытство насчёт смерти, так и насчёт любви. Только любви я боялся чуть меньше. Да и кто знает – может быть от неё не только запах невымытых половых органов – но и что-нибудь ещё? Я ведь тогда даже не мог представить, как это люди целуют друг друга в рот, смешивают свои слюны – я был страшно брезгливым. Но почему-то иногда это выглядело красивым

– тут отчасти я мог согласиться со взрослыми. Хотя за это своё уступничество временами себя ненавидел. Противно – и всё! Ладно, посмотрим, что там будет дальше. Ведь должно же что-то измениться. Стану же и я взрослым. Все становятся. По всей видимости.

Я стоял над лужей, медитируя на тему любви и конечно не подозревал, что медитирую. Налетал лёгкий ветер, вызывал лёгкую рябь. И в правду появилось солнце, по воде поплыли облака. Я улыбался и щурился, и мне казалось, что лимонно-жёлтые искры колют мне уголки глаз, как остроконечные осколки зеркала.

Наверное, я всё-таки промочил ноги. Я вообще был хворый. Как меня ни кутали, я ухитрялся простужаться и болеть. То у меня подозревали осложнение на сердце, то на почки. При такой болезненности невольно задумаешься о смерти, да и о любви – жить ведь недолго, надо всё успеть, следует торопиться.

Помню, что горло у меня было замотано, припахивающем нафталином, голубым шарфом. Я выдыхал в этот шарф и оттого кружок ткани перед ртом сделался сырым и почти слизистым. Я прикашливал и хлюпал носом – платок я забыл дома, а сморкаться при помощи пальцев ещё не очень умел. Я завидовал мальчишкам, которые умели втягивать сопли в рот и отхаркивать их могучими порциями – я умел плевать только слюной, понемножку и недалеко. Впрочем, может быть, тогда я уже успел научиться этому нелёгкому мастер-

ству. Солёные сопли во рту – это тоже отвратительно, но вот можно же преодолеть брезгливость и совершить победу над собой для того, чтобы потом победительно плюнуть! Может быть, подобным образом будет обстоять дело и с любовью?

Я вообще был послушным ребёнком. Может быть, слишком послушным, может быть, зря – в те мои годы. Я знал, что мне пора идти домой. Не потому, что там меня действительно кто-то ждёт, а потому, что от долгого гуляния я рискую простыть и опять валяться с температурой дома, вместо того, чтобы ходить в школу и "получать знания", – так говорила мама. Она разумеется преувеличивала – взрослым во всём присущ излишний пафос, но кое-какие знания я всё-таки действительно в школе получал. Например, нельзя было отрицать, что я научился в школе по-письменному писать – печатными буквами я и до того умел. Все остальные достижения, впрочем, были сомнительны. Ну, научился я, скажем, считать несколько лучше. Но, во-первых, так ли уж мне это было необходимо? А во-вторых, можно ли утверждать, что я не сумел бы достигнуть того же самого и дома, пользуясь учебниками и наводкой родителей? Несомненно, что в школе меня заставили читать. До неё я читать не то, чтобы не умел, но не любил и читал очень плохо – как-то ничто меня уж до такой степени ни привлекало, чтобы так напрягаться – да и кого-нибудь взрослого можно было заставить читать вслух и послушать – впрочем, и тут мне больше нравились рассказы из головы, без бумажки. Писать я любил. А читать?

Грамота на то и есть, чтобы вывеску прочесть! Вывески я и до школы умел читать вполне удовлетворительно.

Я попрощался с лужей. При всей моей показной нелюбви к показным сантиментам, сам я был очень сентиментален. За неимением друзей, я придумывал их себе на каждом шагу, хотя бы и в лице грязной лужи. Я был склонен наделять характером и очеловечивать любые объекты, мало-мальски обратившие на себя моё внимание, и не видел в этом ничего особенного.

– Прощай, лужа! – сказал я, хотя, казалось, ничто не мешало мне вернуться к этой луже уже завтра. Я отошёл от лужи на несколько шагов и задумался. Почему я так сказал? Как будто прощаюсь навсегда. Мне стало страшно. Может быть, я действительно вернусь домой, заболелю и умру? Вот значит и правда я видел эту лужу в последний раз. Первый и последний. «Но нет, – утешил я сам себя. – Просто завтра я изменюсь, проснусь уже другой. И лужа изменится, может, например, высохнуть. Так что встретятся – если встретятся – уже другие двое. Всё ведь изменяется. Да, всё меняется – и это хорошо».

Так я сам себя уговорил, по обыкновению, и уже дошёл до угла ближайшего дома, первого на краю. Почему-то было пустынно. Наверное, это был рабочий день, вообще всё это было похоже на утро. Очень вероятно, что я тогда уже болел и не ходил в школу, но мог позволить себе недалёкую прогулку. В случае чего, всегда было готово оправдание: врачи

ведь велят дышать свежим воздухом. И больному – не век же томиться дома, вариться в одном компоте со своими собственными микробами... К тому же весна. Пускай не очень тепло, но...

Словом, у меня было тысяча причин. Чтобы покинуть дом.

Здесь, между этих пятиэтажек, всё было очень убого. То ли их недавно построили, то ли не удосужились хоть как-то благоустроить дворы. Впрочем, и дворов не было, были только промежутки между зданиями. И дороги-то не все были асфальтированы, а там где был асфальт – всё больше выбоины, а в них лужи, а в лужах небо – это, впрочем, меня устраивало.

Рядом можно было увидеть только одно дерево, на самом краю, возле угла, крайнего перед необъятным пустырём, дома. Зато это была сосна. Я никогда раньше не видел сосен внутри Москвы. Только где-нибудь в лесу или в поле – возле деревни. Я даже не был уверен, растут ли сосны в городских парках.

А тут... Для меня это выглядело как чудо. И хотя сосна была небольшая и довольно чахлая – она была самая настоящая. Я снял мокрую рукавицу и потрогал ладонью ствол. Я вспомнил, как шуршит, отпадая оранжевыми плёночками, сосновая кора. К коже, в самом центре ладони пристала толика смолы. Я как зачарованный рассматривал эти блестящие капельки, затопившие о чём-то говорящие кожные ли-

нии. Я зачем-то даже намазал этой смолою кончик носа. Наверное для того, чтобы почувствовать запах. Теперь нос прилипал к шарфу, но это меня не злило, а смешило. Я не стал сдвигать липкое место в бок.

Созерцание пустых промежутков между домами стало вызывать у меня тоску. Я ещё раз оглянулся на сосну, в кроне которой шелестела, забытая ещё Нового Года, ставшая почти бесцветной, убогая мишура. На глазах у меня выступили слёзы. Я заторопился домой. Почему-то одинокое дерево напоминало мне памятник на кладбище. И почему-то я подумал, что этот памятник мог бы стоять на могиле моей Любви. Это уж было чересчур, до приторности романтично, да и глупо, весьма глупо...

Дома я пытался смотреть телевизор и читать книгу, но к вечеру окончательно понял, что заболел, и понял, что я этого ждал – может быть, оттого и плакал?

У меня очень болело горло – никакой шарф не помог. Но я всё ещё продолжал ощущать лёгкий хвойный аромат, и кончик носа был липкий – или я себе всё это уже только воображал?

Когда умирает маленький человек – всё это вызывает не просто жалость, а какое-то органическое слюне– и соплетение. вспомните хотя бы «Гуттаперчевого мальчика» или девочку из «Детей Подземелья».

Я наверно тогда тоже знал эти примеры и мне было себя жалко, жалко до отвращения. Мне отвратительны были соб-

ственные слёзы, которые я не мог остановить. Они лились сами собой. Они выливались из меня, как жизнь.

Я лежал около окна, и мать читала мне книгу. Какую-то сказку с картинками – не по возрасту. Я сам её попросил. Для ещё большей жалостливости. Я всё любил доводить до абсурда. Свет резал мне глаза, даже слабый свет от настольной лампы. Неужели никогда я не увижу больше света? Даже подняться и посмотреть в окно мне станет трудно. Может статься, я умру уже завтра...

Приходил врач, смотрел мне горло. Кажется, меня рвало. Я видел собственную мутную кровь в раковине. Кажется, я уже не мог ходить своими ногами – вместо них была какая-то вата. Мне ставили горчичники. Зачем? Скорее всего, у меня была скарлатина или дифтерит. Я почти не мог дышать. Кто же – чёрт возьми! – кто отсосёт у меня проклятые дифтеритные плёнки!? Пусть даже и жертвуя своей жизнью. Ведь я от этом читал в каком-то, впрочем, скучном во всех остальных отношениях, рассказе.

Мать не станет, она побрезгует. Пусть лучше я умираю. У нас даже чашки разные. Теперь – тем более. Может, попросить отца? Но его нет, ушёл куда-то. А я уже почти не могу говорить. Когда придёт – уж точно не смогу попросить его ни о чём. Разве что – глазами – но вряд ли он поймёт.

В положении умирающего – всё же, что не говори – есть определённая сладость. Чувствуешь себя в центре мира, нет, чувствуешь себя центром мира, исчезающего, истаивающего

на глазах.

Взоры родителей обращены на тебя как на икону. И ты можешь гордиться, ты имеешь полное право гордиться – ведь это ты умираешь, а не они. Ты едешь первый, ты идёшь впереди – как Гайдар.

Но больно долго смотреть на блестящие зрачки мать. Я закрываю глаза. Может быть – навсегда. Может быть, я сплю. Может быть... Мне что-то снится. Может быть, и когда умираешь, что-то снится – во всяком случае, перед смертью, когда ещё не до конца погрузился в неё. Вот я представляю себе, как падаю в колодец. Падаю, падаю... Когда же я долечу до дна? Колодец гулкий, у него сырые бетонные стены; где-то там, далеко внизу, чёрная вода, она блестит, как чёрный лак. Интересно, какими глазами я её вижу? Откуда я взял эти глаза? Я засыпаю.

Вот так я умирал, ещё не зная никакой любви, кроме любви к матери и – по убывающей – к другим родным. А за окном – за изрядно законопаченным окном, между рамами которого лежала вата, а на стекле ещё оставались следы приклеенных когда-то прежними хозяевами бумажных снежинок – продолжалась весна. Из-под окна, от батареи, веяло сухим жаром, и этот жар был для меня равноценен дыханию смерти. Перед закрытыми глазами было красно, и я мог вообразить себе ад. Но с чего это было мне попадать туда? Вообще ад мне тогда казался забавным – какие-то котлы, черти,

кипящие в котлах грешники. Особенно интересно – насколько я помню, в Русском Музее – было рассматривать иконы с изображением ада. У каждого чёрта – своё имя, которое тут же написано. Я всё пытался сосчитать, сколько же там их в аду должно было числиться, этих чертей. Был бес с именем «Болезнь», был с именем «Смерть», был «Сатана» – внешне все мало чем друг от друга отличались. Меня мучила мысль о несоответствии значимости хотя бы этих трёх наименованных понятий, я уж не говорю о совершенно не понятном мне тогда «Блуде» – не помню даже, был ли там такой или я его только сейчас предполагаю.

Болезнь – конечно – вещь неприятная, но от неё далеко не всегда умирают. Смерть – это ведь куда более всеобъемлюще, это всё, конец. Как можно частную маленькую болезнь изображать рядом с огромной всеобщей смертью одними красками? Это вызывало у меня недоумение. Неужели эти иконописцы были такие дураки? А «Сатана» – он же вообще самый главный из чертей, он, наверное, должен быть даже главнее «Смерти». Хотя и это вызывало у меня сомнения. Что такое смерть я себе вполне мог представить. Что такое сатана, который главнее смерти – нет. Ну были бы они хоть по размеру все очень разные – а то – черти как черти... Скушно, в конце концов. Неужели – таков ад? Не хотел бы я туда попасть.

Кажется пока я болел, выпадал снег. Потом опять растаял. За окном пели какие-то птички, наверное воробьи. Их почти

не было слышно, потому что у меня стучало в висках. Понимал ли я, что умираю? Понимал ли на самом деле? Если бы я заболел теперь, понимал бы я хоть на чуть-чуть больше? Мне кажется, тогда я был ближе к смерти, чем теперь. Смерть представлялась мне более понятной и убедительной. Почему я тогда не умер? Может быть, это было неправильно? Неужели – Господь оставил меня на земле только для того, чтобы я познал Любовь? Ту самую Любовь, намёк на которую я ухитрился разглядеть в грязной луже.

Интерлюдия (У моря)

"Всякий раз, когда я собираюсь сделать такое движение, у меня темнеет в глазах..."

С.Кьеркегор

И дальше всё развивалось с потрясающей динамикой, с динамикой, не щадящей ни моей души, ни моего сознания – если только это суть разные вещи.

То, что происходило, невозможно описать, как невозможно описать море. Т.е. море можно описывать сколько угодно. Но я ведь не Айвазовский.

Попробуем нырнуть в глубину – авось и вынырнем. Или хоть увидим что-нибудь, захлёбываясь, в предсмертном видении. Или наплаваемся для начала вдоволь на уютной лодчонке, чтобы в результате всё-таки утонуть. Ибо когда ви-

дишь перед собой море, и слышишь его шум и ощущаешь запах – ты должен расстаться с надеждой. Отныне – всё только в руках Творца, в ты – слаб и одинок как щепка. Отдай же себя волнам. Отдай – если уже не можешь оставаться на берегу.

Армия

"Духовная битва так же свирепа, как сражения армий..."
А.Рембо

Я опять выныриваю в некие военные времена. Нас, мальчиков строят в каком-то школьном спортивном зале. По-моему это ещё не армия, а... забыл как называется. Да, кажется, боевая подготовка.

Сперва нас одели во вполне современные камуфляжные костюмы, и мы с непривычки всё никак не могли построиться по росту. Тут было согнано довольно много народа из разных школ. А у всякого ведь свои амбиции – внутри собственного коллектива и то непросто приспособиться, а тут. Кто-то считает, что он выше, потому что сильнее, другой – потому что умнее, кто-то не уверен, кто-то – просто упрямый идиот... В общем, все толкаются локтями и плечами – того гляди подерутся. Мне не то, чтобы так уж хочется стоять первым – я отнюдь не высок и не люблю бросаться в глаза начальникам. Однако, я не хочу быть и последним – ведь не

я, в конце концов, самый маленький. Тут, смотрите, из других школ полным-полно коротышек!..

Нас так и не успели правильно построить, потому что пришёл приказ переодеваться. Оказалось, что нам не полагается солдатская одежда, а полагается какая-то совершенно другая, какую мы в глаза не видели, специально для смотра. Мы, мол, ещё не защитники Родины, а только собираемся ими стать – стало быть, должны отличаться и по форме.

Опять долгие перемещения по неуютным широким коридорам. Толчки в спину, отдавленные ноги... Никто не понимает куда. Никто толком не говорит. Все бредут как бараны. А пастух ведёт себя так, словно обкурился травы.

Наконец, несколько раз бесполезно сменив направление, мы оказываемся на каком-то большом складе. Здесь пахнет мылом и стиральным порошком, люминесцентные лампы неприятно потрескивают. Я всё время теряю из виду какие-нибудь хоть отчасти знакомые спины. Любой же из чужаков может оказаться врагом.

Некий прапорщик, может быть, офицер, направляет нас, взявши за плечи, влево, впрочем, довольно нежно. До этого мы стояли на месте в прострации и смотрели в потолок, приоткрыв слюнявые рты.

Мы идём влево, пока не упираемся в тупик. На стеллажах лежат иссера-белые тряпки – очевидно, подразумевается постельное бельё.

Тётя с глазами, изрядно замутнёнными катарактой,

появляется нам навстречу. Вернее, мы замечаем её перед собой, наконец перенастроив устремлённые в даль зрачки.

– Что брать? – спрашивает кто-то.

– А зачем вас прислали? – спрашивает шамкающая старушка.

Мы переглядываемся. Ещё несколько минут назад предполагалась какая-то амуниция. Мы даже не заметили, как нас опять раздели – стоим в одних трусах и носках на холодном полу.

– Нам бы одеться, – говорит кто-то.

– А спать вы как будете? – спрашивает бабушка.

Мы пожимаем плечами, опять переглядываясь. Плечи у многих уже покрылись мурашками.

– Берите наматрасники, – говорит старушка.

Мы хотим спросить, что это, но никто не желает показывать некомпетентность.

– Где они? – спрашивает кто-то.

– Вон там, – указывает бабка.

Мы лезем на стеллажи и снимаем оттуда несколько стопок «наматрасников».

– А для чего они? – не выдерживает кто-то.

– Чтоб надевать на матрасы, – просто объясняет кладовщица.

Я выбираю себе парочку наименее грязных, в зелёную продольную полоску. Хотя именно они оказываются самыми тонкими, у остальных – ткань поплотнее.

– А сколько брать? – интересуется кто-то.

– Берите больше. Берите штук по десять, – предлагает щедрая старушка.

Я задумываюсь: «Сколько это дней и на скольких матра-сах мы собираемся здесь ночевать?»

– Берите, берите – все по десять, – настаивает бабка как-то подозрительно развеселилась – даже подбородок, из кото-рого торчит несколько жёлтых волосков, стал подёргиваться.

"По-моему она не в своём уме", – думаю я, но всё-таки беру свои наматрасники – на всякий случай...

Тут раздаётся приказ следовать в противоположном на-правлении. Бабка прощается в нами уже как с родными – только что «Прощание Славянки» не исполняет. Неторопли-вым толкающимся стадом бредём через комнаты, уставлен-ные стеллажами.

– Одеваться! – раздаётся команда.

Интересно: что мы до этого делали?

Навстречу нам гуськом, вернее колонной по двое, идут де-вочки, куда более организованные, чем мы. Их уже одели, они, по всей видимости, будут изображать барабанщиц. Это очень сексуально. Костюмы – тёмно-бордовые, они в шорти-ках и мягких сапожках, на них короткие, пока не застёгну-тые жакеты, на головах – круглые шапочки, под жакетами – белые блузки.

– Вперёд! – слышна безжалостная команда, и вихрь про-носит нас мимо девочек.

– Одеваться!!!

– Да во что? Где? – раздаются ропщущие голоса.

– Стоять!!!

Стоим и видим перед собой груды обмундирования, сваленные на гимнастических скамейках. Оно – как ни странно – такого же, как у девочек, бордового цвета. Каждый думает про себя: «Не буду ли я похож в этом на педика?» – но не никто высказывается, потому что на болтливого все покажут пальцем.

– А зачем тогда наматрасники? – спрашивает кто-то.

Все гогочут...

Теперь это уже точно армия. Наш отряд, вернее два отряда, а может быть, и целый батальон, перебрасывают в стратегических целях с юго-запада на северо-восток. Трудно догадаться куда, но похоже, куда-то на Северный Урал, если не в Мангазею.

С нами на одном из этапов переезжает и прикрепленное, так называемое подшефное, учебное учреждение, ПТУ, где почти все девушки, не то швеи, не то плиточницы, или и то и другое.

Отчего мы не едем к цели прямой наводкой, а должны перемещаться из городка в городок в течение нескольких месяцев – это надо спросить у начальства. Но оно, непосредственное начальство, если вообще снизойдёт ответить, то укажет на начальство высшее, т.е. относительно нас гораздо более

опосредованное.

Однако, нам не на что роптать. Мы уже привыкли жить в походном порядке, скоростными темпами обживаться почти где угодно и с лёгким сердцем бросать обжитые места. Нам незачем думать, куда мы движемся – нас ведут. Наслаждайся же, ведомый, ощущением внутренней свободы. Никто и ничто не требует от тебя принятия решений, наоборот все заинтересованы в твоей внутренней пассивности. Стань бараном и щипли траву, думай только о траве под ногами.

В одном из таких бизуральских городов мы задержались сравнительно долго. Девки из училища были с нами, так что командный состав гулял напропалую. Мы, солдаты, тоже пробовали – но кому-то не позволяла субординация, кому-то комплексы неполноценности. Мне к тому же эти девки не очень нравились.

Помню, как мы сидели в давно не используемом местными жителями клубе на грубых скамейках, поднимающихся амфитеатром к кинорубке. Тяжёлые портьеры перед сценой намекали на то, что здесь даже, возможно, когда-то ставились спектакли.

На верхних скамейках восседали начальники с дамами, а пониже мы, и с нами ещё только один лейтенант. Волею судеб это был один мой бывший одноклассник. Только он попал сюда уже после института и в офицерском чине. Я же успел дослужиться лишь до всеми презираемого ефрейтора.

Разность в званиях не позволяла нам полноценно общать-

ся на людях. Мы быстро к этому привыкли, и возникло некоторое отчуждение. Хотя в душе мы, разумеется, продолжали друг другу сочувствовать. В конце концов, мы оба были москвичи и из интеллигентных семей, нам все или почти все здесь представлялись быдлом.

Вроде мы выпивали, даже нам, нижним чинам перепадало. То ли был какой праздник, то ли просто было много самогона. В этот вечер в нашей военной части царила стихийная демократия.

Общество в целом было настроено довольно благодушно. Никого не били, не заставляли отжиматься или мотать круги вокруг корпуса. Опыянение начальственного состава пацачаяния не носило агрессивного характера. Может быть, женское общество смягчало нравы? Впрочем, одна из дам напротив действовала в диссонанс преобладающему настроению. А именно, вдруг ни с того ни с сего, начала отчитывать моего друга, пусть и не совсем друга, но человека мне здесь, несомненно, куда более близкого, чем остальные, того самого лейтенанта, который почему-то сидел с нами, рядовыми, а не выше по скамейкам.

Эта стерва его откровенно и вызывающе срамила. Офицер же, который сидел рядом с ней, приобняв её за плечи, этакий бравый старший лейтенант, уже так назююкался, что только, оттопырив слюнявую нижнюю губу, кивал при каждом её слове, наверняка уже ни хрена не понимая. Но его абсолютно свинячья морда вызывала у ораторши только умиление,

она изредка поворачивала к нему лицо и чмокала его в солевой нос толстыми губами, словно набираясь уверенности и силы, чтобы произнести следующую отвратительную фразу.

Я сидел как на гвоздях. Больше всего в эти минуты мне хотелось схватить эту мымру за ноги и постучать её головой об скамейку. Какое право имеет она так издеваться над человеком, и кончика пальца которого не стоит?!

А он – почему молчит? Это мне' не позволяет субординация – лезть разбираться с офицерскими сучками. Он же – должен за себя постоять!

А она всё говорит, говорит, говорит... И одно слово падает больнее другого даже на мою голову, даже солдатик рядом со мной, ещё вчера почти не понимавший по-русски, ёжится. Каково же ему, лейтенанту?!

В общем-то, все её глумливые речи сводятся к тому, что ниже сидящий лейтенант – вовсе не лейтенант, и даже не тянет на высокое имя военного, и вообще – не мужик, а тряпка, ничтожество, чмо и прочая и прочая. Что, кстати, и доказывается тем, что ей он сейчас не возражает и сидит среди рядовых, т.е. среди парий, среди чёрной кости, среди грязных рабов. Но им то ещё простительно, у них ещё есть исчезающе слабая надежда выслужиться, а он, почему туда спустился он, по влечению сердца? – значит его и в самом деле тянет в лужу, как свинью?!!

Разумеется, она не говорила так красиво. Вряд ли эта красавица умела хотя бы относительно грамотно писать, а чита-

ла наверняка чуть лучше, чем по складам. Но апломба и задиристости в ней было сколько угодно. Хотя я раньше в ней этого не примечал. Но сколько раз я её видел? Раза два. Вот сейчас и проявилась, когда выпила. Это со многими бывает. Я вот сейчас ещё выпью – и тоже могу проявиться – не дай Бог.

Обижаемый лейтенант сидел уставясь в пол и вёл себя как последний стоик. То ли в нём сильны были мазохистские тенденции, то ли он просто оглох от очередной дозы спиртного. Встал бы да набил ей рожу, а старшего лейтенанта вызвал бы на дуэль в конце концов – он ведь даже и не приходится ему начальником.

Что вообще тут происходит? Слышит ли это кто-нибудь кроме меня? Отчего мне так больно? Неужели больно мне одному? Моему раскосенькому товарищу, сидящему справа, тоже больно – но, очевидно, он улавливает только стегающую кнутом интонацию...

– Встать!!! – раздаётся нечеловеческий вопль.

Мы вскакиваем и видим перед собой совершенно безумного полковника, нашего самого большого командира.

«Ну всё, п.....», – думает каждый.

– Пожар! А вы тут... – полковник не находит слов в клокочущем, подобно жерлу вулкана, горле.

– Тушить! Немедленно. Снаряды...

Даже омерзительная девка заткнулась. Даже её невменяемый хахаль, которого она приводила в пример в качестве

настоящего мужика, протрезвел.

– Огнетушители! – орёт кто-то.

Мы куда-то бежим, смотря под ноги, а вернее на ноги, на странно подпрыгивающие мыски собственных сапог.

В результате мы оказываемся с пожаром один на один, точнее вдвоём, с тем самым нацменом, который сжимался в три погибели, страдая со мной рядом.

За задней стеной аккумуляторной будки штабелями сложены снаряды. Впрочем, может быть, это не снаряды, а баллоны с каким-то газом. Но редька хрена не намного слаще.

Кто-то жёг неподалёку украденную со стройки паклю, грелся у костра. Мы, отдыхая в клубе, всё же относились к привилегированному меньшинству. Кто-то ведь должен стоять в карауле, а холодно всем. Ветер перенёс горящую паклю сюда, поближе к опасным объектам. Сейчас она горит у самых задних этих железных цилиндров – у снарядов там, кажется, капсюли. Вот-вот будет взрыв.

Нас все покинули. И команды смолкли. Все куда-то разбежались. И лейтенант, за которого я так болел, – не исключение. Но я не в обиде. Только потрескивает огонёк в тлеющей массе, облепившей взрывоопасные предметы.

Тушить пожар решительно нечем. Мы стоим и смотрим на приближающуюся смерть. Время замедляется. Мы парализованы. Я – чуть впереди, чувствительный солдатик – чуть сзади. На нас – заскорюзлые бушлаты цвета хаки и протёртые местами рукавицы.

– Ложись! – хочу я сказать. Но не успеваю, не успеваю даже понять, что мы не успеем, даже обернуться, но знаю, что ещё одна живая, пока живая, душа за спиной.

Горит подозрительно долго и не взрывается. Я забываю, что подо мной существуют ноги. Я должен бы куда-то сдвинуться, но не бегу. Возникает идиотская мысль – попробовать потушить возгорание руками, рукавицами – они почти из той же пакли, но – вдруг? – не затлеют.

Мы, похоже, думаем с моим напарником синхронно, хотя и на разных языках. Это какой-то гипноз. Мы просто стоим и ничего не делаем, и смотрим, как догорает. Даже дыхание в горле застряло. Неужели – пронесёт?

Стоим, стоим, стоим. Может и не совсем стоим, но так пристально и зачарованно смотрим, что кажется – стоим.

Пакля-то уже догорела. Что же это ещё мерцает на воронёном железе? Отблески заката. Закат догорает. Но уже нагрелось, может ещё бабахнуть. Не бабахает. Мы стоим и ждём – авось. Раз уж нам это выпало.

Гнев

"Безглавое тело я долго топтал..."

А.С.Пушкин

Я вернулся домой и услышал музыку. Это была очень знакомая музыка. И я никак не мог услышать её на улице. Раз-

ве что из своего окна. Но я ещё даже не подошёл к своему подъезду. Музыка доносилась из глубины прохода между домами. По мокрому чёрному асфальту поздней весны мне навстречу ковылял вор.

Но я не увидел его, слух меня обманул. Теперь песня, моя песня, та которую не мог ещё слышать никто, раздавалась уже из совершенно другого угла. Как он ухитрился проскочить?

Значит, у меня ограбили квартиру. В руках у вора магнитола, в которой была кассета с моей песней. Я почувствовал, где он должен быть. Наверняка под козырьком, на остановке, где теперь из-за ремонта не останавливаются трамваи. Там собирается всяческая грязная публика, выпивают.

Я угадал. Вор сидел там, рыжий, без пальца на руке. Чем-то он был мне очень знаком – скорее всего, просто неоднократно встречал его в окрестностях – какой-то из местных. Музыка моего друга уже не звучала. А магнитола стояла у вора на коленях. На почтительном расстоянии от него на той же скамейке сидел ещё один алкаш, более старый и грязный. Они только что выпили и закусили каким-то дерьмом.

Вор всё понял и не пытался бежать. Он сидел, опустив глаза. Я без труда вырвал у него из рук магнитола, отставил её на землю подальше – пусть даже украдут, если ещё кому-нибудь надо – реклама.

Я начал бить вора, сначала кулаками, несильно. Он не убежал. У меня уже давно были отбиты руки, костяшки пальцев.

Я подумал, что мне больно, а ему недостаточно. Он смиренно принимал побои, не смея даже прикрываться руками. Оба уха у него уже покраснели – у рыжих белая и очень чувствительная кожа.

Я взял эмалированную кружечку, из которой они выпивали. Собутыльник вора сидел, делая вид, будто всё это его не касается, он был инвалид, рядом притулилась к скамейке убогая палочка. Я стал бить вора белой эмалированной кружкой по голове, я старался не отбить и не прищемить свои многострадальные пальцы.

Вор застонал, от удара к удару начал раздаваться заметный хруст. Он попытался встать, я стал наносить удары с бо'льшим ожесточением, то справа, то слева – наотмашь. Я подумал, что могу проломить ему висок, но это меня не остановило – я только стал быть ниже, по челюсти. На губах у вора выступила кровь, он крупно задрожал и упал, как бы осел. Я бросил кружку, от которой затекла рука, и пошёл, потом вспомнил о магнитоле и забрал её. Дед сидел на краю скамейки, отвернувшись в сторону и закрыв голову руками. Я плюнул и ещё раз напоследок пнул ногой рыжего вора, куда-то в брюхо.

У меня были страшно напряжены виски. Быть может, оттого, что, производя избиение, я всё время сжимал зубы. Челюсти у меня онемели и начинали болеть, в голове звенело. Тупая ненависть переходила в ватную усталость. В глазах темнело гораздо быстрее, чем на улице. Я испугался, что сам

тут же повалюсь мешком и поспешил домой. Шёл как пьяный, покачиваясь, как давешний рыжий вор, – в руке магнитола – может музыку завести? Жив ли он?

Вот и подъезд. Руки никак не могут набрать код. А что? меня ждёт там, дома? Опустошённая квартира? Унесли ведь наверное далеко не одну магнитола. Интересно, уцелели деньги в заначке? Страшно идти домой... А вдруг они всё ещё там? Сначала вызвать милицию? А рыжий?..

Ноги не идут, но я всё-таки иду. Иду домой. Будь что будет. Может, зря я его? Вот сейчас и получу, по грехам своим... Может, человека убил, кружкой...

Высоцкий говорил, что вор должен сидеть в тюрьме, но он же не говорил, что нужно кружкой убивать. Да уж...

Темнота в глазах, ох, темнота. Или это свет в подъезде вырубил? И лифт не работает... Ох, темно...

Раздражение

"Человек всегда должен вести себя так, будто в воинской доблести ему нет равных..."

Я. Цунэтомо

Меня выбил из сна звонок. Некий мой хороший друг просил, чтобы я помог ему в одном деле. Требовалась силовая поддержка.

Он, мой друг, затевал какое-то своё дело – чего я, впро-

чем, от него никак не ожидал – и уже арендовал под контору помещение, самое в таких случаях обычное, т.е. подвал в жилом доме.

Но бывшие владельцы, хотя их время уже вышло, не желали покидать подвал добровольно. Тут он и обратился ко мне, так как не хотел доводить до судебных приставов, которые наверняка запросят немалые деньги.

Что' за дело собирается открывать мой друг, я представлял только в самых общих чертах. Да меня это и не интересовало. Разве что, он мне сперва предложит заработать, а потом объяснит. Что' за люди сейчас сидели в подвале, я не мог даже предположить. Но мне было всё равно – я был раздражён и готов бить морды кому угодно. Конечно, это было очень опрометчиво – мало ли на кого нарвёшься – а вдруг какие-нибудь бандюки? А я один и без оружия. Но, поленившись включать трусливый разум, я решил уповать на счастливую звезду. Не очень ясное предчувствие убеждало меня, что всё в очередной раз сойдёт с рук моих окровавленных.

Да и некогда было звонить кому-нибудь, собирать компанию. Да и не время – все на работе. А вот клиентов надо застать, тёпленьких. Злил меня, правда, сам друг, который выудил меня из тёплого сна, чтобы я шёл с кем-то воевать по противным холодным улицам. Но я решил перевести стрелки злобы на незнакомцев, который окопались в «нашем» подвале.

Ехать было недалеко, мы встретились в метро. Он ещё не

успел достаточно разбогатеть, чтобы глотать выхлопные газы в автомобильных пробках.

– Веди, – сказал я.

Он даже испугался, что я настроен так решительно.

– Ты их только не очень-то, – сказал друг, не без тени восхищения наблюдая мою хищническую физиономию.

Душонка у меня тем временем сползала всё ниже по торсу, через чресла к пяткам.

Но я не подавал виду, разве что побледнел. Самураи в таких случаях рекомендовали употреблять румяна, но румян с собой не оказалось.

Чтобы не растерять решимость, я двигался почти бегом и выражался отрывистыми криками.

Когда мы добрались до подвальной двери, я уже вспотел и был похож на охотничью собаку, приблизившуюся к крупной и опасной добыче. Дружок сзади тоже изрядно стучал сердцем, он готовил свои не основательные, но при этом довольно-таки храбрые кулаки.

Удары, которыми я наградил дверь, были бы под стать какому-нибудь морскому разбойнику. Что' мне до звонков?

– Кто там? – раздался недовольный голос.

Кто-то посмотрел в глазок, и дверь отворилась.

На пороге стояло то ещё чудовище – на голову выше и в полтора раза шире меня, с бритой башкой и кабанячей шеей.

" Ну я попал!" – подумал я. Дружок сзади заёрзал, к такому приёму он тоже, видимо, не был готов.

"Говорила же тебе мама, что когда-нибудь ты нарвёшься", – говорил я тем временем в душе своей. Впрочем, мама мне никогда такого не говорила.

Отступить поздно. Я выставил ногу, чтобы чувак, чего доброго, не захлопнул дверь.

– Что вам надо? – грубовато спросил он. Однако в его голосе я таки заметил некоторую неуверенность – это меня чуть-чуть успокоило.

– Ваш начальник нам нужен, – сказал я.

Громила отступил на шаг назад.

– Вы уверены? – неуверенно спросил он.

"Не уверен – не обгоняй", – хотел сказать я, но не сказал, поскольку вовремя сообразил, насколько бы это могло прозвучать пошло и банально.

Я просто пошёл вперёд, мой друг за мной. Я почти насупил здоровяку на ногу – наверняка на меньше сорок шестого размера.

– Подождите, – сказал он, опешив от нашей наглости. Он стал звать кого-то по именам. После непродолжительных переговоров с невидимыми личностями в глубине подвала, он предложил нам войти.

Не говоря спасибо и не вытирая ноги, даже не сняв шляпы и перчаток, я ринулся вперёд.

Мы спустились по крутым ступенькам, и свет неприятно полоснул лицо.

– Ну и? – спросил я, едва успев сфокусировать зрение на

двух невинного вида существах, копошащихся возле заставленного ящиками стола.

– Вы насчёт освобождения помещения? – догадался один из них.

– Точно, – сказал я и начал узнавать своего нечаянного собеседника.

Он, похоже, тоже начал меня узнавать.

Это был один мой старый, хотя не сказать, чтобы очень хороший знакомый. Когда-то он закончил ГИТИЗ, но известным актёром не стал, хотя многие ему это прочили. Вот теперь, значит, занимается бизнесом. Судя по тому, что я вижу, каким-то пиратством.

– Пиратствуем, значит? – спросил я.

– Помаленьку, – ответил он.

– А как же театральная жизнь?

– Издаётся, – улыбнулся он.

– Я что-то давно в киосках не видел, – воспринял я серьёзно.

– Может, чайку попьём? – предложил мой несостоявшийся враг.

Мы уже окончательно поняли, что узнали друг друга. Мой друг, соискатель офиса, по слабости зрения не все нюансы улавливал, а потому встрёпанно озирался по углам, держа руки чуть ли не в боксёрской позиции. Хряковидный же охранник сопел за нашими спинами, как живая гора. "Да выкинуть бы их на хер?" – как бы говорил он всем своим видом,

по-собачьи, из-под надбровных дуг, поглядывая на бывшего актёра.

– Ты, что ли, тут главный?

– Ну я, – признался актёр.

– И слава Богу, – выдохнул я. – Только убери этого.

Актёр сделал подобающий жест рукой. Надо же – это чудовище его слушается!

– Пла'тите что ли ему хорошо? – спросил я, присаживаясь и снимая шляпу. Мне было жарко.

Топтун уже не мог слышать меня, так как обиженно удалился на свой пост, в коморку возле дверей.

Актёр неопределённо покивал головой туда-сюда – мол, не то, чтобы очень...

Друг мой, последовав моему примеру, сел рядом.

Поблизости был различим некий персонаж, которому я бы отдал роль заместителя актёра, худощавый и невысокий мужчина неопределённого возраста, который, впрочем, загадочно молчал. Лицо такое, как будто чем-то подавился. Но может он всегда такой?

Присмотревшись, я заметил в комнате, обширной и отличающейся темноватыми углами, ещё одно живое существо. Оно, впрочем, явной опасности не представляло. Это было женщина и опять-таки, как я при ближайшем рассмотрении убедился, – моя знакомая.

– Привет!

– Привет! – с готовностью откликнулась она.

– Ты здесь откуда?

– Да вот зашли диски посмотреть. А ты?

– А я, если честно, зашёл попросить этих господ поскорее убраться отсюда. Ничего? Я не ущемлю твоих интересов?

Она улыбнулась. Довольно милая улыбка.

Актёр захлопотал с чаем. Заместитель, отвернувшись, что-то там колдовал над дисками, перекладывая их из одной картонной коробки в другую.

– Что пишите? – для приятности разговора поинтересовался я.

– Да так, всякое старьё, – отмахнулся актёр.

– И что, хорошо продаётся?

Он не ответил, только пожал плечами. Но и по его играющей спине, я оценил сколько ещё в нём осталось нерас траченного театрального. И то правда – актёры-неудачники склонны играть в обычной жизни. Часто они становятся, просто невыносимыми. Но их ли в том вина?

Друг мой насупленно молчал, он ещё недопонимал, в какую сторону разрешится дело. Драки, очевидно, не будет, но тогда что' будет? Как с его проблемой? Чтобы отвлечься и успокоиться, он старался разглядеть лицо девушки. Возможно, она ему даже начинала нравиться. Не мало счастья бывает скрыто и в слепоте. В конце концов, это всего-навсего одна из разновидностей неведения.

Собственно, разговаривать было больше нечего. Пить чужой чай я не больно-то хотел. Но он вроде уже вскипел, да

и моя знакомая села за стол. Отчего бы нам не уйти отсюда вместе с ней? Дам актёру понять, что не один он может быть дружен с симпатичными девушками.

К чаю были поданы блинчики с творогом. Я понял, что голоден, так как не успел позавтракать. Знакомая моя тоже хотела есть, так что мы накинулись и всё предложенное смолотили, даже не успев сообразить, что другим может не достаться. Впрочем, мой, страдающий желудком, друг не претендовал, да и хозяйва что-то себе чаю не налили.

Актёр, правда, сидел с нами за столом, но даже чашку перед собой не поставил. Всё только посылал мне какие-то теплepatические сигналы беспокойными глазами. А я никак не мог понять, что он имеет в виду. То ли на даму эту имеет какие-то виды и ревнует, то ли просит меня не очень на него давить насчёт освобождения помещения.

Всё это меня опять стало раздражать. К тому же блинчики оказались не вкус отменно противными. Я посмотрел на личико соседки, у неё что-то тоже ротик перекосило.

– Спасибо, – сказал я допив безвкусный чай, который отнюдь не убил гадостную сладость во рту – и чего они только подложили в эти блинчики?

На какое-то мгновение у меня даже мелькнула мысль, что это попытка отравления, но я отмёл её, так как блинчики кушала и знакомая и мы брали их наперебой из одной тарелки. Но почему у них оказались именно эти блинчики? Скажи, каков твой вкус и я скажу кто ты! В душе у меня зрело жгучее

презрение, или это была уже начинающаяся изжога? Я вовсе больше не боялся местного громилы – наверное они его кормят такими блинами, как собаку – это смешно! Бедняга. Однако, не следует слишком уж жалеть потенциального врага – это расслабляет. Но может быть, другу стоит подумать насчёт того, не нанять ли этого типа себе для охраны – вон он ведь какой большой – нужно только его кормить получше.

При всех этих мыслях, я отметил в себе отменную вежливость, так как ухитрился допить чай и даже не попытался освободить желудок прямо за столом. Очень захотелось уйти. По лицу знакомой я понял, что она тоже не намеревается долго задерживаться. Почти одновременно мы встали. Встал, хотя и с некоторым запозданием, мой подслеповатый друг.

– Спасибо. Значит, можно считать, что мы договорились? – обратился я к актёру.

Его заместитель или напарник насторожил острые ушки, но актёр лишь кивнул.

– Трёх дней вам хватит? – спросил я.

– Хотелось бы неделю, – сказал актёр.

– Три дня! – выпалил, вдруг разгорячившийся, мой друг.

– Вот, – развёл я руками.

Тут за спиной у меня опять замаячил давешний зверь. И впрямь приторно запахло полупереваренными блинами.

– Три дня, – повторил я, как мог, спокойно.

Я посмотрел в пол, а после приподнял подбородок на ак-

тёра, стараясь не замечать зловредного дыхания на шее:

– Не будем ссориться.

Он нехотя кивнул.

Мы двинулись к выходу. Громила побежал следом, точно боялся нас упустить. Я не оборачивался, но чувствовал как он бросает отчаянные взгляды актёру и компании: Мол, как же? Разве можно отпускать без сломанных костей?

Из озорства мне захотелось повернуться и стукнуть его носом сапога в коленную чашечку. Слава Богу, я устоял, потому что если бы устоял он, нам бы не сдобровать.

Мы вышли на воздух. Дверь в подвале с отяжкой захлопнулась. Я философски подумал, что склонен переоценивать свои способности. Топтун же мне теперь казался менее тупым, но более неприятным. Нам такие – в товарищи не годятся. Я посмотрел на друга: мол, сделал всё, что мог. Но он, похоже, не смог оценить моего взгляда. Всё по той же причине.

Наша дама не выражала нетерпения, но надо было что-то решить.

– Ты что, его знаешь? – спросил друг, почёсывая лоб.

– Угу. Он бывший актёр. Было время, когда я его почему-то то и дело встречал в разных местах. Правда, не могу сказать, чтобы он когда-либо вызывал у меня бурную симпатию.

– Ты торопишься? – обратился я к топчущейся на месте знакомой. Она строила глазки куда-то в пространство.

– Нет. Но вообще-то – да.

– Вот что, – сказал я другу. Думаю, что дело как-нибудь умнётся. Во всяком случае, всё не так безнадёжно, как мне казалось сначала. В самых общих чертах я всё-таки могу предположить, чего мне ждать от этого человека.

– Ну и чего ждать? – спросил друг пессимистически.

– Я тебе позвоню. Тогда поговорим, – сказал я.

Друг попытался разглядеть даму почти в упор. Она немного отпрянула, но улыбнулась.

– Я провожу девушку, – сказал я.

Тем временем мы проходили мимо метро.

– Я хочу ещё зайти в магазин, – сказала девушка.

– Тебе ничего не надо? – спросил я друга.

Он глубоко вдохнул и громко выдохнул. Мы пожали друг другу руки.

– Когда позвонишь? – спросил он.

– Сегодня. Вечером.

Мы с дамой зашли в магазин. Почему-то она выбрала магазин довольно далеко от метро. Как будто всё тут знала лучше меня. Может, квартиру здесь снимает? Она ведь не москвичка. Но я не стал спрашивать. Мне очень хотелось пить, ей тоже. Но мне хотелось съесть чего-нибудь солёненького – колбаски или даже селёдки, а ей – наоборот сладкого. Странно, но давешние блины ей показались чересчур солоноватыми, а мне – пересахаренными. Нам, наверное, просто разные попались. Но в обоих случаях ситуация требовала исправле-

ния.

Мы обратили, таким образом, внимание к совершенно разным прилавкам. Время было дневное, когда по улицам шагает много пенсионерок и домохозяек, да и магазин этот, похоже, пользовался популярностью – так что пришлось постоять в очереди.

Я купил, что хотел, и пошёл искать, где вода, одновременно подумывая – не предложить ли ей выпить. Воду я нашёл и купил, а вот даму свою потерял из виду. Помыкавшись ещё по магазину и сделав несколько жадных глотков из пластмассовой бутылки, я вышел на волю. Прохладный влажный воздух приятно ударил в голову. Я крутил головой туда и сюда, всё же было немного досадно, что девушка исчезла. То ли мы потеряли друг друга невольно, то ли она захотела от меня избавиться. Но и невольно люди теряют друг друга только когда у них в подсознании бродит как дрожжи мечта о свободе. Что же я грущу? Справа лениво постукивает железная дорога, а под железнодорожным мостом проскакивают суетливые машинки, скользят шипя, как блинчики по намазанному противню. Всё это – символы свободы, беззаботного движения вперёд.

И я иду, влево по тротуару. Меня ещё не покидает надежда, что я догоню свою знакомую. Или она меня догонит. Но среди встречных прохожих мне попадаетса совсем другая знакомая личность. Это моя бывшая учительница по биологии. Она держит за руку какое-то дитя – не то дочку, не

то внучку. Вообще выглядит она сейчас почему-то довольно молодо, и я понимаю, что никак не могу сообразить, сколько ей лет. Возможно, они направляются в тот самый магазин.

– Здравствуйте, – говорю я.

– Привет, – говорит она.

Я предполагаю, что на том разговор закончен и намереваюсь идти дальше. Но она неожиданно берёт меня за рукав:

– Ты чем занимаешься?

Сам не знаю почему, у меня в душе что-то вздрагивает. Так, как будто я только что принимал наркотики или совершал половой акт в особо извращённой форме.

Она заговорщически заглядывает мне в глаза. Это ей легко, потому что она небольшого роста. Вроде ничего особо плохого она в виду не имеет – и то хорошо. И что' я так испугался? Оборачиваюсь однако, в последнем приступе тоски, назад – вдруг всё-таки идёт девушка.

– Ты на охоту не хочешь сходить? – спрашивает меня учительница.

Её внучка переминается с ноги на ногу, точно хочет писать и, кося глаза, рассматривает проходящие мимо машины. Ей в лицо летят мелкие брызги слякоти.

– Что? – переспрашиваю я. Говорит она громко и отчётливо, но ведь и на улице очень шумно.

– Охота! – орёт она. – мой собирается на охоту. А ты что слоняешься без дела? Пошёл бы с ним!

Можно подумать, что я знаю, кто этот *мой!* Наверное её

муж. А может – сын. Нет, судя по тону, всё-таки муж.

– А почему вы думаете, что я должен идти на охоту?

Она делает круглые глаза. Это должно означать примерно следующее: Как разве существуют на свете люди, тем более мужчины, разбирающиеся в биологии, которые не хотят пойти на охоту?!

– А на кого охотиться? – спрашиваю я, чтобы разрядить обстановку. Она всё ещё держит меня за рукав, боюсь, что оторвёт от пальто пуговицу, – плохо пришита.

– Ну, – на мгновение задумывается она, задирая брови. – На кого вы там охотитесь?

Ничего не скажешь – риторический вопрос.

Я изо всех сил пытаюсь задрать брови ещё выше, чем она. Это, правда, безнадежно.

– На волка, – вдруг говорит она. Сказала, как отрезала.

Я тяну носом воздух, почёсывая кадык.

– Что, не хочешь?

Девочка её, кажется, вот-вот описается. Но не хныкает – воспитание.

– Да я вообще-то никогда не ходил на охоту, – оправдываюсь я. – Там ведь надо стрелять.

– А ты что, стрелять не умеешь? – она уже готова во мне разочароваться.

– Ну – уметь-то умею. Но надо зверей убивать ...

– Жалко? – спрашивает она. С какой-то подковыркой, но не пойму с какой.

– Жалко... Да, жалко.

– А вот, если бы тебе дома голову волка повесить – ты бы не хотел?

Такое предложение уже, скорее всего, являет собой сердцевину заговора.

Я переминаюсь с ноги на ногу, потупив очи – совсем как её несчастный ребёнок.

Она молода, улыбается, все зубы целы – ужасно кровавая улыбка! Наверное это у неё всё-таки дочь, интересно – от какого брака? Интересно – что это за муж? Человек с ружьём... Нет, похоже, это вовсе не моя учительница по биологии. Не похожа. Я поднимаю глаза. Исчезла. Как призрак. Тоже исчезла. И дитё унесло. Смотрю – даже лужи на асфальте не осталось. Смотрю на рукав – точно, пуговицы нет. И на тротуаре нет. Ищу. Нет, унесла – будет колдовать. Вот блин! Интересно, волков едят? Ну мне – голову, а им что? Мясо на похлёбку? Или должно было быть несколько волков? Всем – головы. Но ведь собак едят...

Пытаюсь представить себе вкус волчьего мяса. Вижу оскаленную морду, притороченную к овальному куску дерева, похожему на зеркало. Волк улыбается мне, но и одновременно хочет меня сожрать. Я тоже скалю ему клыки. Жалкие свои. Кто-то толкает меня в спину. Мурашки добегают до висков и дальше, до макушки. Точно – я тоже хочу писать. Вместо этого отхлёбываю из початой бутылки. Оборачиваюсь – никого.

Я совершенно сбит с толку. Может, и правда пойти на охоту, на волков? Вспоминаются красные флажки. Зачем это вообще я сюда притащился?

Почему-то действительно захотелось в снежный лес. Стали чудиться голубые волчьи глаза. Чуть не попал под машину. Хватит! Домой!

А во рту – всё ещё играет свою роль – приторный привкус пережаренного творога и – это уж точно фантазия! – как бы волчьего помёта... Будто им полжизни питался!..

Фломастер

«Дай мне целомудрие и воздержание, только не сейчас...»
Блаженный Августин

Такого-то числа в такое-то время я должен встретиться с хахалем моей воспитанницы. И мы встречаемся, с некоторым опозданием. И я опоздал, и он опоздал. Возле поликлиники.

Он сразу же приступает к делу. Т.е. рассказывает, как там они общаются. Странно, что я его узнал. Никогда бы не подумал, что он выглядит так. Слишком хорошо одет, похож на итальянца или на испанца из кино.

Нет, это он меня, видно, узнал. Ну да, она ему меня описала. Очень разбитной. Куртка на нём дорогая, из-под куртки какая-то модная шмотка. Голова кучерявая.

Он мне всё рассказывает, как они трахаются. А я не знаю, как мне на это реагировать. Делаю серьёзную рожу. Что-то меня в этом парне раздражает, а что-то... Какое моё собственно дело? Имею ли я право вмешиваться? Конечно, мне неприятно, когда он грубо отзывается о ней. Но такой у него жаргон. Во всяком случае, он её если и не любит, то испытывает к ней что-то вроде страсти. Считает её очень сексуальной. Подчёркивает, что она ходит без трусов. Или это у него такая метафора. Мол, вчера несколько раз и ещё несколько...

– Вообще-то я нарк, – говорит он.

Вот что меня настораживало! Всё понятно. Хотя слово, которое он произнёс, из уст молодого человека я слышу впервые. Говорят: нарик, наркоша... А *это* – откуда-то из далёкого прошлого, из советской литературы.

– У тебя ничего нет? – спрашивает он.

Я ошарашен и смотрю перед собой остановившимся взглядом. Он в самом деле может вообразить, что я из его компании. Встряхиваюсь. Более энергично, чем хотелось бы, отрицательно мотаю головой. Надо бы пальто застегнуть – холодно стало.

– Нет? – он как будто не торопится верить. – Во «Фломастере» возьмём, – как бы утешает он меня.

Я глупо киваю. Иду за ним. Он идёт быстро и уверенно, но оборачивается – не потерялся ли я. Уважает. Это странно. Мы доходим до метро.

– Подожди тут, – просит он. Смесь наглости и предупредительности. При всей чужеродности для меня этого типа, я вынужден признать, что в нём есть нечто обаятельное, отвратительно обаятельное. Я понимаю свою воспитанницу. Хотя она, кажется, вообще не выбирала. Но это не худший вариант – если не считать СПИДа и иже с ним.

Интересно, что' это за «Фломастер»? Канцелярский отдел наверно какой-то? Почему в метро? Новейшие веяния? Давненько я тут не бывал. Не выходил на этой станции.

В одном фильме героиня приобретала наркотики в коробочках из-под плёнки. А он наверно какие-нибудь скрепки покупает. Или – ещё лучше – засыпано в специальный цилиндр внутри фломастера. Вот тебе и «фломастер». А по цветам можно различать, какой наркотик. В виде фломастера и шприц можно продать. И даже целый набор – фломастеры там, карандаши, готовальни... Ой, чего только ещё не нафантазируешь!

Какой дурью он колется? Если героин – то какие уж там сексуальные подвиги... «Винт» какой-нибудь. Говорят, для «винта» используется более толстый шприц.

Что-то долго его нет. Мне начинает надоедать ожидание. И на голову капает – в очередной раз потерял зонтик. Вхожу под навес и спускаюсь в метро – вроде не должен он мимо меня проскочить.

Где тут «фломастеры»? А откуда у него деньги, интересно? Ворует? Барыжит? Бодяжит? Мутит?.. Да-а – термины.

Внизу есть какое-то окошко – кроме касс – и там точно продают кое-какие канцелярские принадлежности. Но сидит при товаре такая тётя, с такими честными глазами, что мне и в голову бы никогда не пришло... А спросить – я бы со стыда помер! И вдруг – милицию вызовет?

Парня нигде нет. Пахнет здесь странно – не так, как должно пахнуть в метро. Спускаюсь по лестнице, на которой, вдоль стены, очередью стоят какие-то алкаши. Не наркоманы. Тут что, не только *фломастер*, но и...

Точно – внизу, за поворотом налево, ещё окно, и из него продают дешёвую водку. Ну прямо как в дореволюционной России. Тут же внизу, прямо, раздевалка. Наверное – не для алкашей. Алкаши всё одетые. Плохо. Молодые и старые, бородатые и нет. Одни мужики, ни одной бабы. Мужской разговор. Не шумят. Ещё раз обойду очередь, теперь – снизу вверх. Моего нет. На меня смотрят подозрительно, но почти-тельно. Что-то говорят, но тихо. Похоже, если бы я захотел взять водку без очереди, мне бы никто не решился возразить. Всё-таки здесь воняет перегаром и духами. Духами-то откуда?

Ладно, наплевать, не больно-то он мне и нужен, этот тип. Созвонимся, если чего. Конечно, что он наркоман, это плохо. Но... Если бы он не был наркоманом, то уж наверняка бы – оборачиваюсь к медленно передвигающейся гусенице из некрасивых, нечистых тел... Тьфу!

Посмотришь на такое и захочется выпить. На воздух! Хо-

рошо ещё, не все ларьки успели спрятать под глухую крышу! Вон, возле одного, даже столик есть. Щупаю в кармане деньги. Так, кое-что есть – хватит.

Пью пиво и ощущаю на губах горечь человеческого существования. Жизнь безысходна – это следует признать и не рыпаться. Следует научиться жить здесь, сегодня. Всё это мне становится понятнее с каждым глотком. Я уже более доброжелательно наблюдаю копошащуюся толпу. Когда кому-нибудь хочешь морду набить – это уже расположение, предпочтение, выбор. Так что, не обессудьте!

Всё, что угодно я бы мог предположить, только не это. Мне не везёт в любви, везёт в уличных баталиях. Там, где другие отправляются в морги и больницы, я странным образом выживаю. Пока. Нужно менять образ жизни. Возраст обязывает.

Но тут. Это точно меня морочит какая-то нечисть. И парень тот, наркоман, на молодого чёрта был похож. Откуда только взялась эта деваха? Сама ко мне прилезла. И двух слов мы друг другу не сказали, как она уже оказалась у меня под мышкой...

И то дело – я напился пьян и организм требовал действия. На этот раз подвернулся женский объект, вместо привычного мужского, который вызывает праведную агрессию – зачем стоит? зачем ходит? и всё такое...

С проститутками я дела не имел. Или почти не имел.

– Ты что, продаёшься? – спросил я.

Она всё улыбается. Может, обидел? Угостил её пивом. Вернее – выясняется, что я её уже давно угощаю. Потому что прошло полгода. Вместо ранней весны – ранняя осень. Или я всё перепутал...

Но она одета как-то легкомысленно. Мини-юбка. Вовсе не интеллектуалка. Может тоже наркоманка? Заглядываю ей в зрачки и ничего не вижу. Сам хорош! Она смеётся и вьётся у меня под рукой. Ну и что мне с ней делать?.. М-да, вопрос конечно... Конечно имеет... А где?

– А где? – спрашиваю.

Она хихикает и пожимает плечами.

«Дядя волк, будь осторожен – триппер, сифилис возможен». И не только, и не только, господа! И всё же – адреналин ведь можно извлекать не только из драк? Хорошо ещё – я в карты не играю!

Мы идём куда-то, попивая пиво на ходу из бутылок. Она как раз такого размера, какого я люблю. Маленькая. Не малолетка ли? Ну, почти. Но всё-таки не Лолита – лет шестнадцать наверное есть.

– Тебе шестнадцать?

Кивает, мол, угадал.

– А может, четырнадцать?

Задумывается. Но и это нынешнее законодательство позволяет.

– А может, восемнадцать?

Смеётся и кивает. От всей души хлопаю её по заду. Хороший зад, упругий.

Что-то всё-таки здесь не так. Какой-то подвох. Не должно мне так везти. Влюбиться я в такую девочку не могу. Не должен. А вдруг? Закрываю глаза и уже не могу представить её лица, только узоры на юбке. Может, открою – исчезнет? Открываю – держит меня за руку. Целуемся в губы. Ничего, от неё ничем плохим не пахнет. Вернее даже – какими-то духами. Но... Опять целуемся. На ходу неудобно, поэтому притормаживаем. Недопитые бутылки норовят вывалиться из рук. Я спохватываюсь, что меня здесь может кто-нибудь узнать, но машу на всё рукой и роняю пиво. Она тоже бросает своё в знак солидарности. Бутылки бьются, мы ржём и строим рожи недовольным бомжам. Только бы менты не докопались! Идём скорее дальше.

Всё это похоже на наркотики, на какое-то видение. Может быть, мы всё-таки накачались с тем парнем в его пресловутом «Флаконе»? Или нет – "Фломастере"! А где он сам? А был ли мальчик? Смотрю на неё с недоверием. Но тому уже было явно за двадцать – это почему-то успокаивает.

За вокзалами – всегда грязно. Хорошо, что лето и растёт трава. Хорошо, что траву здесь не косят. Удивительно, что ещё можно найти в Москве незастроенные пустыри. Да, где-нибудь рядом с железными дорогами – это проще всего. Ржавые рельсы. Новоявленная подружка семенит впереди. Я смотрю на её зад, только на зад.

Я давно этого хотел. Именно этого? Но у меня ведь нет презерватива! А что у меня есть? Потенция вообще у меня есть? Надо проверить – хоть что-нибудь в штанах у меня есть?

Она останавливается, улыбается. Очень живописно. Трогает ладонью какую-то омытую дождями железяку, торчащую из земли. Сексуально. Ох, жалко пива больше нет. И чего мы с собой не взяли? Да и презервативы в ларьке можно купить. Может, вернуться?

Я не спрашиваю, как её зовут. Я закрываю глаза и сжимаю себе виски. Больно – перед глазами фиолетово-жёлтые пятна и красные звёзды. Она не исчезает.

Окидываю звенящими глазами предстоящий простор. Неподалёку – какая-то металлическая конструкция в виде стола, в буйных травах. А левее – берёзка, хиленькая. Одно из двух.

Идём к столу, но меня отталкивают прикрепленные к нему тиски и шестерни. Эта штука такая тяжёлая, что её даже не утащили на металлолом, а краном достать нельзя. Поверхность, правда, ржавчиной не красится и тёплая. Может, здесь?

Смотрю на берёзку. Девочка небольшая, авось и не завалим. Она понимает мой взгляд и следует в нужном направлении. На ходу снимает трусы. Подсохшие к осени травы у корней напоминают торчащие седые усы.

Безумие, конечно, то, что я делаю, но почему же иногда

не совершить безумие? Очень даже аппетитная попочка. Вот так, упрись поудобнее. Берёза молодая и гибкая. Выросла на ветру – скрип, скрип. Ну что, во все места давалка, не плачешь? Не плачет. Глаза закрыла. Улыбается. И всё-то она улыбается! Солнышко светит. Птички поют. И у меня даже, кажется, что-то там стоит.

Видение

"... для душевноздорового человека галлюцинации или иллюзии представляют редчайшее исключение..."

А. Л. Чижевский

И было мне видение. Очнулся я в степи, под утро. Безумно пахло полынью и гремели кузнечики. Спина чуть-чуть отсырела, но предполагался жаркий день.

Я присел и протёр глаза. Мне навстречу из едва угадываемой предрассветной дали кто-то двигался. Я напряг зрение, и тут же стало светлеть. И всё окружающее из серого стало перекрашиваться в зелёно-сиреневые тона. А может быть, это вернее назвать смесью цвета морской волны с фиолетовым. Так, случается, переливается шея у весеннего голубя или плёнка бензина в луже на асфальте. Но здесь пахло только травами. И ещё чуть-чуть – очень далёкой железной дорогой – дерьмом и пропиткой шпал.

Их было трое. Мальчики. В самых обыкновенных провин-

циальных мальчиговых одеждах. Затрудняюсь определить их возраст – но что-то от восьми до четырнадцати. Очень серьёзные лица, на них – играющие фиолетовые тени. Под ногами – кусты полыни, похожие не морские травы. Они шли прямо ко мне, но не приближались. Однако, я всё лучше мог видеть их лица. Ангелы.

Крыльев нет. Застиранные рубашечки. Идут по земле. Куда? В такую рань?.. Они молчат. Предрассветный ветер дует. Далёкий поезд гремит. Они прошли мимо. Всё-таки прошли, то ли не заметив меня, то ли не посчитав нужным обращать на меня внимание. Они были очень сосредоточены. Шли не спеша, но соблюдая одним им известное направление. Один вёл. Тот, что чуть повыше и, возможно, постарше. Они шли треугольником. Он – впереди.

Я смотрел им вслед. А был ли я там? Может, меня-то и не было. Я поворачивался вокруг своей оси, ёрзая по земле на зад и опираясь сзади на руки. Вдруг мне что-то вонзилось в ладонь. Заноза, колючка. Я стал выкусывать её зубами. Запахло навозом. Тьфу! Опять задул ветер. И показалось солнце, краешком. Мальчики исчезли. Ушли. Я встал, их не было видно даже на горизонте, зато я увидел железную дорогу. Они не должны были пропасть из виду так скоро – разве что, легли в травы, или там какая-нибудь невидная отсюда лощина – скорей всего.

Напротив солнца низко над степью висела полная луна. Солнце быстро вставало. Во весь голос загорланили птицы.

Совсем светло. Солнце и луна смотрят друг другу в лицо. Луна ещё не успела побледнеть, а солнце не набрало достаточно накала. Хотя, я уже чувствую лучи, словно румянец на щеках.

Прилягу-ка ещё полежу на песчанистой почве среди полыней. Разве что мошки начнут одолевать. Пока не слишком жарко, надо подумать. Зачем эти мальчики? Что они значили? Помогай, психоанализ! Лежу на спине и смотрю в небо – уже приходится щуриться. Вижу, карабкающуюся по стеблю вверх, банальную божью коровку. Улыбаюсь. Мир прекрасен. Вот и всё.

Курорт

«Если бросить бомбу в русский климат, то, конечно, он станет как на Южном берегу Крыма!..»

В. В. Розанов

А когда я проснулся на берегу Чёрного моря, мир не показался мне таким прекрасным. На мне был концертный бордовый костюм с широкими отворотами, и весь он был облёван. Голова трещала – не надо было ни кузнечиков, ни сверчков.

Сзади на песке рядами стояли одерматиненные стулья. Похоже, их вынули из какого-то кинотеатра. Я пытался вспомнить подробности. Но вспомнил только, что был ор-

кестр. Трубы, медные, блестели на солнце. Пел я, что ли? А чего такой хриплый? Я откашлялся и сплюнул мерзостную слюну. Не хватало ещё простудиться – здесь, на юге. Но если спать на открытом воздухе...

Народа не видно, но много мусора. Наверное рано, даже ещё не убрали. Упираюсь ногами в сыроватый песок впере-мешку с бумажками и окурками. Морщусь, подозреваю, что у меня отёк Квинке. Я босой, где же мои ботиночки? Шарю глазами по сторонам, но затем, осмотрев свой костюм, раздеваюсь до трусов и бросаю всё на сидение, где и спал. Многие части тела сильно затекли. Расхаживаю ноги. Вряд ли до такой степени издермлённую одежду украдут. Единственное умное, что можно сделать, оказавшись похмельным утром возле моря, – это искупаться, но и тут главное – не переборщить и не утонуть.

Я не спеша спускаюсь к воде. Оглядываюсь на пляж, вижу свои шмотки, тёмным комом возвышающиеся над голубой спинкой стула. Никого нет. Но в воде уже кто-то плещется. Компания из человек пяти-семи, всё вроде больше пожилые люди, хотя нет – разные, вон даже один ребёнок затесался – хорошо плавает, почему-то в резиновой шапочке.

Вода кажется холодной ватой. Почти штиль, но волны усиливаются. Вдруг одна окатывает меня до колена.

– Щас-щас, погружусь, – говорю я нетерпеливой волне. Вспоминаю, что здесь можно и на стекляшку наступить. Смотрю под ноги – мутновато, но терпимо. Стекляшек нет.

Плавает одинокая медуза, с обтрёпанными краями. Во всём этом есть что-то печальное.

Хорошо, что здесь не сразу глубоко. И песочек. По колени, но ляжки. Бывает трудно погрузить свои снасти – трусы холодят. Смотрю на свои трусы – отнюдь не плавки – белые и нечистые – немного стесняюсь – но что же делать. Люди далеко и не обращают не меня внимания, в мяч играют.

Наконец погружаюсь и плыву, поначалу с ускорением. Солёная вода приятно щекочет нос. В воде, по поверхности, плавают полуживые божьи коровки и колорадские жуки – не проглотить бы.

Нырять, под водой даёт себя знать больная голова. Смотрю на убогую донную растительность, вижу какую-то полупрозрачную рыбку. Выныриваю – волна бьёт в лицо. Привык к температуре воды – можно расслабиться. Можно даже лечь на спину. Что это в небе? Чайки? Сюда приближается самолёт. Весьма низко и по весьма странной траектории. Я тут такого, кажется, никогда раньше не видел. Аэродром, если не ошибаюсь, в другой стороне. Так. Пора вылезать. Самолёт летит прямо на меня, а мотает его из стороны в сторону так, как будто он на вчерашний вечер преобразился в человека и наакался до зелёных соплей или как там у него? – со'пел.

Ой! Совсем близко. Я уже только по щиколотку в воде. Оборачиваюсь к беспечно плещущимся отдыхающим – о них-то я забыл. Они смотрят в небо. Хочу им кричать, но вместо этого бегу на берег. Самолёт проскакивает прямо на-

до мной, делает ещё несколько нырков в воздухе – ну прямо, как бумажный голубь – и, наконец, втыкается головой в дно где-то метрах в ста пятидесяти от берега. Уголком правого глаза я отмечаю, что хвост всё ещё торчит вверх из воды.

Голос мне уже отказал и ноги отказывают. Я падаю на колени и ползу на коленях – вверх, как можно дальше от кромки прибоя. Мне почему-то представляется, что окажись я в воде во время взрыва – всплыву как рыба. Не знаю, прав ли я. Тем, кто остался в море, я уже ничем не могу помочь. Я кричу им, но не слышу собственных слов. Только шум моря. Пока, однако, не взрывается. Я не вижу, что происходит у меня за спиной. Я ползу вперёд по усыпанной щебнем дороге, в кровь раздирая колени. Слева от меня бетонная стена розария. Навстречу спускаются по-пляжному одетые праздничные люди.

– Стойте! Стойте! – воплю я им, но только – опять-таки как рыба – немо раскрываю рот.

Может, я оглох? А шум моря – это шум крови в ушах? Может, уже произошло? Контузия? Кто это шутит – чеченцы или хохлы?

Люди, кажется, заметили меня, но они вовсе не так серьёзно настроены. Самолёт конечно видят – любопытно.

Я теряю силы, у меня закрываются глаза. Я надеюсь, что меня подберут – ведь я падаю на дороге. Эти люди, в панамках и шортиках...

Поезд

"А радость рвётся – в отчий дом!.."

Ф. Ницше

И мне неудержимо захотелось домой. Все эти заработки, путешествия, попытки убежать от безысходности... Последнее время я работал зачем-то на одной стройке вахтенным методом. Устал, взял расчёт. Не стоило оно этих денег. Но поварился немного в котле «великих будней». Человеку почему-то совершенно необходимо всё время переворачивать землю. Так и вижу эти песчанисто-суглинистые откосы метров на десять, а то и на двадцать уходящие косо вверх. Мы, в красных пластмассовых касках, какие-то лебёдки, майна-вира, бульдозеры. Пот на лбу. В общем, даже весело. Но надоедает. Сяду на обочине дороги и отдохну. Мне не по дороге с рабочими. Класс пролетариев должен быть уничтожен – так считал Даниил Хармс.

Я наслаждаюсь тем, что ничего не делаю. Сажу на маленькой неказистой станции, вернее даже не на станции, а на земле, на сухой земляной кочке рядом с низким перроном. Привык так сидеть за месяцы строительной практики – а штаны – ничего, не жалко – новые куплю. И к солнцу южному привык, загорел. Не беда, что с открытой головой. Оно меня только ласкает – только щурюсь и улыбаюсь. Домой! Будто кто-то или что-то меня там ждёт? Авось? А вдруг я про-

сто что-то забыл? Наверняка ведь что-то забыл – не может же человек всё удерживать в памяти. И хорошее забывается, не только плохое. Вдруг что-нибудь хорошее всё-таки было? Ах, как приятно нежиться на солнышке и знать, что вот-вот придёт поезд, и ты не опоздаешь, уже не опоздаешь...

Пока я придавался мирным мечтам, на перроне прибывало народа. Ещё час назад тут ошивалась только старушка, которая плохо ориентируется во времени и просто приходит к поезду, который приходит каждый день. Время приближалось к обеду, и солнце пекло немилосердно. Я смахнул с головы пот. Оживление на платформе уже напоминало большой город, странно и приятно наблюдать толпу в таком пустынном месте. Торговки были готовы к спринтерские рывки за приглянувшимся им вагоном – только бы продать домашний товар. Провинциальные семейства сидели на древнего вида чемоданах и тюках. Сновали и обыкновенные тёмные личности кавказского типа в унылых пиджаках, сверкая фиксами и излишне жирными кольцами на пальцах.

Вдруг монотонный шумок прорезался какими-то тревожными голосами. Я привстал – неужели уже поезд идёт. Но поезда не было ещё даже слышно, за прозрачной оградкой перрона происходило нечто из ряда вон выходящее. Некий дед, по виду калмык или казах, выкрикивал, держа руки в глубоких карманах штанов, неясные угрозы. На каком языке он говорил, трудно было понять. Не исключено, что это был русский, но у деда вместо нормального голоса был растрескав-

шийся гортанный сип, так что звучало это похоже на змеиное шипение, перемежающееся всхрипами издыхающей лошади.

Толпа посторонилась слегка, но не оттого, что испугалась деда, а оттого, что хотела его получше рассмотреть – как-никак бесплатный аттракцион. Я тоже встал и подошёл к платформе, даже перелез на неё через бортик. Калмык ораторствовал от меня в каких-нибудь двадцати шагах. Он свирепел всё более, но дежурный по станции милиционер в эти минуты находился где-то далеко, а ни у кого другого пока не возникло желания связываться с сумасшедшим стариком. У самых лихих были дела поинтереснее. Я прислушивался, стараясь понять, чего же дед всё-таки хочет. Он расходился всё больше, скалил отсутствующие зубы и пытался пучить утонувшие в коричневых морщинах щёлчкообразные глаза. Дети и толстые хохлушки смеялись. Я тоже улыбнулся. Но дед брызгал слюной и танцевал на месте совершенно серьёзно – вот именно сейчас, в этот самый миг, он вознамерился кому-то что-то во что было то ни стало доказать. Интересно, сколько он терпел – лет шестьдесят? Боль пересилила?

Все видели, что дед держится за какую-то штуку в кармане своих допотопных галифе. Это само по себе было смешно – огурец он, что ли, себе туда для солидности засунул? Но, может быть, окончательно убедившись, что никто его здесь не воспринимает иначе, чем скомороха, калмык вскричал как-то уж совсем по петушиному и, закрутив в воздухе то-

щей кадыкастой шеей, точно штопором, выхватил из заветного кармана наган. А может быть, это был и маузер. Я не успел разглядеть, он сразу начал стрелять.

Толпа рядом мгновенно стихла, волной молчание распространилось до самых краёв перрона. После нескольких выстрелов тишину прервала только пара истошных женских выкриков, да ещё слышен был частый топот убегающих ног, но какой-то игрушечный, словно не настоящий. Стараясь устраниться от опасности, люди толкали друг друга как мешки. Несколько человек уже лежало в разных позах на асфальте, и не понятно было, поражены ли они пулями или сбиты с ног другими. Как раз в это время к платформе, возникнув словно из неоткуда, начал приближаться поезд.

Поезд подходил слева, и я отвлёкся на долю секунды, глядя на него. Я посмотрел направо и увидел калмыка, подходящего ко мне с револьвером на перевес. По всей видимости, ему было совершенно безразлично, в кого палить. Движения всех живых объектов – как нередко бывает в таких случаях – замедлились словно в киношном рапиде. Я запомнил бежавшую мне навстречу собаку, рыжую, с высунутым розовым языком, каких-то баб в развевающихся цветастых платьях. Из упавшей корзины катились зелёные яблоки. Но любоваться антуражем было решительно некогда. Калмык наступал, как Полчища Чингисхана. Вытянутая тщедушная фигурка в кургузой застиранной телогрейке цвета хаки и в разбитых тапочках вместо сапог – этаким стойкий оловянный солда-

тик неарийского происхождения. С каждым шагом он подпрыгивал, словно его били током, – так бывает у некоторых психов. Целится. Возможно, в меня... Что он там видит, через свои щёлки? Хорошо, солнце с моей стороны.

Нет, я не хочу умирать. Это вовсе не входит в мои планы. Поэтому сейчас я вполне могу позволить себе праздновать труса. И у меня нет никакой злобы на это несчастное существо, просто я стремлюсь как можно скорее спрятаться от его пуль. Я уже вновь за оградой перрона – сиганул ножницами, как когда-то учили в школе. Отбегаю несколько метров, тут меня от калмыка отгораживает бестолково сунувшаяся под наган паническая толпа. Кто-то падает, и я падаю, но живой и невредимый – просто прячусь под перрон, в какую-то собачью яму. Здесь воняет, конечно, но безопасно – вряд ли старик полезет меня выкапывать, когда кругом такое количество подвижной дичи.

Считаю выстрелы, прикрыв затылок руками. Но ничего уже не слышно, кроме грохота останавливающегося поезда. Вот досада! Может быть, задержат отправление в связи с такими непредвиденными обстоятельствами? Поезд совсем остановился. Стучащая в висках пауза. Выстрелов больше нет. Но и не слышно обычного гвалта торговков – затаились. Надоело лежать, уставившись в сыроватую, отвратительно пахнущую мглу. Сколь он здесь стоит – две? Три минуты? Раздаётся ещё один выстрел. Какая-то беготня, мужская громкая матерщина. Повязали? Нашлись же герои!.. Всё-та-

ки не напрасно я не торопился. Со всеми мерами предосторожностями встаю, настраиваю глаза на яркий свет, отряхаю замусоренное пузо. Поезд ещё стоит, но всеми фибрами души я чувствую, что вот, уже сейчас он тронется. Я бегу к перрону, перескакиваю через ограду, однако оглянувшись направо – нет ли деда. Уже никого нет, только одинокая тётка подбирает свои яблоки. Краем уха слышу из-под арки станции какое-то сипение – наверное, дед там – трудно заткнуть «правде» рот.

Поезд трогается. Я лечу к ближайшему вагону. Какие всё-таки широкие делают к нас перроны. Зачем? Проводница убрала свой флажок и закрывает дверь. Я вставляю ногу в сужающийся проём. Проводница охает и отскакивает вглубь. Чтобы удержаться, я невольно тяну ручку двери на себя и захопываю дверь. Она, мгновенно сообразив, что к чему, запирает её с той стороны. Я еду повиснув на подножке. Поезд ускоряется. Я стучу в дверь. Кто-то кричит мне с перрона. Я не оборачиваюсь – только бы в спину не стреляли. Луплю изо всех сил в дверь. Это трудно делать, потому что не во что упереться. Да и мешает поклажа – рюкзачок за спиной, который я всё это время – вот молодец! – не снимал. Если выбить стекло, возможно, удастся отпереть дверь с той стороны. Проводница, похоже, убежала кого-то звать. Если закрыла на трёхгранку – бить стекло ни к чему. Может, позабыла с испугу? Я вишу, и висеть всё труднее – а поезд набирает обороты по степи. Хорошо, что здесь перроны низкие –

а то бы мне ни за что не удержаться.

Меняю руки – ручка подозрительно хлипкая – если оторвётся – костей не соберёшь. Вообще, вагон требует ремонта. Внизу, с самой угрожающей близости, погромыхивают кровожадные колёса. Может, на крышу попробовать залезть? Насмотрелся я всяких дурацких фильмов! Поднимаю глаза, на меня из-за решётки дверного окошка пялится какой-то мужик в форме, вроде не мент, а тоже проводник – не иначе, начальник вагона. Очень эмоционально открывает рот, но я ровным счётом ничего не слышу – только стук и ветер в ушах. Ну ясное дело: требует, чтобы я отвалил. Но куда я тут буду отваливать? Это же опасно. Я никогда раньше не тренировался прыгать с поезда на такой скорости. Отчего бы ему не разобраться со мной честь по чести? Наверное, предполагает, что я сообщник давешнего калмыка. А вот если бы у меня был револьвер, пальнул бы я ему через окошко... Этого-то он почему-то не боится, дурная душа. Мне не до сантиментов, я прекрасно понимаю, что и он меня вряд ли услышит. Даже если я стану орать во всю мощь – поэтому я шепчу слогам волшебное русское послание, старательно обрисовывая звуки губами и вкладывая в *послание* все оставшиеся внутренние силы. Он понял, уже идёт. Может быть, за подмогой? Но что' они мне могут сделать? Для того, чтобы что-нибудь сделать, они сначала должны открыть дверь – того-то мне и надо!

Никого уже нет, давно. Поезд идёт ровно – слава Богу,

больше не прибавляет. Кругом выжженная плоская степь. Никаких признаков жилья. Запах дыма и помёта. Мне остаётся только употребить все свои способности и энергию, чтобы не сорваться. Если не удержусь: а) могу попасть об колёса, б) могу разбить голову о встречный бетонный столб, в) ещё как-нибудь покалечиться, пусть и не смертельно. Слабо верится, что мне удастся спрыгнуть без потерь. Да и что' потом делать? Я хочу уехать именно на этом поезде. В конце концов, я на него купил билет. Надо было этому придурку через окно билет показать. Но для этого надо было его сперва достать – что чревато падением, да и ветром могло унести.

Когда же станция? Дождусь ли? А вдруг он на следующей не останавливается? Какие у нас большие прогоны! Смотрю вниз – рябит глаза, смотрю вверх – небо слепит, смотрю назад – кружится голова, смотрю перед собой – и злюсь. Суки! Никакого сострадания к человеку – падай себе, пожалуйста! Человек за бортом, понимаете ли...

Рук уже не чувствую. Предполагаю, в некий момент Х они разожмутся сами собой. Хотелось бы всё-таки приготовить к отстыковке. В который раз переминаюсь, пытаюсь занять более удобное положение – выбор поз у меня отнюдь небольшой. Ветер в харю. Вишу – как муха на арбузе. Зелень вагона и продольные полосы увеличивают сходство. Рюкзак тянет назад и вниз – не бросать же его? И если буду вылезать из лямок – точно сорвусь...

Я уже почти смирился со своей судьбой. Еду закрыв гла-

за, потому что иначе тошнит. Помогая рукам, сжимаю зубы – наверняка эмаль обкрошится. Вдруг – замедление... Да неужели? Обнадёженный, открываю глаза, гляжу вперёд. Поезд выходит на дугу. Да! Станция. А если я ошибаюсь – придётся прыгать. Больше пяти минут я уже не выдержу.

Дальше всё как во сне. Скрежет торможения. Станция «Мазут» – ведь вот сумел же прочесть название. Даже запомнил какие-то, подтверждающие его, технические ёмкости на горизонте. К поезду торопятся негустые людишки. Прямо по желтоватой крупной щебёнке. Проводница, кажется, уже другая, открывает дверь. Я тут же вскакиваю в тамбур, отталкиваю её плечом и врываюсь в вагон. Интересно, почему они мне так легко открыли – уверены были, что меня уже нет. Там, сзади, ещё кто-то тяжело влезает с поклажей. Проводница что-то верещит мне в спину, даже вроде стучит мне в рюкзак кулачками – но я ноль внимания. Не могу поверить своему счастью. Ноги немного подкашиваются, поэтому цепляюсь за стены. Пассажиры смотрят на меня как на привидение. Их видно немного, потому что вагон купейный. Дохожу до противоположного конца вагона, заставляя шарахаться полураздетых дам и понимаю, что мне необходимо отдохнуть, просто отдышаться – иначе я рискую здесь же растянуться без чувств.

Я рывком откатываю в сторону дверь в последнем по счёту купе. Там полный комплект. Я с размаху сажусь на койку. Поезд трогается. Прибежала проводница, но я смотрю на неё

в отсутствующим видом и улыбаюсь. В купе, похоже, одни дамы; да и вряд ли бы кто-нибудь из мужиков решился бы сейчас выставить меня. Проводница жестикулирует – голос у неё слабый – не по профессии. Ближайшая сзади тётка пробовала меня спихнуть, но тщетно, я только посмотрел на неё с усмешкой через плечо.

Наулыбавшись вдоволь, сообщаю со всей возможной членораздельностью, что у меня есть билет на этот поезд, но только место моё в другом вагоне. Билет покажу, когда отдохнут руки. Показываю руки, которые не гнутся и трясутся в такт ходу состава. Проводница махнула рукой и ушла – скорей всего, опять кого-то звать. Но мне плевать. Женщины в купе молчат, глядят на меня с плохо скрываемой ненавистью. Проснулся мужик на верхней полке и раздумывает, стоит ли слезать. Не слезай – убьёт!

Я выдыхаю застоявшийся в лёгких воздух и отваливаюсь на спинку сидения. Затем прикрываю дверь купе – так меньше шума.

– Вы хотите мне что-то сказать? – обращаюсь я к застывшим в напряжённых позах пассажирам.

Они только ещё больше напрягаются.

Я закрываю глаза, блаженная улыбка опять-таки выпирает из меня наружу. Не задремать бы.

– Вы не волнуйтесь, – говорю я, едва приподняв ресницы. – я здесь посижу ещё несколько минут и пойду. В свой вагон.

Они ждут. А я медитирую, наблюдая смену света и теней на кроваво-красной изнанке собственных век.

Цыгане

"Мне нравится грубый здравый смысл, который обитает на улицах..."

Наполеон Бонапарт

В каком-то из городов. В Астрахани? В Краснодаре? Нет, скорее всего, в Воронеже – я иду вечером по правой стороне одной из центральных улиц. Не тепло, на мне плащ с вылезавшим из ворота шарфом. В руке – торт на верёвочке.

В одном месте тротуар перекрыт строительством. Красноватые металлические леса облепили рельефное серое здание. Тут же, под лесами – какого-то чёрта базар. Мешая уличному движению, прямо на проезжей части, рядом с тротуаром, торгуют цыгане. Не очень характерное для них занятие – продавать фрукты-овощи. Не иначе – где-нибудь наворовали. Огурцы, чеснок и помидоры разложены прямо на асфальте, на газетах. Газеты подмокают, всё это выглядит нечисто, но какие-то покупатели есть. Они создают ещё большую непроходимость. Ступаю влево и вниз с бордюрного камня и пытаюсь прорваться через лабиринт горлающих торговков. Обращаю внимание на карманы – всякое может быть. Почти уже вышел, но чуть не наступил на разно-

цветные перцы, которые почему-то рассыпались и раскатились уже без газет. То ли кто-то поддел ногой, то ли просто из рук выронили. Аккуратно переступаю через мелкие плоды, которые выглядят, как замызганные сироты среди чёрных блестящих луж. Я на воле. Но слышу в спину ругань и злобные шаги. Какая-то цыганка бьёт меня в спину. Оборачиваюсь, стараясь не помять торт. Ничего себе – молодая и хорошенькая. Среди теперешних цыган такое редко встречается. Да и насчёт былых времён – сомневаюсь. А эта – ишь как распалилась – ей едёт. Глаза пылают, и серёжки с бусами на ней позвякивают. Не удивлюсь, если окажется дочкой какого-нибудь барона.

Но тут я начал злиться. Она таки довольно больно ударила меня по поджилкам своим сапожком. Лепетала что-то насчёт того, что я раздавил её товар. А я ведь не давил – очень внимательно смотрел под ноги, нарочно ступал как аист – и на тебе. Я понимаю, что ей обидно, но это ведь не я.

Поскольку ни на какие рациональные уговоры она не поддавалась, я тоже начал орать. Мол, что это за безобразие – я ничего не давил, а меня обвиняют. Устроили здесь! Угроза общественной безопасности! Наносят телесные повреждения! Милиция! Немедленно! И в таком духе.

Мой напор её ошарашил, и она заткнулась на несколько мгновений, приоткрыв рот – зубы тоже хорошие, нет золотых. Зато другие – в большинстве гораздо в более старые и отвратительные на вид – торговки, подняли гвалт, как стая

рассерженных гусынь.

Я махнул на них рукой, как мог выразительно, и пошёл дальше. Мне в спину что-то полетело – возможно, тот же товар, который они подобрали из грязи.

– И испачканная одежда! – добавил я, оглянувшись и погрозив пальцем. – Милиция! – и прибавил шаг.

Я уже отошёл метров пятьдесят и миновал перекрёсток, когда меня нагнали два мужика, явно имеющие отношения к тому цыганскому базару. Один из них был невысокий и пожилой, и очень внушительного вида, несмотря на скромную одежду. Второй же – здоровила в оранжевой безрукавке, похоже, дорожный рабочий, которого я видел в паре с другим таким же, ошивающихся перед пресловутым базаром. Этот второй, явно не цыган, но мужчина выдающихся размеров, тут же, ничтоже сумняшеся, принялся дубасить меня своими ножищами.

– Бей его, бей, – приговаривал низкий. Он дышал с перебоями, и руки у него тряслись – надо меньше пить, дядя.

Я конечно старался уворачиваться от неприятных ударов. Хорошо ещё, что нельзя было сказать, чтобы бил он слишком профессионально. Работяга и есть работяга – заплатил он ему, что ли?

– Чего вы от меня хотите? – вырвалось у меня. И я застыдилса собственного сорвавшегося голоса.

Низкий не говорил, а приговаривал. Очень темпераментно. Хотя при этом отнюдь не терял выражения достоинства.

Мне бы так.

– Зачем ты её ударил? Она тебя била?

– Кто кого ударил? – пытался выяснить я, морщась от боли и всё же пытаюсь спасти торт.

– Она тебя ударила?

– Ну, да она, ваша, ударила. Я-то её не бил...

– Зачем бил? Вот он тебя бьёт. Ударь его.

– Не хочу я с вами драться, – признался я.

Я действительно совершенно не хотел с ними драться. Не только потому, что это было бесполезно, даже в случае каких-то моих успехов на этом поприще, к ним прибегут на помощь, а ко мне нет. Во-вторых, я был далёк от того, временами находящего на меня, состояния отчаянной ярости, когда мне уже всё равно с кем драться и каков будет исход. Они застали меня в минуту слабости. Увидев бьющую меня цыганку, я вспомнил *другую* – та не била меня и не ругала – но уж лучше бы била и ругала...

В конце концов, я получил по яйцам. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы пресеклось дыхание и потемнело в глазах.

– Зачем бил? Бей его, бей! Он тебя бьёт – ударь его. Почему не бьёшь? – низкий дышал мне в ухо дорогим перегаром – коньячок наверное употребляет.

– Да .. вашу мать! – завопил я, – отбегая в сторону. На глазах выступили жгучие слёзы. – Не бил я никого! Уберите от меня, ради Бога, эту гориллу! Не хочу я никого убивать!

И целым хочу остаться.

Но мои тирады, хотя и вырвались из глубины сердца, видимо, не произвели достаточного впечатления, и избиение продолжилось. Удивительно, что я ещё ухитрялся оставаться на ногах. Замечательно, что у издевающегося надо мной рабочего было очень честное лицо. Он, вероятно, совершенно искренне полагал, что делает нужное дело. Обидели невинную девушку, и всё такое... Я-то полагал, что вот такие среднерусские блондинистые лбы должны недолюбливать цыган, как и всех прочих «чёрных». Так вот нет, заглядывая в его голубые зенки, я убедился, что никогда не дождусь от него поддержки. Может, татарин какой? Скорее уж меня этот барон пожалеет – всё же есть в нём нечто интеллигентное, хотя, разумеется, и с криминальным душком. Но у нас – всё так.

Я получил по морде. Исполин выдернул у меня из пальцев коробку с тортом, синтетическая верёвка в кровь ободрала кожу. От нокдауна я плохо соображал, обзор заплывающего левого глаза стал стремительно сужаться.

– Зачем бил?

– Да не бил я, – выдохнул я обессилено.

И барон наконец заметил, что я плачу. Слезы текли сами собой, но я почему-то смотрел только на торт. Торт было жалко.

Можно было предположить, что мой честный избиватель попляшет на нём своим растоптанным сорок шестым, или – как это делают уважаемые мной укротители чванливых особ

– размажет мне сладкую кашу по физиономии – хоть попробую, что' я теряю. Или взял бы угостить, пострадавших в кавычках, цыганок.

Нет, он зачем-то взялся развязывать верёвку на торте. Тут ему пришлось отвлёчься, что дало мне приятную передышку. Затем он мельком заглянул внутрь, и, ничего не выразив на крупном убеждённом лице, бросил торт в заскорузлый придорожный сугроб. Даже не бросил, выронил. Торт упал и даже не раскрылся, лежал в самой некрасивой, незаконченной позе – такой же серый, как сугроб. Но его ещё можно было есть.

Я плакал.

Громила собрался мне добавить, он барон остановил его жестом. Они взяли меня с двух сторон под руки и куда-то повели – не в сторону базара. Я шёл и плакал – у меня не было сил сопротивляться. «Заведут в какую-нибудь подворотню и убьют», – мелькнуло у меня. Я оглянулся на торт, его уже не было видно. Наверно подобрали – тут народ голодный.

– А это ваша дочь? – спросил я спокойно.

Барон остановился и с интересом заглянул мне в лицо. Глянув на шефа, и громила с неохотой отпустил меня – а то ведь почти нёс под мышку, чуть руку не оторвал.

Я перестал плакать, но погрузился в какую-то непробиваемую грусть.

– А ты, что, влюблён? – вдруг спросил меня пронизательный барон.

– Да, влюблён, – ответил я честно. – Но не в вашу дочь.

Он окончательно отпустил мою руку и, отвернувшись, о чём-то на несколько мгновений задумался. После закурил, дорогую сигарету. Рабочий ждал.

Барон больше ничего не сказал. Он сделал наёмному бойцу знак гордой своей головой, и они пошли от меня назад, к цыганкам.

Я стоял, как в воду опущенный, и не оборачивался. Только зачем-то подумал, что надо всё-таки проверить – цело ли содержимое карманов. Но руки висели в стороны – как у орангутана.

Я бы ещё поплакал – да нечем уже было. Где-то под глазом выползла и запеклась кровь. Болело в паху.

В белёсых, не совсем цыганских, глазах барона, когда он уходил, было что-то брезгливо-сочувственное. И руки свои он слишком поспешно от меня убрал – как будто испугался заразиться. И я почувствовал себя зачумлённым. «Влюблён». Да, с таким уже ничего не поделаешь. Это не лечится. Такому не сделаешь хуже. Зачем бить дырявый матрас – разве что ради тренировки.

Интересно: насколько цело содержимое моих штанов? А то – какая уж тут влюблённость! Интуиция подсказывает, то всё-таки цело. Но шаги пока буду делать в раскорячку. Здо'рово я наверно выгляжу со стороны. Под ближайшим фонарём надо будет посмотреть, насколько я грязен.

Ловлю себя на том, что уже иду вперёд. С трудом, но иду.

И ловлю себя на совсем уж идиотской мысли – насчёт того, что всё-таки надо бы вернуться и посмотреть, что там с тортом.

Любовь

"Другие люди ей скорее требовались для расхода своих лишних сил, чем для получения от них того, чего ей не хватало..."

А. Платонов

Я сижу на эстраде, если это можно так назвать. Один из концов продолговатой большой комнаты, видимо, бывшей аудитории приподнят над остальным полом не более, чем на полметра. По этому возвышению раскиданы маленькие плотные подушки, здесь же стоят низкие прочные табуретки, которые, на самом деле, используются как столики для чая. Сидеть следует на подушках, как говорила моя бабушка, по-турецки или, как теперь принято говорить, в позе лотоса. Впрочем, по-настоящему замкнуть ноги кренделем тут мало у кого получается. Да и не затем здесь большинство посетителей, чтобы напрягаться.

Я сижу и смотрю на танцующих. Их пока немного, потому что я пришёл рано. Больше девушек – они танцуют восточные танцы – некоторые, похоже, самозабвенно, другие же явно для того, чтобы привлечь чьё-то внимание. Зрите-

лей, впрочем, почти нет. Не для меня же они, с самым деле, стараются?

Я закрываю глаза и пробую сосредоточиться. Ударные в этих композициях присутствуют специально для того, чтобы вводить в транс. Мне хочется забыть всё, что я оставил на улице. Мне хочется просто захотеть танцевать. Даже эротическое воображение сейчас мешает. Да и смотреть-то особенно не на кого. «Пум-пум-бум, пум-пум-бум ...» – бьют барабаны.

Как я попал сюда – особая история, и её скушно теперь рассказывать. Однако, обстоятельства моей жизни сплелись таким образом, что это должно было произойти. Чего хотело то меня Провидение?

Хорошо было бы, если бы человеку хотелось только танцевать и больше ничего не хотелось. Но, увы. Люди не умеют до конца раствориться в танце. Когда человек танцует один, ему не хватает ещё кого-то. А когда появляется этот кто-то, пара, вместо того, чтобы жить в сиюминутном ритме, начинает строить планы и вспоминать, как было раньше. Они стараются настроиться друг на друга, помочь друг другу, ну и, конечно, взять друг от друга всё, что возможно взять за это короткое время, когда соприкасаются тела.

Здесь, на этой странной дискотеке, встречаются довольно странные существа. У большинства из нас не всё в порядке в сексуальной сфере. Мы чего-то ищем. Здоровые люди приходят сюда ненадолго и, получив своё, уходят восвояси.

Если же кто-то ходит на эти вечера долго и регулярно – это уже диагноз.

Впрочем, ставить диагноз танцующему рядом с тобой индивиду строго-настрого запрещено писаными правилами сего заведения. Называется оно «Восточный дом». И мне теперь грезится, что в этом названии есть что-то астрологическое. Ну и что?

Пахнет сжигаемыми благовонными палочками. По дощатому полу бегают босые дети. Народу прибавляется. Вновь прибывшие разуваются и складывают свои сумки в ячейки у стены – кто-то остроумно устроил эти ячейки из поставленных друг на друга рядов откидных сидений. Дерматин на этих сидениях синий, а все остальные драпировки в комнате в красных тонах. На красных полотнах, украшающих стены, подобия звёзд и портреты гуру. Красный свет призван возбуждать страсть.

Я увидел её краем глаза третьего июня. Мы танцевали с кем-то из моих друзей. Толпились на месте в неторопливом темпе индийского песнопения. Я сразу её оценил, вернее, даже не её, а её живот. Она выглядела очень молодо, и длинные волосы были расчёсаны на прямой пробор. Она была маленькая, стройная, и что-то было *такое* в глазах. Здесь, да и вообще где бы то ни было, *такие* редко встречаются.

Я понял, что могу влюбиться. Но я ведь этого ждал. Всё во мне ждало этого. Я знал, что это может меня убить. Так, наверное, наркоман предполагает, что его убьёт следующий

укол.

Могло ли это не произойти? Я увидел её нос. Она держала голову немного вперёд, по-утиному. И нос мне не понравился. Я с облегчением вздохнул. Она не была настолько красива, чтобы я расплакался тут же, на месте. Но она была опасна. Я старался не смотреть на неё на протяжении вечера. Но всё равно смотрел. Вернее, я чувствовал её спиной, плечом, да чем угодно, где бы она ни была, и чувствовал, когда она отсутствует в комнате. Я подумал, что, наверное, всё-таки стоит пригласить её танцевать; но не теперь.

Любовь банальна. Она врывается в сердце, как стая гримл. Вот тебе уже завязали рот и глаза. Почти нечем дышать. И тебе наплевать, что' они уносят – лишь бы остаться живым. Но могут попасться садисты и начнут сдирать с тебя кожу.

Когда мы с ней танцевали, она отвечала на вопросы просто и ясно. От неё веяло девственностью и цельностью, даже, может быть, тупостью, той самой здоровой тупостью, которая так привлекает. Каково же было моё удивление, когда я узнал, что она побывала замужем.

У неё были странные взаимоотношения с жизнью, и в чём-то мы без сомнения сходились. Кто-то когда-то внушил ей, что у неё нет чувства ритма и она совершенно не может танцевать, и вот теперь она изо всех сил доказывает самой себе и всем остальным, что это не так. И у неё кое-что получалось. У неё получалось мило, хотя и однообразно. В ней была та самая опасная слабость, которая разит наповал.

Услышав эту струну, эту прорывающуюся глухим плачем струну обиженного ребёнка, я уже не мог отделаться от влечения слышать её снова и снова. Чего, собственно, я мог хотеть от неё? Мне нужна была любовница? Да, наверное. Видел ли я любовницу в ней...

Здесь вообще всё было не по-настоящему. Игра для взрослых – это меня бесило. Более, чем безопасный секс. Можно было прижиматься друг к другу, не опасаясь, что презерватив порвётся. Люди собирались от страха, от страха перед большой жизнью. Но ведь кто-то забредал сюда, чтобы найти спасение у этих испуганных людей.

Ты сожалела, что танцы тут не каждый день. Ты говорила, что когда танцуешь, отдыхаешь. Из-за *него* ты развелась с мужем, но ничего не вышло. *Он, кому* ты была готова отдать всё, бежал. *У него* уже была семья в другом городе. Я всё пытался себе представить, как это происходит у тебя, как *ты* любишь – и не мог. Все эти мальчики, твои мужья, возлюбленные и женихи, представлялись мне убогими бесплотными тенями. Да, наверное, они были красивы, красивее меня. Хотя мне это было смешно. Смех защищает. Да и не только поэтому я смеялся – смеялся я и над собой, смеялся над комплексом мужской некрасивости, который внушили мне моя мать и одна из моих подруг, моя первая женщина. Они хотели видеть меня другим. Но если бы я стал и в самом деле другим, я перестал бы быть самим собой, а только играл бы чью-то роль, чью-то чужую. Тогда и вся моя жизнь ста-

ла бы не моей, а жизнью какого-то изображаемого мной персонажа. Чаще всего, как на эталон, в таких случаях указывают на какого-нибудь киноактёра, среди которых и многие явно некрасивые кажутся весьма сексапильными. Слава Богу, я вовремя понял, что вовсе не хочу того, чего хотят от меня другие. До, я был жалок, но не более жалок, чем все эти кинофильмовские девичьи мечты. К чему менять шило на мыло?

Я хотел настаивать на своём, всегда настаивать на своём – чего бы мне это ни стоило. Побеждать – так самому, умирать – так самому. Я всегда гнушался каких бы то ни было авторитетов. Но как я мог понять людей, которые настолько боятся себя, что действуют всегда не иначе, как в масках, и от других требуют, чтобы те не снимали масок? Для всех это нормально. Это называется правилами общественного приличия.

Было ли в тебе что-то, чего не было у остальных? По проставии времени я мог уяснить, что часто влюблялся в девушек фригидных. И это не потому, что я бил наугад и таких вокруг оказывалось много. Просто стандартная женская сексуальность вызывала у меня подсознательное отторжение, такую тоску, а то даже и отвращение, какие может вызвать прямой бетонный канал. Если всё ясно, то собственно, что' не ясно? Что' тут ещё делать? Ту пресловутую таинственность, которую склонны напускать на себя плотски заинтересованные в мужском поле особы, они, как правило, почёр-

пывают в тех же фильмах и книгах, – и хорошо ещё, если им в нежном возрасте случайно попало под руку что-нибудь экзотическое. Одна моя бывшая любовь, читала повести про грузин и поэтому любила грузин и вообще кавказцев, а русских не любила – так во всяком случае она говорила. Меня она точно не любила. Но зато пыталась заниматься проституцией в общежитии ВГИКа с китайцами. Тогда у меня были все основания пожалеть, что я не грузин или – на худой конец – не узбек. Узбекам она тоже давала.

Незаинтересованность в мужских ласках моих любимых обманывала меня лишь потому, что я хотел обмануться. Что-то тут было не так. Было, за что бороться. Была надежда, что что-то изменится, пусть и чудом. Т.е. надежда на чудо. А если чуда ждать неоткуда, разве интересен весь этот процесс? Тут уж наверное следует употреблять ум, который расскажет тебе, как наилучшим способом обзавестись семейством и родить детей.

Я же желал жить сердцем. Я желал, хотя бы убедиться, что это возможно. Но пробовать любовь – так же чревато последствиями, как пробовать тяжёлые наркотики. Для того, чтобы долго выживать, нужна исключительная выносливость. Теперь я могу констатировать, что она у меня была. Однако, и я начал сдавать.

Мы сидели на месте бывшего розария под тёплым, но не кусающим августовским солнцем. Это была наша вторая

встреча за пределами «Восточного дома».

Мы пили красное вино, молдавское каберне. Закусывали мясом и хлебом. В основании высоких иссохших стеблей перед нами копошились многочисленные полёвки, тут же, то взлетая, то присаживаясь на грунт, сновали азартные воробы. Мы бросали им крошки, все были довольны – целая толпа птиц и зверей.

Мы сидели на горячих камнях, ты немного захмелела и что-то разглядывала там, под своими прикрытыми веками. Ты распустила губы и выглядела, совсем как замечтавшаяся школьница за партой. Но меня не было в твоих мечтах, хотя я и сидел рядом с тобой. Станным образом я не мог проникнуть в тебя, ты что-то думала, но думала не обо мне, а о каком-то воображаемом идеальном друге, поводом к мысли о котором я послужил. Ты спросила меня, что' я ценю в дружбе. Не помню, что' я ответил. А ты сказала, что ценишь в друзьях искренность и широту кругозора. Видимо, ты предполагала, что я потенциально отвечаю этим требованиям. Но что' ты собственно хотела со мной делать? Как с другом? Для чего я тебе мог бы сгодиться, если ты не видела во мне сексуального (эротического) объекта?

Когда мы сидели на камнях, я кроме всего прочего рассказал тебе об одном своём друге, который в сексуальном отношении так и остался ребёнком пяти-шести лет. Т.е. он мог отличить красивую женщину от некрасивой, так же как эстетически развитый человек может различать статуи. Он

понимал и любил ласку, но не более той, которую можно дать своим детям. Конечно, ему бы понравилось, если бы его погладили по голове. Он мог, расчувствовавшись, прижаться к кому-нибудь щекой или поцеловать руку. Физически он не был импотентом, но собственная эта способность вызывала у него недоумение, если не раздражение.

Странно, но ты выслушала мой рассказ с недоверием и даже как-то не очень пристойно хохотнула. Впрочем – это действительно редкая особенность, и трудно сказать, насколько она хороша – ты почти не умела смеяться. Это была, пожалуй, чуть ли не единственная попытка полноценного смеха, которую я у тебя наблюдал. Ты улыбалась. Да, часто, почти всё время, на твоём лице можно было заметить улыбку – не вымученную, как у профессиональных телеведущих – твоя улыбка была грустна и уже потому естественна. И вся твоя способность к смеху будто растворилась в этой улыбке. Ты стеснялась смеяться и не то вообще никогда этого толком не делала, не то так пугалась собственного неумелого смеха, что, едва услышав самоё себя, тут же замокала. Страшные басовитые нотки, вырвавшиеся тогда из твоей груди, в самом деле, могли изумить и оттолкнуть – в этом подспудном, загнанном в самую утробу, смехе было что-то плотоядное и необузданно пошлое. Это совершенно диссонировало с внешностью примерной наивной старшеклассницы – прямо-таки клякса на чистейшем гимназическом фартучке. Нужно ли мне было тогда насторожиться? Расслышал ли я

тогда сигналы из своего внутреннего центра?

Насторожился бы я тогда или нет – что бы это изменило? Ты и сама не без основания побаивалась своей глубины. А разве есть люди, которые самих себя совсем не боятся? Разве нормально, если молодая девушка совсем не смеётся? Что значит этот синдром Несмеяны? Уж недаром подобный сюжет затесался в сказку.

Если бы я мог быть беспристрастным аппаратом, таким луноходом, который изучает неизвестную планету при помощи разнообразных щупов и антенн... Но самое серьёзное осложнение, какое может возникнуть у человека, решившего удовлетворить своё любопытство, – боль. Но именно боль и, скорее всего, одна только она, служит ориентиром, когда в непредвиденных экстраординарных инопланетных условиях все остальные чувства отказывают.

Мало того, что придётся танцевать на битом стекле и ходить по раскалённым углям, ты должен быть готов ещё и к тому, что все эти твои страдания оценены отнюдь не будут. Потому что у жителей других планет всё по-другому, они над тобой даже не посмеются – пытались подражать землянам, но так и не научились и не поняли, зачем это собственно делается.

Ты сказала мне, что когда влюбляешься, самое маленькое, что тебе хочется сделать, – это выброситься из окна. На протяжении нашего знакомства ты пережила ещё один разрыв с любимым человеком – ты настаивала, что таковой человек

всегда является для тебя единственным и опять упоминала об окне. Вероятно, уже возникла привычка. Но ты честно призналась, что когда хорошенько выглянешь, – страшно. Я вот в детстве и ранней юности любил вешаться. По крышам тоже лазил.

Интересно, как всё-таки ты любила? Каким образом женщина может желать мужчину, если она никогда ещё не испытывала оргазма и не знает что это такое? Тем более физиологически ты уже не была девственницей. Или всё-таки был какой-то намёк? Может быть, это напоминало то самое, что было у моего не развившегося сексуально друга? Но тогда – из за чего такие трагедии? Я пытался припомнить свои детские ощущения, когда терял навсегда мою главную и единственную любовь. Мне снился сон, один из немногих снов раннего детства, которые я запомнил. Мать улетала на вертолёте, ей куда-то было нужно, в какую-то командировку, она вечно улетала... А я бежал за ней, цеплялся за верёвочную лестницу, которую не успели убрать, и, рискуя упасть, летел куда-то – всё равно куда! – вместе с матерью. Это был мой детский ужас, мои детские слёзы. Я хотел быть с матерью во что бы то ни стало – пускай даже она меня совсем не хочет. Но и мать прорывало, кажется, её таки прорвало в этом сне, она тоже плакала, беспощадное выражение на её лице таяло, как маска снежной королевы, она принимала меня в свои прохладные объятия – впрочем, никогда их температура не поднималась для меня слишком и даже достаточно высоко.

Я привык жить при умеренном климате. Мне всегда не хватало матери – до тех пор, пока я не почувствовал себя самцом. Старая моя боль сразу как-то отшелушилась – передо мной стояла совсем другая проблема.

Или, может быть, ещё это могло быть похоже на потерю любимой игрушки. Уж, помнится, я закатывал истерики по таким поводам. Ведь вместе с игрушкой теряется та любовь, которой её щедро награждали. Теряется как бы кусок тебя, потому что ты совершенно верно ощущаешь в детстве любовь куском собственной души.

Но, если ты не испытывала по отношению к своим любимым других желаний, кроме желания скромных поцелуев и поглаживаний, которые бы подтверждали их ответную расположенность, каким образом ты могла понять меня? Ты мне говорила о каком-то «сексуальном резонансе», который у тебя возникает, когда некоторые особи мужеска пола берут тебя за руку. Или даже ты можешь вообразить, что вот если этот определённый человек возьмёт тебя за руку, у тебя возникнет «сексуальный резонанс», а если другой – то нет.

По-русски говоря – побежит мурашек или не побежит. Примерно то же самое я слышал по телевизору от одной бывшей известной спортсменки, которая, похоже, благополучно дожив до преклонных лет, так и осталась фригидной, о чём, впрочем, решила совсем забыть – потому что жизнь ведь и так удалась. Был ведь у неё мурашек, а у других, может быть, и мурашка не было. Вот, и судя по плодам своим, она реша-

ет, что всё, что *надо*, у неё было и она теперь может чему-то научить других.

Как бы там ни было, ты не любила меня. И не любишь. Наверное – всему виной моя внешность. Не красавец. Во всяком случае, мою привлекательность никак не назовёшь стандартной. На любителя. А ты вот любительницей не оказалась, хотя я заметил, что тебе очень хотелось бы быть во всём оригинальной. Это правильно – раз уж Бог дал тебе какую-то оригинальность, почему бы не довести её до совершенства?

Я от тебя услышал три наимилейшие фразы: «У тебя ничего не получается», «У тебя не было выбора» и «Я тебе ничего не обещала». Всё это и правда и неправда. За то время, пока мы общались, положение с искренностью почему-то постоянно ухудшалось. А если говорить о широте кругозора – тут мне пришлось убедиться, что у тебя с ней совсем плохо. Но хотела ли ты на самом деле расширять свой кругозор? Как далеко распространяется твоё любопытство?

Теперь, когда я хотя и устал и изливаюсь остатками жёлчи, но не перестал любить тебя, что-то изменилось в тебе? Я узнал, что ты перестала быть фригидной, об этом мне сообщила твоя подруга, лучшая и единственная. Мне не понятно было, радуется ли она этому обстоятельству или сожалеет. Ну, раз ты всё-таки испытала доступное человеку удовольствие от полового сношения, может быть, и мои претензии перестанут казаться тебе такими уж несносными?

Конечно – я никогда не стану твоим единственным – это ты правильно сказала. Но я-то хочу стать твоим неединственным. А если бы и хотелось мне запечатлеть свою единственность в твоей душе, то, во всяком случае, уж не в сексуальной сфере.

Говорит ли во мне надежда? Ожидание чего-то? Мой друг нагадал мне на картах Таро трансформацию через вялость и двойственность чувств. Если карты не врут, впереди меня ждёт победа. Не то, чтобы эти посулы вселяли в меня слишком большой энтузиазм, но если продолжать действовать в выбранном направлении, одно из двух должно случиться: победа или смерть. Смерть, конечно, всё равно будет в конце концов, после любой победы; посмертные поражения и победы – не в нашем ведении. Но *здесь* – я чего-то должен достичь – может быть, только благодаря тому, что сумел сублимировать свою страсть к тебе. Т.е. господа психоаналитики могут радоваться, делая вывод, что все эти строки – ничто иное, как сгущённая и высохшая сперма.

Вообще, гадание – большой грех. И я проявляю непростительную слабость, заглядывая в будущее. Слабое извинение и то, что друга своего я вслух не о чём таком не просил. Честнее было бы ничего не предполагать наперёд. А ещё лучше – знать о неизбежности поражения и, тем не менее, выйти на поле брани и сражаться, не сдаваясь, до самого конца. Если победишь в этом случае – вот уж победа будет, так победа! Не так ли было у Христа?

Гадание похоже на фарисейство. То, что запечатлено и написано, – уже стало буквой. Если остаётся только выполнять предписания – где свобода?

С другой стороны, когда тебе предрекают поражение, а ты всё-таки очевидным образом побеждаешь, – способна ли принести такая победа человеческое удовлетворение? Поскольку *ты* не мог победить, побеждает кто-то другой, пусть другой *ты*, и тому *тебе*, возможно, уже совершенно не нужно то, что так жгуче было необходимо *тебе* предыдущему. За что же и для кого ты боролся?

Не имея надежды победить и всё-таки побеждая, можешь ли ты быть уверен, что это *твоя* победа?

Заканчивая эту главу, я ловлю себя на том, что все внешние перипетии любви потрясающе неинтересны. Что может быть поучительного в том, что кто-то с кем-то почему-то отказывается переспать? Уж лучше – разнузданные фантазии маркиза де Сада! Скучно, конечно, тоже, в конце концов. Но это – в конце концов! И кто-то может вполне удовлетворительно использовать книгу как пособие при мастурбации. Раньше ведь не было порнофильмов!

Каждому человеку когда-нибудь хочется убить другого. И это тоже мне ты сказала. О! Как я хотел тебя убить! Всего-то – свернуть эту тонюсенькую, слабенькую шейку. Мне бы понадобилось одно резкое движение. Я даже представлял, как бы хрустнули твои позвонки – не позвонки, а хрящики ка-

кие-то! Но, может быть, не сделал я этого только потому, что понимал – облегчение наступит лишь на секунду. Чем не оргазм? Я не хотел тебя изнасиловать – именно убить. Нет человека – нет проблемы, – как любят говорить злодеи в фильмах.

Но каким образом люди справляются с подобными ситуациями в цивилизованном обществе? В так называемом первобытно-общинном или даже рыцарском – я бы за методами в карман не полез. Кто-то использует длинный доллар вместо длинной шпаги и члена... Разве что – попробовать мне добиться формальной славы, а потом утонуть, как Мартину Идену? Поздно! Возраст уже не тот – следует о душе подумать.

И, однако, меня не покидает ощущение, что мы с тобой находимся на одной дороге. Дорога белая и прямая, и почти никого на ней нет. Я только ушёл далеко и теперь оттуда смотрю назад, потому что одному мне там, впереди, скучно и одиноко, – это так естественно. А ты ко мне не торопишься – шаришь зачем-то по обочинам, идёшь по перпендикулярам, получаешь там по физиономии и возвращаешься на «финишную прямую», но до финиша... Ох, как далеко! Вернуться, что ли, опять за тобой?

Оттого грустно, что я могу умереть, ты – подурнеть и состариться. Я могу вовсе забыть тебя. Ты пройдёшь рядом, мимо, – а я не замечу. Может, так и надо?

Пока ещё есть надежда. Маленькая-маленькая – но всё-

таки есть. Сказать, что я ею живу, – будет преувеличением; но и отказаться от неё совсем – я не имею сил. Вот поёт птичка за окном, а зачем и для кого – кто знает?

Тром

*«А если меж строк
Есть смысла намёк,
Тогда нам удача!..»
И.В. Гёте*

Нам было лет по десять. Это как раз был тот год, единственный в моей школьной жизни, когда пришлось учиться во вторую смену.

Не могу вспомнить своего тогдашнего приятеля. Напрашивается несколько кандидатур, но когда я представляю каждого отдельно, мне кажется, что это был не он. Возможно, был кто-то такой, кого я сейчас не могу вспомнить. Хотя у меня такое чувство, что помню я почти всё, чувства могут обманывать. В том-то и дело, что невозможно вспомнить то, что напрочь забыл. Этого забытого как бы уже не существует.

Можно предположить, что это было одна из тех мимолётных детских дружб, которые разгораются так же быстро, как потухают. Может быть, мы случайно встретились на улице; и ещё это может быть связано с местом жительства: кто-то к кому-то приехал в гости, мы погуляли с этим кем-то денёк и

больше уже не виделись никогда.

За нашей школой был переулочек, а за переулочком двор, образованный единственным п-образным домом. Дом раскрывал навстречу школе свои объятия. Однажды, весенним утром, мы играли на школьном дворе – швырялись как бумерангами п-образными металлическими рамками из раскученного трансформатора. Каждому из нас очень хотелось, чтобы его метательный снаряд хоть разок вонзился ребром в дерево. Дело в том, что мы нашли эти, уже кем-то брошенные, «боеприпасы» рядом с ясенелистным клёном, в развилку которого была глубоко всажена железная «буква». Мой товарищ с трудом выдернул её оттуда – это какую ж надо силу и меткость иметь, чтобы так пулять по деревьям? Мы уже заочно восхищались этим Робин Гудом. Хотя, скорее всего, это просто был какой-нибудь хулиганистый мальчишка постарше, который при встрече мог бы запросто нас обидеть. Да и железяку в дерево он, очень может быть, вбил специально камнем.

Наши бумеранги не были столь успешливы, и если не летели вовсе мимо цели, всфыркивая в воздухе как воробышки, то с жалким дребезгом отлетали, плашмя ударившись в непреступный ствол. Наука метания плохо нам давалась, или снаряды были не те. Словом, несколько соскучившись от неудач, вдоволь исцарапавшись и измаравшись ржавчиной, мы решили посетить следующий двор.

Мой приятель уже издали заметил там нечто инте-

ресное. В правом углу кирпичного "п" маячила какая-то невзрачная фигурка, она словно пританцовывала и переминалась с ноги на ногу. В этот час народа на улице почти не было, редко-редко хлопала дверь подъезда, и кто-то из взрослых удалялся из дома поспешным шагом. А это существо никуда не торопилось. Мой зоркий друг разглядел, что оно женского пола и, усмехнувшись, сделал предположение, что эта тётка чокнутая. Обоим нам уже тогда, похоже, было не впервой иметь дело с сумасшедшими людьми.

Я свои железяки все в сердцах выкинул, а у напарника моего ещё потела в руках небольшая стопочка. Он предложил использовать странную тётку в качестве живой мишени, я не одобрил. Он всё же бросил одну или две железки в ту сторону, но только чтобы слегка позлить меня, – отсюда они всё равно бы ни за что не долетели.

Приятель мотнул головой, приглашая меня приблизиться к «объекту». Я был менее решительным и более домашним ребёнком, чем он, и потому часто, пусть и нехотя, вынужден был следовать в русле его затей. Улицу он знал и чувствовал лучше меня – я вынужден был признавать его первенство.

– Только ты не кидай в неё ничего, – сказал я, когда мы приблизились на опасное расстояние.

Улицу я знал плохо, но подраться мог. Поэтому мой товарищ решил на этот раз послушаться меня.

Существо притоптывало на месте от нас метрах в пяти, рядом с ним поблёскивало на изменчивом солнце новая во-

досточная труба, которую уже, однако, успели местами помять, извлекая наружу сыпучую ледяную крошку. На дворе был конец марта или самое начало апреля, лёд под трубой дотаивал. Рядом с чернеющей лужей прихотливо бродили и возбуждённо мурлыкали настроенные на спаривание голуби.

– Она чего-то бормочет, – сказал приятель.

– Это голуби, – сказал я.

Он прислушался.

– Нет, она.

Любопытство наше разгорелось, мы подошли ближе. Существо на нас никак не реагировало, можно было не опасаться каких-либо выпадов с его стороны. Мы же огляделись по сторонам, как преступники готовившиеся к грабежу. Никого не было, весенний воздух звенел, вдалеке ухали машины. Хлопнул подъезд в отдалённой от нас «ножке» дома, но некто умчался так быстро, что мы заметили только мелькнувшую спину.

Мой друг подошёл к объекту почти вплотную.

– Точно что-то говорит. Губы шевелятся, – сообщил он.

– А что? – поинтересовался я, из опасливости сохраняя дистанцию метра в два.

– Чего-то такое – «трюм, трюм, трюм...»

– Да ну? – я подошёл ближе и нацелил на голову тётки левое ухо.

«Трюм, трюм, трюм...» – послышалось мне, «р» было тихое и слегка картавое. Звуки, издаваемые существом и в са-

мом деле несколько напоминали голубиное воркование.

– Слушай, а она нас видит? – спросил я.

Он помахал рукой перед самым её носом, она никак не отреагировала.

– Не-а, – приятель повернулся ко мне и пожал плечами – мол, что делать будем?

– Как думаешь, зачем она здесь стоит. – спросил я.

– Из сумасшедшего дома сбежала, – сделал приятель дельное предположение.

Существо, действительно, представлялось абсолютно лишённым разума. Может быть, оно воображало себя птицей?

Я задумался. А приятель тем временем уже успел слегка подёргать тётку за нос.

– Ты что делаешь? – испугался я.

– А что?

– Она же всё-таки человек!

Приятель наградил меня изумлённым взглядом – мол, правда, что ли?

Слегка ханжеское негодование, привитое родительским воспитанием, боролось во мне с вполне естественной садистской любознательностью. Вторая, однако, побеждала – такой случай!

– Слушай, давай её посмотрим, – сказал приятель – он просто читал мои мысли.

Тётка была совершенно невыразительная. Невозможно было запомнить черты её лица, одежда тоже была серая и

затёртая – какой-то выдавший виды плащик, приспущенные грубые чулки, туфли со сбитыми каблуками и задранными носами, на голове шапочка, собранная в резинку, такого же грязно-бежевого цвета как плащ. Из-под шапочки выбивались, свалявшиеся сосульками, бесцветные, возможно, когда-то светло-русые, волосы. Когда я теперь пытаюсь воссоздать в памяти тот образ, я не могу наградить его возрастом более, чем тридцать пять лет. Весьма вероятно, что «тётке» не было и тридцати. Но безумие и скудная жизнь очень состарили её. Вернее, у неё как бы не было своего возраста, он был не важен – так как возраст привязывает человека к каким-то социальным обязанностям. Сначала нужно быть ребёнком, подчиняться родителям, ходить в школу, потом жениться или невеститься, добиваться взаимности, потеть в постелях, рожать детей, укреплять семьи, зарабатывать деньги; стареть, получать пенсию, заботиться о внуках, болеть, пить лекарства и ложиться в гроб, чтобы тебя оплакали и закопали.

Ничего этого сумасшедшей уже не нужно было. Она растворялась в воздухе, оставались одни глаза – тоже бесцветные, как воздух.

И всё-таки мы не ошибались, она была женского пола. Хотя – и довольно отвратительна на вид, и пахло от неё неприятно, не то, чтобы мочой, но скорее больницей и какими-то залежалыми тряпками. Несмотря на всё это и благодаря её очевидному безумию, мы могли с ней делать почти всё, что

захотим.

Друг мой был человеком действия, это я – всю жизнь склонен растекаться мыслями по дереву. Он уже начал тётку раздевать – пуговицу за пуговицей, сперва плащ.

Я затаил дыхание, сердце у меня бешено колотилось. Я понимал, что мы делаем что-то недопустимое и крутил загнанно головой, пытаюсь заметить какого-нибудь случайного свидетеля. Никого не было. Солнце поблестело и скрылось за тучу, напустив на наше преступление благосклонную тень. Всё звенело, голуби похотливо бормотали и чуть ли не тёрлись о наши ноги, как домашние кошки. Тётка продолжала произносить своё бессмысленное «тром». Её остановившиеся глаза были устремлены в несуществующую даль, они висели как кусочки студня в пустоте землисто-бледного лица.

– Ну, – спросил я, – что там? – голос предательски срывался.

– Щас, – друг настойчиво старался разобраться с какими-то сложностями у тётки за пазухой.

Тётка переминалась с ноги на ногу всё в том же ритме, руки её висели как плети, кисти не выглядывали из обтрепанных рукавов. Она не только не делала никаких попыток к сопротивлению, но, казалось, и вовсе ничего не замечала.

– Может, отвести её в подъезд, – предложил я, сгорая от трусости и волнения.

– Погоди! – отмахнулся занятый делом друг.

– Ну что?

– Да ни фига!

– Как ни фига?

– Иди сам посмотри.

Я заставил себя подойти, хотя ноги не шли, а глаза закрывались – словно я должен был сейчас увидеть ужасающе страшное.

– Ну? – спросил теперь друг.

– Что ну? – я ничего не видел.

– Видишь что-нибудь?

Я отрицательно помотал головой.

Друг засунул руки за пазуху тётке так глубоко, что можно было подумать, что он шарит у неё внутри живота.

– Нету там ни фига, – убедился он. Он был разочарован, ему хотелось плюнуть.

"Тром, тром, тром", – монотонно бормотала тётка.

Друг разозлился и начал вынимать у неё из-за ворота какие-то тряпки.

– Бинты, – догадался я.

– Похоже, – сказал друг.

Уже метра два грязного широкого бинта валялось на щербатом асфальте. Друг продолжал тянуть. Тётка никак не реагировала.

– Всё танцует, – сказал друг и замахнулся на неё кулаком.

– Но не может же быть, чтобы у неё совсем ничего не было, – усомнился я.

– А ты сам иди посмотри. Что боишься? Чего опять убе-

жал?

Упрёк был справедлив и оттого подействовал особенно болезненно. Я напустил на себя нагловатую решимость и принялся вытряхивать из тётки бинты, взявшись за работу обеими руками. Это было весьма неприятно, потому что бинты эти могли быть испачканы и гноем, и калом. Меня подташнивало, но я держал марку.

– Смотри за шухером, – приказал я другу деловито.

Друг понимающе кивнул – теперь я ему нравился.

– Там фартук ещё какой-то, – сказал я, вытянул и бросил бесцветный застиранный фартук с прорванным карманом посередине.

– А в кармане что? – спросил друг и тут же полез в карман. – Фу, вата какая-то! – он гадливо выбросил вату.

– Знаешь, мне что-то противно, – вдруг сказал он. – Того гляди, сблую.

Я-то думал, что один такой нежный.

Он отдалился на несколько шагов и стоял там, отвернувшись.

– Ну что, нашёл что-нибудь? – спросил он через некоторое время, не поворачиваясь. Судя по сдавленному голосу его в самом деле тошнило.

А я наоборот что-то разошёлся.

– У неё сисек нет, – сказал я.

– Я тебе говорю, нет, – подтвердил друг.

– А что у неё вообще есть? – я продолжал терпеливо рыть-

ся внутри тёткиной одежды, ничего так толком не обнаруживая, т.е. никакого тела...

Там одни тряпки поганые! – констатировал друг и сплюнул. – Пойдём, – он не на шутку расстроился.

– Сейчас, – я потянул очередной узел. Должны же были когда-нибудь кончиться эти бесконечные одежки.

– Она как кочан, – сказал я.

– Хорошо не лук, – сказал друг.

– Какая-то тесёмка, – сказал я, вытягивая желтоватую сальную верёвку.

– Пойдём, брось! – позвал друг.

Мне тоже стало вдруг невыносимо противно, тошнота всерьёз подкатила к горлу. Я бросил тесёмку, как дохлую змею.

Растрёпанная тётка всё также упрямо танцевала и тромкала.

Собравшись, я подошёл к другу и, как ни в чём не бывало, хлопнул его сзади по плечу. Он вздрогнул.

– И не тётка это вовсе, – сказал он.

– А кто же? – с неприязнью и страхом я оглянулся.

Вдруг мне представилось, что существо это может сорваться с места и вцепиться в нас зубами, как бешеная собака. Хотя, были ли у него зубы – не разглядел. Но ей (ему) теперь было за что нам мстить. Возможно мы разгадали его тайну...

– Бежим! – сказал друг.

Крупная дрожь пробежала у меня по телу от пальцев ног до макушки, на затылке и шее она выступила крупными мурашками. Мы бежали, летели – через школьный двор – и дальше, к себе домой. «Тром-тром-тром», – приговаривало сзади бессмысленное несуществующее существо. На пальцах и в ноздрях остался его запах, обескураживающий запах пустоты.

Я вытирал руки о штаны и старался отдышаться.

– Тром! – заорал мне в самое ухо, быстрее меня опомнившийся и успокоившийся друг.

Я весь похолодел и прикусил себе язык. Хотелось ответить шутнику затрещину, но сил не было, ноги ватные, во рту сухо...

– Слушай, – спросил я, – а она там есть?

– Пойди проверь, – предложил глумливый друг.

– А она вообще была?

Друг пожал плечами.

– А что значит «тром»?

Он опять зябко пожал плечами. Ему уже явно нетерпелось сменить тему.

Я решил и понюхал свои ладони, поплевал на них и принялся яростно их оттирать об полы куртки и штаны.

Непослушная

«Глаза их должны быть скромно опущены книзу и они не

должны ничего петь и ничего говорить...»

В. В. Розанов

Это был солнечный весенний день. Я стоял в очереди за фруктами и овощами в свой любимый ларёк. Стоять не очень-то хотелось, лучше было пойти в лес и посмотреть не первоцветы. Впрочем, первоцветы росли и совсем неподалёку, на газонах, в тех их частях, где не слишком часто ступала нога человека. Мать-и-мачеха уже доцветала, но в самой поро был чистяк весенний, а в каких-нибудь тридцати метрах от ларька, ни кем не замеченный, обосновался гусиный лук. Я жил в таком районе, куда простиралось дыхание леса, да и жители кое-где подсаживали что-нибудь экзотическое. За ларьком была небольшая асфальтовая площадка, а за ней наискосок стоял дом. В доме были магазины, в том числе продуктовый, где продавалось и спиртное. В связи со всеобщим весенним настроением люди пили уже днём.

Одна тётенька, лет шестидесяти с хвостом, подошла к нашей небольшой медленной очереди и обратилась к стоящим непосредственно за мной:

– Мальчики, у вас не будет двух рублей?

Я оглянулся. Обоим «мальчикам» было на вид вряд ли меньше семидесяти. Меня тётенька по молодости проигнорировала. Они принялись рыться в карманах, но двух рублей так и не нашли. Разбитной даме, однако, уже кто-то успел прийти на помощь. Её позвали и она, кокетливо усмехнув-

шись, упорхнула к ближайшей скамейке, где сосредоточенно дожидались её собутыльники.

Мужики сзади синхронно закурили; поневоле вдыхая вонь дешёвого табака, я в очередной раз испытал наплыв желания смыться из этой очереди по добру по здорову. Однако, в большинстве случаев я всё же стараюсь доводить свои дела до конца.

Пока я морщился, из-за дома с магазинами справа появилась ещё одна немолодая особа. Уверенными, хотя и неверными, шагами она направилась по прямой к давешней просительнице, которая всё не могла успокоиться и мелькала возле дверей магазина по каким-то своим алкогольным делам.

Между первой и второй дамами завязался весьма оживлённый и даже излишне эмоциональный разговор. Все мы, стоящие в очереди, от нечего делать наблюдали это бесплатное шоу.

Не сразу до меня дошло, что вторая старушка является матерью первой и пришла за тем, чтобы вернуть в семенное лоно своё непослушное чадо.

Необходимо сказать, что дочь её имела вид слегка испитой, но весёлый, была вполне уверена в себе и, предположительно, отнюдь не нуждалась в каком-либо дополнительном руководстве.

Однако, мать по-видимому так не считала. Поведение великовозрастной дочки возмущало её тем больше, чем солид-

нее чувствовала она себя в своих летах, и вот она вышла из дома, чтобы подобающим образом обличить недостойную наследницу перед обществом.

Дочка, облачённая в легкомысленный ситцевый сарафан (модель устарела лет двадцать назад и уже тогда была ей не по возрасту), побежала навстречу разгневанной родительнице, тем самым предотвращая её приближение к лавочке, где на солнышке в предвкушении пира расположилась питейная компания. Ей было неудобно за мать, и, видимо, она опасалась, как бы та начала отчитывать на публике не только её самоё, но и, якобы соблазняющих на не непотребные поступки, друзей и подруг.

Они сошлись метрах в десяти перед нами на ровном асфальтовом поле. Причём мать успела лишь на несколько шагов выйти из тени, отбрасываемой девятиэтажным зданием; а дочь подросла с солнечной стороны. Обе явно рассчитывали на сочувствие и поддержку зрителей. Старушка, топчась восьмёрками на месте, сторбилась и захромала несколько сильнее, чем это соответствовало её состоянию. Я успел заметить, как она бодро передвигалось в тени.

Старушка и раньше уже что-то говорила, но нам из-за расстояния было плохо слышно. Теперь же, оказавшись как бы на авансцене, она громко и отчётливо повторила заготовленную фразу:

– Матери девяносто лет!

В паузе воробы на придорожном кусте сирени зачирика-

ли тоже несколько громче обычного, и это прозвучало как овация.

– А она пьёт! – сокрушённо добавила справедливая мать. Это начало не могло не тронуть.

– Мама, идите домой... – начала, несколько запыхавшаяся от пробежки, дочка.

– Матери девяносто лет. Иди домой! – приказала мать. В тоне её было столько возвышенного негодования, а подбородок так патетически трясся, что я опустил глаза..

Но и дочь была не лыком шита. Расставив ноги для устойчивости и уперев руки в боки, она коротко оглянулась на публику и с достоинством произнесла:

– Мама, идите домой. Мы вам специально купили квартиру. Сидите дома.

– Иди домой! Сиди с матерью! – старуха вскинулась и возвысила голос.

Она рвалась вперёд, чтобы её было лучше видно. Но дочка умело отгораживала нас прыткую старушку, представляя на обозрение свою ещё довольно крепкую спину. Вообще они сейчас были похожи на боксёров, переминающихся на ринге вправо-влево, как около невидимой черты.

– Матери девяносто лет, а она пьёт, – высунув голову у дочки из-под мышки, ещё раз сообщила бабуля.

– Мама, чего вам не хватает? – потеснив соперницу грудью, громко, но спокойно спросила дочь.

– Матери девяносто лет... Иди домой!

– Идите домой.

И так далее и тому подобное.

Представление, надо сказать, немало развлекло скучающую очередь. Деда, к моему облегчению, перестали курить, а те, кому не видно было из-за ларька, даже оттянулись назад, рискуя уступить кому-нибудь своё долгожданное место.

Птицы пели. Воздух веял солнцем и прохладой. Налитые почки сирени готовы были прорваться цветами.

Дочь, как более молодое и мощное существо, всё же победила в этой интригующей схватке. Она постепенно затолкала противницу в тень своим цветастым застиранным животом. Но мать отступала с неохотой, огрызаясь и стреляя весьма ещё острыми глазами в сторону скопления народа.

Все мы, разумеется, поняли, что ей целых девяносто лет и дочь – по её мнению – должна сидеть с нею дома.

А дочке явно весна в голову ударила – тоже ведь имеет право. Отчего бы не выпить погожим деньком в хорошей компании? И потом – когда тебе самой уже хорошо за шестьдесят, неужели ещё необходимо продолжать слушаться родителей?

Я прикрыл глаза и попытался представить себе жизнь этих людей. В ушах ещё звучали, отдающиеся эхом, немолодые женские голоса. Дочь нарочито громко смеялась, вернувшись к своим знакомым и, возможно, уже чокаясь с ними за материно здоровье. А оставшаяся в небрежении мать шипела как змея, скрываясь за тёмным углом дома. Напоследок

она таки убедительно потребовала, чтобы дочь вернулась домой не позднее, чем через полчаса. И дочь почти обещала – может быть, правда, только для того, чтобы отвязаться...

Я улыбнулся и загрустил. В этой жизни было столько вопиющей нелепости. Однако, девяностолетняя бабка жила и бегала на зависть многим, и у неё были свои желания. Те самые желания, которых, как считал Чехов, так не хватает интеллигенции.

Зверушка

«Сидел в корзине зверь...»

Д. Хармс

Я тогда работал плотником. Ну, не совсем плотником – потому что плотник из меня, если честно признаться, не намного лучше балеруна. Как бы там ни было, я помогал одному более квалифицированному товарищу с ремонтом частных дач и т. п.

Однажды мы ехали на одну такую дачу. Мне пришлось разместиться в открытом кузове и прятаться от глаз нехороших гаишников. Хорошо ещё, погода была прекрасная – дело было в мае. И чего только не было в этом самом кузове! Погрузили туда всё это без нашего с напарником ведома, и можно было с немалыми основаниями подумать, что хозяин всех этих вещей сумасшедший. В передней части был гор-

кой свален сырой некачественный песок. Вообще-то песок мог понадобиться нам, например, для устройства в саду дорожек, но совершенно непонятно было, зачем тащить его за город из центра Москвы. Похоже было, что наш клиент обворовал песочницу в собственном дворе.

В оставшейся части кузова помещался я, укрываясь хозяйской рогожкой – отвратительно заскорузлым куском брезента, от которого в разных местах исходило не менее десятка разнообразных запахов, ни один из которых, однако, я бы не назвал бы приятным. С краю были беспорядочно навалены инструменты. Молоток и отвёртка подпрыгивали на каждой кочке, и мне несколько раз приходилось ловить их, чтобы они не угодили в широкую щель под задним бортом. Чтобы сберечь эти предметы, мне приходилось обнаруживать себя нередко вблизи милицейских постов. В конце концов, я плюнул и предоставил чему бы то ни было вываливаться в своё удовольствие. Наверняка. Мы что-то потеряли. Удивительно ещё, что не всё.

Рядом с убегающими инструментами, ближе к центру экипажа, лежали какие-то ячейки, нечто, явно стянутое с производства – наподобие квадратных упаковок для яиц, только большего размера. В этих ячейках лежало всё что угодно – карманные фонарики, картонные ведёрки, погремушки, тряпки, бумажные свёртки и, в том числе, действительно яйца, уже готовые и облупленные, скорее всего фаршированные. От тряски некоторые из этих яиц развалились пополам, и

их содержимое перемешивалось с грязью. Очевидно, хозяин собирался потчевать нас всем этим по прибытии на место. Я бы пожалел, что взялся за эту работу, если бы мне не было лень, – к тому же, товарищ всю ответственность за переговоры, равно как и большую часть платы брал на себя.

Последний заметный предмет дополняющей и заканчивающей шизофреническую композицию кузова, был башенной клеткой, годящейся скорее для южно-американского попугая, чем для странной меховой зверушки, которая в ней сидела. Клетка была очень старая, с измызганными, проржавевшими прутьями, находилась она от меня напротив, в противоположном заднем углу, через инструменты. Зверушку было плохо видно, но я подумал, что это наверно хорёк. Во всяком случае, виделось что-то коричневое с белыми усами. Что-то меня в этой моей попутчице настораживало, отчего-то не хотелось мне к ней приближаться и разглядывать. Хотя я люблю животных. Но, когда клетка подпрыгивала, зверушка реагировала как-то неестественно. Хотя могу ли я быть уверен, что знаю, как должны естественно реагировать млекопитающие в скачущих клетках?

И главное обстоятельство, предотвратившее наше сближение, – вонь. От клетки разило так, что это вполне перекрывало, благоухания брезента и выхлопные газы. Казалось, зверушка уже издохла, и если я имею дело с духом, то отнюдь не со святым.

Почему-то нам необходимо было заехать ещё на одну

квартиру. Что-то там хозяин забыл. Ну, что ж, похвально, не стоит порожняком гонять машину – брать, так всё сразу. Только бы на сей раз не подложили мне в качестве компаньона маринованного слона.

Мы остановились в каком-то дворе, среди уныло взирающих с высоты серо-жёлтых сталинских зданий. Машина последний раз дёрнулась перед тем, как мотор окончательно заглох, и от этого содрогания окончательно отвалился задний борт. Передние колёса резко въехали на какую-то горку, а потому по наклонной плоскости вниз поехали инструменты и клетка со зверем. Клетка упала, раздался хруст. Я выглянул из кузова: прутьяной свод валялся там отдельно от безжалостно загаженного изнутри дна. Зверушки не было.

Хотел было сообщить об этом хозяину, но в кабине уже никого не было. Убежали, не оглядываясь, очень спешили.

Наконец, можно было размяться. Я вдоволь покряхтел, потягиваясь и массируя руки и ноги. Неподалёку на скамейке сидела пара весьма преклонных лет, они с любопытством смотрели на меня; потом я понял, что не только на меня. Там, перед ними, находилась потерянная зверушка. Я спрыгнул на землю, таки слегка подвернув ногу, подобрал клещи, рубанок, несколько гвоздей и, прихрамывая, пошёл к старичкам. Они оживлённо приподняли лица мне навстречу. Зверушка распласталась в пятнах света на утоптанной земле и не подавала признаков жизни.

– Она умерла, – сказала старушка.

– Это хорёк, – сказал старик.

– Здравствуйте, – сказал я.

– Это ваша? – спросила старушка.

– Да нет, – полуответил я, осторожно наклоняясь.

Зверушка еле слышно шипела, как испуганная змея.

– Это какой породы зверь? – спросил дед.

– Не знаю, – сказал я, на всякий случай, убрав нос подальше от отороченной жёлтой пеной пасти.

– Может, какой-нибудь хонорик, – сказал я, подумав.

– Ханурик? – переспросила бабка.

– Нет, хонорик – помесь хорька и норки. Хотя, возможно, ханурик именно от него произошёл. Или наоборот.

– Как интересно, – сказала бабка.

– А он не кусается? – спросил дед.

– Пока не знаю, – сказал я.

– А он у вас выпал? – спросила бабка.

– Ну да, – я вернулся к машине и, морщась от отвращения, на вытянутых руках перенёс к скамейке то, что осталось от клетки. Хонорик, если это был он, за это время ни разу не шелохнулся.

– А может это енот? – предположил дед.

Я присмотрелся к зверьку.

– Может... Хотя...

Зверёк вообще ни на что не был похож.

– Ка'к вы его теперь хотите обратно засунуть? – от участливости старик со старухой уже вскочили на ноги, от их за-

ношенных плащей пахло прошедшим временем.

– Если бы я знал, – признался я в своей несостоятельности.

– Его надо чем-нибудь покормить, – сказала бабка.

– Разумно, – сказал я и пошёл к ячейкам со съестным.

Вдруг хонорик дёрнулся и чуть не вцепился деду в ногу.

– О-о! – возопил старик.

– Осторожно, – сказал я, – замрите.

Они замерли. Хонорик тоже. Пятясь, я добрался до машины, залез в кузов и набрал в ладони несколько осклизлых фаршированных яиц.

Когда я вернулся, вся троица пребывала ещё в тех же позах.

– Лучше сядьте, – посоветовал я.

Старички оживились.

– А он не укусит? – на этот раз поинтересовалась бабка.

Я пожал плечами. Они с опаской присели. Хонорик правда ещё раз дёрнулся, но на этот раз как-то мелко – похоже, у него начиналась агония. Не иначе как хозяин вёз его умирать на лоне природы.

Я стал приманивать зверушку. Яйца, и без того более похожие на грязь, выскользнули у меня из рук в дорожную пыль, пожалуй, слишком далеко от её мордочки. Я не надеялся, что она как-нибудь среагирует, но с каждым мгновением мне становилось страшнее. Я вдруг понял, что до сих пор слишком легкомысленно оценивал ситуацию. Зверок вполне

мог оказаться бешеным, тогда один укус... Лучше об этот не думать – все эти уколы...

Моя подопечная приподняла трясущуюся головку, на этот раз подражая кобре. Заплывшие гноем глаза ничего не выражали, мокрые зловонные усы топорщились над жёлтыми клыками. Она казалась безвольной и бессильной, однако, я всем телом ощущал исходящую от неё опасность. На последний смертельный рывок её бы ещё вполне хватило – таким, как она, нечего терять.

Она не убегала, потому что не могла. В таком состоянии животные обычно уже ничего не едят и не пьют. Но если я попытаюсь взять её в руки или хотя бы подтолкнуть к клетке ногой, она наверняка вцепится – так на мне и издохнет. Меня чуть не стошнило от предвкушения такого исхода – даже на расстоянии метра отчётливо чувствовался, исходящий из недр зверушки, смрад.

Мне в эти минуты невольно приходилось переживать часть зверушкиных страданий. Не то, чтобы я жалел её. Меня не оставляла мысль, что если бы она поскорей умерла, то всем бы стало легче. Может быть, и вправду, убить её, чтобы не мучилась и чтобы предотвратить все прочие возможные неприятности? Но имею ли я право? Что скажет хозяин?

Старик со старухой опять встали и, топчась от возбуждения на месте, старались мне что-то советовать. Но я думал о своём. Вернее, даже не думал. Я смотрел в глаза зверушке, в глаза, которых почти не было видно, как смотрят в глаза

смерти. И горло моё то и дело сдавливали болезненные спазмы.

Вдруг зверушка стронулась с места и, подволакивая задние лапы, проползла те полметра, которые отделяли её от предложенной приманки. Она подползла и клюнула. Я глазам своим не верил – она ела! Значит она ещё не собирается умирать? Может быть, этот идиот её просто не кормил? Надо будет ему более пристально в глаза посмотреть.

Оценив мои успехи, старик со старушкой восхищенно запричитали.

– Как хорошо ест, – сказала бабка.

– Он ещё поправится, – сказал дед.

– Вот так выясняется, что полудохлые хонорики едят фаршированные яйца, – резюмировал я.

Свинья

«... накануне нового года за ужином домохозяин подымает поросёнка и просит у него хорошего урожая и «всяких благ»...»

А. С. Хомяков

Мы встретились с этим человеком, когда я лежал в больнице. Не помню точно, с чем у меня тогда были нелады – с сердцем или с печенью. Однако, немаловажным является то обстоятельство, что способ, каковым я в то время зарабаты-

вал на жизнь, связывал меня с неким ведомством, которому и принадлежала больница.

До той поры, как я впервые попал туда, больницы мне очень не нравились. Но теперь, спустя полтора десятка лет, я сожалею о том, что покинув свою последнюю государственную службу, не могу уже запросто оказаться в столь приглянувшихся мне стенах. Ей-богу, я бы лёг туда на месяцок просто так, не имея никакой хвори и даже никакой потребности отлынивать от работы.

В больницах вообще нет нечего страшного. Страшно только со стороны. А когда присидишься внутри, принимаешься, приглядишься ко всему антуражу – век бы жить! Это заявление выглядит парадоксальным, т.к. большинство людей связывает лечебные учреждения в душах своих лишь с болезнями и приближающейся смертью. Но именно осознав, что смерть неподалёку, по-настоящему ощутив её ледяное дыхание на своём затылке, начинаешь понимать радость жизни. В больничном покое и уединении жизнь становится неопишимо прекрасной. Если можешь есть – ешь, это твоё счастье. Если можешь ходить – ходи, радуйся тому, что у тебя есть ноги – убегай в самоволки, пляши, если удастся попасть не дискотеку. Если твоё сердце ещё бьётся – живи, дыши, люби...

Даже на смертном одре, которым так часто становится обычная койка, преодолевая ужасные боли, веселись от сознания того, что тебя не забыли, если хоть кто-то навестил

тебя и сидит рядом, держа твою холодеющую руку.

Но если и никто не пришёл, к тебе рано или поздно подойдёт сестра или врач, пусть хотя бы только для того, чтобы закрыть тебе глаза. Ты не останешься один. В больнице ты никогда не останешься один, хотя и чувствуешь себя совершенно свободным, никому ничего не должным кроме анализов.

Умиравший человек наиболее свободен. Кое-кто наверное чувствует в эти дни как у него из спины потихоньку вырастают крылья. Но мало кто об этом рассказывает – во-первых, потому что гораздо выгоднее, когда тебе сострадают, нежели когда тебе завидуют. Во-вторых, просто больно и нет никакого желания тратить последние силы на бесполезную болтовню.

Человек терпит весь свой ужас и всё своё блаженство наедине с собой. И когда он уходит, он уносит это неведомо куда от нашего взора.

Между старым основательным корпусом больницы и более навой и легкомысленной поликлиникой, в виде параллелепипеда из стекла и бетона, была установлена подземная связь.

Из подвала больницы можно было попасть в подвал поликлиники и наоборот. Однажды, когда я был ещё совсем юным, врачи хотели меня доставить на каталке от регистратуры прямо в больничную палату. Паче чаяния, тогда я вы-

жил. И всё описанное далее случилось хоть и в тех же декорациях, но гораздо позже.

По-видимому, уже на другой день после очередной госпитализации, я пошёл поразмять ноги и, поскольку погода была плохой или, может быть, только потому, что уличную одежду мне ещё не подвезли, решил ограничиться досмотром давно известных мне подземелий.

В том месте, где туннель выныривает под поликлинику, существует небольшой буфет для медперсонала, который, однако, случается, навещают и наиболее продвинутые больные. Я, правда, туда никогда не заходил, т.к. был вполне доволен обычной больничной кормёжкой, а то, чего мне не доставало, мог заказать из дома, а то и сам купить на улице в магазине. К тому же глупо было не использовать больничные будни, чтобы привести в порядок собственную фигуру. Диета здесь становилась вполне естественным занятием. Так что меня с души воротило от запаха общепита, исходящего из буфетных дверей. Я помнится, раза два заглянул туда, издали, но заметил только ничто вроде бара с бутылками. «Неужели и выпивка есть?» – подивился я. Но уточнять не стал. Почему бы и нет? Врачи что, не люди? Однако и некоторые пациенты ходили туда закусывать. Я же от алкоголя в больнице тоже предпочитал отдыхать.

Я так долго задерживаюсь на описании этого заштатного буфета лишь потому, что во время своих чуть ли не ежедневных подбольничных экскурсий просто не мог его ми-

новать. Обычно, пройдя мимо самого его порога, я направлялся вверх по поликлинической чёрной лестнице. На всех её этажах двери, выводящие с лестничных площадок в прочие помещения, были наглухо закрыты. За матовым стеклом угадывались белые медицинские шкафы и, водружённые на них, мощные кадки с пальмами. Впрочем, иногда, на кое-каких этажах, двери всё-таки отворялись, по разным причинам. Но судя по количеству, скапливающейся на лестницах пыли, это происходило нечасто. Убирались здесь, вероятно, только по субботникам или ещё по каким-нибудь подобным добровольно-принудительным дням.

Я не спеша, пугаясь собственных шагов, удостовериваясь поминутно, что нахожусь в одиночестве, поднимался на самый верх и придавался там каким-нибудь грехам. А чаще – просто читал, сидя на неудобной ступеньке, или писал что-нибудь. Мне всегда нравились пыльные, заброшенные, никому не нужные углы. Здесь не было никакой конкуренции, я вполне обоснованно мог воображать себя королём. Здесь меня иногда разбирали естественные потребности, и я сначала крепился, а затем стал все чаще оставлять небольшие следы на самых близких к крыше плоскостях. Почему-то мне доставляло особое наслаждение обнаружить на чердачной ступеньке свои, двухдневной давности, экскременты, которые под действием каких-то невидимых усердных агентов превратились уже почти в ничто. Вот тебе и больничная гигиена. Муха жужжала рядом, но она уже была обречена, т.к.

попала в паутину, проживающего в углу, паука. Вот скольким тварям я столь нехитрым способом помогал существовать. Но слишком усердствовать в этом направлении было нельзя, а то потом из-за посторонних запахов самому неприятно будет здесь находиться. К тому же, я опасался, что меня в конце концов обнаружат и поставят мне в вину остатки продуктов моей жизнедеятельности. Однако, поднимаясь очередной раз неслышными шагами к своему тайному олимпу, я ощущал во всех членах своих телесное упоение, словно молодой удачливый вор, крадущийся на дело. Это возбуждение, как и любое возбуждение, легко могло переключиться на сексуальную сферу. Так что я начинал фантазировать о том, как когда-нибудь затащу в эти укромные уголки какую-нибудь привлекательную особу женского пола и удовлетворю здесь с ней все свои самые низменные похоти. Таким образом, например, можно было решить вопрос отсутствия свободной квартиры, даже зимой, когда леса слишком неприветливы для занятий сексом. Предаваясь мечтам, я конечно переходил к мастурбации.

Впрочем, я не мог чувствовать себя в этих местах до конца расслабленным. Кто-то изредка всё же добирался и до этих самых высоких этажей. Дело в том, что там и сям на разных лестничных площадках я обнаруживал окурки. Пусть они были засохшими и так старательно расплюснутыми о кафель, что сгибом можно было порезать руку. Их присутствие означало, что, в принципе, здесь кто-то бывал, при-

ходил покурить. Значит были такие любители, вроде меня. Среди больных или медперсонала – это всё равно. Таким образом, мой "девственный лес" лишился своей девственности. Я всё время ждал какого-нибудь подвоха, какого-нибудь охотника из-за угла. Вздрагивал всем телом при неожиданных шумах, словно неопытный заяц. Пока мне везло. Но я так волновался, что порою расправлял окаменевшие бычки и курил их, испытывая сладковатое отвращение от известкового привкуса на губах. Всё шло в дело. Я даже специально оставил на подоконнике самого высокого окна коробочку спичек, и следил, не передвинул ли кто коробок, не побывал ли здесь до меня. Однажды коробок оказался передвинутым. Я мог ошибиться, но на полу рядом обнаружился свежий бычок и обгорелая спичка. Сердце моё дрогнуло. Кто же он, этот мой нежданный гость и соперник? Я оглянулся по сторонам – не смотрит ли мне он уже сейчас в спину. Мне стало холодно и захотелось уйти. Я спустился без приключений, очень осторожно, хотя и задумчиво, размышляя о том, что больше сюда вряд ли уже стоит приходить, а посему следует наметить другие маршруты прогулок. Это было и досадно и поучительно одновременно – погода стремительно улучшалась (наступала весна), а я изрядно засиделся под крышей – пора было на солнце, в лес, в настоящий лес. А тут, тут я, впрочем, как и в настоящем лесу, хотел быть только один. Никакая компания меня не устраивала. Разве что женская. Но насколько была велика вероятность, что мой соперник

женщина и к тому же такая, которая подошла бы мне во всех или пусть хотя бы в сексуальном отношении? Даже ещё не дойдя до нижнего этажа, я уяснил для себя, что покидаю эту, уже ставшую почти родной, лестницу навсегда, во всяком случае, скорее всего, навсегда для этого раза моей больничной отлёжки. Я притормозил перед последним пролётом, слушая доносящиеся с площадки перед буфетом шумы. Я и раньше всегда делал так – дожидался тишины, чтобы выйти в коридор, никем не замеченным. Нижние двери на лестницу почему-то не закрывали, хотя недавно кто-то пристроил на уровне первых ступенек неотёсанную доску а ля шлагбаум. Всё же меня кто-то выслеживал. Хотя, вероятнее, в появлении этого заграждения были виноваты злостные курильщики и алкоголики, которые никогда не поднимались из-за своей ограниченности выше пятого этажа. На более небесных уровнях почти невозможно было обнаружить пустую бутылку, разве только – какие-нибудь списанные сугубо медицинские склянки.

Улучив момент, я в несколько прыжков преодолел последний пролёт, причём мне как заправскому прыгуну, пришлось преодолеть доску-планку. Я задел её полами тяжёлого больничного халата, она затряслась, вступая в резонанс с перилами, за которые крепилась. Я зажмурил глаза – только шума мне не хватало. Но неприятное шевуршение на границе дерева и металла скоро стихло. Стихло и каменное эхо. Я поднял плечи, и придав выражению лица и фигуры наибо-

лее непринуждённый вид, направился к туннелю, ведущему в больницу. Скоро уже должен был состояться обед. Надо сказать, что я посещал свои уютные уголки лишь в дневное время, т.к. по вечерам там было темно – света проникающего сквозь загороженные двери было явно недостаточно.

Не успел я сделать и нескольких псевдоуверенных шагов, как кто-то похлопал меня сзади по плечу. Попался! Мурашки пробежали у меня из макушки в пятки и, как электричество, ушли в пол. Я втянул шею и всё не решался оглянуться, но надо было, а то подумают, что я точно виноват.

– Молодой человек, – сказал некто сзади. Явно не женщина.

Я обернулся, в голосе, равно как и в человеке не было ничего угрожающего.

– Фу, как вы меня напугали! – выдохнул я.

– Вы здесь часто, я заметил, гуляете.

Я насторожился. Этот тип был в белом халате, хотя и расстёгнутом и обнажающем какой-то затрапезный пиджачишко и рубашку без галстука.

– А вы врач? – парировал я нагло.

– Не совсем, – уклончиво ответил тип.

Мы помолчали.

– Я могу идти? – спросил я.

– Разумеется. Не смею вас задерживать.

– А чего собственно вы от меня хотели? – с одной стороны мне было любопытно, а с другой – я готов был рассердиться.

– Я хотел с вами познакомиться, – наивно признался он.

Тип был почти вдвое меня старше – скоро на пенсию, если не уже. Это мы уже проходили – наверняка какие-нибудь гомосексуальные заморочки. Я заглянул ему в глаза, но почти ничего невозможно было прочесть за толстенными стёклами старомодных очков, помогавших ему от близорукости. Я даже не разобрал цвета глаз – в коридоре было темновато. Кто-то прошёл мимо нас, задев обоих. Я заторопился. Что ещё мне здесь было делать?

– Вы чего-то опасаетесь? – спросил он.

– Честно говоря, да, – я отступил на пару шагов.

Он, изображая недоумение, поднял кустистые седоватые брови.

– У вас какая ориентация? – заносчиво поинтересовался я.

– А! – он засмеялся. – Традиционная. Как это называется?.. Натурал. Вы можете не опасаться. Хотя я сейчас и в разводе.

– Это настораживает, – я поймал себя на том, что кокетничаю. Вот тебе и на! А я кто такой? Впрочем, как бы там ни было, этот мужчина мне несколько не нравился.

– Ну ладно, – сказал я, вдоволь налюбовавшись на его поблёскивающую серебряными зубами улыбку. – Я вам верю. А какого рода беседы вы бы хотели со мною вести? То есть, я хотел бы заранее выяснить, есть ли у нас хоть какие-нибудь общие интересы.

– Вы интересуетесь биологией? – тут он попал как раз в точку.

Я даже снова напрягся, так как начал подозревать, что он уже давно подсматривает за мной, а может быть, каким-то образом знал меня ещё до больницы. Надо будет уточнить, курит ли он, а если курит, то какие сигареты...

– Допустим, – выдержав паузу, ответил я.

– Вот и славно. Мне почему-то сразу показалось, что вот именно этот молодой человек может интересоваться биологией.

Я пожал плечами.

– Вы экстрасенс?

– Увы. Простой обыватель. Даже не получил законченного высшего образования.

– Я, признаться, тоже.

– Вот видите, и тут мы с вами совпадаем!

Мне, однако, несмотря на всё это, а ещё более, смотря, отнюдь не хотелось совпадать с этим типом. Что-то в нём было... Нет, не скрываемая гомосексуальность. Что-то ещё. Возможно похуже. Но как же склонен я был к разнообразным фантазиям и выдумкам! Просто – нарастающая паранойя. Я решил пойти наперекор своим бунтующим эмоциям.

– Рад познакомиться, – протянул я руку, и ему пришлось подойти ко мне, чтобы пожать её. Он слегка прихрамывал, пришлёпывал ногой как Сталин.

– Весьма, весьма... – его рука была полноватой и прохлад-

ной.

После формального знакомства, он поинтересовался, в каком отделении я лежу и по какому поводу, и вызвался проводить меня до моего этажа. Выяснилось, что в больнице он занимается обслуживанием технических средств и самой большой его мечтой было получить, хотя бы перед уходом на заслуженный отдых, звание инженера, которого из-за недостатка образования он был лишён всю жизнь. Буквально в последние дни такой прорыв чудом наметился, т.к. его непосредственный начальник, инженер с дипломом, весьма амбициозный молодой субъект, не доволен своей зарплатой и уже подал заявление об уходе. Нельзя сказать, чтобы на открывающуюся вакансию стояла очередь. Так что у моего нового знакомого может появиться реальная возможность занять более высокое в иерархии место. Он уповает на то, что они, т.е. больничное начальство, всё равно не найдут более знающего и опытного специалиста. Он же проработал в этой области без малого уже сорок лет!

– Да, солидный стаж. – сказал я.

Но нам уже пора было расстаться, и я опять пожал ему руку, на этот раз уже не преодолевая внутреннего отталкивания, а даже с некоторой симпатией. Он таки успел меня уболтать, пока мы шли длинными, полутёмными коридорами. Я проникся его положением, положением маленького человека, надеющегося хоть напоследок урвать от жизни какую-нибудь побрякушку, этакого гоголевского героя из забитых и без-

обидных чиновников. В общем-то, он был конечно мерзок, но тем более вызывал сострадание. И в сердце своём согласился не избегать общения с ним, раз уж он в нём почему-то нуждается. Наверное – очень одинокий человек. Да и с кем ещё поговорить в этой больнице на насущные биологические темы?

Оставалось лежать в больнице всего несколько дней. Мой лечащий врач уже подписал мне оправдательный приговор, оставалось лишь дожидаться результатов ещё кое-каких дополнительных исследований. Мои анализы из-за какой-то особой сложности были направлены в другое, более специализированное и оснащённое, лечебное заведение. И теперь мы вместе с врачом ждали весточки оттуда. Но у нас все такие процессы не бывают скорыми. Так что я почти неделю ошивался в палате на правах полувыздоровевшего, отказавшись от всех лекарств кроме витаминов.

У меня было хорошее настроение и самочувствие, я каждый день гулял, даже если лил дождь. И каждый из этих дней, будто случайно, хотя я давно и не верю ни в какие случайности, мы встречались с давешним очкастым типом, вечным техником или лаборантом, который питал надежды пробраться из грязи в князи.

Разговоры с ним равно развлекали и раздражали меня. Иногда мне хотелось стукнуть этого человека кулаком по морде, настолько откровенным убожеством разило из его

неумытого рта. Однако, что-то меня в нём привлекало, как привлекает уродство – не хочешь, а посмотришь. И как такие люди живут? Он как-то жил. И даже размышлял о биологии. Весьма тупо, надо сказать, размышлял. Что-то такое всё время гордил о вивисекции, о засекреченных исследованиях, о запрещённых проектах, о клонировании, протезировании и прочих мало волновавших меня вещах. Да, оба мы любили биологию, но любили в ней разное. Я предпочитал созерцать создания Божие такими, каковы они есть, во всём их изначальном совершенстве. Он же непременно желал всё препарировать и переделать, ему обязательно хотелось посостязаться с Творцом в деле творения. Мне-то было совершенно ясно, что его руки могут только что-нибудь испортить или сломать. Но он искренно хотел улучшить готовые изделия природы.

«Феноменальный придурок!!!» – сообщал я самому себе каждый раз после очередной беседы с ним, удаляясь восвояси.

Особенно он тащился от фильма Андрея И «Красный конструктор». И считал, что всё это чисто документальное кино, вскрывающее подлинными архивными фактами. А художественные припамясы налеплены автором лишь для вида, чтобы отвлечь внимание цензоров. Что ж, в его рассуждениях была определённая сумасшедшая логика. Сколько я его не убеждал в обратном, он не соглашался, хитро улыбаясь. Это было тем более удивительно, что похоже, этот человек,

и правда, почти всю жизнь протусовался в медицине, а ещё точнее – в самой что ни на есть технической её области. Подозревать в нём наивность было бы неуместно. Само собою напрашивалось подозрение насчёт его душевного здоровья.

Впрочем, иногда ему удавалось меня умирить. Например, однажды он довольно пространно рассказывал мне о своём детстве, совсем не безоблачном, если иметь в виду его пьющих и дерущихся родителей, которые теперь уже, слава Богу, почил в Бозе. Он собирал коллекцию насекомых, и это было единственной его отдушиной в тёмном лабиринте надвигающейся жизни. Особенно подробно он останавливался на деталях препарирования, распространялся о том, как следует правильно морить и расправлять бабочек. Какие употребляются вещества, инструменты, материалы. Тут он нашёл благодарного слушателя, т.к. я сам в детстве неоднократно пытался собирать насекомых, но мне не хватало скрупулёзности и усидчивости, да и руки мои не приспособлены к тонкой работе, кроме собирания земляники. Мне нравилось выслеживать и ловить насекомых, но вот приготавливать из их трупиков красивые мумии – на это меня не хватало. Невыпотрошенные, наколотые заживо жуки протухали в картонных коробках и воняли так, что хотелось их без сожаления выкинуть. Мне до сих пор совестно, что без всякой на то необходимости, я загубил в детские годы свои столько божьих тварей. Может быть, мне послужило бы оправданием, если бы я хоть что-то довёл до конца. Хвалился бы те-

перь перед детьми своими по всем правилам выполненными коллекциями, которые бы – глядишь – дожили до сих дней. Это возможно – в этом меня теперь убеждал этот человек. Да и разве сам я не видел тропических бабочек в рамочках на продажу? В общем, я слушал его открыв рот, памятуя о своих упущенных возможностях. И он, восхитившись, что его наконец-то поистине слушают, пел как соловей. Даже некое вдохновение проявилось на его сером угреватом лице, некая сладость проступила на изгибающихся губах. В конце концов, я испугался, глядя на эти извивающиеся губы, – было в них что-то садистское. Он мне испортил аппетит. Дело в том, что это был чуть ли не последний здесь мой день, и он уломал-таки меня посетить больничный буфет, где мы выпили с ним по бутылочке пива. Я, помнится, даже чем-то закусывал, пока не подавился по его милости...

Расстался я с моим новым знакомым, как не трудно догадаться, без сожаления. У меня даже мысли не было отыскать его и попрощаться, когда меня наконец попросили освободить уже породнившуюся со мной койку. Я переоделся в раздевалке в цивильное и вышел на волю с бодрой решимостью не болеть серьёзно хотя бы несколько грядущих месяцев. К тому же, впереди предстояло лето.

Встретились же вновь мы с тем забавным типом в том же году, поздней осенью. Он увидел меня издали, перешёл улицу на мою сторону, и, как в прошлый раз, постучал меня сза-

ди по плечу. Я, само собой, его не узнал и он чуть не получил по физиономии. Потом мы долго и натужно посмеивались, идя рука об руку по тёмному, облепленному палыми листьями тротуару, словно по подземному больничному коридору. Мне даже почудился характерный коктейль из медицинских запахов, хотя, скорее всего, так пахло от него. А ещё он всегда немного припахивал дерьмом, если уж быть совершенно объективным.

Он посетовал мне, что так и не стал инженером. Нашли какого-то молодого, выскочку, едва закончившего институт. И теперь ему грозило, если не увольнение, то серьёзная потеря в зарплате, в связи с переходом на пенсию. Я кивал, искренно сочувствуя его человеческому горю. Пошёл дождь, и разговаривать на улице стало неприятно. Я не то чтобы очень торопился, но мокнуть без особой причины не хотелось. Почувствовав моё настроение, он начал прощаться, но предложил обменяться телефонами. У меня, как всегда не было ни ручки, ни бумажки. У него всё нашлось, и он нацарапал мне свой номер, а я, скрепя сердце, свой. Честно говоря, мне очень хотелось его обмануть, но что поделаешь — я патологически честен.

За сим мы разошлись. И я вовсе не рассчитывал дождаться его звонка. Просто забыл о нём, а если бы и вспомнил, то, скорее всего, помолился бы Богу, чтобы он меня не беспокоил.

Не прошло и недели, как он напомнил о себе. Когда за-

звонил телефон, я – как водится – ел. Разве не справедлива ненависть, которая вспыхивает в нашем сердце, когда нас отвлекают от такого прекрасного времяпрепровождения. «Еда – это серьёзное занятие, которому человек посвящает всю свою жизнь.» – вот что по этому поводу изрёк наш несравненный В. В Похлёбкин.

А тут... ну какого чёрта и кому опять от меня надо? Меньше всего я, разумеется, ожидал услышать скрипучий голос моего неприятного знакомца. С минуту я стоял у телефона, выпучив глаза и стараясь допережевать уже засунутую в рот пищу. Он терпеливо ждал, а я пытался сообразить, кто это такой.

– Извините, а вы кто? – спросил я наконец.

Он представился.

– А! А я вас не узнал – долго жить будете, – изобразил я бодрость и приветливость.

– Вы не хотите прийти ко мне в гости? – взял он сразу быка за рога.

– В гости?... А когда? – я уже ругал самого себя, что задал этот вопрос. Значит в принципе я согласен, меня беспокоит только время...

– Вам будет удобно завтра?

– Завтра? – я пытался вспомнить, чем я могу быть занят завтра. Как назло ничего существенного не вспоминалось. А врать я, как уже сказано, не умею.

– Да, завтра вечером. Мы ведь с вами недалеко друг от

друга живём. Я бы встретил вас в метро. Например, у первого вагона, если ехать с вашей стороны. Представляете?

– Да-а, – ответил я задумчиво. Я наконец совсем дожевал.

«А почему бы и нет?» – подумалось обречённо. Надо же иногда принимать необычные решения, ходить в какие-нибудь экстраординарные гости. Но мало ли что там может случиться? Но если всё время сидеть дома и отгораживаться от всех вторжений руками и ногами, точно уж никогда и ничего с тобой не произойдёт, ни хорошего, ни плохого. То, что называется случаем, на самом деле – Божий Промысел. А если и не Божий – хотя об этом не хочется думать – то и такое предложение следует воспринимать как вызов, пусть даже как вызов на дуэль. Что ж...

– Я готов, – ответил я. – завтра вечером. Только если я вдруг не смогу, вы не обижайтесь. Я вам позвоню, если не смогу. Вы будете дома? – таким образом, я малодушно оставлял себе путь к отступлению.

– Не уверен, что я буду, – учтиво ответил он. – Но ничего страшного. Я же понимаю – у всякого свои дела. Я подожду вас на остановке... Сколько вас ждать, чтобы убедиться, что вы не придёте?

– Ну, допустим, десять минут, – и я тут же пожалел, что не выпросил у него полчаса. Теперь наверняка придётся прийти. Придётся ещё спешить. Вот влип! И зачем я всё это делаю? Не иначе – бес меня путает...

– Ну, всего хорошего! – поспешил я закончить разговор. –

Извините, но я ещё не доел.

– Это вы извините, – раскудахтался он. – Извините, что я вас отвлёл от такого важного дела. До свидания.

Я покивал головой, словно он меня видел и с облегчением положил трубку.

Я с облегчением вернулся к еде и за чаем и телевизором, разумеется, совершенно забыл о недавнем приглашении.

Единственная достойная цель, какую мне приходило в голову поставить перед собой на завтра, так это – как следует выспаться. Все дела могли подождать, и я вовсе не тяготился отсутствием нагрузки. А может быть, проснувшись, пойду гулять – вот и всё.

Проснулся я в холодном поту, гораздо ранее того, что сам себе намечал. Я не мог припомнить, но вероятно, мне всё-таки снился какой-то кошмар. С будильника мой взгляд скользнул на телефон, и тут я вспомнил о вчерашнем звонке. Наверное, достаточно было нажать кнопку, чтобы номер вспыхнул на определителе.

Мне окончательно расхотелось спать – было очень душно, побаливало сердце. Провалявшись без толку ещё часа полтора, я соизволил встать.

Кофе несколько поправил моё настроение, и, много раз уже успев поменять своё решение., я решил, что всё-таки пойду. Не то, чтобы мне хотелось лицезреть гнусного очкарика, я сам себе не нравился, и хотел себя наказать неприят-

ной прогулкой. Вернее, я лукавил, потому что прогулка-то могла оказаться – чем чёрт не шутит? – и не такой уж неприятной. Ведь всё-таки новые ощущения и т.п. Во всяком случае, у меня ещё была прорва времени – и я стал лениво есть, умываться, одеваться, включил радио, телевизор, вспомнил, что ещё недурно бы было заскочить кое-зачем в магазин, и хорошо бы успеть вернуться – чтобы не таскаться в гости с сумками. Всё это время я под сурдинку помаливался, чтобы никто ещё мне не позвонил, – это могло бы окончательно выбить меня из колеи. Хватит и одного явления. И Бог, кажется, услышал меня. Телефон вёл себя на редкость смиренно. Одевшись, я взглянул в окно. Там, перед вечером, даже наметилось какое-то подобие прояснения. Я подумал, что выйду и почувствую, как пахнет закатом, и испытал почти удовлетворение.

Всё-таки пришлось зайти в магазин и вернуться, так что я приехал на десять минут позже назначенного срока. В глубине души я всё ещё надеялся вовсе опоздать. Но тип ждал меня. Очень обрадовался, заулыбался. Тут же мы куда-то очень заторопились, я еле попевал за ним, ворча про себя, но не считая вежливым упрекать в необоснованной спешке своего знакомого. В девяносто девяти процентах случаев люди вообще торопятся почти зря, или, может быть, единственной причиной их торопливости является общий машинный ритм города.

В подъезде пятиэтажки пахло если и закатом, то закатом

каких-то, в прошлом съедобных, объектов. Позакатывались они, понимаешь, во всякие малодоступные углы и благоухали оттуда невыносимо. Мы поднялись на второй этаж, и он поспешил открыть отнюдь не железную и даже не утеплённую дверь. Я ожидал настоя из запахов холостяцкого жилья, но вместо этого мне в нос ударило нечто уж вовсе невообразимое. Не исключено, что одна из наиболее зловредных составляющих аромата подъездного сочилась именно из этой квартиры. Я вспомнил об Адольфе Гитлере и Эрике Фромме, который рассматривал первого как частный случай некрофилии, кто-то из моих друзей говорил мне что и Ельцин подобным же образом морщит нос. Пока я раздевался, через мой мозг пробежалось уже такое стадо разных мыслей и образов, что собственно запах я почти перестал ощущать. Осталось только какое-то одурение в голове, но я надеялся, что и оно рассеется – стоит нам только усесться за стол и выпить по сто грамм водки, которую я с собой прихватил. Об одном я жалел – о том, что не прихватил и закуску – в самом деле, даже имея не самое значительное количество денег в кармане, нельзя быть таким жмотом. Всё своё надо иметь с собой – чтобы не было мучительно больно. Как я ни пытался представить хоть сколько-нибудь удобоваримую пищу в доме этого хозяина, ничего утешительного не выходило. Как я раньше об этом не подумал!

Я зашёл в туалет и помыл руки, на ногах у меня похрустывали заскорузлые хозяйские тапочки – я поджимал пальцы,

было жёстко и неудобно. Ванная и уборная являли весьма обшарпанный вид. Но и я – живи я один – скорее всего, уделял бы этим частям мало внимания. Что-то всё-таки меня настораживало – не хозяйственное же мыло на месте туалетного?

Тип ещё в больнице успел мне поведать, что живёт он в коммунальной квартире с каким-то алкоголиком. Теперь я это чётко вспомнил и вспомнил, что отзывался он об этом своём «сокелейнике» зачастую с нескрываемой ненавистью. Так вот от кого могло ещё вонять!

Если на улице мы зачем-то спешили, то, очутившись в недрах квартиры, вдруг погрузились в какую-то нарочитую неторопливость и торжественность. У типа на лице было трудно передаваемое выражение. Можно было вообразить, что как только мы окажемся в его комнате, он явит мне своё истинное лицо, обернувшись ангелом или чёртом. Я всё-таки больше склонен был подозревать в нём нечто инфернальное. С другой стороны, знаем ли мы наверняка – какие они, ангелы? «Что у вас там, клад, что ли?» – этот язвительный вопрос чуть не сорвался у меня с языка. Я заткнул себе рукой рот, изображая, что расправляю усы.

Хозяина прямо-таки распирало, он шёл впереди на цыпочках, раздувая щёки, вытаращивая глаза, делая ещё более нелепые и неестественные гримасы. На протяжении нескольких убогих метров коридора он ухитрился остановиться несколько раз, всякий раз оборачиваясь ко мне и поднимая палец от губ кверху. Мне пришлось двигаться с невероят-

ной осторожностью, чтобы не наступать на него и не толкать плечом.

Из его жестов и гримас я понял только, что мы миновали дверь алкоголика и что она, как и тот кто обитает за нею, вызывает к нему самые отрицательные эмоции. Все остальные разнообразные ужимки так и оставались мне до поры непонятны. До его двери мы шли так долго, словно обкурились накануне очень хорошей травой. На вместо того, чтобы испытывать приятность, в данном случае, я только устал и склонен был сделать вывод, что имею дело с сумасшедшим. Интересно: а что, я раньше этого не знал?

И вот он стоит перед своей дверью, как новый Буратино перед заветной дверцей за холстом с очагом. И столько идиотского тщеславия сейчас теснится в этой невзрачной, украшенной вылинявшими дешёвыми тряпками, фигуре, что мне хочется, да, очень хочется, ударить, растоптать, смести с лица земли этого человека. Возможно, что в нём я ненавижу собственную беспомощность. Но если это я, то себя и простить можно. Я прощаю. Допотопный ключ с неправдоподобным тюремным скрежетом поворачивается в скважине. Дверь открывается...

Только что – не было фанфар. Лакеев рядами по сторонам я тоже что-то не заметил. Воняло вот знатно. Я понял, что обоняние ко мне опять вернулось и опять же как-то внезапно, как это бываем под действием анаши. Ей-богу, не курил!

В комнате было темновато, и справа находилось что-то, чего мне очень не хотелось замечать. Но – я сразу понял – он и притащил меня сюда только за тем, чтобы я это заметил. Решил поделиться своей тайной.

Я сел за стол, который находился в глубине, всё так же не смея поднять глаз на шкаф или вернее на то, что было на шкафу. Конечно же, я уже всё понял, для того, чтобы понять, достаточно почувствовать, засечь хотя бы краешком глаза. А тут и другие органы чувств мне весьма помогали. Но понять – не значит осознать. Ум работает ещё долго – очевидно, что он вторичен – и пытается как-то увязать так называемые факты со всяческими смыслами, вне которых он просто не способен функционировать. Ум успокаивается, когда может всё переработать в слова – это, своего рода, ритуальное убийство – низведение фактов жизни до уровня устоявшихся символов. Каждое слово – крест на могиле какого-нибудь мгновения или клочка пространства. Только похоронив всех, можно хоть немного успокоиться.

Я достал из сумки и поставил на стол бутылку. Хозяин пока ничего не говорил, то ли оттого, что ему просто перехватило дыхание, то ли видя мою реакцию и давая мне возможность самому сделать выводы. Он взял что-то из холодильника, на редкость шикарного на фоне всей прочей бедности, и побежал что-то готовить на кухню. Я остался один на один с...

Это была свинья. Или, может быть, существо было муж-

ского рода, но удостовериться было невозможно, т.к. оно лежало на животе. Лежало оно на шкафу, на узком пространстве не более полуметра от стены, передние копыта были бессильно подогнуты, уши пущены, не давая представления о глазах. Для свиньи животное было худым, но не костлявым, а каким-то как бы водянистым. Это и понятно – из его тела в нескольких местах исходили пластмассовые прозрачные трубочки, по которым в обоих направлениях циркулировала неаппетитная на вид жидкость. На что-то такое мне мой знакомец давно намекал, только никогда не договаривая до конца, – верно, откладывал развязку на потом. Да я и не выказывал особо бурного интереса. Если бы он меня честно предупредил, что' я должен буду увидеть, я бы наверняка отказался от посещения этого логова. Ну и что теперь? Мне очень захотелось уйти. Немедленно.

Вместо этого, я свинтил крышку с бутылки. Ничего похожего на рюмки поблизости не было. Я невольно посмотрел внутрь шкафа, где – в более нормальном варианте – могла бы находиться хрустальная посуда, но там расположились какие-то химические сосуды с разноцветным содержимым, а с ними рядом непрерывно работающие и подмигивающие подслеповатыми лампочками медицинские приборы. Всё это вместе, как я догадался, называлось системой жизнеобеспечения. Хозяин частенько сводил разговор именно к этой теме, но я всегда старался столкнуть его с этого конька, т.к. узко специальные разговоры были мне скучны. Надо сказать

ещё, что я не люблю никакую технику.

Животное не издавало никаких звуков, так что трудно было предположить насколько оно живо. Но зато все эти механизмы хлюпали и кряхтели, как живые. Казалось, они уже давно должны были выкачать всю кровь из бедной свиньи. Но среди переливаемых жидкостей крови вроде не было, да и что-то подавалось явно в свинью, течения шли не только из неё. Впрочем, какое-то похрюкивание всё-таки можно было различить сквозь это механическое ворчание, и, поворачивая уши так и эдак, я в конце концов уяснил, что исходит оно не со шкафа, а из-за ещё одной двери, которая возможно вела в ещё одну комнату. Бывают ли такие большие квартиры в пятиэтажках? Впрочем, эта – была какая-то очень старая – в таких всё может быть.

Вернулся хозяин и, к моему удивлению, принёс на блюдечке аккуратно порезанные свежие огурцы. Нашёлся и чёрный хлеб, настолько свежий, что я даже ухитрился уловить его аромат. Вскрыты были также несколько банок с консервами. А на всякий случай, у такого хозяина, как этот, наверняка припасена немалая бадья с медицинским спиртом. Так что в магазин не придётся бежать. Пир горой.

Мне хотелось как можно скорее напиться. Это тоже был вариант бегства. Не то чтобы у меня парализовало ноги под стулом – так, как это случается, когда присядешь отдохнуть в апартаментах какого-нибудь злого волшебника. Но что-то в этом роде со мной всё-таки произошло. Я потерял волю к

сопротивлению. Оставалось только надраться и таким образом избежать позора окончательного поражения.

Наконец он нашёл подходящие ёмкости – не рюмки и стаканы, а какие-то мензурки. Что ж, посуда эта как нельзя более соответствовала моменту. Я налил по полной, по отметкам – получилось больше, чем по сто пятьдесят грамм. Он не успел прикрыть свою склянку рукой. Я поднял тост, воодушевлённый тем, что всё-таки держу в своей руке чистую, веселящую жидкость. Прозрачный холод водки в мензурке возвращал меня к реальности, я любовался отблесками тусклой лампы в стекле, расплываясь в улыбке.

Мы выпили. Закусив, я понял, что мы молчим уже с тех самых пор, как двинулись сюда от кухни по коридору. Даже тост мой каким-то образом оказался немым. Стеклянные глаза моего визави от выпитого понемногу потеплели.

– В общем-то я редко пью, – сказал он осторожно, будто заново учился говорить, и, недоверчиво улыбаясь, заглянул в свою пустую тару.

– Это ничего, – сказал я. – Может по второй? – И не дожидаясь ответа, стал наливать.

На этот раз он успел меня притормозить – не удалось накапать ему больше пятидесяти грамм. Но себя-то я уж не обидел. Я подумал, что зря взял такую маленькую бутылку – надо было литровую или хотя бы ноль семьдесят пять.

– Вот так, значит, и живёте, – констатировал я, выпив и закусив вторично.

Он подобострастно закивал. От его недавней пышущей важности мало что осталось. Алкоголь этому человеку явно полезен.

Опять мы замолчали. Я, уже не предлагая и не спрашивая, взял бутылку и налил себе, он же сразу прикрыл свою ёмкость рукой. Что ж, мне больше достанется! Я выпил и покивал головой, чтобы хоть как-то ободрить своего застопорившегося собеседника.

– Не знаю с чего начать, – начал он стеснительно.

– Пора уже кончать, – вырвалось у меня, и я понял, что становлюсь пьяным.

Собеседник насторожился.

– Я имею в виду, – пришлось мне объяснить, – что в общем мне всё ясно, и можно даже ничего не рассказывать.

– Вам не интересно? – не то удивился ни то расстроился он.

Я покряхтел многозначительно, стараясь сфокусировать глаза на этикетке бутылки. Она уже была, к сожалению, пуста.

– Я так понимаю, – начал я витиевато, – что вы хотели похвалиться передо мной своими достижениями.

– Ну да, – нашёлся он.

Всё-таки чрезвычайно жизнеспособный господин.

– А могли бы вы сказать, – я хамел на глазах, и уже ничего не мог с этим поделать, – для чего вы всё это вот тут соорудили?

Он замялся и наверное уже ругал себя в душе, что пригласил в дом такого пьяницу и невежу. Сказано: Не мечите бисера перед свиньями...

– Так вот, я не понимаю, – без обиняков продолжил я. – Это животное, оно, что, вам для мяса нужно или ещё для чего?

Рука моя, начав действовать автономно от мозга, искала на столе новую, непечатую бутылку.

– Спирт у вас есть? – отвлёкся я.

– А вы алкоголик? – в его голосе сквозил ужас.

– А что, похож? – спросил я и улыбнулся ему так, что у меня бы лично на его месте волосы дыбом встали. У него, видно, на этом месте не было волос.

Спирт появился на столе каким-то неизъяснимым способом.

– Чистый? – спросил я.

– Я уже разбавил, – успокоил он.

– Так вот, – успокоенно изрёк я, нацедив себе дозволенные сто грамм. – Впрочем, мне действительно стоит притормозить. А то я, бывает, во хмелю веду себя непредсказуемо.

Он испугался и стал озиаться по сторонам, словно спешно пытаясь оценить, во сколько ему обойдётся мой пьяный дебош.

– Вашу свинью я, однако, не трону, – успокоил я старичка. – Вы хоть анекдот знаете? Про хохла, у которого, свиньи бегали на протезах?

Судя по его глазам, он даже этого анекдота не знал – может, выпал из памяти, как оттуда вообще с лёгкостью выпадает всё уличающее и неприятное.

– Ну, ему просто для холодца всякий раз отнюдь не требовалась целая свинья.

Он вымученно засмеялся. Но этот смех был похож на смех инопланетянина. Будто я знаю, как *они* смеются...

Я выпил спирта и осознал, что если я не хочу крупных неприятностей, мне следует на этой дозе остановиться. А если хочу? Может быть, только таким образом и разрешаются наиболее болезненные вопросы. Столь болезненные.

– А что, если я напьюсь и набью вам морду? – прямо спросил я у хозяина.

Он не нашёлся, что ответить. Но в милицию сразу не стал звонить – и то славно. Впрочем, какая тут милиция – он, верно, милиции боится как чёрт ладана. Я живо представил себе участкового в этой комнате. Поэтому-то он и ненавидит своего сожителя – алкаша – тот ведь из-за пьяной неосторожности может на себя навлечь гнев властей, зайдут и сюда спросить что к чему и...

После бутылки водки в верхом иногда наступает что-то вроде прозрения. Я читал мысли своего знакомца, хотя и не могу похвастаться, что это доставляло мне удовольствие – честно говоря, я с трудом сдерживался, чтобы не облеваться прямо на пол. А может и не сдерживался. Точно не помню.

Я посидел немного, скрючившись над столом и уперев

глаза в собственные кулаки. Засыпать было нельзя, нужно было сосредоточиться и убраться отсюда подобру-поздорову.

Хозяин осторожно потрогал меня за плечо и предложил чаю. Я не ожидал от него такой нежности.

– Чай – это хорошо, – сказал я.

После чашки чая, тоже совсем неплохого, мне стало лучше. Т.е. в том смысле, что вернулась способность формулировать и исполнять собственные решения.

– А это что, неудачный эксперимент? – спросил я подняв глаза на верхотуру другого шкафа, который находился как раз напротив, в торце комнаты.

Он кивнул. Там, на том шкафу, который, вероятно, служил для одежды, покоился какой-то животный скелет.

– Это тоже свинья? – уточнил я.

Он кивнул:

– Пять месяцев и семь дней.

– Бедняжка, – я вздохнул. – Ну, может ещё по маленькой?

Помянем?

Он замотал головой.

– Не хочешь выпить за невинно загубленное животное? – наехал на него я.

Он не понял, шучу я или всерьёз. Я и сам не понял, но ему налил и заставил выпить.

– Сам я буду чай, – сказал я и сам удивился собственной примерности.

– И сколько же ещё ты будешь изуверствовать? – спросил я, про себя отметив, что вполне естественно перешёл с ним на «ты» – хорошо, что пока не взаимно.

Он смотрел на меня загнанными глазами.

– А там у тебя кто? – указал я разящим пальцем на запёртую дверь.

Он спрятал глаза, руки нервно теребили клеёнку.

– Новые жертвы, – констатировал я. – Может быть, ты там каких-нибудь младенцев держишь, маньяк? – сделал я глумливое предположение и вдруг испугался – а что если это правда? Ну да – стал бы он тогда меня к себе приглашать. Или... Тогда... Уж лучше я сам его сейчас...

Он всё понял. Он уже стоял, уже пятился и тянулся за подручными средствами.

– Только попробуй, – сказал я, утвердив свою ладонь на удобном горлышке бутылки. – Лучше останемся друзьями.

Я взвесил пузырь в руке и обрёл некоторую уверенность.

– Хотя конечно нет, – сказал я. – С таким говном, как ты, мы не могли бы стать друзьями ни при каких обстоятельствах.

Он дёрнулся и чуть не свалил с полки какие-то очень важные свои припампасы. Так ужаснулся, родимый. Глаза зажмурил, руки воздел.

– Боишься?! – спросил я, вставая.

Кто знает – выпей я ещё хоть четверть стакана – может быть, и в самом деле разбил бы бутылку об его дурацкую

башку.

Но рассудочность ещё не до конца покинула меня. Однако, и праведный гнев что-то никак не хотел разгораться в уютно расслабившейся душе.

– Твоё счастье, – сказал я, – что я почему-то добрый, – и сел. Сел, но тут же поднял на него глаза – в то ужалит ещё, змея.

– Давай-ка, – я старался ронять слова тяжело, как чугунные шары. – Открывай ворота'. Покажи, кто у тебя там.

Он понял, что просто так от меня не отделается. По прерванному движению я догадался, что он хотел бежать, но сразу же опомнился, представив, что я тут могу учинить, если он оставит меня одного в рассерженном состоянии духа.

– Ты всё понимаешь, – сказал я. – Не чуди. Отворяй.

Мне было несколько противно от своих приторных слов. В самом деле – развёл пафос, как какой-нибудь пахан из кино. Однако, на этого изверга, моя плохая игра подействовала.

– Ух, устроил бы я тебе тут разгром, – талдычил я ему в спину, пока он возился с замком.

– Это всё барахло – на работе наворовал? Небось, из живых ещё людей вытаскивал... – обличал я, ничтоже сумняшеся.

Он что-то бурчал, пытаясь оправдываться...

– Давай-давай! – я слегка пнул его в зад, т.к. мне начинало казаться, что он нарочно тянет с этим открыванием время. –

Списанное имущество, да? Так?! Комар носа не подточит... Сколько душ загубил, признавайся?!!

Если бы он промедлил ещё секунду, я бы уж точно занялся им основательно.

В приоткрывшуюся дверь выскочил поросёнок. Почувствовав волю, он стал беспорядочно метаться по комнате – чуть меня не свалил со стула. Я заметил, что хозяин пытается ещё кого-то удержать за дверью. Я потянул его сзади за штаны.

– А ну-ка!

На свободу вырвался второй поросёнок. За ним – третий. От пороссячьего визга и топота комната стала похожа на сумасшедшую карусель. Я был в замешательстве, но не долго.

– Открывай! – зарычал я на проклятого типа. – Да не эту дверь открывай, а ту.

Он пошёл к двери в коридор.

– Там у тебя больше никого нету? – остановил я его.

Он помотал головой. Преодолевая отвращение, я заглянул в эту предполагаемую камеру пыток, не выпуская его потного шиворота из кулака.

Свет зажги! – рявкнул я.

Он зажёг.

– Фу! Ну тут у тебя и гадость! – резюмировал я.

Никого живого больше в этом чулане не было – хлев, как хлев.

– За соломой в поля, что ли ездил? – спросил я почти при-

мирительно, однако, многозначительно примерившись рукой к его жилистому загривку.

– Да, – ответил он зачем-то.

– Открывай, – сказал я спокойно и отпустил его.

Как только дорога в коридор оказалась свободной, одна из трёх свиней проскочила туда как ртуть. Вторая вылезла из-под стола и последовала за первой трусцой. Третья осталась, как я предполагал, где-то под кроватью. Они сперва показались мне просто грязными, но, при более обильном свете, я понял, что они ещё и более тёмной масти, чем то существо, которое томилось на шкафу.

Расспрашивать хозяина ещё о чём-то не хотелось, хотя унылые вопросы выискивали себе какие-нибудь ценные зёрнышки в мозгу – ну ровно, как петухи в навозной куче.

Не выяснять же у него состав этих мерзких жидкостей! Как-то ему удавалось однако – при всей его мерзостности и тупости – поддерживать жизнь в этом недвижимом свинячьем теле.

– А того, неудачного, что, съел? – спросил я.

Поросята там временем бегали на кухню и обратно.

– Да, – опять зачем-то ответил он. – И кормил ещё вот этого, – он указал на ещё живую нашкафную тушу, – пока он поросёнком был.

– Мужик? – спросил зачем-то я.

Он кивнул.

– Ладно, уйди в дороги, – сказал я и не совсем верными,

но решительными шагами направился в коридор.

Как только я увидел издали свою одежду, мне неудержимо захотелось убежать. Я одевался и обувался в какой-то лихорадке. Поросята толклись вокруг.

Выпустить их на улицу? И? Я задумался, вздохнул и даже присел на корточки.

– Вот что, – сказал я. – Лучше зарежь их и продай. У тебя всё равно на всех не хватит шкафов.

Он кивнул.

– Куда ты столько заготовил? – я встал, голова закружилась.

– Нет, – сказал я, когда обрёл равновесие.

Вдруг я почувствовал типа в опасной близости и заподозрил, что он вот-вот готов на меня броситься. Я отпихнул его ногой и принялся открывать многочисленные замки, последний – ключом открыл он сам. Из комнаты алкоголика послышался какой-то скрежет – значит и этот был на месте.

– Прощевай, – сказал я, выпуская поросят в неизвестность, одного за другим.

Третий, сколько я его ни звал, не последовал их примеру. Вот так происходит отбор – не знаю уж, насколько он естественен. Я больше не мог ждать и захлопнул за собой дверь, чуть не прищемив хозяину руку. Не могу сказать, что я этого не хотел.

Поросята стали скатываться по лестнице, как мешочки. Я им немного помог.

На улице было темно. Я пошёл куда глаза глядят, стараясь больше не обращать внимания на блуждающих в неведении бестолковых животных. Я только постарался направить их во двор, на газоны, чтобы они не попали сразу под машину. Кто-то их там, кажется, уже заметил и изумлялся. Я убегал, попросту уносил ноги. И мне хотелось выдохнуть, выплюнуть скопившееся внутри отвращение. И лишь когда я добежал до метро, организм сформулировал своё желание окончательно. Я упёрся ладонями в холодный и шершавый фонарный столб. Меня рвало, и с каждой судорогой я испытывал всё большую сладость облегчения.

Я не был уверен до конца, что поступил правильно. Ведь, освободившись из застенка, они вместе с тем лишились и крова. Не так ли разве прозябают и все остальные свиньи на свете.

Отец

«Давно уже стал излишним героизм, поднявший руку Авраама для жертвоприношения...»

И. И. Мечников

Я тогда ещё не родился, а мой отец был молод и хотя, вероятно, уже знал мою мать, вряд ли в голове кого-нибудь из них уже брезжил проект моего существования.

Отец вышел из воды, и я увидел, какие у него смешные

штаны. Но вокруг никто не удивился и не рассмеялся. В таких неуклюжих больших трусах не было ничего необычного в то время. Потом перешли на сатиновые плавки с завязочками на одном боку. Мне они нравились и спустя тридцать лет после того, как почти все перестали носить подобное. Сначала одни такие я доносил за отцом. А потом – почти в точности такие же, того же синего цвета – обнаружил в отставленном гардеробе тестя и тоже доносил их до полной негодности.

Но вот те трусы отца были даже не трусами, а какими-то нелепыми шароварами, до колен. Или он просто закатал какие-то широкие спортивные штаны? С этой массы ненужной материи сейчас ручьями стекала вода. Наверное, отцу было тяжело и неприятно от этих облепляющих тряпок. Они, как и более поздние плавки, были тёмно-синего цвета.

Но отец улыбался, он был юн и строен, пожалуй, даже слишком худ. Вряд ли давно ему перевалило за двадцать. Со всем сопляк! И точно – сопля свисает с крючковатого носа. Или это капля? Скорее и то и другое. Вода холодная.

Вечереет, и погода довольно пасмурная. Я всё никак не могу понять, что это за водоём. Море? Или, может быть, какое-то озеро? Для моря не хватает простора. Бухта? Надо попробовать воду на вкус. Но и озёра бывают солёными.

Дело происходит у длинных деревянных мостков, которые не ведут никуда, а обрываются посреди воды. Между настилом и поверхностью водоёма не более метра, эта поверх-

ность слегка волнуется, шлёпая по щекам деревянные сваи. Наверное, всё-таки море.

Рыбаки возятся с небольшой сетью. То ли хотят волочить её вручную по мелководью, то ли собираются прицепить к катеру, допотопной посудине, болтающейся близ берегов.

Отец переговаривается с рыбаками. Он, не в пример мне, всегда был азартным человеком. Так что его живо интересуется, какой здесь может быть улов.

Бухта мелкая. Вблизи берега взрослые мужчины сидят, засучив штаны выше колен. Может быть, отец тоже просто так ходил, а потом решил искупаться?

Отец стоит на деревянных мостках. Выглядит он величественно. Небо на закате прояснилось, и розовые отблески поблёскивают в каплях на его тёмных, слегка рыжеватых волосах. При всей худобе, он высок и выглядит сильным и нетрусливым, он с уверенностью, а может, вернее сказать – с некоторой наглостью, смотрит вперёд на горизонт. Но наглость эта не имеет неприятного оттенка, лицо у него достаточно умное и даже печальное, хотя это и не лишает его торжественности. Он то ли влюблён, то ли собирается влюбиться... Кто знает, может, уже в мою мать? В лице этом много пытливости – он, если и не уверен в умениях рук своих, но предполагает, что знает, как управляться с людьми. Кое-что он успел повидать.

В позе его, в этих влажных зеленовато-карих глазах очень много романтики. Вообще, мой отец был сентиментальным

человеком.

Дует ветерок, ему холодно, он ёжится, под мышками выступает гусиная кожа, он обнимает себя руками и прячет мокрый подбородок на груди. Наверное, надо нырнуть в воду – так теплее.

И я ныряю. Вода действительно тёплая. И, хотя я так и не понимаю, насколько она солоня, я замечаю, что она чистая и прозрачно-зелёная, хотя сверху и выглядит угрожающе-коричневатой. Дно – из чистого жёлтого песка. Я кувыркаюсь и дурачусь в воде, она заливается мне в нос. Я выныриваю, смотрю на заходящее солнце, стоя погруженным по грудь. Отражённый свет лучами рассыпается вокруг сощуренных глаз. Солнце вновь скрывается за тучу. Скорее всего, в неё и сядет.

Отец плавает где-то рядом со мной. Потом мы вместе сидим на мостках, свесив вниз ноги, и разговариваем. Почему-то стало теплее – может, ветер перестал дуть?

Не могу сказать, узнал он меня или нет. Но мы повидались. Повидались как друзья и разошлись. У него были свои дела. Это можно было понять. Ведь если бы вот сейчас он от меня не отвлёкся, то когда бы он смог заняться проектированием моей будущей личности?

Уже с берега он улыбнулся мне и помахал рукой, потом попрощался с рыбаками и посочувствовал им, так как они никак не могли завести свой ржавый катер.

Я сидел, поджав под себя колени, и решил не смотреть ему

вслед. Мне было грустно. Так грустно, как бывает мальчику лет двенадцати, когда его покидает отец. Я знал, что он уйдёт, всё равно уйдёт. Он не мог остаться.

Но плакать было бесполезно. К тому же, кругом всё равно была вода. И если бы я распустил свои слёзы, тогда бы уж точно никогда не определил, солёная она или нет.

Я как бочонок, бухнулся в невысокие волны. И правда, я не мог уразуметь, вкус чего ощущаю – слёз ли своих или окружающей воды.

Когда, наконец, я устал плавать и, вынырнув, открыв глаза, на берегу уже никого не было. Даже рыбаки уплыли на своей развалюхе – а я и не заметил. Темнело, в бухте установился, почти не сминаемый рябью, штиль. Я утомился, но мне было странно тепло. Грустно и приятно одновременно.

На отвыкших от прямохождения ногах я по дну приближался к пляжу. Может, всё-таки стоило отыскать отца где-то там, на суше?

Мы пошли в бассейн. Отец, я, моя дочь и ещё какой-то маленький мальчик, по-моему сын знакомых отца.

Бассейн был не совсем обычный. Располагался он в центре Москвы, в здании, которое я, если бы напряг память, вполне бы мог вспомнить. Но предположить, что там, внутри, находится какое-то подобное заведение – этого бы мне никогда не пришло в голову.

Однако, отец как всегда был уверен в своих действиях.

Он вёл нас через какие-то дворы обходными путями, и я всё более убеждался, что этот бассейн действительно исключительно для избранных. Средний нормальный обыватель просто никогда бы не сумел отыскать туда дороги в таком строгительном лабиринте.

Хотя у меня попутно формировалось и предположение о том, что истинно властимущие и толстосумы – т.е. не такие халявщики, как мы – ходят в этот бассейн с какого-то другого хода. Скажет, туда принято подъезжать только на шикарных машинах – иначе вас не то что не пустят, а и близко не подпустят. А мы, значит, напрягаемся в поисках хода чёрного, который и предназначен для, подобных нам, сомнительных личностей.

При всём при том, отец вышагивал впереди столь убеждённо, что трудно было заподозрить его в каком-либо подлоге. Вероятно, он уже бывал здесь, и не один раз, – иначе бы мы так скоро не добрались. Более всех выбивался из сил бедный мальчик, которому в диковинку наверно было поспевать за двумя торопящимися неведомо куда и зачем большими дяденьками. Дочка моя была более привычна – так как я неоднократно таскал её за собой по лесу в большие походы – к тому же, сызмальства отличалась большой положительностью характера и склонностью поучать. Она утешала малыша менторским тоном, хотя и была-то его старше едва ли года на два. Малыш однако её слушался и вместо того, чтобы хныкать героически стискивал зубы и прибавлял шагу. Ах,

какие же у этих детей маленькие ножки!

Справедливости ради, следует отметить, что отец вовсе не собирался нас мучить – просто у него, в противоположность детским и даже моим, ножки и соответственно шаги были большими и, к тому же, мы уже опаздывали на сеанс. Тут, правда, и он был немного виноват, но совсем немного.

Миновав задворки, которые произвели на меня впечатление специальных искусно созданных декораций, мы наконец оказались у заветной двери. Дверь была самая обыкновенная, металлическая, обитая тёмным дерматином. При этом она всё-таки производила впечатление некоторой величественности. Скорее тут виновато было крыльцо, с несколько гипертрофированным навесом и неожиданно деревянными, покрытыми свежим лаком, поручнями. Фонарик, свешивающийся из под навеса, тоже был каким-то замысловатым и наводил мысли на что-то японское. Дверь, к тому же, была закрыта, и нужно было звонить, чтобы потом на тебя оттуда посмотрели в глазок. Вообще больше было похоже, что за дверью квартира какого-то генерала, чем бассейн.

Нам довольно скоро отворила аккуратная деловая женщина. Между сорока и пятьюдесятью годами, блондинка, в стоговом костюме, когда-то была весьма привлекательна. В маленьком предбанничке, где располагался её стол, мы разговаривали почему-то шёпотом; тон, разумеется, задавала хозяйка. Она взяла у нас карточки с фотографиями, внимательно просмотрела их, сделала какие-то пометки в журналах, затем

поставила на каждой карточке штамп и указала нам рукой на висевшие в торце комнаты настенные часы. Это значило, что следовало торопиться. По этим внутренним часам, в точности которых, судя по местной строгости, не стоило сомневаться. Мы уже опаздывали почти на пять минут – стрелка переместилась с едва уловимым звуком – точно: на пять.

Отец поблагодарил тётеньку и, спрятав все документы в бумажник, а бумажник во внутренний карман, проследовал к следующей двери. Мы за ним. Дочка моя вела себя невозмутимо, как будто так и надо. А мальчик открыл рот и забыл закрыть; заметив это, она осторожненько подтолкнула вверх его отвисшую челюсть. Мальчик удивлённо клацнул зубами. В то же мгновение перед нами отворилась дверь, и мы все прошли в раздевалку.

Здесь были вешалки и зеркала как в театре. Работники ходили в униформе, напоминающей институт лакеев девятнадцатого века. Тёмная зелень и бордо, бронза, дорогой лак. Но в остальном – всё очень современно и гигиенично. Раздевалка состояла, как минимум, из нескольких секций, и в каждой секции вешалки были заполнены более чем на половину. Бассейн обещал был не маленьким.

Вдруг к нам подошла женщина, не та что встретила нас первой, но очень похожая на неё, и сказала, что нам здесь раздеваться нельзя, и чтобы мы шли прямо – мол, разденемся там, на скамеечке.

Отец, кажется, её понял и кивнул. И мы пошли вперёд по

серо-белому мраморному полу, невольно стараясь гулками шагами не нарушать царящую здесь торжественную тишину.

Дальше почти не было дверей – только проходы. Этакие анфилады рядами, которые так наводили на мысль о водяных дорожках бассейна. Коридоры, подобные тому, по которому мы шли, виднелись в просветах и справа и слева, и неясно было, сколько же их здесь. Мне, по крайней мере, внутреннее пространство казалось всё более огромным и всё более странным представлялось, каким образом всё это могло уместиться в пускай и помпезном, но отнюдь не таком большом с виду, старинном особняке. Единственное объяснение, которое я для себя находил, состояло в том, что мы как-то незаметно уже успели спуститься в подвал и теперь блуждали по не ограниченному в площади подземелью, для которого отреставрированный особнячок служил только, отвлекающим внимание, фасадом.

Наконец, мы остановились. С тех пор, как вторая тётенька запретила нам снять верхнюю одежду в раздевалке, в отце явно поубавилось уверенности, хотя он это и достаточно умело скрывал. Однако я уловил, что он сам толком не знает, где мы должны остановиться. Никто нам больше не давал никакой подсказки, хотя то и дело мелькали очень озабоченные представители рода человеческого, относящиеся явно к обслуживающему персоналу. На некоторых скамейках по бокам мраморного коридора сидели голые люди, т.е. люди в плавках и в купальниках, всё больше – немолодые и

излишне жирные дяди и тётки. Чванливость, запечатлевшаяся на их губах, выдавала людей, весьма гордящихся собой, но одновременно в глубине души сильно сомневающих в правомерности этой гордости. Словам, это были сплошные начальники и их жёны. Для меня – компания не самая лучшая; но отец, кажется, такие компании любил. А дочке всё было любопытно.

Я осознал, что мне всё это больше всего напоминает. Станцию метро, вернее, несколько, непонятное количество, станций, устроенных зачем-то одна возле другой. Где же здесь купаются? Я не сразу понял.

– Давай вот здесь, – продолжая соблюдать местный этикет, тихо сказал отец. Он имел в виду мраморную скамейку с дощатым сидением, почти такую же, какие стоят в метро на наиболее древних московских станциях. Над скамейкой висел бронзовый светильник вроде подсвечника – но всё это было довольно новое, видно, что не старина, а под старину.

Мы стали раздеваться и складывать вещи на указанную старшим скамейку. Паче чаяния, над нею не оказалось никакого маломальского гвоздика, чтобы повесить пальто. Мне очередной раз захотелось плюнуть и уйти отсюда широкими шагами, волоча дочку за руку. Но мне не хотелось обижать отца, который изо всех сил старался держаться молодцом. Да и у дочки явно было своё мнение. Разве можно отказывать ребёнку в радости купания? Таким образом, моё унижение имело свою цену.

Служители, как прежде, проходили мимо нас с таким видом, будто нас вовсе не существовало. Они несли в руках то какие-то номерки и ключи, то подносы с напитками и фруктами, то стопки аккуратных полотенец и простынь. Женщины были похожи на стюардесс, а мужчины – на проводников поезда в вагонах самого высокого класса.

Я, кажется, догадался, почему нам не разрешили по-человечески раздеться. Судя по тому, лежит ли или нет верхняя одежда на лавочке, служители могли судить о разряде посетителя. Интересно, что у тех, кто предположительно входил парадным входом, и другой одежды, кроме купальной, нигде не наблюдалось. Наверняка – сдали своё облачение в какую-нибудь специальную, особо охраняемую раздевалку. Но это уж точно – не для нас, простых смертных.

Чем дальше я раздевался, тем мне становилось холоднее и противнее. Я понимал, что это чисто психологическое, и всё же босые ноги мёрзли на каменном полу – пускай он даже и, как утверждал отец, подогревался изнутри. Скорее всего, нам предложили место, где не подогревается. Или нет – раз уж мы сами сюда пришли – как только увидели нас и оценили, так и выключили подогрев. Мне было стыдно демонстрировать свою беспомощность перед дочкой. Я вспомнил, как когда-то, будучи в крымском Фаросе, случайно попал с компанией друзей на какую-то закрытую теннисную площадку для избранных.

– Кто это такие?! Кто их сюда пустил?! – завопил старший

из окопавшейся здесь семьи. И столько было праведного гнева в его голосе и убелённых благородной сединой бакенбардах. Если бы я не опасался быть расстрелянным – точно бы подрался.

Но пока я предавался мрачным воспоминаниям, дети уже разделись и приготовились нырять. А я только сейчас понял, как это здесь вообще делается. Дело в том, что непосредственно рядом с нашей скамейкой, чуть сзади, в той стороне, откуда мы пришли, была устроена мраморная прямоугольная яма. Желтоватая вода в ней подсвечивалась со дна белым огнём. Я слышал про какие-то новомодные купели в церквях, вот они мне примерно такими представлялись, но круглыми. И я вспомнил, что что-то вроде того требовалось преодолевать в светлой памяти бассейне «Москва», где когда-то, в незапамятные времена, совершал омовения и я. Но там это было оправдано тем, что водяная гладь бассейна находилась под открытым небом и нырять приходилось через водяной замок для того, чтобы морозный воздух не проник напрямую в тёплое помещение предбанника. Здесь же было совершенно непонятно, куда ты попадёшь, если нырнёшь. Неужели тоже на улицу? Но каким образом? Мне пришло в голову, что мы находимся под пресловутым храмом Христа Спасителя, который в недрах своих так и остался бассейном. Тогда вполне была объяснима эта мрачная холодная помпезность. Ибо храм сей не для людей был воздвигнут, но для Патриарха и правительства.

Пока я рассуждал в сердце своём, уже и отец куда-то исчез. Не то ушёл, как я надеялся, узнать всё же что-то у служащей, не то окунулся вслед за резвыми детишками в страшноватую купель да и пропал без следа.

Мне и с самого-то начала здесь было неудобно, а уж теперь прямо-таки нестерпимо захотелось спрятаться в самого' себя, сжаться в точку; и мечталось ещё: вот бы всё это вокруг оказалось неправдой, чьей-то дурацкой выдумкой... Куда, в конце концов, исчезли мои дети?! Кто будет отвечать за маленького мальчика? А дочь...

Из копчика, из так называемой первой чакры, у меня столбом стал подниматься ужас. Я снял рубашку и майку, ибо давно уже сидел без штанов, поджимая под себя, как будто стыдясь, голые ноги. Озноб пробрал меня так, что я содрогнулся.

Я огляделся по сторонам. Нет, и отец спешил мне на помощь. И никого из местных работников в этот момент в обозримой близости видно не было. Немногие же видимые из купальщиков были столь чужды сердцу моему, что хотелось не то заплакать, не то вытошнить скопившуюся сердечную боль. Я потрогал свой лоб, подозревая, что у меня температура, но он был холоден, как мрамор стен, как лоб покойника.

Я стоял на краю водяного резервуара и у меня тряслись поджилки. Может быть, дети всё-таки ушли ещё куда-нибудь? Куда я смотрел, раззява! Почему они мне не сказали?

Даже всплеска никакого не слышал!

Я потрогал воду большим пальцем ноги. Никаких ощущений – словно её нет. Наверное, вода той же температуры, что и моё тело. По крайней мере – не в прорубь и не в кипящий чан. Но почему-то не видно дырки, в которую я должен пронырнуть. Я успокаивал себя, что и не могу её толком разглядеть, потому что она сбоку, подо мной или впереди, за широкой колонной, на которой слегка подмигивает светильник... Ну точно – метро, только почему-то никто не объявляет, с какой платформы поезд отправляется.

Я закрыл и открыл глаза. Ничего не изменилось. Никто не вернулся. Никто не обращал на мои муки малейшего внимания. Я должен идти за детьми куда бы они ни исчезли, я шагаю в воду...

Мы с моим старым другом были в гостях. Я считал этого друга потерянным. Он в своё время начал пить и пил так сильно, что я его мысленно уже похоронил.

Но вдруг он объявился, всплыл через много лет, и мы в нем, хотя и с трудом, стали восстанавливать отношения. С его стороны наблюдалась явная заинтересованность, да и мне было приятно вновь обрести ещё одного близкого человека.

Недостаток общих интересов восполнялся посещением общих знакомых. Знакомый, к которому мы зашли на этот раз, был даже и не совсем общий, т.к. я, хотя и знал его, но

встречались мы до того всего лишь дважды, а посетили мы этого парня, по большей части, из-за того, что другу нужно было что-то там уточнить насчёт ремонтных работ, которыми они вместе с ним профессионально занимались. Обстановка в квартире однако оказалась настолько непринуждённой, и мы уселись пить чай. Когда же мы уже уходили и прощались в прихожей с радушным хозяином, кто-то позвонил в дверь. Пришлось снова отступить в кухню, ибо появилось сразу трое человек, и для всех в крошечной прихожей было явно тесно. В одном из этих людей я, к удивлению своему, узнал своего отца. Ещё были мужчина и женщина, оба мне, на первый взгляд, незнакомые.

Я пребывал в некотором замешательстве. С одной стороны, уже пора было уходить, с другой – очень хотелось пообщаться с родителем, которого я не видел так давно, что и не мог припомнить как. Впрочем, у него была своя компания, зашёл он сюда, совершенно понятно, не для того, чтобы увидеться со мной, и в кухне мы все вместе – хоть ты плачь – всё равно не поместились бы. Я так же не был осведомлён о планах мало знакомого мне хозяина – ожидал ли он гостей, собирался ли накрыть стол в комнате? Туда я не заходил.

Новые гости раздевались и разувались, а мы с другом жеманно здороваясь с ними, мялись на пороге кухни. Отец, конечно же, узнал меня, но почти не подал виду – только слегка улыбнулся и приветственно полуподнял руку – полуподнял, быть может, только потому, что потолки здесь низкие, а он

высокий. Мне, однако же, стало как-то обидно. Недаром мы с ним в былые времена ссорились – всё же мог бы уделить своему сыну при встрече и побольше внимания.

Мы пропустили их на кухню, а сами вышли в прихожую. Отец, проходя мимо, легонько коснулся прохладной рукой моего плеча и ещё раз улыбнулся – улыбка была какая-то грустноватая – словно внутри у него что-то болит или душу мучит какая-то совсем посторонняя и малоприятная мысль.

Хозяин кивал то вновь прибывшим, рассаживая их нагретых нами табуретках, то нам, как бы извиняясь, что для нас аудиенция уже закончена. Я досадовал на себя из-за того, что ни на что не могу решиться: то ли праву близкого родственника отвлечь внимание отца от его спутников, то ли уйти как ни в чём ни бывало? Я не один раз обратился к отцу за поддержкой взглядом. Но он – или ничего не замечал, или умело делал вид, что не замечает. Я, уже одетый, продолжал топтаться на пороге кухни, поворачиваясь то к другу, то к отцу. Он, всё с той же степенью любезности и холодности, улыбался, и ничем не отвечал на все мои жесты, хотя с остальными у него уже, похоже, успела начаться какая-то, ничего для меня не значащая, беседа. И откуда только отец мой мог знать знакомого моего друга? Ничего общего не нахожу между этими двумя людьми. И кто эти люди с ним? Кажется, когда-то где-то я их уже видел, но никак не могу вспомнить, когда и где. Моего друга отец как бы узнал, но видел он его последний раз, когда тот был ещё ребёнком. Друг же отца моего узнал

без труда, но тот, почти наверняка, в теперешнем виде узнать бы его не смог, а лишь мог предположить по тому, как с ним здороваются, что это кто-то из моих друзей, с кем он, вероятно, когда-то, давным-давно, встречался.

Ситуация сложилась неудобная, по всей видимости, для всех. Женщина, усевшаяся ногу на ногу у окна, нервно курила и неестественно похохатывала. Неужели, это была какая-то отцова любовница? Нет, я такую точно не знал. Мужик явно чувствовал себя не в своей тарелке и всё смотрел то куда-то в пол, то метал моментальные взгляды в сторону прихожей, как бы подгоняя нас к выходу. У меня сложилось впечатление, что он чего-то сильно смущается. Хозяин не знал куда деть руки. Друг заждался меня и начал потеть.

"Ладно, – подумал я. – Значит, не судьба". Подумал и вздохнул. Вздохнул и сказал «до свидания» всем.

– До свидания, – каким-то слабоватым, словно придавленным, голосом произнёс отец.

И это была первая его фраза за всё время нашей случайной встречи, которую он обратил непосредственно ко мне. Я ещё несколько мгновений потратил, пытаясь заглянуть ему в глаза, но он отвёл взгляд. Я, не удержавшись, хмыкнул и поторопил друга, подталкивая его в спину к двери.

Мы спустились по тёмной лестнице со второго или третьего этажа. На улице было светло и выйдя из подъезда, мы невольно зажмурили глаза. Стоял морозный февральский день. Недавно выпал свежий снег, и ненадолго показа-

лось солнце. Перед закатом погода установилась прямо-таки праздничная. Друг закурил – эту пагубную привычку ему так и не удалось побороть. Нам некуда было торопиться, мы стояли и созерцали, наваленные по периметру газонов, огромные сугробы. Друг колечками выпускал дым. Краем глаза он лукаво посматривал на меня – мол, гляди, какой я табачных дел мастер, а заодно забудь о своих печалях. Мне, и правда, было печально и неприятно – так, как будто пришлось проглотить что-то большое и горькое. Нет, что-то было не так. Может вернуться? Вернуться и устроить им всем там скандал? По полной форме. Так, как я любил в позднем детстве и ранней юности...

Тут мне стало гадко от самого себя, от собственного малодушия. И потом – причём здесь хозяин квартиры? – довольно милый человек. И интересы друга это может как-нибудь затронуть... Нет, надо уходить. Но отец...

Вдруг они вышли за нашими спинами и пошли куда-то со двора. Отец опять словно не заметил меня. Я только успел посмотреть им вслед. На этот раз их было только двое, с тем мужиком. Женщина почему-то осталась.

– Дай-ка закурить, – сказал я другу. Жизнь показалась мне сейчас до того несладкой, что я не выдержал. Но и сигареты были не сахар.

Я уже докурил и отплёвывался. А друг стал проявлять признаки нетерпения, он не понимал, чего я ещё жду. Уже и погода опять испортилась, снег пошёл и стало тёмнеть. Пора,

пора уходить. И мы – очень медленно – пошли. Я смотрел себе под ноги. Друг потеревил меня за плечо.

Нам навстречу снова попался отец, один. В руке у него был пакет с покупками, наружу торчали две плосковатые бутылки с выпивкой, в одной – вроде виски, а в другой – джин. Баба его такое что ли пьёт? Откуда у них деньги?

– А я думал, что ты ушёл, – сказал я отцу.

– Я хотел уйти, но разве отпустят, – грустно ответил он. Ему явно не терпелось скрыться с глаз моих, исчезнуть в подъезде. Приятель-то его, видно, уже вошёл. На кончике носа у отца блестела большая прозрачная капля, но самого его уже почти не было видно в сгущающихся сумерках. Он всё время отворачивал лицо, как будто был в чём-то виноват. Даже не передо мной, а скорее – перед самим собой. И говорил стесняющимся голосом – на него совсем не похоже. Может, это не он? Но вот уже распахнулась и захлопнулась дверь. Друг потянул меня за рукав. А я не то расслышал, не то вообразил себе, что расслышал торопливые шаги отца, который почти взбегал по лестнице. Уж не думал же он, что я за ним погонюсь?

Пускай, пускай идёт по своим делам, к своим так называемым друзьям, со своей свежекупленной живой и мёртвой водой! Я был немного зол на него, и я уже успел замёрзнуть, пока дожидался тут незнамо чего. А другу-то ради чего было со мною мёрзнуть? Хотя он, похоже, понимал меня – он ведь был сирота, не помнил даже свою мать...

Горечь и недоумение остались у меня в душе после того, как я навсегда ушёл из этого двора.

Желание

«И словно из засады,

Нос к звёздам тянется, что в небесах видны...»

А. Рембо

Я хочу лежать на крыше и смотреть на звёзды. Но к этому простому желанию всё время примешивается ещё что-нибудь. Хорошо бы иметь простое, эталонное желание.

Ну вот, не успели начать, уже дошли до того, что желаем иметь желание. Есть и более вещественные трудности. Например, к желанию лежать на крыше, всё время примешиваются пожелания насчёт того, какая именно эта крыша должна быть – тёплая, плоская и т.д. Что касается созерцания звёзд – то неплохо, было бы, если бы зрение улучшилось. Скажем, стало бы таким же, как в детстве. Потом – немало важны состояние атмосферы и общая освещённость вокруг.

Как проникнуть на крышу? – вот ещё в чём вопрос. Большинство чердаков заперто и опечатано – горожане опасаются враждебных проникновений, диверсий, грязи и пожаров от бомжей. Ломать дверь? Значит – вступать в противоречия с законом. Значит – уже не будешь себя чувствовать спокойно, когда наконец, там – если найдётся подходящее место –

всё-таки уляжешься. Будешь ждать, что кто-нибудь за тобой придёт. Что, с ним драться, что ли? Тогда уж точно попадёшь в тюрьму.

И будет тебе небо в клеточку.

Но я хочу просто лежать на крыше и смотреть на звёзды. Путь даже в очках, которые несомненно искажают пространство и сужают обзор. Где найти такую крышу?

Плоские крыши – как назло – бывают всё больше на юге. Там и звёзды – поярче, покрупнее. Где-нибудь в пустыне... Но как вообразишь, что вокруг будут бродить какие-нибудь негры или арабы с автоматами... В Индии – индусы, в Китае – китайцы. Да, это проблемка – для такого патриота и почвенника как я!

Есть богатые люди, которые могут купить себе квартиру поближе к небу, с какой-нибудь супероборудованной открытой площадкой. Но, не говоря уже обо всех остальных неприятных хлопотах связанных с богатством и обширными владениями – какой небоскрёб ни выбери, на звёзды будет мешать смотреть зарево большого города. Только настоящему тирану под силу уничтожить все близлежащие источники света по собственному хотению. Да и стоят ли свечи игры?

Настоящие исполины духа, как то – астрономы и отшельники, удаляются подальше от цивилизации – благо, в России ещё сохранились действительно дикие места. В лесах и на горах устремляют они жадные взоры навстречу небесным светилам. Астрономы усиливают своё зрение при помощи

разнообразных приборов, а отшельники более изощряют ум свой и душу свою – дабы внутренним взором хотя бы отчасти постигнуть небесную гармонию.

Имея на носу очки, я – уже полуастроном. И крыша мне нужна – как необходимая опора для телескопа.

Допустим, когда-нибудь желание моё исполнится. Хотя трудно в это верить, поскольку всё меньше дней остаётся пребывать мне на земле, да и зрение моё со всеми остальными моими силами начало слабеть и день ото дня теперь слабеет скорее. Но, несмотря на все эти бесконечные "но", всё-таки представим себе, как я прилягу на какой-нибудь – пусть хотя бы просто скамейке – в погожую тёплую августовскую ночь, где-нибудь в тёмной деревне, где если и пахнет чем-то плохим, то разве что навозом. Вот я лежу и смотрю на звёзды. Как дурак.

Никого нет. Одну ночь никого нет. Вторая ночь столь же хороша для наблюдений, даже лучше. Я опять смотрю. А если третья ночь будет опять подходящей? А если я даже не на скамейке, а на крыше собственного дома, вернее, на какой-нибудь специально сооружённой для подобных забав площадке, которую благоразумнее убирать на зиму, т.к. двускатность крыши способствует ненакапливанию снега? Если так? Мне хорошо. Очень хорошо. Но захочется пить. Попью зелёного чая с травками из собственного сада – всё себе сам приготовил, как я люблю, и всё у меня под рукою. А потом захочется пи'сать... Что же, спущусь. Ну вот ещё – опять

подниматься! Как бы не так – пописаю прямо с крыши. Кто-то насмеялся над Талмудом, приводя пример, что будто бы в одном его месте всерьёз обсуждается вопрос – можно или нет правоверному еврею мочиться с крыши синагоги. И вот я прихожу к выводу, что это весьма важный и отнюдь не высосанный из пальца вопрос. Хоть я и не правоверный еврей.

Пописать в свой сад, с собственной крыши, конечно, не возбраняется. Но, с одной стороны, – соседи могут увидеть. Что они подумают? Ах, этот извечный наш унижительнейший страх перед людским мнением! А с другой – можно ведь и вниз свалиться. А если будешь писать не совсем с края, часть мочи останется на скате. Или пускай даже – в специальном жёлобе, но всё равно будет своим запахом раздражать и отвлекать от возвышенного созерцания.

Вы можете возразить, что всё это мелочи, если действительно есть свой дом и сад в деревне. Соглашусь с вами, ибо кроме звёзд здесь можно наблюдать бабочек, цветы, да мало ли ещё что... Только это должна быть настоящая глухая деревня. Не какая-нибудь дача в сорока километрах от Москвы.

Но зачем вообще это всё? В данном случае, я ещё не дошёл до того, чтобы спрашивать о смысле жизни. Я имею в виду это, конкретное, желание. Зачем надо лежать на крыше и смотреть на звёзды? Что при этом произойдёт?

Знаю, найдётся умный читатель. Таковым предположительно является каждый второй, который выскажет сужде-

ние: мол, ничего не должно происходить и беда наша как раз в том и состоит, что мы не способны остановить поток собственного сознания и вместо того, чтобы успокоиться и расслабиться, всё ждём, когда что-нибудь начнёт происходить. Собственно, пока человек ждёт, с ним уже кое-что происходит, с ним происходит ожидание.

В общем, если не уснуть и не научиться медитировать – если только не врут, что этому можно научиться, и если, правда, этому нужно учиться – тогда, в конце концов, соскучишься. Да в любом случае – надоест. Отлежишь бока, есть захочешь, свежеповато, как говорит один мой друг, станет – потому что как раз в особенно погожие ночи выпадает особенно обильная роса. И перестанут тебе нравиться звёзды, и отвратишь ты от них взгляд свой – подобно тому, как человек, утративший мужское влечение, уже не обращает внимания на обнажённые стати женщин.

Кстати, о статях. Ведь захочется же с кем-то поделиться. Человек имеет язык, т.е. выговаривает много слов, чем преимущественно только и отличается от животных. Имея инструмент, как не пустить его в дело? Умеющий говорить, человек умеет долго молчать. Но не припомню даже ни одного святого, который бы ушёл из жизни в полном молчании – не голосом, так написанием, не написанием, так жестом...

И почему-то хочется нежности. Нежности всегда не хватает. Это у нас общее со всеми остальными живыми тварями. Или, может быть, я преувеличиваю. Но все мы хотим быть

мягкими, тёплыми и пушистыми, как щенки и котята, – хотя бы иногда. Как там у Маяковского? – «Ночью хочется звон свой...» Да, ночью, как раз тогда, когда я собираюсь смотреть на звёзды. А кое-кто дрова рубит. Ну, может, с возрастом пройдёт? А у некоторых, говорят, до девяноста лет не проходит...

Чего мы на самом деле хотим – несвободы или свободы? Трахаться, что ли, надо под этими звёздами – чтобы получить окончательный и всеобщий кайф? Или ещё принять какие-нибудь наркотики? Тьфу! Что за ублюдочный гедонизм!..

Ну вот меня гладят по голове. Не по той. Просто по волосам, которых у меня нет. Но пускай – есть. Выходит, я хочу, чтобы у меня были волосы?

Психоанализ, вообще, увлекательное занятие. Но исследуя одно желание, всегда можно обнаружить в нём и за ним все остальные. Разумеется, есть желание жить. Но всё живое умирает, и именно поэтому оно, живое, познаётся в сравнении. И поэтому – желание жить равнозначно желанию естественной смерти. Прав Раджниш, говоря, что единственный способ потерять желания – это устать. А как можно устать? Только исполняя желания. Свои или чужие, без устали.

Для того, чтобы безмятежно лежать на крыше, тоже нужно сперва устать. Конечно не так, чтобы хотелось умереть, но...

И язык уже не должен ворочаться и никакой другой член.

Только глаза пускай смотрят на звёзды, а губы улыбаются. И не дёргайся ты, если увидишь какое-нибудь НЛО или комету! Покой – дороже. И пусть в уши твои вливается песнь ночных сверчков. А ведь могут быть и комары... В августе-то – вряд ли.

Почему я, как Кант, не вижу моральный закон внутри? Потому что я близорук внутри, так же, как и снаружи. Я не знаю, что такое хорошо и что такое плохо in abstracto. Только когда мне необходимо решить конкретный вопрос, я выбираю то или другое. Лыщу себе надеждой, что всё-таки чаще выбираю добро. Но как я в этом могу быть уверен?

Когда лежишь на крыше и смотришь на звёзды, не нужно выбирать. То есть это в идеале не нужно. А на самом деле, мысли не останавливаются, не останавливаются, не останавливаются... Но ведь и там, далеко над нами, происходит что-то вроде непрерывного броуновского движения. И звёзды, как мы – дети вечной суеты. Но может ли быть вечность суетной? Может быть, суета – это форма существования Вечности?

Да нет, есть что-то ещё. Это что-то я и стараюсь постичь. Но это ускользает. Но *этого* ли именно я хочу? Может быть, если бы в самом деле хотел... Но не знает левая рука моя, что творит правая. Что-то вроде шизофрении...

Я пытаюсь пить звёздный свет. Это очень примитивная тенденция. Так некоторые дикари-людоеды надеялись приобрести мудрость противника, поедая его мозг. Но Бру-

но-Ясенецкий, не дикарь, а православный батюшка и хирург, полагал, что мудрость человеческая вполне-таки может гнездиться не в мозге, а в сердце.

И сердце стучит, пытаюсь настроиться в резонанс вращению и мерцанию звёзд. Стать нотой в этой симфонии – может быть, этого я хочу? Или, как буддисту, мне, в самом деле, захотеть ничего не хотеть?

Хорошая штука – *коан*. Это когда так замучаешь себя вопросами, что прямо-таки свалишься без чувств, или же наоборот – что в общем-то то же самое – придёшь в чувства, проснёшься. Это как раз и называется просветление, пробуждение. А дальше что? Несть предела совершенству?

И всё-таки мы заговорили о смысле жизни. А о чём же ещё? А о крыше и о том как на ней лежать, глядя на звёзды? Техника лежания – это тоже важно. Это мы упустили. Конечно – на спине. Слегка раскинув руки, но не слишком – не совсем крестом. Можно ещё положить их на живот, но тогда станешь похож на покойника. А почему бы и нет? Ноги... Можно слегка раздвинуть, можно согнуть в коленях. Это на ваше усмотрение. Да что я вам тренер, что ли?

Всё. Это только моё желание. Придумайте себе какое-нибудь другое. Иначе точно на всех не хватит плоских крыш со всеми удобствами. И ещё советую – посветите себе фонарём, чтобы было лучше видно звёздочки – а то ведь они такие маленькие. Адью!

Детектив

«... если преступление было обусловлено в той или иной мере состоянием внешней среды, то в определённой мере и ответственность преступника должна быть преуменьшена...»

А. Л. Чижевский

Я был довольно неприятным человеком. Хотя денег у меня было больше, чем сейчас. Уже успел отпустить брюхо и приобрести, не сходящее с губ, выражение отвращения.

У меня было две квартиры, одну я сдавал. Пара, которая снимала помещение последнее время неаккуратно платила. К тому же, нашлись предположительно надёжные люди, которые предлагали бо'льшие деньги. В тот же период у меня появилась любовница. Я рассчитывал использовать месяц между выселением предыдущих жильцов и вселением последующих на всю катушку.

Эти предыдущие должны были выехать вот уже тому три дня, но почему-то до сих пор не занесли мне ключи, как было оговорено. На телефонные звонки они не отвечали. Что ж, мне было не в первой наблюдать, как меняется поведение вроде бы милых людей, когда приходит время платить по счетам. И куда только девается благодать, раньше столь уместно располагавшаяся на их лицах?

Я не то даже, чтобы негодовал. Опыт научил меня оста-

ваться спокойным в подобных ситуациях. Это они должны волноваться. Я же, задумавшись, решил совместить приятное с полезным, или, вернее, приятное с неприятным. Раз уж мне всё равно необходимо заезжать на старую квартиру, захвачу-ка я с собою кое-кого ещё.

Роман у меня был в самом разгаре. Я даже не ожидал, что всё будет так весело, хотя, конечно, кое-какие мыслишки по поводу небескорыстности моей пассии уже тогда появлялись. Но эта тема совсем другого рассказа. Так вот, в очередной раз позвонив по всем возможным номерам, которые могли бы меня соединить с искомыми людьми, и не получив никакого ответа, я договорился о встрече с подругой, и вскоре мы уже подъехали к подъезду памятного мне с детства дома.

Надо сказать, что уезжал я отсюда с трудом. Но пожив какие-то полгода, да что там полгода – два-три месяца, в совершенно иной обстановке, привык и если вспоминал родовое гнездо, то без сожаления. Правда, снилась мне всегда только эта, т.е. старая, квартира.

Ради интереса я набрал код и подождал. «Основательно законспирировались», – подумал я и сказал:

– Будем надеяться все-таки, что их там нет.

– А если есть? – не без язвительности спросила моя спутница.

– Я думаю, нет, – закрыл я тему и открыл дверь в парадное своим ключом.

На всякий случай я ещё позвонил и в дверь. Опять тишина. Одно можно было сказать с уверенностью, судя по звонку, электричество не отключили. Мы вошли, в прихожей горел свет. Сперва это меня насторожило, но потом я даже порадовался этому обстоятельству. Меньше спотыкаться. Однако, покидая помещение навсегда, могли бы и выключить. В остальной квартире – по контрасту – царил непроглядная тьма. Дело было в декабре, и темнело рано.

Пока подруга стягивала узкие сапоги, я по-хозяйски в уличной обуви прошелся в холл. Так мы называли самую большую комнату, следующую сразу же за маленькой прихожей.

Нащупывая выключатель, я понял, что уже подзабыл, где он находится. А во сне все такие вещи решались сами собой. А может быть, это был уже совсем другой выключатель? Свет вспыхнул, неприятно резкий. Меня поразило обилие разнообразного хлама, наваленного кучей на софе, стоящей здесь же, слева от входа.

Подруга, уже снявшая верхнюю одежду и обувшаяся в найденные ею тапочки, заглядывая мне через плечо, часто дышала. От любопытства она даже привстала на цыпочки.

Я морщился от яркого света и гадливости, которую вызывало во мне неряшество моих бывших постояльцев.

– М-да, – сказал я. – Надо бы заставить их сделать уборку.

– Ты серьёзно? – подруга слегка толкнув меня бедром, протиснулась вперёд и присела на единственный свободный

уголок софы. Глядя на него, можно было предположить, что под всем барахлом постель застелена белой простыней.

– Ну, что будем делать? – она несколько натужно улыбнулась мне.

Я пожал плечами:

– Придётся убираться.

– Чур не я!

Я покачал головой, не без укоризны.

– Ты же ведь не собираешься на мне жениться, – сказала она.

Я поднял брови.

– В принципе, тут не так уж и много, – она подвинула тазом и рукой какие-то тюки, которые располагались сзади неё.

– Начать и кончить, – резюмировал я. – Интересно, они вообще когда-нибудь собираются отдать мне ключи? Между прочим, ещё должны за последний месяц.

– Почему ты не брал вперёд?

Я опять пожал плечами.

– Твоя доверчивость тебя доведёт. Впрочем, я не своя жена, чтобы считать твои деньги.

Я подумал, что мы вполне можем сейчас поссориться. Раньше она по-моему ещё ни разу не упоминала о жене и женитьбе два раза подряд.

– Ну, ты, надеюсь, меня сюда не для того привёл, чтобы жаловаться на жизнь? – подняла она на меня глаза вызывающе.

Я развёл руками.

– Может быть в ванной? – сказал я.

– А что, тут других комнат нет?

– Есть, но я боюсь туда даже заглядывать. Да там и койки более удобной нет.

– Ну знаешь... Давай я пойду в ванну, а ты тут быстренько приберёшься, ладно?

– Ладно, – ответил я, выдержав нелёгкую паузу.

Она сразу повеселела.

– Только ты не очень увлекайся. Скинь это всё куда-нибудь и... А то я тебя знаю... – она привстала ровно настолько, чтобы я был вынужден наклониться и чмокнуть её в губы.

– Ну я пошла? – сказала она.

Я указал ей, где ванна, и вскоре услышал, как она там мурлычет какую-то песенку сквозь шум льющейся воды.

Убираться мне совсем не хотелось, я и так устал за неделю. У меня возникали серьёзные опасения, что после таких трудовых подвигов пропадёт последняя потенция.

Сволочи всё-таки они, эти мои бывшие жильцы! На хрена было так гадить? Отомстить что ли мне хотели? И что это за вещи? У меня таких не было. Или я уже не могу припомнить собственных прошлых вещей?

Сначала всё-таки я решил раздеться. Время у меня есть. Подруга будет мыться долго. Как все женщины, и даже дольше. Я нашёл свой старый халат и тапочки, и то и другое показалось мне каким-то сальным. Не иначе жилец употреблял

их по назначению. Но выбора не было.

Заглянул опасливо в другие две комнаты и на кухню. Там было почти пусто. Зачем потребовалось всё сваливать на софу? Единственное место, которое мне теперь по-настоящему нужно. Ирония судьбы!

Подруга беспечно плескалась за стенкой. Скрепя сердце, я приступил к уборке, вернее к освобождению территории. При этом меня мучил ещё один немаловажный вопрос: смогу ли я здесь найти хотя бы одну чистую простыню?

Чего только не было в куче на кровати! Такое впечатление, что кто-то снял со стены книжную полку и вывалил сюда всё её содержимое. И точно – полка на стене была совершенно пуста. А здесь, рядом с полураскрывшимися книгами, валялись вверх ногами керамические зверьки и прочие безделушки. Что здесь делает хрустальная ваза? Тюки были явно из в течение десятков лет не открывавшегося стенного шкафа и, кроме древней пыли, приванивали камфарой и нафталином. Здесь же лежали сумки – дамская открытая, с выскочившими из неё предметами туалета – помадой, пудреницей, подводкой для глаз и пр. Здесь был даже кошелёк. Я заглянул туда, но обнаружил лишь какую-то жалкую мелочь. Ни ключей, ни каких-либо документов удостоверяющих личность – в сумочке не оказалось. Я бы закурил, но и сигарет не нашлось. Люблю дамские сигареты, хотя вообще и не курю. Чего они всё это здесь набросали? Я в который раз изумился и возмутился, сплюнул и выругался. Подруга

всё пела песенки. Нарочно старается или, правда, душа поёт? Всё меня раздражает...

Сначала я пытался как-то сортировать и раскладывать по местам хлам с софы, но потом, поняв, что на это уйдёт слишком много времени и сил, стал сбрасывать всё это кое-как по углам. Но и подобное перераспределение вещей требовало немалого энтузиазма.

А эта там всё намывается. Пришла бы и помогла! Потом мне мыться придётся – вывозился уже весь в пыли!

Но какие же свиньи эти мои бывшие товарищи! Нахожу среди тряпок сушки и хлебные крошки. Даже половик деревенской работы, явно взятый с пола, зачем-то сюда затесался. И отвинченная от стола настольная лампа без лампы зачем-то здесь валяется. В глубине зарыты глянцевые журналы. Этого я не получал, это наверно жильцы. Невольно листаю – у некоторых барышень неплохие задницы. Жилища и сама было ничего.

Но это всё отвлекающие мысли. Работать, работать! Вот чёрт! И бабу эту ещё с собой приволок...

Карандаш. А это что? Труба от телефона, оторванная. Где сам телефон? Вот. Значит это не от него трубка? Подушек здесь явно больше, чем надо. Платья, колготки... Сколько здесь колготок! И все грязные. А вот трусов нет – что она без трусов, что ли, ходила? Погоди-ка, это было, в каком-то фильме...

Дело двигалось медленно, но завал всё-таки постепенно

таял. Глаза боятся, руки делают. А те руки, которые *это* сделали... отшибить бы их... чем-нибудь тяжёлым... И точно – нахожу гирьку, от таких допотопных весов, которые теперь только на рынке встретишь. Взвешиваю на руке. Они что', мои мысли, что ли, заранее прочли? Решили поиздеваться? Вот такая вот телепатия – ну надо же!

Что я сижу? Она сейчас вымоется и начнёт канючить. Небось воображает, что я за это время не только поле битвы расчищу, но и стол с яствами приготовлю. Я, и правда, захватил с собою кое-что выпить-закусить – не без этого же. Слава Богу, столик на колёсиках свободен, да и был бы захламлён, очистить можно одним движением. Другое дело софа – и на хрена она такая большая?!

Что-то там такое ещё лежит. Такое тяжёлое, под всеми этими тряпками. Что бы это могло быть? Но всё по порядку, сейчас докопаюсь. Вот вентилятор – надо же! А я его летом искал, специально приезжал. Они сказали, что не знают, где он, – гады...

А это, это что? Мне осталось совсем немного – несколько каких-то, совсем не нужных, настеленных во много слоёв, покрывал и одеял – под ними продолговатый твёрдый предмет.

О господи! Я стянул последние покровы и обнаружил на софе труп. Я не сразу узнал его. Во-первых он был совершенно голый; во-вторых, люди, умерев, всё-таки заметно меняются. Это мне, может быть, только сейчас пришло в голову,

насчёт перемен. Лицо... Да, оно какое-то странное, глаза закрыты – как будто спит. Хорошо ещё, что их закрывать не придётся. А откуда я знаю, что он труп? Вдруг он, и правда, спит? Нет. Не похоже. Первое впечатление всегда самое правильное. Температура! Ну да, он холодный, холодноватый. Наверное, недавно умер. То-то, я думаю, отчего здесь такой тяжёлый воздух... Нет, ещё не должен был протухнуть, никак не мог. Когда он умер? Ну, если не сегодня, то вчера вечером – никак не позже. Откуда я знаю? Не такой уж у меня богатый опыт.

Сквозь мучительную тишину у меня в голове вдруг вновь прорезается плеск из ванной. Она моется? Она там? О Боже!

Я смотрю на него отсутствующим взглядом, затем чешу бровь. Отнимаю руку – мне противно, всё-таки я его трогал... Да ладно, он вроде чистый, наверное тоже помылся...

Только тут я начинаю осознавать, что кое-что произошло... А где она? То есть не моя подруга – она, слава Богу, кажется, ещё не захлебнулась – а эта, ну как её? Вот никогда не мог запомнить её имени. Хотя, да, насчёт задниц – так где она?

Недораскопанное возвышение у стены вызывает упрямое подозрение. Я работаю быстро, как учуявшая крота собака. Вот она, лапочка, вжатая в мягкую спинку. Такая маленькая – ещё меньше, чем была при жизни! Моя-то, по сравнению с ней – кобыла! И жена тоже. Прямо ребёнок! Ну, что это я, как педофил, рассуждаю? Или? Да, уж скорее – как некро-

фил. Кажется, я возбуждаюсь – надо же! Нет, будем считать, что это я возбуждаюсь на ту, которая за стенкой. Этак удобнее. Мужик, во всяком случае, меня отнюдь не возбуждает. Но почему я в этом контексте о нём вспомнил. О Господи, чего только в себе не отыщешь. Он но же тоже мёртвый... А она, между прочим, тоже голенькая, совершенно – даже трусиков нет – ох, эти трусики! Ещё тёпленькая, ну, почти тёпленькая, хотя... Да, батареи на последнем издыхании бывают такими тёпленькими...

– Эй, как ты там? – позвала меня из ванны подруга.

Я вздрогнул.

– Нормально! – зачем-то соврал я.

– Точно?

– А что, не веришь?

– Голос у тебя какой-то...

– Что? – я нарочно переспросил, её было прекрасно слышно сквозь тонкую перегородку, к тому же, вода уже не лилась.

– Я уже скоро, – сказала она и опять включила душ.

– Угу, – ответил я скорее себе, чем ей.

О чём бишь я? Да, мне захотелось перевернуть эту мою бывшую жилицу на живот, чтобы посмотреть, какая у неё задница. А она – как назло! – лежит на спине. Грудки правда у неё... Ну нет, не стану я к ней прикасаться – у меня найдётся и более подходящий объект. Глазки у нее тоже закрыты – такие длинные тёмные ресницы. Я раньше к ней как следует не приглядывался – а зря! Но были ведь причины –

боялся, что вдруг увлекусь. А в общем, она не в моём вкусе, то есть, не по форме, а... Ну да, что ещё собственно могло в ней меня интересовать кроме задницы?

Я зачем-то стащил с них всё, даже самые последние крошечки, для чего пришлось выковыривать край тряпки у мужика из под тяжёлой ноги. От ноги даже не пахло – мёртвые не потеют. Я встал на расстоянии, чтобы полюбоваться результатами собственного труда. Это была Катрина, достойная кисти мастера. Один художник, говорят, специально рисовал мёртвых под живых на своих полотнах. Ну правильно, разве может быть модель более покладистая. Даже не дышат – никакого тебе досадного движения ...

Может, всё-таки спят? Наглотались каких-нибудь таблеток... Я слышал о таком, пульс не прощупывается, а... Нет, это всё фильмы – смерть налицо. Да, вот лежат они рядом, как Ромео и Джульетта. Ромео, правда, староват. Да, чем-то он похож на меня. Только почернее, наверное, еврейских или армянских кровей, грудь волосатая, на голове шевелюра тоже тёмная, и плешь. Что касается инструмента, то он... Ну, у меня, пожалуй, и больше будет. Но волос много, выются – впечатляет. Да и кто знает, как он выглядит у мёртвых. Вы многих мёртвых без штанов разглядывали?

В общем, меня даже слегка начало мучить чувство собственной мужской неполноценности. В конце концов, почему она предпочла именно его? Теперь уже, однако, поздно, и завоёвывать некого, и спорить не с кем... Вот блин! Кто

же их так?

Да, этот вопрос уже давно звенел в воздухе, как жирная муха-падальщица. Хорошо ещё, что в самом деле никаких мух нет.

Я ощутил, как устали у меня ноги и, пятясь, присел на стул. Стул жалобно скрипнул. Надо открыть форточку, все форточки – чтобы выветрить этот запах. Какой запах? Неужели он есть? Или это я сам себя обманываю?

Я вскакиваю и бегу открывать форточки, я боюсь долго находиться к покойникам спиной. Я возвращаюсь к софе и сажусь на тот же стол. Подруга за стеной всё ещё плещется и поёт. Сколько времени прошло? Час? Смотрю на часы – двадцать минут – всего-то... Я понимаю, что сильно вспотел, когда моих оголённых лодыжек касается низовой сквозняк. Горячий пот почти мгновенно становится холодным. Холод липнет к спине, как остывающей покойник. Сейчас бы пойти на кухню и вскипятить чайку... Но я не могу встать. Паралич воли. Сажу и мёрзну. Зачем-то трясу ногой, скоро весь начну дрожать крупной дрожью – озноб. Не хватало ещё простудиться!

– Ты что там, форточки, что ли, открыл? – догадывается подруга.

– Да, я сейчас закрою.

– Давай, а то холодно.

Я стуча зубами, иду закрывать форточки. На дворе не месяц май. Чернота двора и хлопья снега, залетающие в комна-

ту, наводят на могильные размышления. Цвета земли и костей. На востоке – белое, у нас – чёрное. Хрен редьки не слаще. Похороны...

– Я уже иду! – кричит моя заигравшаяся няяда.

Только тебя не хватало! Я зачем-то спешно покрываю трупы всеми одеялами, которые валяются здесь же рядом, на полу. Кладу в промежутки между ними подушки – вроде незаметно... Зря я так спешил – она только сказала, что идёт, а я опять вспотел – вытираю со лба рукавом мокрого халата крупные горячие капли. Я, слава Богу, не мёртвый, хотя...

Нет, то есть, что мы собственно сейчас тут будем делать? Ничего ей не говорить. Поставить её тут же раком на полу? Ничего не скажешь – романтично. Или показать ей и посмотреть на реакцию – заманчиво. А то соврать, что это я их – мол, прямо сейчас, в порыве праведного гнева...

Я невольно гоготнул.

– Ты чего там ржёшь? – завистливо спросила она.

– Анекдот вспомнил.

– Сейчас я приду, расскажешь.

– Угу.

– Я уже вытираюсь.

Надо же, какая деловая – и полотенце нашла. И не брезгает. Всё время узнаёшь о ближнем своём что-нибудь новенькое. Да и с каких это пор она стала ближней? Не пора ли вернуться к детям своим? Отчего это вдруг меня потянуло на праведность? Тра-ля-ля!..

Всё-таки при закрытых форточках намного лучше. Да не так уж и пахнет. Можно сказать, совсем не пахнет. Вот можно было бы каким-нибудь дезодорантиком для верности побрызгать. Но где ж его взять? Вот у этой мёртвой fifы его даже в сумочке не было. Может, у своей попросить? Но тогда... Да, тогда наверняка придётся всё объяснять... Ну где там она? Опять зачем-то воду включила – называется вытирается. Я нетерпеливо барабаню пальцем по стеклянной поверхности передвижного столика.

Отчего они всё-таки? Несчастный случай? В таком виде, насколько мне известно, чаще всего находят угоревших – но это в машине или около печки... Газ?! Вскакиваю, но сажусь снова. Я бы унюхал. Всё закрыто, и вентиль даже перекрыт. Значит всё-таки собирались выезжать. Ничего не понятно. Прямо детектив.

– Эй, скоро там? – и зачем я её зову?

– Иду-иду!

Может, наркотики? Что-то не замечал. Да и не видно ни шприцев, никакой аптеки, хотя всего остального... Даже бутылок пустых мало. Не умерли же они, в самом деле, от любви? Или кто их убил? Кто? За что? Кому, кроме меня могла понадобиться их смерть? Постой... М-да, не очень приятная картинка вырисовывается. Я хоть не очень их лапал? А следы насилия? Я что-то ничего не заметил. Ни крови, ни синяков. На горлах по-моему тоже никакой синевы не было... Или я плохо смотрел? Нет, потом – пускай полежат в покое...

Вдруг появляется она.

– Ты что сидишь? – полотенце, которого я не видел в глаза десяток лет, намотано на ней вроде сарафана – очень кокетливо – мини, выше некуда.

– Ну? – говорит она и толкает меня свежим бедром, – у неё вообще такая манера, она отнюдь не фригидная штучка. Или только притворяется? Неужели притворяется?

Смотрю на неё с недоверием.

– Сегодня не получится, – говорю я и сам пугаюсь своих слов.

– Почему? – по тону я чувствую, что она скорее просто сердита, чем разочарована, – по этому поводу я уже готов взорваться.

– Потому что сегодня неудачный день, – говорю я.

– Ты что, этого раньше не мог сказать? Зачем ты меня сюда притащил? Думаешь, мне здесь нравится?

– Прости меня пожалуйста, но я тебе всё объясню позже.

Она молчит, поджимая губы.

– Но ты ведь почти всё уже убрал, – даёт слабинку она.

Это мне нравится, я почти готов похлопать её по тщательно отмытым, выпирающим ягодицам. Но нет...

– Сейчас собираемся и уходим отсюда.

Немая сцена. Она готова съесть меня глазами. Она, конечно же, уже заготовила фразу о том, что мы, мол, видимся в последний раз и чтобы я не рассчитывал и не звонил и т.д. и т.п. Зачем я всё это делаю? Неужели в самом деле не боюсь

её потерять? Она ведь хорошая баба, почти такая, какая мне нужна. Почти... Всегда это почти!

Молча, она начинает одеваться. Она не такая уж дура, понимает, что молчанием можно больнее ранить, чем банальной истерикой. Но мне как раз этого и нужно. Я не могу удержаться и улыбаюсь. Она смотрит на меня как на идиота, и с возмущением, и в удивлении... Послушайте-ка, да она мной почти восхищается! Вот чего я достиг! Вот, что значит нестандартное поведение в присутствии женщины. Надо будет взять это на заметку.

Мы собираемся и выходим почти в полном молчании. Я так выключаю в прихожей свет и думаю о том, что на выключателях остались мои отпечатки пальцев. Но я, в конце концов, хозяин. А как я объясню присутствие ещё кое-каких отпечатков?.. А ей и невдомёк. М-да, мне бы её проблемы.

Ну, может, всё ещё не так страшно? В конце концов, все мы знаем, как работает наша милиция. В том-то и дело. Ну, от сумы да от тюрьмы... Типун тебе на язык! То есть мне.

Пока мы спускались, я даже не успел подумать о том, что, возможно, это действительно наша последняя встреча. Жаль.

– Если хочешь, я тебя подвезу, – сказал я ей на улице.

Она, должно быть, почувствовала в моём тоне неуверенность.

– Если хочу? – переспросила она.

– То есть я хотел сказать... Садись, я тебя отвезу.

– Что с тобой произошло? – спросила она. – Совесть замучила?

– Ну... В некотором роде.

– Я так и знала. Все вы одинаковые.

При этом она таки залезла в открытую мною дверцу и элегантно поправила пальто на коленках.

Я обошёл машину и сел за руль. Нужно было прогреть мотор и чистить ветровое стекло от снега. Я снова вылез, чтобы найти в багажнике щётку.

– Почти Новый Год, – сказал я, перекрикивая песню мотора.

Она не ответила, но я уже понял, что, несмотря ни на что, это наша встреча вряд ли будет последней. А чем чёрт не шутит – может и сухарики в тюрьму принесёт. Я засмеялся.

– Опять ржёшь, – сказала она, явно не понимая, чему я радуюсь.

– Подозреваешь, что сошёл с ума?

– Да, а то ведь с таким опасно в машину садиться...

Она уже явно оттаивала, несмотря на показную язвительность и заметающие снега вокруг. Может, надеется, что я отвезу её ещё куда-нибудь? Или скажу, что пошутил, и мы вернёмся обратно?!

Наконец мы тронулись.

– Куда? – спросила она.

– Как куда? К тебе домой.

– Ко мне нельзя.

– Я знаю. Я тебя только доведу и смоюсь. Я вспомнил, что у меня кое-какие дела.

– Серьёзно?

– Нет, шучу.

Потом мы долго молчали. Она закурила длинную сигарету.

– А я думал ты не куришь, – сказал я.

– Иногда, – сказала она. – Слушай, а что всё-таки там произошло, на твоей квартире? Для чего ты всё это устроил?

– А что, ты меня в чём-то подозреваешь?

– Ну... Согласись, что всё это несколько странно...

– Снег сильный, блин! «Дворники» не справляются.

– Не заговаривай мне зубы.

– Так вот я и говорю. Трупы я там нашёл.

– Что?

– Трупы.

– Ну это уже вовсе не смешно.

– Так вот я и говорю...

– Послушай, я раньше не замечала, что у тебя такие тупые шутки. Ты меня разочаровываешь.

– Увы... Может, тебя сразу высадить? – Я слегка притормозил.

Она оскорблённо молчала. А мы уже подъезжали к её дому.

– Ну так вот, значит, я и думаю, – продолжал я, не спеша подруливая к подъезду. – Надо бы в милицию сходить. А то

мало ли что, а?

– Кретин! – она вышла и захлопнула дверцу.

– Сумочку забыла! – крикнул я.

Она порывисто забрала сумочку. Кругом бушевала пурга. И она была как пурга – такая же порывистая и неистовая.

– Всего хорошего, – сказал я вполне искренно, немного посмотрел ей вслед и не дождавшись пока она исчезнет в подъезде, надавил на газ.

Придётся ведь, и правда, идти в милицию.

Сны

"Назови это сном. Это ничего не меняет..."

Л. Витгенштейн

Что только ни приснится! То какой-то грузин, бывший народный артист, который жалуется мне, что его сына и дочь нынешняя администрация лишает бизнеса, а именно фармацевтического. Немало наверно они зарабатывали...

– Ну, – не то возражаю, не то поддакиваю я, – это такое дело.

В общем, если не убьют, станешь богачём, и всё такое. Но это и ему ясно; он говорит, что, как в былые времена боролся за свои права, пользуясь популярностью, так продолжает и ныне. Мол, не токмо Сталину посылал депеши и не токмо теперь такими депешами завалены департаменты. Од-

ними прощениями сыт не будешь! Он, мол, не то что письма, он собственные трусы свои снимает и власть имущему несёт. Вот, посмотрите! Я представляю, как пахнут трусы этого престарелого жирного грузина. Но я ему сочувствую. Вполне разделяю его гнев и негодование. Хотя, казалось бы, какое мне дело до фармацевтов-миллионеров? Наверняка какой-нибудь криминал... А что же ещё?

Потом разбираемся у них на даче. Я не то понятой, не то сам следователь. И обнаруживаем в давно размороженной морозилке следы крови. Нормально было бы подумать, что это от мяса, то бишь от говядины, баранины – что там едят? Но мы предполагаем, что дети расчленили собственного отца, и кое-какие его части некоторое время хранились в этом ковчеге. А он так за них ратовал! И зачем, почему им пришлось в голову от него избавиться? Всё какие-то интриги! Я сокрушённо вздыхаю. Даже выдавшему виды инспектору уголовного розыска неприятно сталкиваться с подобной подлостью.

Оставляем наивного старца и переходим к наркоманам. Эти преследуют меня уже давно.

То какая-то парочка спит. И он ей говорит, что, мол, уколется, а она говорит, что, мол, это ничего. Ничего – то есть страшного. Ну он и колется, и всё так и продолжается. И в самом деле вроде ничего страшного – живут и живут, и даже вроде любят друг друга, всё друг другу прощают. Прямо-таки манна небесная, да ещё героин! Сладь да и только!

А то вот ещё: засели трое в какой-то квартире и начали всё пробовать, ну, говоря традиционно, соображать на троих. Началось конечно с водки, а может, даже и с пива. Потом таблетки – всю аптечку съели. Всё выкурили – откуда-то у них была анаша, целый склад. А потом героин, и всё прочее – уж не знаю что. И сидели они там и сидели, и поняли, что подсели, и уже никому не захотелось больше выходить наружу. Зачем? Пока тут всё есть. Грустно конечно, когда подумаешь, что наверно так и придётся подыхать, и что всё наверное могло бы быть совсем иначе. И зачем они все собрались на этой квартире? Нормальные вроде мужики были. И откуда здесь героин? Может, это вообще какая-нибудь воровская хата? Вот придут их и убьют. Но думали они недолго – зачем о грустном? – лучше уколотся – свободное дыхание – то самое, какое проповедуют какие-то мудаки. Ну, они без героина, а мы – с героином – коли уж он пока у нас есть.

Когда я убежал на воздух от этих мужиков, долго не мог отдышаться. Такая уж у них там стояла вонь, такая духота! Ведь форточки не открывали – чтобы милиция не унюхала, и не мылись – не до этого!

А потом ещё у каких-то наркоманов находились мы на квартире. И мужик там уже не вставал, а только кололся. И в какие-то всё невообразимые места, о которых я раньше даже не подозревал, что там вены есть. Например, где-то на плече. Я думал, там только мышцы. И надо сказать, здоровый мужик. Только высох весь и пожелтел. А раньше наверное

мог бы на подиуме выступать как культурист. И как-то он ещё косил странно. И баба у него была; та ещё ходила, и он её тоже колол, не вставая из постели, сама она колотья не умела. Так они и жили. А мы у них гостили и топили печку – загородный дом. Когда натопишь печку – душно, а потом холодно. Чаще холодно – ведь наркоманы всё просыпают.

Я и этот дом покинул без сожаления, шёл куда глаза глядят. Пешком, по раскисшим полям. Меня какие-то ребята хотели подвезти, но я отказался – подумал, наверно опять наркоманы. Может, и зря. Ребята на вид были симпатичные. А может, убить хотели?

Ко мне однажды пришли такие домой, целых четверо. Больше всего похожи на студентов, интеллектуалы, один в очках, вежливые, романтические, как пить дать – все из провинции – завоеватели жизни. Пойдём да пойдём – звали, значит, меня гулять – да как безбожно льстили. Мол, вы такая личность, да мы без вас никак не можем, да пойдёмте выпьем, и в спину всё мелко там подталкивают – мол, давай, давай. Чем-то мне они напомнили гестаповцев, которые потенциальную жертву из дома забирают, – только очень вежливые. Я конечно не хотел идти, но куда денешься? Как откажешь, когда так зовут. Если и маслом и мёдом мажут одновременно, и поскользнёшься и прилипнешь. Я чувствую, что недолго осталось, что, что-нибудь они там со мной сделают, только мы выйдем из подъезда или там, где-нибудь за углом, или увезут куда-нибудь – да вряд ли – что' со мной так долго

возиться? Короче, конец. Иду. Не хочу, а иду. А домочадцы меня так радостно провожают: наконец, мол, за ним пришли хорошие люди. Иди, иди погуляй. Спасибо вам за всё! Улыбаюсь изо всех сил: прощайте! Они видят у меня слёзы на глазах и удивляются, и понимают: не иначе, как от счастья. А эти четверо мне всё: идёте, мол, идёмте, вы нам там стихи почитаете. Ну конечно, почитаю, почитаю, почитаю...

ТЬфу! И всё какие-то странные дома. Всё дома-новостройки, развалины, огороженные бетонными заборами пустыри да дворы. Не поймёшь – то ли запустение здесь наступает, то ли наоборот строительство идёт. И в одном доме, старом, помпезном, сталинском – огромные лестничные клетки, устеленные двухцветным кафелем. И всё время эти клетки затапливает. Но не дерьмом, слава Богу, не дерьмом! Чистая вода, почти чистая вода! И хозяйки, интеллигентные хозяйки в очках, в фартуках – выходят из квартир и собирают всё это, собирают воду швабрами, и ворчат конечно, но не матерятся, нет, не матерятся... И лифт там, старый лифт, большой, и непременно кувыркается – не просто ездит вверх вниз, а подвозит куда надо: если надо – вбок, если удобнее перекувыркнуться – он и перекувырнётся, но центробежная сила внутри сделает так, что вы не упадёте, а будете всё время чувствовать себя на полу, хотя пол на какое-то время и сделается потолком. Вот такие чудеса!

Вообще, сны бессмысленны, но в них что-то есть. Я полагаю, что в них что-то есть. Я просыпаюсь и стараюсь вспом-

нить свой сон. Когда не получается, это меня раздражает – вдруг приснилось что-нибудь важное? Наконец, что-нибудь важное! – а я не запомнил – прозевал, проспал! Скажете: Нашёл из-за чего беспокоиться! Да и как можно проспать собственный сон? А что ты делаешь, когда спишь и не видишь сна, что ты делаешь без сна – может быть, что-нибудь ещё похуже?

Проклятая амнезия! Свой сон так же трудно выдумать, как своё прошлое. Когда сомневаешься, были ли у тебя сны, вполне можешь усомниться, была ли у тебя хоть когда-нибудь какая-нибудь явь. Иначе как соединишь отдельные куски яви в нечто общее? Что ты делал между ними? Не помнишь?

А что бы ты сказал на допросе? Может ты сомнамбула? Опасный член общества, вернее, совсем даже не член, если не ведаешь, что творишь?

Уфф! Некоторые мои вопросы даже меня самого ставят в тупик. Не хотел бы я на них отвечать. Да не так уж это и важно. Давайте забудем. Забудем, но будем подозревать, что всё-таки что-нибудь было. Всегда так. И было что-то интересное – куда интереснее грузин, наркоманов и затопленных лестниц... Что-то же было там, в промежутках... Не могли же они быть пустыми?

Или *они* как затемнения в кино – промежутки между кадрами – устраивает? Никакого даже двадцать пятого кадра – просто темнота и всё. А звёздочки? Вот звёздочки мне тоже

иногда снились, и что-то в них было необычное, очень притягательное. Необычайнейшую сладость испытывал я, ощущая себя вблизи и в связи с этими звёздочками.

Но нет, нет всё-таки ответа на вопрос! Иду спать дальше – авось повезёт. Может, проснусь и пойму или там, во сне, решу, что просыпаться совсем и не обязательно. Даже так. Должен же я где-нибудь когда-нибудь получить успокоение?

Убийство

«В последнее время трупов не хватает...»

Р. Акутагава

Это было представление по поводу какого-то религиозного праздника. Не могу уже теперь припомнить, какого. Это было весной. Но вряд ли Пасха. Дело в том, что ничего даже ещё не успело толком начаться. Иначе бы я сделал бы выводы из содержания театрального действия.

Меня пригласил мой друг, звукорежиссёр, а у нас как раз выдалась редкая возможность пойти куда-то всей семьёй. В общем, это был тот случай, когда невозможно отказаться. Хотя ни я, ни жена, ни, похоже, даже дочка не особенно и хотели. Последняя, впрочем, выказывала некоторое любопытство. Но и она уже миновала тот счастливый возраст, когда некритично воспринимаются внешние атрибуты веры. Я даже опасался, как бы её вовсе не отвратило от правосла-

вия. Но друг уверял, что всё будет, если не здорово, то очень неплохо. Конечно, всякий кулик своё болото хвалит; но у меня не было оснований не доверять этому человеку, который ко всем делам относился даже с излишней скрупулёзностью.

Вероятно, инсценировался какой-то библейский сюжет. Предполагалось много музыки и красок. Всё должно было происходить на стадионе при стечении огромного количества народа, причём среди приглашённых были весьма известные и высокопоставленные особы.

Любые официозные предприятия всегда вызывали у меня привкус скуки, если не отвращение. Но, когда заранее не ожидаешь от зрелища ничего хорошего, тем более в тайне надеешься, что всё-таки могут случиться какие-нибудь приятные неожиданности, пусть даже совсем маленькие.

Мы уже уселись, но дочка захотела пи'сать. Друг, едва указав нам места, скрылся из глаз. Даже если бы я его вновь нашёл, отвлекать звукорежиссёра по пустякам было бы некорректно. Начало представления – как это бывает, частенько – задерживалось. То ли обнаружили какие-то технические неполадки, то ли ждали ещё какого-то исключительно дорогого гостя. Поводив носом туда и сюда, я решил, что у нас есть еще, по меньшей мере, десять минут, чтобы найти туалет. Жена подумав, пошла с нами. Трибуны были заполнены на две трети, но публика продолжала прибывать. На всякий случай, мы попросили соседей сообщать, что места заняты. Самым коротким путём за пределы огромного зала было

спуститься вниз, где пролегало что-то вроде гаревой дорожки, и по ней влево, к двери, которая издали казалось открытой. Я смутно припоминал, что где-то там видел указатель с нужной надписью.

Пришлось проталкиваться сквозь поток встречного народа. Я вёл дочку за руку впереди, а жена приотстала от нас метров на двадцать. Я обернулся, высматривая её в толпе и тут понял, что началось нечто отнюдь не запланированное по сценарию.

Какие-то люди в форме и с автоматами, одновременно появившись сразу в нескольких местах, короткими выкриками добивались от толпы подчинения. Всё это немедленно вызвало в памяти картины старых добрых советских фильмов про фашистов. И правда, незнакомцы выглядели как-то похоже. Впрочем, я не успел разглядеть знаков, украшающих их одежды. Зато я прекрасно заметил дуло автомата, направленное в мою сторону и инстинктивно спрятал дочку за спину. Народ на дорожке куда-то рассосался, некоторые, давя друг друга, полезли на трибуны, другие упали ниц, прикрыв затылки руками. Жена моя было среди немногих, оставшихся на ногах.

Вооружённый тип, тот который был ближе других к нам с дочкой, отвлёкся на кого-то, возражавшего ему с высоты трибун. Он полез по лесенке наверх, расталкивая всех локтями и автоматом – так наверное пастух движется среди бурлящей отары.

Решение было принято мгновенно. «Бежим!» – крикнул я жене и, покрепче сжав вспотевшую от страха ладошку дочери, бросился с ней к двери. Благо, бежать до неё оставалось не более пятнадцати метров. Как случается нередко в наиболее ответственные моменты жизни, время моё растянулось. Хорошо, что дочкино сознание изменилось синхронно с моим. Но я волновался за жену – она была слишком гордой, чтобы улепётывать от этих гадов. Успеет ли она?

Успели люди в форме. Это были первые выстрелы, которые прозвучали на стадионе. Но, как я уже сказал, время для нас стало более вместительным, т.е. появился шанс убежать от пуль. Мы бежали, а пули летели за нами и пролетели мимо. Несколько пуль шлёпнулось в деревянную обшивку двери рядом с моей головой и плечом, слева. Ещё две прошли справа, выше головы дочери. Они таки обогнали нас, я видел эти дырки, и кажется, даже сумел заметить как подлетали эти смертельные мухи и плющились о препятствия. Отлетевшие от двери щепки царапнули меня по лицу. Но мы уже были по ту сторону. Не останавливаясь, мы побежали по коридору направо. Я чуть не оторвал дочке руку. Вдруг мы спохватились и оглянулись. В коридоре было почти темно. Во всяком случае, лампы не горели – наверное тоже результат диверсии. Свет узким клинышком протискивался только сквозь щель приоткрытой двери, той самой, в которой застряли не попавшие в нас пули. Сердце стучало у меня где-то в горле и пульсировало у дочери в ладошке. Я увидел огнетушитель

слева на стене и подумал, что разможжу им голову первому, кто выглянет из-за двери – если только это будет не жена.

Мы слышали шаги. Спокойные. Почему-то они отдавались гулко, как будто каблуки стучали по мрамору. Но ведь там была гаревая дорожка? Стадион молчал как мёртвый. Огнетушитель уже был у меня в руках, и дочка с ужасом следила за моими манипуляциями.

Дверь, скрипя, отворилась шире. Я замахнулся. Пожалуй, я успел бы тысячу раз опустить на вражескую голову свой снаряд. Но оттуда вышла жена. Она надменно посмотрела назад и аккуратно, медленно прикрыла за собой дверь. И только тут раздался выстрел – тихий как эхо. Её выпустили. Наверное просто никто не ожидал подобной наглости. Никто не решился в неё стрелять. Там, на стороне стадиона, слышался какой-то скрежет – похоже, дверь запирали на засов. Захватчики больше не хотели терять заложников, а мы – были на свободе. Я швырнул тяжеленный огнетушитель и, только услышав грохот, испугался, что он мог взорваться. Но из него лишь выделилось полстакана пенящейся жидкости. Я схватил жену за руку и почувствовал, какая она вся деревянная. Она была в шоке. Конечно же, всё это ей не так просто далось. Мы шли по коридору в сумерках, мы искали выход. У меня в голове, залетевшей в комнату птичкой, металась мысль насчёт того, что бандиты ведь могут быть и где-нибудь здесь, на выходах, – надо опасаться. Но опасаться уже не было сил. Выход почему-то не находился. Коридор повер-

нул налево и ещё раз налево, все двери по сторонам были закрыты. Наконец я увидел ещё одну приоткрытую дверь и заглянул. Боже мой! Это был путь всё на тот же стадион.

Дочь и жена вопросительно уставились на меня в полумраке. Я боялся даже на секунду потерять из поля зрения, но то, что я мог видеть через щель, всё более привлекало моё внимание. Прежде всего, там, совсем неподалёку, сидел один очень известный человек, политик, в прошлом чуть ли не премьер-министр. И вот над ним-то персонально с удовольствием измывался один из, захвативших стадион, вооружённых типов. Каким образом эта дверь осталась открытой? Ведь похоже, именно тут правительственные ложи... Я приложил палец к губам, запрещая дочке, которая хотела что-то спросить. Я уже решил, что необходимо как можно быстрее увести их как можно дальше отсюда. Но, окинув напоследок рассеянным взором верхи трибун через стадион напротив, заметил там людей в камуфляже, крадущихся к распоясавшимся бандитам между кресел, как ящерицы.

Решение было принято мгновенно и как будто без участия моей воли. Я попросил жестами дочку и жену спрятаться подалеже, а сам проскользнул в дверь и бесшумно спустился на несколько ступенек, отделявших меня от одного из ново-явленных фашистов. Впрочем, может это был и не фашист, не знаю. Не то чтобы я так уж не любил именно фашистов (хотя за что их любить?), но этот тип мне очень не понравился.

Он как раз в этот момент приставил пистолет к горлу, пы-

тающегося сохранить остатки самообладания, депутата или как там его. Морда у нападающего была сальная, был он не молодой – наверное из главарей, на низко сдвинутой фуражке – какой-то невразумительный, но претенциозный герб. Я ещё успел заметить струйку пота, бегущую у депутата с виска. Спецназовцы уже начали работать, ещё мгновение и начнётся стрельба – будет поздно. А этот слишком увлёкся своей безнаказанностью...

Когда я вновь начал что-то соображать, всё уже произошло. Не знаю точно, как мне удалось выбить у него из рук оружие. Вернее, я даже и не выбивал, а затолкал ему пистолет куда-то в пах. Нажать курок он не мог, потому что я сразу же вывихнул ему руку в запястье. От боли или от испуга он сложился в три погибели, причем так, что задняя часть шеи расположилась как раз на острой спинке сиденья. Я только наблюдал, как это делают мои руки. Не то, чтобы когда-нибудь в жизни они были уж такими сильными. Но этого человека мне хотелось лишить жизни, и это было сильнее меня. Он как-то сразу посинел и сник, даже похрипеть как следует не успел, и агонии, которые так любят показывать в экстремальных фильмах, практически не было. Может, он и дёргался, но я на это не обращал внимания, я его душил. У меня не было никакой техники, я просто раздавил его, сломал ему позвоночник об спинку стула. Стул, кажется, тоже сломал. Наверное, я при этом сам издавал какие-то звуки. Во всяком случае, я почувствовал потом, что у меня свело мышцы на

лице, и я ещё долго продолжал бессмысленно морщиться и скалиться – совсем как злящаяся собака – наверное, подвернись мне тогда под руку ещё ублюдок-другой, я бы укукошил и этих – сил бы хватило.

Всё это происходило на фоне беспорядочного шума, который наступил внезапно, вслед за мёртвой тишиной, как только спецназовцы обнаружили своё присутствие. Стрельба, визги, матерные выкрики... Шлепки ударов, треск ломающихся сидений, топот бегущих... Среди всей этой какофонии мой звериный рык утонул, словно в океане. Руки у меня превратились в железные крючья и не хотели разжиматься. Пистолет со стуком упал на пол. Завалилось назад сидение с убитым. Мне не хотелось на него смотреть. Я поднял глаза. Депутат глядел на меня с благодарностью, но и с тревогой – кто я такой? Но я не ждал царских щедрот. Мавр сделал своё дело, мавр может уйти. Единственное, чего я опасался, так это того, что какой-нибудь спецназовец по дури стрельнёт мне в спину. Однако я поднялся и вышел за дверь. Публика уже потекла в коридор. Жена и дочка смотрели на меня испуганными глазами.

– Пойдём, – сказал я.

– Куда? – спросила жена.

– Наверное сейчас откроют все двери. Хотя...

Свет неожиданно зажёгся, хотя и не весь. Всё равно было темновато.

Появился человек, который пытался организовать отступ-

ление толпы.

– Спокойно, спокойно, – говорил он.

Слава Богу, людей из открытой двери вышло немного. Иначе неизбежно бы случилась паника и давка. Наверное, на самом деле я орудовал в правительственной ложе. В такие только начальников и пускают. Выстрелов не было слышно. Спецназ уже, похоже, почти навёл на стадионе порядок. Оставалось за них только порадоваться. Но мне не хотелось никаких разбирательств.

– Пойдёмте, – предложил вновь объявившийся организатор и повёл группу выдавившегося в коридор народа навстречу вдруг ярко забрезжившему в конце коридора свету.

– Идите, – сказал я. – И не говорите, что вы были во мной. Идите домой. Я только помою руки и вас догоню. Не ждите меня...

Поток уже унёс их, а я, оглядываясь как преследуемый зверь, двинулся в противоположном направлении, в ту часть коридора, где было темнее всего. Может быть, я надеялся найти там ещё какую-нибудь жертву?

За дочку и жену почему-то я успокоился. Был уверен, что для них всё кончилось! Но у меня вызывали беспокойство собственные руки – мне было противно, когда они притрагивались к моим же бокам и бёдрам. Должен же здесь быть туалет?

Я опасался преследований. В конце концов, на меня должны были обратить внимание. А куда смотрела охрана? Такая

высокопоставленная особа... Я вытер лоб рукавом. Нет, я не слышал шагов погони. Все они слишком заняты собой. Им не до героев. Даже обидно. Так можно и преступников упустить. Да наверняка – кого-нибудь с толпой и упустят. И откуда они взялись, эти спецназовцы? Быстро сработано – что-то не похоже на них. Может, это были учения? Красные или – пардон – коричневые нападали, а зелёные должны были их обезвредить? Проверка в самых что ни не есть натуральных условиях? Тогда, значит, я замочил кого-нибудь из них? Ой ты Боже мой, может быть этим и объясняется, что они в нас не попали и не убили жены? Что ж он тогда над своим шефом так издевался? Или мне показалось? Может, хоть за это мне будет поблажка?..

Эти полусерьёзные мысли трещали у меня в голове, как горох в погремушке, пока я шёл назад по дурацкому коленчатому коридору. Я уже его не узнавал, здесь я не был. Наверное открылись какие-то другие ходы. И никого. По-прежнему – ни единой души. Никому я не нужен. И хорошо. Но немного жутко.

А дочка-то так напугалась, что и про своё «пи'сать» забыла. Да, долго бы нам пришлось искать заведение, точно бы на представление опоздали. И спросить некого. Но мне всё-таки нужно помыть руки. Я даже смотреть на них боюсь – наверняка стошнит. Какой я всё-таки чувствительный. И чего такого сделал – замочил какую-то мразь. Человека спас. Впрочем, ведь он его не убивал, только играл. Да и нравит-

ся ли мне этот политик? На самом деле он мне не намного больше нравится, чем тот, который не него нападал. Но нет, всё-таки политик лучше – у него в лице что-то интеллигентное. А этот... Жалко ли мне его? Да нет, вот – нисколько... Из-за чего же я тогда переживаю? Противно...

Я в который раз трясу руками, но я не гипнотизёр, который только что собрал пассами с пациента энергетическую скверну, – это не тот случай – стряхивания не помогают. Нужна вода – благотворная, живая, пусть водопроводная, с хлоркой... С хлоркой даже лучше – нужно умыть руки.

И вот я слышу чудесное журчание. За одной из дверей. Далек я однако ушёл от выхода на стадион. Здесь большой спортивный комплекс. Может, какой-нибудь бассейн?

За дверью комната, в комнате какой-то привратник.

– Ой, куда вы? – говорит он, когда я пробую промчаться мимо. – Туда в обуви нельзя.

Я послушно снимаю ботинки и даже носки и, держа их в руках, ступаю вперёд. Он смотрит на меня, как на идиота, но больше ничего не говорит. Я исчезаю за следующей дверью – там кафель и пустота – ни тебе писсуаров, ни тебе умывальников. Обнаруживаю одну деревянную скамейку у стены. Где-то вдалеке, в закоулках этого, неожиданно открывшегося мне, многокомнатного гулко-го пространства, отчётливо шлёпается вода. Мне даже кажется, что я слышу пение какого-то горластого купальщика под душем. Туда!

Я обнаруживаю одинокую душевую кабинку в огромном

пустом зале – может быть, это дно бассейна? Прежде, чем открыть воду, я расстегиваю ширинку и бессовестно ссу в сливное отверстие. Как оказалось, пи'сать я тоже очень хочу. И вспоминаю, что руки у меня грязные и отдёргиваю их от члена, и таким образом забрызгиваю мочой штаны и полы плаща, но довожу дело до конца. Всё это уже когда-то было. Я возвращаюсь назад, к скамейке, и разоблачаюсь. Кто-то прошёл мимо, совершенно голый, мужик – и то хорошо – не обратил на меня никакого внимания – это успокаивает. Слышны голос, эхо. Вот заработала ещё одна душевая. Всё как у людей. Я стыдливо сложил своё тряпье на краешке скамейки. Наверное, здесь какие-нибудь спортивные душевые?.. Ну и что? Разве я не заслужил один раз помыться здесь сегодня? Я решительно иду в кабинку. Вода гудит и плюётся перед тем, как потечь как следует. Пожалуй, она сопротивляется больше, чем тот тип перед смертью. Почему оказалось так легко его завалить?

Наконец, я подставляю ладони под тёплые струи. На них не было крови. Почти не было. Нет, всё-таки была. Бог знает, где я её собрал. Может, оцарапался, а может, у него не шее что-нибудь прорвалось. Суставы пальцев болят и не хотят до конца разгибаться. Я подставляю под воду лицо и чувствую боль в мелких ранах от щепок. Может быть, там занозы? Я всё ещё стараюсь держать ладони на почтительном расстоянии от тела. Наверное я похож на девушку, придерживающую несуществующую юбку. Это смешно. Ещё смешнее,

чем представить себя ошипанным орлом. Я похихикиваю и журчу. Мне никто не мешает. Я почти счастлив. Я прибавляю ещё чуть-чуть горячей воды. Щас запою!.. Только вот мыла, мыла бы. Да, мыла здесь не хватает. Ну ничего, только подольше нужно оставаться под водой.

Экзамен

«Ведь моя мудрость какая-то ненадёжная, плохонькая, она похожа на сон...»

Платон

В школе я часто болел. Особенно в старших классах. Сперва все, да и я в том числе, думали, что это симуляция, просто, прогуливаю на законных основаниях, но потом я так разболелся, что не успел закончить последний класс и получить аттестат.

Год спустя я вернулся в тот же класс, хотя, разумеется, ученики в нём были уже другие. На меня смотрели с опаской, одновременно предполагая во мне и придурка и героя. Я ухитрился опять заболеть и поступил третий раз в тот же класс. На лицах учителей изображалось сострадание, когда они видели меня в коридорах школы. А я ничего уже почти не помнил, я так сильно болел, что начисто был лишён возможности учиться в больнице. Что-то там со мной происходило, но происходило, похоже, в бреду. Увы, в бреду со-

вершено невозможно закончить школу. На надо было как-то жить. Я смотрел на себя в зеркало и боялся состариться раньше, чем получу среднее образование. Хотя бы среднее.

Однако, учёба мне не давалась. Учителя, конечно, делали мне поблажки, но не могли же они мне всё время ставить положительные оценки, когда я их не заслуживал. Какой бы это подавало пример остальным? Все бы тогда расхотели учиться и начали болеть. Родителей моих уже в школу не вызывали, щадя их старость; на педсоветах обсуждали, как бы выпихнуть меня из школы с наименьшими потерями – может, в виде исключения, выписать мне аттестат с незаслуженными оценками? Во всяком случае, я предполагал, что происходит нечто такое. Ведь учителя так на меня смотрели...

Своим присутствием я смущал более молодую и обыкновенную массу учащихся. Да и некоторые сексуальные проблемы начинали возникать. Девочки не могли не обращать на меня внимания как на самого старшего. Правда, некоторые напоказ фыркали – вот, мол, детина, отрос, а ума-то и нет. Ум у меня, разумеется, был, и не малый, но разве могли они меня понять? Им бы с моё помедитировать в больнице на грани жизни и смерти.

Так вот, однажды я всё-таки сумел добраться до экзаменов. Надо сказать, что не по всем предметам у меня было так уж плохо. По истории я, можно сказать, даже преуспевал, правда, совершенно не знал дат, но это добрая учительница прощала, всё время подсовывая мне шпаргалки. Зато насчёт

тенденций, т.е. насчёт того, куда и зачем движется история, я рассуждал совершенно правильно. Иные даже руками разводили, до чего правильно умел говорить. Правда, забывал имена королей и полководцев, но умело заменял их эвфемизмами – как то: *он, тот, тот самый, этот* и т. п. В общем, всех или почти всех это удовлетворяло. Одноклассники даже, случалось, рукоплескали мне на уроках. Главное, что всем сразу становилось ясно, за что велись все битвы в мире, – это я способен был показать и доказать буквально на пальцах.

Когда меня особенно начинали ругать другие учителя, историчка всегда ставила в пример мои незаурядные успехи. Правда, успехи эти носили, так сказать, эксклюзивный характер, и вряд ли бы мою речь по истории сумел бы правильно оценить и понять кто-либо за пределами нашего класса и тем более школы.

Преуспевал я и в литературе. Хотя – как назло! – решительно не мог выучить ни одного чужого стихотворения. Я пытался хоть отчасти компенсировать это упущение, сочиня свои собственные, но мои старания не находили должного отклика. Учительница по литературе была глуха к рифме, а темы мои ей были так же чужды, как мне её напыщенные объяснения чужих произведений. Я пытался, конечно, что-то читать, но глаза от напряжения очень болели, всё в них расплывалось. А когда читал вслух, начинало болеть горло и закладывало нос от книжной пыли. Вообще у меня обна-

ружилась аллергия на книги. Это у меня-то! В придачу ко всему, и без того толстому, букету моих заболеваний.

Совсем не давались мне точные науки, т.к. я начисто оказался лишён способности к абстрактному мышлению. Дело в том, что у меня было в прошлом что-то вроде менингита, что само собой не могло не сказаться на моей мозговой деятельности. К тому же, говорят, в бреду я неоднократно падал с постели, катался по полу и бился головой об разные предметы – так, что, в конце концов, меня стали привязывать к кровати ремнями. Как вы думаете, после такого, что' я мог соображать?

Конечно элементарные арифметические действия не были для меня проблемой. Дважды два четыре – это дважды два четыре – это всякому понятно. Но вот остальная таблица умножения очень плохо укладывалась в моих повреждённых извилинах. Например, мне всё время повторяли, что нет ничего проще умножения на десять, а я не мог этого понять – ведь десять даже больше девяти – это-то я точно знал! Не может быть умножение на бо'льшую цифру проще, чем на меньшую – с логикой у меня, слава Богу, всё было в порядке! Но никто, решительно никто, меня не понимал. А логику мы не проходили – это тебе не Древняя Греция!

Правда, дошло дело до какой-то математической логики, и был там один пример, называемый «бином». Помнится, какое-то отношение он имел к Ньютону. Неужели это Ньютон его выдумал? Так вот на этом «бине» все мои, и без то-

го крайне скудные, математические таланты иссякли. Мозг вдруг вовсе отказался что-либо понимать. Т.е. я ещё мог бы наверное усвоить, что значит возвести какое-либо выражение в квадрат или куб, но как можно это выражение возвести в n или там более – в $n-1$ – это уже было за пределами самых крайних моих возможностей. Короче – хоть плачь – комбинаторика мне не давалась.

Я всё добивался от учителей, что же в каждом конкретном случае значит эта n и как можно из неё отнять один, сколько получится? А они всё мне твердили, что в том-то, мол, и дело, что не в конкретном случае, а в любом, т.е. когда n может быть равна любому целому числу. Я испугался, что сойду с ума и опять попаду в лечебницу – тогда уж мне аттестата не видать как своих ушей. Пусть говорят что хотят – буду им поддакивать. N так n . Бессмыслица какая-то. Ну ладно.

В конце концов, зачем заикливаться на математике? Особенно, если она тебе не нравится? Кто-то там любит какую-то n , а я вот буду любить N вполне конкретную, т.е. найду себе какую-нибудь Анюту, не в своём, так в параллельном или даже в каком-нибудь более младшем классе. Разве странно, когда перезрелого школьника посещают такие мысли?

Ещё у меня были проблемы с химией. С пропорциями. Как я их не выстраивал, у меня всё время выходили какие-то другие пропорции, не такие, как у учителя. Я пытался ему доказать, что и мои пропорции имеют право на существо-

вание, раз уж они у меня получаются – не с потолка же я их беру. Но учитель настаивал, что я ошибаюсь. Мы с ним один раз даже поспорили, и я произвёл опыт – чтобы подтвердить решение задачи, которую я решил, пользуясь своими пропорциями. Учитель сначала смеялся и всем показывал на меня пальцем. Но опыт у меня получился, и он ничего не мог понять, потому что по «*его*» пропорциям выходило, что ни фига у меня получиться не могло. Вот оно как. И ничего он на мой успех не мог возразить, кроме того, что «везёт дуракам» – и то шепнул-то это мне конфиденциально, на ухо. А ребятам из класса мою пробирку не показал – мол, не получилось и всё. А я-то знаю, что там получилось – сам нюхал. Хотя может он и прав, и всё только тем и объясняется, что «дуракам везёт». Ведь попроси меня объяснить, попроси меня воспроизвести ту самую мою пропорцию, – я теперь уже вряд ли смогу. А в науке ценится только такой результат, который можно воспроизвести сколько хочешь раз. А у меня наверно это было чудо – т.е. что-то совсем ненаучное. Наверное, это *что-то*, что стало мне доступно после неоднократных опытов клинической смерти, когда я проваливался в туннель и видел свет в конце туннеля. Ведь зачем-то всё-таки меня здесь оставили? Неужели я такой дурак, что не смогу сдать эти дурацкие экзамены? – может быть, пока я их не сдам, мне не грозит умереть? Вот было бы здорово – иметь такую уверенность! Делай что хочешь – и чем больше ты будешь бездельничать и хулиганить, тем лучше – только

бы экзаменов не сдавать. Да и кому они нужны, эти экзамены? Ну, скажите, что это доказывает? Разве из-за того, что я их не сдам, я стану хуже? А если бы никто в мире не знал ни про какие экзамены? Ведь не на каждом же углу с тебя спрашивают аттестат? Смешно даже.

Но на самом деле, мне было не до смеха. Экзамены нависали, а я ничего не знал и ничего не мог. И чем ближе они приближались, тем более абсолютную пустоту обнаруживал я в своём черепе и сердце. Это была прямо-таки буддистская пустота. Может быть, какой-нибудь мастер дзэн поставил бы мне пятёрку и отпустил бы с Богом? Но мы тут пытались учиться совсем другому. Вместо того, чтобы освободить место в душе, мы заполняли его всяческими ненужностями; и все почему-то полагали, что так и надо. Мол, всё в жизни пригодится. А в смерти? Что вы знаете о смерти? А жизнь-то – такая коротенькая. Вряд ли что' из этой ерунды вам в ней успеет пригодиться. Уж, во всяком случае, не я, в которую вы так обожаете возводить «бином». Или наоборот – уже забыл – чёрт их совсем подери!

Так вот, преисполненный этого справедливого пафоса, уже бреющий через день усы и бороду, уже имеющий собственное мнение на все случаи жизни, я приступал наконец к своей выпускной сессии.

На одной из так называемых консультаций случился маленький конфуз. Происшествие вроде бы совсем мелкое и не имеющее непосредственного отношения к образовательно-

му процессу. Тут все педагоги могли бы попенять мне, что, мол, всяческие курьёзные и суррогатные обстоятельства отвлекают моё внимание от действительно серьёзных проблем. В самом деле, не хочу же я окончить свои дни в психушке?

Но когда в самом разгаре околонуачных изысканий по вопросам экзаменационных билетов вдруг откуда ни возьмись – будто с неба – одному из учащих на парту падает кошка – это что-нибудь должно же значить? Или вы скажете, что это не знак, не знамение? Кошка для меня разумеется оказалась важнее всего того, на что она свалилась. А свалилась она на тетрадь, исчерканную моими безобразными каракулями, которые я сам почти не умел разбирать, разве что с лупой и если кто-нибудь стоит рядом и помогает. Словом, от учёбы меня тошнило, а от кошки нет. Хотя некоторые и говорят, что кошки воняют – сами они... И вот эта-то кошка, это чудо, свалилось прямо на меня, именно на меня, точно – на мою парту, на мою тетрадь, прямо как печать какая-то свыше. Свалилась и убежала обыкновенная такая, серая кошка. Никто так и не понял, откуда она взялась. Скорее всего – в форточку кто-то подкинул. Но могла и со шкафа шлёпнуться. Но мне всё-таки больше всего нравится версия – что упала она с потолка. Почему бы ей там, среди люминесцентных ламп, не материализоваться?

И когда эта кошка упала, снизошло на меня просветление, и успокоился я насчёт грядущего экзамена, и окончательная пустота поселилась в моём сознании. Да и многим моим со-

ученикам и соученицам неожиданное падение кошки показалось гораздо более интересным, чем буковки и циферки, которые мельтешили у них перед глазами в книгах и тетрадях.

А надо сказать ещё, что школа у нас была не простая, а экспериментальная. Т.е. обкатывали на нас, как на подопытных кроликах, всяческие новые программы и отработывали непроверенные педагогические методы!

Так вот, в тот год экзамен по алгебре – а кажется, именно он был первым – решили сдавать необычным способом. Был он устным – хотя, какая вроде бы алгебра устно? – в общем, писать разрешалось только на доске, без всякой предварительной письменной подготовки. А чтобы труднее было прятать предполагаемые шпаргалки, рассаживали нас, не как нормальных людей, за партами, а как не знамо кого, строили в два ряда в спортивном зале, да ещё и обыскивали при входе. Хотя кому надо – тот конечно пронесёт, или там татуировочку сделает... А я всегда был законопослушным – не знаю, так не знаю. Уж тут как жребий ляжет.

И вот стоим мы – как будто нас в армию отправлять собираются прямо вместе с девчонками – и с ноги на ногу переминаемся. Уж лучше бы, и правда, скомандовали: «Ровняйся! Смирно!»

Учительница билеты на узком столике перед доской разложила. Тоже всё делает стоя, чтобы нас всё-таки не обижать. И что-то не набралось в этот день комиссии – была она

одна – погода, что ли, была слишком хорошая?

И вот уже все напрялись и приготовились к тому, что сейчас первого пригласят билет тащить, как вдруг прибегает сумасшедшая бабка-уборщица и орёт нечто невразумительное – мол, туалет прорвало, мол, течёт, и скоро нас затопит. И правда, стало что-то пованивать, и шумы какие-то странные стали проникать в спортивный зал. А зал этот, надо сказать, располагался на первом этаже, и даже в подвале. Так что опасность затопления и в самом деле существовала.

Я к тому времени уже стал регулярно употреблять алкогольные напитки. Правда, не курил. Это мне врачи строго-настрого запретили. Очень были плохие у меня лёгкие, подозревался даже туберкулёз. Да и не любил я курить – от этого дыма только голова болит. А вот выпить... Особенно всякие бальзамы – они вкусненькие и крепкие – сразу в голову шибает – и сладковатые – можно девок угощать – не откажутся, как от чистой водки. И опять-таки полезно – ведь в них множество трав, и всякая трава своё лечебное действие имеет. Чем больше таких трав, тем больше вероятность, что ты от чего-нибудь вылечишься. Может быть, ты даже сам ещё не знаешь, что этой болезнью уже болеешь, а просто пьёшь на всякий случай бальзам и, не замечая того, исцеляешься. О вреде алкоголизма я, конечно, тоже знал, но во-первых, пока не чувствовал в себе особого пристрастия, а во-вторых, не надеялся, при всех своих хворях, прожить слишком долго. Посему надеялся, что я скорее помру, чем у

меня успеет развиваться настоящий клинический алкоголизм.

Так вот, я и в тот раз бальзамчик с собой прихватил. Подумал, что, может быть, где-нибудь среди этого экзамена будет свободный промежуток. Вот мы и передохнём со всеми удобствами – поправим здоровье – ведь некоторые из трав действуют тонизирующее, другие – память улучшают. К тому же, экзамен разве не праздник? А коли так, разве грех этот праздник отменить? И не следует терять драгоценного времени. До конца экзамена ещё дожить надо – я вон не с первого раза сюда дотянул – кто знает, может я здесь, не сходя с места, поседею и скончаюсь от разрыва сердца? Надо веселиться, радоваться жизни, покуда есть такая возможность. А если бальзам мне в этом хоть чуть-чуть помогает – зачем же от него отказываться?

К тому же, была у меня в классе подружка – не Бог весть что, т.е. ничего такого сексуального – вообще-то была она довольно страшная, и пахло от неё... Но выпить любила. И для этого я её – прости, Господи! – использовал. Хотя, конечно, очень нехорошо использовать человека в своих эгоистических целях. Но ведь у неё был шанс, когда мы вместе как-нибудь до потери сознания напьёмся, оказаться в моих объятиях? Значит не совсем я её и обманывал. Ей просто нужно было с умом и усердием приняться за дело, может быть, тогда она от меня бы чего-нибудь и добилась...

Ну, во всяком случае, выпить со мной она никогда не отказывалась. Вот и теперь, когда учительница ушла, я стал ей

подливать в пластмассовую пробочку из фляжки. И она пила одну за одной эти пробочки и вытирала липкие руки об фартук. А одноклассники, которые стояли рядом, смотрели не всё это и не то осуждали, не то завидовали. Ведь я больше никому не предлагал, только сам ещё из фляжечки отхлёбывал, но ей старался налить больше – мне интересно было, что с ней случится, когда она захмелеет, а её вызовут к доске отвечать. Вот какой я был жестокий. Но на самом деле, я был не жестокий – на самом деле, я просто сам уже получил просветление и готов был поделиться этим просветлением с ближней своей.

А вот один еврейчик из нашего класса, пользуясь случаем, что в экзаменационном зале не было никого из учителей, всё лез вперёд и норовил себе переписать ответы, которые, как он предполагал, были спрятаны где-то под разложенными рубашками вверх билетами. И он в самом деле себе что-то там нарыл. И пометил себе билет. И многие последовали его примеру, и что-то судорожно переписывали – толкая друг друга плечами, шикая друг на друга – теснясь возле учительского столика, как муравьи на куске сахара. И почти все как-нибудь пометили себе билеты. Только мы, я да пьяная моя подружка, остались от этой вакханалии в стороне. Я даже пощупал её за грудь – и не такая уж она противная была на ощупь.

А учительница всё не возвращалась, и воняло со стороны туалета всё сильнее. И бегала, воздымая швабру к небесам,

полоумная уборщица. И шумели, наступая, нечистые воды. И кто-то уже догадывался, что это кто-то специально карбида в унитаза набросал, чтобы отвлечь внимание учителей и сорвать сдачу экзаменов. И кто-то даже точно знал, кто эти сорванцы и антиобщественные элементы.

А мне всё было всё равно. Я ожидал учительницу, присев на гимнастическую скамейку, которую по случаю экспериментальной сессии задвинули в самый дальний угол. Подружка моя сидела со мной и уже лыка не вязала, расплываясь в идиотской улыбке, а я угощал её уже прямо из фляжечки, потому что пробочку она где-то потеряла. Конечно, нехорошо было совращать девочку с пути добродетели. Но так ли уж добродетелен был этот путь? Как посмотреть.

За дверями зала раздавались крики и бульканье. Всё сильнее пахло карбидовой кислотой и говном. Видит Бог, это не я накидал химикалий в толчок – вы же все уже знаете, насколько у меня не в порядке с химическими пропорциями!

А на улице – такая благодать, и я пока здоров. Да какие – бл..., на х.. – тут экзамены! Ну вот, разве этому тебя в школе учат? Не вздумай ещё заявить всё это учительнице. Ну а что я ещё ей смогу утешительного сказать? Мало того, что я не могу, я ещё и ничего не хочу ей говорить. Может быть, мне интересно воображать себя Зоей Космодемьянской на допросе? И вот ещё что – я даже не знаю точно, знаю я что-нибудь или не знаю. Быть может, в самый критический момент, в тот самый, когда дамоклов меч уже почти коснётся

моего горла, я смогу настолько мобилизоваться, что получу непосредственный доступ в центральное бюро информации вселенной, и получите тогда вы – паче чаяния – исчерпывающие ответы на все свои, даже самые кретинские, вопросы.

Но пока я не испытываю потребности отвечать кому бы то ни было на что бы то ни было. Жаль конечно бедную учительницу, которая, возможно, в настоящий момент рискует утонуть в нечистотах, спасая наши, не до конца распустившиеся, жизни.

Я спасу, пожалуй, ещё одну юную жизнь, кроме своей. Уведу из этого говна свою подружку. Чавк, чавк, чавк, – чавкают шаги. А одноклассники наши, не обращая внимания на то, что они уже по щиколотку в дерьме, продолжают попытки обмануть судьбу.

Мы же идём на волю, где продолжим наш банкет под сенью душистых деревьев и – кто знает – может даже сольёмся там где-нибудь на лужайке в блаженном экстазе. Я закрываю глаза и не вижу в себе ничего, кроме пустоты.

Белка в колесе

« ... я не нахожу подходящего названия для этого уникального явления, которому истинно круговое движение соответствует... »

Дж. Беркли

Что чувствует белка в колесе? Что она видит, когда бежит, бесконечно перебирая лапами? Если смотрит перед собой или под ноги, видит лишь мелькающую дорогу, видит мелькание светотеней, если колесо решётчатое, или вовсе какую-то тёмную непроницаемую полосу, если обод против обыкновения изготовлен из сплошного материала. Что побуждает зверька к столь странному действию?

Люди занимаются на тренажёрах для того, чтобы поддерживать своё тело в товарном виде, а также имея в виду, что укрепляют этим здоровье и продлевают свою драгоценную жизнь. И, хотя человеку весьма свойственно проецировать на всех остальных тварей собственные качества, особенно отрицательные, трудно, право слово, заподозрить невинных животных в подобной эгоистичной изошрённости.

Рядом не видно учёных-инквизиторов павловского типа, которых хлебом не корми, дай повырабатывать у кого-нибудь условные рефлексy. Но, тем не менее, всем нам хорошо знакомые премиленькие белочки и хомячки, обнаружив у себя в клетках пресловутые колёса, без всякого внешнего принуждения, не ожидая поощрения, залезают в них и усердно вертятся в течение долгих минут, а то и целых часов, тратя уйму сил без всякой видимой пользы. Или – всё-таки тренируются?

Если кого спросить, то скорее всего услышишь объяснение, которое в неявном виде подтверждает последнее предположение. Примерно так: В тесной клетке им негде как сле-

дует ползать и побегать, и потому они вынуждены расходовать энергию таким неестественным способом. Пусть даже так. Но как они догадываются, что расположенные в их тюрьмах колёса можно использовать именно для этих целей? Белки и хомяки не считаются самыми умными из млекопитающих. Никто, пожалуй, не станет спорить, что больше интеллекта у хищников, приматов, слонов, лошадей, дельфинов... Таким образом, при всей смыслённости некоторых грызунов (например, крыс), в целом, их все-таки в табели о рангах держат за дураков. К тому же, условный рефлекс, как мы уже намекнули, исключается. Значит, рефлекс – безусловный? Но где в природе, до изобретения их человеком, эти твари встречали колёса? Когда они успели так хорошо научиться, что это их умение – по теории старичка Ламарка – закрепилось в потомстве? И коли специальных колёс нельзя в природе обнаружить ни под землёй, ни на деревьях, чему' соответствуют эти бессмысленные движения у грызунов, пребывающих на воле? Белка скачет по ветвям, хомячок роет норы. Систематика, правда, утверждает, что они не такие уж дальние родственники. Значит, просто у них в хромосомах общий ген – назовём его геном склонности к колесу, можно даже присвоить аббревиатуру ГСК. Я точно не помню, видел ли когда-нибудь, чтобы хитроумная крыса развлекалась подобным образом, но вполне могу себе это представить. Крыса, однако, тоже грызун. Но вот кошка... она, кстати, тоже любит лазить по деревьям – почти как белка – но в колесо

не полезет никогда. И собака сама не полезет, хотя её можно ещё и не тому научить методом кнута и пряника. Кошку же такое сможет заставить проделать разве что какой-нибудь очень талантливый или злой дрессировщик.

Создаётся впечатление, что некая высшая сила придумала этот фокус с колесом для забавы и в назидание человекоподобным, которые должны были ещё только появиться и это колесо воспроизвести. Речь не идёт о предустановленной гармонии. Скорее тут – предустановленная дисгармония. Дорога в колесе не ведёт никуда, труд и время тратятся зря. Белка в колесе – символ тщеты, который предположительно может быть понят не только человеком, но и другими животными.

Но, может быть, это только игра? Обыкновенно не делающая лишних движений, кошка любит играть. Большинство млекопитающих склонно поиграть и порезвиться в детстве. Говорят, что таким образом они обучаются. Это похоже на правду, но кошки и собаки, развращеннее человеком, играют всю жизнь. Это уж явно бесполезно. Значит, они получают от этого удовольствие? Об удовольствии всё, пожалуй, знал только Фрейд. Ну, до него ещё и Шопенгауэр – он полагал удовольствие в отсутствии страданий. Я не замечал, чтобы кошки страдали от скуки, но они играют...

А как можно объяснить склонность всех человеческих детёнышей к каруселям. Когда быстро крутишься, что-то такое происходит в мозгах – перераспределение крови, перегрузка

– тоже мне удовольствие. Может быть, у человека этот самый ГСК тоже пребывает в не совсем уж спящем состоянии? Может быть, из его активного присутствия вообще можно вывести само изобретение колеса? Когда дети пытаются покатать на каруселях тех же кошек и собачек, те не могут разделить их радости и поспешно соскакивают с круга по касательной. Лица у них при этом испуганные и недовольные. Вот поди ж ты, то, что хорошо для детей, совсем не так уж хорошо для их любимых друзей и питомцев. Старички, правда, тоже не очень-то обожают карусели. Но котята в этом отношении выглядят старичками от рождения, хотя – предложите им бумажку не нитке.

Детям уподобляются, например, вращающиеся дервиши, которые доводят себя до исступления, упорно и монотонно кружась на месте. Я сам в детстве любил кружиться, а ещё больше любил и просил, чтобы отец покрутил меня вокруг себя, держа за руки. Мне очень нравилось, что я терял ориентацию, когда после вращения вновь вставал на ноги. Иногда я даже падал, но, и ушибившись, был доволен, что всё так здорово и необычно получилось. Что же испытывает белка, когда она наконец выходит из своего колеса? Не получает ли она что-либо вроде озарения, как заправский танцор-суфий?

Все так называемые извращения вполне возможно отыскать в дикой природе. Тут – в отличие от колеса – человек не придумал ничего нового. Может быть, такая вещь как сознательное введение себя в транс, в какой-то мере присуща

и другим, как мы любим говорить, менее организованным животным? Что делает обычно кошка, сидя на подоконнике, если не медитирует? И не возносит ли по сотне раз на дню порядочная собака молитвы собственному хозяину? Но тут мы опять попадаем в ловушку очеловечивания не совсем подобных нам существ.

Разумеется, колесо для белки – это не буддистский барабан, но и не тренажёр. И не карусель всё-таки, наверное. Тогда что? А может быть – все эти три вещи сразу?

Как сложно устроена природа, если твари была сообщена способность к такому многоцелевому действию, причём в таких условиях, которые можно было лишь предвидеть. Может быть, для самой белки и нет никакого смысла во вращении колеса? Может быть, подразумевались именно те, у которых только со временем это колесо и могло оказаться? Т.е. белка в колесе – это шоу по преимуществу, и ничего более?

Итак, зачем бы на самом деле грызун ни крутил предложенную ему вертушку, мы имеем повод для медитации. А уж кто что понимает под этим словом – это кому как нравится. Одни – на западный лад – соберутся как следует подумать, а другие – на восточный – наоборот постараются остановить все и всяческие мысли.

Созерцание вертящегося колеса, и в самом деле, может вызвать гипнотический эффект. Если кто-то видит в медитации пользу, тут она – налицо.

А ещё белка в колесе похожа на змею, кусающую себя за

хвост. Вот вам, кстати, колёсоподобный символ, который, похоже, объявился среди людей задолго до колеса. Собачки (да и кошечки иногда) тоже бывают не против пострадать этим самым за-своим-хвостом-гонянием.

Круг – это символ бытия, а белка – символ человека в этом бытии. Или, может быть, это само бытие, суча лапками, вращает опустошённого человека как круг? Но белка входит в колесо и выходит по своему желанию или ещё по какой-то неизвестной нам причине. Она не умирает от переутомления в своём излюбленном снаряде. Разве что, белка сойдёт с ума – бывают ли бешенные белки? Белка не забывает поесть, попить и поспать. Только когда все более или менее значительные нужды удовлетворены, она вновь принимается за колесо. Т.е. в колесе она всё-таки скорее кружится от избытка, а не от недостатка. Т.е. вращающееся колесо – в таком случае – символ радости жизни. Радость довлеет себе самой, она не для чего и она являет себя в замкнутом пространстве. Но и от радости устают, и белка покидает колесо.

Неужели этому выходу из колеса соответствует наш уход из жизни? Но индусы утверждают, что это только кусочек, крошечный отрезок большой карусели – колеса Сансары. Белка выпрыгивает наружу перпендикулярно оси вращения. Нам тоже представляется, что мы всегда можем тронуться куда угодно по перпендикуляру от своего пути – например, вправо или влево от тропинки или, на лифте, – вверх, а то и под землю. При этом мы постоянно вращаемся, сидя на

Земле, вместе с белками и колёсами. А Земля одновременно движется вокруг солнца и центра галактики, и ещё, может статься, по доброму миллиону уже совершенно нам неведомых орбит. Но мы же каким-то образом ухитряемся не падать? Бог создал тварей такими, что у нас не кружится голова и мы даже хотим, чтобы она у нас временами кружилась, ловим кайф от этого.

Когда человек направляется из пункта А в пункт Б, у него создаётся впечатление, что что-то меняется в жизни. В колесе – всё по-честному: ты с самого начала знаешь, что стоишь не месте, но в то же время прикладываешь усилие, чтобы устоять. Есть странная мазохистская привлекательность в попытке заведомо идти никуда. Но от любого усилия, и от этого в том числе, утомляются мышцы и нервы – как бы ты ни напрягался, в конце концов, наступает расслабление, и ты либо выпадаешь из колеса, либо делаешь несколько последних кругов вместе с ним, вращающимся теперь по инерции.

Возможно ли отыскать какой-нибудь вещей смысл в технике белкиного времяпрепровождения? Ведь если пробуждаются гены, то это кому-нибудь нужно...

А может быть, примитивный зверь всё-таки способен на иллюзии, и лента вращающегося колеса для него нечто вроде кинематографа? Не преследует ли он иллюзорно кого-либо, ну, например, полового партнёра? Или же – наоборот – не убегает ли он от кого-нибудь, скажем, от хищника?

Впрочем, плодить гипотезы мы можем долго и остроум-

но, не находя, однако, окончательного ответа на вопрос, точно так же, как хомячок не может добраться до конца своей внутриколёсной дороги. Не исключено, что он всякий раз и надеется, но мы-то видим, что его усилия тщетны. Может быть, не имея веры, не стали бы зверьки увлекаться колёсами, а человек – науками и искусствами?

Достигнуть края познания нельзя, как и горизонта, а жизнь происходит всегда на краю, там где правит чудо, а не закон. Мухи липнут на живое и разлагающееся – они не едят камень. Нельзя создать *совершенное* произведение искусства. Совершенство не может иметь конца, и поэтому всякий раз приходится начинать с начала. Никогда не будут рассказаны все сказки.

Беги же, беги, усердная белка! Моё сердце стучит с твоим в унисон. У меня есть надежда, что если я и не достигну цели, то наконец устану и выпаду из проклятого или же, наоборот, благословенного круга. А если и в этом проявится лишь моя человеческая слабость и ничего кроме слабости, пусть это послужит вам в утешение. Я так же бессилён как и вы, и может быть, даже бессильнее многих.

Лёжа вверх тормашками – ноги внутри обода, а голова – на засранных опилках затылком, я наконец спокойно взгляну на небо, пусть и сквозь частые прутья решётки. Может быть, я что-нибудь пойму как раз в этот момент... Может быть. Но если бы я предварительно не бежал, разве я смог бы впоследствии оказаться в таком положении? Закон при-

чинности действует даже в замкнутом объёме колеса.

И всё-таки, чем мы ещё отличаемся от белки? У белки есть хвост, пушистый и красивый. А у нас что-то никакого хвоста на видно. Может, в этом наше горе общечеловеческое, – в утрате всех и всяческих хвостов? Может быть, имеющий возможность шевелить хвостом испытывает неизъяснимое наслаждение? Вот вам ещё один повод, чтобы завидовать животным...

А ещё можно привязать жука, чтобы он летал по кругу. И голуби летают по кругу, и я, заглядевшись на них, поскальзываюсь и сажусь в лужу, и ощущаю отрезвление от мокрых штанов, в которых отнюдь не содержится никакого хвоста.

Дождливый полустанок

«В моей жизни было всего очень много, но особенно оригинальности и неожиданности...»

Н. С. Лесков

Я мечтал о книге. О большой книге, о мудрой книге. Не то, чтобы я хотел заповедать человечеству что-то определённое. Мне казалось, начни я писать книгу, всё получится само собой. Необходимо только не мешать ручке двигаться по бумаге – в этом всё искусство.

Но что-то у меня не клеилось. Жизнь проходила, а книга всё не начиналась. Вернее – я тысячу раз начинал её писать,

но оказывалось, что это не она, т.е. не та единственно нужная книга, а какая-то другая, которая может и подождать. Да что там, тем книгам которые я пытался писать, лучше бы было и вовсе не начинаться. «Лучшая участь не родиться». Это конечно очень мудро. Но дальше что? А мне хотелось, чтобы всё-таки что-нибудь было дальше, была такая у меня фантазия.

И вот я, как и все другие, стал предполагать, что не получается у меня ни фига потому, что мне мешают обстоятельства. Нет, я не был настолько примитивен, чтобы пенять на отсутствие писательского кабинета и торжественной тишины, беспрекословно создаваемой домашними в периоды моего творчества. Это было бы уж вовсе пошло. Наоборот, я любил хвалиться друзьям, что смог бы писать – т.е., в данном случае, сочинять в уме – даже будучи подвешенным вниз головой за ноги. И это была не совсем пустая болтовня – наверное какой-нибудь стишок я до полной потери сознания таки успел бы сочинить. А потом, некоторые утверждают, что когда в голове больше крови, она работает быстрее. Не уверен в этом и проверять не хочу. Раз обстоятельства меня не заставляют. То-то и оно! Обстоятельства иногда могут помочь именно тем, что они мешают – возникающее препятствие требует преодоления, и, если желание не может быть исполнено – то воля (по Шопенгауэру) может быть обращена на самоё себя. Я, правда, не до конца понимаю, что это значит. Но фигура речи мне импонирует. Я бы выразился так:

то, чего человек не может добиться в реальности, он вполне может восполнить в виртуальном мире, как то: в снах, в компьютерных играх, а также сочиняя всяческие небылицы. Самым распространённым жанром внутреннего монолога, вероятнее всего, является смесь слов и образов, которая возникает у индивида во время мастурбации и даже во время привычного полового акта. Все мы в такие моменты склонны утешать себя сказками.

Фрейд называл подобные явления сублимацией, хотя точнее было бы их назвать метафоризацией. В этом смысле – и смерть метафора оргазма, и наоборот.

В конце концов, не всё ли равно, откуда черпать энергию? Так вот, даже если изящное искусство есть всего лишь специфический продукт неправильно используемых половых желёз, будем судить о дереве по плодам его.

Я же никак не мог выдать эти плоды, но при этом мне и в личной жизни почему-то не везло. В карты играть – и думать боялся. Так что всё-таки решил сосредоточиться на одном: книга так книга.

В повседневном бытии всё отвлекало. И не так уж мучил меня и ближних моих вопрос о хлебе насущном, хотя и вставал перед нами время от времени, как игрушечная кобра из ящичка. Скорее, сказывалась общая разбросанность жизни. Какие-то пьянки, необязательные встречи, просмотр не очень необходимых фильмов, звонки телефона, ночью – свет в окне напротив, немотивированно плохое настроение жены,

головная боль, противный вкус во рту...

Я решил, что меня угнетает город. На надо было мне никаких Парижей, ни Ньюйорков. Мне Москвы хватало – выше крыши. И о джунглях я давно перестал мечтать... И тайга слишком большая... Мне бы в маленький лесок. Но в палатке всё-таки писа'ть не совсем удобно. Особенно, когда уже надвигается осень. А вдруг напишешь что-нибудь действительно прекрасное, и всё это смоют дожди?! Тут, конечно, я опять лукавил сам с собой, но хотелось всё-таки свой зад водрузить на тёплый табурет и иметь дощатую крышку над головой. Это, во всяком случае, казалось мне необходимым для написания прозы. А хотел я написать большой роман. Маленькие-то статьи и заметки можно и в палатке накрапать.

"Давно, усталый раб, замыслил я побег..." Т.е. я о нём думал так давно, что уже не мог даже толком припомнить когда. Помню только, что идея эта преследовала меня с детства. Только тогда я скорее хотел бежать за чем-то, а не от чего-то. Например, привести слонёнка из Индии или отыскать себе каким-то немислимым образом идеальную пару – водятся же, в конце концов, какие-нибудь нимфы в лесу или не водятся? Теперь я тоже бежал кое-зачем – я бежал за книгой, но и мечта о нимфе мне до сих пор не была чужда. А вдруг? Вознаграждаются же каким-то образом отшельники? Происходят же иногда чудеса?

В общем-то, мне больше не на что было надеяться, как только на чудо – совсем как Сталкеру. Я и был Сталкером –

в душе – я ещё только не нашёл свою Зону.

Книга, которую я хотел создать, вполне могла бы за такую сойти. Я водил бы туда людей и показывал бы им всякие странности. Книга ведь похожа на дверь, на ворота.

А вот для того, чтобы исполнилось желание, надо очень сильно верить. Захочешь увидеть чудо на земле перед собой – и найдёшь его – только вера должна быть крепка как сталь.

Мне как раз и недоставало такой веры. А то бы я уже давно бросил болото повседневности. Жена мне сказала, что в брак вступают только для того, чтобы сидеть в тепле и спокойно кушать. И надо сказать, в её словах была своя сермяжная правда. Как-то мы вдруг перестали уместаться в женою в одном гнезде. Она стала какая-то чересчур большая – как кукушонок – и норовила вытолкнуть меня за' борт. Ей, мол, тесно и жарко, а от меня – одни заботы и нечистоты. Что ж – и то верно.

Пристыженный подобным образом, я тем более засоби-рался убежать. Не то чтобы мне было куда. Вот с этим была проблема. И не то чтобы совсем не было куда. Но доступные места сплошь были какие-то неудобные, ненадёжные, ненадолго, с заведомым отсутствием привычных удобств, но зато с неизбежным присутствием раздражающих факторов. Так, например, я мог себе живо представить, каково будет жить с мамой, которая будет всякий день требовать, чтобы я не возвращался домой поздно. А мамы без этого просто не могут, будь тебе, непослушному, хоть шестьдесят. Развестись

и жениться? – повторить порочный цикл. Напроситься приживальщиком к кому-нибудь из друзей, можно на короткое время, но и за это короткое время можно успеть разругаться. Друзья хороши, когда они на расстоянии.

В общем-то, вопрос не стоял столь остро. Не обязательно было убежать навсегда, необязательно было делать это немедленно. Это расслабляло. А я хотел именно напрячься, сделать последнее усилие, чтобы порвать сковывающую меня паутину.

Бежать следовало подальше, я уже сказал, что предпочтительно – из города. В конце концов, у меня в голове выкристаллизовался образ некоей деревни где-нибудь на окраинах Московской области или в прилежащих к ней областях. Забираться куда-то дальше не хватало духа даже в воображении. Наверно, уже сказывался возраст.

Оставалось только найти бабушку со всеми удобствами, которая согласилась бы мне сдать помещение на неопределённый срок, причём не в дачный сезон – так что я рассчитывал на умеренность в оплате. Мечтал даже, что буду проживать вовсе бесплатно, если вызовусь кормить старушку, колоть дрова и пр. И так и сяк раскрашивал я картинку в своих видениях. Особенно настойчиво мне чудился дым из трубы, даже ощущал его запах. Интересно, какие дрова – берёзовые или осиновые? А то от хвойных – в нос шибает и слёзы текут. Хотя сосновые дрова разгораются лучше.

В общем, план, поначалу лишь в виде скелета присутству-

ющий у меня внутри, обростал мясом и салом до тех пор, пока не начал напоминать раздувшегося монстра, вроде тех многочисленных американцев, которые оттеняют своих соотечественников, усердствующих в похудении. Мне тяжело стало носить этакий груз. Буквально физически. Это должно было ускорить наступление момента X, т.е. момента бегства.

Любая победа на Земле носит привкус Пирровой, и я не особенно обольщался по поводу того, что после свершившегося бегства мне станет надолго хорошо. Скорее, я сознательно готовился к трудностям. Но пока они лишь предстояли, и это радовало, возбуждало, как быка красная тряпка, вернее – как вообще любая тряпка, которой вызывающе водят у тебя перед носом... Я хотел действия, но так сильно и долго его хотел, что уставал и ложился спать. К тому же, находилось ещё много всяких насущных хлопот. Деньги были нужны. В том числе – на бегство. Неплохо, если их будет побольше. Всегда неплохо. Словом, я медлил. Хотя медлить было всё труднее, потому что меня изрядно подташнивало от приторности собственного воображения. Может, уже ничего и не надо, а?

Но *книга*? Это слово должно было воздействовать на меня пробуждающе, но и оно уже не действовало. Что-то должно было произойти: метеорит с неба прилететь, штаны порваться в самое неподходящее время, может быть, даже должен был кто-нибудь умереть, чтобы сдвинуть меня с мёртвой точки. А может, это я должен был умереть? А как же книга?

Но чем чаще я задавал себе подобные вопросы, тем монотоннее они становились. Вместо того, чтобы побуждать к поступку, они меня усыпляли, убаюкивали и, в лучшем случае, инициировали деятельность во сне. Но и там, во сне, я никак не мог добраться до заветной деревни и, тем более, начать писать книгу.

Однажды я проходил мимо вокзала и понял, что, если не уеду сейчас, то не уеду никогда. Конечно, нужно было забежать домой, взять кое-какие вещи. Благо, до дома было не так далеко и там, дома, никого не было. Пожалуй, я не решился бы на побег, если бы там кто-нибудь был.

Когда я уже собрал всё необходимое, мне захотелось включить телевизор и улечься на диван. И подумалось, что в какой-то момент маломальский комфорт действительно становится важнее так называемой любви. О, как мне возжелалось расслабиться! И пускай это выглядело бы как поражение – лежачего не бьют. Каких же сил стоило мне не сойти с избранной мною узкой дорожки! Аж поджилки дрожали. А ведь ещё надо было написать записку, чтобы не волновались.

Я не собирался совершать необратимые поступки, хотя возможно только они способны вызывать фатальное удовлетворение. Нет, я ещё хотел вернуться, – если повезёт. Я был уверен, что смогу вернуться – хоть на пепелище. Ну нет, вот этого, пожалуй, не надо.

В принципе, жена могла догадаться и сама о моих настро-

ениях. Я ей не один раз за последнее время намекал, что возможным решением наших проблем могла бы стать белее или менее продолжительная разлука. Я чувствовал, что начинаю вызывать у неё психологическое отвращение, и не хотел быть ей в тягость. Говорят, что так бывает у всех перед разводом. Но я не собирался пока разводиться. Я думал, хотел думать, что всё ещё наладится. Просто не мог поверить, что всё это может закончиться навсегда раньше, чем кто-нибудь из нас умрёт. Отчего я так цеплялся за этот союз? Бог весть. Но в том, что он распадается, я всем нутром (впрочем, как и разумом) ощущал какую-то глубинную неправильность. Однако, каким образом я мог бы доказать жене свою правоту, если само моё искусство убеждать она была склонна ставить мне в вину?

Я начинал сходить с ума от вынужденного воздержания, а уж обет молчания, живя с нею в одной квартире, мог принять, только заведомо поинтересовавшись, в каком сумасшедшем доме мне удобнее было бы в скором времени поместиться. Я, казалось, готов был во всё поверить и всё принять, но почему-то ни во что не верил и ничего не принимал. Беда в том, что я уже успел убедиться, насколько точно мои предсказания сбываются. Пророком, даже случайным, быть отнюдь не радостно. Дело, наверное, обстоит так, что только сам пророк и может повлиять на ход предсказанных им событий. Но если он по малодушию или недостатку сил этого не делает, всё свершается так, как он видел. В этом, несо-

мненно, чувствуется справедливость, но когда тебе справедливо отрубают голову – разве это намного приятнее, чем когда ты умираешь безвинным?

Я писал записку и поливал её слезами. Мне было грустно и немного страшно. Возможно, я никогда уже больше не вернусь. Свою жизнь я никогда не мог прогнозировать с такой уверенностью, как чужую. Кому понравится этакий пророк? Ветерок смерти щекотал мне затылок. Умирать ещё не хотелось. А кому хочется? Но вот такой уход из дома – это маленькая смерть – покруче всякого там оргазма. Возможно, она мне не простит, не пустит назад. Что ж.

Но если я всё-таки напишу книгу... Нет, наверняка мне уже можно было ставить диагноз. Налицо была сверхценная идея. Психи в первую очередь становятся бродягами. Я всегда был склонен к бродяжничеству – может быть, именно потому, что был не совсем нормальным?

Но с чего я взял, что кому-то уж так должна быть интересна моя личность? Откуда у меня представление, что я гений, способный подарить человечеству, что-то действительно новое? Это уж точно – мания величия!

И однако, даже растоптав себя подобным образом, я буду писать эту книгу. И это будет никому не нужный подвиг. Возможно. Мне только не нравится, что всё это пахнет безбожным французским экзистенциализмом – "чумой", "тошнотой" и пр. С этими товарищами мне никак не хотелось бы стоять в одном ряду.

Отчего я бегу? Оттого, что мне не везёт в жизни. А почему мне собственно должно везти? Кому везёт? Дуракам? Может быть, только потому они радуются, что чего-то не понимают? Совсем от иллюзий, вероятно, нельзя избавиться, но, видимо, следует стремиться к иллюзиям всё более высокого порядка. Такова жизнь. И если этого подъёма по ступенькам иллюзий не происходит, теряется само ощущение жизни.

Была ещё опасность, что меня подведёт здоровье. Один спецназовец заменил собою заложника и умер в машине террориста от сердечного приступа. Не вынесла душа поэта... А вдруг?

Если бы я промедлил ещё несколько минут, то не ушёл бы никогда. Вообще-то я против насилия над самим собой – очень редко оно приносит достойные плоды. Но совсем без этого насилия тоже мало что получается. Надо почувствовать или, как сейчас модно говорить, проинтуичить то самое мгновение, в которое благостное насилие особенно необходимо. Тебе невыносимо трудно, но ты веришь, что скоро станет легко. И подтверждением твоих чаяний может стать лишь внезапное освобождение – вдруг ты уже летишь, хотя совсем недавно еле влачил своё существование – как каторжник в колодках. Но вдруг я ошибаюсь и иду не тем путём и не туда? Кроме Бога мне не на кого надеяться – если Он действительно милостив, то поможет мне.

Лифт не работал, и я спускался по лестнице как автомат. Ужас нарастал. Я словно второй раз отделялся от матери,

только теперь уже сам сознательно рвал пуповину. Сколько их может быть в жизни, вот таких, вторых, рождений?

И только в электричке я понял, что совершенно спокоен. Всё уже произошло. Я ничего не мог изменить. Наверное, жена уже прочитала мою записку; но даже если не прочла, обязательно прочтёт, пока я буду ехать назад, если я всё-таки струшу и дам обратный ход. Нет, мне уже не хотелось этого делать. Разве что только сработает какая-то инерция. Или – банально не сумею устроиться.

Я устроился и довольно быстро. Смешно, какие только истории не рисовались мне до того, как всё это произошло в реальности. Памятуя, что в Древнем Китае процесс поступления в обучение к какому-либо мастеру назывался не иначе, как стоянием на снегу перед домом такого-то, я воображал себе бабку в виде строгого гуру и почти намеревался провести первую ночь на улице, в самых тяжёлых условиях.

Мне хотелось помучиться физически, чтобы хотя бы на время отступили а задний план муки нравственные. Но не получилось.

Не буду долго описывать, как и к кому я попал на жительство. Не то чтобы это было так уж тривиально. Просто мне стыдно. Человек, который меня приютил, оказался намного добрее и проще моих доморощенных схем. Хозяйка, разумеется, не отказалась от денег и помощи; но было бы в тысячу раз труднее, если бы я попал к какой-нибудь экстрава-

гантной отшельнице, которая из-за непомерной гордыни отказывается ото всего. К счастью, таких людей в природе не существует. Я, во всяком случае, не встречал.

О той, к кому я волею судеб попал, как и о всяком человеке, можно было бы написать отдельную длинную повесть, но у того, что перед вашими глазами, есть только один герой, сам автор. Уж простите меня, что я вас не подвожу за ручку и не знакомлю с одной из милых деревенских старушек.

И действительно – я увидел дым из трубы. Только выглядел он более убого, чем в мечтах. Сама труба оставляла желать лучшего. А внутри, в доме, было душно. Хорошо ещё – не совсем похолодало. Это с одной стороны. А с другой – может быть, когда выпадет снег, дым из трубы будет смотреться красивее? И запах был какой-то не такой, как мне мечталось.

Вот уж чем плоха действительность, так это тем, что приходится расставаться с мечтами. Очень многие люди до того привыкают жить во своими уютными надеждами, что совершенно теряются, когда эти надежды оправдываются. Я не исключение.

Рубить дрова и топить печку на самом деле – это совсем не то же самое, что грезить об этом. Нет, это не хуже – просто по-другому. Я научился, привык, даже приспособился вовремя открывать и закрывать заслонку, и бабка перестала баяться, что по моей милости мы угорим.

Лес вокруг был густой, и я надеялся найти там грибы. Но, как назло, в том году всё лето стояла страшная засуха, даже в

сентябре дождей почти не было. Так что и грибам и взяться было неоткуда. Дым из трубы не так радовал ещё и потому, что и без того воняло гарью, горели болота. Этой вонью я уже вполне успел насладиться в городе.

Что же оставалось? Писать? Да, я неоднократно предпринимал такие героические попытки. И надо сказать, что перед тем, как я отправился сюда, у меня было немало задумок. И я обольщался насчёт их количества, имея в виду, что уж хотя бы одну из них сумею воплотить. Но то, что совсем недавно стояло у меня перед внутренним взором как живое и просилось на бумагу, теперь почему-то показалось мне серым и скучным. По-хорошему – ничего не хотелось, хотелось только спать – да и плакать ещё иногда, когда вспоминал об оставленной в городе семье. Плачет ли кто-нибудь обо мне? Вечный вопрос. Как хочется, чтобы о тебе кто-нибудь плакал, и как это эгоистично.

Так вот, поспать тоже толком не удавалось, так как я не привык спать в такой духоте. Я сожалел, что не прихватил с собой спального мешка – в нём можно было бы попробовать спать на веранде – погода ещё позволяла.

Птицы улетели на юг. В лесу было тихо. Из бесприютных облаков стал-таки понемногу выделяться дождь. Почти все листья опали. Иногда хотелось волком выть, я и выл, когда был уверен, что убрёл достаточно далеко от населённых пунктов. Впрочем, пунктов-то было – одна деревня, и в той всего несколько жителей – дачный сезон давно кончился.

Однажды утром выпал первый снег. Но тут же растаял. От этого всё стало ещё только чернее и грустнее. Я стал выпивать за ужином не одну, а две, в то и три рюмки водки.

Писанину свою пока не жёг, но рассчитывал, что она пригодится на растопку. Хотелось домой. Но кто там меня ждал? И как я мог вернуться, не сделав решительно ничего?

Да и что за мистическое действие – эта книга? Во все времена главным критерием успеха писателя была издаваемость. Я и раньше писал, но кто знает об этом? Зачем я это делал? Что и кому хотел доказать? Себе самому? Своей жене? И опять я занимаюсь этим бессмысленным, порочным делом? Дело ли это?

Ох, какая же в моём сердце разверзлась тоска! Я потерял всяческую опору. И этот ужас толкал меня всё-таки предпринять хотя бы ещё одну попытку.

Я сажился за шаткий бабкин столик, как, быть может, сажился какой-нибудь потерянный полярник за рацию, намереваясь в стотысячный раз подать SOS в неприветливое безответное пространство.

Перед литературой всегда стояла дилемма: О чём следует писать – о том, что есть, или о том, что должно быть? В те или иные исторические эпохи в тех или иных культурах склонялись то к одному, то к другому решению.

Писать о том, как тебе тяжело, если тебе действительно тяжело, т.е. писать правду – довольно легко. Но иногда такие писатели бывают невыносимы – взять хотя бы классика от

русской поэзии Надсона – недаром его мало кто помнит – да и стихи были так себе. Но делать хорошую мину при дурной игре – насколько убедительно это будет выглядеть?

Да, это большой соблазн – создать мир по своему образу и подобию, специально под себя, этакий сладкий мирок, куда можно будет убежать от досаждающих проблем. Что-то вроде наркомании, использования галлюциногенов. Это уж от твоего таланта зависит, насколько будут замысловаты и привлекательны твои грёзы. Многие хотят морали, хотят, чтобы им объяснили за что... Но как в выдуманном мире, так и в этом, "лучшем из миров", кажущемся нам не выдуманным, причины знает кто-то другой и, возможно, никто другой, как только Бог.

Безответственно было бы претендовать на роль Божьего вестника, не имея на то достаточной санкции, каковой, очевидно, может являться одна Благодать. Посему я не склонен прибегать к гуманизму ни в каких его формах. Впрочем, совсем избежать этой пагубной человеческой слабости – тоже вряд ли представляется возможным.

О чём же я хочу поведать миру? И хочу ли я действительно, чтобы мир меня услышал? Для кого змея оставляет свою старую кожу, когда выползает из неё? Может быть, писательство моё – только что-то вроде нездорового физиологического процесса. Кажется, об этом что-то сообщал писатель из «Сталкера» Тарковского. Ничто не ново на Земле! Но у того, уже хрестоматийного, писателя были изданные книги,

известность и деньги, а у меня?.. Ах, я бедненький! Мне даже некому мстить, как мстила Маргарита за Мастера, потому что, собственно говоря, я толком и не пытался пробиться в издательства. Что это? Гордость? Страх неминуемой боли, как перед кабинетом зубного врача? Или, может быть, я в глубине души всегда был уверен, что пишу говно? Вот это – интересное предположение!

Но даже если так, вы от меня всё равно не дождётесь, чтобы я сдался. А может быть, и надо сдаться? Поплыть по течению, забыть всё, отречься ото всего? Разве не к этому призывает буддизм? Да и Православная Церковь не очень одобряет художественное творчество, святым оно представляется детским лепетом... Но даже если я лепечу по-детски, всё-таки наверное лучше быть ребёнком, чем закостеневшим и закончившимся в себе совершенно взрослым?

Ну хватит задавать риторические вопросы. Публика требует сюжета, а мы вот уже почти какую страницу никак не можем сдвинуться с места. Происходят ли в качестве результата движений моего пера хотя бы приключения идей?

Удивляет ли кого-нибудь загнанный, маленький, никчёмный человек? Что я могу сделать? Броситься на вас – как крыса, или раздуться – как жаба, пытаюсь показать свою важность.

Может быть, настоящая тишина наступает только тогда, когда наступает отчаяние, и только в этой тишине слышны божественные голоса? Ну слушай, слушай – они тебе нашеп-

чут!..

Прошло всего две недели. Я уже два раза ездил в ближайший городок, чтобы пополнить запасы продовольствия. Покупал бабке мелкие подарки, чему она искренне радовалась, как умеют радоваться только очень одинокие и бедные люди.

Книга не двигалась, и я даже создал себе целую теорию с запасом, насчёт того, что при смене обстановки, даже при самых распрекрасных условиях, ничего не может получиться раньше, чем через месяц. Тут я лукавил сам с собой сразу в двух отношениях. С одной стороны: если я созрел, чтобы писать, то должен был начать это делать сразу, как только у меня в руках оказалась ручка. С другой: если я действительно не мог этого сейчас делать, то вряд ли облегчение произойдёт через месяц – например, после армии я совершенно не мог ничего писать более года.

Есть такое глупое выражение, недавно отчего-то вошедшее в моду – «писательский блок». Наверное, это чисто английское, как и «сплин». У русских писателей не бывает блока, т.е. был Блок, но один и всё такое. Т.е. я хочу сказать, что привычнее сказать, что кто-то, мол, исписался или, скажем, продался и стал писать всякую дребедень. Такое у русских писателей бывает – сплошь и рядом.

Но как я мог исписаться, ещё не издав ни одной книги? Абсурд! Нонсенс! С кем я так долго разговаривал, что успел уже всё сказать и утомиться?

Однажды, вернувшись в прогулки по лесу и принеся с собой несколько горстей не знакомых бабке грибов, которые она однако, не без содрогания, согласилась мне приготовить, я таки решил приступить к книге вплотную. Сяду и буду сидеть, пока что-нибудь ни напишу – вот как я решил – ну чем не Будда?

Бабка не одобряла мои ночные бдения, потому что тратилось много электричества. Никакими деньгами я не мог умерить её тревогу по этому поводу. Но она всё-таки терпела, скорее из человеко-, чем из сребролюбия.

Два часа я сидел, тупо глядя на облезлые закопчённые обои. За эти два часа по ним не проползло даже таракана. В конце концов, я захотел пи'сать и пошёл на двор. Бабка проснулась и заворочалась, что вызвало у меня дополнительное смущение. На улице было морозно, сияла полная луна. Это меня немного взбодрило.

Я вернулся за стол и мечтал до утра. Это было какое-то проклятие. Ведь того, что за эту ночь пронеслось у меня в голове, вполне хватило бы на приличную повесть. А то и на роман! Когда я проспался после этого неудавшегося приступа графомании, полчаса ничего не мог вспомнить, как будто всё, что было до настоящего сна, тоже был сон. И почему *это* казалось мне интересным и важным?

Ну пусть не важно, пусть не интересно – что же всё-таки *это* было? Вдруг я понял, что со мною последнее время случается что-то вроде амнезии. И мне стало по-настоящему

страшно. В самом деле, что я творил *сегодня* ночью? Если бы онанизмом занимался... Может быть, я стал лунатиком? Бабка мне, впрочем, ничего необычного не рассказала, даже не смотрела на меня косо. Она уже почти смирилась с моими причудами. Я её и предупредил честно.

Вечером с ней смотрели телевизор, который почти не работал, так что существовал соблазн вызвать кого-нибудь из друзей, чтобы починить. Но это нарушило бы чистоту эксперимента. Как там друзья? Помнят ли обо мне? Да ещё не так уж много времени прошло. Но внутри у меня что-то бунтовало, что-то просилось наружу. Что? Бабка бы сказала, что я отравился давешними грибами. И в самом деле, вдруг разразился понос и я ненадолго забыл о своих чисто писательских проблемах. Иногда бумага может быть использована более надёжным способом.

В сортире ещё даже не отдали концы последние мухи, одна из них всё норовила усесться мне на нос. Я подумал, что это знак, всё, вообще, знаки. И тут меня затошнило и вырвало. Т.е. выделение происходило одновременно из обоих концов моей пищеварительной трубы. Но это, я полагаю, не от грибов.

На прогулке я вспомнил, что' хотел написать, но когда вернулся, осознал, что – почти наверняка – раньше я написать хотел нечто другое, а теперь, прогуливаясь, придумал нечто новое. Но когда я уселся за стол, обнаружилось, что я забыл и то и другое, если это, и на самом деле, были разные

темы.

Как же дальше жить?

– Как дальше жить? – спросил я бабушку, которая по обыкновению копошилась на кухне. и в голосе своём я ощутил этакий елейно-театральный привкус, этакий сладко-горький яд, может быть, свидетельство действительного отравления?

Она даже не посмотрела на меня, как на идиота, но и жалеть не стала, только спросила:

– Будешь картошку?

Я рад был написать оду картошке, которую я в прошлой жизни не любил. Я ел картошку и превращался в какое-то чудовище, набитое картофельным дерьмом. Я ощущал, как глаза мои вылезают из орбит. Наверное, это была начинающаяся шизофрения.

Ничего не происходило. Ровным счётом – ничего. Молоко. Молоко мне полезно, потому что я отравился. Я болею. Мало мне было сюда убежать, теперь ещё оказалось необходимым бегство в болезнь.

Я хотел всё забыть. Да, я всё хотел забыть и начать сначала. Может быть, это просто начинали сбываться мои желания? А вдруг они сбудутся? Что тогда?

Я вспомнил один неутешительный эпизод из моей жизни.

Ту девушку звали так же, как и мою жену. Но со своей будущей женой я познакомился на полтора года позже.

Не стану описывать всех обстоятельств этого давнего и в

общем-то незначительного и мимолётного знакомства. Это могло бы увести меня в дебри воспоминаний, весьма отдалённо связанных с болевой точкой, побуждающей меня писать это, но не менее, а более тяжёлых.

Скажу только, что тогда мы ехали за' город, на некий турслёт. Чтобы всё-таки быть точным, добавлю, что тогда это называлось КСП, т.е. Клуб Самодеятельной Песни, интеллигентское движение развившееся за последние годы советской власти и неминуемо угасающее в связи с угасанием этой последней.

Я ехал туда с моим младшим двоюродным братом и с одним из друзей, от которого собственно я впервые и услышал когда-то аббревиатуру КСП. Кроме того, с нами были два друга моего друга, с которыми до этого я встречался всего несколько раз. Оба эти человека, как и я, умели петь под гитару. Друг мой ни играть ни петь не умел, но очень любил слушать. Один из друзей друга пел настоящим оперным басом и был мне симпатичен, хотя романсы, которые он исполнял отнюдь не были мне близки. Другой, человек менее мне симпатичный, обладавший рыжей шевелюрой и холодным холёным лицом, пел какие-то общеизвестные песенки, которые видимо были приняты в его кругу. Мне это, тем более, было не интересно. Но меня не могли не заинтересовать девушки, которые сопровождали этого последнего. Одна из них, брюнетка, была явно *его* девушка; и хотя было заметно, что о не имеет относительно неё никаких серьёзных намере-

ний, на мой взгляд, они очень подходили друг другу. Как, впрочем, могла бы подойти ему или ей тысяча других подобных девушек или парней. В этом лёгком романе не предполагалось ничего трагического, и это всех устраивало. Я так никогда не умел, и рад даже бы был позавидовать, но не знал кому. Уж, во всяком случае, не этому смазливому прощелыге. Он, кстати, потом уехал в Америку, куда ему самая и дорога.

Что же касается девушки, я мог бы позавидовать и ей, если бы, скажем, имел бо'льшую тягу к гомосексуализму. Тут необходима лёгкость, иначе почти сразу окажешься в нокауте. Я же, если не по массе, то по внутреннему ощущению, всегда был тяжеловесом. Это ощущали и другие, поэтому женщинам всегда было со мной нелегко. Я нравился только тем, которые готовы были взвалить на себя тяжёлую ношу. Но, чаще всего, самому мне такие не нравились.

Так вот, на брюнетку я не претендовал. Но оставалась ещё блондинка, как ни странно, родная сестра брюнетки. Возможно, правда, они были от разных отцов. Обе – девочки достаточно милovidные. Но, во-первых, блондинки мне тогда нравились больше; во-вторых, она была не занята, а другой мой и другой друг друга уже были женаты; в-третьих, она была даже моложе сестры. Так что вполне логично было бы мне положить на неё глаз, да и она, похоже, была совсем не против, чтобы за ней поухаживали, т.к., находясь в обществе ухажёра сестры, испытывала понятное одиночество.

Однако, я не сразу предпринял какие-либо действия. Дело в том, что девушки эти не производили на меня приятного впечатления своими манерами и поведением. Не то чтобы они были вульгарны, как раз напротив – что называется, хорошие девочки из хорошей семьи. И именно поэтому они казались мне насквозь фальшивыми, каковым представлялся и их рыжий спутник, да и всё КСП, вкупе взятое, особенно такое, каким оно стало к тому моменту, когда мы туда ехали. Во всех этих отношениях была какая-то мерзопакостная виртуальность, то, что меня всегда отвращало. Но многим это нравилось, нравится и до сей поры. Наступила другая, более искренняя эпоха; но люди научились фальшивить по-другому, ещё не все научились, но учатся – так им удобнее.

Приведу только один штрих. Как-то на дне рождения друга этот самый рыжеволосый мэн завёл со мной разговор. Тогда я только что вернулся из армии и смотрелся как белая ворона на фоне благополучных, уже заканчивающих учёбу в институте, мальчиков. Но, конечно, на мне была аура некой романтики, распространявшая запах, если не пороха, то армейского дерьма. С кем, как не со мной, уважающий себя человек мог бы завести светскую беседу. Люди так часто ошибались относительно сферы моих интересов, что это уже перестало меня удивлять. Он же затронул тему наслаждений вообще и, в частности, таких наслаждений, как акт дефекации и мочеиспускания. Возможно, даже наверняка, он решился заговорить со мной на предполагаемом *моём* языке из

самых лучших побуждений, чтобы как-то поддержать меня в моей неминуемой отъединённости от преуспевшего общества. Концепция, изобретённая им для этого вечера, сводилась к тому, что удовольствие, которое возможно получить от освобождения кишечника и мочевого пузыря, зачастую намного превосходит то наслаждение, которое испытываешь при общении с женщиной. Надо сказать, что в ту пору я ещё был девственником, причём девственником, страстно желавшим со своей девственностью расстаться, посему разговоры подобного толка вызывали у меня двойное раздражение. "Ну и сри ты и ссы ты в своё удовольствие, сколько хочешь! – захотелось мне сказать. – А меня со своими глупостями оставь в покое!" А может быть, это и была зависть, к этому сытому и удачливому болвану? Да не такой уж он и болван – всегда ходил в отличниках, одним из первых защитил диссертацию, и вот в Америке, в дамках значит. Почти на том свете. Последнее его действие, впрочем, ни в коем случае не могло вызывать у меня зависти. Американцу американцево.

Так вот, эти девочки, которые тут, в электричке, без него просто не могли бы оказаться, воспринимались мною как его производные. Возможно, и они покинули наши палестины, подобное тянется к подобному. Но иногда... Иногда бывает и наоборот. Существуют всяческие законы, в том числе и исключаящие друг друга. Такова диалектика, в которую я в общем-то не верю. Но случается... Вернее, Господь преподносит нам сюрпризы, по своему обыкновению.

В общем, пока мы ехали, эта девочка нравилась мне всё больше и больше. Ничего особенного в ней не было, по крайней мере, для меня. Этакая кукла, в длинными светлыми волосами и большими светлыми глазами. Она была довольно высокая и довольно хорошо сложена. Одним словом – сплошная банальность – то самое, за что недолюбливал взрослых женщин. Гумберт Гумберт. Но этой было всего 18 лет. А я никогда не был педофилом, хотя некоторые задатки у меня и для этого были. Девочка была со всех сторон хорошая, но именно поэтому скучная. Она не курила. Не люблю курящих женщин, но если бы она хотя бы курила, мне бы легче было найти с ней общий язык. Она не пила. Нет ничего хорошего в девическом пьянстве, но зачастую просто невозможно изобрести какой-то другой способ, чтобы разговаривать по душам. Весь её разговор состоял из односложных тривиальностей самого проверенного и приличествующего случаю толка. Впрочем, она-то почти не говорила, что', может быть, её в моих глазах и красило в сравнении с сестрой, и, хотя кругла она была лицом как Ольга, сестра её явно на Татьяну не тянула. «Молчи за умную сойдёшь», – не знаю, кто ей это сказал, но такое было впечатление, что эту максимуму она усвоила.

Вообще, так называемое интеллигентское общество советских времён всегда меня глубоко ранило своим убожеством. Люди с невинным и убеждённым видом повторяли одни и те же заученные фразы; и мне как бы предлагалось

сделать выбор, всерьёз они это или нет. Если всерьёз, то у них что-то на в порядке с психикой, а если так, ради красного словца, – не жалеете отца, так хоть меня пожалейте!

Беда в том, что и все пресловутые *разговоры на кухне* обычно сводились к обмену вот такими же псевдовдохновенными фразами. Оставалось утешаться только тем, что вовсе без огня дыма всё-таки не бывает, и тем, что никто бы не стал штамповать фальшивые деньги, если бы не существовала хотя бы легенда о настоящих.

Итак, дорога была скорее угнетающей, чем весёлой. И это, несмотря на все песни, вернее, даже благодаря им. Не помню, пробовал ли я что-нибудь петь. Скорее всего да, но восприняли меня так холодно, что в моём мозгу просто не осталось этих неприятных моментов. Очевидно, мои песни не были чем-то таким, что могло бы без затруднения вписаться в правильные системы координат этих правильных студентов. Что и говорить, ко мне надо было как следует привыкнуть, чтобы наконец перестать меня пугаться и начать по-настоящему слушать. Но и для того, чтобы выработать новую привычку, нужна добра воля. Откуда бы ей взяться? Разве что кто-нибудь в меня влюбится или захочет со мной дружить. Блажен, кто верует...

Всё это празднество, т.е. слёт самодеятельных песенников, на этот раз прошло – до сюрреалистичности – отвратительно. Трудно, наверное, было бы во всём Подмоскovie отыскать ещё одно такое же неудобное место. Кому это и с

какими целями пришло в голову – остаётся только гадать. Палатки пришлось ставить на окраине какого-то танкодрома, где не было ни воды, ни дров в достаточном количестве. Воду солдаты привозили в цистернах и раздавали строго дозированно. А на дрова изломали последние, уцелевшие после разгрома танков, кусты и деревья.

Не успели мы разбить лагерь, как начался дождь, который на общем фоне холодной и пасмурной погоды всё усиливался, пока не перешёл глубокой ночью в самый настоящий снег, сопровождавшийся почти шквальным ветром.

В День Победы такая погода бывает нечасто. Видать, нам – очень в кавычках – повезло. Я легкомысленно отправился на это мероприятие в кроссовках, так что скоро мои ноги были совершенно мокры, и, хотя я поменял носки и обмотал сверху обувь полиэтиленовыми мешками, этого хватило не надолго. Вскоре всё поле между палатками, там и сям лишённое дёрна и раскатанное танковыми гусеницами, превратилось в непролазную грязь.

Кто-то ещё пытался петь. Мы пошли слушать. И я там ухитрился встретить другого своего друга, к которому имеют отношение дальнейшие события, о которых здесь невозможно рассказать даже вкратце. У него здесь была своя, совершенно не имеющая отношения к нашей, компания. Так что мы, засвидетельствовав друг другу искреннее почтение, расстались. Может быть, уже здесь брезжило начало нашего будущего взаимного отчуждения. Постепенно он становился

таким же, как те две девочки и рыжий, и многие из тех, которые собрались здесь, чтобы петь у костра. Он устал быть не как все и хотел слиться с массой хотя бы отчасти – так было безопаснее. А мне было скучно. И противно. И даже самые хорошие песни не лезли в уши, когда их перепевали избыточно сладкими голосами. Из-за этого моего правдолюбия я до сих пор многим кажусь мрачным.

Хотели петь песни у костров – но какие тут костры? Воду, которой не было из-за отсутствия ручьёв и рек поблизости, вполне можно было бы в тот вечер собирать в неба. Только вот никому в голову не пришло захватить с собой достаточные открытые ёмкости.

Несмотря на сырость и холод пить со мной никто не стал. Или кто-то выпил, но чисто символически. Да и выпивки было немного. Как раз свирепствовала антиалкогольная компания. В общем, мёрзли мы в палатке вдвоём с братом, как черти. Прямо-таки лежали и тряслись, и брат прижимался ко мне, потому что никаким иным способом нельзя было согреться. На улице свирепствовала под утро настоящая метель! Слава Богу, что палатка наша ещё совсем не завалилась. Всё облепил мокрый снег, о том, чтобы просохнуть, нельзя было и мечтать. У меня не было никаких запасных подштанников, штаны и носки я совершенно вымочил. Можете представить, каково мне было в голыми ногами в довольно тонком и сыром спальном мешке.

Вместо того, чтобы петь друг для друга под звёздным

небом, все были вынуждены в ту ночь самым примитивным способом бороться за существование. Кому-то это удавалось лучше, чем нам. Кто-то даже – есть такие умельцы – ухитрился развести огонь и угоститься горячим чаем. Но настроение почти у всех участников слёта было изрядно испорчено. Утром палаточный лагерь во многом напоминал пейзаж после битвы. Это впечатление, конечно, сильно усугубляли следы деятельности бронетехники, создавшей кругом неповторимый ландшафт из ухабов и буераков.

Снег таял на глазах и хотелось как можно быстрее выбраться из этого болота на чистую лесную почву. Собравшись кое-как и с отвращением прочавкав по скользкой глине несколько километров, мы наконец оказались недалеко от станции, где только и оказалось возможным обнаружить нормальную лесную растительность. Погода, будто насмехаясь над нами, стремительно улучшалась, пока мы ждали поезда. Бродя под ёлками я впервые в этом году заметил свежие ростки крапивы и, обжигаясь, собрал немного – домой на щи. Брат помогал мне, жили мы вместе.

К тому моменту мы, кажется, уже расстались с остальными членами компании, в которой прибыли сюда. В лагере у нас не нашлось сближающих интересов. Палатки были отдельные. Общий костёр развести не успели. А уж снег и дождь и вовсе настроили всех бороться со стихией кто как может. Рыжий, разумеется, разыгрывал из себя галантного кавалера, спасая своих подопечных от метеорологических

воздействий. А на мне был брат, который тогда, помнится, поразил меня своим ребячеством. До того он мне представлялся куда более бывалым и устойчивым к лишениям.

Когда мы вернулись в Москву, ярко светило солнце. И уже грело. Обратной дорогой я познакомился в электричке с одним пареньком, который, как оказалось, жил рядом с нами. Так что у нас был попутчик. С ним мы о чём-то проболтали всё это время, а затем навсегда расстались у его дверей. Не могу сказать, чтобы он так уж выгодно отличался от несимпатичного мне рыжего, но что-то вроде искреннего разговора у меня с ним случилось. Хотя всё они... одним миром мазаны. Это я к тому, что почти все каэспэшники на поверку были западниками, а не почвенниками.

Вот, всё-таки получилось довольно подробно, хотя и удалось не слишком отклониться от основной нити повествования. Всё дальнейшее будет касаться только моего увлечения выше указанной блондинкой.

Сообщу ещё лишь о том, что, начиная с одиннадцатилетнего возраста, я был хронически влюблён. Одна моя влюблённость накладывалась на другую, отнюдь не сразу и не целиком отменяя предыдущую. Часто наблюдались возвраты, это напоминало нечто такое, что в произведениях Фрейда именуется регрессией. Т.е., в очередной раз встретив непреодолимое препятствие, я откатывался к препятствию, мною, из-за той же неприступности, оставленному. Каждый раз я, видимо, надеялся, что с течением времени оно сделалось ме-

нее неприступным. Обычно, а точнее всегда, мои надежды оказывались тщетными. Такова была моя жизнь.

Таковым был и тот отрезок жизни, который описывается в настоящем рассказе. Словом, на фоне всех непрекращающихся несчастных влюблённостей появилась ещё одна, пока весьма бледная, но сулящая неясное успокоение, звезда. Разум мой, разумеется, приводил всевозможные неоспоримо веские доводы в пользу того, что мои поползновения будут бесполезны. Самое интересное, что я ни на секунду не мог заставить себя разубедиться в том, что девочка эта не моего круга, что всё, или почти всё, связанное с нею, мне чуждо. Куда я, спрашивается, лез, если меня от многих возможных последствий моего поступка заранее подташнивало? Но разве любовь спрашивает у разума?

Это была ещё, конечно, не любовь. Может быть, это было вообще одно из самых слабых моих увлечений за всю юность. Ставил я на эту карту не от хорошей жизни, а от отчаяния. Ставил потому, что на тот момент больше поставить было не на что.

Но всё же я ухитрился до конца мая развить в своих мечтах такую деятельность, что образованные воображением волны сами понесли меня к цели. Всё было очень просто. Друг мой и его друзья, и давешние девочки были из одного института. Т.е. особы мужского пола уже, кажется, закончили его, а девочки учились. Я узнал у друга, где этот институт находится, и в один прекрасный день отправился ждать

у дверей.

Это моё ожидание увенчалось успехом. А надо сказать, что частенько в подобных случаях фортуна была отнюдь не на моей стороне. Я побаивался, что пассию свою даже не узнаю в новом, более летнем обличии, но узнал легко и понравилась она мне даже больше – заметнее были формы. Хотя, как я уже замечал, она на мой вкус была крупновата. Какое-то время я трусливо скрывался от её взоров, но затем решился и подошёл. Если бы я был влюблён в неё немного больше, мне бы потребовалось значительно больше решительности.

Не помню, что я ей сказал тогда. То ли, что оказался там случайно, то ли, напротив, прямо заявил, что дожидался её. Помню точно, что обратился к ней по имени, и она была приятно удивлена, что я его не забыл. Одедся я тогда, при всей своей бедности, во всё лучшее и, быть может, производил несколько смешное впечатление. Как бы там ни было, она не могла не понять, что я оказываю ей знаки внимания. Я проводил её до дома, а поскольку жила она довольно далеко, по пути мы успели немного поболтать. Разговор был не о чём, но очень приятный. Я распускал хвост, довольный собой, а ей не могло не льстить расположение мужчины из другого мира, каковым я для неё, вероятно, являлся. Понравился ли я ей за вычетом этого хоть чуть-чуть? Пожалуй, при мощности её форм она бы могла клюнуть на мои, не успевшие ещё атрофироваться после физических работ, мышцы.

В этом мы были чем-то подобны. Она не отказалась дать мне свой телефон и вообще была очень любезна, румянилась и улыбалась. Она бы понравилась мне ещё больше, если бы успела сообщить хоть что-то отдалённо умное. Но я понадеялся, что услышу это от неё в следующий раз. Кроме всего прочего я узнал, что летом, в июле, она собирается в институтский лагерь, и меня особенно заинтересовало место, где он расположен. Дело в том, что это оказалось неподалёку от той деревни, где я счастливо проводил все лета моего детства.

Наверное, любой нормальный молодой человек при таких обстоятельствах позвонил бы по добытому телефону, если не завтра, так уж никак не более, чем через неделю. Я же звонить почему-то не стал и даже, кажется, потерял этот телефон и не очень-то сожалел. То ли обрушились на меня в очередной раз тогда какие-то другие незавершённые влюблённости, то ли наша встреча, несмотря на её кажущуюся взаимную приятность, чем-то разочаровала меня... Любовь моя была ещё очень маленькой, не собачкой даже, не кошечкой, а крошечной инфузорией, таким едва оплодотворённым яйцом, которому ещё расти и расти. Но оно всё-таки росло, вот только очень медленно, и для роста ему требовался покой.

Разумеется, такой подход к делу крайне эгоистичен. Возможно, это меня часто и подводило. Выбрав себе музу, я интересовался только процессом, происходящим у меня внут-

ри, предоставляя ей до поры жить как заблагорассудится. А у девушек, как известно, семь пятниц на неделе. Это я теперь знаю, и то не пользуюсь знанием; а тогда даже не хотел догадываться о том, что необходимо постоянно напоминать о своём присутствии юной особе, чтобы не кануть в Лету промежду узких берегов её памяти.

Этакие красивые сравнения мне тоже тогда не приходили в голову. Зато пришла в голову романтическая идея, насчёт того, что недурно бы посетить мою знакомицу в её лагере, летом. Таким образом я мог бы убить двух зайцев – повидаться с ней в целях поддержания и развития знакомства, а заодно повидать и родные места.

Она-то, разумеется, о моих планах не была ни в коей мере осведомлена. Вернее, я ей тогда сразу сказал, что, может быть, к ней летом загляну, но она не придавала этому никакого значения. Мало ли кто и что говорит? Мало ли что скажет почти незнакомый, странный парень, который к тому же после того, как ему дали телефон, за месяц с лишним не позвонил ни разу?

Всё это я, конечно же, должен был учитывать. Но ничего этого учитывать мне не хотелось. Я боялся в своих расчётах уподобиться рассудочной деятельности того самого рыжего, который был мне чем-то так ненавистен. Нет, у меня будет всё не так. Всё – наоборот.

У многих людей возникали проблемы в связи с тем, что они не верили в сказку. У меня не было таких проблем. По

сути дела, только в неё-то, в сказку, я и верил. На что ещё я мог надеяться, когда предпринимал такие неподготовленные и экстравагантные шаги? Мне не нужна была хорошая девочка из интеллигентной семьи. Мне нужна была Царевна Несмеяна или – на худой конец – Снежная Королева. Вот тогда бы я был удовлетворён. Но разве эта несчастная симпатичная блондинка, воплощение здорового образа жизни и унифицированного образа мысли, могла предположить, какие бремена неудобноносимые на неё в моём воображении возлагаются? Впрочем, это не она несчастна, а я. Вечно несчастен из-за невозможности примириться с действительностью. Но сама эта потребность в примирении возникает только из понимания, из умения различать между собой и действительностью. Может быть, счастлив тот, кому это понимание не дано?

Могу сейчас только предполагать, чем заняты были мои дни, отделявшие меня от того срока, когда я собирался отправиться в недолгий поход к своей избраннице. Так ли уж я скучал по ней? Не думаю. Но чем ближе к моменту X, тем бо'льшим воодушевлением исполнялась моя душа. Как будто в самом деле ждало меня там нечто невообразимое, какое-то *счастье вдруг*, которое я по скудости своей и представить не мог. В сущности, все мои чаянья сводились к тому, что я в ней ошибаюсь и не увидел сразу, не успел разглядеть, какая она необыкновенная. Но она, именно она – а кто же ещё? – должна была доказать мне это. Может быть, она уже

любит и ждёт?.. Ха-ха-ха!..

Нет, в это я не верил. Ну не такой же я дурак был, на самом деле, чтобы верить в такие глупости. Что же двигало мною? Для чего мне требовалось создавать в качестве антуража к в общем-то незамысловатому телодвижению такие замысловатые воздушные замки? Поэты по существу своему отвратительны. Таков я.

А ведь все было давно решено. Я решил, что встречу с ней в следующий раз в середине лета уже тогда, когда мы расстались с ней в середине мая.

И вот я в пути. Один. Никто на этот раз не составил мне компании, да я и не упрашивал – дело было интимное.

Лето выдалось не слишком безоблачное. Но на кануне моего отъезда вроде распогодилось. Было даже почти жарко, в воздухе веяло чем-то предгрозовым. Но за спиной у меня было палатка. На одну персону... А может... На это я и надеяться не смел. Не смел, но всё-таки, где-то в глубине своей поруганной и подавленной сексуальности, надеялся – всё-таки и поэт остаётся самцом. А почему – всё-таки?

Мне пришлось-таки поискать. Но я и не надеялся найти скоро. Лагерь был где-то на берегу водохранилища, а у водохранилища были довольно длинные берега. Я просто шёл вдоль и спрашивал у редко встречающихся аборигенов. Наконец я забрёл в какую-то деревню, где один из жителей не только дал мне точное указание, но и подвёз меня почти до места на мотоцикле с коляской. Я сидел в такой коляске пер-

вый и, похоже, уже последний раз в жизни.

Словом, не обошлось без обыденных приключений. Но вот, поблагодарив своего проводника, я оказался у цели. Лагерь, как и полагается, распространял вокруг себя звуки современных композиций. Я не был до конца уверен, что это *тот* лагерь и, конечно, не мог иметь стопроцентной уверенности в том, что сейчас там находится та, ради которой я собственно и прибыл.

Но музыка странным образом убеждала меня. Я ходил кругами и нюхал эту музыку как кот. Может быть, к тому времени я уже проголодался и вместе с духовными запахами музыки воспринимал и вполне телесные запахи кухни? Очень может быть. Может быть, бессознательно я наслаждался лёгкими дуновениями, исходящими из лон и подмышек молодых самок? Замысловато, но и это в порядке вещей.

Я не решался ещё заглянуть внутрь, и решил сначала поставить палатку где-нибудь поблизости. В конце концов, ночевать всё равно где-нибудь надо было, а уходить далеко от с трудом найденного места не было ни сил, ни смысла.

Берега водохранилища были мало приспособлены для купания, и вода была буроватого цвета. Не то чтобы в такую тянуло окунуться – это, даже учитывая то, что я был порядком взмылен после пешего перехода под солнцем. Конечно, мне надо было бы учесть, как я буду пахнуть при встрече со своей... не знаю даже, как тут её назвать. Не мешало бы помыться. Кажется, я всё-таки слегка умылся и, возможно, да-

же переделся, если у меня с собой тогда была лишняя футболка.

Мегафоны вокруг лагеря надрывались русскоязычными рок-эн-роллами. Ни до того, ни когда-либо после я не слышал больше этого альбома. Не рискую даже предположить, какой группе он принадлежал. Альбом достаточно ровный – в том смысле, что песни выдержаны в одном стиле и пел их один человек. Не могу сказать, что мне понравились слова или мелодии, всё было довольно банально и однообразно. Хотя по телевизору как правило передают ещё большее... Но одно двестише из одной песни, особенно часто и отчетливо повторяемое, мне запомнилось:

"Свежий воздух – мне стало хорошо!

Я захотел дышать ещё, ещё, ещё!"

(За знаки препинания не ручаюсь). Содержание этого припева, а это был, кажется, именно припев или часть припева, как нельзя более соответствовало обстановке отдыха на природе. Вообще, доморощенные рок-эн-роллы хорошо смотрелись и слушались на фоне родной русской травы. Пока я бродил вдоль забора лагеря, они успели прокрутить одну и ту же пластинку подряд три или четыре раза. То ли другой у них под рукой не было, то ли эта кому-то из усилителей особенно нравилась.

Почти везде со внешней стороны забор была переходящая в болото низина. Так что мне пришлось порядком отступить от цели и взобраться на лесистый холм, чтобы найти подхо-

дующее место для палатки. Тем лучше – здесь меня точно никто не побеспокоит. Впрочем, я не наблюдал никакой активности в непосредственной близости от лагеря. Всё происходило только за забором, в котором – как назло – не обнаружилось никаких, сколько-нибудь значительных дыр. Забор был высок, уныл и беспросветен. Из-за него сквозь громкую музыку доносились девические и юношеские голоса. Можно было догадаться по звукам, что кто-то играл в бадминтон.

Может быть, до этого мне ни разу не доводилось ставить палатку в одиночку. Я должен был проделать всё с необходимой тщательностью. Ведь я хотел пригласить гостью. Если она и не разделит со мной походного ложа, то пусть хоть полюбуется на ровные линии растянутых крыльев палатки, пусть восхитится моими бродяжническими умениями. Ах, не было у меня тогда этих умений – я только учился. Но куда тут денешься?

Когда я ходил вокруг лагеря и нюхал возбуждающий воздух молодости, наверняка меня посещали сожаления о собственной судьбе. Почему в меня всё так ненормально? Люди учатся, веселятся... Почему я не с ними? Уже и время ушло. Не поступать же, в самом деле, на первый курс? Всё у меня как-то не так. Не как у них, как у людей.

Я уже тогда по сравнению с ними чувствовал себя чуть ли не стариком. Ну, если не стариком, то умудрённым жизнью матёрым скитальцем. И чувствовал ли я при этом своё превосходство? Как ни говори, а это было единственное, чем я

мог себя тешить. Я здесь, вовне, не потому что меня выгнали. Я здесь, потому что сам выбрал свой путь, в отличие от них. Они, может, ещё совсем и не знают, что такое выбирать.

Комплекс неполноценности не самая хорошая приправа для соискателя взаимности, когда он является на свидание. Рюкзак свой и оставил в палатке и расправил плечи, но что-то на них всё-таки давило. Чего я боялся? Не побьют же меня? Долго, очень долго – как медведь-шатун – ходил я вокруг да около, пока наконец ни набрался смелости и не вошёл за неимением других проходов в главные лагерные ворота.

И о чудо! – я сразу увидел её. Да, она была здесь. Я ни в чём не ошибся. Т.е. с том, сто касается местоположения лагеря и её местонахождения. До этого я пытался заглядывать в ничтожные щели и ободрался, взлезая на бетонные стены. Но ничего и никого существенного я не заметил. Составлялось представление, что все жизненно важные центры лагеря, сосредоточены вдалеке от мест, откуда я мог подглядывать. Движение угадывалось лишь за густым занавесом деревьев.

А тут – вдруг – такая удача. Я-то думал, что ещё помучаюсь. Даже, может быть, где-то в глубине души трусливо предполагал, что так и не сумею её здесь встретить. Пусть ничего не произойдет. Но цель у меня была, эта цель заставила меня пуститься в путь, посетить эти близкие от моих родных, но доселе не изведанные мною места. Кое-что уж было сделано. Средства оправдывали цель.

Но она была в каких-то десяти метрах от меня и уже собиралась уйти. И у меня не было времени на раздумия, я просто окрикнул её, громко позвал по имени. Она то ли не услышала, то ли сделала вид. Я уже не меньше минуты маячил на фоне ворот как какое-то чужеродное включение. Могла бы заметить и без всяких призывов с моей стороны.

Может быть, только тут я её по-настоящему оценил. Перед мною была королева. По крайней мере на ближайшем квадратном километре у неё не было и не могло быть никаких конкуренток. Конечно, такое впечатление могло происходить оттого, что абсолютное большинство девушек, пребывающих здесь, были просто дурнушками. Это нередкое обстоятельство для технических вузов. А красота, пускай и относительная, явление редкое. Впрочем, у нас, в России, слава Богу, не такое уж редкое.

Так вот, это "чу'дное мгновенье", когда я увидел её третий раз в жизни, заслуживает развёрнутого описания. Она оказалась замечательно одета, т.е. в том смысле, что я никак не ожидал увидеть её здесь в таком наряде. На ней был домашний халат, довольно тёплый, возможно, с маминого плеча, золотисто-коричневого цвета, без каких-либо узоров и дополнительных украшений. Одет он был если не на голое тело, то почти на голое, и открытые тапочки на босую ногу весьма гармонировали с этим одеянием. Халат доходил её чуть ниже колена, открывая в меру полные, хорошо ухоженные икры. На голове было что-то вроде лихо закрученной

высокой чалмы из ещё непросохшего махрового полотенца. Полотенце было палевого цвета, несколько более светлого, чем халат. Согласитесь – странное облачение для юной студентки в летнем лагере. И в таком виде она прогуливалась на воздухе по одной из местных асфальтированных аллеек, она одна – все остальные девушки были, как положено, в штанишках и юбочках полуспортивного покроя. Она гордо и величаво вышагивала во главе группы подруг, на фоне которых выглядела, как аристократка на фоне служанок. То ли русская барыня, то ли древнеримская матрона.

Этот самый халат, который в домашней обстановке показался бы любому простым и даже затрапезным, здесь и сейчас играл роль атрибута её естественной власти. По праву красоты она везде могла себя чувствовать как дома, а высокий головной убор, вроде бы небрежный и случайный, подчёркивал её природную царственность. Надо добавить что, может быть, из-за этой импровизированной чалмы, может быть, из-за высоких каблуков, она казалась здесь на голову выше всех остальных особ женского пола. Это было тем более удивительно, что я, из-за своего среднего роста ревниво относящийся к женской величине, раньше пришёл к выводу, что она всё-таки заметно ниже меня. И, кроме всего прочего, халат своей тяжестью и складками подчёркивал скульптурную статью фигуры и оттенял светлое золото волос, выглядывавших снизу из-под полотенца.

У меня было достаточно времени, чтобы сообразить, что

прекрасное преобразование моей избранницы объясняется тем, что она возвращается из бани. Это подтверждала и распаренная розовость лиц остальных участниц события, так сказать, кордебалета. И время было весьма подходящее, под ужин. Но если я и видел кого-то в этом лагере, так только её, сияющую Афродиту. Всё остальные существа представлялись мне в те мгновения лишь невзрачными обоями, среди которых одиноко обитал великолепный портрет. Я даже возгордился в душе тем, что ухитрился выбрать *такую* девушку, сумел разглядеть её, так сказать, в бутоне, в упаковке отталкивающей банальности. Воистину, у меня должно было захватить дух. Но не за этим ли я тащился сюда по лесам и полям?

Но я, что' я был для неё? Случайный знакомый, пусть чем-то и заинтересовавший девичью невинность, но не до такой степени, чтобы разрушить её сон. Я и не старался. Что во мне вообще было интересного? Из леса я вылез небритый, неопрятно одетый, от меня пахло потом, и у меня горели глаза. Этакий фавн! Почему я полагал, что она пойдёт за мной?

Всё случилось, как и должно было случиться. Я всё-таки дозволялся её, повторив свой зов как можно более громко и убедительно. При этом добрый десяток пар женских глаз очень коротко скользнул по мне и вновь обратился к ней, как будто ничего не произошло. А откуда-то из самой глубины лагеря я почувствовал ещё и пару тяжёлых, но опасливых мужских взглядов. Она подошла, для этого ей потребовалось

сделать всего несколько шагов, и я ещё раз, теперь тихо, назвал её по имени. Ясно было, что она узнала меня, но не обрадовалась. Она сразу же, без объяснений и разговоров, вернулась к подругам. Я только и успел сказать ей, что я, мол, здесь. Все-таки, по-моему, сообщил, что у меня здесь палатка и что я в походе. Но ей не надо было этого знать. В такой ситуации ей следовало немедленно сделать выбор: с кем она – со мной или со своими ни чем не запоминающимися подругами. Она, не на секунду не задумавшись, предпочла подруг. В конце концов, какие она могла на меня делать ставки? Замуж я её пока не звал, да она и не собиралась так рано – сначала надо закончить институт. Да и выгодный ли я жених? Родители ей бы такого точно не посоветовали. Да они никого такого, скорее всего, с роду не видывали и не предполагали. Отчего так любят снимать фильмы, где влюбляются в инопланетян? Я, в общем-то, тоже из интеллигентной семьи, т.е. в том смысле, что из обычной, но отчего я такой другой? Был ещё такой мультфильм про голубого щенка, которого не любили из-за масти; потом этот мультфильм из-за того, что слово "голубой" приобрело устойчивое нецветовое значение, перестали показывать.

Она отошла, повернулась ко мне спиной и о чём-то разговаривала с подругами – так как будто меня и не было. А был я здесь один чужой, на фоне не привыкших к моей фигуре ворот, неуместный, одинокий, не то чтобы неуклюжий, но, пожалуй, несчастный. Ещё какое-то время я смотрел ей

в спину с надеждой, и она чувствовала этот взгляд, он наверняка обжигал её позвонки даже сквозь толстую байковую ткань халата. Но она больше не повернулась ко мне, никак не показала, что ещё обо мне помнит. О чём они разговаривают с подругами, я не мог расслышать, но догадался, что она пыталась дежурными фразами отвлечь их любопытство от моей непонятной персоны. Я понял то, что должен был понять: таким поклонником она здесь хвастаться не считала нужным и полезным. Очень легко она от меня отказывалась. Вот уже и скрылась она в своём сонме из глаз моих в каком-то сараистом деревянном строении. Наверное ужинать пошли. Несколько горячих и липких секунд я ещё по инерции созерцал опустевшую вытоптанную площадку, которую только что попирали её ноги – и окончательно понял, что нечего ждать.

А музыка всё надрывалась, возвращаясь к одному и тому же по наезженному кругу: "Свежий воздух – мне стало хорошо!.." Я бы не сказал, что мне было хорошо в тот момент, и воздух вовсе не казался мне свежим, хотя вокруг в изобилии и была представлена выделяющая кислород растительность. Голос певца звучал для меня как издёвка. Впрочем, мне не хотелось бы дать ему пощёчину. Он сам о чём-то грустил, он словно меня понимал. Ведь и ему, по сюжету песни, сначала не хватало свежего воздуха, и только потом он его обрёл и стал дышать лихорадочно, как, может быть, дышит умирающий человек из кислородной подушки.

Я с трудом повернулся на месте кругом и вышел за ворота. Никто меня не сопровождал даже взором – как пришёл я не званный, никому не нужный, так и уходил никем не приреченный и не замеченный.

Удивительно иногда человеческим настроениям соответствует не только случайная музыка, но и погода. Как раз в те минуты, когда я начал отдаляться от лагеря и приближаться к своей палатке окончательно назрела гроза. До этого целый день по небесам ходили сероватые облака, изредка роняя вниз отдельные холодные капли. Но облака эти были небольшие и нечастые, к тому же ветерок раздувал их, так что, в основном, день был всё-таки солнечным. Но тут, кажется, как раз за то время, пока я топтался у ворот, всяческие дуновения прекратились, а облака сплотились в монолитную серую массу, которая стремительно продолжала темнеть. В этом мрачнейшем затишьи было не столько жарко, как влажно, и, очевидно, очень упало давление. Я потел всю дорогу сюда, но сейчас прохладный ветер перестал освежать моё усталое тело, горячий пот заливал глаза. И даже лагерьный репродуктор прекратил вещание, словно затаился. Никто мне больше не пел про "свежий воздух"...

Я брёл прочь, стараясь не оглядываться, и ощущение у меня после короткой встречи с мечтой было такое, точно я только что получил по лицу и уже некому дать сдачи. Трудно было дышать, в душе не находилось ни слов ни ругательств, ничего. Я словно подавился чем-то сухим, а откашливаться

было нечем. Погружённый, вернее утопленный в своей обиде, я вряд ли тогда мог обращать существенное внимание на изменения погоды, но на моё подсознание они исправно действовали. Я механически прибавлял шаг по направлению к палатке, втягивая голову в плечи, так, как будто дождь уже начался.

Напряжение в природе и во мне всё нарастало. Где-то рядом, но как за пеленой, копошась на влажных зонтиках дудника, оглушительно жужжали и трещали сумасшедшие от стгутившегося атмосферного электричества насекомые. Запах ото всего этого шёл сладкий, но с явной трупной примесью. И у меня в висках раздавался хруст и треск, словно от переживаемой боли и борьбы я сделался пустым как скорлупа.

Вскоре уже пришлось бежать. По пути ливень смывал с меня лишние амбиции вместе с потом и пылью дорог. Это было похоже и на взрыв, и на прорвавшийся плач. Несколько раз я падал, поскользываясь на глине неровной тропинки, и один раз даже закатился довольно глубоко в какую-то канаву. Наверх пришлось выкарабкиваться на четвереньках сквозь немилосердно кусающуюся крапиву.

Когда мне добраться до палатки, дождь уже почти кончился, но сам я был весь мокрый и грязный. Благо, что к вечеру стало заметно теплее, чем было с утра. Вероятно, эта гроза пришла как авангард надвигающегося тёплого фронта.

Ни о каком костре, конечно, и думать не приходилось.

От усталости и неудачи я едва держался на ногах. С большим трудом стащил с себя прилипающую мокрую одежду, выпил из горла полбутылки предварительно заготовленной водки и уснул тяжёлым сном на надувном матрасе. Палатка, надо сказать, неплохо выдержала натиск вдруг свалившихся на неё стихий, и я даже успел в качестве утешения про себя отметить, как мне хорошо удалось её поставить. Спать было несколько сыровато, но не холодно. Я бы наверняка протрадал первые полночи морально, снова и снова пережёвывая случившееся, если бы так не вымотался физически. И водка помогла. А на следующий день мне – хочешь не хочешь – нужно было возвращаться в город, выходные кончались.

Погожее утро позволило слегка просушить пожитки. Но недолго я сидел и нюхал сосны, мне стало тоскливо. Все мои мысли насчёт того, чтобы пойти и попытаться счастья в лагере ещё раз, уже в уме разбивалась в брызги, как разбивается очередная волна об каменный утёс. Нечего больше позориться. Я собирался, дрожа не то от омерзительной сырости, не то от вновь пробудившихся мук самолюбия.. Не оглядываясь я отправился в том направлении, откуда пришёл сюда. Мне было больно смотреть даже на стену не взятой мной крепости. Всё-таки подлая фразочка насчёт свежего воздуха напоследок ещё раз долетела и коснулась моих ушей прежде, чем я дошагал до далёкой автобусной остановки.

В общем-то больше не было ничего. Разве что, совсем недавно пришло мне почему-то в голову, что если кого она

и напоминала из известных героинь русской литературы, то Аглаю из «Идиота». Только вот сам-то я на *идиота* не тянул. Может быть, что-нибудь такое во мне и было, но под очень уж тяжким спудом – слишком я был покрыт разнообразными мышцами, слишком много, при всех моих комплексах, у меня было ещё и здорового самомнения. С равным успехом я мог бы себя вообразить и каким-нибудь одиноким рейнджером, но это было бы уж совсем смешно и пошло. Представьте себе *агрессивного идиота*, выходящего из дремучего леса. Очень уж извращенный вкус и воображение надо иметь, чтобы полюбить такого индивидуума. Да и красавцем я не никогда не был – так что, скорее всего, мог бы встречных особ противоположного пола, вот так, внезапно появившись, только напугать. Радует ли волк от того, что он страшный?

Классический сюжет про красавицу и чудовище на этот раз не получил развития. Интересно, как часто подобные вещи случаются в реальности? И зачем вообще Провидение подсовывает нам всевозможные соблазны? Есть ли в моём рассказе какая-нибудь мораль? Могу ли я её вывести хоть теперь, умудрённый возрастом, учением и горьким опытом? Ничего кроме просветлённой грусти я не чувствую. Дай вам Бог всем счастья и долгой жизни, тем, кто тогда был в том студенческом лагере и *тебе* или – если хотите – *ей*, той, из-за которой всё это произошло. Всё-таки надеюсь, я её не скомпрометировал, скорее, наоборот, наличие мужчины со стороны должно было придать её слишком правильному, а по-

тому скучноватому облику ореол таинственности и пусть даже лёгкой порочности, которая ведь способна вызывать такую жгучую зависть... А у меня жизнь пошла совсем по другому пути.

И вот, всё-то мне вспоминаются дождливые вечера, такие вечера на свежем воздухе, когда из-за излишней сырости нельзя было развести порядочного огня. Я понял, что некая мечта давно преследует меня, тоска по костру.

Но что мне мешало сейчас пойти в лес, наломать сушняка и запалить такой костёр, какой мне заблагорассудится? Мешал дождь, всё тот же дождь. Только теперь он был осенний, холодный и сумрачный, и беспросветный. Я пожалел, что не научился у одного моего потерянного друга разводить огонь в такую погоду. Он имел терпение и аккуратность раскалывать тонкие веточки пополам вдоль, так что сухая сердцевина оказывалась снаружи. Такие дровишки горели даже под непрекращающимся дождём. Ему не нужно было даже бумаги на растопку. А потом этот друг стал бизнесменом. И это тоже очень грустно. Т.е. не то, что он стал бизнесменом, а то, что мы с ним вдруг перестали друг друга понимать, словно начали говорить на разных языках. Нам друг от друга стало тяжело и скучно.

А теперь я Бог знает где, сижу в какой-то избе и придумываю, чтобы такое ещё мне изобразить на терпящей всё бумаге. И хочется мне эту исписанную бумагу сжечь – что тоже

вполне в традициях – но не в печке, а на вольном воздухе. А погода всё не фортит. И не настолько рукастый я мужик, чтобы с нею спорить – не то, что мой былой друг. И голова болит от духоты, и глаза ест. А может быть, это просто плакать хочется?

Я повадился совершать прогулки на полустанок. Вот уж чего от себя совершенно не ожидал. Лес, к которому вроде бы так стремилась из города моя душа, перестал привлекать меня. Даже найденные грибы не радовали. А в последний раз я отыскивал воистину хорошие грибы – крепенькие, уже похолодку созревшие, бордового цвета подосиновики – штук наверно с десятков. Бабка, наконец, даже меня похвалила. Но тут мой энтузиазм и кончился, я без всякого интереса поедал жареные сокровища, пялясь в мельтешащее чёрно-белое окно телевизора и ровным счётом ничего не понимая из того, что там происходит. О чём я думал? До не о чём, я тосковал.

Душа всё время куда-нибудь стремится – проходит лес насквозь и снова через поле идёт к лесу. Редко она отдыхает, и во сне всё куда-то идёт. Я сам не понимаю свою душу? Чего она хочет? А я кто такой? Тот, который не понимает собственную душу. И что *он*, т.е. я понимаю? Даже тоска неуловима – не то что счастье. Сколько не рационализируй, а легче не делается. И дождь, дождь, дождь идёт.

Полустанок низкий – здесь уже не высокие платформы. Но всё же асфальт, и этот асфальт без устали как открывалки

ковыряют острые дождевые струи. Всё блестит от единственного фонаря, если дело происходит вечером. Поезда проходят редко-редко. Я с тоской и завистью смотрю им вслед, даже товарнякам, куда бы они ни шли – в Москву или из Москвы. Уже и с завистью. И чего я здесь сижу? И надоело мне совсем. И ничего уже точно не получается. Зимы что ли ждать? Или вернуться? И – конечно хочется вернуться. Потому что я люблю свою жену, свою дочку. Но нужен ли я им, ждут ли они меня? Имел ли я право бросать их вот так? И чего я вообще хотел добиться? Как часто человек не может самому себе дать отчёт в том, что и для чего или почему он что-то делает.

Я был в отчаянии, опять в отчаянии. Книга не получалась. Ещё месяц назад я был гораздо ближе к её успешному созданию, чем теперь. А я уже здесь месяц. Значит приехал я зря? Значит теперешнее моё положение только отдаляет меня от поставленной цели? Подобные вопросы мучили меня, как постельные клопы – я морщился и чесался. Все мои надежды на какие-то перемены в судьбе не оправдались. Я опять потерпел поражение – как и в тот раз, когда был отвергнут, избранной мною девицей у ворот студенческого лагеря. Жизнь отвергала меня, я ей не нравился. Может быть, я и не заслуживал снисхождения? Я плакал вместе с дождём.

Вскоре это стало невыносимо. Я упаковал свои вещи, попрощался и рассчитался с бабкой и, пообещав как-нибудь ещё её навестить, отправился в Москву.

В электричке мне сразу сделалось легче. Как будто груз какой-то свалился с плеч. А всего-то я выгрузил рюкзак на полочку над окном. И вспомнил я, что подобное облегчение испытывал и тогда, когда ещё только ехал сюда. За окном всё лили дожди. На то и осень. Давно, пожалуй, не было такой дождливой осени. Всякие были – сухие, морозные, тёплые, а вот по-настоящему дождливой...

Такого типа наблюдения и пустые рассуждения отчего-то наполняли тело удовольствием, и на лице моём сама собой начала расплываться улыбка. Эйфория росла по мере того, как электричка приближалась к Москве. Для светлых надежд не было никаких оснований, но я ничего не мог с собою поделать. Сердце учащённо билось, и словно рвалось вперёд, словно хотело лететь сквозь дождь, как эмблема впереди поезда. Мне даже было стыдно, что я вдруг так расчувствовался. Да, я чувствовал себя беспомощным, слабым и размякшим. Может быть, я становился нежным, снова наконец нежным, как в далёком розовом раннем детстве. И что это мне давало? Может, кто-нибудь меня пожалеет? Вот такого, нового? Мне было очень страшно, и в то же время физиономия моя сияла. Я готов был радоваться и восторгаться всему, абсолютно всему, что несло мне сейчас навстречу. И стук колёс поддерживал во мне это странно торжественное настроение, он попадал в резонанс с моим ускоренным пульсом – от этого даже перехватывало горло. Слава Богу, никто не сидел напротив и не смотрел на меня.

По стёклам раздавленными червяками ползли водяные струи, ничего почти не было видно кроме теней и мокрых мерцающих фонарей. Вдруг на этом стекле как на экране я начал видеть сюжет своей будущей повести, и это тогда, когда мне уже до вокзала оставалось каких-нибудь двадцать минут. Неужели нужно было проделать весь этот путь, провести в полузаточении месяц и вот так бесславно вернуться назад, чтобы это произошло? Неисповедимы пути Господни? Да и могу ли надеяться я, что следую именно этими путями? Во всяком случае, теперь я катился по рельсам и мысли мои катились как по рельсам. Всё я увидел и понял, что действительно могу это написать. И у меня осталось ощущение, что писать *это* не напрасный труд, что *это* было нечто стоящее, такое, что и спустя несколько дней или недель захочется и можно будет воспроизвести.

Не хочу раскрывать свои тайны, поскольку, если я попытаюсь рассказать эту историю вкратце, она может вам показаться банальной и нарочитой одновременно. Так зачем же я собрался такую историю писать? В том-то и дело, что вы её не видите, а если бы увидели целиком уже законченную, может быть, и переменили бы своё мнение.

Жалко мне было расставаться со своим сюжетом, вдруг так счастливо хлынувшим через плотины моего тоскливого застоя. Но что поделаешь, нужно уже было выходить из поезда. Приехали.

Как только я сошёл на платформу Москвы, переживания уже совсем другого рода нахлынули на меня. Я даже испугался, что забуду напрочь только что явившееся мне в электричке. От тяжести проблем подкашивались ноги. Дождь и здесь продолжал идти, так что рюкзак быстро промок, и лямки всё сильнее тянули меня назад и вниз. Надо было торопиться, но быстро идти я не мог, потому что не знал, ждут ли меня дома. Впустят ли меня вообще домой? Что мне там предстоит? Мольба о прощении? Битва с соперником? Или счастливое примирение? Вот бы счастливое примирение! Но в мечты свои я не верил, давно не верил. Всё будет как-нибудь не так, как я предполагаю, совсем не так, но не хорошо, точно не хорошо. Только бы – не совсем уж плохо. Не совсем плохо – одна надежда. От таких "надежд" начинали трястись не только поджилки, но и руки, и я сам себе представлялся никчёмным, страдающим паркинсонизмом старикашкой. Может быть, лучше сразу стать бомжом? И с вокзала уходить не надо...

К счастью, на этот раз меня не привлёк такой исход. А почему к счастью?.. Я вышел на вокзальную площадь. Она показалась мне странно пустынной. Конечно было поздно-вато, но не настолько. Пожалуй, таким пустым я видел это место только один раз, когда однажды прибыл сюда под утро из Сибири.

Мне почему-то захотелось перейти на другую сторону площади и заглянуть за Ярославский вокзал. Может быть, я

просто боялся идти домой и оттягивал время. Хоть и не самым лучшим времяпрепровождением может показаться пешая прогулка с тяжёлым рюкзаком под дождём. Там, за Ярославским вокзалом, может быть, пива куплю и успокоюсь. Хоть немного. Почему-то такой поступок всё-таки показался мне разумным.

Я никого не встретил в подземном переходе. Вход в метро тоже был уже закрыт. Рано. Впрочем, может быть, теперь раньше закрывают. С каким-то неясным предчувствием я поднялся по ступенькам и направился в проход между зданием метро Комсомольской и Ярославским. Там, впереди, почему-то было темно.

С каждым шагом сердце всё больше съёживалось у меня в груди, но я не останавливался. Я хотел убедиться, что не грежу, или, если грежу, то это уже тотальный всепоглощающий бред.

За вокзалом не было никаких путей. Вообще не было ничего, что можно было бы назвать Москвой, когда-то шумевшим и испускающим здесь зловония большим городом. Там был какой-то лес, вернее даже не лес, а гарь. Именно лесная гарь. Чёрное пространство, посыпанное серебристым пеплом, с кое-где торчащими из него обгорелыми пнями. И пахло здесь гарью, вот теперь я совершенно точно это ощутил. Я пытался смотреть по сторонам в поисках хоть каких-нибудь стен и теней. Ничего не было. До самого горизонта – прямо, влево и вправо – выгоревшая, мокрая лесная равнина. Дождь

ненадолго перестал, и над этой пустыней голубели холодные звёзды, и луна, почти полная луна – поэтому было светло, а не от фонарей.

Я оглянулся. Вокзал стоял. Одиноко – как берёзка в поле. Невольно вспомнилась эта садистская народная песенка. Значит у меня ещё есть пути к отступлению? Ещё можно войти в эти ворота, чтобы очутиться в нормальном мире?

Помнится, на фасаде этого чуда архитектуры чуть ли ни врубелевские изразцы. Этакие анемичные бледно-розовые земляничины, порождения декаданса. А крыша – как сладкий пряник, позеленевший от времени. Мне тоже снилась такая огромная земляника, она всегда оказывалась водянистой и несладкой. А подобные крыши всегда во сне очень опасны, но тем более соблазнительны – зачем-то же надо на них лезть...

В горле першило от остатков дыма. Всё сторело. Неужели? Это обескураживало. Попробую вернуться домой. Мне бы вот только войти в этот вокзал и выйти оттуда. И тут я засмеялся, потому что когда-то, исследуя на досуге именно этот вокзал, на одних и тех же дверях его с двух разных сторон обнаружил солидные надписи «Нет входа» и «Нет выхода». Но люди всё же входили и выходили. Авось и я пройду. Во всём космосе остались только вокзал и я. И вот, мы медленно идём на стыковку.

Три

*«Она одуванчиком тела
Летит к одуванчику мира...»
В. Хлебников*

Под самый Новый Год у нас умерла мама. В этот день мы не учились. Тётка позвонила из больницы часов в 11 утра и сказала. Мы только что встали – отсыпались после полугодия.

В общем-то мы ждали, что мама умрёт, но это всё равно произошло неожиданно. Она болела давно, ей становилось то лучше, то хуже. И не то чтобы мы хотели, чтобы это продолжалось вечно, но... Болезнь и смерть всё-таки две разные вещи.

Когда я услышала, то не знала, что сказать. Слова застряли в горле. Во рту сразу сделалось горько и сухо.

– Мне приезжать? – выдавила я из себя.

Тётка вздохнула и помолчала.

– Да нет, я думаю, сегодня не надо, – извлекла она. – как там маленькая?

Маленькой она называла мою сестру, которая всего-то на четыре года была моложе меня. Я посмотрела не неё, она спокойно сидела в кресле, в углу, и что-то делала со своей маленькой, выдавшей виды игрушкой, с медвежонком молочно-кофейного цвета .

– Нормально, – ответила я.

– Сидите дома. Похороны всё равно будут не раньше, чем завтра. А, скорее всего, после Нового Года.

– А где она?

– Кто? А, в морге.

Мне хотелось ещё о чём-то спросить, но я никак не могла понять или вспомнить о чём. Слово *морг* показалось мне незнакомым и больно резануло слух, хотя я, разумеется, его уже тысячу раз слышала и не было в нём ничего особенного. Но сейчас это звучало как-то неуместно. А что, неужели и я когда-нибудь очутюсь в морге? И я задумалась, можно ли вообще как-нибудь правильно употребить глагол очутиться в первом лице единственного лица, и засмеялась.

– Ты чего? – спросила тётка встревожено.

– А? – опомнилась я и провела ладонью по лицу сверху вниз. Ладонь была холодной и влажной – словно не моя.

– Вы там смотрите. Держитесь, – сказала тётка. – Я может к вам приеду. Сегодня наверно не успею. А то вы к нам приезжайте. На Новый Год-то... Хотя эти похороны... В общем, надо обдумать. Завтра я позвоню. Или нет, сегодня, вечером. Если что, завтра звоните. Пока.

– Пока.

Мы повесили трубки. Сначала она. Потом я.

– Мама умерла, – сказала я сестре.

– Я поняла, – сказала она. И мне почему-то захотелось ударить её по лицу.

– От рака? – спросила сестра.

– Откуда ты знаешь? – спросила я.

– Но она же болела раком.

– Ну и что?

– Ну вот, от рака и умерла.

– Прекрати.

– Что?

– Ты не понимаешь?

Сестра отрицательно помотала головой.

– Хочешь есть? – спросила я.

Я пошла на кухню что-нибудь приготовить. В холодильнике было почти пусто, и денег оставалось очень мало. «Господи, как же мы будем встречать Новый Год?» – задала я себе вопрос почти вслух и поймала себе на том, что говорю, как мама. Что ж, кому теперь, как не мне, придётся теперь играть эту роль?

Сестра вдруг притопала из комнаты. Не успела я даже поставить жариться яичницу.

– Мама, правда, умерла? – спросила она.

– Почему ты босая?

Она посмотрела на свои голые ступни и не нашла в них ничего предосудительного.

– Ну и что? – сказала она. – Мама, правда, умерла?

– А ты не веришь?

– Тётя позвонила и сказала, да?

– Да, – я разбила одно за другим три куриных яйца и вылила их содержимое на сковородку.

Сестра ждала.

– Ты простудишься, – сказала я.

– А когда похороны? – спросила она.

– Не знаю, – честно ответила я.

– Понятно, – она опустила свои серенькие глазки и собралась уйти с кухни.

– Что тебе понятно? – спросила я ей вдогонку.

Она оглянулась:

– Понятно, что Нового Года у нас не будет.

– Это тебя волнует?

– И это тоже.

– Что-то ты стала больно взрослая.

Она не ответила и ушла в комнату. Я с досады швырнула на пол скорлупу от яиц. Хотела ещё придавить её ногой, но передумала. Мама зачем-то собирала эту скорлупу. Ах да, она её отдавала тётка, чтобы та удобряла свою дачу. Она что-то там говорила насчёт кислотности.

Захотелось чего-нибудь кисленького. Я опять полезла в холодильник и обнаружила там одинокий апельсин. "Маленький и гнилой апельсинчик мой..." – вспомнила я грустную песню. Поделиться с сестрой или нет? Знает ли она о существовании этого апельсина. Вряд ли так уж часто заглядывает в холодильник – привыкла всё получать с ложечки. Но родительский долг возобладал. Я теперь за маму – как я могу не наделить половинкой апельсина младшую сестрёнку? А она наверно только этого я ждёт.

– Хочешь апельсин?! – кричу я ей в комнату, перебивая бормотание телевизора, который она включила.

– Не-ет! – кричит она.

– Смотри, я сама его съем.

– Е-ешь! – кричит она равнодушно, словно перед ней там валяется целая гора этих самых апельсинов.

Я обдираю плотно приставшую к внутренности шкуру. Приходится помогать зубами, от сока корки щипет уголки губ. Всё, наконец-то я могу разломать этот малюсенький, не очень свежий плод на дольки. Все руки липкие. Да и хотела ли я это съесть всего несколько минут назад? Пробую одну дольку – какая-то безвкусная. А я хотела кислоты. Нет, всё-таки кисло, нет, скорее сладко. Кисло – сладко. Я жую и забываюсь. Того-то я и хотела.

Прибегает сестра:

– Дай всё-таки долечку.

Унюхала – у неё нюх как у лисицы или... Лисицы ведь апельсины не едят?

– Передумала? – спрашиваю я.

– Да, – говорит она и от нетерпения перебирает ножками на месте – словно писать хочет – всё такая же босая.

– Хотя бы причесалась, – говорю я.

– А зачем? Сегодня же в школу не надо идти.

Резонно. На это нечего возразить. К тому же и я – не то чтобы очень причесанная. Но нам можно – у нас, к концу концов, мама умерла!

– Яичница сгорит, – замечает сестра.

– Вот блин! – я вырубаю конфорку. – Нет, ещё можно есть.

– Чур я вот с этого края, – выбирает сестра самую неподгоревшую половину круга.

Я вздыхаю – опять-таки как мама.

Сестра убегает досматривать своё шоу. И как она только смотрит такую глупость? Невольно прислушиваюсь к голосу ведущей. Она как всегда не закрыла за собой ни одной двери.

Тряпка – у меня в руке – это для того, чтобы вытереть жирные брызги со стола. Потом её надо будет промыть мылом. А мыло, т.е. хозяйственное, почти кончилось. Господи, что с нами будет? Я пытаюсь представить себе, как мы впадём в нищету, и не могу. Неужели кто-нибудь поможет? Кто? Пытаюсь представить – и опять не могу. Во всяком случае, мы останемся здесь. Никто не посмеет нас выгнать отсюда. Никаких детских домов! Я чувствую, как у меня горят глаза, – они почти обжигают веки. Наверное, ещё дымом разъело. Надо открыть форточку.

Всё замирает. Как раз тогда, когда нужно переложить яичницу на тарелку, разрезать её пополам. Обнаруживаю, что нет хлеба. Совсем. Нужно закрыть форточку, холодно. У меня опускаются руки. Тряпка падает на пол. Это уже театральный жест. Я смотрю вниз и понимаю, что стою на скорлупе, она едва слышно хрустит. Или – это оконная рама хрустит на морозе. Что-то из Пастернака. Я любила его, т.е. стихи... Почему в прошедшем времени? На окне – узоры. Вдруг у

горла собирается комок нерастраченного рыдания, это похоже на начинающийся приступ рвоты. Я поспешно бегу к окну, взлезаю на подоконник, дышу обжигающе свежим воздухом. Наплевать – если заболēju, если будет болеть горло – только бы не расплакаться. Слёзы всё-таки выступают. Но это от мороза. Они густые, того гляди, замёрзнут. За окном – деревья в инее. Наверно ниже нуля. Погодка что надо под Новый Год. Прошло. Пока прошло. Я захлопываю форточку, слезаю. При взгляде на яичницу под кадыком опять начинает шевелиться что-то роде тошноты. Не надо мне было есть этот апельсин!

Сестра свою половину в комнату утащила, весь диван там соком и слюнями залъёт. Блин! Как же я теперь с ней буду справляться? Отдать её тётке? Ну нет! Мама бы такое не одобрила. Хотя... Почему она нам ничего не сказала, почему не предупредила? Или собиралась жить вечно? И я опять чуть было не заплакала из-за обиды на мать. Мёртвую уже. Как это – мёртвая? Всё-таки это невозможно понять. И не надо. Сейчас, во всяком случае, не надо. Надо жить. Нам – жить. А с тёткой – может быть, она договорилась? Может быть та передаст нам какие-нибудь инструкции? Считала нас маленькими, не хотела травмировать – очень мило!

Ну хватит злиться на мать. Это и нехорошо, и теперь бесполезно. Да-а... Я опять ловлю себя на том, что застопорилась. Надо наложить пищу и подать тарелку сестре. Вот что надо. А остальное... А остальное... Буду всё делать на авто-

пилоте, словно ничего не замечать – делать и всё...

Сестра явно рада, когда я приношу ей еду. Она сидит на диване, поджав под себя мёрзнущие ноги. Апельсин уже доела – а отказывалась.

– Что' смотришь? – спрашиваю я, хотя вижу, что по телевизору передают рекламу.

– Сейчас мультики будут, – говорит сестра, и голос у неё как в предвкушении чего-нибудь вкусного. В самом деле – и яичницу она будет кушать, и мультик смотреть.

Я приношу свою тарелку и сажусь с ней рядом.

– А хлеба нет? – спрашивает сестра.

Я мотаю головою.

– Жаль, – говорит она. – Может, сходишь купишь?

– Может, сама сходишь?

– А деньги есть?

– Я дам.

– А мороженое можно купить?

– Какая наглость! Я хочу не неё наорать, но вспоминаю, что она ещё ребёнок. Младшая дочь моей матери. Да, ныне покойной. Конечно, ей хочется мороженого – что же тут необычного? Мне тоже хочется, если честно. Я бы и от пива не отказалась. Я уже пила пиво, оно успокаивает. Но деньги... Что мы будем жрать – скажите пожалуйста – через какие-нибудь несколько дней? Может, будет какая-нибудь пенсия, помощь?.. Ишь ты, губы раскатала! Страшно. На папочек надеяться не приходится. Где их сейчас найдёшь? Про-

ституцией заниматься? О Господи!

Я достаю деньги и даю сестре.

– Мороженое купи, только одно. Хватит?

– Хватит, – говорит она, не пересчитав.

Мне бы её легкомыслие.

– А ты не волнуйся. Всё равно – сколько не экономь, деньги кончатся.

Она словно читает мои мысли – бесёнок.

– Ну что, – говорю я, – одевайся и иди.

– Дай яичницу-то доесть.

– А? В самом деле.

– Ты уже совсем с ума сошла.

– Я?

– Ты.

Мне опять хочется её шлёпнуть. На этот раз по попе, но побольнее. Чтобы запомнила. А что она должна запомнить? То, что мне небезопасно грубить?

– Ты о чём задумалась? – спрашивает она с полным ртом.

– Смотри свой мультик, – отмахиваюсь я.

– Вот блин, какая длинная у них реклама! Только что началось, – жалуется сестра.

– М-да, – я пытаюсь сосредоточиться на телевизоре. –

Чушь какая-то, – очень скоро констатирую я.

– Сама ты!

Я ухожу на кухню и ставлю чайник. Какой я стала благодарной, не хочу поднимать скандал. Как мама. Я плачу.

Тихо. Чтобы сестрёнка – не дай Бог! – не услышала. Мне себя очень жалко. Себя. И её тоже. Сестрёнку, не маму. Маме уже не поможешь. Помогать раньше надо было. Но чем мы ей могли помочь? Рак, что ли, её вылечить?! По хозяйству? Я посуду мыла. Иногда. И на стиральной машине стирала. Правда, только свои шмотки. Исключительно. Теперь придётся и сестры. А мама... Да, теперь шмоток станет меньше. Надо её научить саму стирать. Теперь мне придётся наверно работать. Если я хочу содержать семью. Ха-ха! Кто меня возьмёт? Мне всего шестнадцать лет... Всего?! Может, сжалятся? Не дадут же мне подохнуть?!

Нет, всё не так страшно. Нет, всё не так страшно. Это я себя уговариваю. Надо помолиться. Господи, иже еси на Небеси и так далее. Молюсь. Как умею. Морозные узоры на кухне всё крепшают, становятся всё толще. А если совсем не станет ничего видно? Что', придётся их чем-нибудь отскребать снаружи? Такого ещё не было. Они куда-то испаряются. Потом. Надо о чём-нибудь думать. О чём-нибудь не об этом, т.е. не о смерти... О чём угодно.

Позвонить кому-нибудь? С тёткой уже разговаривали. Может, всё же съездить в больницу, то есть... Мы были позавчера. Она была ещё живая, дала мне денег. Интересно, остались у неё ещё деньги или она отдала последние? Может, в сберкассе что-то есть? Если остались, то они у тётки, или... Врачи, говорят, тоже часто воруют. Особенно медсёстры. Санитары ещё. В общем, не видать мне моих денег,

нечего на них надеяться. Да и много ли их было? Слёзы. Вот именно – слёзы, а на деньги.

Может, самой пойти в магазин? Всё-таки – пройтись – невыносимо сидеть вот так, долго. Но сестра уже одевается, мультик кончился. Пусть она идёт. И здесь я ей уступаю. Вот так. Так и должно быть. Вот так. Ни фиги себе должно?! Почему это? Почему *у нас* мама умерла?! Так нечестно! Я готова вопить. Выглянуть в форточку, орать: "Спасите! Помогите!" Подумают, дура. А может... кто поможет?

– Я пошла? – говорит сестрёнка.

Быстро она одевается. Я никогда так не умела. А она вроде сидит расслабленная – в вот уже готова – как солдат в боевом строю. Откуда у неё это? Кто её учил? Наверное что-то в генах, от папы. Мама ведь у нас одна. А её папу я хотя бы помню, не могу, правда, сказать, чтобы это были приятные воспоминания. Было.

– Пошла, говоришь?

Она уже хлопнула дверь. Рукавицы конечно забыла. Нет, надела. Надо же! Не такая уж она дурочка, какой хочет казаться. Да нет, что я говорю? – разве она хочет выглядеть дурочкой? Что' я к ней вообще придираюсь? Она хорошая. Да, она хорошая. Избалованная, правда, немного. Но что же поделаешь – младший ребёнок. Тут я понимаю, что немного лукавлю сама с собой. Может быть, как раз всё-таки мне досталась первая материна любовь. Тогда ещё она была здоровой. Меня она любила, это я точно знаю. Не знаю, как своих

музей, но меня, детей, то есть значит и сестру, любила. Кого больше? Какая разница? Не буду же я теперь считаться. В конце жизни – сестру конечно немного больше. Но я ведь уже выросла. Это так естественно – младшего любить сильнее. Я тоже должна её любить. Должна. Тоже.

Этот долг, прямо как топор, лёг на моё сердце. Какая-то обречённость. Куда деваться? Может быть, убежать? С молодым офицером... Ха-ха-ха. Что-то мне никто не предлагает, ни один офицер... А если бы? Да что' я чушь какую-то несу! Офицеры... Тут не до жиру – быть бы живу. Щупаю живот. Ничего, теперь всё будет в порядке, точно похудею – нет худа без добра.

Вечером мы пили чай из сервизных чашек. Я решила их достать в связи с приближающимся праздником. Самой смешно от этого казённого языка – а как ещё сказать?

Почему-то когда стемнело, стало спокойнее. Хорошо, что в декабре темнеет рано. Никто больше не звонил, даже тётка. Я тоже никому не звонила. Сестрёнка, правда, звонила каким-то своим друзьям, но о том, что мама умерла, кажется, никому не сказала – умеет хранить тайну.

По телевизору показывали всякую дребедень. Даже хорошие фильмы невозможно было смотреть – что-то внутри меня противилось этому – ни во что не верилось, всё время казалось, что они притворяются... Мало ли что' у вас там происходило, мне-то что? Даже не смешно. У нас тут – ма-

ма умерла. Во как! Это серьёзно. В у вас ужимки, прыжки... Фу! Музыка вообще ужасная. Тут я с мамой солидарна, хоть как представительница юного поколения и должна отстаивать современные ритмы. Теперь спорить не с кем. Пускай сестра со мной спорит – она пусть отстаивает.

Плохо, что я не курю. Это, говорят, успокаивает. А попросить сестру купить мне бутылку пива тоже не решилась. Какая из меня алкоголичка? Но всё же Новый Год? Надо будет чего-нибудь выпить? Хотя бы лимонада. На прошлый Новый Год с мамой пили шампанское. Даже сестра. Пигалица. И не подавилась. Если бы теперь принесла пива, наверняка бы попросила у меня попробовать. Если уже не пробовала. С неё станется. Нет, вообще мы хорошие девочки. Очень хорошие. Но я – особенно. Ха-ха-ха!

– Чего ржёшь? – возмутилась сестра.

– А? Ничего. Извини. А разве там не смешное показывают?

– Где?

Я поняла, что телевизор выключен.

– Это ты выключила? – спросила я.

– Да ты вроде уснула?

– Я?

– Слушай, правда, ложись спать. А то мне как-то не по себе. Мамы теперь нет. Если ты с ума сойдёшь, что я буду делать?

– Только о себе и думаешь, – укорила я её таки, но впро-

чем, совершенно беззлобно.

– Пока.

Она пошла в нашу детскую. И я поняла, что спим мы теперь в разных комнатах. Я – на мамином диване. Я – за маму.

Уснуть больше не удавалось. И что' это в самом деле со мной такое было? Наваждение какое-то. Выпадение из памяти. Наверное я перенапряглась. Перенапряжёшься тут. Может, телевизор ещё раз попробовать посмотреть. Хоть как-нибудь отвлечься...

Я подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. В комнате горел один ночник. Слава Богу, хорошо топили, и к вечеру сделалось даже жарко. На мне – ночная рубашка до пят – тоже наследство от мамы. Я представила себя этакой тургеневской девушкой. Об этих тургеневских девушках нам учительница все уши прожужжала. Но я читала у Тургенева другие рассказы. Страшные. Правда, какие-то непонятные. Зачем он их писал? Зачем вообще люди пишут? Я вот тоже пишу, пальцем на запотевшем стекле. Я что' же я пишу? Ну да, его имя. Очень оригинально. Застеснялась и стёрла тут же ладошкой. Наверно и скулы мои порозовели. Тоже мне – нашла о чём думать в подобной-то ситуации. А что? Может *он* поможет? Ха-ха-ха!

Сестра, ничего не говоря, заворочалась за тонкой перегородкой неодобрительно. Знаю я её эти штучки. Нет, больше писать не буду. Во всяком случае, на стекле. Мне бабушка, помнится, про эти надписи на стекле что-то рассказывала.

Где она теперь, бабушка? Где мама? Опять подкатили слёзы. Не на кого надеяться. Не с кем посоветоваться. У тётки у самой трое детей, да никогда она нас особо и не жаловала. Очень подозреваю, что за глаза даже звала нас выблядками, потому что наша мать, насколько мне известно, никогда не состояла в законном браке. А мы есть. Вот так. Печально. А что? Что же делать? Что вообще' делают под Новый Год? В подобных ситуациях? Нет, об этом кажется, великая русская литература ничего не сообщает. Всё-таки не на все она случаи жизни. А жаль. Я-то вот читала, надеялась... Жаль потерянного времени. Хотя... Что-то там было про гадания. И очень много, не в одном месте. И у Пушкина... И у Гоголя... У Гоголя – наверняка. Посмотреть? Неохота идти к сестре в комнату, свет зажигать – проснётся, будет ворчать.

Ладно, устроим гадание без всяких вспомогательных средств. Кажется, я знаю как. Нужен таз, он в ванной. Пластмассовый, но это ничего. Может, позвонить подруге? А! не надо. Придётся слишком много объяснять. Да и не её это дело. Только моё. Свечки? Свечки есть в комодe. Точно. Покупали на случай, если перегорит электричество. Пробки у нас выбивало часто. Что значит, когда нет мужика в доме! – так говорила мама. Что ж она его, этого мужика, не завела? Куда они от неё разбегались? Сама она их выгнала или и они не очень-то хотели? Вот не знаю. Не задумывалась. А зря. Теперь знаю, что зря. Вот и хорошо.

Берётся таз и две свечи. Свечи надо прикрепить по обе-

им сторонам таза и ещё налить воды? А какая должна быть вода? Ну, во всяком случае, уж не горячая. Может, кипячёная? Или газированная? Ха-ха-ха-ха! Опять ворочается? Нет, вроде уснула. Она и во сне может ворочаться. Это хорошо. То есть, что уснула.

Вода должна быть чистой – это точно. Или наоборот. В мутной воде скорее что-нибудь увидишь. Может, мылом её замутить? Вот ещё – мыло переводить! Простая хлорированная сойдёт, из-под крана. Всё-таки не чистая. И тут меня осеняет: снег! Ну конечно, выйти на балкон и набрать снега. Придётся только растапливать на плите. Но это недолго. А во что набирать? В самую большую кастрюлю. Боюсь всё равно немного получится, т.е. воды. Но что же делать? – эксперимент должен быть чистым. Хотя и снег у нас – честно говоря – с дымком, с бензинчиком, с кислотностью и всё такое. Но тут уж выбирать не приходится. В чём живём, на том и гадаем. Такая уж стала земля, вся Земля. Во какие я умные вещи говорю – аж самой страшно! Улыбаюсь про себя, потому что у меня всё-таки получилось отвлечься, хотя и самым необычным способом. Плохо только, что я об этом вспомнила, т.е. поняла, что отвлекаюсь. Где таз?

Снег растапливался довольно долго. Я решила даже всё-таки телевизор посмотреть. Но там гнали такую чушь, что... Я, чтобы убить время, почистила зубы и сразу опять захотела есть... Нет уж – это до завтра. Воды получилось очень мало. И какая-то мутная, с какими-то чёрными точечками и пен-

ками. Как будто туда наплевали. Ну точно! Ну, зато это рождественский снег или как там. В общем, всё как положено. Или – почти как положено – всё равно. Меня начинал бить какой-то мандраж. Не терпелось заглянуть в своё будущее или – на худой конец – в прошлое. Почему-то я было уверена, что это сейчас у меня получится. Но хватит ли воды?

Больше всего мороки было со свечками. Они никак не хотели держаться стоймя на краях таза, как я задумала. В конце концов, я бросила это затею, потому что воск явно не клеился с пластмассой, и поставила свечи – одну на крышку из-под консервов слева, другую на блюдечко, которое я вытащила из-под герани. Чтобы свечи стояли повыше, я подложила под них книги, тёмные строгие тома классики, – наугад извлекла их из тёмной комнаты, где спала сестра. Все тёмные. Тёмные силы... Господи!

Но я зажгла свечку, и стало веселей. Я вырубилась ночник. Полночь давно миновала. Значит уже не самое лучшее время. Но время столько раз сдвигали. Кто знает – когда она на самом деле, полночь? Вот летом в это время может уже светать. А сейчас хоть глаз коли. Я думаю, можно. Я думаю – самое время. Хотя, кажется, нужно после Нового Года. Там что-то связанное с Рождеством. А у католиков, скажем, Рождество уже было. А они что не гадают, что ли? Что, не люди, что ли? Ха-ха-ха! – я зажала себе рот. Спит. Это какой-то нервный смех. Надо с этим кончать. Так может быть, всё-таки молитву сначала прочитать? А вдруг я этим всех духов

распугаю? Нет, надо соблюдать чистоту эксперимента. Да, я это уже говорила.

Между тем, уже смотрю в воду, вернее в эту самую жижицу на дне, которая получилась из снега. Таз красный, и его бока просвечивают, как кровь. Нет, не как кровь, а как обычная красная пластмасса. Это мне напоминает какие-то детские дешёвые игрушки. И всё-таки...

Да, мало-помалу я начинаю кого-то видеть. Очень странно. Или мне это только чудится? Я сама себе выдумываю... Но кто это? Все волосы и волоски дыбом встали у меня на теле. Кто это? Я его не знаю. Нет, я его совсем не знаю. Он такой старый. То есть взрослый. Я думала... Это совсем не он, т.е. не тот, не тот, о котором я думала, чьё имя писала на стекле. Мне даже полегчало. Ведь он точно меня не любит. На что' я рассчитывала? Слёзы да и только. Конечно. Кто мне теперь может помочь? Наверно кто-то старше, намного старше меня. Что' может сделать школьник? Не больше, чем я. Да и родители у него – не такие обеспеченные. И всё-таки жаль. Жаль прощаться со своей мечтой. Я опять чуть не разревелась.

Но свечи горят, и я теперь совершенно чётко вижу его. Этого, нового. Надо его хорошенько запомнить. Даже не пойму, нравится мне он или нет. Но суженый есть суженый – дарёному коню в зубы не смотрят. И потом – это, в конце концов, хоть какое-нибудь решение проблемы. Сестрёнку к себе возьму... Значит – скоро замуж... Но почему ско-

ро? Кто сказал, что это произойдет завтра? Ха-ха-ха! Изображение на дне таза померкло. Напугался, что ли? Я как-то неудобно дёрнулась, и от этого вода зашаталась. Вдруг я увидела его руку, он словно хотел протянуть её ко мне, вытянуть наружу из воды. Может, он меня за нос хочет схватить? Мне стало страшно.

– Нет, – сказала я ему. – Нет, миленький. Не сейчас. Сейчас оттуда не выходи. Всё будет, только не сейчас. Я узнала, что мне было нужно. Спасибо. Извини за беспокойство.

И я попыталась оторвать свои глаза от его глаз; кажется, у него они были серые, как у моей сестры. Что' он мне ещё хотел сообщить? Зачем-то шевелил губами, как рыба в воде. Очень напрягался, даже, кажется, покраснел. Но, может быть, это были только отсветы от красного таза? Я больше не могла ждать. Мне было безумно страшно и я безумно хотела пи'сать. Уж подумала, на надуть ли мне прямо в таз, но вовремя одумалась. Это уж в отсутствие мамы меня точно бес путал.

Я вскочила, врубила ночник, потом верхний свет, и, стараясь больше не сосредоточивать взгляд на воде, задула свечки. А он напоследок мне всё кричал оттуда, надрывался и пальцами из воды в воздух тыкал, так, что по ней шли круги, как от дождя. Но ничего не было слышно и прочесть я на воде ничего не смогла, хотя может он и писал. Так я и не узнала его имени. Только лицо. И ещё верхнюю часть тела я запомнила. Он был в какой-то рубашёчке тёмного цвета,

может чёрной, с длинными рукавами и металлическими пуговицами – наверно джинсовая. Всё-таки приятный. Волосы, кажется, светлые. Худой, да, скорее худой. Какого роста, не поймёшь. Но уверена, что не совсем коротышка. И то – слава Богу!

Только прошептала последние слова вслух, как всё кончилось. Сижу я на диване какая-то опустошённая. Точно на мне воду возили. А ведь и правда – таскала воду с балкона на кухню, с кухни – в комнату. Всё же нашла в себе силы – пошла, вылила гадальную воду в унитаз, а таз ополоснула. Свечки выкинула, почему-то твёрдо решила, что на второй раз они не сгодятся, и вообще такие свечки лучше больше не использовать. И разлившийся воск с книг соскребла, а книги отнесла на место. Крышку от консервов тоже выкинула, а блюдечко вернула под герань, даже её на всякий случай полила. И кастрюлю из-под снега вымыла. Всё стало как было. А я стала как ватная. Спать захотелось очень. Даже раздеться не смогла, не сняла с себя ночнушку, хотя было и жарко и под одеяло не залезла. Уснула и всё. Как отрубилась.

Я проснулась от духоты и головной боли. Ночью обещали тридцать градусов. И коммунальные службы с перепугу так натопили, что у нас на верхнем этаже, стало просто жарко. У нас, наверное, плюс тридцать, а на улице минус. На лбу у меня крупными каплями выступил пот. Я лежала на спине и прислушивалась. Кто-то дышал в соседней комнате. Это

мама. Ну конечно, это мама. А кто же ещё? И часы тикали. Да, странно, что сперва я услышала отдалённое дыхание и только потом тиканье часов, которые были совсем рядом.

Я присела на кровати. В туалет не хотелось – видно всё ушло с потом, но очень хотелось пить. Я пошла на кухню, медленно ступая в темноте. Свет почему-то сейчас казался мне лишним. Половицы скрипели. Дыхание матери стало слышаться отчётливее. И стук сердца, моего сердца. Что же мне снилось? Я никак не могла вспомнить. Что-то ужасное?

Я налила себе холодного чая и с чашкой в руке стала у окна. Узоры на стекле почти все растаяли, тонкий ледок прикрывал лишь самый низ створки прогнувшейся параболой. От батареи разило сухим зноем. Мне почему-то стало весело. Я залезла на подоконник, чтобы лучше было видно, и увидела во дворе ёлку. Почему-то раньше я её не замечала. Ёлка было небольшая, довольно тощая и аляповато украшенная. Но вот ведь кто-то потрудился установить её для общего созерцания, даже огни на ней горели. Мне вдруг захотелось плакать. Но я боялась разбудить маму. Я слезла с подоконника, оступившись и чуть не упав. Я немного нашумела. Дыхание матери прервалось, я затаила дыхание следом. Но скоро она задышала так же равно, наверное просто перевернулась на другой бок.

Вдруг кто-то положил мне руку на плечо сзади, лёгкую руку. Я не испугалась, потому что поняла, что это моя сестра. Кто же ещё? Я обернулась. Она стояла передо мной босая

в длинной, почти до пола, ночной сорочке с оборками. Тоненькая, на полголовы ниже меня.

– Я боюсь, – сказала она.

– Чего ты боишься? – спросила я.

– Не знаю. Мне страшно.

– Ты не можешь бояться, – сказала я.

– Почему?

– Потому что ты не существуешь.

В темноте я разглядела удивление в глазах сестры.

– Ты не существуешь, – повторила я и толкнула её ладонью в плечо.

Они пошатнулась и отступила на шаг.

– Зачем ты так? – спросила она.

– Ты – мой сон, – сказала я.

– Но вот же я, ты можешь меня пощупать, – она опять приблизилась и взяла меня пальцами за запястье.

– Ну и что?

– Как ну и что? Значит я существую.

– Нет. Я тебя придумала.

Глаза сестры сделались печальными. Какое-то время мы стояли молча.

– Ты тоже боишься? – спросила она.

– Да, – кивнула я.

– Чего? – спросила она.

– Боюсь, что мама умрёт, – ответила я.

– Но она же не болеет, правда?

– Я задумалась. Мама дышала как-то хрипловато.

Сестрёнка положила мою руку себе на плечо.

– Тебе со мной хорошо? – спросила она.

– Нет, – покачала я головой.

– Почему?

– Я тебя тоже боюсь.

– Ты хочешь, чтобы я сгинула?

– Да.

– Хорошо, – она собралась повернуться и уйти, в её позе было что-то обиженное.

– А я думала, что призраки не обижаются, – сказала я.

Она подняла на меня глаза:

– Я – призрак?

Я кивнула.

– Тогда я пошла.

– Иди.

Она выпустила мою руку и двинулась в коридор. Шла она тихо-тихо, половицы под ней не скрипели – точно призрак. Куда она пошла? В мою комнату. Там же я сплю... Я потёрла глаза руками. Нет, что-то не ладно. Опять оглянулась на ёлку. Всё было, как прежде. И мать дышала. Я пошла в ванную умываться, но вода вместо холодной была противно тёплой. Умылась с мылом. Вернулась в комнату. Никто моё место не занял. Никакой сестры не было. Я обессилено повалилась на кровать. Нет, всё-таки надо встать и открыть форточку. Надо.

Я лежу в гробу. Вернее, это не я лежу в гробу, а я вижу себя в гробу. Очень отчётливо. Гроб стоит посреди комнаты на сдвинутых столах. На улице за окном порхает снег – редкие крупные хлопья. День, но кажется, уже вечереет, слегка. Не знаю, жарко или холодно, как-то не чувствуется. Кажется, чем-то пахнет, но чем – не пойму.

Недалеко от гроба на диване сидят двое, мать и дочь. Они мне знакомы. Да, я знаю их. Это моя мать и моя сестра. На что они смотрят, на меня? Раньше здесь был телевизор. Интересно ли вот так сидеть, уставившись на покойника? О чём они говорят? Я прислушиваюсь. Сперва – всё как сквозь вату. Потом начинает доходить, но глухо, как будто изнутри. Надо научиться слышать этот гул.

Мать спрашивает, начались ли уже у сестры каникулы. Та кивает головой.

– Завтра похороны, – говорит мать.

Разговор довольно бессмысленный и необязательный. Им просто страшно от тишины, которая сама собой создаётся в комнате от присутствия мёртвого тела. А я-то где? Я где-то в углу, возле кронштейна, на который крепится карниз с занавесками. Что' я там делаю? Впрочем, я не испытываю особого любопытства. И жалости. Вдруг захотелось слететь вниз и погладить маму с сестрой по головкам. Слетела и как-то это у меня получилось, но они не почувствовали.

– Ангел пролетел, – сказала сестра.

Мать испуганно обвела комнату глазами. Я заметила, как она постарела и осунулась. Из-за меня?

– Ты веришь в Бога, мама? – спросила сестра.

Мама почему-то ничего не отвечала.

Я ещё раз заглянула в своё лицо. Ничего интересного. Серое, чёткие контуры, какие-то неживые волосы. Именно – неживые. Вокруг лица шёлковые оборки внутренней подкладки гроба. Чем-то всё это напоминает куклу. Вот так девочки запелёнывают своих любимиц, когда играют в дочки-матери. Сестре наверное легче воображать, что я кукла, т.е. не я, а вот *это*, то, что лежит в гробу.

Мне становится как-то тесно. Что' я в конце концов тут делаю? Припоминаю, что духам положено находиться возле своего тела только в самые первые минуты, а тут – уже завтра похороны, засиделась. Ещё что-то тревожит меня. Что-то я не успела. Может, потому и вернулась. Ну нет, не могу вспомнить. А может это? Слетаю и целую сестру и маму в губы. Они никак не реагируют; но сестрёнка потом всё-таки икнула. Может быть, если бы я была ещё жива, мне бы стало смешно.

Какого я размера? Наверное не больше теннисного мяча или апельсина. Тонкая граница, отделяющая меня от воздуха слегка потрескивает и светится. Я как бы издаю слабый звон. Пытаюсь определить свой цвет. Какая-то багрово-серебристая, точнее не сказать. Вдруг понимаю, что мне давно уже пора в туннель. Это банально, разумеется, банально –

как и всякая смерть. Но это не совсем похоже на пещеру или на метро. Можно вылететь и на улицу, стекло – не преграда. Там закат, меня туда всё больше тянет. Всё равно, через что лететь к далёкому свету. Труба проложена через что угодно, и стены её не обусловлены каким-либо веществом или излучением, просто они есть как нечто само собой разумеющееся.

Я уже лечу, но могу ещё видеть то, что позади. Лица моих родных не слишком скоро исчезают из виду. Чуть-чуть печально. Да, наверное. Но и как-то приятно, даже весело расставаться со всем этим, со своим телом, с домом. Навсегда. Теперь почему-то это слово становится мне более понятным. Что' со мной произошло? Мне сейчас не хочется об этом думать. Это со всяким случается. Если у меня и была какая-то воля, она мне сейчас совершенно не нужна. Я отодвигаюсь всё дальше и дальше, словно в перспективу позади меня уходят всё новые и новые оконные рамы. Но в этой множественной рамке всё ещё различимы мать и сестра, как на семейном фото. Я покидаю вас. Простите. Но ни в голосе моём, ни в сердце нет сожаления. У меня уже нет ни голоса, ни сердца. Разве долго испытывает сожаление листок, который уносит ветер? Я уверена, что лечу в правильном направлении. Свет горит впереди. Там будет хорошо.

Крюк

"В ясный полдень на исходе лета

Шёл старик..."

М.В. Исаковский

Мы спустились с моста и оказались в городе. Был тёплый летний день. Нас было четверо, кроме меня – мой друг и моя знакомая с сыном. В городе был какой-то праздник. Я никак не мог сообразить какой.

Мы решили пойти не по центральной улице, а направо, под горку. Неподалёку от перекрёстка, слева от дороги, сидели бабы в чистых праздничных одеждах и торговали разной мелочью. На фоне вымирающих русских старух, как везде теперь, преобладали переселенки с Кавказа и из прочих, когда-то входивших в империю областей.

Запахло семечками. Их продавала широченная тётка с усами, не то азербайджанка, не то грузинка. Подруга моя захотела купить, но я отговорил её. Семечки были только уже очищенные, и оторопь брала при мысли, что торговка станет насыпать их в пакет своими сальными, не то смуглыми, не то очень грязными руками. Да и кто и каким способом их чистил?

Мы прошли мимо, и я испытал облегчение. Праздник, а с ним и возможные соблазны, остались позади. Улица, в начале неровно мощёная булыжниками и кирпичами, приобрела совсем уж сельский вид – никакого намёка на асфальт. Мы шли всё вниз да вниз. Друг мой устал и начал приотста-

вать. Я же держал свою даму за талию, но так как моя сторона дороги была заметно ниже, а дама отличалась высоким ростом, – получалось, что за бедро. Справа от неё шёл мальчик, симпатичный и белобрысый, лет пяти. Он пока, выгодно отличаясь от взрослого друга, на капризничал.

Мы решили пойти искупаться в реке, и идти было уже недалеко. Под ногами едва угадывались песчанистые колеи, утопающие в густом птичьем горце. По обочинам высились разлапистые кусты жёлтой акации. Строений не было заметно, какие-то развалины. Почти уже внизу, слева, лежала стопка почерневших от времени и наверно почти сгнивших досок. Друг присел на них отдохнуть, он не хотел идти дальше. Не хотел купаться. Я начал уговаривать его – не лезть же обратно в гору... Мол, он может просто посидеть на берегу – не обязательно же лезть в воду – позагорает и, кто знает, может там придёт и аппетит. День ведь что надо.

Хотя в низине было прохладнее. Деревья и кусты давали широкую тень, откуда-то дул прерывистый тревожный ветерок, который охлаждал лодыжки. Но друг должен был вспотеть – на нём был тёмный костюм, а он всё никак не хотел снимать пиджак, ссылаясь на то, что боится потерять форму. Это было смешно, но у всякого свои причуды.

Я посмотрел на подругу. Она пока не мёрзла и полна была решимости до завершения наше мероприятие, её пацан тоже рвался в бой. Что меня связывало с этой женщиной? Очень милая, можно даже сказать, красивая блондинка, ребёнок не

мой. Мне от чего-то не хотелось думать и вспоминать, только лёгкая грусть вместе с ветерком ложилась на пот и налипшую пыль дорог. Путь должен быть пройден до конца.

Наконец я поднял своего друга, чуть ли не насильно за руку стащил его с плесневелых досок, к которым он, казалось, прирос задом. Он отчего-то потерял задор. Куда идём? Зачем? Я успокоил его, что осталось немного. Всего-то метров шестьдесят, ну, может, триста. Он засмеялся такой неточности. Я возразил, что и то и другое – мало. Он согласился. Я привёл ему в пример неунывающего малого ребёнка. Он совсем перестал сопротивляться.

Дорога упиралась в некое дощатое строение, во что-то вроде барака, стоящее ей поперёк. Никаких отводных тропинок ни влево, ни вправо не было, и за бурьянистыми буераками по сторонам маячила полная неизвестность. Попахивало болотом. В небе гуляли стрижи.

Мы нашли дверь в некрашеной деревянной стене, она была не сразу заметна. Никаких табличек, замков, ни даже ручки; из-под верхнего левого угла проёма торчал оборванный чёрный провод. Наверное, когда-то здесь крепилась лампочка. Вход был в правой чести строения. Я попытался нащупать щель руками. Дверь открывалась наружу и подалась со скрипом. Мы вошли, и она захлопнулась за нами так, как если бы была на пружине. Или это сквозняк? В тесноватой прихожей сделалось так темно, что ничего нельзя было толком разглядеть. Запахло пылью и паутиной, свет всё же про-

бывался сюда с улицы через какие-то невидимые отверстия.

Мы нашли ещё одну дверь, ведущую налево. За ней был коридор метров в десять, ничем не примечательный, такой же, как и всё тут внутри, обитый нетёсаными досками и пахнувший сыроватой древесиной. Широкие неровные половицы рычали даже под детскими ногами. Наконец, справа мы обнаружили выход. Таким образом, наша дорога внутри этого длинного дома была чем-то подобна латинской букве Z, только в зеркальном отражении и если до вертикали диагональ.

В глаза нам ударил яркий свет, но не такой, как свет солнца, бивший там в спину, с той стороны. Новый свет был белым и рассеянным, скорее сероватым, в нём угадывался свет большого города. Время года как бы сразу сменилось. Здесь стояла ранняя матовая осень, вместо середины яркого июля, откуда мы вышли. Листья ещё не начали желтеть, но холодок тоскливыми лапками пробежал по коже. А подруга моя и её сынок были одеты совсем по-летнему. На ней – открытое платье с бретельками, можно сказать – купальник с юбкой. Парнишка в шортиках. Она – вся такая загорелая, солнечная. Да и я – в майке. Вот друг мой мог ликовать, что так и не потерял "форму".

Мы закрыли глаза, открыли их вновь и двинулись вперёд. Мы должны были настоять в сердце своём, что всё ещё лето – просто иначе не могло быть. Тут и друг мой был солидарен с нами – купаться так купаться.

Но окружающий пейзаж, если это можно было назвать пейзажем, удивлял нас ещё больше. Кругом – серые и белые стены многоэтажных блочных домов. Асфальт, многоголовый гул машин, озабоченные пешеходы в плащах и куртках. Почему-то купаться совсем расхотелось.

На река должна была быть тут, где-то чуть левее. Сразу идти налево не было возможности, дорогу преграждали здания и заборы. Мы пошли прямо между гаражей, под арку, на улицу. И я уже знал, как называется эта улица. И, кажется, все уже догадались, но никто никому не хотел ничего говорить – мы шли и шли. Подруга вышагивала широкими шагами в своих босоножках на платформе, парнишка едва успевал за ней, и я пытался поймать её за талию. Жалко было терять из-под ладони такой тёплый и упругий предмет. Друг шёл где-то сбоку рядом, пыхтел мне в плечо, но больше не отставал.

Мы повернули по улице налево. Теперь идти нужно было действительно быстро, хотя бы для того, чтобы не замёрзнуть. Уже все мы убедились, что нет там никакой реки, а вот парк там есть, очень известный; но слева всё-таки должна была быть река. Бог знает, на что мы надеялись, всё прибавляя и прибавляя шаг. Бедный мальчишка уже даже не семенил, а волочился за неистовой мамой. Но он молчал, стиснув зубы и губы. Никто из нас не хотел вернуться. Даже мой друг.

Может быть, это всем нам представлялось примерно так: вот мы пойдём налево по кругу, в обход парка, и где-то там

будет река. И, если даже мы её не увидим, то есть её не будет, то мы всё равно имеем шанс остановиться вовремя, в тот самый момент, когда река должна быть, и, замерев, закроем глаза и будем ждать, когда река появится. И тогда потеплеет, и зажурчит у ног вода, и зашумят деревья. Опять по-летнему.

Всё-таки иногда события нас настолько обескураживают, что мы не находим в себе решимости как бы то ни было обдумывать их. Приходит понимание, а вернее – чувство, что любое размышление, любой анализ бесполезны. От этого волосы на голове и на всём теле встают дыбом, но нужно с этим жить. Нужно двигаться, обязательно двигаться. Иначе – не только замёрзнешь, но и потеряешь дорогу.

Я шёл по улице. ничто не предвещало никаких изменений. Стояла снежная зима. Середина декабря. И город был завален пухлым снегом. Снег продолжал идти, тяжёлыми сырыми хлопьями. При этом ветер то вовсе стихал, то становился ненадолго порывистым и норовил дунуть прямо в лицо. Я стирал тающий снег с бровей от этого перчатки сделались мокрыми. Вечерело, и уже стало почти темно, когда я подходил к перекрёстку.

Всё-таки во мне была какая-то ничем не обусловленная подавленность. Вернее, для этой подавленности могла быть тысяча причин; она копилась во мне всю предыдущую жизнь, и вот удушливым комком стала вырываться наружу.

Мне нужно было идти прямо. Наверное, я хотел вернуться домой, время и место для прогулки было не самое подходящее. Но почему-то я шёл очень медленно, едва передвигая ноги, понутив голову. Народа на улице было немного и машин, из-за снегопада, тоже.

Не дойдя до перекрёстка, я начал чувствовать, что меня неудержимо влечёт влево. Я вовсе не понимал причины своих действий. Опять-таки из-за тысячи разнообразных обстоятельств я мог сейчас захотеть повернуть налево. Окрестности эти были мне сызмальства знакомы и связаны с разными событиями детства и юности. Прежде чем я успел что-либо сообразить, ноги, выписывая прихотливую кривую, повели меня через наземный переход на ту сторону улицы. От моей медлительности не осталось и следа, я стал всё заметнее неумолимо ускорять шаг.

Словно какая-то чужая воля овладела моим отяжелённым одеждами телом. Будто я попал в магнитное поле, которое способно перемещать и немагнитные предметы. Казалось, перестань я перебирать ногами, оно понесёт меня насильно, волоча по оледенелому асфальту, как ветер несёт газетный лист, нисколько не беспокоясь о его целостности, подталкивая, перекатывая, обдирая о неровности, подкидывая в воздух и с размаху роняя.

Мне стало страшно и я разозлился. Нет, я вовсе не желал так уж безропотно направляться туда, куда тащила меня эта неведомая сила. Я пробовал сопротивляться, но тщет-

но. Все мои усилия повернуть вспять натыкались как бы на невидимую стену, я только ещё более наращивал скорость в заданном кем-то для чего-то направлении. Я уже бежал чуть ли не бегом по левому тротуару перпендикулярной улицы, той самой, на которую меня развернуло с моего прямого пути. Справа мелькнуло метро, я несколько раз прокатился по слегка присыпанному свежим снежком ледяным дорожкам. И в самом деле – мне даже не приходилось отталкиваться, чтобы проехать по ним. Я слегка прикрыл глаза и представил себя водным лыжником, которого увлекает вдаль бесшумная моторная лодка.

Одна лишь догадка сверкнула у меня в мозгу: на этой улице когда-то жила девушка, в которую я был влюблён. Но всё давно прошло. Неужели...

Да, это был её дом – относительно новое кирпичное строение, из тех, что в последние советские времена считались престижными. Однако раньше мне казалось, что этот большой дом сложен из кирпича жёлтого цвета, теперь же он был красным. Может быть, виноват закат? Но я уже нигде на небе не мог отыскать солнца, да и могло ли оно быть видимым при такой облачности? Я повернул ещё раз налево и ещё раз налево, и оказался в её дворе.

Я не знал квартиру, в которой она жила, не помнил подъезда. Всё сейчас было на совсем так, как тогда, вернее, совсем иначе. Безумная тоска, охватившая меня на перекрёстке, теперь стремительно достигала своего апогея. Я упирался

из последних сил, но ничто не могло остановить моего движения.

В центре двора была помойка, отгороженная п-образной кирпичной стеной, из того же кирпича, что и сам дом. Меня несло на неё, как корабль на рифы. Я бы даже хотел смириться, но слишком уж явственным было предощущение крови на разбитом об камень лбу. Горло моё сдавила смертельная истома. Я успел услышать, как шелестят бумажки в открытом баке, и увидел какую-то чёрную фигуру, валяющуюся у самой стены, вероятно, какого-то не нашедшего более удобного места бомжа. Невидимая рука схватила меня за шиворот и толкнула прямо на него, то есть на то, что там лежало, то, что, очень может быть, уже успело стать окоченевшим покойником.

Моя траектория закончилась. Я ткнулся лицом в гниловатые тряпки и так и не успел понять, есть ли под ними что-то живое. Пахло отходами с морозом пополам. Я ухитрился перевернуться на спину и меня вжало в закутанное тряпками тело так, что захрустели кости. В мой открытый в беззвучном крике рот, как серебряные монеты, стали одна за другой падать снежинки. Но от этого сухость во рту не проходила. Глаза стали закрываться, словно на веки давила вся тяжесть верхних этажей нависших надо мной зданий. Фонари убежали куда-то в темноту, красное и чёрное закружилось спиралевидным вихрем над моим лицом. Неясный багровый свет был осязаем, он плющил и обдирали мои щёки, я чувствовал

жар, как будто рядом была открыта плавильная печь.

Я был обречён, я больше не дышал. Я должен был валяться здесь с этим бомжом и ждать смерти, не имея возможности даже позвать на помощь. Во всём этом было справедливость; я подозревал это, но в чём именно она состояла, не знал.

Законы пространства изменились в последние секунды. Углы приблизились, заглянув мне в зрачки словно из чудовищного гиперболического зеркала. Наконец щели моих глаз затянулись – шелест бумаги и снега, да бомж пошевелился рядом со мной. Дальше уже не происходило ничего.

Я жил в маленьком подмосковном городке, единственной достопримечательностью которого был монастырь, куда часто приезжали экскурсии.

С каких-то пор меня мучила бедность, и я не всегда мог наесться досыта. В тот день у меня в руках оказалось достаточно денег, чтобы купить колбасы. Колбасу я не ел уже несколько лет и уже казалось, вовсе забыл её вкус, но, при общей безнадёжности моего существования, мысль о колбасе тем утром появилась и забрезжила в моём сознании, как неясная добрая надежда. Почему бы и нет? Могу же я позволить себе, в конце концов, небольшой кусок? Я одевался как на праздник, хотя то, что я мог надеть на себя, конечно же выглядело очень убого. Тем не менее, у меня были нервные и не особенно запятнанные брюки, которые я тщательно от-

утожил, чистая рубашка. У летних ботинок, правда, подошвы были с трещинами, но кто видит подошвы? Да и погода была сухая.

Последнее время я не очень хорошо себя чувствовал, сказывался возраст и плохие условия жизни. Я стал слабеть и усыхать, штаны уже были мне явно велики – пришлось проделать в ремне дополнительную дырку. Но сердце моё учащённо билось в предвкушении радости. Хватит мне сдерживать себя. Сегодня я её куплю, эту колбасу. Сколько раз я проходил мимо продуктовых ларьков, даже и не помышляя о подобной роскоши. Мне вполне хватало какой-нибудь крупы, самых простых макарон, хлеба. Я и мясо иногда ел – покупал какие-нибудь дешёвые косточки и варил себе бульоны. Но колбаса...

Вот уж говорят: седина – в голову, бес – в ребро. По лицу моему расплывалась глуповатая улыбка. Идти было недалеко – вниз по улице, вокруг монастыря и налево, на гору – там, за монастырём, было что-то вроде небольшого рынка, торговые ряды со всякой снедью и требующимися в хозяйстве мелочами. День был выходной, и из столицы понаехало студентов и школьников, при въезде в монастырские ворота было припарковано сразу несколько больших автобусов. Народ прибывал и со стороны железнодорожной станции, спеша под горку, обгоняя меня и чуть не сбивая с ног. Светило солнце, от этого света и от многолюдия на душе становилось ещё радостнее. Давно я не дышал вот так, полной грудью, –

жил как будто в серой тьме, неизвестно зачем и почему, в поте лица добывая свои жалкие гроши, собирая бутылки, а то и приворовывая по мелочам. Чаще мне хотелось плакать, чем смеяться. Но сегодня как будто всё сразу изменилось – неужели всему виной только колбаса?

Я уже решил точно, что куплю. Мне должно было хватить. Возьму кусочек одесской, я её помню с незапамятных времён. Не хочу просто варёную, хочу всё-таки копчёную, хотя и из дешёвых. Эти дорогие я, кажется, и не пробовал никогда. Я пожевал губами, пытаюсь припомнить вкус колбасы. Похоже, нынче ночью он приснился мне во сне – иначе откуда могла родиться у меня это идея?

Вот слева проплывает, венчающая гору белая стена, похожая на кремлёвскую, только белёная. Из-за неё выглядывают макушками старые деревья. Пахнет известковой пылью и namного дымом, печи, что ли, какие там топят сейчас в монастыре? Меня перегоняют шустрые мальчишки, женщины с колясками, мужики с собаками, у кого-то в сумке побрякивает стеклотара.

Вот уже я забираю влево по шоссе и потихоньку лезу наверх – там за поворотом начнётся ряд ларьков, в которых я наверняка найду всё, что нужно.

Кроме колбасы хочу ещё купить четвертушку чёрного хлеба – хорошо бы бородинского. Тоже – баловство, но красиво жить не запретишь, особенно если вдруг тебя посетило такое счастливое утро.

Я почувствовал сзади чьё-то дыхание и обернулся. На меня в упор смотрели несколько молодых людей. Скорее всего, это были какие-нибудь пэтэушники из московской экскурсии. Я остановился, и они остановились. Я не знал, что сказать, и они молчали. Один из них вышел вперёд и, как бы намереваясь произнести официальную речь, гордо приподнял подбородок. Я не дождался пока он что-нибудь скажет и пошёл своей дорогой, но он догнал меня и похлопал по плечу.

– Что вы хотите? – спросил я.

Он не ответил и всё так же смотрел на меня изучающее тяжёлым взглядом. Товарищи его приотстали на несколько метров и стояли, переминаясь с ноги на ногу, ниже относительно нас. Кажется, их было человек пять. Я начал волноваться.

– Торопишься? – наконец спросил меня молодой человек.

– Да нет, – сказал я, ухмыльнувшись. Но улыбка наверно получилась жалкой и грустной.

Он улыбнулся в ответ:

– Ну-ну.

Я продолжил подъём и не слышал шагов сзади. Но что-то было не так. Убегать было бесполезно, эти сильные юноши нашли бы меня в два счёта. Чего они от меня хотели? Что с меня взять? Разве издали не видно, в каком состоянии мои карманы? Я судорожно сжимал денежную бумажку в кулаке – единственное моё достояние. Кожа на ладони вспотела холодным потом.

– Эй! – окрикнул меня снизу всё тот же парень. – Погоди!

Он буквально в несколько прыжков оказался опять рядом со мной. Даже не запыхался – не иначе спортсмен. Я обратил внимание, что ни он, никто из его компании не курит, хотя вроде бы обстановка располагала. Они все чего-то ждали и скучали, и смотрели по сторонам, но то и дело возвращали свои взгляды на мою спину, как бы вскользь, но от этого у меня холодок побежал по холке.

Я опять постарался улыбнуться парню. Это был довольно красивый блондин, среднего роста, атлетического телосложения, одетый если не роскошно, то явно во всё новое и по моде. Он наверное не начал ещё регулярно бриться, на задирстом подбородке кудрявились светлые волоски. На щеках, около глаз, розовели, впрочем, не слишком портившие его внешность, прыщи.

Он никуда не торопился. Посмотрел себе под ноги, прочертил носком ботинка полукруг по утрамбованной земле.

– Ты что-то купить хочешь, да? – спросил он.

Меня резануло, что он сразу обратился ко мне на ты. Но кто я такой, чтобы мне выкать? Не заслужил – это уж точно – задрипаный маленький мужичёнок. Таким уж и останусь до конца дней своих.

– Хочу колбасы купить, – признался я, как будто собирался совершить кражу.

– Угу, какой?

– Какой колбасы то есть? – закашлявшись, переспросил я.

Он кивнул.

– Одесской, – я даже раскраснелся от смущения. – И ещё хлеба. Чуть-чуть.

– Может тебе помочь? С деньгами.

– А? Нет, не надо. У меня есть, – я поднял правый кулак, в котором прятал деньги.

– А-а... Ну-ну, – он опять замолчал.

Я подождал и ещё раз попробовал уйти. До ларьков оставалось уже рукой подать, но от подъёма на гору и неуюта от этих преследующих меня зачем-то мальцов я уже успел устать, даже сердце закололо.

Я дошёл до первого ларька и повернул налево. Почему-то большая часть этих лавок сегодня была закрыта. «Санитарный день, что ли?» – подумал я. Но впереди видны были и открытые, обрамлённые товарами окошки. Ветерок донёс до моих ноздрей запах съестного. Я ещё не ел ничего с самого утра – нарочно копил аппетит – вот оно, точно что-то копчёное! Слюна сама собой стала выделяться у меня во тру, и я совсем позабыл о только что пристававших ко мне мальчишках.

– Ну что? – спросил возникший словно из ничего давешний блондин.

Я вздрогнул.

– Да вот, – я уже наметил себе ларёк, где произведу покупку и пошёл к нему. На этот раз он пошёл со мной рядом, не отставая. Краем глаза я разглядел чуть поодаль и нескольких

его товарищей. Значит всё-таки они поднялись сюда. Может, тоже что-нибудь купить хотят? Но я уже знал, что напрасно утешаю себя. Справа – стена ларьков, слева – стена монастыря, впереди – тупик. На лысой площади – почти никого народа, кроме меня с моей допотопной авоськой и этих непонятных молодых людей.

Поскольку они больше не о чём меня не спрашивали, я решил не обращать на них внимания и довести своё дело до конца. Но когда я объяснял продавцу, что хочу купить, у меня дрожал голос. Я всё время чувствовал на себе их взгляды. Так наверно чувствовал бы себя кролик, если бы на него смотрели сразу несколько удавов.

Продавец, какой-то кавказец, цокал языком, устраивая мою колбасу на весах. Я изо всех глаз следил за ним – как бы не обсчитал. Всё равно наверняка обсчитает – они по-другому не могут! И опять я отвлёкся от преследователей. Палочка колбасы была уже у меня в руке, я мог поднести её к носу и понюхать. Нет, всё-таки сразу не стану есть – отнесу домой и – с чаем.

– И ещё пожалуйста хлеба, – сказал я продавцу. – У вас есть бородинский?

Он достал с полки буханку.

– Нет, мне четвертинку.

Он стал отрезать четвертинку, опять-таки цокая языком, мотая головой и бормоча что-то пренебрежительное.

Мне было стыдно, что я заставляю его столько трудиться,

при этом оставляя такую мизерную плату. Я тщательно сосчитал свою сдачу, при этом наши взгляды, мой и продавца, встретились, и у меня ёкнул кадык – ещё один удав! Он отпустил мою ладонь, в которую насыпал мелочь. Руки у него были ещё более влажные, чем у меня, а глаза слезились. Я понял, что мне больше нечего от него ждать – обсчитал так обсчитал.

– Спасибо, – сказал я, засовывая монеты в карман и попутно вспоминая нет ли там дырки.

– Ну? – спросил блондин, который всё это время ошивался тут же, у прилавка. – Всё нормально?

– Да, спасибо, – я ещё раз постарался выжать из себя улыбку.

– Угу. А он – ничего? – при этом он кивнул в сторону продавца.

«Может быть...» – подумалось мне. Парень зачем-то засунул голову в окошко ларька, вынул её и посмотрел на меня.

– Этот тебя не обсчитывает? – ткнул он пальцем в кавказца. Тот сделал вид, что ничего не замечает и углубился в изучение товаров.

– Нет-нет, всё нормально, – поспешил ответить я и хотел было пойти в обратном направлении, но увидел впереди преградившую мне дорогу живую цепь из товарищей верхово-дядящего блондина.

– А то смотри, – покровительственно сказал блондин.

Я остановился, почти уткнувшись в грудь одному из мо-

лодых людей. Он посмотрел на меня сверху вниз. Я подумал, что сейчас плюнет, но он не плюнул.

– А ты зачем вообще ходил-то? – спросил блондин.

"Ну вот, начинается", – подумал я:

– Я ж сказал вам. Купил колбасы и хлеба.

– Ну?

– А теперь пойду домой.

– Ну?

Мне почему-то очень захотелось ответить «баранки гну», я бы так и ответил, если бы не опасался получить по морде.

Я ждал. Они ждали и смотрели на меня. Даже не на меня, а как будто мимо. Как будто меня и не было. Словно я был уж такое незначительное событие на этой земле, что нечего и обращать на меня внимания. И всё-таки я есть, и они пришли за мной, и это я знал, и от этого у меня уже тряслись поджилки.

Я прекрасно понимал, что попробуй я хоть самым нежным образом оттолкнуть одного из них плечом, освобождая путь, как они перейдут к каким-то более активным действиям. Будут бить?

– Ребята, – наконец спросил я прямо, – чего вы от меня хотите?

Тот высокий, которого я чуть не клюнул в грудь, усмехнулся.

– Можно я пойду домой? – осведомился я, и мне самому стало неудобно, как жалобно это прозвучало.

– Я сделал пару шагов, но те, что стояли передо мной, вдруг все разом распахнули мне навстречу свои объятия.

Я оглянулся на блондина.

– Иди-иди, – подтвердил он.

Его друзья взяли за руки и смотрели на меня, как может быть, смотрят загонщики на дикого зверя.

– Вы что меня хотите убить? – спросил я и так испугался, что последнее слово вышло почти беззвучным.

– Ага, точно, – сказал блондин и подышал меня в шею.

– За что? – пролепетал я неслушающим языком.

– Да так, – сказал блондин. А чего тебе жить-то? – он подождал ответа.

Я молча потел.

– Нет, правда, – в его тоне появилась даже какая-то доброжелательность. – Неужели тебе всё это так уж надо? – он окинул рукой кругом.

Двое из его товарищей едва сдержались, чтобы не заржать, – у них получилось что-то вроде фырканья.

– Или ты думаешь, что тебе кто-то здесь поможет? – спросил блондин и глаза его стали стеклянными. – Может он? – он кивнул на давешнего продавца, тот поспешно отвернулся.

– Эй, ты чего отворачиваешься? – крикнул ему блондин.

Тот послушно поднял загнанные глаза.

– Вот, молодец! – одобрил блондин.

– А ты что? – он опять обратился ко мне.

– Я – ничего, я хотел пойти домой...

– Ну?

– Но вы меня не пускаете.

– Кто-кто? Это вы, что ли? – подлетел он немедленно к своим клеветам. – А ну освободите дорогу человеку! Пожа-луйста, – он в поклоне указал мне на брешь, которую только что одним мановением образовал в живой цепи.

Но стоило мне шагнуть вперёд, как цепь опять сомкнулась. Одни из юношей дунул мне в лицо и сделал вид, что сдувает пылинки у меня с плеча.

Милиции здесь нет, – скучно сказал блондин.

Я и не надеялся на милицию, никогда не надеялся. В нашем городе – милиция была редкость, и она себя берегла. Вряд ли бы какой-нибудь милиционер, даже оказись он поблизости, решился бы спорить вот с такой бандой ублюдков.

Я окончательно убедился, что уйти по добру по здорову мне не дадут. Но чего они хотят? Мою колбасу? Мою сдачу? Мою жизнь?

– Может вы есть хотите? – спросил я.

Молодые господа уже откровенно заржали как кони.

Лучше я ничего больше не буду говорить. Замру – как это делают некоторые насекомые, когда им грозит опасность – может им надоест созерцать мою неподвижность и они отстанут, пойдут поискать какой-нибудь более интересный объект. Как назло, никого вокруг кроме нас не было. Вымерли что ли все? Но за монастырской стеной шумели люди. Может попробовать кричать? Но вот – кавказец видит – а что ему до

меня за дело? – позвал бы своих – они ведь все один за всех, все за одного – не то что мы. Но видать, его родственники далеко, а товар бросить нельзя. Не до жиру – быть бы живу. У него хотя бы там нож – хлеб же он чем-то мне отрезал.

Я почувствовал себя совершенно беззащитным в своей летней рубашечке на голое тело. Если даже я ударю одного из них, вряд ли я смогу произвести какой-нибудь эффект этим ударом, только ещё больше разозлю. Да они и не злятся, они... Я никак не мог подобрать подходящего слова. Издеваются? Ну да, и тоже не совсем то. Что-то такое в них было безысходное – как стена без дверей и окон – монастырская стена. Они и сами не особо хотели и не радовались тому, что шутя могут сделать со мной всё что угодно. Просто теперь это должно было произойти, и всё. Наверное, для них это было обыкновенно – как муху прихлопнуть. Но чем я им помешал? Может, они воображают, что освобождают нацию от балласта? Или ещё что-нибудь в этом роде?

Один из парней улыбнулся мне так, что у меня всё тело пошло мурашками. Это тоже была вымученная улыбка, очень усталая, я даже изумился, как такая улыбка может принадлежать такому молодому человеку. Он же – не наркоман, не алкоголик. Точно. На меня смотрел мертвец, мне показалось, что мертвец. Но румяный...

Да не беги, – успокоил меня блондин. – Торопиться некуда не надо. Колбасу-то покажи. Что у тебя там за колбаса?

Кто-то из его товарищей заржал. Но в этом всё-таки было

что-то человеческое.

Меня слегка пнули по бедру. Парень сравнительно небольшого роста старательно отпечатал свою пыльную рифлёную подошву на моей тёмной штанине. Я стал отряхиваться, но он ударил меня ногой по руке. От довольно сильной боли на глазах у меня выступили слёзы.

– Угу, – покивал блондин, сочувственно выпятив нижнюю губу.

– Вы что меня, правда, хотите убить? – спросил я.

– Ты уже спрашивал, – сказал блондин.

– Ну тогда уж убивайте сразу.

– Нет, зачем, – сказал блондин.

И моя решимость кончилась. Фраза, которую я хотел произнести на повышенных тонах, застряла в горле. Тело стало ватным от страха и безнадёжности. Вот сейчас у меня закроются глаза и отнимутся ноги.

Я повернулся к блондину, который стоял справа особнячком, словно ища поддержки. Он слегка похлопал меня ладонью по щекам:

– Ну-ну – не отрубаться.

Я открыл глаза. Но он смотрел на меня так, что я совсем лишился сил и стал невольно приседать на корточки. Тут же сзади на меня посыпался град ударов, несильных, в основном, ногами.

– Вставай, вставай, – потянул меня вверх под мышки блондин.

Я потёр ушибленную поясницу и утёр кулаком нос, через который стали выделяться с трудом сдерживаемые слёзы.

– Ведь нам некуда торопиться, правда? – сказал блондин.

Я кивнул.

– Вот и молодец, – сказал блондин. – Ну, покажешь колбасу?

Я полез в авоську и достал своё сокровище. Я держал палочку колбасы в неверной правой руке, воздымая её высоко над головой – как милиционер дубинку или как волшебник свой волшебный жезл.

– Вот молодец! – радовался блондин.

Все его товарищи захмыкали одобрительно.

– А теперь ешь. Ну, ешь, ешь.

Я понял, что от меня требуется и начал через силу засовывать в себя, ещё несколько минут назад бывший таким вождленным, продукт. Во рту совершенно не было слюны – это у меня случается иногда, когда прихватывает сердце. Хорошо ещё, колбаса была жирной и жир понемногу таял. Хлеб бы совершенно невозможно было сейчас проглотить.

– Вкусно? – спросил блондин, когда добрая половина колбасы исчезла в моём животе.

Я жевал изо всех сил всеми оставшимися зубами. Я очень боялся подавиться или сблегнуть, мне мешал забитый нос – если чихну, всё разлетится вокруг веером.

– Вот видишь, – мы тебе даже дали возможность насытиться напоследок. Ну хватит! – он вырвал у меня из рук

остаток колбасы и зашвырнул в пыль.

Я поспешил проглотить хотя бы то, что осталось во рту.

– Выплюнь, – сказал он. – Хватит!

Высокий здоровяк подхватил меня сзади и надавил сложенными замком руками на желудок. Пища фонтаном выплеснулась из моего горла.

– Фу! Какой ты мерзкий! – морщась, сказал блондин.

Здоровяк отпустил меня, и я осел на землю, как сдутый шарик.

– Ну ты, вставай! – потребовал блондин.

Я попробовал привстать, но вместо этого вовсе завалился как пьяный на спину.

Меня опять стали бить ногами, лениво, с оттяжкой. Кто-то попал по лицу, по виску. Я почти ничего не чувствовал, я был ошеломлён и приготовился умирать. Я ещё машинально сжимал в руке авоську с четвертинкой хлеба. Мне наступили на руку и заставили её разжать – слабо хрустнули пальцы.

Я всё же вскочил, но не сумел подняться на ноги и упал на колени. Я ползал по площади кругами то на коленках, то на четвереньках, а они не спеша били меня. Блондин всё время что-то приговаривал. Вроде того: «Зачем тебе жить?», «А какой в этом смысл?» Я ныл и скулил как собака, в глазах у меня постепенно темнело. Долго я умирал. Я не думал, что это будет так долго. Я успел увидеть стену впереди – тупик, здесь много мусора, сюда ходят по малой нужде все продавцы с рынка, а то и по большой. Но мне уже было не до того,

чтобы выбрать – я прятал лицо в засохшем дерьме, только бы укрыться от ударов. Становилось всё больнее, но потом боль как будто перестала быть моей. Я только слышал голоса и шлепки.

– Так говоришь: за что? (Шлёп.)

– Говоришь: не надо, ребята? (Шлёп! Шлёп!)

– Но мы же не так уж сильно, правда? (Тихое: шлёп!)

– Мы ведь сдерживаем себя... (Шлёп.) Да, дорогой, да, надо держать себя в руках... (Шлёп... Шлёп-шлёп.)

Кровь понемногу стала заливать мне глаза, ресницы слипались. В отбитом ухе стоял какой-то монотонный шум.

– Эй! – угощал меня пощёчинами блондин. – Не спать!

Но как только он отпускал меня, я снова валился лицом в нечистоты.

Мой мучитель разогнулся и встал в полный рост:

– Фу! Какой ты грязный! – он гадливо поплевал на свою ладонь и помахал ею в воздухе, не найдя обо что вытереть. После этого он расчётливо ударил меня мыском ботинка по кадыку.

Затем ещё несколько ударов запечатлелось с треском на моей болтающейся голове. А от удара в пах я окончательно потерял сознание.

Лицом в снегу

«Входил ли ты в хранилища снега...»

В детстве я любил лежать лицом в снегу. Не знаю, когда мне первый раз пришло это в голову. Наверно получилось случайно: играли в снежки, возились, и вот я замер ничком. Так я открыл для себя, что уткнувшись в снег, сразу не задохнёшься. Между снежинками остаётся много воздуха.

Хотел ли я показать свою лихость? И это тоже. Помнится, кого-то учил этой простой науке и небезуспешно. Мои товарищи попробовали и им понравилось. Конечно долго так лежать всё же нельзя, можно обморозить лицо. Но мы даже соревновались – и я выигрывал – вставал на ноги позже других.

Лица у всех, кто окунулся в снег, становились весёлые, мокрые и румяные, глаза открывались будто со сна и не сразу привыкали к свету, но в нас была какая-то счастливая опьянённость. В других я видел, точно в зеркале, то, что происходит со мной.

Ещё я любил, закрыв глаза, просто кататься по снегу. У нас был довольно большой двор, с неработающим фонтаном посередине и с четырёхугольными газонами по всем углам. На этих газонах было где поваляться после большого снегопада. Тогда ещё было не так много собак и гораздо меньше машин, раз в двадцать меньше. Так что снег был чистый, почти чистый. А может быть, тогда мне было просто всё равно. Может быть, теперь я не решился бы лечь даже на такой снег...

От долгого лежания могло начать ломить лоб. Нужно было терпеть или надвинуть шапку на брови, тогда первыми замерзали щёки, но их только нужно было сразу растереть, как подымешься.

Странно, что я вспомнил об этой своей детской привычке лишь недавно. До этого на многие года это обстоятельство выпало у меня из памяти. Если что-то возвращается, похоже, был пройден круг. Куда же я вернулся?

А может быть, эти снежные ванны были тоже чем-то вроде упражнения в смерти? Может быть, бессознательно я тогда уже занимался тем, чем занимались и занимаются все стоящие философы?

В снегу можно даже держать глаза открытыми. Если на улице светло, можно кое-что видеть – не так уж там и темно. Если продышать себе небольшую ямку, получается во-все что-то вроде маленькой берлоги. Так точно можно пролежать несколько минут, наверное, возможно дотянуть и до получаса. Это уже напоминает разнообразные издевательства над собой йогов. В Индии, правда, плохо со снегом, но наши естествоиспытатели подобного толка любят сажать себя в лёд или в ледяную воду. Всё это фокусы, но не только.

Когда открываешь глаза после очередного сеанса погружения в снег, видишь жизнь по-новому. За то время, пока ты здесь отсутствовал, что-то могло измениться: кто-то ушёл, кто-то пришёл, вдруг появилось солнце или скрылось. Как будто заново родился – говорят в таких случаях – и как это

просто.

Снег при таком ближайшем его использовании несёт освежение, сосуды под кожей начинают интенсивнее проталкивать через себя пугающуюся холода кровь. А если кататься вслепую по снежному газону, никогда не знаешь заранее в какой его части окажешься. Чем дольше не открываешь в таком случае глаза, тем удивительнее потом несоответствие того места, где себя обнаруживаешь с тем, которое держал в воображении. Порою не меньше минуты не можешь привыкнуть. Строишь очумело на качающийся над собой тусклый фонарь: где это я? И сердцем овладевает странный восторг: надо же, как это я сумел докатиться?!

Конечно, всё это детские игры, тяга к ещё неиспытанным ощущениям. Может быть, то, что потом взрослые возмещают себе привычным употреблением алкоголя и наркотиков. От интимного общения со снегом кружится голова; всегда есть определённый риск, но есть и счастливый конец. Налицо.

С совсем небольшой натяжкой такое времяпрепровождение можно предложить в качестве метафоры всей нашей жизни. Что такое жизнь, к концу концов, как не смена снов и пробуждений? Тем и хорош сон, что он никому не кажется последним. Радостная уверенность, что на следующее утро мы что-нибудь увидим, что явь продолжится, а потом, если устанешь, можно и ещё поспать, – разве не она заставляет нас жить?

Этой весной я опять захотел полежать в снегу. Но было уже поздно, никакого снега не было. Впрочем, если бы я опомнился и на месяц раньше, мне пришлось бы ехать далеко-далеко. От теперешнего московского снега меня бы вырвало. Вряд ли я сумел бы преодолеть брезгливость. Чтобы уткнуться носом в снег, нужно быть уверенным, что он чистый. Хотя бы относительно.

Ну и какова мораль? Дождусь следующей зимы и, если не забуду о своём внезапном желании, найду где-нибудь на земле таки чистое место!

Дожить до зимы... Ну, уж если не судьба – я хотя бы отчасти воскресил в себе то давнишнее ощущение – это покалывание щёк и подбородка, этот снежиночный сон, который налипает на ресницы, этот скудный, но одновременно вкусный, пахнувший пресным таянием воздух, воздух, который приходится втягивать в себя мелкими глотками.

Может быть, грядущее сулит мне надежду на обновление? За чей счёт? Скроют ли новые снега мои грехи? Произойдёт ли чудо? Взгляну ли я свежими глазами на мир, когда наконец поднимусь в полный рост из снежной колыбели?

Счастливый лесоруб

« ... при наступлении таких событий, которые поворачивают нашу судьбу в благоприятную или неблагоприятную сторону, – нас захватывает значительность и важность

момента...»

А.Шопенгауэр

Утром бригадир лесорубов вошёл в кабинет лесничего как-то бочком, что совсем не было похоже на этого крупного, выдавшего виды мужчину.

Начальник неодобрительно приподнял округлые брови:

– Что случилось?

– Короче, – выпалил бригадир, – выручай. Нужно поправиться.

Нельзя было, разумеется, не заметить, что ранний посетитель находился в состоянии тяжёлого похмелья, но, если взвесить предшествовавшие обстоятельства, это было даже вполне закономерно. Но было тут ещё нечто, и это настораживало.

– Только ведь вчера тринадцатую давали.

– То-то и оно.

Начальник всё ещё не никак не мог опустить брови:

– Ну ты даёшь!

– Дай хоть десятку. Ты меня знаешь.

Без долгих разговоров лесничий нащупал в кармане бумажник и протянул бригадиру просимую банкноту.

– Спасибо, – произнёс тот сокрушённо и собрался уходить.

– Что-то ты мне не нравишься, – не удержался шеф от замечания вдогонку.

– Сам я себе не нравлюсь.

– Как это хоть произошло-то?

– Да если б я помнил! Завалился где-то, а дома оказалось всё пусто. Может вынул кто?

– Где завалился-то?

– Да здесь недалеко, на делянке.

– Место помнишь?

– А что толку? Там метровый снег.

– М-да...

– Ладно я пойду, работать надо.

– Смотри только...

– Что?

– Будь осторожнее.

Бригадир кивнул и ушёл. Он конечно понял, но что намекал начальник. В позапрошлом голу один известный товарищ из его бригады подобным же образом «завалился» на одной из просек, да так крепко завалился, что не заметил, как его присыпало снежком. И то бы ничего – проспался бы, замёрз бы и встал – не впервой; но тут вдруг какому-то чёрту нужно было проехать по той самой просеке на гусеничном тракторе. Время было тёмное, естественно, что лежащего и припорошенного никто не заметил. Словом, его переехали, не то что переехали – перепахали; чудом потом спасли – то ли пострадавший сам голос подал, то ли у кого-то интуиция сработала – в смысле, что подобрали. Так говорят, переломы у того перееханного оказались в восьмидесяти местах,

но выжил, оклемался и потом даже ещё проработал какое-то время. А весной опять напился и завалился в ледяную лужу, и – что поделаешь – простудился и помер. Наверное, всё-таки былые раны дали себя знать. Вот ещё и года не прошло, как его похоронили. Ну нет, да такого бригадир ни в коем случае не хотел доходить. Он ведь и полежал-то там, в снегу, всего ничего. Просто отдохнул, потому что путь до дома не близкий, а машина, которая могла бы подвезти, уже уехала. И чего он не остался в бытовке? Уговаривали же. Нет, он как всегда себе на уме, не хотел безраздельно сливаться с массами – всё-таки бригадир. Да больно у них там ночью погано – духота, вонища от портянок, перегарный храп. Лучше ночевать дома, на чистых простынях. А в морге – не хочешь?

Так ругал себя почтенный лесоруб, приближаясь к тому злополучному месту, где вчера предположительно оставил все свои заработанные нелёгким трудом средства. Только полный стеклянный пузырь теперь оттягивал его, принявший соответствующую форму, карман.

Шофёр доставил его с коллегами по шоссе до просеки, а дальше они должны были месить снег метров пятьсот по перпендикуляру. Тропинку за ночь почти совсем замело – здесь теперь наверное и трактор утонет.

Наконец дошли. Бригадир не без ожесточения растолкал двоих ночевавших в бытовке пьяниц. Внутри было весьма холодно – буржуйка конечно же давно потухла.

Для начала поставили спиртную наличность на стол и

мрачно опохмелились. Из пятерых не пил только один, по болезни. Все уже знали о бригадирском горе, и никто не смел нарушать торжественную застольную тишину.

– Ну чего мы прям, как на похоронах, – наконец изрёк виновник этого странного торжества.

Все попробовали заулыбаться, но получилась какая-то неудобная пауза.

– Да ладно, – нашёлся один из остававшихся в бытовке, тот, который жил здесь всю зиму почти безвылазно. – Чего так всё прямо и потерял?

Бригадир опять помрачнел.

– Сегодня трактора не будет, – сказал он.

– А валить будем? – спросил завсегда́тай бытовки.

– Будем.

Бригадир встал и взял в руки свою натруженную бензопилу. Всё встали вслед за ним.

В обед распечатали ещё пару пузырей, на четверых вышло по четвертинке. Послали гонца за добавкой; о том, чтобы взять в долг у бригадира, даже не заикнулись. Он сидел в углу, понурясь, и сушил ноги у печки. После обеда работали очень недолго. Стояла середина января, и темнело пока всё ещё рано.

– Шабаш, – сказал бригадир, и на его задубелом лице впервые за день расправились морщины. Он аккуратно установил пилу на поверженном стволе.

Гонец принёс столько, сколько от него не ожидали, и за-

куски тоже. Это был самый молодой парень в бригаде, и он не то хотел подольститься к начальнику, не то, в самом деле, серьёзно проникся его несчастьем.

Шофёр из лесничества побибикал с шоссе, но ушёл только трезвенник, и то самым тщательным образом извинившись, что не может разделить столь приятной компании. На завтра ожидался выходной, в отличие от бригадира у остальных деньги ещё были, так что никто не против был погулять. Машина уехала, а пир набирал обороты.

Мужики смолили "Беломор" и "Приму", закусывали зелёными помидорами из банки. Разговор сначала не клеился, а потом разговаривать стало трудно из-за того, что у всех стали плохо ворочаться языки.

– Ты мне скажи, ну как ты её, то есть его, то есть их потерял? – пытал бригадира главный пьяница бытовки.

– Ну что ты пристал к человеку... – пытался образумить его тот, кто прошедшую ночь провёл здесь вместе с ним.

Самый же юный член бригады от малой привычки слишком рано потерял сознание и упокоился навзничь прямо на полу.

Бригадир хотел было развеселиться, да посмотрелся на двоих своих глупых подопечных, которые уже чуть ли не собирались подраться, и хлопнул кулаком по столу, от чего над фанерной столешницей облачком подпрыгнул пепел и звякнули крышки от банок:

– Хватит! – сказал он. – Наливайте!

Налили, хотя в этот вечер, похоже, по последней. Выпили.

– Хотел с вами остаться, – сказал бригадир. – Тошно. Что вы за люди такие?

Они принялись оправдываться, в пьяной запальчивости бросаясь ему чуть ни в ножки. Молодой до этого спал с счастливой красной рожей, но вдруг улыбка его искривилась, он закашлялся, перевернулся и стал блевать на пол зелёным.

– Тьфу! – плюнул бригадир, отпихивая сапогами раболепствующих подчинённых. Ему очень хотелось уйти независимой бодрой походкой, но самому себе он не мог не признаться, что его покачивало. Да куда там, надо было выразиться сильнее – штормило.

– А вы знаете, кого я видел вчера здесь на просеке? – вдруг спросил он, резко обернувшись, когда уже доплыл до двери.

Оба ещё неотпавших собутыльника подняли на него очумелые лица.

– Волка!

– Да ну? – сказали они чуть ли ни хором, и один икнул.

– Так что смотрите, если завтра здесь кого-нибудь не найдут – пеняйте на себя.

– Свят, свят, свят! – стал креститься бытовочник.

– Чур меня! – оградился на языческий лад его товарищ.

Бригадир покивал им с выпяченной губой так, как будто у него не было никаких сомнений, что наутро он обнаружит здесь хотя бы одного съеденным.

– Смотрите, чтобы парень не задохнулся, – наказал он разгильдяям и ушёл.

Морозец вроде сперва слегка отрезвил несчастного лесоруба. Он посмотрел на порхающие в лунном свете серебристые снежинки, и у него на глазах даже проступило что-то вроде блаженных слёз. Этим вечером было не так снежно, как вчера, но заметно холоднее. Небо почти очистилось и лишь местами и изредка сеяло колким узористым снегом.

Бригадир вздохнул. У него не было уверенности, что скоро удастся поймать попутку на дороге. Ещё ведь и деньги попросят... Он махнул рукой и двинулся по весьма условной тропке на далёкий шум машин. В конце концов – можно добрести и пешком – каких-то семь километров. Он посмотрел на часы, но не сумел разглядеть стрелок, тяжёлые еловые лапы над ним застили луну. Жена наверное уже и не ждёт. Зачем идти? Опять нарываться на скандал? Вернуться? Он представил себе дрыхнущую в бытовке братию и его чуть не вырвало, тут ещё взор упал на свежие следы мочи вдоль дорожки.

– Тьфу! – опять сплюнул он и попробовал идти быстро, но тут же провалился в снег.

Вчера ведь его подвёз какой-то частник. Это вдруг совершенно отчётливо всплыло у него в памяти. Он даже вспомнил его морду. Собственно, и о деньгах-то вопрос возник именно тогда, когда он попросил заплатить. Но слава Богу, как-то всё-таки довёз. Мир не без добрых людей. Хотя тот

парень ему не понравился, прыщавый какой-то и деньги просил – тоже мне.

Бригадир очередной раз сплюнул и обнаружил, что стоит по самое причинное место в снегу.

«Ну и пусть, – сказал он в запале самому себе. – Тому, кому суждено быть повешенным, не сторит... Тьфу!.. Или как там?..» – он чувствовал, что мысли у него безобразно путаются и перескакивают с места на место, как разрезвившиеся мыши.

Он сел. Ватные штаны позволяли довольно долго игнорировать холод снега.

– Ну и куда я на фиг пойду? – спросил он у луны.

Луна ничего не ответила. Он лёг на спину, вытянул ноги из снега и положил их поверх, ему вдруг показалось, что так вот лежать совершенно удобно и нет в этом ничего страшного, глаза сами собой стали закрываться, ресницы индеветь.

– Не спи, замёрзнешь, – пробормотал он зачем-то и сам не понял зачем, эти предостерегающие слова сейчас прозвучали для его уха как безобидная приятная колыбельная.

Думать ни о чём не хотелось, но он всё-таки открыл глаза и стал нарочно смотреть на луну. Что-то там такое он разглядел, чего раньше не замечал. Ах да! Там ведь кратеры, и мо'ря нет ни фига! Зато здесь! Он потянул морозный воздух ноздрями и почувствовал как в носу слипаются волоски. Но улыбнулся. Захотелось закурить, но тут волоски встали дыбом у него на разгорячённой под шарфом шее. Волк!

Она вспомнил эти глаза. Вчера он лежал вот почти так же, и этот зверь тоже был здесь. Наверное он и заставил его подняться. Страх. И как назло – ни ножа, ни даже пустой бутылки отмахнуться. Надо было что-нибудь взять. Эх! Он лежал, скосив глаза в сторону предполагаемого врага, и старался не шевелиться. Ведь они падаль не едят? «Едят, едят, ещё как едят!» – нашёптывал ему где-то внутри уха мелкий бес, и очень захотелось почесать это ухо. Ну нет!

Волк подошёл совсем близко, он почувствовал на щеках его дыхание. Тот дышал тяжело, словно высунув язык. Где это он так набегался? Бригадир закрыл глаза. Наверное всё-таки жизнь кончалась. У него не было ни сил, ни особого желания сопротивляться. Если вчера зверь его пощадил, то вряд ли отпустит сегодня. Ведь тогда он шёл за ним, преследовал до самого шоссе. Господи! И что он в нём нашёл – старый, вонючий, перегаром и табаком наверное за три версты прёт. А может это волчица? Бригадир захотел перевернуться на бок и получше рассмотреть зверя, но вовремя осадил себя. Волк не то заскулил, не то тихо зарычал. Что он будет делать? Когда уже вцепится в горло? Может покричать? Но разве эти оглоеды услышат... А и услышат – побоятся вылезти из своей конуры, сам из напугал. Ему самому захотелось завывать, как волку на луну. Но одновременно он ощутил, насколько устал. Если этот волк не начнёт его есть в ближайшие несколько минут, он просто уснёт мёртвым сном, да, возможно, мёртвым.

Бригадиру опять захотелось заплакать. И что это за жизнь такая? Зачем он жил? А жизнь кончается, падает вот где ни попадя. Волки какие-то, отродясь их тут не было.

Волк всё топтался вокруг, дышал, но своего последнего дела почему-то не делал. Может, он его за кого-то не того принял. Бригадир попытался вспомнить что-нибудь хорошее: как дочка рождалась, жену молодую, сарафан её, запах...

Но отдалённые воспоминания как-то очень скоро кончились. Как будто мимо на страшной скорости пронёсся курьерский поезд. Зато он вспомнил, что хотел закурить. Осторожно, очень осторожно бригадир стал нащупывать пачку "Беломора" в кармане телогрейки. Под поясницей ему уже давно что-то мешалось, но он не решался переменить положение, боясь спровоцировать волка. Корень там, что ли? Хотя какой корень под таким слоем снега? Рука всё никак не могла залезть в карман, мешали какие-то складки. Бригадир начал злиться: да что там?! Он не вытерпел, приподнял голову и раскрыл глаза, перед глазами всё завертелось. Волка не было. Не померещился же он ему? Или это? Да, наверное это была она. Белая горячка. Он усмехнулся и попытался присесть. Но страх не отпускал, кто-то всё-таки следил за ним, он чувствовал нечеловеческий взор, нацеленный ему в затылок.

– Ладно, – сказал бригадир, – хочешь ешь меня, хочешь не ешь, а перед смертью я покурю. Блин! Да вынется оно ко-

гда-нибудь! – он ожесточённо заворочался, вытаскивая за-
скорузлую полу телогрейки у себя из-под зада.

Что-то всё-таки там было, что-то помешало ему растя-
нуться как следует. Может, благодаря этому предмету он и
не уснул.

– Что ж такое?! – он погрузил руку поглубже в снег. Что-
то смутно знакомое почудилось ему в прямоугольных конту-
рах, недавно врезавшегося в его спину, твёрдого предмета.
Это что-то норовило выскользнуть из уже наполовину око-
ченевших пальцев.

– Врёшь не уйдёшь! – воскликнул бригадир и услышал за
спиной частый топот.

Но затаиваться и смиряться с судьбой он больше не захо-
тел. В конце концов, никогда он не слыл мужчиной робкого
десятка. Прямоугольная штука была уже у него в руке, и тут
же он резко повернул голову, чтобы встретить врага лицом
к лицу.

Волк стоял прямо перед ним и глядел на него стальными
глазами, в них холодными бликами отражалась полная луна.
Какое-то время они смотрели в упор друг на друга. Затем
бригадир перевёл взгляд на свою находку. Бумажник? Его?
А чей же? Он даже подмигнул волку, и вдруг волк завилял
хвостом.

– Блин! – бригадир вспомнил, что у них здесь была собака.
И как он мог спутать.

– Дружок! – позвал он, и собака дружественно тьякнула.

Ну и напугал ты меня, сукин сын! – бригадир выдохнул, взвесьил на ладони превратившийся в льдышку бумажник и спрятал его подальше за пазуху.

– Больше так не делай, – сказал он Дружку, и Дружок закивал, точно соглашаясь.

Эта собака недавно прибежала к ним сама откуда-то из деревни и устроила себе логово под вагончиком.

– Покормить бы тебя чем-нибудь надо, – сказал бригадир и протянул руку, намереваясь почесать Дружка за ухом, но полудикий Дружок испуганно отпрянул.

– Чего ж ты от меня хотел? – бригадир никогда не был слишком сентиментальным, но тут так расчувствовался, что ему захотелось расцеловать этого пса, который, к счастью, оказался не волком.

Он стал с трудом подниматься на ноги. Дружок взвизгнул и убежал в сторону бытовки.

«А ну, кабы я замёрз? – рассуждал про себя бригадир. – Может, он меня всё-таки бы и съел?..»

О том, чтобы идти домой, не могло быть и речи. Он еле-еле дотащился до вагончика и стал стучаться, могучими редкими ударами.

– Кто там? – наконец послышался за стеной испуганный голос.

– Кто-кто – х.. в пальто! Развели тут волков, понимаешь... И бытовочник, различивший добрые интонации в голосе бригадира, с облегчённым сердцем распахнул перед ним

дверь.

– Не ждали так скоро? – сурово спросил бригадир, попы- хивая полувысыпавшейся беломориной.

Пропущенная глава

*"Слово не имеется, право, лучшие
пошлой повести и плохого стиха..."*

А.С.Хомяков

(И во второй раз мы испытываем терпение читателя, пред- ставляя его вниманию вместо полноценного текста лишь приблизительное его содержание. Дело в том, что на этот раз автор напился. Конфуз произошёл от чрезмерного употреб- ления виски, приобретённого в магазине Duty Free симферо- польского аэропорта, шотландского, но произведённого спе- циально для Украины.

Называться глава могла бы "40 лет", поскольку в начале её автор подробно описывает, как он неудачно встретил свой сороковой день рождения. Заказал довольно дорогую сауну на четыре часа, а друзья пришли только к концу этого срока. Настроение было испорчено, и он напился. Пива.

Напившись пива, автор захотел подраться, но подраться было не с кем, и тогда он позвонил девушке, которую лю- бил, но которая его не любила. Далее следуют очень длин- ные, изошрённые и в чём-то, увы, убедительные рассужде-

ния, призванные уверить читателя в том, что автор вполне имеет право на проявление свойственной ему в состоянии алкогольного опьянения агрессии. Впрочем, подобное воспевание собственного злонравия способно вызвать лишь справедливое возмущение у взыскательной публики, а у кого-то может вызвать и отвращение. Посему мы не нашли уместным приводить какие-либо примеры этой полемики зарвавшегося эгоиста с самим собой и со здравым человеческим смыслом. К тому же, прийти к какому бы то ни было заключению автору так и не удалось, т.к. его способность к написанию текста была временно парализована. Последние абзацы он "дописывал" уже в беспамятстве, и чем ближе к концу, тем более его почерк становился похожим на почерк пробующей перо обезьяны.

Таким образом, и этот опыт, т.е. опыт писания под действием большой дозы алкоголя, следует признать неудачным.

Что касается сюжета главы, которая в реальности не была закончена, то всё сводится к тому, что герою (он же автор) так удачно удалось оскорбить поздним вечером всех на другом конце провода, как то: упомянутую девушку, её возлюбленного, и друзей этого возлюбленного (все они сидели там за столом), что на следующий день вся эта компания в количестве 5-ти человек (и не без приглашения!) завалилась с очевидно мстительными намерениями к автору на тогдашнюю его работу. Виновник же событий, в эти часы страдаю-

щий от нешуточной абстиненции, оказался в очень щекотливом положении, поскольку почти ничего не мог вспомнить из того, что сам натворил вчера. Вот собственно и всё.)

Ключ

*«Ключи носил я с собой, самые
заржавленные из всех ключей...»*

Ф. Ницше

Поезд едет по квадрату,
Пар пуская головой.
Солнце клонится к закату
Против стрелки часовой.

Дева с дивными глазами
Снится первому лицу.
Вот с могильными цветами
В гости он спешит к отцу.

Всюду гибель и проказа,
Змеи кормят наших чад;
И из каждого рассказа
Кости прошлого торчат.

Но любовь ползёт на стену,

Снег становится водой,
И является на сцену
Дух, беспечно молодой.

Мир, в кафтане стран лоскутном,
Ждёт ареста как шпион,
А на небе уютном –
Звёзд несметный легион.

Глубоко и там, где мелко
Что-то есть и в пустоте;
Колесо вращает белка,
Пульс земли – в её хвосте.

Нет невинному пощады,
Голод узников свиреп;
Но в ладони для услады
Бог влагает вечный хлеб.

Души падших склонны к гневу,
Ад пугает, скушен рай;
Но даря цветенье древу,
Нам даёт надежду май!

Через горы, через ямы,
По блуждающей прямой

Свет усталый, но упрямый
Возвращается домой.

Осенний ветер

*«Я пробудился. Был как осень, тёмно
Рассвет...»*

Б.Л. Пастернак

И меня разбудил осенний ветер. Правда ли, что он разбудил меня? Проклятая реальность опять вторглась в мой дом, в мой мозг. Но насколько была реальна эта реальность? Почему она требовала от меня что-то делать? И требовала ли на самом деле?

В начале мне даже стало весело. Я вслушивался в шум за окном и ждал печальных мыслей, но они, паче чаяния, не приходили. Я пытался думать о смерти, но ничего толкового не приходило в голову. Я ничего в ней, т.е. в смерти, не понимал. Отчего я вообще должен что-нибудь знать?

Когда человек не голодает, он становится невыносим. Вместо того чтобы спать, он пытается найти какой-то смысл. Если он не умеет уверить себя, что очередная цель стоит того, чтобы к ней двигаться, ему становится очень плохо. Он страдает, и ему кажется, что он уже умирает. Хотя о том, как умирают, он пока знает лишь очень приблизительно.

Если его не разбудит страх, он так и будет спать. И меня

разбудил страх. Даже не острый страх, не тот, внезапно вспыхивающий и перекрывающий все остальные вялые чувства, инстинкт самосохранения, который может заставить самого хилого обывателя свернуть горы в какое-то мгновение... Нет, это было скорее напоминание, тёмное, философское напоминание, нехорошее чувство прорастающей смерти под ложечкой, не очень страшное, но кажущееся весьма реальным.

Зачем, бишь, я всё это начал? Возможно ли хоть до какой-то степени правдоподобно описать это ощущение? Может быть, этот язык изобретён Богом только для меня? Отчего мне должно быть интересно то, что говорят другие; и отчего им должно быть интересно то, что говорю я?

Бездна неподдающихся пониманию слов. Сознание. Это слово уже стало почти таким же истасканно неприятным, как творчество, духовность, вдохновение. Но вот это дикое ощущение смертности – оно пронзает и заставляет проснуться и ответить самому себе, что уже скоро – неважно, через день, через год или через пятьдесят лет – уже скоро придётся покидать этот мир, этот условный мир, который тебе себя так навязывает, и который принято – это высшее приличие в этом мире! – называть реальностью.

Завлекательны ли для кого-нибудь мои ночные страхи? Это не боязнь привидений, а, скорее, вселенская тоска, на фоне которой любые кинематографические ужасы показались бы даже не комичными. Я воспринял бы их как невоз-

держанные узоры, арабески сознания. Сознание! Я не знаю, что это такое, но я умещаюсь в этом понятии и оно умещается во мне. Я чувствую внутри себя огромное пространство, в котором умещается всё, вся эта *реальность*. Отчего я должен относиться к ней так уж серьёзно, с таким уж почтением? Неужели зазорно иронизировать над самим собой? Увы, у меня нет иного инструмента для познания, кроме самого себя. В конце концов, мы все только и занимаемся самокопанием. Полный идеализм. Субъективный.

Я увидел внутри себя космос и ужаснулся... Нет, вернее, я почувствовал его, как можно почувствовать собственную пятку или печень. Слава Богу, что никакая звезда не болит. И на фоне этого пространства моя жизнь показалась мне ни к чему не обязывающей партией в дурака, этакой разминкой, скорее для рук, чем для мозгов, во время недолгого переезда на поезде по рельсам из пункта А в пункт Б. Можно было бы и не играть. Но что ещё делать? Не всё же время только этим заниматься. Можно смотреть в окно, но очень скоро понимаешь, что это зеркало. Вот когда понимаешь *это*, тогда и становится страшно.

Никуда нельзя вырваться из самого себя. Это тело обречено смерти, и сбежать из него – значит умереть. Могут не выдержать нервы. Почему я должен сидеть и ждать? Что' со мной хотят сделать?

Может быть, я задаю себе ночью эти вопросы только для того, чтобы устать в конце концов и по-настоящему захотеть

спать? Объясняет ли это что-нибудь? Во всяком случае, это почему-то представляется мне забавным.

Попробуйте поверить в смерть. Встать на жесточайше атеистические позиции. Устранить себя. Теперь, ещё не умирая. Вы рассуждаете абстрактно. Иначе говоря, строите воздушные замки. Какие-то схемы и чертежи в голове. В вашей голове. Значение имеет только ваша голова, всё остальное не имеет значения, если вы какого-либо значения этому остальному не придаёте. Как может существовать изобретенная вами конструкция, нечто доступное вашему внутреннему взору, когда вас не будет? Полагаете ли вы на самом деле, что, записав свои мысли на бумаге или каким-то иным способом, вы исправите положение? Всё равно, закрыв глаза, вы сможете хранить запечатлённое только в памяти. Не верящий в Бога слишком верит в собственную реальность. Усомнись он в ней хоть на один гран, и всё стройное здание абстрактных измышлений растает как кусочек рафинада, подмоченный кипятком.

Я думаю, что не существует никаких идеалистов и материалистов. Существуют только субъективисты и объективисты. Объективисты верят в Бога, а субъективисты в самих себя. Ибо законы могут исходить только из чьего-то сознания.

Осенний ветер настроил меня на философский лад. Но

рассуждения остаются вещью в себе. Кому-то они нравятся. Кто-то восхищается гибкостью и стройностью мыслей, будто мысли – это гимнастики, извивающиеся ради нашего удовольствия на манеже. Знатоки-любители рассуждают якобы о спорте, а сами облизываются на недоступную свеженькую девичью попку. Впрочем, одно другому не мешает.

Большинство современных (да и не только) философских статей занимаются тем, что выводят существование какой-либо несущественной подробности из существования другой несущественной подробности. Утомительная игра слов, которая, однако, удовлетворяет некоторых дилетантов. Сомневаюсь, однако, что кого-нибудь она может оплодотворить. Все эти упражнения в словотворчестве слишком легко вызывают ассоциации с обидными иностранными терминами – мастурбация, импотенция и пр. Почему бы философам не поупражняться, подобно Сократу, в смерти? И почему бы мне, вместо того, что бы учить философов, не жечь глаголом сердца людей?

Вот этим-то я и собираюсь заняться. Этим-то я и должен заниматься. Только уж слишком долго собираюсь. Вот уже 41-ый год пошёл, а вернее, давно идёт и вот-вот уже придет к завершению.

Доступная ли и благодарная ли задача – пытаться передать, донести до другого ощущение времени? Естественно, такое может быть достигнуто только посредством метафоры, притчи, аллегории... Это тоже не совсем понятные сло-

ва. Говорят, европейцы рациональны, очень уж любят раскладывать всё по полочкам и очень сердятся, когда по этим полочкам бьют молотком. Но и Ницше пытался втиснуться в какие-то рационалистические понятия и твердил о какой-то необходимости.

Отчего бы вам, друзья, не наслаждаться моим потоком сознания? Говорят, можно до бесконечности смотреть на воду. Вот вам – поток. Но говорят ещё «Заткни фонтан!»

В самом ли деле я ловлю чёрного кота в тёмной комнате? Достойное ли занятие – описывать свои предсмертные страдания?

По этому поводу у людей складывается слишком много стереотипов. Сентиментальность – от страха и дань удобству. Слюни мыльных опер – это что-то вроде обязательных плакальщиц на похоронах в милом прошлом.

Конечно, бывает и больно и тошно, и тяжело терять ближнего. Но не только. И необязательно выворачивать наизнанку и утверждать, что мы все только и мечтаем поскорее увидеть в гробу своих родителей. У человека открыли шесть генов, отвечающих за стремление к самоубийству. Человек знает о себе даже это, ну и что делать с этим знанием? Удалить гены? Как вредные, как негодные Богу?..

Остаётся только позавидовать Канту. Но говорил ли он правду? Вероятно, какой-то внутренний закон во мне есть. Но я его не понимаю, я могу его только интерпретировать. На

самом деле, абстракции вовсе не подходят для того, чтобы на них опираться. Говорят, есть разные психологические типы. Я, например, преимущественно (если не исключительно) руководствуюсь в жизни интуицией. Наверное, это банально, но любая церковь как государственное и политическое учреждение вольно или невольно стремится избавиться от духа собственной религии и всемерно укрепить её букву. Таким образом достигается объективность. Стыжусь, что не скажу ничего нового, но замечу: Христос учил любви, а нас тыкают носом в книгу, в которой описывается, как Христос учил любви. Оголённый дух опасен, также как и оголённый провод. Церковь нуждается в украшениях, а священник в облачении. Иначе – слишком страшно.

А кто вам сказал, что любовь не страшна? Сильна как смерть.

И пока моё сознание занимается самоубаюкиванием, то заветное слово, которое я на самом деле хочу сказать, ускользает от меня как рыба. Оно набухло во мне и мучает меня как опухоль, это слово. Я только не могу его найти, нащупать как следует, чтобы вытащить на свет Божий.

И вместо раскалённых добела глаголов получают какие-то ледянистые, скучные сами себе, существительные. Но время подобно подвижной беговой дорожке, на которой нельзя остановиться. И прошлое лето мы можем оценить только потому, что оно было конечным, потому, что его можно было выпить как бокал вкусного вина, до последней кап-

ли.

Вне времени не существует нашего сознания, и если действительно что-либо может кончиться, то кончиться может только время. И наслаждаться мы можем только временем. Нечто вне времени мы можем обозначить каким-нибудь символом и вообразить метафорически, но приблизимся ли мы таким образом к пониманию бессмертия и вечности? Если бессмертие *временно*, это не бессмертие, а ещё одно, только, может быть, несколько более трудное и долгое упражнение в смерти.

Вечность в нас – это единственная опора, единственный намёк, дно внутреннего глаза, отталкиваясь от которого, мы можем предпринимать что-либо в действительности. Если *там*, внутри, никакой такой опоры нет, то просто-напросто всё бессмысленно. Ведь отчего бы я должен предпочитать какой-то один выдуманный смысл другому, такому же выдуманному? Релятивизм ведёт к произвольности и хаосу. Но он не подходит для описания вселенной. По крайней мере, один абсолют, в виде смерти, мы всегда имеем под рукой. Смерть – это объективный намёк на вечность, то, от чего мы можем отматывать плёнку обратно. Точка отсчёта.

Вечность пьянит. Человек вообще склонен к экстазам, к выходам из себя. Он устаёт от будничной реальности, точно так же, как устают мышцы и суставы, если долго сидеть в одной, пусть поначалу и ощущавшейся как удобная, позе. Эта самая *будничная реальность*, в конце концов, осознаётся как

самый крепкий из всех возможных снов, и является желание от него – хотя бы на время – проснуться. Существует бесконечное количество способов заморочить себе голову – от чистой математики до героина. Главное, чтобы всё стало по-другому. Для этого нужно влюбиться, хотя бы чуть-чуть.

Моя жизнь имеет значение только для меня. И пусть она даже похожа на большого кита – кто удивится, когда я начну её показывать, начиная с головы или с хвоста? Может кто-то просто не поймёт, что это такое тянется перед ним. Да и многих ли интересуют киты?

Но принцип этой жизни – суета. И я не хочу быть дезертиром, пусть мне и не нравится устав армии, в которой я от рождения служу. Если я остановлюсь, бегущие вперёд начнут ломать об меня ноги. Имею ли я право быть камнем преткновения?

Приходится доверять себя врачам, если хочешь, чтобы тебе сделали операцию. Даже для того, чтобы удалить зуб, необходимо иметь немалое доверие к другому человеку. Может быть, в таких случаях проявляется крайняя степень солидарности людей, и через боль и кровь подтверждается их общность; этаким ритуалом организма, где клетки способны помогать друг другу. Смысла от этого, правда, не прибавляется. Но становится как-то теплее, когда ты уверен, что тебя не убьют, сразу же после того, как начнёт действовать общий наркот.

Осенний ветер вполне можно было назвать сильным. Он гулял всю ночь и сорвал с пожелтевших деревьев если не все оставшиеся, то уж точно половину листьев. Пейзажи в утра стали смотреться по-другому, более прозрачные. Отчего-то и мне полегчало. Хотя ещё ничего не изменилось. Ничего, кроме этого состояния листьев. Запах прели почему-то веселит. Это вам совсем не запах падали. Хотя Рюноскэ Акутагава утверждал, что этот последний напоминает ему всего лишь об испортившихся абрикосах. Я, правда, не нахожу ничего общего. Ищу, но не нахожу.

Если люди не желают на тебя смотреть, людям нужно себя навязывать. Кто бы заметил ветер, если бы ветер не продемонстрировал силу и не сдул листья? Кто бы услышал ветер, если бы ветер не шумел? Нужно быть громким, этого требует суета. Если не сможешь перекричать фон, тебя никто не заметит.

Пытаться спастись от нечего делать? А почему бы и нет? В советское время пустоту рабочего времени заполняли разговорами (конечно, в конторах, не за станками). Сейчас пустоту рабочего времени заполняют работой. Почему бы не зарабатывать деньги, если их зарабатывают другие? Что ещё делать? Может быть, поехать во Францию?..

Когда у меня появляется желание купить синий свитер, я радуюсь, потому что у меня появилось желание. А если я буду ждать ещё год или два, и ничего не произойдёт? Смогу

ли я прожить два года вот таким вот образом без веры в Бога? Какие у меня ещё могут быть основания хоть чем-нибудь заниматься?

Когда нет желания, не будет и никакого сюжета. Нирвана наступает паче чаяния, и вовсе это не так здорово. Хотя это завораживает. К хорошему быстро привыкаешь и боишься потерять привычку, хотя хорошее уже давно сделалось плохим. Изменения требуют затраты сил. А если нет желания, то для чего тратить силы? Вот таким вот образом вечность, как зачаровывающая кобра, тоже присутствует в нас.

И надо бы очнуться и побежать. Но куда? Зачем? Вон видишь – всё бегает. Беги! Я уже пробовал. Ну, попробуй ещё. Угу. Не очень хочется? И даже не знаю, хочется или нет. Тьфу! Есть ли разница между бегом и сидением на месте? А есть ли разница между внутренним монологом и внутренним диалогом?

Я только хочу намекнуть на то, что, испытывая терпение читателя, пытаюсь непрямым способом изобразить всяческие бесконечности. Использовать подобные знания можно. Вообще, всё можно использовать – хотя бы для того, чтобы покрасоваться в разговоре на кухне.

Но вот мне кажется, что в писаниях моих не хватает энергии, страсти, боли. А тогда для чего они? Если чего-нибудь не хватает человечеству, так это энергии, только энергии. И я её хочу производить. В качестве биологической электростанции. И если вы не догадываетесь вставлять в меня свои

вилки, я сам вам вставлю.

Ну вот, думаю, и чего это я стал так хорохориться? Осенний ветер, философия, читателям угрожаю... Создай сперва иллюзию, а потом рассуждай, а потом опять создай иллюзию.

Виргинский соловей

«Одни утверждали, другие отрицали, что американская кукушка иногда откладывает яйца в чужие гнёзда...»

Ч. Дарвин

И я оказался в Америке. Вернее, я вдруг осознал, что я в Америке, а оказался я в ней уже довольно давно. Стыдно признаться, пришлось ощупывать самого себя – да, это были мои плечи, вроде...

Ну, в Америке, так в Америке – остаётся смириться в этом фактом. Можно, конечно, было попробовать отмотать обратно всю цепь событий, которая привела меня сюда, но я интуитивно ощущал, что она, эта цепь, очень тяжёлая, и мне не хотелось напрягаться. К тому же, как ни странно, я приехал сюда отдохнуть.

Вообще, разумеется, удивительное дело, когда такой завзятый америкофоб, как я, направляется, чтобы поправить здоровье, именно туда, именно в ту страну. Может, кто-нибудь скажет, что я преувеличиваю свои чувства? На созна-

тельном уровне бывало по-всякому: в детстве я вообще почти любил Америку. Помню, как выстаивали с родителями на Американские выставки в очередях не меньше, чем в Мавзолей (где я, кстати, так ни разу и не побывал). С каким азартом хватали мы, соревнуясь с прочими обывателями, щедро раздаваемые бесплатные полиэтиленовые пакеты и значки. Помню, как понравилась мне одежда одного американского парня, он был приставлен к экспонатам в одном из павильонов. Естественно, ни бельмеса не понимал по-русски, и только всё время улыбался. Как я теперь бы сказал, туповато. Но это теперь. А тогда я решил во что бы то ни стало изловчиться и одеться подобно ему. О настоящих американских джинсах, однако, я даже не помышлял. Более доступным казалось то, что выше пояса – у него была плотная бежеватых тонов ковбойка, а под ней водолазка. Выглядывающие из-под манжет рубашки манжеты водолазки были слегка закатаны поверху. У нас тогда никто так не одевался – либо одно, либо другое – сорочки и водолазки надевались под пиджак. Водолазка, какая-никакая, у меня имелась, а с ковбойкой забрезжила надежда что-нибудь придумать. На худой конец, могла сойти любая клетчатая байковая рубаха. У меня пока и такой не было, но можно было надеяться, что я смогу убедить родителей в необходимости её приобретения. Забавно и немного стыдно признаваться, но тот парень, которого пришлось созерцать довольно долго, поскольку мы дожидались, пока он раздаст очередную пор-

цию пластмассовых значков, которые делала машина, тарх-
тящая тут же... Так вот, этот парень, может быть, впервые
пробудил во мне чувство стиля, мало объяснимое, но весь-
ма властное стремление следовать витающим в воздухе мод-
ным тенденциям. Насколько помню, я пытался придержи-
ваться избранного мною тогда пути и спустя много лет. Тот
безызвестный американец, который теперь наверно уже со-
старился, служил мне маяком в сером море доступного в мо-
ей стране ширпотреба. Но «стали слишком малы твои потёр-
тые джинсы, о-о-о!» В общем, как-то незаметно, после из-
вестных событий, я сделался америкофобом. Хотя и теперь
в своих вкусах отталкиваюсь от тогдашнего своего ви'дения
как от первой ступеньки. Ничего не попишешь: если даже не
сами американцы изобрели джинсы и ковбойки, то уж точ-
но именно они ввели их в обиход. Эти вещи действительно
удобны, и я ими до сих пор регулярно и с удовольствием
пользуюсь. Ещё хорош американский аспирин. Вот, по-
жалуй, и всё хорошее, что могу сказать об Америке.

Но сколько лет холил я и лелеял свою брезгливую к ней
ненависть! Даже потом, когда прочитал о последствиях по-
добного усердия у модного писателя Лазарева и пытался
обуздать свою обиду, если это можно назвать обидой, и ду-
мал, что мне это удалось, почти удалось, я не в силах был
победить своё подсознание, и оно говорило правду за меня
во сне.

Так однажды мне снилось, как мы с дочкой с большим

увлечением выбираем на карте города, которые подвергнутся ракетно-ядерному удару. Города, разумеется, американские. Их должно было быть не то десять, не то пятнадцать – все миллионники. Такое мероприятие стало возможно благодаря изобретению новых ракет, которые выглядели совсем безобидно, как детские игрушки, но тем и были опасны. Они летали низко и производили впечатление какой-то новой вариации на тему воздушного шарика. Этакая колбаса метра два-три в длину, и не более полуметра в толщину, а может и того меньше, плавающая над тобою почти бесшумно в безоблачном голубом небе. Она мне напоминала увеличенный в сохранённых пропорциях картонный футляр, в каких раньше продавали ртутные градусники. На боку было что-то написано, скорее всего Россия или СССР, не помню точно, но красным по серому или голубому. Так вот, эта самая штука могла, паче чаяния, перелететь Атлантику и достигнуть места назначения, не смотря на свой несерьёзный вид. У каждой такой ракеты (хотя можно ли это назвать ракетой?) был моторчик, спрятанный в задней части цилиндра, почти как у Карлсона, а внутри она была полна смертоносной ядерной начинкой. Не знаю, как уж и какие учёные исхитрились миниатюризировать бомбу и какие использовали батарейки, чтобы они не разрядились за столько тысяч километров. Бомба, наверное, была какая-нибудь нейтронная или из все неизвестных нам пока частиц. Отчего бы не предположить, что в воздушных конфетах скрывались кусочки анти-

вещества. Это, пожалуй, самое лёгкое объяснение для таких лёгких машин – может, на этой основе работали и двигатели.

Ещё удивительнее, однако, что стратегическое решение должен был принимать не кто иной, как я. Каким образом ко мне в руки попала такая власть? Не иначе, новейшее оружие изготовил кто-нибудь из моих знакомых у себя на кухне? К технике у меня способностей нет, но к стратегии... Наверняка в этом смысле мои друзья могли бы оценить меня по заслугам.

Каким бы образом оружие возмездия ни попало мне в руки, важно было, что оно уже в моих руках – это вынуждало незамедлительно действовать. Сами знаете, если рюмку сразу не выпить, её или разольют или отнимут. А в политике – и того круче. Куй железо пока горячо и не отходя от кассы.

Я только решил свериться с картой и посоветоваться с дочкой, ибо устами младенца глаголет истина. Я надеялся, что она поможет мне быть более справедливым. Наносить или не наносить удар – в этом, конечно, не могло быть никаких сомнений. Наносить и как можно быстрее. Но хоть какой-то оттенок великодушия должно же носить моё деяние? Хоть чуть-чуть я должен полакомиться испаряющейся на глазах пеной собственного благородства.

Битые часа полтора мы сидели над картами – уж какие нашли в доме – сверялись с энциклопедиями – какие были. В конце концов, дочка почему-то запретила мне долбить Филадельфию. Может быть, это из-за того, что она любит дель-

финов? Я-то всегда полагал, что она в большей мере склонна умиляться по поводу более пушистых зверей. Но чего не узнаешь во сне, что только не всплывёт на поверхность.

Она сказала, что Филадельфию трогать не надо, и была в этом уверена. Пытаюсь восстановить в памяти, ничего не привирая, и мне приходит на ум, что она имела в виду сохранение неких культурных ценностей. Может и народ там, в этом городе, носящем женское античное название, более архаичен и добропорядочен и менее достоин истребления. Они, конечно, тоже вряд ли выживут, если мы выполним свой план с точностью. Только будут дольше мучиться, загибаясь от радиации. Но дадим им шанс. А главное – дадим шанс материальным культурным ценностям, сохраним их для будущих американцев, если таковые захотят ещё так себя называть, в чём я лично сомневаюсь.

Дочка меня убедила. Я сперва хотел поспорить, хотел понять, почему именно Филадельфия. А потом решил – пусть даже не почему. Если собственный ребёнок просит, разве ей откажешь? Может, ей чутьё подсказывает. И чего я собственно от неё хотел?

Трудности, однако, возникли с тем, чтобы достойно переадресовать заготовленный для Филадельфии заряд. Америка большая страна, но городов-миллионников в ней всё-таки ограниченное количество.

Потом, в яви, какое-то время спустя, я смотрел на реальную карту и пытался подсчитать количество предполагаемых

целей. Вот сейчас опять не помню сколько же их – десять или пятнадцать? – что-то между этими двумя берегами. Скорее пятнадцать – Америка растёт. Удивило меня тогда, что, во-первых, я воображал расположение на карте некоторых городов совсем не там, где они находятся на самом деле. Но может быть, карты специально рисуют неправильно, чтобы запутать потенциального противника? У американцев денег много, они могут всех наших картографов с потрохами купить. В результате – непопадание. Во-вторых, я обнаружил несколько городов с миллионным, если верить обозначениям, населением, о которых вообще не слышал или забыл, что слышал. Может, это тоже сделано для отвода глаз? На самом деле растут как на дрожжах другие города, а какие-нибудь заштатные урюпински выдают на картах за действительные центры промышленности и всего прочего. Уж ясное дело, стратегические точки на их настоящих местах указывать на будут.

Но во сне у меня были какие-то средства, чтобы накрыть цели, надёжные средства. Во всяком случае, внутри сна я был в них совершенно уверен. И эта уверенность переполняла меня холодной чванливой гордостью. Вот сейчас мы, я и моя дочь, плоть от плоти, кровь от крови, решим у себя на кухне участь этого источника неприятностей и зол, этой Америки. Мы насыпем ей, этой Америке, горячих углей в подол!

Решение было принято с учётом сохранения культурного

центра Филадельфии. С чувством глубокого удовлетворения мы собрали со столов пуговицы, фишки и сами карты. Наши замечательные сигары, дирижабли – или как их там? – уже были в пути. Только бы их не сдул перпендикулярный направлению движения ветер. Но упрятанная в этих сосудах смерти новейшая электроника не даст им сбиться с пути, они, как перелётные птицы, вновь и вновь будут возвращаться на нужную невидимую траекторию. Американские города обречены. Разве что по случайности, которую, впрочем, никогда нельзя полностью сбрасывать со счетов, в самый последний момент какой-нибудь американский хулиганистый мальчишка выстрелит из рогатки по приближающемуся снаряду и собьёт его в курса или испортит взрыватель. Конечно, вероятность такого события исчезающее мала. Один шанс из миллиона. Но и оно даже не кажется таким уж пугающим. Сразу ведь русскому духу представляется веснушчатый «вождь краснокожих» из новеллы О.Генри, и, тем более, из фильма Гайдая. Если это и вправду он, то не так обидно, если он сумеет помешать одной из ракет. Такого наглеца даже жалко, пусть отведёт от себя беду, пусть поживёт хотя бы ещё немного.

Я даже не стал бомбить Питсбург, и не только потому, что он ещё не миллионник (или уже?), но потому, что он как-то связан с Томом Сойером. Вообще-то Тома Сойера и, тем более, Марка Твена я не любил, но Геккель Берри Фин... Да, пусть поживут.

Недаром говорят, что сентиментальность – оборотная сторона жестокости. Вспомните немецких сусальных ангелов на открытках и искорёженные трупы в концентрационных лагерях. В том, что я прав, у меня не было никакого сомнения. Нет, нет. Никакой игры совести. То что сделано, должно было быть сделано. И только так. Для всех так будет лучше. И для России – в первую очередь. И дочка меня целиком и полностью поддерживала, что касается общего решения. Только как мы будем расхлёбывать радиацию, предполагаемую через некоторое время и у нас в дому? Это, конечно, несколько омрачало триумф. Но может, и на этот счёт наши учёные уже чего-нибудь выдумали? Иначе – откуда такая уверенность? С лёгким сердцем можно отправлять этикие смертоносные посылки только тогда, когда ты убеждён в собственной неуязвимости. Они будут лететь долго – как бумажные журавли мира. Те самые, которые считала одна японская девочка, умирая от лейкемии, вызванной хиросимской бомбардировкой. Можно сказать, ответные удары возникли из ничего, материализовались из воздуха, пузыри земли, гроздя гнева, о которых я не могу слышать без слёз. Справедливое возмездие вызывает слёзы, слёзы воодушевления. Вот-вот! Отливаются же тебе, кошка, мышкены слёзы!

И с таким-то подсознательным грузом я оказываюсь здесь, прямо-таки – на том свете. Впрочем, это избитая метафора. Всем также хорошо известна инструкция на случай изна-

силования: если никак уж нельзя отвертеться, постарайтесь расслабиться и получить удовольствие.

Вот за тем, наверное, я сюда и приехал. Это не города-миллионники, а одноэтажная, можно сказать, деревенская Америка, где, может быть, до сих пор скрываются бабы с голыми задницами в духе режиссёра Раса Майера. Это меня немного воодушевило. К тому же я вспомнил, что и у меня здесь есть баба, правда, русская, и она должна приехать с минуты на минуту, а вернее через два часа, на станцию, где я сейчас нахожусь. Тут у них ходит что-то вроде наших электричек. Такое обстоятельство тоже должно смирять моё негодование. Я вообще люблю, чтобы было всё как у людей, т.е. у русских.

Ни бомбы, ни пистолета, ни какого другого оружия у меня с собой не было. И вид я имел какой-то пляжный – шорты, цветастая рубашонка с короткими рукавами. Хотя по сезону – здесь лето, и солнце, смотри, как шпарит. Хотя – весна, да, весна и причём ранняя, но здесь уже пекло – климат такой.

И чем же мне заняться в эти два часа, остающиеся до прибытия моей подруги, ни цвета глаз ни цвета волос которой я что-то никак не мог припомнить? Вспоминалось только, что она была загорелая и в тёмных очках, – ну, это естественно!

Когда-то я любил говорить всем и каждому, что меня совсем не тянет за границу. Мол, в детстве тянуло – ну, там в Австралию, чтобы пообщаться с кенгуру, в дебри Амазонки – это тоже естественно. В Европу если и тянуло, то только из-за жвачки, которую у нас тогда не продавали. Потом, мол,

эта тяга целиком атрофировалась. А если что и осталось, то только в том смысле, чтобы полюбоваться некоторыми особенностями природы. Города меня, мол, вовсе не интересуют. Город и есть город, они все друг на друга похожи, те же рекламы, те же машины, только у них, там ещё и говорят на не понятном нам языке. Зачем мне такие напряжения? Хватит мне одной Москвы! Но я говорил, что вот, мол, количество видов растений в Америке ни в пример больше, чем в Евразии, особенно в нашей, холодной её части. Это оттого, что ледник у них отступал постепенно вдоль Кордильер и дал, таким образом, восстановиться отеснённым видам на вновь освобождённых территориях. А у нас всё было загнано за Гималаи, Кавказ и т.п., а оттуда никак назад и поныне не вернётся. Так вот, раз уж я так любил распространяться на эти темы, теперь пришло время отвечать за базар.

Вот ты, наконец, здесь, а Америке, в стране, где ничто не должно привлекать твоего сердца, кроме флоры и, в крайнем случае, фауны. Людей местных, исходя из этого контекста, тоже лучше всего рассматривать как представителей последней. Тогда им можно многое простить. Ведь не сердимся же мы в самом деле на кусачих комаров или мух. Не сердимся, но уничтожаем. А американцы, говорят, уничтожили всех своих комаров даже в болотистых окрестностях Майами. Нарушили трофическую цепь. Что' будут есть бедные рыбы? Они наверное уже вымерли и иже с ними...

Так вот, я должен склониться к стебельку. Поскорее уйти

с этого раскалённого асфальта, или что это, бетон? Или даже пластик? С этой платформы, нерусской, не похожей ни на что с детства запечатлённое на фибрах души. Впрочем, все платформы в мире похожи, сделай их хоть из сахара. Рельсы есть рельсы, а то что рядом с ними, то, возле чего останавливается поезд – это платформа.

Никого здесь нет, а рядом деревня – или как это у них называется? Дома, подойти поближе? Надеюсь, они сразу не начнут стрелять на поражение, защищая свою частную собственность. А то мы, знаете, наслышаны об этом. Рискну. Надо же попробовать стопой настоящую сельскую американскую землю. Может быть, тут, самым парадоксальным образом, мне улыбнётся удача.

Никакой земли, спустившись со ступенек платформы, по началу я не обнаружил – вылизанная до удивления бетонная дорожка, даже трава не пробивается на стыках. Не иначе – вытравили какими-то дефолиантами. Налицо некрофилия, всеобщая тенденция, свойственная теперешним технократическим обществам, диагноз которым поставил Фромм.

Я плюнул на бетонную плиту и улыбнулся тому, как, подобно амёбе, расплзается клякса слюны. Но безжалостное американское солнце в несколько секунд сделало серый искусственный камень стерильным, убив ультрафиолетом всю несметную рать, от души исторгнутых мною бактерий и вирусов. Под *таким* солнцем и растут *такие* люди.

Я подумал о том, не попи'сать ли мне здесь где-нибудь, по-

ка никто не видит. Соверша этот акт, я в первую очередь выражу пренебрежение к кастрированной американской действительности, а во вторую – проявлю свою застоявшуюся в пыльном шкафу русскую удаль – известно ведь, что американские копы могут за такую шутку арестовать и даже посадить в тюрьму. Играть с огнём – что может быть приятнее! О, этот адреналин в крови, заменяющий нам все остальные наркотики вкупе! Но вообще-то я уважаю закон, конечно, не американский. Но, во всяком случае, я уважаю полицейских, не меньше, чем наших милиционеров. Уважаю и побаиваюсь. Им дана власть, мы сами дали и теперь нечего обижаться, если они нас бьют по головам, поделом бьют. Это и есть прямое последствие делегирования власти. Вот так-то.

И я всё-таки решил не пи'сать пока. Всё-таки чужая страна. Да и пи'сать-то я пока не так уж сильно хотел. Вот если бы сначала попить пивка для рывка. За два часа можно даже не одну бутылку выпить. Но здесь что-то не видно ни одного ларька. Ни пива, ни – даже! – поганой кока-колы. Ну и дыра. Вот тебе хвалёный американский сервис! Может, какие-нибудь автоматы? Нет, и автоматов нет. Колонок у них тут на улицах нет – это ясное дело – я уже не говорю о колодцах. А зайдёшь в какой-нибудь дом попросить водицы напиться, получишь пулю в живот. В таком случае уж точно лучше идти в отделение или участок – или как там у них это называется? – там, во всяком случае, они обязаны выслушать тебя. Может и не напоят, а побьют и посадят, но зато потом уж

точно напоят – положено. Вот почему везде и всюду следует относиться с уважением к стражам порядка. И поэтому тоже.

Но что же я с собой пива не прихватил? Ну и память у меня! Еду Бог знает куда, жду Бог знает кого, и... И без пива. Пива нет. Вот какую табличку надо было вывесить на этой платформе, причём русскими буквами. Нет, пусть будет «Pivanet», да, именно вот так, слитно, – чем не название станции для многонациональной американской глубинки? Чем не слово из индейского диалекта, память забытых предков? Пиванет, Орегон – и всё такое.

Попи'сать, наверное, всё-таки придётся, но несколько погодя. Возможно, где-нибудь на станции есть туалет. Но что-то не видно. Тоже мне, культурная нация! Где же они срут? В кустах что ли? А где кусты?..

И я увидел кусты, довольно далеко от дороги. Не исключено, что это тоже были чьи-то частные владения. А между мною и кустами – сплошная, ровная как стол и выжженная до стерильности, американская пустыня – ни кактуса тебе, ни верблюжьей колючки. У меня зашумело в животе. Придётся бежать в кусты – если что. Ну ладно, если будут стрелять в тыл, это даже лучше, больше надежды выжить. И что они такие злые, чего ерепятся? Я им, можно сказать, собираюсь зелёные насаждения удобрить!

Кстати, о насаждениях. Я почти о них забыл, в этой буре мыслей. Надо их определять. Во всяком случае, попробовать определить, найти хотя бы что-нибудь отдалённо похожее на

наши виды. Хотя бы семейства-то я должен отличить одно от другого: бобовые, скажем, от розоцветных или... Ну вот, скажем, что это за кусты? Ей Богу, не знаю. И тем более отсюда – не могу определить.

Неширокая вымощенная дорожка уводила вверх к населённому пункту, название которого я не успел уразуметь из написанного над платформой. Что-то там было на букву «М», но деревня запросто может называться совсем по-другому, такое и у нас сплошь и рядом случается.

Впрочем, какая мне разница, как это называется. Чего же я хочу: попить или попи'сать? Или того и другого? Или – всё-таки найти какую-нибудь чахлую травинку и не сорвать, нет, но поклониться, точнее, поклониться ей, поцеловать её в пыльные хлорофильные уста. Но с былинками и травинками здесь было как-то совсем уж плохо – одни окурки да бумажки валялись по обочинам (а говорят, у них чистота!). Где же ваша хвалёная стерильность? В одном месте таки торчала травинка, но вся измазанная то ли в мазуте, то ли в дерьме. Если во втором – то значит здесь всё-таки можно?.. Во всяком случае – был прецедент. Я не решился целоваться с найденным объектом – при всей своей извращённости, я всё же не заядлый копрофаг.

Страшно мне здесь, иду как по минному полю. Веет ветерок, ветерок, которому я обрадовался бы на Родине. Там бы он мне остудил горячие виски. Но здесь он приносит только тревогу и, лишь на мгновение охлаждая виски, тут же вызы-

вает на них выделение горячей испарины. Так я теряю последнюю влагу. Ну, слава Богу, хоть пи'сать не надо!

Эти низменные мысли преследуют меня здесь, на этой земле! Или, может быть, я виноват, виноват в том, что принёс сюда свою ненависть? И борюсь теперь с фантомами собственного воображения. Как бы там ни было, но факты нашего сознания и объективные факты суть одно и то же. Точно выразился – аж самому понравилось.

И вот, что же я слышу – песня, да, птичья песня, не какой-нибудь банальный фолк или рок, никаких человеческих гармонизаций, никакой мертвечины. Птичка пела, как бы стесняясь, заикаясь, но всякий раз снова возвращаясь к прерванной песенке. Что-то она мне напоминала, очень напоминала.

Я прислушался – это не был кузнечик. Там более – не цикада. Пение раздавалось не из далёких пыльных кустов сбоку, но спереди, оттуда, куда уводила дорожка, т.е. из жилого сектора. Может, кто включил запись и поставил проигрыватель на подоконник? Мне как-то с трудом верилось, что здесь могут водиться настоящие, живые птички.

Любопытство заставило меня сделать ещё несколько шагов и подняться на невысокую горку. Оттуда я увидел заборы и что-то вроде сельского перекрёстка. Промежутки между дорогами и заборами даже кое-где поросли травой – о, чудо! Только если она не искусственная. Пение раздавалось с одного из участков. Да, это мне напомнило дачные участки

в Подмосковьё. Если какая-нибудь гадость – то это уж точно по-американски. Неужели там яблоня? Выступающая из-за сплошного забора шарообразная крона действительно очень походила на яблоню. Вот и определил одно растение. Нет, латинское название никак не всплывает.

Птичка пела внутри, в кроне дерева. Наверное, там у неё гнездо. Если только не посадили туда какую-нибудь поющую и – чем чёрт не шутит? – по совместительству истребляющую насекомых машинку.

Я долго мялся, прежде чем перешёл на ту сторону дороги. Эту дорогу, в которую упёрлась благоустроенная пристанционная тропинка, и впрямь можно было назвать просёлочной, потому что она было грунтовой, хотя и достаточно хорошей грунтовой, утрамбованной гранитной крошкой или чем-то в этом роде. Но даже такого я никак не ожидал здесь увидеть. Всё-таки это слишком напоминало оставленный дом. Да и забор вполне мог сойти за русский, те же доски, даже, кажется, смолой пахнут. Да неужели они их как следует не выдержали? Нет, в это уж я никак не могу поверить – наверняка, какой-нибудь ароматизатор.

А яблоня-то – настоящая? Мне ужасно захотелось подойти вплотную к забору и потрогать пальцами хотя бы один листочек – не пластмассовый ли, да и забор поковырять было бы желательно. Но ждут ли меня здесь? Поймут ли меня правильно? Это ведь в больших городах, может быть, ко всему привыкли, а здесь, можно сказать, дикая степь. Небось рус-

ских отродясь не видели. Ну что ж, буду первым – рискну. И я, как новый русский пионер на Западе, несколько неуклюже перепархиваю на ту сторону дороги. Даже пыль поднялась из-под пяток – ну прямо не Америка, а...

Птичка пела. Несмотря на моё приближение, которое она не могла не почувствовать, она продолжала петь и даже стала петь ещё громче. Это и понятно – она пыталось отпугнуть непрошеного гостя от оберегаемого ею гнезда, она намекала, что это место занято. Но я ей был не соперник, не самец того же вид, не кот, а лишь человек, зачарованный звуками. Нормально ли, что мы находим удовольствие в слушанье птиц? Почему-то считается, что нормально.

Я, затаив дыхание, сделал ещё несколько неуверенных шагов и наконец дотронулся до забора. Он был деревянный, настоящий деревянный с липкой смолой, наверное сосновый или что-то около того. Может быть, у них тут строят заборы из секвойи, которая как сообщает Обломов, живёт пять тысяч лет? Есть ли у секвойи смола?

Наряду со знакомым запахом хвои (хвои – секвойи?) и песня была знакома... Неужели соловей?! Да нет, я сразу отнёс это ни на чём не основанное нелепое предположение – яблоня, соловей – это уже слишком – как будто и не Америка, а...

Впрочем, мысли мои явно блуждают по кругу. Слушай и понимай, если это вообще возможно. Так сказать – внимай. Да, это всё-таки соловей. Я утверждаю это, но самому это ка-

жется кошунством. Откуда в Америке, спрашивается, взяться соловьям? Завезли? Тайно воруют у нас где-нибудь под Курском? Или скупают у бессовестных отечественных предпринимателей? Нет, наши соловьи поют по-другому. Но тут может быть своя раса. Раса Майера. Или всё-таки наши? Так-так. Всё-таки чего-то не хватает для полноты картины. Может быть, другой вид?

Я вспомнил. Точно. Виргинский соловей. Опять-таки, к стыду своему, не могу воспроизвести на латыни. Виргинский соловей – это всё, что я вспомнил, два слова, родовое название и эпитет – если только не ошибаюсь. Но чем отличается виргинский соловей от нашего? Ясно чем – поёт он по-другому. Всё встало на свои места. Я даже заулыбался, несмотря на то, что на фоне всех этих событий продолжал хотеть пить и пи'сать. Яблочко бы что ли сорвать с этой яблони, но должно быть ещё не созрели – весна всё-таки. А не цветёт. До самого низкого листика я так и не дотянулся – всё снизу подрезали, гады. Или – если это искусственное – то сделано, чтобы крона для ощупывания была недостижима. Но траву-то под ногами я теперь вполне мог потрогать ругой – можно даже рискнуть и пожевать, если окажется, что она настоящая.

Я попытался поднять ногу, чтобы встать поудобнее, намереваясь затем присесть не корточками и разобраться с травой. Но что-то помешало мне. Какие-то ремни сдерживали движение одной из моих ног – не иначе, попал в капкан – до-

прыгался! Вторая нога правда ещё сохраняла подвижность, но затекла. И долго мне так стоять? Тут я потерял равновесие и начал падать, невольно натягивая невидимые тяжи, сцепившие мою левую ногу. Страшно мне стало уже давно, но теперь пришла пора ужаснуться по-настоящему: из высокой травы прямо передо мной вдруг стали выглядывать, раньше каким-то образом скрывавшиеся там и бывшие совершенно незаметными, собаки. Та, что была ко мне всех ближе, очень напоминала таксу, отличаясь от тех, которых я видел на родине, лишь огромной величиною зубов и в частности клыков, прямо-таки не помещавшихся у неё в пасти, – такая саблезубая такса. От этих зубов до моей пойманной штанины было не больше двух с половиной метров. Я всё-таки устоял на ногах, хотя голова у меня кружилась так, будто я без страховки прошаживаюсь по канату над пропастью. Я схватился за голову и прикрыл ладонями глаза. Но теперь я совершенно отчётливо слышал, как такса рычит, рычит на фоне непрекращающегося идиллического пения птички. Я уже почти простился с ногой и – во всяком случае – со штаниной. Таких ужасных собак мне ещё не приходилось встречать, трудно было поверить, что эти теплокровные крокодилы способны выдерживать вес собственных перенасыщенных зубами голов. Головы у них и правда клонились долу, с языков сочилась клейкая, блестящая на солнце слизь.

Собак в траве, в непосредственной близости передо мной, было не меньше десятка. Все они возбуждились и встали на

ноги, когда я случайно потянул за постромки. Их стало видно, но они не могли толком сдвинуться с места, что и объясняло, почему они немедленно не атаковали. Не будь у них какого-нибудь крепежа, какого-то сдерживающего фактора, они бы уже непременно сожрали меня, обглодали бы как пираний. Глядя на их злобные и одновременно глупые (что нашим таксам не свойственно) вытянутые морды, я никак не мог сомневаться в их кровожадности.

Но как же теперь мне быть? Пробуя выбраться из силков, в которые я угодил, я могу ненароком освободить и собак, и тогда... Значит стоять и ждать, пока кто-нибудь мне поможет? Через два часа, нет, уже через час и сорок две минуты я должен быть на станции, чтобы встретить свою даму! Пока никаких хороших мыслей в голову не приходило. Попробую облокотиться на забор и послушать птиц. Авось, медитируя подобным образом, я приду к какому-нибудь удовлетворительному решению.

Солнце шпарило нещадно. Пот стекал у меня с макушки и, протекая между лопатками маленьким ручьём, впадал в штаны между ягодиц. Да, я в шортах, – так что можно не волноваться насчёт штанин, их попросту нет – просто застарелый страх, рефлекс – глотать, если что, будут сразу ногу. Хорошенькое утешение! И вся задница мокрая! И пи'сать – всё равно хочется!

Собаки рычали, шевелились и шевелили головами и хвостами былинки и тёмно-зелёные мясистые листья трав, в ко-

торых они так удачно до поры укрывались от моих взыскательных глаз. Птичка пела. Или – как мне начало казаться – наигрывали какие-то бубенчики-колокольчики, которые были неясным образом соединены с сетчатой попоной удерживающей в шахматном порядке собак. Неужели, всё это придумано только для того, чтобы подать хозяину сигнал об опасности? Это какой-то бред! Я бредил. Наверняка. Ещё бы – такое солнце. У меня, вероятно, солнечный удар.

И всё-таки: птичка это пела, колокольчики звенели или это звенело у меня в голове? Я слушал птичку и никак не мог отделить её пение от всего остального. И была ли птичка? Эти звуки начинали приобретать зловещий оттенок. И как я мог принять её за соловья? Это пропеллер какой-то... Нет-нет, виргинские соловьи так и поют... Откуда я знаю? Может быть, друзья давали мне прослушивать в гостинице запись? Ну да, там шумел вентилятор или кондиционер, поэтому мне и запомнился шум, этот пропеллер...

Насколько, спрашивается, наше бытие творит объективная реальность и насколько оно обусловлено тем, что происходит у нас в сознании? Я близок был к тому, чтобы потерять сознание. Элементарный перегрев. А может, у меня начиналось какая-нибудь заразная болезнь, американская. При всей местной стерильности – я ведь лишён иммунитета к местным микробам. Может, собаки меня заразили? Или птичка?

Я застонал, пытаюсь переминаясь с ноги на ногу, что мне не очень-то удавалось. Я уже не открывал глаз и изо всех сил

сжимал веки, словно намеревался протолкнуть глазные яблоки вовнутрь, чтобы там проснуться. Тут мне послышался скрип калитки и я почти равнодушно подумал, что это предсмертные эффекты – поскольку в Америке никогда и ни в коем случае не может быть скрипучей калитки.

Калитка оказалась прямо рядом со мной, приоткрывшись, она толкнула меня в плечо, и я опять чуть не упал. Поколебавшись, я всё-таки открыл глаза и, когда от них отлила лишняя кровь, никого не увидел. То есть – либо калитка открылась сама, например от ветра, либо кто-то открыл её и поспешил спрятаться. Версия с ветром была очень подозрительной, поскольку американские калитки наверняка прочно должны были закрываться изнутри. Вторая же версия пока ничем не подтверждалась. Птичка при открытой калитке стала петь ещё сильнее, или её ещё лучше стало слышно. Я наклонился, насколько мог, и заглянул в сад, ибо это был сад и ничто иное, американский сад. Узкая, в одну плиту, тропинка пологой короткой дугой вела к невысокому крыльцу – совсем как у нас на даче у какого-нибудь мелкого буржуина. Там, ближе к дому, лежала густая, спасительная тень. Мне даже показалось, что я смогу ощутить ладонями её вкус и запах, что-нибудь похожее на изабеллу. Ну да, ведь изабелла – американский вид, американский виноград – как и виргинский соловей. Я осмелел. А куда мне было деваться? Я захотел позвать хозяина, чтобы он помог мне освободиться. Человек ведь всё-таки. Надеюсь. Я шёл ва-банк. Я стал кри-

чать, одновременно пытаюсь, уже более активно, выдернуть из силка пойманную ногу, – может, это всё-таки не так безнадёжно? Собаки, было притихшие, угрожающе зашевелились. Стоит одной из них сорваться, и... Лучше бы сорвался я. Жёлтые, коричневые и пятнисто-чёрные, эти саблезубые таксы не производили впечатления чистой породы, какие-то неустоявшиеся эксперименты – не иначе, эволюцию ускоряли искусственно. Может, здесь где-нибудь неподалёку местный Чернобыль? Это многое объясняет.

Паче чаяния, скоро у калитки появился человек. Я не заметил, как он подошёл – точно специально подкрался. Хотя слово «подкрался» плохо вязалось с крупной одутловатой фигурой старика. Ему было явно за семьдесят, а может быть, и за восемьдесят. Грязноватая седая щетина, красные прожилки на подбородке, а сам подбородок блестит, будто смазанный жиром – не своим, выделяющимся вместе с потом, не то оставшимся от недавно употреблённой пищи.

Я опешил, увидев старика рядом с собой. Он же смотрел на меня, хотя и с лёгким удивлением, но совершенно спокойно. Во всяком случае, стрелять или гнать меня палкой она явно не собирался. В его глубоко упрятанных глазах можно было при желании отыскать сочувствие. А у меня было это желание.

Я открыл рот, но понял, что с дедом нужно разговаривать по-английски. Что я должен ему сказать? Зачем я собственно его позвал? На какое-то мгновение я забыл даже слово

«help», которое скандировал минуту назад, а вкупе с ним и международное «SOS» – эта аббревиатура тоже, кажется, имеет английскую основу... Но не об этом надо было сейчас думать! Я начал краснеть и от стыда снова терять равновесие. Небось смотрит на меня сейчас, как на полного и окончательного дурака! Так пасть в глазах какого-то американского пенсионера! Но я ещё не пал, нет, хотя и собирался, нужно было что-то сказать или хотя бы показать на пальцах, чтобы как-то разрядить обстановку. Странно, что ото всего этого у меня тогда не случился апоплексический удар. Дед почти не улыбался, а может и улыбался, но только тихо-тихо – этакая Джоконда. А я...

– Ду ю спик инглиш? – сказал я.

Дед поднял на меня усталые, вымученные жизнью глаза.

– Ай эм ин... – я всё никак не мог припомнить, как по-английски будет ловушка, хотя раньше знал, точно знал!

– Хэлп ми плиз... Фри ми! – нашёлся я.

– Yes, yes, – закивал дед.

Он наклонился с неожиданной грацией и поковырял в траве, в районе моей ноги, обеими руками. Я почувствовал его манипуляции сквозь мысок сандалии, но очень лёгкие, словно у меня по ступне бегал паук. И хотя по коже побежали мурашки, скоро я почувствовал, что могу двигать левой ногой.

– Плиз ... – сказал я, ошибшись от радости. То есть сэнк ю! Вэри мач!

– Yes, yes, – опять покивал головою дед, после того, как разогнулся со скрипом. У него явно что-то не в порядке было с коленками – может, вообще протезы – жертва войны и всё такое – Вьетнам.

– Yes, Korea, – похлопал себя дед по левому колену, мысли что ли читает? Мне стало немного страшно, хотя я и мог теперь же убежать, собаки всё ещё оставались в опасной близости. Может быть, отцепив меня, он и их освободил?

Птичка пела и заливалась за дедовским забором. Солнце, не отгороженное никакими облаками, выжимало из нас сок, как из каких-нибудь диковинных уродливых фруктов.

– Гив ми плиз сам дринк, – попросил я, надеясь, что он поймёт меня.

Дед задумался – то ли не понял, то ли глуховатый – это тоже очень вероятно, имея в виду возраст. Но слухового аппарата нет.

– Oh, yes! – нашёлся дед и расплылся наконец в ортодоксальной улыбке. Зубы точно искусственные – интересно, фарфор или пластик...

Он жестом пригласил меня в калитку. Я протиснулся, чуть не толкнув его в потный живот, марая спину об смолистый забор, чтобы быть всё время лицом к ненавистным собакам. Одновременно я поглядывал и щупал ногами, нет ли где поблизости камня – всё-таки какое-то оружие.

Пока мы шли по тропинке внутри сада, я всё пытался в уме сформулировать вопрос насчёт того, откуда взялись и

какую функцию выполняют пресловутые собаки.

– А ю э бос оф виз догс? – решился я спросить около крыльца.

Он опять посмотрел на меня прищурившись, будто взвешивая. Казалось, все слова он пропускал мимо ушей, но ловил что-то ещё и из этого делал выводы.

Не помню, что точно он ответил, но я каким-то образом понял, что эти собаки принадлежат некой пожилой даме, одной из его соседок, и, вероятно, подружек, и что она их таким весьма своеобразным образом выгуливает. Он сам был недоволен тем, что в этот день эта неуправляемая собачья упряжка прибилась именно к его забору. Дама, хозяйка собак, отличается мизантропией, и время от времени, не особенно интересуясь мнением остальных жителей деревни, начинает проявлять излишнюю активность по охране здешнего порядка. Это и понятно – полицейского днём со огнём не сыщешь на сто вёрст вокруг (это, конечно, преувеличение!). Правда, нет и откровенных преступников, но любой прохожий может быть потенциальным. На всякий пожарный случай – лучше всё-таки подстраховаться. И засада из собак в траве – как раз то, что нужно – они могут защитить всю деревню. И даже если кому-то из жителей не нравится сама задумка и чрезмерное проявление инициативы, судить они будут по результатам, когда наконец в расставленные силки попадётся какой-нибудь растиражированный в печати маньяк или банальный домушник, которому, однако, тоже нельзя

давать волю, чтобы не заматерел.

Как я всё это понял – и сам не знаю, ведь говорил-то мой собеседник по-английски.

– Но почему они не лаят? – спросил я.

– Это особая порода, – ответил дед.

Я опомнился, что спросил не по-английски, но он, кажется, тоже... Нет, не может быть! Наверное, он сказал что-нибудь вроде «This is a special kind». В общем, в голове у меня всё перемешалось, – от перегрева, от жажды и от разнообразных обрушившихся на неё эмоций. Кстати, лаят или лают? Никогда не мог запомнить. И тот и другой вариант читаются как-то странно. Чего-то в этом не хватает. Странное, короткое слово. В английском очень много коротких слов...

Дед куда-то исчез, но дверь передо мной осталась открытой. Вот она хвалёное американское гостеприимство! А впрочем, кто его хвалил? Но он выражает мне таким образом доверие. Что тут плохого? Он вовсе не похож на свою соседку, сумасшедшую тётку, которая всех готова заесть своими замечательными собаками. Да, люди везде разные, бывают плохие и бывают хорошие. В этом какая-то неизбывная пошлость, неизбывная пошлость бытия. Но ведь она удобоварима и даже приятна на вкус. Пребываем в приятности и покое, в тени садов у хорошего доброго человека. Птичка на ветке рядом поёт и не прячется. Аж в ухе уже звенит от этой птички.

И вот я ступаю под сень чужого дома. Нет этот домиш-

ко совсем не похож на замок коварного людоеда. Что-то он мне напоминает, что-то очень-очень далёкое – может быть, жилище моего прадеда, в неизвестно во что теперь обратившемся, Запорожье?

Но здесь всё, конечно, шикарнее – навес над крыльцом оплетает дикий виноград. Даже и не дикий, а изабелла, да, это изабелла. Потому-то меня так и тянуло в эту тень. Можно даже пощипать ягоды. Незаметно. Впрочем, очень мелкие. Всё же диковатый. Неухоженный. Всё здесь неухожено. Не очень ухожено. Оно и понятно, хозяин ведь стар. А социальные службы?

Я попробовал одну ягоду и выплюнул, дед опять скрипел по старосветским половицам мне навстречу. Крыльцо, не то прогнившее, не то проеденное какими-нибудь термитами, опасно подавалось под ногами. Но старик тяжелее меня и пока не провалился. Может, он полый внутри?

– Welcome! – поманил меня пальцем дед.

С ума сойти! Вперёд вёл коридор, застеленный ковровой дорожкой. В русских лучших деревенских традициях! И те же грязно-бордовые тона с продольными зелёными полосками. От этого странного зрелища у меня потемнело в глазах. А может, я просто впервые за последние полчаса ступил в настоящую тень.

Потом мы сидели на кухне, и дед кормил меня супом, похожим на окрошку и поил чаем с лимоном, холодным, но всё

же недостаточно холодным, чтобы можно было сказать, что он в истинно в американском духе.

Я почувствовал себя совсем уютно, когда мои ноздри привыкли ко всей гамме запахов этого дома. Самым удивительным тоном в этой палитре была моча. От старых людей часто чем-нибудь приванивает – не всегда успевает или забывает сменить трусы, а может быть, не очень-то и хочется – кого тут стесняться? Но это не то. Моча в сочетании с разными другими компонентами даёт совершенно разные и неожиданные ароматы, и воспоминания, которые они пробуждают собственно тоже очень разнятся.

Всё здесь, в доме, было совсем не так, как я мог бы представить и нарисовать, пользуясь своей убогой фантазией, которая могла опираться только на просмотренные фильмы и на прочитанные книги. Как должен изнутри выглядеть американский дом? А русский? Может быть, все мы живём в плену мифов, и потому не понимаем друг друга? Американцы уже давным-давно стали в своём обиходе походить на русских, а мы только учимся походить на американцев. Но на каких американцев? Где мы берём эти образцы и эталоны?

Всё мне напоминало деревенские дома моего детства. Конечно, не было печки – тут и так жара. А в остальном... Самое изумительное обнаружилось под умывальником, на кухне. Это было ведро. В такое ведро за неимением водопровода стекает вода, используемая для помывки в русских деревнях. Туда же выкидывают и всяческие другие жидкие и легко раз-

лагающиеся отходы, вроде, например, овощных или фруктовых очисток. Туда же по ночам мочатся, если на улице холодно или ненастно, или если просто лень выйти. Больные и малые дети мочатся само собой. Обычно в ведре плавают какие-нибудь обрезки огурцов, спитой чай и... Вот этот-то коктейль и ударил мне знакомой волной в ноздри. Я ещё не видел ведра, но сидел рядом с ним за столом и угадывал его присутствие.

Дед мыл сливы для меня, и вода, журча, стекала в металлическое (явно металлическое!) ведро. От всплесков запах усиливался. А птичка все пела где-то за стеной, хотя теперь это пение становилось каким-то нереальным. За разбитыми на квадраты рамами окна шумела и играла светотенями какая-то широколиственная растительность. Кусты словно наклонялись и на мгновение приникали к стеклу, стараясь рассмотреть кто там, используя для этого широкие листья, как внимательные пальцы.

Пахло и сливами, свежими сливами вкупе со всем остальным. Я почти заплакал, когда различил ещё и запах укропа. Закрою глаза и останусь здесь, и буду слушать, как шумит за окном американский ветер.

Дед осторожно потрогал меня за руку, я вздрогнул. Он указал мне пальцем на мои наручные часы и я понял, что рассиживаться здесь слишком долго мне не придётся. Я и так уже, похоже, злоупотребил гостеприимством. Интересно, сколько получают в месяц вот такие американские деды?

А то, может быть, им ещё можно позавидовать...

Пока мы общались с ним, он будто помолодел. Глаза ожились и словно поменяли цвет, они стали светлее, я заметил, что они серые. Наверное, он рад был неожиданному гостю, одиночество ведь в конце концов надоедает, даже если к нему очень сильно стремишься. Даже какому-нибудь завязатому йогу-отшельнику иногда до смешного хочется с кем-нибудь поболтать. Таков, человек.

Но не будем же мы проливать беззвучные слёзы, уставившись друг на друга. Что это за слюнявая сентиментальность? Или это песня о дружбе народов?

Я допивал чай и посматривал одним глазом за окно, на шевелящиеся листья, а другим на деда, который поставил только что передо мной на стол вымытые сливы. В блюдечке. У меня всё-таки выпала слеза, как грыжа из глаза. В таком или почти в таком блюдечке мне когда-то вполне могла поднести сливы бабушка.

Дед закивал головой, как китайский болванчик. Неужели у него начинается паркинсонизм?

– Сит даун плиз! – сказал я, заметив, что у него дрожат ноги.

Он тяжело опустился на стул рядом со ней. Вся мебель в доме не то разохлась, не то, наоборот, отсырела и грозила развалиться, но не разваливалась пока. Возможно, это произойдёт в один момент, и всё обратится в прах. Всё изнутри съедено термитами или муравьями. Но всё это уже когда-то

было... Вот именно.

– Вы со'лите огурцы? – спросил я по-русски.

Он никак не отреагировал и только с запозданием виновато улыбнулся, что, мол, пропустил вопрос. Наверное, ему было плохо – что-нибудь с сердцем или с сосудами. Он побледнел, на пятнистых висках выступила крупная испарина. Но почему здесь нет кондиционера или хотя бы вентилятора? Тоже мне Америка! А может быть, здесь электричество слишком дорогое?

– Вотс вронг? – нашёлся я.

– Nothing, – ответил он, тоже как-то удивительно совсем по-русски.

Ему и правда уже полегчало, снова появилась розовость на испещрённых склерозом скулах.

Время всё-таки ещё было, и он принялся мне объяснять разные вещи, касающиеся деревни, окрестностей, станции и заповедника, или, как тут у них это называлось, национального парка, который начинался сразу по другую сторону от железных путей. Я не всегда его понимал, но не оттого, что он говорил по-английски. Говорил он очень отчетливо – прямо таки оратор – закатывая мне каждое слово в ухо, словно какой-нибудь гулкий бильярдный шар в лузу. Просто слишком многое сейчас приходило мне на ум и отвлекало от текущего момента. Квадраты стёкол выходящего в сад окна напоминали мне стёкла какого-то чудовищного калейдоскопа, в котором барахтался и я сам, вскрикивая и кряхтя при по-

воротах цилиндра, – вокруг же раздавался сухой звон стекла. Или же я находился в гигантской паутине, в одном из её узлов, и дёргался как муха, и всё дрожало, и с паутины падала капля, свисая как атомная бомба, и, чтобы не слышать звука падения, я закрывал глаза и зажимал уши. Эти странные видения уводили меня слишком далеко от реальности. Но мне было приятно вернуться и вновь увидеть перед собой ставшее уже почти родным лица старика.

Он опять потрогал меня за руку, вернее положил сверху свою старческую руку на мои пальцы.

Я понял, что пора идти. Он вызвался меня проводить. Я отнекивался, но он сказал, что ему полезно ходить пешком и даже хорошо, что есть какая-то особая цель для прогулки. Тут, в городке, всё развлечение – ходить на станцию и смотреть на проходящие поезда. И это мне тоже что-то напоминало.

Я долго благодарил и кланялся, а дед кивал. Я так долго кланялся, что даже испугался, что тоже заболею паркинсонизмом.

На тропинке в саду я оглянулся на птичку. Она всё пела, напрягая маленькое горлышко. Горлышко было какое-то желтоватое. Нет, это был не соловей. Хотел спросить деда, но понял, что уж точно не знаю, как по-английски соловей. Надо было больше поэзию читать, какого-нибудь Китса, в оригинале. Или Шекспира... Ведь читал, а ничего не помню. Там соловей замолкает летом, а этот? Но раз такая у них

весна...

– Бёрд? – только спросил я у деда.

– Bird, bird... – с готовностью закачал он головой.

С таким же успехом я мог бы спросить «Три?» или «Сонг?». Всё равно в каком-то смысле мы бы друг друга поняли. А был ли смысл в других смыслах?

Опять-таки пришлось проходить мимо собак. Та сетчатая конструкция из ремней, которая их, к счастью, сдерживала от нападения, теперь стала мне более ясна, хотя далеко не до конца. Я ухитрился попасть ногой в одну из петель и в общем-то мог сам выбраться на свободу, если бы не так испугался. Собачки могли бы сдвинуться с места и всем кагалом наброситься на меня, если бы их не удерживали, вбитые в землю и почти не видимые в траве, колышки. Они гуляли, как у нас часто гуляют коровы или козы, – на привязи. Впрочем, гулянием это трудно было назвать – они едва могли передвигать ногами – только приподняться и опять лечь или полуприсесть – кожаная сеть не выпускала их высоко, хорошо ещё – у такс короткие ноги. Оставалось загадкой, почему экстравагантная дама выбрала для расположения своих собак участок явно принадлежащий не ей, примыкающий к чужому забору. Единственное объяснение – потому, что он ближе других к дороге, ведущей от станции, откуда преимущественно и ожидались злые чужаки.

Моему благодетелю тоже явно всё это не нравилось. Я хотел у него попросить ещё водички в какой-нибудь бутылке, с

собой, но не решился из ложной скромности. Впрочем, мне почему-то не хотелось поить дедовской водой прибывающую ближайшим рейсом мою подружку. У меня в душе была к ней лёгкая враждебность. Что она мне сделала? Отчего-то я не хотел об этом думать. Лучше слушать, как поёт виргинский соловей, смотреть, как сверкают на солнце клыки саблезубых такс, и улыбаться. Примчавшийся с улицы ветерок имел отчётливый привкус полыни, я и этой горечи улыбнулся. Растёт ли в Америке полынь?

Дед ходил аккуратно и бесшумно, как слон. Я вспомнил о его больных ногах. При каждом шаге казалось, что его ноги сейчас подкосятся, а то и вывернутся коленками назад, как у кузнечика. Но этого, слава Богу, не происходило, раздавался только пластмассовый хруст. С протезами, говорят, даже бегают марафоны... М-да... У того, у кого нет ног, существуют особые стимулы к бегу.

Станция приближалась. Дед сзади спускался так осторожно, точно под его подошвами были не бетонные плиты, а залитая льдам детская горка. Уклон был небольшой, он не поскользнулся и не упал, я даже не успел подать ему руку, как он очутился рядом со мной на явно безопасном месте.

Поезд уже подходил. Звук, который он издавал при этом не вызывал у меня никаких новых ассоциаций. Я почему-то вспомнил про птичку и оглянулся, за стуком колёс её песню уже не было слышно.

Мы немного опоздали. Когда я оказался на платформе,

двери вагонов уже стали закрываться. П-ф-ф! – сработала ничем не отличающаяся от нашей пневматика.

Метрах в двадцати от меня стояла молодая загорелая женщина, действительно загорелая и действительно в солнцезащитных очках. На ней был цветастый топик и узенькие джинсы, наверное боялась ободрать поклажей коленки и потому не надела шорты. Вокруг в живописном беспорядке валялись какие-то не совсем понятные крупные предметы.

При моём приближении женщина всплеснула руками, затопала ногами и стала причитать. Поезд тем временем зачуhal с глаз подальше и вскоре исчез.

– ... был? – услышал я конец вопроса, когда это стало возможно.

Старик в это время только ещё, пыхтя, взбирался на ступеньки платформы. Я опередил его бегом, предчувствуя расплату за несвоевременную явку.

– Ты слышишь меня? – спросила она.

– А? – я снова повернулся к ней, оторвав сочувственный взор от ковыляющего к нам старца.

Больше на платформе и в здании станции, кажется, никого не было. Даже птиц или собак.

Вдруг наступила зловещая тишина, только едва заметное дедовское шарканье. И соловья не слышно.

Звякнул и покатился упавший на бок баллон для подводного плавания. Я с некоторым неудовольствием осознал, что мы именно для этого сюда приехали. Я подставил ногу, что-

бы баллон не рухнул на рельсы.

– Ловкач, – сказала подруга.

Я всё никак не мог разглядеть её получше. Какая она? Да и следовало ли так уж пристально разглядывать? Купаться так купаться.

Я познакомил её с дедом. И она вроде бы слегка смягчилась. Она весьма и весьма приветствовала всяческое общение с местным населением. И по-английски она говорила не в пример лучше меня, у нас бы сказали «владела в совершенстве». Так, что они сразу же запели на два голоса, а я едва поспевал улавливать хоть какую-нибудь суть из их ускоряющегося галдежа.

Она первым делом пожаловалась, какой я недотёпа, и извинилось за меня, а потом сразу рассказала страшную историю о том, как ей пришлось настрадаться, пока она тащила все эти штуки сюда одна. И если бы не милый молодой человек, с которым она случайно познакомилась в вагоне (это упоминание, очевидно, должно было вызвать у меня реакцию равенности), то ещё не известно, сумела бы она выгрузиться на этой платформе. Во всяком случае, часть инвентаря она точно бы повредила, выбрасывая его как попало на перрон. Но молодой человек помог ей выгрузиться, а машинист (может, это был автопилот?) любезно подождал, пока она не заберёт все свои пожитки, и не отчаливал и не закрывал двери, рискуя нарушить график и получить нагоняй от начальства, пока не убедился, что с высадившейся пассажиркой всё

в порядке. Такое внимание! Ещё бы, она тут у него была одна пассажирка. Ездит ли вообще ещё хоть кто-нибудь в этих поездах? Разве что милые молодые люди...

Дед же, увидев наше снаряжение и уяснив таким образом цель нашего прибытия, принялся с жаром объяснять по какой такой причине интересно для исследования дно именно этой бухты. Всё это я уже слышал на кухне, но пропустил мимо ушей. Подруга же моя была само внимание. Американцев она всегда слушала, раскрыв рот и распахнув глаза. Надо ей, что ли, посоветовать очки снять – а то кто оценит? Интересно, она в самом деле всего этого не знает или из вежливости? Даже я этого не могу понять.

Я уже совсем перестал понимать, а чём они говорят. Было очень жарко, только что перевалило за полдень. Я почувствовал, что очень устал и мне захотелось сесть, но на платформе, как на зло, не было никаких скамеек. Тоже мне забота о людях! Я мог бы присесть на один из наших рюкзаков, но не решился, боясь попасть под очередной град уничижительных реплик. Лучше буду слушать птичку, её опять слышно, она поёт там, далеко, в дедовском саду. Птичка и ветерок – вот мои друзья. И зачем всё время париться на солнце? К чему весь этот загар? Сами ведь американцы говорят, что она вреден...

Подруга брезгливо дотронулась до моей потной спины.

– Ворон ловишь? – спросила она.

– Почти, – ответил я измождённо.

– Right, right, – оптимистично затараторил дед и стал нас подталкивать куда-то мягким обширным брюхом.

Оказывается, мы шли к морю. Ну да, чтобы надеть акваланги и нырнуть в пучину. Я этого, кажется, никогда в жизни не делал. То есть с аквалангом. И что это меня на такие авантюры потянуло? Наверное, подруга виновата. С подругами всегда так: они утверждают, что нужно лезть на Джомолунгму или нырять в Марианскую впадину, и попробуй отвертись. Они ведь сами лезут вперёд, ты только сопровождаешь. А как не сопроводить? Как – если ты не хочешь её потерять? А в самом ли деле я так уж этого не хочу? Может... Но отставим нехорошие мысли. Не теперь. Я, разумеется, буду нырять вторым. Но это ничего не значит. Пусть проверит дно, температуру воды. А я следом. Вот и всё.

Дедушка уже в третий раз, по крайней мере для моих ушей, объяснял, что в недавно устроенном здесь национальном парке намереваются строить дамбу и шоссе, вернее то, что у нас называется эстакадой. Ему и всем жителям городка это очень не нравится, поскольку нарушение экологии плохо скажется не только на животных и растениях, которых вроде хотело охранять здесь правительство, но и на них самих, т.е. на человеках. Они протестуют как могут, но олигархи делают что хотят. Дедушка хочет взять ружьё и стрелять в случае необходимости, защищая дикие просторы от посягательства не в меру предприимчивых сограждан. И так далее и тому подобное. Что-то из голливудского киноромана. Он, Голли-

вуд, кстати, здесь неподалёку, так что ничего удивительного. Кинопродюсеры черпают сюжеты из жизни, а жизнь обкрадывает самих кинопродюсеров. Благо, у них есть, что взять.

Дедушка хочет, чтобы сюда приезжали туристы со всех стран, но чтобы они вели себя хорошо – не курили, на сорили и не плевали в бухту, которую мы сейчас видим перед собой.

Бухта была молочно-голубой. Подозрительно молочно-голубой, поскольку в сухом воздухе не чувствовалось никакого намёка на туман. Словно кто-то оставил для воды окошко на ярком масляном полотне и заполнил его пастелью. Нырять во всё это мне почему-то не хотелось.

К тому же, из всех этих разговоров я понял, что и смотреть-то там, под водой, вообще не на что. Никаких тебе коралловых рифов, ни соответственно разноцветных рыб. Акул здесь нет, так что и бояться нечего. Хотя одного, говорят, съели. Съели или не съели, не знают точно. Может, сам уплыл. Мало ли чего случается по пьяни, или там наркотики тем более. Ничего толком не знают. Был человек и нет человека. Прямо как у нас. А полиция? А что' полиция? Да, что толку с вашей полиции, если бабушкам приходится защищаться при помощи такс-мутантов...

Только не очень мне понятно, о каких таких деревьях всё талдычит этот старик. Он мне стал почти родным, а теперь уже надоел, особенно с тех пор, как стал беседовать не со мной, а с подругой. Скучно.

"Trees, trees..." – ну и что триз? Сам знаю, что триз! Ка-

кие деревья могут быть под водой? Водоросли? Перевернутые? На голове что ли стоят? Мне причудилось что-то вроде отражения леса в воде, картина в духе Куинджи. Я подумал, что об это отражение можно разбить себе лоб. Но ведь там плохо видно – какое-то молоко. Деревья огромные, триста, нет, шестьдесят метров. Триста – это самое большое, которое было измерено. Но мы всё равно так глубоко не нырнём – кишка тонка. Я и не собираюсь погружаться глубже десяти метров. Даже на этой-то глубине я не уверен, что буду чувствовать себя хорошо. Зачем мы туда лезем?

При этом мы уже раздеваемся, и я не без облегчения стягиваю с себя липкие шмотки. И трусы бы снял, но как-то перед дедом неудобно. И потом – в традициях ли это – в акваланге и без трусов? Вот она – могла бы старичка порадовать, хотя бы топless... Нет, зачем? А вдруг у него случится сердечный приступ? Или ему уже это недоступно?

– Деревья, деревья, – дед всё показывал руками, как они растут и тянутся со дна.

Как бы там ни было, а искупаться в самом деле было бы неплохо. Мы стояли на бетонной набережной. Прямо под нами, всего на метр ниже, начиналась неведомая глубина. Края бухты едва угадывались по зеленоватым очертаниям растительности. Одна только чайка появилась и исчезла из виду. Никого. Пустота. Пустыня. А я полагал, что Америка густонаселённая страна. Во всяком случае, бытует мнение, что тут полным полно дураков, которые любят плавать с аквалангом.

Может, они тусуются где-нибудь в другом месте? А мы оказались здесь по неопытности? Куда смотрела подруга? Почему она выбрала именно эту бухту?

Только море пахло успокаивающе, йодом и всё. И оно почти не шумело, только шипело как змея, но птичку, разумеется, уже не было слышно. Без неё мне стало как-то тревожно. Я увидел ещё насекомое, колыхающееся на низкой волне, что-то вроде колорадского жука, он перебирал лапками.

– Ну! – она уже была одета, т.е. экипирована. Купальничек в голубовато-розовых тонах, тоже пастель, под цвет моря. Как это она угадала?

Ей, как всегда, пришлось ждать, пока я водружу на себя своё обмундирование. Если бы я ещё знал, как это делается. Она и даже дед принялись помогать мне, и от усердия чуть не столкнули меня раньше времени в воду.

С баллоном за плечами, в маске и с загубником во рту было совсем не так, как можно было бы предположить. Но и в этом угадывалось что-то знакомое. Это – как лёгкое и холодное прикосновение медицинского инструмента. Не всякому делали ампутацию, но всякий фантазёр представлял себя на хирургическом столе. Да-да, это маска с наркозом! Мне даже захотелось её сразу же снять. Но подруга подтолкнула меня кулаком в спину.

– Ты как? Нормально? У тебя глазки какие-то... поплыли.

– Паплылы, – пробормотал я.

– Swim, swim, – подтвердил паркинсонизирующий дед.

И мне показалось, что сквозь стук крови в ушах я вновь расслышал маленькую птичку – может, ветер подул с той стороны?

Я посмотрел на свои лапы и подумал, что всё это наверняка выглядит комично. Этаким патриарх провожает говорящих лягушек в океан. Дед стал величествен, бриз теребил ему остатки волос, он опять мне кого-то очень напоминал, кого-то из детства. Я простил ему назойливость, с которой он повторял, что деревья хорошо растут, потому что их не едят тюлени. Но они надеются... Да, что тюлени здесь будут... Разве тюлени едят деревья? Тюлени едят рыбу, дед! Как и люди, ничем не хуже...

Она уже нырнула. Глядя на трясущийся дедов подбородок, я кивнул в ответ. Стекло у меня уже запотело, надо было на него поплевать.

Я прыгнул и как-то так и не почувствовал резкости перемены. Может быть, потому, что вода была почти такой же температуры, как воздух? Я увидел бесконечное количество былых пузырьков, поднимающихся и рассыпающихся в мутно-зелёном растворе. И только тут до моего сознания добралась последняя фраза деда, произнесённая им нам в напутствие, абсолютно по-русски: «С Богом!»

Волчок и крепость

«Чтобы успокоить разум, надо проглотить слюну...»

И вот я сижу в доме, куда, может быть, хотел попасть всегда. Любовь следует неведомыми тропами, и вряд ли жестокое влечение сердца, которое привело меня сюда, можно назвать корыстью. Меня никто не приглашал, и тот факт, что мне не на что здесь рассчитывать, разумелся сам собой. Но то, что зрело во мне тёмными ночами и яркими днями в течение лет, не могло не найти себе какой-нибудь выход. Отчего человек становится снарядом, летящим в цель? Выбирает ли он эту цель? Каково этому снаряду думать на лету, что он разобьётся в дребезги, так и не пробив малейшей бреши во встречной броне?

Я сижу за столом в комнате и пью чай, и боюсь поднять глаза. Мне тепло, я пришел погреться здесь, как на солнце. Вот эта женщина с умным и почти жестоким лицом могла бы быть моей тещей. Впрочем, нет, любовь, как и история, не терпит сослагательного наклонения. Этого не могло бы быть никогда и ни при каких обстоятельствах. Зачем же я тогда сюда припёрся?

Меня уже вот-вот отсюда попросят. Моя любовь, старшая дочь и сестра в этом доме, не хотела, чтобы я приходил. Но я позвонил в дверь. Кажется, я позвонил в дверь, – потому что как иначе ещё я мог войти? Хотя со мной случались и другие странности: я выламывал двери и влезал через форточки. Но тут вряд ли, я всё-таки слишком чувствовал свою обре-

чённость, это была уже не детская робость, но и не молодецкая удаль. Когда отчаяние остывает, оно становится льдом, и действия могут происходить как под наркозом. Была ли у меня хоть какая-нибудь надежда? Я сидел и улыбался как идиот, я улыбался жалобно, как не пристало улыбаться мужчине. Но это была искренняя улыбка, губы сами растекались в ней, как в каком-то ностальгически вкусном сиропе. Я немного стыдился себя, но не более, чем если бы у меня была лихорадка на губе. Я не мог скрывать свои чувства, они давно вышли на поверхность и кровоточили. Всякому всё могло стать ясным при одном взгляде на моё лицо.

Я позвонил в дверь, и она открыла, даже не заглянув в глазок. Естественно, мой визит вызвал у неё удивление. Всегда забавно повстречать ещё раз хоть отчасти знакомого человека. Но в следующий момент, в подавляющем большинстве случаев, уже думаешь, как от него отвязаться. Ну, поздоровались, а в общем-то больше и разговаривать не о чем – у тебя своя дорога, у меня своя.

– Здравствуй, – сказал я.

– Здравствуй, – сказала она и сделала головой движение, которое, если его развить, могло бы сойти за старорежимный книксен.

И вот уже в её светлых глаза замерцали иголки. Чего ради она должна стоять на пороге и пялиться на меня, рискуя простудиться на сквозняке. Тем более, мне известно, что у неё склонность к бронхитам и когда-то она лежала в санато-

рии для детей, предрасположенных к туберкулёзу. Однажды я рассказывал о ней одному моему другу, и он спросил, где мы познакомились. Я сказал, что мы лечились в одной психушке, и он поверил, не найдя в этом ничего необычного. Я не стал его разубеждать. Ему было совершенно всё равно, парился ли я когда-либо в психушке или нет, он воспринимал меня таким, каким я был в настоящем. И это характеризовало его в высшей степени положительно как друга.

Но отчего я, не раздумывая, поместил нас с ней в психушку? Сказать ей об этом? Может, я уже говорил? Откуда это странное ощущение сговора и внутренней связанности, если она вовсе не стремится к сближению со мной? Неужели это только иллюзия? И как так может быть. Если ты чувствуешь человека как родного, а он говорит, что ты для него чужой, не тот? Может, в этом состоит таинство рода? Может быть, таким образом не нарушается табу и не происходит инцеста?

Я смотрю в твои глаза и знаю, что ты знаешь то же, что знаю я, но отчего тогда у тебя это желание – оттолкнуть меня? Самое простое – истолковать всё в терминах внешней привлекательности. Будь я красавцем писанным, быть может, ты бы меня и не прогнала. Но будь я красавцем – скорее всего, я бы и не пришёл. Всё это очень просто, вернее, кажется простым, потому что привычно. Что-то подобное происходит испокон веков. Люди, абсолютно доверяющие науке, схватятся за объяснения насчёт животных инстинктов и это их временно успокоит, как успокаивает верующего молитва.

Животный инстинкт не велит тебе любить меня. Пусть даже так. Но что это для меня меняет? Дело не в объяснениях, а в непреодолимости стены, разделяющей нас. Кто её создал, для чего? Неужели я лишь прискорбно заблуждаюсь, пробуя в тысячный раз пробиться хоть как-нибудь? «Бессмысленно, бессмысленно», – говорит толпа доброжелателей в одном каком-нибудь усреднённом лице. Это народная мудрость, мудрость веков. Но сытый голодного не разумеет, а трезвый пьяного – тем более. И никогда не понять невлюблённому влюблённого. Как вы можете меня учить смыслу жизни, если вы ещё не любите или уже не любите, или вообще никогда не любили и не собираетесь любить? Как вы можете учить меня смыслу, если не подозреваете что это такое? В лучшем случае, вы можете научить меня выживанию, любой ценой и неизвестно для чего, научить покою, который в конце концов кончается смертью. Разве я и без вас не знаю, что можно спокойно жить и умереть?

Любовь легче всего назвать болезнью, и со стороны это выглядит именно так. Но представьте себе больного, которому может помочь только *один* врач. И именно этот врач отказывает ему в лечении. Отчего же всё это так безнадёжно? Кто хочет, чтобы было так?

Но теперь, когда я рядом с тобой, боль моя ненадолго стихает, она плавится и течёт как воск. В сердце тает ледяная стрела, и она сладко и беспомощно плачет. Невлюблённому скучно читать о чужой любви, невлюблённому противно,

когда герой распускает безудержные слюни на пороге у возлюбленной. Может ли быть что-либо более постыдное? Вот уже перед нами не человек, а разлившаяся лужа...

Ты могла бы ничего больше не говорить и захлопнуть дверь перед моим носом. Но тут в прихожую вышла твоя мать. Не знаю, насколько ей свойственно любопытство, но видимо она решила проверить по какому поводу дочка открыла дверь. Похоже, что у вас незадолго до моего прихода случилась какая-то перепалка. Обе вы были немного взмылены и старались не смотреть друг другу в глаза.

– Кто это? – спросила мать.

– Знакомый, – не оборачиваясь, ответила дочь. – Он сейчас уйдёт.

Я виновато опустил голову и переминался с ноги на ногу, как удара дожидаясь хлопка дверью.

Мать подошла.

– Здравствуйте, – сказала она.

– Здравствуйте, – я вымученно улыбался, не смея разглядеть её как следует.

– Почему ты не хочешь пригласить молодого человека? – спросила вдруг мать строго.

Дочка молча отошла от двери и уже откуда-то из глубины квартиры крикнула:

– Если хочешь – приглашай!

Мать недоумённо пожала плечами. Пожалуй, это был единственный в своём роде момент. Если бы она сейчас не

хотела досадить дочери, не дожидаться бы мне этого приглашения. Тот самый пресловутый животный инстинкт привёл меня точно и в срок. Неужели это мой шанс?

Мать посмотрела на меня оценивающе. Я уже успел собраться и поднять подбородок.

– Зайдёте? – спросила мать.

– А это удобно? – спросил я.

– Не стесняйтесь, – она освободила мне проход, и я дрожащими ногами переступил порог.

На улице было холодно, и я здорово замёрз, но в подъезде согрелся и даже вспотел. Теперь же меня вовсе бросило в жар. Я поспешно разделся, хотел было снять и свитер, но решил, что рубашка моя не будет выглядеть достаточно эстетично. На лбу да и, наверное, по всему лицу у меня выступили крупные капли пота. Мать смотрела на меня с некоторым сочувствием, но на дне этого сочувствия угадывалась брезгливость. Сейчас я обнаружил в ней явное сходство с дочерью – этакая ни чем не мотивированная холодность, странная природная гордыня. Да способен ли такой человек вообще хоть с кем-нибудь соприкоснуться слишком близко? Плакала ли когда-нибудь эта женщина от любви? Если и плакала, но считает теперь это глупостью. А что если – нет? Никогда? От такого предположения мне сделалось вовсе страшно и меня из жара бросило в озноб, тем более, что где-то здесь была открыта форточка, и сквозняк тянул по коридору мне за мокрый воротник. Может, от меня пахнет потом?

– Проходите в комнату, – указала мать.

Я пошёл в носках, неуклюже спотыкаясь об расставленную в коридоре обувь, и сразу вляпался в грязь, натёкшую с моих же ботинок. Пятке стало холодно и липко, и я подумал, что у меня, может быть, не совсем свежие носки, да и нет ли в них дырок? Мать покровительственно улыбалась, наблюдая за моими неловкими топтаниями. Всё это тянулось медленно, слишком медленно. Звуки, доносящиеся из подъезда и откуда-то из-за невидимого окна были гулки и нереальны; здесь, где-то в стене, журчал водопровод, потрескивало электричество. Я искал её голос и не находил его. Откуда-то слышались торопливые шаги и смех. Там был ещё кто-то, вряд ли это была она. Ну да, у неё же есть младшая сестра, как я мог забыть...

После полутьмы лестничной площадки и коридора, комната ударила в глаза ярким светом. Она была квадратная, с тёмной мебелью и квадратным же старомодным столом почти посредине.

– Садитесь, – пригласила меня мать; и я увидел в углу на диване светловолосую девочку, которая, хихикая, прятала личико в коленях.

– Это моя младшая дочь, – уточнила мать.

Я сел на шаткий стул под большой люстрой из чешского стекла. Девочка не собиралась уходить и короткими взорами стреляла в мою сторону. Пожалуй, я здесь интересовал её более, чем остальных. Я не мог ей не улыбнуться, и посколь-

ку влюблён был не в неё, а в её сестру, улыбка эта получилась не такой подавленной. Она спрятала глаза, но это была игра, не похоже было, что она слишком смущена. В ней угадывалась та же порода, что в матери и сестре, хотя на последнюю на первый взгляд она была совсем не похожа.

Я сидел и боялся слишком активно озираться по сторонам, хотя углами глаз жадно ловил всё доступное. Справа от меня высился древний сервант, где поблёскивала парадная посуда, кажется, на сервант присела муха. Откуда они здесь зимой?

– Хи-хи, – сказала девочка, чтобы напомнить о себе, не засмеялась, а именно сказала.

– Как тебя зовут? – спросил я.

Она ответила, и я понял, что не узнал ничего нового. Я давно знал это имя и оно давно стало для меня роковым. В сущности, для меня это не её имя, не имя конкретного человека, а имя абстрактного тяжёлого предмета. Предмета, который мне плохо даётся, как плохо даётся какой-нибудь предмет в школе. Это короткое слово, которое она произнесла в качестве своего имени, ввело меня в какой-то ступор. И без того всё происходящее здесь не слишком напоминало реальность. Я сидел и оттаивал, а мне, может быть, надо было собраться и сделать что-то от меня зависящее, чтобы переломить линию судьбы, разорвать круг... Но всё легко сказать. И есть конечно же немало полезных вещей, которых волевые люди добиваются волевыми актами. Но если ты за-

ранее уверен в тщете своего предприятия? Если у тебя нет или почти нет иллюзий? Делай, во что бы то ни стало? Не боясь выказывать тупое упрямство? Не стесняясь прибегать к хитростям?..

Что' это я рассуждаю как завзятый рационалист?.. Вот рядом со мной сидит девочка, не то Дюймовочка, не то Русалочка. Это существо тоже , вероятно, кому-нибудь подарит свою любовь. Неужели и у неё всё будет наперекосяк?

Мне бы сейчас поговорить с ней, выяснить хоть что-нибудь насчёт её сестры. Дети бывают болтливы. Возможно, за десять минут я узнал бы о своей любимой больше, чем за всю предыдущую историю знакомства с ней.

Явилась мать с чаем. Мне не очень-то хотелось вести с ней светские разговоры. А что' если в виде шутки попросить у неё руки старшей дочери? Я усмехнулся про себя этой мысли.

– Ну, рассказывайте, – сказала мать, присаживаясь со мной рядом. Для её возраста это была лёгкая и даже грациозная женщина. Сидя за столом, я невольно был вынужден смотреть на неё искоса.

Вдруг вошла *она*. Вероятно, *ей* что-то нужно было взять в этой комнате. *Она* увидела меня и осеклась:

– А... вы все тут? – сказала она.

– Да, а ты не будешь чай? – нарочито спокойно спросила мать.

– Подожду.

Мать пожала плечами.

– Не знаете, где моя резинка? – спросила она и подозрительно взглянула в сторону сестрёнки, та захихикала и привычно зарылась лицом в колени.

Она погрозила ей пальцем. Посмотрела на меня, ещё раз по углам и неслышно вышла.

– Вы давно знакомы? – спросила мать, когда она скрылась.

Я кивнул.

– Угу... Вы пейте, пейте чай. Вот конфеты.

– Спасибо.

Мы замолчали. Я отхлебнул чая. Он был густой и вкусный. Мать скучающим взглядом уставилась на люстру; я подумал, что она, в конце концов, что-нибудь скажет о ней, но не угадал.

– Вы работаете или учитесь?

Я смотрел на неё и старался понять, что она имеет в виду на самом деле. Во всяком случае, в её тоне не содержалось ничего для меня обнадеживающего.

– Ты будешь чай? – обратилась она к младшей дочери.

– Ну, конфеты-то она точно будет, – обратилась она ко мне.

Девочка, не вставая, переползла по дивану поближе к столу.

– Даже удивительно, что она такая тихая, – сказала мать. – Это вы не неё так действуете. Ну, так ведь у нас не так часто бывают гости. Особенно молодые люди, – она сделала ка-

кой-то не совсем понятный жест в мою сторону.

Девочка спрятала лицо в чашке. Она сидела совсем рядом, и мне захотелось погладить её по лёгким волосам. Если бы не присутствие матери, я бы это сделал.

Какое-то время я усердно жевал и запивал конфету, это оправдывало моё молчание. Мать смотрела на меня, как на диковинное насекомое. Я чувствовал себя очень странно. Мне было неуютно, от чая я опять начал потеть; по полу тянуло, и мёрзла мокрая пятка. Но при этом по телу разливался какой-то давно позабытый, а может и никогда ещё не испытанный мною прежде, покой. Я словно добрел до цели и теперь имел полное право отдохнуть. Этот чай был моим призом за долгие-долгие вёрсты безлюдной дороги.

Наверное, именно эта, отражающаяся на маём лице и фигуре смесь чувств, вызывала любопытство у хозяйки квартиры. Захаживали ли сюда раньше какие-нибудь женихи? Отчего мне сразу так уж полагать, что я других хуже? Внутри у меня ширилось какое-то опасное благодушие, расслабляясь, я утрачивал готовность к нападению. А вдруг я вызову у этих жёстких людей желание ударить меня поддых? Я всё это предчувствовал, но ничего не мог поделать с собой. Я праздновал свою маленькую победу. А на что ещё я мог рассчитывать?

Забавно вообразить себя своим в этой семье. А мог бы здесь быть хоть какой-то мужчина своим? Может быть, у маленькой, когда она будет жить отдельно, и будет свой муж-

чина. А этим, мне кажется, все мужчины чужие. Мать разведена, и отец девочек живёт где-то отдельно. Возможно, он даже уже умер. Припоминаю, что *она* говорила мне что-то насчёт его болезни. Вряд ли бы я смог существовать в этом матриархате. Тогда чего же я хочу? К чему стремлюсь? Почему меня привлекла девушка, плоть от плоти, кровь от крови этой матери? Чем-то конечно они все похожи на хищных кошек. С некоторых пор кошки мне нравятся больше, чем собаки. Но от кошки не дождёшься собачей любви. То есть – я люблю любить, но не очень-то люблю быть любимым. На что же тогда обижаться?

Пришлось начать новую конфету, потому что я совершенно не знал, о чём мне следует, а о чём не следует разговаривать. Моя младшая сотрапезница тут же проявила солидарность, и, пачкая пальцы шоколадом, отправила целую конфетину себе в рот. Это выглядело мило и нарочито комично. Если в ком-то здесь и есть что-то собачье, то только в ней, но и это, боюсь, с возрастом пройдёт.

Я задумался о том, что мне, может быть, стоит подождать её совершеннолетия. У меня ничего не получается с её сестрой, но вдруг с ней получится? Гляди-ка, она уже теперь кокетничает со мною! Но что-то в самой глубине души давало отрицательный ответ. Это не твоё место, ты здесь в первый и, скорее всего, в последний раз. Не случайно, отнюдь не случайно. Вообще, не бывает ничего случайного. Но приведшая тебя сюда закономерность имеет значение только для тебя.

У них, у этих людей, какие-то другие ценности. Тебе их не понять, а им тебя. Но как же тогда ты можешь любить?

В ответе на этот вопрос содержался какой-то невероятный космический смысл или космическая бессмыслица. Ответ был слишком огромным, убогий мозг явно не мог принять его во всей полноте. Огромность цепенила сознание. Наступало какое-то ошеломление, увы, не благоговение. Но и такая заморожённость была благом, поскольку унимала душевную боль.

Нет ничего банальнее идеи о психологической природе времени. Ясно, что каждая душа переживает время по-своему. Есть ли какое-то общее время – это очень большой вопрос. Впрочем, теория относительности тоже отвечает на него по-своему.

Отчего эта точка пространства оказалась такой значимой в моей судьбе? Имеет ли значение слово «судьба» в приложении а Вечности? И что Вечность думает о пространстве?

Сидя за этим, очень конкретным столом и хлебная самый конкретный чай, я проваливался в зеркальный колодец неопределённости.

Давно уже не было не произнесено ни слова, и молчание становилось тяжёлым, как небо перед грозой. Напряжение всё нарастало, и вот-вот должна была сверкнуть молния. Может быть, у меня оставалось всего лишь несколько секунд, но они всё длились и длились.

Более того, мне и сейчас кажется, что это время не прошло. Не в том смысле, что не прошло даром. Напротив, это посещение до такой степени никак не отразилось на моей последующей жизни, что его можно считать несбывшимся сном. Но каждый момент времени ценен сам по себе, и, оставленный позади, вчерашний день не может не представляться сознанию некой станцией, куда вполне возможно возвращение, если только поезд поедет вспять. Мы не знаем, что такое время, и мыслим в категориях пространства. Но и что такое пространство, мы тоже плохо представляем; слишком большие объёмы и искривления недоступны воображению. Только расстояния на плоскости, те, которые мы можем преодолеть собственными шагами, служат нам опорой и ориентиром в Вечности. Если мы куда-то вообще можем идти, это говорит за то, что мы что-то преодолеваем.

Я сидел в одной секунде и полутора метрах от бомбы, готовой взорваться, и в то же время у меня было сколько угодно времени. По спине у меня гулял холодок, а на шее выступали мурашки, которых хозяйка могла прихлопнуть одним ударом, выгоняя меня за порог. Но где-то внутри себя я грелся и улыбался, я знал, что *это* никогда не кончится. Время всё время утекало из меня, но оно и прибывало, я сумел, наконец, поймать змею за хвост, из прямой превратиться в кольцо, ощущать, неведомую мне доселе, вечную цикличность. С одной стороны, это положение могло надоесть уже через четыре секунды – т.е. даже если терпеливая хо-

зьяка меня не попросит, я сам соберусь уходить. С другой – и эти мои мысли, и страх оплеух, и досада по поводу неразделённой страсти, и тоска, и скука оттого, что так бездарно проходит отпущенное мне время – всё это находилось здесь и сейчас, и никуда не собиралось сдвигаться.

Можно было смотреть на себя сверху и наслаждаться. И теперь я почти в любой момент могу вернуться в тот момент. Наверное, это называется медитацией. Но я ничего не собирался достигать, наверное, поэтому и получилось. Такое положение дел стало возможным лишь в качестве побочного продукта любви. Мне просто не хотелось уходить и я сидел столько, сколько мог высидеть, и чем дольше я сидел, тем отчётливее выяснялось, что я могу сидеть здесь всегда. Вот так я не только получил представление о Вечности, я сам стал этой Вечностью, не особенно к этому стремясь...

Но жизнь должна продолжаться. Поезд должен катиться из точки А в точку Б во что бы то ни стало. Единственный способ существования, нам доступный, это существование во времени. Время даже куда важнее воздуха. Поэтому временной вакуум должен быть заполнен хотя бы для того, чтобы ещё немного двинулся вперёд незамысловатый сюжет.

Видя, что мать собирается сказать мне что-то обидное, младшая дочь спасла ситуацию тем, что решила показать мне одну из своих игрушек. Вдруг она спрыгнула на пол и, подчёркнуто громко топая ногами без тапочек, побежала к

двери в другую комнату:

– Пойдёмте, я показу вам юлу! – крикнула на ходу она.

Это, как говорится, было предложение, от которого невозможно было отказаться. Мать сразу заулыбалась, заулыбался и я в ответ. Обстановка разрядилась, и Вечность начала таять.

– Ладно, я пойду, – сказала мать. – Мне там ещё кое-что на кухне надо сделать. Но может вы ещё что-нибудь хотите поесть? У нас, правда, ничего нет, но...

– Нет, нет, – перебил я её. – Большое спасибо, но я тоже скоро пойду.

– А юла?! – выпятила нижнюю губу младшенькая.

Мать опять лукаво улыбнулась и покачала головой, затем она вышла и закрыла за собой дверь. Я же уже стоял рядом со столом в своих мокрых носках перед ухмыляющейся и пританцовывающей девчонкой.

– Ну, пошли смотреть юлу, – сказал я.

Только что, сейчас, за чаем, я и умирал от стыда и разрывался от гордости, что всё-таки это сделал, т.е. пришёл сюда, и понимал всю тщетность и бесполезность собственных происков и одновременно восхищался своим чудаковатым романтическим бескорытием, я и плакать готов был и смеяться, и упасть в обморок, и забыться в пляске Святого Витта. Всё это происходило и сейчас, ничего не кончалось, точно какая-то часть меня или, лучше сказать, некое моё я так и осталось чаёвничать за пресловутым столом.

Другое же моё я, а может быть, то самое, поскольку за столом я всё-таки никого не видел (значит там меня не осталось), последовало за девочкой в её комнату. Она была совсем маленькая, эта детская, и в ней была кровать, а из-под кровати она достала золотую юлу. Сперва в комнате было темно, свет падал только через открытую дверь, но золото резко ударило мне в глаза.

– Что? Вам понравилось? – спросила девочка, отметив мою реакцию.

Я стал кивать, как китайский болванчик. Она поднялась с колен, бегом побежала к выключателю, включила верхний свет (до этого горело только бра) и закрыла дверь. Потом с ногами залезла на кровать, посидела с минуту в прежней позе, то пряча лицо в коленях, то посматривая на меня, соскочила на пол, взяла юлу за ручку и стала её раскручивать. Я не очень понимал, требовалось ли от меня какое-либо ещё участие кроме созерцания.

Юла раскрутилась не слишком сильно, её нежные полупрозрачные ручки оказались слабыми не только не вид.

– Хочешь, я раскручу? – спросил я.

Она кивнула.

Я присел на корточки, опасаясь услышать треск, слабых в промежности, штанов. Но всё обошлось благополучно. Юла была самая обыкновенная, без лошади внутри, без разноцветных искр, без музыки и без присоски, она виляла и цапала пол. Она была просто золотая, вернее просто позолочен-

ная, но это не умаляло достоинства простоты. Честно говоря, не до, не после, я никогда не видал такой простой юлы. Даже юла моего детства была окрашена в несколько цветов, а эта отличалась абсолютно монохромностью, как скучные одинаковые шары на рождественской ёлке в каком-нибудь западноевропейском офисе. Было в этом волчке что-то немецкое, но старонемецкое. Может быть, он достался пигалице от какого-нибудь дедушки или прадедушки, побывавшего на войне и вернувшегося не только живым, но и с трофеями? Не удивлюсь. Качественная юла.

– Качественная юла, – сказал я, принимаясь за раскрутку.

– Да, – сказала она. – Хорошая.

Она теперь сидела на кровати, а я невольно пристроился у её свешенных ножек. Она словно собиралась наблюдать какое-то затяжное зрелище. Я почувствовал себя тигром на арене, потерял устойчивость и чуть не сел на зад. Потом подумал, почему бы и нет, и действительно приземлился на зад, благо под ним оказался уютный коврик, и уже тогда вновь принялся за операцию «раскручивание».

Конечно, всё это было смешно. Девочка сначала сдерживалась, прикрывая ротик рукой, но потом расхохоталась в полный голос. Особенно она смеялась, когда сильно, но неудачно заведённый мною, волчок завалился на бок и, продолжая вращаться, стал съезжать по направлению под кровать, неуверенными движениями напоминая собаку, которая от трусости собирается забраться снова в будку. При этом

собака бы подскуливала, а он скрежетал, царапая и без того изъязвлённый паркет и оставляя на нём неровные белые черты. Мне было стыдно, я чувствовал своё бессилие, но я не мог не засмеяться вместе с девочкой.

– Вы не умеете, – сказала она.

– Оказывается не умею, – констатировал я и тут же оправдался – разучился.

Она остановила юлу ногой, но прежде, чем совсем замедлить, агонизирующий механизм, рванувшись, ударил её по хрупкой лодыжке.

– Ай! – вскричала девочка и на глазах её тут же выступили слёзы.

Я испугался. Вот сейчас прибежит мать, и мне останется только извиниться и уйти. Хорошо ещё, если не получу по шее. Впрочем, так и так – мне через несколько минут всё равно придётся извиниться и уйти. В конце концов, что я тут делаю? Не наниматься же в няньки к младшей дочери только потому, что старшая меня игнорирует? Интересная идея. Вот войдёт мать, я ей так и скажу: «Не нужна ли вам няня?». Шутка!

Я засмеялся. Теперь ребёнок рассмеялся, глядя на меня.

– Ну что, покажешь, как раскручивать юлу? – спросил я.

Она уже забыла, что ей было больно, слёзы высохли. Она с любопытством смотрела на меня – может быть, ожидала, что я брошусь целовать ей ножку? Может быть, мне так и следовало поступить? Но момент был упущен...

Девочка вдруг надула губки и с запозданием ответила:

– Нет. Он противный. Ударил меня.

Она сказала он, хотя раньше называла *его* юлой. Снова улыбаясь, теперь уже осторожно, пяточкой, она затолкала ненавистный волчок поглубже под кровать. Он недовольно загромыхал.

Тут вошла мать.

– Что вы тут делаете? – спросила она.

– Ничего, – я уже успел встать и развёл руками.

Мать ждала.

– Я пойду? – спросил я.

Она пожала плечами. И я вспомнил сакраментальную фразу Кролика из «Винни-Пуха» «Ну, раз вы больше ничего не хотите...»

Я хотел, я очень хотел, но... Мать стояла в дверях, мешая мне выйти. Неужели сейчас стеснит мне проход грудью, чтобы ввести меня в ещё большее смущение? Я почувствовал, что она тоже женщина. И она...

– Вы заходи'те, – сказала она, пропустив таки меня в коридор.

– Спасибо, – я торопливо обувался, опять опасаясь, что порвутся штаны. Спиной я не мог не ощущать, как мать подсмеивается надо мной.

Она вдруг куда-то исчезла, и я услышал её голос:

– Может всё-таки выйдешь? – Это она обращалась к старшей.

Я замер, но мне не суждено было дожждаться ответа.

– До свидания, – сказал я заглянув в комнату.

– До свидания, – сказала мать.

Младшая тоже не вышла. Я сам справился с замком, хлопнул за собой дверь и стал пешком спускаться по лестнице, на ходу наматывая шарф и застёгивая пальто. Меня бил мандраж, щёки горели. Не помню как – выбежал на улицу, отбежал шагов на двадцать и посмотрел на их окна. Я давно и хорошо знал, где они расположены, теперь я мог предположить, кто из них где сейчас находится. Наконец я достегнул верхнюю последнюю пуговицу пальто. Спрятал руки в карманы и повесил голову. Всё было кончено. Во всяком случае, на сегодня. А вообще? Можно дойти до ближайшего автомата и позвонить. Что толку? Я представил себе, как будет смеяться мать, глядя на рассерженное лицо поднявшей трубку старшей дочери. Или поднимет младшенькая и будет жеманничать на свой детский манер, а они, те двое, опять-таки будут смеяться. Неужели я так боялся насмешек?

Я побрёл по давно тёмному двору в сторону железнодорожной станции. Шёл мелкий снег. Когда я ещё по' свету не спеша добирался сюда, в одном из дворов мне запомнилась большая снежная горка. Кто-то не только дооформил и укатал скопившиеся в одном месте сугробы, но и попытался придать им неестественный цвет. Скорее всего, по бокам горки разлили несколько пузырьков разноцветной туши. Цветовые пятна, впрочем, не оказались достаточно большими.

ми и яркими, снег слишком хорошо всё впитывал. Но внимания заслуживала сама попытка разукрасить действительность. Мне захотелось ещё раз увидеть ту горку и, хотя разумнее было бы спросить дорогу, я побрёл к ней почти наугад, по снежным двором. Довольно долго то место не находилось, ибо под фонарями всё выглядело не так, как под солнцем. Я уже было решил отказаться от своей затеи, но когда решительно свернул к станции, натолкнулся на то, что искал.

Неужели это было *та* горка? Дети ещё не утомнились и что-то делали на ней. Что могут делать дети на горке? Кататься? Нет, они не катались. Вернее, некоторые из них скачивались с горки, но кубарем. В царя горы, что ли, они играют? Тут я понял, что это не горка, а крепость, и дети играют в снежки. Один из них на излёте мягко упал мне на шапку. Та ли это горка? Не всё ли равно... Скорее всего – та, ибо на её боках видны какие-то кляксы и разводы. Совсем не эстетично это выглядит, лучше бы оставили чистый белый снег. Но они ведь из лучших побуждений. Вот так и всегда всё мы творим из лучших побуждений. Но я вовсе не собирался брюзжать, хотя секунду назад и не знал, что я сейчас буду делать.

Я взошёл на гору, не обращая внимания на снующую вокруг детвору и не уворачиваясь от снежков. Дети заметили меня и пока не знали, как реагировать.

– Я хочу с вами сыграть, – сказал я и сам удивился своим

словам.

Они смотрели на меня с недоверием и ждали.

– Я один буду защищать эту крепость, а вы все штурмовать. Согласны?

Какой-то самый бойкий парень вскарабкался ко мне поближе:

– Дядя, вы не того? – повертел он рукавицей у виска, и все захохотали. Он же предусмотрительно откатился подальше.

Теперь я ждал. Стоя на горе, я вдруг показался себе Гитлером или Сталиным, выжидающим паузу перед выступлением. Я дождался тишины и посмотрел в небо, я даже успел разглядеть там какую-то звезду.

– Вы будете на меня нападать или нет? – спросил я.

Кто-то из них, может давешний хулиган, метнул в меня первый снежок, но неуверенно, и снежок был рыхлый – развалился.

Я сам слепил себе снаряд, пользуясь своей взрослой умелостью и состоятельностью, и почти без жалости залепил его ближайшему пацану в лоб. Попадание оказалось неожиданно точным.

Опять нависла пауза, как гроза.

– Ну? – спросил я и стал швырять в них без разбора все снежные куски, какие попадались мне под руки.

Они отступили, но ненадолго, должно быть, чтобы посоветоваться, что делать с этим взрослым идиотом, захватившим их холм.

Я догадывался, что они собираются со мной сделать. Эти муравьи наверняка сейчас злы и хотят сожрать заживо Голиафа. Они будут наступать, если только их мамы прямо сейчас же не начнут их выкликать домой.

И вот уже снежки полетели в мою сторону одни за другим, пока, правда, ни один из них не попал в цель, но...

– Ура-а! – заорал истошно заводила, тот самый, который выказал меня придурком.

– Давай! Подходи! – заорал я и начал работать руками как мельница – благо вокруг было предостаточно смёрзшихся готовых комков.

Похоже, многим из них хорошо досталось. Они не шутку рассвирепели и с детской стайной яростью набросились на меня.

Недолго мне удавалось сдерживать их отчаянный напор. Дети буквально старались схватить меня за горло и я, забыв о несоответствии весовых категорий, сталкивал их в горы всеми доступными методами, только разве что не бил их по голениям ногами. Они откатывались и набегали вновь, они-то не стеснялись теперь лягать меня своими валенками и ботинками. Одна из почти в упор брошенных ледышек рассекла мне бровь, и я со смешанным чувством удовлетворения и печали слизнул со своего окоченевшего пальца тепловатую жидкость. В это время меня сбили с ног. Я брыкался, но уже не мог совладать с навалившейся на меня толпой. Может, мне казалось, но их было никак не меньше дюжины, причём

некоторые совсем не такие уж маленькие. Может, они позвали на подмогу старших? Что ж, против таких, как я, все средства хороши... Я получил по губе, ногой, между прочим. Это совсем уж свинство. Я хотел рассвирепеть, но понял, что у меня не осталось эмоциональных сил. Слишком много я растратил их за сегодня. И всё зря. Да и конечности, ни руки, ни ноги, уже не слушались. Меня зарывали, хоронили в снегу. Скоро на поверхности осталось только моё лицо. Но мне было тепло, тепло и почти уютно, несмотря на то, что кровь заливала мои глаза. Я опять увидел звезду, или это был самолёт? Или фонарь? Ведь я лежал на боку... Я перестал понимать, на спине или на боку я лежу, и немного испугался. Но потом и страх прошёл. Дети куда-то убежали, всё стихло, будто кто-то заложил мне уши ватной тишиной. Фонари по периметру прямоугольного двора, истекали желтизной, но я не видел их, только представлял, как их свет медленно падает мне каплями на губы. Если бы я смог, то заплакал бы, если бы сумел, то уснул. Но ничего, ровным счётом ничего не происходило.

В конце концов, я встал, отряхнулся и, немного прихрамывая, побрел к железной дороге.

Джигит с собакой **(сон дочери)**

«Я люблю и уважаю сон. Я люблю его глубокую, сладост-

ную и целящую отраду...»

Т. Манн

А теперь я расскажу вам сон моей дочки. Говорят, в приличном обществе не принято рассказывать сны. Придётся некоторым либо смириться с тем, в какое общество я их погружаю, заставляя общаться с собой, либо вовсе отказаться от чтения.

Дочка моя оказалась на железнодорожной станции и должна была ехать в Москву. Но, как известно, воспитанные люди покупают билеты прежде, чем сесть в вагон. Потому-то наследница моя и стала искать кассу, и нашла её в несколько необычном месте.

Касса возвышалось над землёй, как бы паря в воздухе. Хотя, возможно, дочке только так с непривычки показалось и касса на самом деле была расположена просто-напросто на пешеходном железнодорожном мосту, которые из-за ветхости, как опять-таки каждому известно, случается и падают. Так что, не исключено, что вся остальная часть моста уже обвалилась, а оставшуюся площадку задействовали как фундамент для помещения кассы. К кассе, естественно, вела лестница, и по всей лестнице, что тоже естественно, стояла очередь. Хвост очереди простирался и довольно далеко по земле, в горизонтальной плоскости.

Дочь моя, ничтоже сумняшеся, встала в эту очередь и скоро оказалась на нижних ступеньках лестницы. Не то чтобы

очередь быстро двигалась, в ней вообще не наблюдалось порядка. Народ убегал и прибегал вновь, и не все настаивали на том, чтобы им заняли место, может быть, потому, что не все были уверены, что стоят именно туда, куда надо. Так что более стойкому товарищу сзади оставалось только оперативно занять освободившуюся территорию, при этом он очевидно мало рисковал получить по физиономии или выслушать ругательство в свой адрес.

Дочь моя уже немного продвинулась вверх, когда услышала странное объявление. Откуда-то свыше до всей публики донесли следующее: «Железнодорожные билеты будут продаваться участником конкурса на лучшего джигита с собакой».

Дочь моя очень удивилась и почти расстроилась. Как же теперь она попадёт домой, в Москву? Впереди неё стоял дяденька кавказской внешности, и она решила обратиться к нему за объяснением по поводу только что сказанного по радио. Дяденька был среднего возраста, явно положительный, одет в джинсы и в расстёгнутую джинсовую куртку, под которой была футболка. По этой его одежде и ещё по некоторым приметам можно было догадаться, что на дворе стоит прохладное лето или, может быть, ранняя осень.

– Как же теперь быть? – обратилась к нему дочь. Именно к нему, может ещё и потому, что он всё-таки, в отличие от большинства в этой толпе, мог как-то сойти за джигита.

– Не волнуйтесь, – ответил дяденька. – Видите, у меня

тоже нет собаки. – он был очень вежливым и говорил по-русски без какого-либо акцента.

Дочка посмотрела на его пустые ладони и убедилась, что в них нет поводка. По близости вообще не было заметно ни одной собаки и даже кошки.

– Видите, остальные ведь стоят, – продолжил интеллигентный кавказец.

Он мог бы добавить, что ни у одного из них нет собаки, и они при этом ещё отнюдь не джигиты. Дочка и сама видела. В основном, эту очередь, как и почти все очереди в России, составляли женщины пожилого и близкого к пожилому возраста. На что же надеялись эти тётеньки, волоча на верхотуру свои некультяпистые сумки, громыхающие по ступенькам разболтанными колёсиками?

Кто-то же ведь всё-таки получал билеты там, впереди, иначе каким образом возникла очередь? Если бы в кассе ничего не продавали, те кто ближе к окошку, в конце концов, отошли бы от неё. И неужели *там*, впереди, собралось так уж много джигитов в собаками? Что-то ни одного отсюда не разглядеть... И потом, если хотя бы один из них, из этих законных участников в конкурсе, получил билет, он должен был бы спуститься вниз по этой самой лестнице. Мимо ни одного счастливого обладателя билета с собакой также не проходило. Всё это, разумеется, могло сбить в толку. Очередь двигалась очень медленно и неясно было, почему она движется. А может быть, касса ещё просто не открылась и

поэтому все ждут?.. Дочке захотелось обратиться к толпе и крикнуть: «Кому-нибудь из вас, хоть кому-нибудь, удалось купить билет?!» Но она понимала, что её голосок потонет в этом бестолковом гуле.

Никто ни на кого не обращал внимания, все были заняты исключительно собой. Но почему-то каждый надеялся, что именно ему, хоть каким-нибудь чудом, достанется билет. Вся эта шевелящаяся компания на лестнице была похожа на сошедший с ума муравейник. Только дяденька с невозмутимым кавказским лицом ненадолго дочку успокоил. Да и куда деваться? Ей надо было ехать в Москву. Другого пути она не знала, и кассы никакой другой в округе не было видно.

Но тут ситуация изменилась. Дочка и не заметила, как к станции подошёл поезд. Вероятно, разгорячённые обыватели так шумели, что заглушили даже гудок и стук колёс.

Электричка стояла за перроном, через пути, и толпа ринулась туда, забыв о необходимости сначала приобрести документы для проезда. Впрочем, если испытывать терпение граждан проведением подобных несуразных конкурсов, как от них можно требовать серьёзного отношения к какой-то необходимости?

Бабушки и дедульки, молодые мамы и детки, и всякие прочие парни и мужчины бросились на перегонки штурмовать перрон. Даже самые толстые и неуклюжие тётки ухитрялись на него взгромоздиться. Все торопились, некоторые спотыкались об рельсы, поскальзывались на шпалах, разби-

вали и пачкали колени и даже лица, но всё же вновь вставали и шли или даже ползли вперёд, чтобы наконец вцепиться мёртвой хваткой в бетонный край возделенной платформы. Это можно было характеризовать как радостную панику, ибо поезд всё-таки прибыл и бежали они к нему, а не от кого-то. Несмотря на толкучку, никто, кажется, ещё не получил тяжёлого увечия, никаких поездов или маневренных тепловозов не проезжало по путям, которые нужно было преодолеть, ни один из диспетчеров или автоматов не ухитрился перевести стрелку именно в тот момент, когда один (или одна) из расторопных, но неосторожных штурмующих засунул (а) в неё ногу. Словом, всё обошлось благополучно. Но может быть, лишь потому, что народу всё-таки было не слишком много. Поезд издалека казался пустым, и в него все должны были поместиться с лихвой, так что собственно и спешить-то было особенно некуда, всем должно было хватить сидячих мест. Разве вот только он уже вот-вот должен был отправляться. Посмотреть расписание было негде, спросить не у кого. Так что дочери моей, при всём ей природном аристократизме, нельзя было слишком долго оставаться сторонним наблюдателем. Если она хотела в ближайшее время попасть домой, ей оставалось только принять участие в этом новом безумии.

И сама она не заметила, как оказалась на перроне. Возможно, лёгкость тела не позволила ей почувствовать тяжесть пути, или какие-то, уважающие девичью грацию, благородные силачи перенесли её через все препятствия и поставили

в нужном месте. Хотя последний вариант мне, как отцу, и не очень симпатичен. Но, может быть, её подхватили невидимые ангелы – могли же они выбрать её за то, что она не лезла вперёд и не расталкивала других плечами и локтями? У дочки осталось ощущение, что она телепортировалась. Но что такое телепортация? Не знает никто. Или кто-то уже знает? Пускай мне расскажет.

Так вот. Перед ней была электричка с открытыми дверями. Перрон почти опустел, бо'льшая часть людей, вероятно, была уже внутри; и моя девочка тоже вошла в один из вагонов. Почему-то в поезде было темно. Места, и правда, не все были заняты, в среднем, на каждом трёхместном сидении сидело только по два человека.

Дочка уж было хотела приискать себе уютный уголок у окошка, но тут её стало мучить справедливое сомнение: «А точно ли этот поезд направляется в Москву?» Она даже не видела, с какой стороны он пришёл. А потом, если он так долго здесь стоит, совсем не факт, что он теперь не поедет в противоположном направлении. Но самое главное, она теперь вообще не могла уверенно сообразить, в какой стороне находится Москва или, вернее, вокзал, потому что сама станция, вероятнее всего, располагалась в пределах Москвы, но ближе к окраине (например, это могла быть известная почти всем москвичам «Лосиноостровская»).

Ещё смущала странная темнота, которую нельзя было объяснить выключенными лампочками. Дело в том, что лам-

почки вроде бы и не было необходимости включать – на улице стоял день, но в поезде было темно – как ночью, при свете далёких фонарей.

Девочка вернулась на освещенный перрон и к своей радости увидела там давешнего дяденьку, джигита без собаки, единственного, кто дал на её вопрос хоть сколько-нибудь вразумительный ответ. Зачем этот дяденька тут стоял, правда, было не совсем ясно, но очевидно он ждал другого поезда, раз не сел в этот. А может быть, Провидение послало его сюда специально лишь для того, чтобы он сослужил добрую службу моей дочке. И он вновь отвёл тень тревоги, нависшую над её головой.

– Этот поезд на Москву, вы не знаете? – с надеждой спросила она. Вероятно, теперь она уже улыбнулась этому дяденьке как знакомому. (Я, впрочем, как отец, не могу одобрить флирт с джигитами, даже во сне.)

– Прошлый поезд был на Новую Зеландию, значит этот на Москву, – уверенно сказал мудрый кавказец.

И дочери вдруг всё сразу стало ясно как день. Не осталось никаких сомнений. Конечно на Москву! Куда же ещё, если следующий или предыдущий на Новую Зеландию? Вот туда ей не надо, значит на этот, в другую сторону.

А тот кавказец, он интересно кто на самом деле был – может быть, новозеландец? Но почему тогда он говорил по-русски? Может быть, в Новой Зеландии он позабыл свою собаку?

Она даже не спросила у него, достался ли билет хоть ему. Все забыли о билетах. Таковы люди, все почему-то полагают, что могут запросто становиться зайцами на время транспортировки.

Девочка поблагодарила дяденьку и вернулась в поезд, но теперь уже в другой вагон, тот ей показался слишком мрачным. Поезд, благо, ещё не совсем собрался трогаться, хотя неясное тарыхтение, проходящее по составу, и намекало на то, что он к этому готовится.

В этом вагоне было так же темно, и дочка в последний раз выглянула на платформу, чтобы удостовериться, что там день. Она пожала плечами и пошла на свободное место. Как она и хотела, удалось сесть у кона. За окном была ночь. Или, может быть, это была какая-нибудь экспериментальная электричка, с новейшими затемнёнными стёклами. Они, эти стёкла, специально превращали для сидящих внутри пассажиров день за окнами в ночь. Для чего? А мало ли для чего и что делается у нас на железных дорогах...

Дочке стало немного скучно, она устала от недавних треволений и теперь имела полное право расслабиться и отдохнуть, хотя, возможно, где-то в глубине души её и мучило предчувствие опасности, связанной с внезапным появлением контролёра.

Но обстановка больше не располагала к тревоге. Хотя это и была самая обычная электричка, но отделана она была на ночной лад. По существу, это был в каком-то смысле спаль-

ный вагон. А что ещё делать, когда нельзя ни читать, ни играть в карты и ничего толком не видно в окно?

Дочка прислонилась горячей головой к прохладной стенке и прикрыла глаза. Машинист объявил по обыкновению что-то неразборчивое, двери закрылись, и поезд поехал. Будем надеяться, что он действительно поехал в Москву.

Цветок Мудрости

*«Не желая служить –
заблудился в цветах...»*

Ли Бо

Я тогда жил с мамой и бабушкой. Бабушка была уже очень старенькая и не выходила из квартиры. Весной у неё появилась навязчивая идея. Она стала просить нас с матерью, чтобы мы купили ей Цветок Мудрости. Я пишу с большой буквы, потому что бабушка явно предполагала не только и не столько конкретное растение, сколько некий символ, вроде Аленького Цветочка из сказки или Красного Цветка Гаршина.

Надо сказать, что бабушка моя отличалась довольно странным артистизмом, который до некоторой степени передался по наследству и мне. Не всегда можно было понять, говорит ли она серьёзно или придуряется. Не то, чтобы она очень любила придуряться, но способность к этому разви-

лась в ней, вероятно, как одно из приспособлений к тяжёлой жизни. Возможно ли вычислить, например, на сколько процентов придурялся, а на сколько был самим собой Швейк? Так и моя бабушка сохраняла разум и обаяние для людей, которые её знали и любили, и могла представляться совершенно невыносимой идиоткой для людей, которые ей самой не очень-то нравились. Некоторая придурошность, надо сказать, отнюдь не лишает, а часто и добавляет человеку обаяния.

Так вот, в последние годы бабушка много болела. Однажды её даже, по её же просьбе, пришлось положить в больницу. Казалось, что это уже конец. Когда мы её навещали, она либо вообще лежала в отключке, либо несла такой бред, что смеялись даже остальные больные в палате. На самом деле, то, что она говорила, было очень похоже на то, что она говорила всегда. Человека на смертном одре трудно заподозрить в неискренности. И тем не менее, когда она общалась с нами, называя нас другими именами, это выглядело как безобидное издевательство. Может быть, она притворяется, что нас не узнаёт?

Как бы там ни было, но после того, как бабушку забрали домой, она временно пошла на поправку. Сознание, похоже, вернулось к ней, и стала она такой же бабушкой, которую мы знали, только очень слабенькой.

И вот теперь эта странная и настойчивая просьба. Бабушка вообще очень редко нас о чём-либо просила. Я бы сказал

– не просила почти никогда. Она отличалась крайним равнодушием к себе, и заботилась только о нас, о детях и внуках. Но откуда у неё могла теперь явиться идея о каком-то цветке? Не иначе, она продолжала бредить.

Бабушка была городским человеком и любила зелень умозрительно, никогда я не замечал, чтобы её тянуло к земле. Зато мы с ней оба обожали гулять по лесу, собирая грибы и ягоды. И домашним растениеводством бабушка никогда не увлекалась. Может быть, просто потому что было не до этого. На повестке дня всегда стоял один и тот же вопрос: что есть и во что одеть детей? К старушкам, которые слишком носятся со своими фиалками и геранями, бабушка даже, как мне казалось, относилась с некоторым презрением. Мол, чего только не придумают от нечего делать и от одиночества. Сама же она позволяла себе только два удовольствия – почитать и поспать, когда выпадало свободное время.

Мать эту новость о цветке восприняла без особого энтузиазма. Сперва её немного развлёк монолог бабушки на новую, неожиданную тему, но потом она заподозрила, что это продолжение или последствие болезни, и решила не придавать особого значения бабушкиным капризам. С другой стороны, мы оба с ней прекрасно понимали, что бабушке осталось недолго и отказывать умирающему родному человеку в каком бы то ни было желании нам, конечно, было неприятно.

Я пытался получше выяснить у бабушки, что она имеет в виду. Я расспрашивал её, выдвигая различные предположе-

ния, а она то удовлетворённо кивала, соглашаясь, то активно крутила головой, выражая отрицание, – и всё это, не раскрывая глаз. Опять-таки создавалось впечатление, что, уходя от прямого ответа, она специально морочит нам голову.

Я предложил матери купить в качестве паллиативного средства какой-нибудь заметный комнатный цветок в горшке, но она вдруг заартачилась, ссылаясь на то, что у неё на подоконниках нет места. Мать, в отличие от бабушки, как раз имела склонность к сельскому хозяйству.

Преодолев свой вынужденный постельный режим, бабушка ходила по квартире в самодельной бязевой ночной сорочке, волосы неопределённого цвета, которые прежде она заплетала в смешные индейские косички, теперь были укорочены и растрёпаны. Она напоминала не то какую-то античную безумную пророчицу, не то даже Левшу Лескова, который хочет объяснить высоким чиновникам, что не надо чистить ружья кирпичом.

Впрочем, все последние дни и недели бабушка сохраняла ясность сознания, всех узнавала, со всеми мило беседовала, смотрела телевизор и даже высказывала суждения, остроумию которых могли бы позавидовать многие. Она также выполняла нехитрую домашнюю работу: кормила кашку, кипятила чайник и поливала те самые многочисленные материны цветы.

Я пытался найти в энциклопедиях и книгах по ботанике, коих у меня было немало, что-нибудь похожее на Цве-

ток Мудрости. Может быть, есть какое-нибудь такое латинское название? Тогда выходит, что «Цветок» – это родовое имя, а «мудрости» – видовой эпитет. Я откопал русско-латинский словарь и слепил *Floribus sapientiae*. Может быть, есть какая-нибудь такая трава или дерево? Поиски мои, однако, так и не увенчались успехом. То ли искал я недостаточно усердно, то ли не те у меня оказались под рукой фолианты, то ли, и в правду, нет на Земле никакого такого чудесного цветка.

На улице, между тем, разгоралась весна, и бабушка всё чаще выглядывала в окно. Несколько дней она таинственно молчала, и за это время листья уже совсем-совсем собрались распусться. Бабушка осматривала кусты под окном как заговорщик – уж она-то точно знает, что с ними происходит. Человек был занят, и мы с матерью расслабились. Но тут, однажды вечером, бабушка опять вдруг вспомнила о своём цветке.

Она стояла на кухне и, при всей неряшливой ветхости, смотрелась как актриса на сцене.

– Ах! – сказала бабушка, – никогда мне уже не увидеть Цветок Мудрости.

Я конечно же не стал разочаровывать бабушку, утверждая, что на свете и вовсе нет такого цветка. К тому же, и сам в этом был не уверен. Мало ли существует видов растений? А сортов выведенных сколько? Но я всё-таки должен был хоть как-то её успокоить:

– Ба, – сказал я, – мать говорит, что некуда ставить. А так, я бы тебе купил какой-нибудь цветок.

Мне почему-то всё воображалось какое-то коренасто-мясистое растение с крупными красными цветками, а ещё лучше – чтобы был вообще один цветок, но очень большой – почему не кактус?

И бабушка, похоже, сейчас своим внутренним взором видела нечто подобное. Мы в ней иногда понимали друг друга без слов.

– Ну пусть не в горшке, – старушка изображала какую-то Офелию. – Хотя бы один цветочек, отломленный за самую шейку. Я бы его пришила к занавеске и любовалась. – Бабушка вполне картинно показала, как и где именно она пришьит цветок, при этом её движения были чуть ли не танцевальными. Рассматривая как бы уже материализовавшееся перед нею сокровище, она что-то намурлыкивала себе под нос, и получалось даже почти музыкально, хотя петь она никогда не умела.

Мать, заглянувшая в кухню, из дверей тоже наблюдала всё это представление. На её губах застыла многозначительная грустная улыбка: мол, конечно, всё это забавно, но ей, а ни кому-то другому придётся всё это расхлёбывать.

– Мам, ну неужели у нас нет ни одного местечка под горшок? – обернулся я к ней.

Она пожалала плечами и покинула нас. Бабушка всё примеривалась, где бы ей лучше прицепить цветок, словно выши-

вала – вот вышивать она действительно умела.

Я решил всё-таки добыть бабушке какой-нибудь цветок. Пусть она даже окажется недовольной, важно сделать попытку. И пускай подоконники действительно загромождены, место всегда можно найти. Да на телевизор в конце концов поставим! А отчего бы просто не купить какую-нибудь красную розу или лилию и не приколоть её, куда хочет бабушка? Но бывают ли красные лилии? Ни разу не видел.

Мать не собиралась потакать ничьим капризам. Оно и понятно – на ней лежала большая часть ответственности за наше существование. Я – другое дело, мне ещё можно быть романтичным, это легко – за чужой счёт.

Я решил прогуляться и заодно обдумать, чем я реально могу помочь старушке. Бабушка проводила меня до дверей, в её замутнённых катарактой глазах пылал весёлый огонёк. Она чувствовала, что мы вступили в сговор. Я улыбнулся, а она показала мне жестами, что, мол, я всё понял и ни к чему, чтобы мать знала об этом.

Спускаясь по лестнице, я встретил знакомого парня. Он поднял голову и не сразу узнал меня в полумраке подъезда. Одно время мы вместе работали, но с тех пор не виделись уже давно. В общем-то, у нас с ним кроме этого эпизода в прошлом не было ничего общего. Разве вот ещё, что жили в одном подъезде, но выходили и приходили обычно в совершенно разное время.

Теперь мы, однако, оба почему-то обрадовались друг дру-

гу. Он был моложе меня, но уже облысел, да и вообще он был не хорош собой, но это искупалось живостью и доброжелательностью.

– Как жизнь? – спрашиваю я.

– Весна, – разводит он руками.

– Да, нынче ранняя весна. Ты вон уже и без шапки.

– Да, тепло, – он улыбается.

С ним что-то не так. Не в том смысле, что плохо, а в том, что то, что с ним сейчас происходит, не похоже на него. Он словно весь светится, и голова его чем-то напоминает лампочку.

«Влюбился, – думаю я. – Ну, немудрено – весна, со всеми это когда-нибудь происходит».

– Весна, – говорю я. – Скоро листья на деревьях распустятся. А у тебя как на любовном фронте?

Он поднимает брови – не то чтобы смущён, но затрудняется сразу ответить.

– Да, вообще, любовь – серьёзное чувство, – говорю я.

– Этого-то я и опасаясь, – говорит он и идёт вверх.

Поравнявшись, мы наконец жмём друг другу руки. Я искренне желаю ему удачи и выхожу из затхлого подъезда на вольный воздух.

Тут я вспоминаю, что сосед, которого я только что встретил, последнее время работает в зоомагазине. Может быть, у них там продают и цветы? Надо спросить – может быть, он мне что-нибудь и подскажет. Бежать за ним вслед уже позд-

но. Что ж, я знаю примерно, где он живёт.

На улице вечереет, тихо и тепло. Не так давно прошёл дождик и поэтому не пыльно. Ещё один-два таких дня, и зацветут тополя.

Вскоре я действительно зашёл на работу к своему лысому соседу. Он был несколько удивлён моим визитом, но когда узнал, что мне нужно, проникся и сделал всё, чтобы помочь.

У них, разумеется, в магазине ничего кроме животных и корма для них не было, но в этом же здании, рядом, был магазин, в котором продавалось то, что я искал. Продавец цветов был хорошим знакомым моего соседа, и он отвёл меня к нему с рекомендацией. Продавец был неглупым человеком, она выслушал меня внимательно и не стал смеяться.

Мы ходили между стеллажами с горшками и прикидывали, что бы из этого могло сойти за то что надо. Продавцу, однако, понадобилось куда-то отвлечься и он оставил меня одного.

– Ну вы тут пока выбирайте, – сказал он и ушёл вслед за какой-то девушкой.

Я вспомнил, как он только что чесал голову, и постарался почесать свою таким же манером – вдруг придут нужные, специально цветочные мысли?

Но мысли не приходили.

Тут продавец вернулся чуть не бегом, чем даже испугал меня.

– Есть! – сказал он.

– Что есть? – я был ошеломлён его энергичностью.

– Цветок Мудрости.

– Неужели?

– Да, вот он, – он указал мне на ничем не выдающийся горшок, стоящий в углу на скамейке.

– Вот этот? – уточнил я.

– Да, – он вдруг опять куда-то убежал.

А я остался один на один с цветком. Он вызвал у меня разочарование. Ну да, в горшке, ну да, красный. Может быть, сказать ему, что бабушка хотела только голову? Может, он позволит её отломать? По дружбе или за мзду? Цветок всё равно скоро отвалится. Стоит ли вот *этим* загромождать подоконник? И потом, где написано, что это Цветок Мудрости? Что-то я не вижу никаких этикеток. И сколько стоит? У меня и денег-то таких наверно с собой нет. Представляю лицо матери, когда я попрошу у неё деньги на цветок...

Продавец всё не возвращался. И я, подумав, что не плохо бы отсюда сбежать, а ещё лучше сбежать с сорванным цветком, устыдился и, поколебавшись, присел на какой-то подвернувшийся стул. Я сидел перед цветком и медитировал на него. Может быть, от моего дыхания и пристального взгляда он отпадёт прямо сейчас? Я очень хорошо представлял себе, как вот именно этот цветок прикалывает бабушка к занавеске английской булавкой. Зачем ей это нужно? Связано ли как-нибудь это с её приближением к смерти? И неужели на

самом деле тот самый цветок? На наврал ли мне продавец?

Он вернулся.

– Хорошо, – сказал я. – Я наверно куплю. Только... вы уверены, что это именно то, что мне надо?

Продавец порылся в каких-то своих бумажках и заставил меня прочесть: «Цветок Мудрости». Надпись была только по-русски.

– Это наверное такой сорт, – предположил я.

Он пожал плечами:

– Я, к сожалению, плохо знаю ботанику.

«А чего ж тогда тут работаешь?» – захотелось мне спросить, но я удержался..

– Вы будете брать? – спросил он.

– Я ещё подумаю, можно?

Он развёл руками.

Я выходил из магазина со смешанным чувством: правильно или неправильно я поступаю? Может быть, надо скорее вернуться и купить этот цветок, пока его не купил кто-нибудь другой? Действительность меня ошеломила, сбила с толку. Я вынужден был себе признаться, что никак не мог предположить, что в каком-то близлежащем магазине вот так запросто найдётся цветок, о котором просила бабушка. Всё это было похоже на розыгрыш. Может, она знала? Но откуда? Последний раз в магазин она выходила несколько лет назад.

И что за мудрость в этом цветке? Конечно, натуралисты

как только свои травки не назовут! Вот на Луне, например – море Спокойствия, Океан Бурь или ещё что-то такое. Почему я должен придавать этому значение? Имена большинства видимых объектов ничего не значат. Или нет?

Мне всё больше хотелось вернуться, я ведь даже не спросил, сколько стоит цветок. Вдруг это несчастное растение и правда окажется волшебным? И что тогда? В чём волшебство? Может быть, оно должно продлить жизнь бабушке? Сделать её молодой? Но ведь это не цветок бессмертия и молодости, это – Цветок Мудрости. Кому нужна эта Мудрость? Ей? А может быть, она нужна мне? Может быть, бабушка делает это для меня?

Вот сейчас повернусь, и окажется, что магазин исчез, ибо нет и не может быть никогда таких магазинов, в которых продаются волшебные цветы. Или – вернуться домой и на всякий случай взять побольше денег?

Я застыл, стоя на тротуаре. Я понял, что нахожусь уже рядом со своим подъездом. Почему-то я боялся покупать Цветок Мудрости. А вдруг он окажется настоящим?.. Что тогда с ним делать? Может быть, съесть? Или следует приготовить из него отвар и выпить? Использовать ли зелёные части и корень или ограничиться одним цветком? Или следует вообще собирать только пыльцу и нектар, уподобляясь пчёлам? Или, может статься, дело в том, что листья при надрезе, выделяют какое-нибудь интересное вещество, наркотик или каучук, на худой конец? А может, что вполне вероятно, следует смот-

реть всё-таки в корень и выделить из него какое-нибудь лекарство? Но какое лекарство кроме как против диареи можно выкопать из корней? Ах да – ещё вздрюпелин, вроде как из Золотого Корня или из женьшеня, эликсир жизни – ну вот, приехали.

Не верю я во всю эту магию, не должен верить. И бабушка не верит, тем более. Значит она что-то другое имела ввиду? Может быть, необходим только чисто визуальный контакт с цветком? Или запах? Впрочем, никакого особенного запаха в магазине я от него не ощутил. Значит, только вид? Поздороваться с цветком за ручку? Всё это напоминает дешёвую научную фантастику, которой баловался один известный советский поэт.

Мысли отвлекали меня всё более в сторону, они размывали волю, которую одну только и надо было проявить, чтобы купить цветок. Вместо того, чтобы просто сделать это, а потом посмотреть, что из этого получится, как советовал классик марксизма-ленинизма, я предавался бесплодной интеллигентской рефлексии. И хотя так проходили не годы, а пока только минуты и часы, мне было стыдно. А значит захотелось выпить.

И я решил, что денег у меня всё равно мало и скорее всего на цветок без материнной добавки не хватит, но зато вполне хватает на бутылку вина. А взяв бутылку вина, я вполне могу пойти к другу и мне будет не стыдно, т.е. вопрос со стыдом будет таким образом решён.

Несомненно, в принятом мною решении содержалась небольшая сделка с совестью. Но пусть тот, кто подобных сделок никогда в своей жизни не совершал, первым метнёт в меня камень.

Примерно в то же время, вероятно даже, ранним утром следующего дня, произошла ещё одна нечаянная встреча.

Я бродил по местам, где жил раньше. Вернее, тогда я бродил местам, где я теперь больше не живу. Или нет, я бродил по местам, в которых жил раньше, потому что тогда ещё продолжал в них жить. Категории времени становятся иногда очень странными, неуловимыми. Но как бы там ни было, я был там.

Ещё, вероятно, не открыли метро, и только недавно начало светать. Снег давно стаял, и несколько дней не выпал дождь, а в апреле здесь этого достаточно для того, чтобы народилась пыль. Листва, которая в недалёком будущем будет служить её поглотителем, ещё только-только собиралась распускаться. Наша улица всегда была ветреной, ничем не отличалось и это утро, к тому же было ещё так рано, что почти не было машин – затишье перед бурей. Даже машины не мешали пыли свободно перемещаться. Когда я переходил улицу на светофор, целая горсть хлёсткого мусора угодила мне в лицо. По проезжей части вместе с мелким песком ехали бумажки, спички и даже осколки стекла. Почему-то не было поливайщика, моего бывшего соседа. То ли он перевы-

полнил план вчера и теперь спал пьяный, то ли по известной причине в кране не стало воды. Хотя учитывая рвение, с каким он относился к своей работе, поливая нашу улицу не только под поливным дождём, но иногда и под снегом, его отсутствие здесь в чуть ли не самый сухой сезон, казалось почти невероятным. Но с чего я взял, что он вообще жив? Может быть, умер? Или нет, с чего ему так быстро умирать? Просто ушёл на покой и передал дело своим нерадивым детям и внукам, тем, на которых природа отдыхает.

Всё меняется, как говорят англичане. Я так долго смотрел на эту пыль посреди проезжей части, что меня чуть не сбילה машина. На самом деле, мне вовсе незачем было идти в том направлении, просто ноги сами повели меня туда, где был мой дом – последней фразой кончается один из романов Станислава Лема, один из лучших романов...

О чём бишь я? Оказавшись наконец на другой стороне, я заметил на углу магазина некое строение, которого раньше не было. Во всяком случае, оно появилось здесь недавно, раньше я его не замечал. Или замечал, но не обращал внимания, не считал, что нужно обращать на него внимание.

Но теперь я столкнулся со строением нос к носу, как со старым другом. «Как со старым другом...» – да-да, именно так тогда и подумал я. И это было своего рода предчувствие, потому что у меня не было никаких логических оснований предположить, что здесь я встречу хоть с кем-нибудь знакомым, не говоря уже о том, с кем я здесь действительно

встретился. Мало того, что, насколько я знал, он жил на другом конце Москвы, мы не виделись уже несколько лет, и я, испытывая лишь небольшое стеснение чувств, подумывал о том, что его, может быть, уже нет в живых. Отчего мы так склонны заочно хоронить своих давно не виденных друзей и знакомых? Может быть, так легче? Друг с воза, кобыле легче? Ведь ты хотел его найти, позвонить, повидаться? Хотел-то хотел, да всё чего-то ждал, оправдывался сам перед собой тем, что потерял телефон, а идти узнавать адрес в адресное бюро – целая история. Насколько, самом деле, ты хотел его видеть? Почему с этим желанием встречи всегда соседствует желание бегства? Неужели в нас сидит ещё не совсем описанный инстинкт – тяга к одиночеству. Нет, оставшись в одиночестве, мы вовсе не собираемся сразу умирать – мы другие, умирают только все кругом, а мы наслаждаемся собственной печалью по этому поводу, мы плачем от бессилия и пьём сладкую патоку грёз. Насколько всё-таки Фрейд способен объяснить Достоевского?..

Когда я заметил его, он вышел из будки попи'сать. Не мудрствуя лукаво, нужду он справлял за той же будкой. На фоне привычного московского гула было почти тихо, и только прерывистые стенания ветра могли соперничать по звучности с плеском ударяющейся в лужу струи. Я понял свою жену, которая находила позу писающего мужчины весьма живописной. Вернее, это потом я её понял и подумал, что мог бы уже согласиться с ней и тогда, в момент, который я

сейчас описываю.

Рассвет только ещё нарождался, и фонари не успели потушить. Такое переходное освещение не способствует видимости, т.к. глаз никак не может понять, на какой источник света ему следует настраиваться. И всё же я узнал его со спины. Чуть ли не та же самая телогрейка, в которой я увидел его впервые, когда мы ворочали тяжёлые ящики в одном из государственных учреждений. Но тогда она была почти новая, он и сам тогда был новый, с юношеским румянцем на щеках, щеголеватый, несмотря на телогрейку, с некоторой брезгливостью даже относящийся к своим товарищам по работе, включая и меня. Но потом, вскоре, я узнал, что это была лишь внешняя сторона этого человека, не то чтобы что-нибудь напускное, но просто защитная оболочка, ограждающая его от чрезмерной пошлости. К сожалению, она оказалась досадно тонкой. Исходящее из глубины его тепло, т.е. то самая пресловутая энергия, привлекала меня, как и других, поэтому ему, недоступному на вид и гордому, часто предлагали выпить. И он не мог отказать, потому что уставал поддерживать свою позу, хотел расслабиться и хоть ненадолго стать как все, опуститься до окружающего общества. Как бы там ни было, я тогда являлся частью этого общества, значит и я подталкивал его на путь наименьшего сопротивления. Ведь мне требовался податливый на мои басни собеседник, а не какой-нибудь небожитель. Когда рассуждаешь о любви мужчины к мужчине, всегда возникает некая побочная

мысль о гомосексуальности. Психологи не устают твердить, что скрытая гомосексуальность неизбежно присутствует в любых однополых отношениях. Как будто это что-то объясняет. Как будто словом sex можно исчерпывающе объяснить феномен дружбы. М-да, хватит, однако, повторять банальности и погружаться в море пошлости, от которой как раз и хотелось бы убраться как можно дальше в глубь материка, на горные вершины, вспоминая об этом человеке.

Гордому от природы трудно приспособливаться к подлой действительности. Для того, чтобы дышать воздухом большинства, ему требуются вспомогательные средства. Алкоголь, вероятно, помогал ему преодолевать равнинную болезнь, которая возникала у него ежедневно при вынужденных спусках с высот.

Не знаю, как там насчёт наследственной предрасположенности, но психологическая предрасположенность была налицо. И тут мне вспоминаются социальные романы Золя, и делается скучно. Пусть мне лучше будет грустно. Грустно, не значит скучно. Грусть в отличие от скуки, требующей развлечения, может быть плодотворной сама по себе.

Из грусти, как из источника, вытекают мудрые мысли.

– Эй! – сказал я, когда он обернулся ко мне, не поднимая лица, и уже собирался вновь юркнуть в своё убежище.

Он постарался меня не заметить – видимо, не ожидал, что кто-нибудь может пристать к нему в такой час на улице, не имея плохих намерений.

Я загородил ему проход, и он довольно долго водил взглядом вокруг моего лица, избегая фронтальной встречи глаз. Я даже немного стал опасаться, не даст ли он мне без разговоров в рожу, так и не разобравшись ни в чём.

– Эй, Глеб! – сказал я, и это имя вдруг упало на асфальт и покатилося, как только что вытасченный из печки ноздреватый коричневый каравай.

Теперь он узнал меня. Может быть, узнал голос. Впрочем, после того, как его ударили палкой по голове, у него могли в равной степени ослабеть и зрение и слух.

Мы сердечно поздоровались, и он пригласил меня в свою коморку, чему я был рад, т.к. успел замёрзнуть, хотя и был одет в лёгкое пальто. На сцену нашей встречи у будки ушло максимум две-три минуты, однако рассвет уже успел продвинуться или, может быть, на горизонте, где появлялось солнце, стало меньше облаков. Я разглядел его лицо и как бы узнал его ещё раз. Пыль, поблёскивая, скребла по тротуару. Где-то невдалеке подмигивала неисправная неоновая реклама. Фонари погасли, и сразу стало ясно, что снаружи серо, но почти светло. Судя по тому, как было холодно, день ожидался ясным.

Помещение, в которое я протиснулся вслед за Глебом, больше всего напоминало будку чистильщика обуви. Внутри было ещё темно, и Глеб отодвинул занавеску от подслеповатого оконца. Я присел на обшарпанный стул у левой стены. Наверняка испачкаюсь, как тут не лавируй. Когда привык-

ли глаза, я понял, что это скорее металлоремонт, чем обувной, какие-то масляные железяки норовили утереться о моё плечо, и я ёжился, пытаюсь избежать соприкосновения, но с другой стороны тут же упирался во что-то столь же неприятное. Естественно, на языке у меня вертелась куча вопросов, но они не произносились из-за того, что мешали друг другу. Странно было видеть Глеба теперь здесь, рядом со своим (т.е. с бывшим моим) домом, в какой-то, неизвестно когда и как выросшей у его стены, фанерной коробке. Кто это, в конце концов, дозволил? Теперь не те времена, пожароопасность и всё такое... Но, неужели Глеб здесь работает? Нет, я не имею в виду, что он не смог бы работать руками в какой-нибудь мастерской, руки у него были не то что у меня, подходящие.. Ещё менее ему могла помешать гордость. Та гордость, которой он страдал и за которую получил наказание, не чураясь рутинного, грязного труда. Скорее бы ему стало не по себе среди одетых в однотипные тройки работников какой-нибудь современной, старающейся изо всех сил походить на западную, конторы. Труд, если он приносит какие-то результаты помимо денег, сам по себе благороден. Но чиновник не стесняется получать деньги за должность, хотя должность является чистой абстракцией. Честный же человек предпочитает зарабатывать, сбывая вполне осязаемые и видимые плоды собственного труда. Таким образом, особенно тонким натурам противопоказана чиновничья карьера. И напротив, если некий индивид легко приживается о ка-

зённом кабинете, это не может не свидетельствовать о некоторой пусть не мозговой, но душевной тупости этого данного индивида. Впрочем, некоторые культивируют в себе эту тупость специально, понимая, что иначе им не продвинуться по службе, и достигают высот. Но те ли высоты нам снились?.. Вот я и заговорил стихами. С Глебом мы в своё время тоже нашли общий язык потому, что оба худо-бедно понимали стихи. Он рассказал мне, что играет на гитаре, очень хвалил Джимми Хэндрикса и Эрика Клэптона, о которых я тогда, похоже, даже и не слышал, да и сейчас я не много о них знаю. Он ориентировался на них, и мне было интересно услышать его музыку, и таким образом заодно опосредованно познакомиться и с чьими-то чужими кумирами. Вернее, он уже мне не был чужим, потому-то я и принимал в расчёт его мнение. Симпатичный мне человек – что вполне логично – мог увлекаться какими-нибудь потенциально симпатичными мне музыкантами.

Я предложил ему написать вместе песню, или это он создал ситуацию, сообщив, что у него есть несколько готовых мелодий, но только он никак не может подобрать слова. И меня удивила сюрреалистичность и символичность текста, который она предоставил мне в качестве рыбы. При всём своём аристократизме, и именно при нём, он казался мне проще. Т.е. он, очевидно, не так уж много вращался среди начитавшихся философских книжек снобов. И мне представлялось, что ему – как какому-нибудь бравому гусару –

было не к лицу близкое знакомство с чудаковатыми кабинетными учёными. Это не умаляет благородства. Он, разумеется, умел читать, но инстинктивно не погружался слишком глубоко в болото серьёзной литературы. Так он сообщил мне а своём впечатлении от Шеллинга, которого к стыду своему (или к счастью) не изучил я ещё и до сей поры. Но вряд ли он без перерывов прочёл хоть несколько страниц из труда сего достопочтенного учёного мужа. Его девственному, не замаранному излишней информацией, сознанию хватило и того, чтобы сделать глубокие и далеко ведущие выводы.

Во всяком случае, полёт чужой философской мысли вызывал у него восхищение. Я же, испорченный неумеренной начитанностью, почти с завистью относился к его восторгам. Сам-то я был скован по рукам и ногам системой противовесов, которую создавали многие прочитанные книги, опровергая одна другую. Я был придавлен к земле, а ему ещё можно было беспечно парить, как бабочке. И только грубый идиот может решиться прервать экстаз подобного индивида, заявив: «Баранкин, будь человеком!» И фамилия, кстати, у него была совсем другая, странная, каким-то боком тоже относящаяся к высотам. Именно по такой редкой фамилии я мог рассчитывать отыскать его в адресном бюро.

Может быть, конечно, я преувеличиваю, и то, что он написал было вполне симптоматично для человека пролиставшего Шеллинга и слышавшего много раз «Машину времени»? Не по хорошу мил, а по милу хорош. Но там же ещё бы-

ли Хэндрикс и Клэптон, которые для меня звучали загадочно, но гордо. Впрочем, один знакомый другого моего друга признавался, что слушает песни только на иностранных языках, потому что таким образом может наслаждаться музыкой, не портя себе удовольствие присутствием глупых слов. Он понимал, что скорее всего импортные тексты в среднем ни чуть не лучше наших, очень может быть, что они даже хуже, но поскольку он не знал языков, на это он мог не обращать никакого внимания. Мало того, бессмысленные или полубессмысленные для уха звуко сочетания, он мог сам наполнять смыслом, каким заблагорассудится. Воистину, во многой мудрости много печали. Но не мудрость ли – воздерживаться от лишнего знания? Тут, конечно, возникает соблазн поразбираться, чем отличается мудрость от знания, но оставим это на другой раз. Заметим только, что сказав, что инстинктивное и природное – это и есть мудрость, мы откажем человеку во всей его исключительности. В этом смысле мудры все звери, а человек только выпендривается, пользуясь костылями вроде культуры, техники, прогресса и пр. Итак, если хочешь вернуться к естеству, надо пойти дальше Диогена, забыть человеческий язык и превратиться в зверя. Хорошо ли это? Скорее всего, всё-таки нет, потому что не для того так нас мучает Господь. Не стал бы он настаивать на своих целях, видя как нам здесь плохо, если бы не имел в виду чего-то ещё, кроме этого простого возвращения.

Ну вот, я всё-таки соблазнился абстракциями. Не таков

был Глеб, само имя его было весомо и напоминало об утолении телесного голода, оно несло надежду на то, что сейчас произойдёт что-нибудь настоящее; а что должно произойти, если не чудо, чтобы мы обратили на это внимание? Таим образом, настоящее и есть чудо, и напротив, всё, что не чудо – это не настоящее.

Глеб, в отличие от меня, не склонен был этим многообещающим утром задаваться пустыми вопросами и делать забавные выводы. Такие забавы на поверку могут оказаться приемлемыми только для их производителя. Кому какое дело, что происходит в уме у другого человека? Странно, что вообще хоть кто-то этим интересуется. Сначала изо всех сил разучиваются себя слушать, а потом тянутся к подслушиванию другого.

Глеб был здесь и сейчас, он стоял, прислонившись к стене спиной, в глубине будки и улыбался мне, это была совершенно искренняя, может быть, немного растерянная, и может быть, даже глуповатая улыбка. Но последнее качество появилось в ней лишь с тех пор, как её хозяин испытал тяжёлое сотрясение мозга. Впрочем, не обошлось и без влияния питания.

Я спросил, чем он занимается. Он оживился и ответил, что работает в фирме по сотовым телефонам, но тут же спохватился и добавил, что не работает уже три, нет, четыре дня. Доложив мне всё это, он опять вернулся в свою улыбку, выказывая на лице печать как бы застывшей безмятежности.

Чем же он занимается теперь?

– Продаю наркотики, – просто ответил Глеб и тут же извлёк из выдвижного ящичка мешающейся мне под локтём чумазой тумбочки какие-то газеты и газетный же кулёк. Не успел я оглянуться, как он уже свернул толстый косяк. Такие я, пожалуй, видел только в фильмах про Великую Отечественную Войну. Но я сидел не в окопе, и это была явно не махра.

Надо сказать, что при слове «наркотики» мне сразу сделалось как-то неуютно. Сразу же ещё сильнее зашатался подо мною шаткий, трубчато-металлический стул, ещё неудобнее стало сидеть на местами сморщенном, местами облезшем до гвоздей дерматине. Я вдруг осознал, что этот дерматин красный. Вероятно, света, проникающего в окно, стало достаточно для того, чтобы включилось цветовое зрение.

Глеб закурил, и не успел я поднять глаза на дым, как он вставил мне в рот следующий, столь же умело свёрнутый косяк. Немного противно было жевать сдобренную типографской краской бумагу, но он сказал, что трава хорошая. Что ж, покурим.

Однако, у меня осталось ещё много вопросов. А вместо этого я наполняю лёгкие смолистым дымом, через некоторое время ощущается знакомое покалывание где-то в мозжечке. Я забываю, о чем хотел спросить Глеба и начинаю опасаться, что подожгу свои штанины, почти упёршиися в инфракрасный обогреватель, который включил Глеб. Я пони-

маю, насколько замёрз. От этой печки поначалу делается не столько тепло, сколько плохо видно, оранжевый свет опять-таки сбивает зрение с толку. Страх перед пожаром сменяется страхом, что нас заметят. Я начинаю ёрзать на месте, пытаясь оглянуться в расположенное у меня за головой окно. Там уже ходят люди, возможно менты. Но Глебу всё нипочём. Вероятно, он не из тех, кого пробивает на тревогу.

Какой-то мужик прислонился к самой будке, вот он заглянул и скрылся из виду. Ссыт что ли там, в том же месте, где и Глеб? Я достал из-под полы спрятанный недокуренный косяк. Глеб понял направление моей мысли:

– Это Василич, – без тени беспокойства заявил он.

Но тени уже сновали по стенам внутри коморки, и всё более зловеще звучали чьи-то шаги.

– Василич?! – сам не знаю что меня так удивило в этом использующемся как прозвище обыкновеннейшем отчестве.

Глеб засмеялся. Я тоже начал смеяться, но сумел обуздать смех, потому что он показался мне со стороны страшноватым. К тому же, я боялся, что кто-нибудь за стеной услышит, как я ржу, и тогда уж точно все поймут, что' здесь происходит.

Василич тем временем сделал своё дело и стал тыркаться в дверь. Глеб открыл. Перед нами предстал небольшой мужичонка совершенно бомжацкого вида, на нём было какое-то выцветшее до бурых разводов, в прошлом, вероятно, чёрное пальто – такие теперь не очень-то и на помойке найдёшь – и

такой же древний кроличий треух, так отделанный дождями и молюю, что, казалось, он вот-вот рассыплется в прах.

Дядька ухитрился войти и захлопнуть за собой дверь. Для троих в этой коморке было уж совсем недостаточно пространства. Мы буквально все упирались друг в друга, а заодно и в пышущий жаром обогреватель. Мне стало неудобно дышать и очень захотелось выйти. Пока я шугался по поводу появившегося дядьки, мой косяк погас, не дойдя и до половины. Глеб же затушил свой не то из солидарности, не то для того, чтобы без помех обсудить со вновь пришедшим насыщенные нужды.

Из их нехитрого разговора я понял, что будка принадлежит не Глебу, а этому мужику, и что мужик только сдаёт ему её на ночь. Уж не знаю, как платит Глеб – может быть, деньгами, может, той же самой травой. А может, мужику выгодно, что Глеб сидит здесь ночью и распространяет анашу, когда сам он спокойно спит дома. Причастен или нет сам мужик к опасной торговле, я не понял, зато понял и убедился, что здесь он преимущественно занимается изготовлением ключей. При всей затрапезности обмундирования – кроме телогрейки на Глебе были заправленные в кирзачи старые джинсы, из распах выглядывал ворот выдавшего вида серого свитера, а на голове шерстяная шапочка, которую, несмотря на то, что в подобных порой ходят и десантники, иногда почему-то называют пидоркой... Так вот, даже в этаких доспехах Глеб выглядел здесь хозяином. А этот мужичонка – будто

вылез из помойки. Может и нет у него никакого дома и спит он в мусорном контейнере, стараясь ото всего урвать и сдавая в аренду единственное своё более или менее приличное убежище? Зачем деньги этому Гобсеку? Где он из прячет? Вот Глебу, наверное, даже никогда не приходили в голову подобные мысли. Какой чистый человек? Или наивный?

Дядька пока не очень настаивал, но по его телодвижениям было заметно, что он был бы не против, если бы мы поскорее оставили его в одиночестве. Он, видите ли, будет делать ключи. Что ж, в таком занятии тоже содержится – впрочем, вполне избитая – символика. Этаким сверчок у очага, который, того гляди, протянет разбивающему будку хулигану Буратино, золотой ключик: «Возьми, детка...» Просто сердце слезами обливается. Впрочем, воняет при этом от этого мужика ничуть не меньше.

Мы всё-таки вышли, вышли на вольный воздух, и это было так прекрасно, что у меня захватило дух и чуть было не подкосились ноги. Косяк я на всякий случай спрятал в карман.

Глеб попрощался с мужиком, я тоже что-то буркнул. Я хотел сказать Глебу, что думал грешным делом, что это он работает в будке над металлом, но что' было говорить, когда и так уже всё было ясно. Мы пошли прогуляться, и для этого свернули за угол направо, оставив слева заманчиво подмигивающий светофор, и я вспомнил знакомые с детства стишки:

Закурил я папиросу «Беломор».

Подмигнул мне светофор,

Я его сломал...

Не знаю, правильно ли я расставил знаки препинания, и никакого продолжения не знаю и никогда не знал. Но эти незаконченные вирши чем-то меня завораживают. Они могут звучать совершенно по-разному в зависимости от того в каком контексте их разместить. А в учебнике советской психиатрии образца 1937 года я вычитал, что настоящее произведение искусства от шизофренического бреда отличается полисемантической, т.е. неоднозначностью. Вот так и этот гениальный отрывок, то и дело приходящий мне в голову на протяжении жизни по самым разным поводам.

Мы свернули направо и пошли по переулку, до того мне знакомому, что даже не знаю до чего. Приходится выискивать сравнения в роде припухших желёз, которые мне безжалостно в детстве отрезали, все до одной, и гланды и аденоиды сразу. Может быть, это было что-то вроде кастрации? Может быть, тоталитарное общество бессознательно хоть таким способом старалось окоротить своих не в мену свободлюбивых членов? Кастрировать голоса, убрать ненужные тембры...

Каждая складка этого переулка должна была помнить когда-то издаваемые мной звуки. Мне кажется, что моё минувшее эго было заморожено здесь и превращено в эхо, в камен-

ное, разумеется. Может быть, не случайно эти два слова это и эхо так похоже звучат?

И сейчас гул наших шагов звучал так, словно мы сами себя догоняли. Впрочем, все эти эффекты проще всего было объяснить действием травы. Однако, ключ только открывает дверь и делает тайное явным. Для того, чтобы что-то открылось, это что-то прежде уже должно было существовать.

Я попытался выстроить цепочку из скачущих мыслей. В конце концов, мне было бы неприятно констатировать, что у меня они такие же скакуны, как у одного известного певца. Перейдём на рысь и построим обоз в колонну. Даже под действием марихуаны можно придерживаться удовлетворительной логики; и это притом, что логика будет обслуживать более непосредственное сознание, такое тоненькое сознание, что сквозь него, как сквозь застывшую магму, прорываются фонтаны грязи и кипятка, являя собой, так сказать, свежие и неожиданные образы и ассоциации.

А может быть, оригинальность нам только снится, точно так же, как все бои, которые мы вынуждены вести наяву? Когда пелена спадает с глаз, остаётся только покой. Незамутнённое сознание, то самое непостижимое чистое сознание, о котором талдычат восточные мудрецы. И нам всё время кажется, то они лукавят. Нам вообще всё кажется?.. Ну вот и договорились, пора возвращаться на грешную, пусть даже только кажущуюся осязаемой и весомой, землю.

Глеб шагает рядом и лицо его одухотворено. Чем? Я не

могу залезть к нему в душу, но полагаю, что одухотворено оно гораздо более целостной и простой, а значит и более всеобъемлющей мыслью, чем любая из тех многоразличных, а оттого и менее ценных мыслишек, которые, как на подгнившем арбузе, склонны присаживаться на моём мозгу.

Простота невыразимо полна. Полнота невыразимо проста. Вот идёт толстый человек, и сразу всё ясно. Это шутка.

Мы прошли мимо моего дома с одной стороны, и мимо школы, в которой я учился все мои школьные десять лет, с другой. Голова моя поворачивалась подобно флюгеру и я замечал меняющих местоположение голубей и ворон. Они спускались с подоконников на асфальт и вновь взлетали, чтобы пристроиться на подоконниках. Вороны и воробьи сидели также на ещё голых ветвях, а голуби не садились на ветви почти никогда.

Поблизости зачатила выхлопной трубой прогреваемая хозяином машина, честно говоря, мне всегда хочется убить человека, портящего таким образом ценный воздух, но на этот раз моё возмущение было смягчено действием травы, оно легко отделилось от меня и стало абстрактным. И я подумал, или, может быть, только теперь я это на самом деле подумал, что жить в этом дерьме, которое называется цивилизацией, может быть, только и возможно под действием наркотиков. Тогда ещё терпимо. Нет, я ничего не говорю, покурить анашу, конечно, лучше где-нибудь на природе, под пение соловьев и цветение черёмух. Но когда не из чего выбирать? Под

кайфом даже самые отвратительные вещи делаются интересными, а значит терпимыми. Всем нам в этом большом городе необходим наркоз, хотя бы для того, чтобы не замечать, как мерзко воняют по утрам выхлопные газы, как до смешного мала цель, заставляющая человека нарушать святую тишину и портить отстоявшуюся за ночь чистоту. Я думаю, Провидение могло бы не заметить и раздавить такого человека, как муравья. Но почему-то и он не исчезает. Значит он кому-то нужен? Значит есть в нём какой-то смысл? Во всём есть смысл – с этим приходится мириться.

И вот мы утомляем, ублажаем наши ретивые мозги всяческими смягчающими средствами. Голову, впрочем, можно заморозить не только наркотиками и лекарствами. Подходят и деньги и спорт и философские рассусоливания, вот хотя бы в том виде, в котором они перед вами сейчас разворачиваются.

Я хотел бы бежать и не оборачиваться, и здесь нужно было стремиться уподобиться не нетерпеливому Орфею и не слишком привязчивой и сентиментальной жене Лота, но ловкому Персею. Главное не заглядывать в лицо преследующей необходимости, как смертельно опасной Горгоне. Как прав Шестов! Бежать и смотреть только вперёд, в крайнем случае, по сторонам. А мысли и слова, которые мы роняем на пути, пусть становятся камнем. Пусть скачут, как драже, и закатываются под кровати и в канализацию.

Мы повернули ещё раз направо, и я в который раз отметил, как много на перекрёстке останавливается машин. С каждым годом из становится больше и больше. И даже теперь, когда работающие в близлежащих офисах ещё не прибыли, здесь приходится лавировать среди автомобилей, как в своеобразном лабиринте. Машины, лишённые гаража, чем-то напоминают бездомных собак, они стоят, смотрят своими пустыми, унылыми фарами и ждут своих владельцев. Но даже от неподвижных машин плохо пахнет.

Однажды, при взгляде на одну из автомашин в родном дворе, я испытал нечто вроде озарения. Я не узнал её, т.е. вообще как бы забыл, что такое машина, и очень удивился, что *это* именно *такое*, а никакое другое. Замыленный буднями глаз не чует гротеска существования. Очень трудно объяснить другому, чем тогда меня так поразила эта машина. Это было почти инопланетное существо, что-то совершенно чуждое, но почему-то здесь и сейчас сосуществующее со мною. Я ничего не мог поделать с этой данностью. Открыв её присутствие, скорее пугающее, нежели приятное, я мог только смириться.

Постараюсь прокомментировать этот случай более рационально. Известно, что все движущиеся машины в идеале должны быть наиболее обтекаемыми. Для автомобиля, вероятно, наиболее целесообразна каплевидная форма. И во всём мире автомобилестроители медленно, но верно приближаются к этой форме. Но в том-то и дело, что приближа-

ются они слишком медленно, я бы даже сказал, подозрительно медленно – как будто ещё при Леонардо Да Винчи нельзя было нарисовать удовлетворительный чертёж идеальной повозки. Люди отвлекаются на дешёвизну, удобства, внешние аксессуары, каким-то непостижимым образом в машиностроение вмешивается мода. Кто бы мог спрогнозировать, какого вида автомобили в каком десятилетии двадцатого века будут преобладать? В каждый момент времени мы имеем данность, и остаётся ей только изумляться. Изумляться, хотя бы тому, что всё это – в общем-то недоразвитые уроды, своеобразная металлическая кунсткамера.

На этом же перекрёстке в детстве я видел одну из последних лошадей, использовавшихся в Москве для грузовых перевозок. Возила она исключительно стеклотару и тоже подолгу дожидалась своего хозяина, переминаясь с ноги на ногу на углу, потряхивая блондинистой гривой. Теперь лошадки в городе применяются только для развлечения.

Мы перешли встречную улочку по диагонали. На той стороне был забор, аляповато разрисованный кем-то для детей, а может, рисовали и сами дети. Во всяком случае, рисунки были весёлые. Впрочем, от них теперь мало что осталось. А цел ли забор?

Правее забора был вход в продолговатый, перпендикулярный улочке двор. По сути дела это, скорее, был длинный газон, ограниченный с одной стороны узким проездом и стеной из двух последовательно стоящих друг за другом домов,

а с другой тем самым забором, уходящим вглубь, причём в глубине он загибался налево, образуя соответственно расширение двора.

Травы на замусоренной земле пока не было, но всё пространство газона было почти равномерно уставлено обнажёнными деревьями. Обнажёнными, но уже с такими набухшими почками, что можно было считать их условно одетыми. В самом деле, в нежном свете утра деревья переливались всеми оттенками зелёного и розового цвета, по ветвям прыгали какие-то птички.

Прямо к оградке торца этого городского леса на тротуаре был привален штабель каких-то досок. Через дорогу, напротив, располагалось отделение милиции. Мы и сами не знали, почему пришли сюда. То ли Глеб привёл меня, то ли я его. Ведь, в конце концов, это я тут жил.

По дороге он поведал мне о своей нелёгкой жизни, о том, что будка – это для него только временное пристанище, что вообще-то ему негде ночевать. Я не стал интересоваться, почему он не ночует дома, у родителей, – вероятно, у него были веские причины.

Глеб спросил, не могу ли я ему предоставить убежище, и это его просьба не на шутку меня напугала. Ещё на одну ночь или, скажем, на сегодняшний день, я бы, конечно, с радостью пригласил его выспаться у меня. Но ведь он может вселиться надолго и даже навсегда. При всей моей любви к этому другу, я с трудом представлял, что смогу его продол-

жительно выносить с собою в одной комнате. К тому же — эти наркотики и его склонность к пьянству...

Глеб, наверное, сразу почувствовал, что меня угнетает поднятая им тема. Не смотря на удар по голове он сохранил тонкость натуры и не настаивал на своём. Только что в его взоре и во всей фигуре сквозила неподдельная грусть, но вот уже он снова улыбался как ни в чем ни бывало. Я лихорадочно думал, чем бы таким я мог ему помочь, только чтобы не вводить себя в долгосрочные неудобства. На кого бы его свалить? Решения как-то не находилось, ну да, кому нужен такой вот великовозрастный дитятя? Каким бы он ни был милым... И вспомнилось мне ещё из Евангелия: "А Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову". Я устыдился самого себя и чуть не прослезился. Во всяком случае, на один день я могу приютить Глеба у себя. Мать с бабушкой не будут возражать, они его знают. На том и порешили, и сели на штабель, потому что Глеб предложил докурить незаконченные косяки. Сама идея присесть ради такого дела прямо напротив входа в милицию может показаться ребяческой и предосудительной. Но Глеб, оказывается, знал многих из этих ментов, пока мы шли сюда, он с некоторыми из них при встрече даже здоровался за руку. Может быть, они его, как это говорится, крышевали? Или, может быть, что' ещё более вероятно, они, в основном, и являлись его клиентами? Я не стал допытываться, но, глядя на Глеба, решил тоже быть смелым, хотя бы таким способом выражая ему солидарность

и пытаюсь искупить малодушие, с которым я воспринял его просьбу о помощи.

После измызанной будки доски показались мне чистыми, я уже смело опустил свой зад на эти занозы. Было высоко и довольно неудобно. В конце концов, я устроился не сидеть, а стоять, прислонившись к штабелю спиной. Наверное, уже вся моя спина была в смоле и опилках. Может, потому Глеб рядится в свою телогрейку потому, что чувствует себя в ней более свободно? Да и кто пристанет вот к такому работяге с косяком?

Мы закурили. Обгоревшая газета немножко припахивала копчёным. И так уже было хорошо, но можно было добавить. Я с интересом зоолога наблюдал, как исчезают и появляются людишки в дверях через дорогу. Все они были одеты в парадную форму и все куда-то торопились.

И вдруг мы поняли, что происходит, но не увидели, а слышали. Где-то справа по улице ударил большой барабан и басом заиграла труба. Вероятно, милиционеры готовились к празднику и решили устроить генеральную репетицию на воздухе. А я и не знал, что при нашем отделении милиции существует духовой оркестр. Или недавно завёлся? Всё это было маловероятно и, учитывая наше состояние, показалось нам тем более забавным.

Мы отклеились от своего штабеля, чтобы посмотреть, продолжая нагло курить. На нас никто не обращал внимания, все милиционеры стремились на одну малюсенькую

площадку с нашей стороны дороги, где уже в основном построился оркестр. До них от нас было, может быть, метров тридцать. Мы увидели аксельбанты и золотой блеск инструментов, отчего-то смотреть на этих бравых молодцов было прямо-таки вкусно. Мы переглянулись – ни у меня, ни у него не было слов, чтобы выразить недоумение. Велики чудеса Твои, Господи! – Что ещё тут скажешь?

Какой же праздник они имели в виду – 1-ое мая или 9-ое мая? Или у них тут какой-нибудь юбилей местного значения, важный именно потому, что он как следует отмечается только раз в сто лет?

Мы опять привалились к штабелю. Милиционеры, надо отдать им должное, быстро настроились и начали играть. Мы даже ещё не успели докурить, но надо сказать, что и косяки были длинные жирные.

Теперь меня окончательно покинула всякая тревога, и угрызения совести оставили меня. Я слушал не совсем стройные звуки оркестра и смотрел в небо, от присутствия Глеба мне делалось тепло и спокойно. Или нет, тепло стало на самом деле. Наверное, пришёл тёплый фронт, который обещали. Мне даже захотелось снять пальто. Птички пели, по-моему синицы, и оркестр играл.

Бедный Глеб, который сразу забывает то, что он сказал, Глеб, который вынужден смеяться над собой, Глеб, который ночует в будке и знает милиционеров по именам, Глеб, с которым я распрощаюсь уже сегодня вечером и, быть может,

навсегда. И бедная моя больная бабушка...

Автомобили больше не досаждали нам. Вероятно, в связи с репетицией, временно было перекрыто движение по этой дороге. И воздух был необыкновенно вкусен, несмотря а может и благодаря распространяющемуся аромату ананаса. Но было ещё что-то в нём, что-то едва уловимое, но очень важное, знакомое мне даже не с детства, а с младенчества, то, что всегда будоражило меня, то, чего от во мне просыпались неясные, но очень приятные предчувствия.

Музыка была нестройной, мотив едва угадывался. Скорее всего, это был какой-нибудь марш, а, может, вальс. Вальс даже скорее. Барабан бухал, отдаваясь у меня в диафрагме, а трубы булькали в голове, словно моя собственная кровь собиралась закипеть. Но во всём этом не было ровным счётом ничего угрожающего. Я перестал на какое-то время бояться, я вступал в резонанс с этим нелепым оркестром, с весенним утром, с птицами, с домами, даже с машинами, со всём миром, и тело моё пело, стучало пульсом в такт ведущему барабану.

Странно было предположить, что эти милиционеры могут любить меня, но, похоже, они меня действительно любили в этот момент. И я их любил. И Глеб испытывал тоже самое, и мы с ним прекрасно понимали друг друга, и нам не надо было ничего говорить, не надо было даже смотреть друг на друга.

Мы смотрели вверх, в серую голубизну, исчерченную

упругими ветками. Косяк дымился и догорал у меня в руке, но всё никак не мог догореть. Время замедлило свой ход и почти остановилось, но музыка, которая может существовать только во времени, всё-таки продолжалась.

Мы стояли и улыбались как идиоты, они дудели в свои трубы, а мы – в свои. Они выпускали звуки, а мы – дым. Всё мне прощалось – и что я не купил цветок бабушке, и что я не мог любить Глеба всю его оставшуюся жизнь. Все мы, смертные, сейчас, в этом единении, были равны.

Становилось всё светлее, уже стоял белый день, и я понял, разглядел то, что происходило непосредственно над мной. Это были тополя. Коричневые блестящие чешуйки почек медленно отваливались и летели вниз, из таинственной глубины жизни выглядывали тёмно-красные червячки нарождающихся серёжек.

Это был то самый запах, который всегда заставлял моё сердце биться сильнее и туманил глаза слезами. Всего несколько дней, и они неряшливыми гусеницами опадут на асфальт, потом всё это почернеет и будет смыто дождями и стёрто грубыми мётлами.

Но я, наконец-то, застал этот миг, миг рождения тополиных цветков. Они тоже были мужиками, как мы с Глебом, эти тополя над нами, и они сейчас начинали рассылать по ветру свою пыльцу, надеясь, что где-нибудь она даст семя, тот самый тополиный пух, который наводнит Москву месяца через полтора.

Тополя распускались. Каким-то непостижимым образом я видел это, то ли помогала трава, то ли весна, то ли вся моя жизнь собралась сейчас в этой точке, чтобы помочь мне.

Время, как и положено времени, в самый патетический момент, невообразимо растянулось, и между и без того протяжными и ставшими от этого ниже нотами духового оркестра, между сотрясающими воздух, как нестрашные артиллерийские разрывы, ударами барабана можно было услышать целую повесть о странствиях со стороны прятавшейся за дальним бетонным торцом длинного двора железной дороги. А на её фоне, хрипя и скрипя перед тем, как забросить своего крошечного сидельца прямо в небо, раскачивались непоправимо тяжёлые и тугие, за всю свою жизнь никогда не знавшие смазки детские качели. И при всём при этом вокруг ещё было непередаваемо много тишины...

Я всё-таки посмотрел на Глеба и заметил, что у него глаза тоже на мокром месте. И я втянул поглубже в ноздри смолистый тополиный дух, и запрокинул голову на штабель. Оркестр ангельским хором звучал у меня внутри, и я чувствовал как тело моё, подобно древесному, наполняется соком от пяток к макушке, по миллионам прозрачных трубочек восходила нежно-розовая непобедимая сила. Я рос как тополь, и не удивился бы, если бы на моей лысой голове закучерявились серёжки.

Я распахнул пальто и подставил грудь рассеянному звенящему свету апрельского солнца. Если что-то вроде счастья

случается на Земле, то это случилось с нами. Воздух был как музыка, а музыка, как небесное вино, текла к нам в уши и в рот. Мы слышали, как открываются почки – щелчок, лёгкое падение и шорох. Мы были почти счастливы.

Позор

«Он, Гитлер-де, может судить обо всём этом гораздо лучше, так как он в Первую Мировую сражался в качестве пехотинца на фронте...»

Э.Маништейн

"И пришло время наконец-то отправляться туда, где мне придётся остаться навсегда", – так подумал я, когда меня очередной раз вызвали в штаб.

До дембеля оставалось, самое большее, два месяца. Приказ уже был объявлен, и празднования по его поводу сменились затяжным ожиданием.

Последнее время всё вроде бы нормализовалось. Никто не погибал. Во всяком случае, погибало не больше, как мне казалось, чем в любой другой военной части, расположенной на какой-нибудь гораздо более мирной территории. Солдаты, как известно, болеют, голодают, стреляются нарочно или случайно, замерзают по пьяни. Но не везде они часто наступают на мины, тут уж у нас было больше возможностей.

И не то чтобы это была такая уж дедовщина. Хотя понача-

ду так оно, конечно, и было. И часть-то у нас была не очень большая, так что даже хлеба всем хватало. Я попал сюда по призыву, хотя, как меня уверяли, по призыву никого сюда давно не берут. Потом кто-то мне сказал, что я бы мог отказаться, закосить, что, мол, пацифист и пр. Что бы в конце концов мне сделали? Ну, в психушке бы отсиделся.

Почему я этого не сделал? Да нет, не потому, что так уж люблю приключения. И никаких особенных патриотических чувств я не испытывал. Просто, когда это произошло, т.е. когда я окончательно осознал, куда мы едем, я ощутил взгляд судьбы. Она смотрела на меня, ну точно как удав на кролика, и я не мог не поддаться этому змеиному очарованию. «Пусть всё идёт, как идёт...» Не знаю, ведь это кто-то сказал. Наверное, из какого-нибудь фильма...

Как ни странно, оказалось, что рядом со мной много таких. Они не роптали, ни о чём не просили и, похоже, даже ни на что не надеялись. Я не верил своим глазам. Неужели я не один такой? Неужели целое поколение выросло, поколение фаталистов?

По телевидению только и делают, что рассуждают о социальных условиях, – будто в этих социальных условиях есть какой-нибудь смысл. Ну да, у одного условия лучше, у другого хуже – что с того? Кто-то, наверное, в силу этих своих условий ни коим образом не мог бы попасть сюда. Мы попали. А он попал ещё куда-то, только и всего. Во всяком случае, нас здесь было немало, поэтому нам было не так страшно.

Но те, кто здесь были до нас, конечно, не могли нас сразу принять на равных. Говорят, на войне дедовщина отменяется. Но здесь уже вроде было мирное время. Я бы сказал, перемежающееся войной мирное время.

Когда у тебя появляется надежда, что тебя не убьют в ближайшие несколько месяцев, но ты должен сидеть и ждать, потому что всё-таки, паче чаяния, это может произойти, становится очень скучно и хочется покуражиться над кем-нибудь. Куражиться безопасно только над кем-нибудь слабым, потому что иначе это опять-таки увеличивает риск быть убитым.

Да и не происходило с нами ничего такого сверхобычного. Как и положено новичкам, мы занимались самой грязной работой, только и всего. Конечно, били, но мне на гражданке, случалось, доставалось и больше. Было очень плохое питание, но я же выжил – так что грех жаловаться.

Вы, разумеется, знаете, что в армии любят посылать за «менструацией». У нас такого не было, но только потому, что все знали, что такое менструация. При всех недостатках образования, что касается секса, кругозор масс за последние года сильно расширился. У нас были другие приколы, и это связано было с местными условиями. Зачем посылать молодого за какой-то менструацией, если его можно послать к горцам за травой или водкой. Может и не вернуться – ну что ж, невелика потеря, он же молодой, мы к нему ещё не успели привыкнуть – всё равно что эмбрион, до срока извлекаемый

из матки. А уж что' получится – кесарево сечение или аборт – посмотрим.

Да нет, всё обстояло не так уж и кровавадно. В основном, возвращались. У горцев был свой бизнес, у нас свои принципы. Они знали, что русские могут вдруг рассердиться по самому пустячному поводу. Ничего, ничего, а потом вдруг начинают выжигать землю. За это нас не любили, за это и боялись.

Я конечно был не самым приятным собеседником для прожженных псов войны. В глаза им старался не глядеть, а если глядел, не появлялось в них никакого подобострастия. За гордость меня можно было бы простить, если бы я не говорил иногда непонятных вещей. Видит Бог, я вовсе не хотел обижать старослужащих и офицерский состав, просто, хоть изредка, я всё-таки должен же был разговаривать. Ну, хотя бы по делу. И тут уж проявлялась натура. И образование. Сам не знаю, где это я нахватался.

В одной из книжек, которую мне довелось прочитать, рассказывалось о молодом самурае, который считал, что у него слишком умное лицо и последовательно и самоотверженно боролся с этим недостатком, чтобы не задевать самолюбие начальства. Это, в общем, вполне в духе христианской максимы: «Повинуйся начальнику своему».

Но где мне было взять смирение? Я вовсе не хотел получать оплеухи. Я хотел жить и хотел сохранить целым нос, имея в виду хотя бы будущую собственную свадьбу. Много

чего я хотел сохранить. Но военные доктрины утверждают, что нельзя защищать сразу всё. Отчаявшийся на такую тотальную защиту, в конце концов, всё и потеряет.

Я не желал жертвовать ничем, но зато мною могли запросто пожертвовать. Как пятым колесом в телеге. И в чём-то они были правы. Что' я тут искал, рядом с ними? Ведь, как уже сказано, я не совсем случайно попал сюда. Солдата не могут не раздражать политики, корреспонденты и прочие, сующие нос не в своё дело. И хотя я был на одинаковых правах с ними, слушая мои речи и глядя в мои глаза, они ощущали гнетущее неравенство. Только подверженность смерти равняла нас, и из этого вытекало вполне логичное решение о том, что уж раз я такой особенный, то почему бы мне не быть одному из первых?

«Зачем ты сюда пришёл? – как бы спрашивали меня наши старички. – Ты ищешь смерть? Что ж, ты найдёшь её». И если почти всех их можно было уличить в недостатке образования, то уж в недостатке интуиции никак. Здесь это шестое чувство очень быстро развивается, не владеющие им в совершенстве просто не выживают.

Потому-то, когда мне предложили первый раз прогуляться к чеченцам, я не стал устраивать истерик. Если бы побежал к командиру, упал бы в ножки – ну, накостыляли бы мне, ну, потомился бы в карцере, но, скорее всего, выжил бы. А тут – полная неизвестность. И не то чтобы за время моего пребывания здесь так уж много наших оттуда не вернулось.

Таких случаев, слава Богу, пока не было ни одного. Но ходили упорные слухи. Дыма без огня не бывает. А здесь мне уже довелось видеть и огонь. Мины взрывались, стреляли. Непонятно кто в кого стрелял, но выстрелы раздавались почти каждую ночь. В конце концов, к этому привыкаешь, почти как к хору кузнечиков.

С другой стороны, такой поход можно было расценивать как боевое крещение. Дорога к горцам представляла собой своеобразную полосу препятствий. Говорят, всякий раз, когда они приглашали к себе кого-нибудь из наших, они заблаговременно устанавливали на пути какую-нибудь неожиданность, а то и не одну. Чем не азартная игра? В ней могут принимать участие желающие и с той и с другой стороны. Дойдёт или не дойдёт? Не удивлюсь, если по предварительному сговору в нашими офицерами. Развлекаться ведь все хотят, а тут не так уж много развлечений. Надо использовать возможности.

Почему я? Ну, была и ещё причина. Все знали, что я недавно получил перевод. Это здесь вообще нечасто случается. У большинства родители бедные, и почта плохо работает. У молодых вообще-то переводы, как правило, безжалостно отбирают. Я-то ещё удивился, что это меня сразу не начали шманать. Только улыбались как-то загадочно – видать, уже знали. В самом деле, принцип экономии должен соблюдаться во всём. Расставаться со своими деньгами всякому жалко. А тут не надо и сбрасываться – товарищ готов

к бою и вооружён, т.е. имеет достаточные средства, чтобы послужить общему делу.

Я пошёл. В какой-то момент у меня всё упало внутри. "Это всё," – подумал я. "Какой идиот! Зачем я это делаю?" – подумал я. Но хотя и не получил на свой вопрос ответа, почувствовал, как что-то неожиданно тёплое и успокаивающее появляется в глубине груди. Это я жалел себя, и от этой жалости делалось тепло. Я уже относился к себе как к безвременному ушедшему, и от этого делалось легче.

Тысячи раз в тысячах разных мест, в выступлениях, в докладах, в книгах осуждались агнцы, безропотно идущие на заклание. И наоборот – воспевались герои, предприимчивые пионеры, открывающие новые горизонты ценой невероятных усилий. Умирать было глупо. Нужно было бороться до конца – таково было требование людей, которые продолжали руководить нами. И кроме того, для того чтобы победы свершались, всё-таки кто-то должен был умирать.

Я и не собирался помереть глупо. Иначе я попробовал бы, например, закосить, испортив себе здоровье. Я хотел играть по-честному. В этом, правда, было что-то немецкое. И сам не знаю, откуда это во мне. Трудновато приходится с русскими, а тем более с горцами, когда ты немного немец.

Я хотел играть по-честному, и уж если помереть, так помереть, если выжить, так выжить. Я никому не собирался лизать пятки. Но мне было страшно. Пока мне удавалось сохранить лицо, хотя по нему и били. Теперь я вынужден был

иметь дело со врагом, которого почти не знал.

Вы скажете: всего-то послали за травой к чеченцам. Шёл бы и всё. Чего тут разглагольствовать? Бог не выдаст, свинья не съест. Кто его знает, где кончается трусость и начинается глупость. Я знал, я слишком хорошо знал, чем это всё может кончиться.

Хотя мне и сказали вернуться как можно быстрее, я понимал, что им всё равно придётся меня дожидаться столько, сколько чеченцы захотят меня продержат, или сколько я захочу, потому что пока я нахожусь в дороге, я почти совершенно свободен и от тех и от других. Только от смерти я не свободен. У меня еще, кажется, не было увольнительных? Вот и отлично, подышу свежим воздухом. До сей поры нас даже ни разу не выпускали с территории части, можно сказать, из казармы – всё время приходилось что-нибудь драить и чистить. К тому же, у меня в первую же ночь спёрли сапоги, и я, ничего не предпринимая, довольно долго из чувства противоречия, ходил в тапочках. Это мне, конечно, кое-чего стоило, но зато обувь выдали, новую.

Вот теперь и будет возможность её обтопать. Место, куда я иду, я представлял лишь только очень приблизительно. Я и горцев-то толком не видел. Однажды только, на построении, ко мне подошёл какой-то, неизвестно откуда взявшийся на территории части, нехорошо улыбнулся и ткнул меня под ложечку. Сержант отогнал его, шутливо помахав автоматом. Оказалось, что они чуть ли не друзья. Наверное, это был кто-

то из местной чеченской администрации.

По христианским понятиям я должен был любить и этого зачем-то ударившего меня уroda, и сержанта, у которого хая поперёк себя была ширше, и который тоже не раз оскорблял меня и бил на протяжении последних дней. Я носил под формой крест, и это поощрялось, но простить я их не мог, как ни упрасивал самого себя. Может быть, мне не хотелось их немедленно убить, но если бы они вдруг упали рядом бездыханными, я бы только вздохнул с облегчением. И таких людей, т.е. таких, которым я тайно желал смерти, здесь было почти большинство.

Какое же я право после этого всего имел на что-то рассчитывать? «Не судите, да не судимы будете». Но я судил в сердце своём, ещё как судил.

Тот самый сержант в самых общих чертах указал мне, как и куда я должен добратся, как вести себя, когда доберусь, и кого спросить. На самом деле, этот сюжет до смешного напоминал сюжет сказки «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Но мне почему-то было не смешно.

Хорошо ещё, меня не послали ночью. Такое, говорят, тоже случается. Это уж была бы наверно верная смерть. Хотя, кто мне мог помешать отсидеться в каком-нибудь тихом месте до утра? Мозги надо иметь!

Я вышел утром, мне даже дали позавтракать и масло не отняли. Всё-таки, став потенциальной жертвой, я ощутил к себе некоторое почтение. На прощание сержант, правда, дал

мне пинка, но сказал, что это такой обычай. Что-то вроде пожелания «ни пуха ни пера». Вот он-то, похоже, не так уж и сильно желает мне смерти. Хотелось мне огрызнуться – ну, стукнуть его хотя бы новым ботинком в коленную чашечку. Я всё равно ухожу и не знаю, вернусь ли, это делало меня смелым. Но я сдержался, быть может, зря. Но сержант, в конце концов, был наш и тоже, может быть, когда-то ходил за местной «менструацией».

Тропинка вела через открытое поле, на котором так давно ничего не сеяли кроме металла, что можно было уже говорить об образовании новейшего слоя полезных ископаемых. Я старался смотреть под ноги и не отвлекаться на красивые цветы. Какой-нибудь необычный цветок вполне мог соответствовать смертельной ловушке. У некоторых чеченцев наверняка есть поэтическое воображение, и я склонен был предполагать, что они отнюдь не всегда ловят дичь на старые кошельки. Глупому русскому – глупая смерть, умному русскому – умная смерть, всё по справедливости.

И поскольку со своим умищем я ничего не мог поделаться, как тот продавец, похожий на Карла Маркса, из анекдота, мне оставалось быть только очень осторожным.

Но похоже, я переоценивал способности чеченцев. Они, конечно, люди поэтичные, я бы даже сказал, душевные, но ленивые. Вот в этом они даже нас, русских, превосходят. Может быть, потому-то так долго и тянется эта война.

Испытывая судьбу, я специально разглядел поближе

несколько красивых цветков. У нас такие не растут. Нигде я не обнаружил никакого подвоха и даже зашагал быстрее, но вовремя спохватился – всё же не следует терять бдительности, ни при каких обстоятельствах.

Поле-то я прошёл, а за полем была настоящая череда препятствий, развалины жилого квартала. Кто-то и когда-то построил здесь современные панельные дома, смотрелись они точно также, как где-нибудь на окраине Москвы. Вернее, смотрелись бы, потому что от них ко времени моего визита сюда мало что осталось. Можно было подумать, что эту местность специально долго приспособляли для игры в войну по-взрослому. Естественно, местные жители мешались, убраны были также окна, двери и некоторые этажи. Похоже, здесь уже никто и никогда не собирался жить, всеми как бы овладело отвращение к этому месту. Оно, наверное, толком так ни для кого и не успело стать домом. Если кто и вселился, то был взорван или расстрелян. Ещё не успели вырасти корни, как их отрубили.

Тропинка шла по пути наименьшего сопротивления, т.е. не делая большого крюка вокруг развалин, но выбирая наиболее проходимые направления. Здесь, говорят, подарки встречались даже чаще, чем на поле. Оно и понятно, растяжку, например, куда удобнее было приспособить где-нибудь у стены.

Я не встретил никого. Только одинокая, полудикого вида корова, каким-то чудом ещё не ставшая мясом, бродила на

туманном горизонте. Развалины располагали к тому, чтобы отдохнуть, полежать где-нибудь в тени. Всякое отклонение от курса опасно – это я знал. Но и сам курс чуть ли не гарантировал неприятности. Так что, выбирать было в общем-то не из чего.

Очень тщательно я стал выбирать дорогу, очень внимательно смотрел по сторонам. Не обнаружив ничего замечательного, кроме нескольких использованных шприцев и окаменевших кучек говна, я наконец решился присесть на какой-то относительно ровный кусок бетона. Это, разумеется, могло стоить мне жизни. Но на этот раз обошлось. Сидеть здесь, имея в виду некоторые запахи, было не очень приятно. Но я был благодарен судьбе и за такой отдых, последние месяцы мне вообще редко удавалось присесть. Курить было нечего и нечего было надеяться найти здесь хоть какой-нибудь приличный бычок. Я пожалел, что сержант не дал мне в дорогу котомку с какими-нибудь пирожками, как мама Красной Шапочке, а то, может быть, передал бы кому-нибудь его другу... Горько усмехаясь, я наблюдал за пауками и ящерицами, бегающими по разогретым солнцем камням.

Наверное, зря я сел. Мною овладело безволие. Захотелось сразу и лечь. Всё равно куда, хоть на землю. Лечь и уснуть, поспать хоть немного. Говорят, что войскам при самых тяжёлых и продолжительных рейдах, специально не дают спать. Потому что если они всё-таки лягут, то потом их даже угро-

зой расстрела не подынешь. Вот и я чувствовал себя таким утомлённым не в меру солдатом. Так захотелось уснуть, что уже почти всё равно стало, проснусь я потом или нет. Не спи, замёрзнешь! Но на улице было скорее жарко, чем холодно.

И я продремал несколько минут, сидя, но с закрытыми глазами. Наверное, голова моя при этом раскачивалась, вторя ударам крови, как у какого-нибудь обдолбанного до полусмерти. И голова и тело были странно пустыми. Меня словно носил ветер, нет, ветер, словно проникал насквозь, словно меня и не было. И я не мог понять, что это – нехорошее предзнаменование или, наоборот, благословение небес. Но до ангельской лёгкости мне было далеко. Хотя макушку мою напекло и по спине под пояс стекал пот, руки и ноги оставались холодными. Меня попросту бил мандраж. Этот мандраж, правда, и не дал мне как следует уснуть. Нет худа без добра.

Что же делать? Неужели я вот сейчас встану и пойду к каким-то чеченцам, чтобы угодить самым противным личностям в роте? Да в своём ли я уме? Бежать? Это мне не раз приходило в голову. Но зачем я тогда вообще приехал сюда? Взяться за гуж – не говори, что не дюж. Ну вот, почему-то пословицы звучат очень успокаивающе. Народная мудрость. А откуда мне ещё брать мудрость?

Всё вокруг выглядело почти мирно. Нет, даже очень мирно, если не считать этих, почти сровненных с землёй, когда-то высоких домов. Но раздолбанные стройки мне прихо-

дилось наблюдать и у себя на родине. В конце концов, мало разницы. Наверное, здесь можно найти какие-нибудь осколки от снарядов, следы крови. Но мало ли вообще что можно найти в разрушенном доме? Отсюда, правда, похоже, уже всё, что можно было, унесли, если было что уносить. Один бетон, в кое-где сохранившихся мелких кафельных плитках. И почти все эти плитки разбиты. Оставшиеся стены не возвышаются почти нигде более чем на три метра, полы провалены, обнажая местами затопленные ямы подвалов. Есть только одна чудом уцелевшая стена. Отсюда даже было похоже, что это дом, только пустой и открытый сверху, как спичечный коробок. На такой верхотуре мог бы прятаться снайпер. Неужели это никому не приходило в голову?

Когда-то, вероятно, здесь действительно прятались снайперы, но одни уехали куда-нибудь в Саудовскую Аравию, других убили, третьи устали и умерли от наркотиков. Я, конечно, понимал, что кое-кто ещё мог и остаться, но мне было проще думать, что я здесь один. В конце концов, если бы кто-то хотел, то уже давно бы мог меня пристрелить. Так что, до сей поры удача была на моей стороне.

Странное любопытство потянуло меня к этой стене, к самому заметному, а потому, наверное, и самому опасному месту во всей округе. От нашей части её не было видно, но я слышал о чём-то таком. Стена пользовалась дурной репутацией, и её всегда обходили. Тропинка делала только здесь прихотливый изгиб вправо, явно не желая пользовать-

ся несколькими возможными проломами. Оно и понятно, здесь без всякой мины какой-нибудь камень мог упасть сверху.

Я насчитал целых десять этажей. Кого же здесь всё-таки, интересно, собирались селить? Или кто-то здесь всё же успел пожить? Все территории кругом смотрелись так уныло и безлюдно, что становилось совершенно непонятно, кому могло прийти в голову возводить здесь такие солидные строения? Не иначе, тоже что-то связанное с отмыванием денег. Впрочем, я в этом ничего не понимаю. Скажем так, какие-то стройки здесь по плану должны были быть, и вот они есть, пусть даже и в таком виде. Наверное, можно было показать иностранцам и сказать: «Смотрите, вот видите, мы им построили, а они сами разбомбили своё жилище». Кто его знает, может так оно и было? Но даже если бы это строительство и было каким-то чудом закончено, очень трудно предположить, откуда и каким образом в этих домах появились бы горячая и холодная вода, газ и прочие удобства. Может быть, это была своеобразная чеченская потёмкинская деревня?

Я слышал о каких-то боях, в недалёком прошлом отгремевших здесь, но никакой точной информации не имел, жил только слухами. Да и кого спрашивать? Сержанта? Он бы, пожалуй, ответил в лучшем случае оплеухой. «Не верь, не бойся, не проси» – легко сказать!

Но происхождение развалин не так волновало меня, как существование этой, уцелевшей вопреки законам вероятно-

сти, стены. Я сошёл с тропинки и дотронулся до её теплой поверхности, вскарабкался на кучу щебня и заглянул в амбразуру окна второго этажа. Ничего не взорвалось, это меня приободрило.

Вспомнились мои ребяческие, столь обыкновенные для городского мальчишки подвиги – карабканья по всяческим пожарным лестницам, трубам и балконам. Там, наверху, я, кажется, испытывал когда-то чувство, похожее на блаженство.

Нет, никогда, даже во сне, не грезилось мне, что серьёзно стану заниматься чем-нибудь вроде альпинизма. В этом смысле, я был совершенно не подготовлен. Горы, даже небольшие, утомляли меня. Но этот дом, вернее, то, что от него осталось, выглядел необъяснимо соблазнительно. Почему бы мне не попробовать подняться?

В конце концов, таким способом я смог бы хоть немного сориентироваться на местности, которая, при всей её открытости, до сей поры была для меня тёмным лесом. Должно быть, увижу оттуда и лагерь чеченцев, или что' у них там? Деревня? Мне почему-то представлялось, что они живут в шатрах и кибитках, подобно цыганам, хотя я и прекрасно знал, что это не так.

Если мне всё равно предстоит умереть, отчего бы не подпустить в этот грустный коктейль последних часов жизни немного романтики? Если меня ждёт внезапная смерть, может ли она быть хуже планомерной, вроде того, когда с тебя

заживо сдирают кожу? И ведь у меня не должно возникать никаких опасений погибнуть зря. Я в любом случае погибну зря. Только, если я погибну здесь, то погибну по собственной инициативе. Это, допустим, глупо, но не так унижительно, как если бы я изо всех сил старался выполнить задание ненавистного сержанта.

Словом, у меня были аргументы для того, чтобы начать это восхождение. Я ещё не знал, чего я смогу этим добиться при удачном исходе, но интуиция подсказывала мне, что я поступаю правильно.

Я полез. Сначала очень медленно и неуверенно, досконально прощупывая пальцами рук и мысками армейских ботинок все те щели, которые служили или могли бы послужить мне зацепками и ступенями. Стена была так основательно повреждена, что опору в ней найти было нетрудно. Наверное, какой-нибудь скалолаз-троечник запросто бы взлетел на самый верх за две минуты, если бы, конечно, его перед этим не предупредили, что могут встретиться мины. Я же карабкался без всякого спортивного интереса, но с полной отдачей, всем телом прижимаясь к стене, которая, чем выше, тем более почему-то начинала казаться мне спасительной. По временам я даже закрывал глаза, не из-за того, что боялся смотреть вниз, хотя было и это, но скорее потому, что хотел более полно выяснить для осязания всё неровности своего объекта. А может быть, мне вспомнилась сцена из фильма «Земля Санникова», где несравненный Даль ле-

зет на колокольню в завязанными глазами? Получится ли у меня? Но с кем я спорил? Играл в благородство?

Мне удалось, я и сам не ожидал, что так скоро смогу водрузиться верхом на самой верхотуре. Ноги подрагивали от остаточного напряжения, руки окостенели, а спина была окончательно мокрой. Но я долез. Приятный ветерок освежал потные виски. Я пока не решался широко открыть глаза и смотрел только сквозь щёлочки. Голова и без того кружилась, и подташнивало. Наверное, я теперь прекрасная мишень. Жаль, что у меня нет ещё с собой какого-нибудь флажка, чтобы помахать отсюда и тем и этим. Я снял пилотку и помахал, так и не раскрыв толком глаз; выстрела не последовало.

И не то чтобы я оборзел, я просто устал. Я применил довольно много сил, чтобы добраться сюда, я даже не предполагал в себе такой ловкости. Теперь дело сделано, и я могу праздновать победу. Остаётся только слезть обратно. Разве что это напрягает. Но хочется ли мне уж так спешить к чеченцам? Или к сержанту, который сказал «живым не возвращайся»? Ну и что с того, что я поскользнусь и упаду, когда буду спускаться? Может ещё даже выживу и меня комиссуют с каким-нибудь не опасным для жизни переломом? Все эти мысли успокаивали. Я даже опять чуть было не заснул, сидя на своей вышке.

Я покачнулся в полусне и потерял равновесие. Не упал, но мёртвой хваткой вцепился в бетон. Мне опять стало страш-

но, я снова жил. Я отдышался и решил спускаться.

Часть нашу я, правда, рассмотрел, а в чеченской стороне заметил какую-то деревню, наверное, идти надо было туда. Больше просто некуда, и смотреть больше было не на что. Невероятная унылость – до тошноты. Но солнышко пригревало, и ветер припахивал полынью.

Я так подробно описываю этот первый опыт, потому что потом у меня такие восхождения вошли в традицию. В тот раз мне удалось без потерь слезть на землю, дойти до чеченцев, купить у них травы и вернуться назад дотемна. Травы мне, конечно, не досталось, но весь вечер меня никто не трогал. Вероятно, выглядел я как пришибленный, до отбоя просидел в углу, а потом, дрожа, спрятался под одеяло. Но даже сержант сказал почти сочувственно, что такое бывает.

С утра всё началось по новой, т.е. оскорбления, унижения, тряпка, туалет, столовая, пинки, построения, грязь, тоска, уныние. Я хотел спросить, дадут ли мне когда-нибудь автомат, который пока удалось подержать в руках всего один раз, на присяге. Но сержант предупредил мой вопрос. «Радуйся, что пока без оружия ходишь», – сказал он. Всё-таки это был добрый человек. Считалось, что в безоружного всё же менее вероятно будут стрелять, чем в вооружённого.

Беда моя заключалась в том, что я понравился чеченцам. Может быть, этот поход к ним и стал бы первым и последним в моей жизни. Не один я был, в конце концов, в роте. И старики иногда ходили в самоволки, уж не знаю, что они

там делали. И к тому же, осенью ожидалось пополнение из нового призыва. Я, конечно, не злорадствовал, но пускай уж и они в свою очередь сходят за «менструацией». Раз уж такова армия.

Но чеченцы, звонили своим знакомым в часть, мало того, звонили прямо в штаб и зачастую сами заказывали, кого из наших служащих они хотели бы преимущественно увидеть.

Секрет моего успеха у них, вероятно, сводился к тому, что благодаря своему восхождению на стену, я на какое-то время перестал бояться. У меня, пока я лазал, выработалось столько адреналина, что он буквально затопил мозг. Я стал даже злым и наглым. Мне хватило этого заряда до самой деревни. Я, можно сказать, бежал оставшуюся часть пути и уже не смотрел себе под ноги. Бежал так, как будто нёс в руке гранату, которую намеревался бросить в амбразуру вражеского дзота.

Всё обошлось – на редкость почти без приключений. Меня угостили водкой и даже немного покормили. Выяснилось, что некоторые чеченцы даже сочувствуют молодым. Но всё равно, находясь у них, я чувствовал себя, как среди ядовитых змей, словно я в центре их клубка. Может, они и не укусят сейчас, просто настроение у них благодушное, но яд всё равно надо куда-то девать – рано или поздно они укусят. Может и без злобы – что мне от этого – легче что ли?

Я уходил от них пьяный и теперь уже не мог бежать, т.к. непременно хотел сохранить достоинство. Я шёл не спеша,

не оборачиваясь, а они гугорили на своём и смеялись мне в след. Вот так же, смеясь, кто-нибудь из них мог бы выпустить очередь мне в спину, допустим, чисто случайно. «Ай-ай-ай» бы сказал и поцокал бы языком.

Итак, я стал завсегдатаем у чеченцев, уже через две недели мне пришлось к ним идти ещё раз. И не потому, что кончилась трава или водка. Они хотели видеть меня, именно меня. Конечно, в части не обошлось без намёков на гомосексуальную тему. Но, в основном, даже старослужащие отнеслись ко мне с сочувствием. Естественно, что меня попросили кое-что принести, раз уж я всё равно туда иду.

"Если вернёшься", – сказал в заключение своей просьбы сержант и на этот раз даже не пнул меня. Может быть, не исполнив обряд, таким образом он желал мне смерти?

Не знаю, бывали ли раньше такие случаи, ну, то есть чтобы приглашали кого-то выборочно. В любом случае, это было не к добру.

Сам я только очень приблизительно мог предположить, почему удостоился такого «высочайшего» приглашения. Сначала я был одурманен адреналином, потом водкой и едой, и что-то горячо говорил. Но кажется, я всё-таки соблюдал политкорректность. Инстинктивно. Однако, наверняка речь моя была довольно скользкая, я прямо не говорил чеченцам, что я о них думаю, но намекал вполне прозрачно, хотя и вежливо. Я это умею. Так вот, не ясно было, пришлась

ли им по душе моя откровенность. Может быть, через две недели до них дошло как до жирафа и они решили меня казнить! Я лихорадочно пытался вспомнить то самое обидное для них, что я мог сказать. Но откуда я знаю, что для них самое обидное? Наверное, ещё для каждого – что-нибудь своё, они ведь тоже не единообразное стадо, во всяком случае, являются таким стадом не больше, чем наша часть. Я, кажется, много плохого говорил и об армии, и об офицерах, и о российских руководителях, конечно же опять-таки не опускаясь до того, чтобы совершенно поддакивать хозяевам стола. Может быть, эти мои филиппики хоть немного снимут с меня тяжесть вины и уравновесят справедливые, а оттого ещё более неприятные, упрёки в их адрес?

Так рассуждал я, проходя уже во второй раз по дороге через поле. Самые красивые цветы уже завяли, но смотреть под ноги всё равно было необходимо. Теперь они не только ждали, что к ним кто-то придёт, они точно знали, кого ожидать. Но если они просто подложили мне мину, это было бы слишком банально. И кто я, в конце концов, такой, чтобы на меня тратить мину? Мину можно было приберечь и для более высокого русского чина.

Однако, как я себя ни успокаивал, страх в этот раз был даже сильнее, чем в первый. Тогда я шёл в качестве случайного посыльного, не по своей воле и не по своей нужде. Теперь же всё было не случайно. А вдруг они мне предложат участвовать в какой-нибудь диверсии с их стороны? Раз уж я так не

доволен своим начальством и российским государственным устройством? От этой мысли уже от одной могло бросить в пот. Я старался самому себе признаваться в своих недостатках, но пока ещё никак не мог уличить себя в склонности к предательству. А если скажу «нет»? Может, они просто хотят проверить меня на вшивость? Чеченцы ведь тоже, говорят, ценят верных солдат. Говорят. Но когда и от кого я это слышал? Что-то не припомню. Наверное, это было на гражданской.

В принципе они считают потенциально достойным смерти любого русского, который находится на территории, которую они считают своей. И в таком простом подходе есть своя сермяжная правда. Но тогда и мы... Да, тогда и мы. Только для этого нам следует до конца проникнуться чувством, что на самом деле это *наша* территория.

Нет, я вовсе не так уж сильно хотел с ними воевать. Разумеется, когда я впервые распрощался с ними, я не стал бы возражать, если бы в доме, который я только что покинул, взорвалась хорошая бомба. Только чтобы погибли все, непременно все. Чтобы не осталось ни одного свидетеля, который потом мог, бы указать на меня. Но всё равно – свои бы выдали.

И не только логические соображения подобного рода удерживали меня от глупостей. Я быстро остывал и становился равнодушен. Пусть они здесь делают что хотят, режут друг друга, вешают... Мне-то что за дело? Мне бы только

выжить положенный срок и вернуться домой целым и невредимым. И ещё – нормального человека по-моему убийства даже в воображении скоро утомляют. А я (всё-таки) считал себя нормальным, не маньяком.

И на этот раз я добрался до развалин без приключений. Теперь я сразу же пошёл к стене и обрадовался ей как старой знакомой. Получится ли ещё раз? Я обошёл её кругом и обнаружил, что кое-где ещё сохранились остатки лестничных пролётов. Правда, выглядели они так, что, казалось, наступи и полетишь вместе с ними вниз. Непонятно было, почему они до сих пор не упали. На землетрясения что ли рассчитывали? Я не без труда отыскал место, где влезал в первый раз и, посомневавшись, начал подъём. Сердце нестерпимо билось, и мне приходилось останавливаться, чтобы хоть немного унять этот внутренний гром. По небу надо мной летали какие-то большие птицы, и я подумал, что это стервятники.

Всё опять удалось. Я пришёл в тот же дом, на этот раз гораздо раньше, и просидел там допоздна. Я хотел отговориться, что должен вернуться к разводу, но они сказали, что "всё схвачено", так что в часть мне пришлось идти в темноте и пришёл я уже после отбоя. Меня никто не ругал, удивились только, что я вообще пришёл.

Этот путь звёздной ночью тоже врезался мне в память. Чеченцы палили в воздух, провожая меня, и я все опасался, как бы они не стрельнули слишком низко. Опять-таки ни на

чём я не подорвался, даже не поскользнулся, дошёл как сомнамбула и завалился спать, не раздеваясь. Возле самой койки меня опять начал бить озноб. Это было уже что-то похожее на болезнь. Или просто на улице было холодно?

Затем был довольно значительный перерыв. Я думаю, что у чеченцев появились какие-то более важные дела. До части доходили слухи о каких-то подорванных машинах и убитых милиционерах. Знающие люди предполагали, что это дело рук моих знакомых, хотя происшествия эти имели место совсем в другом районе.

Жизнь в казарме с каждым днём становилась легче. Не то чтобы меня стали любить, но хотя бы почти оставили в покое. Может, побаивались-таки, что я спелся с врагами и могу пожаловаться им на какого-нибудь ретивого обидчика. Даже офицеры не очень-то на меня наседали, хотя я и далеко не всегда являл собой пример образцового солдата.

Я ни с кем так толком и не подружился, хотя в нашем призыве было несколько ребят, с которыми иногда можно было поговорить по душам. Однако, я заметил даже в них какое-то предубеждение. Что делать, они-то пока *туда* не ходили.

Отряд готовился к учениям. Потом были сами учения, впрочем, не особо масштабные. Я не заслужил никаких отличий, но всё-таки и не ударил в грязь лицом.

Потом пришли новобранцы. И любители помучить человеческую плоть переключились на них. К стыду своему, я не за кого не вступался. Старался только побольше спать и

не видеть всего этого безобразия. Тогда же у нас случилось первое ЧП, один солдат утонул. Конечно же никто не поверил, что эта настоящая причина его смерти. Но тело вынули из воды, из наполнившейся осенними дождями мелкой речки, которая летом полностью пересыхает. Моего «любимого» сержанта, который как раз отправлялся на дембель, попросили заодно ещё сопровождать груз 200. Оказалось, он боится покойников, чему я искренне и весело смеялся, разумеется, не в его присутствии.

Храбрящийся сержант уехал вместе с гробом, а мы остались ждать, пока ещё кто-нибудь из нас одиннадцать раз случайно упадёт на нож или попадёт под машину, что в здешних краях было почти так же трудно сделать, как утопиться.

И вот, когда я наконец успокоился, расставшись со своим непосредственным и самым неприятным начальником, когда я грешным делом подумал, что мне теперь нечего бояться, разве что меня назначат сержантом вместо него, тогда и раздался третий звонок.

Теперь я точно знал, чего от меня хотят. Я для чеченцев был чем-то вроде клоуна, бесплатное развлечение. Допустим, они искренне полагали, что все русские – говорящие обезьяны. Так вот, я для них оказался забавнее других, но обезьяной от этого быть не перестал. Просто те самые мои особенности, которые создали мне проблемы в армии, как то: некоторая враждебная надменность, открытое нежелание следовать дурацким традициям и, более всего, моя ма-

нера интеллигентно выражаться, от которой я даже путём упорных тренировок не сумел до конца избавиться, – всё это очень забавляло моих чеченских знакомых. Может быть, они прикалывались надо мной, как над каким-нибудь сатириком или экстравагантным политиком по телевизору. Хотя это уже мания величия. Но были ли у них телевизоры? А потом ещё перебои с электричеством. В общем, скучали люди. Даже трава сама по себе не помогает, нужно ещё, чтобы кто-то пошумел под траву.

Тогда меня первый раз направили из штаба. Идя по вызову в штаб, я, конечно, не ждал ничего хорошего, но очень был удивлён, когда заместитель командира высказал своё желание. За мой счёт начальство собиралось осуществить, так сказать, частичное умиротворение агрессора. Раз уж они тебя так хотят – ступай, солдатик, послужи! Надеюсь, они всё-таки не грозили ему обстрелом, но кто знает, чего ждать от пьяных и обдолбанных людей?

Теперь идти нужно было в ночь. И это было мне уже не в первой. Шёл дождь, и заботливый начальник даже распорядился, чтобы мне выдали плащ-палатку.

За воротами части было хоть глаз коли. Я перекрестился и зачавкал по грязи.

И в этот раз я решился подняться на свою стену. И хотя мне мешала плащ-палатка, а без неё мешал дождь, хотя темнота заставляла надеяться только на осязание – я всё же долез. Наверху я чувствовал себя героем и посылал оттуда май-

ору воздушные поцелуи, задницу показать остерёгся, чтобы не соскользнуть.

Спускаясь, я чуть не свернул себе шею, но удержался и только сбил ногти на правой руке. Боль почувствовал, только когда распробовал ногами верную землю. Нашёл плащ-палатку, собрался с силами и продолжил маршрут. Боль помогла мне быть злым и бесстрашным.

Я вернулся, пропьянствовав и проболтав с чеченцами всю ночь. Кормили меня почему-то бараньими глазами. Не знаю, обычная ли это для них пища, или они хотели посмотреть, как я на это среагирую, но отказываться не стал – при почти полном отсутствии мяса в части любой белок шёл в прок.

Клоун? Что ж, клоун... Но я был для них учёный клоун. Не тот, которого заставляют кукарекать или ходить на четвереньках. Им было интересно, кажется, то, как я говорю, не что', а именно как.

Хотя лица в доме менялись, некоторых я узнавал. Я старался не смотреть никуда, только в лицо, глаза. Что-то подсказывало мне, что не нужно проявлять любопытство. Лишь вскользь, углом глаза, я примечал интерьер, оружие, предметы утвари, постройки во дворе. Почему-то, когда я находился у них, в комнате всегда было полутемно. Раньше, к тому же, было и тихо, если не считать какого-нибудь собачьего лая и приглушённого детского плача. В эту же ночь где-то в углу играла негромко какая-то чеченская музыка. Впрочем, она не особенно мешала разговору, хотя и не способствовала.

Мне не предложили прилечь, хотя под утро я бы, наверное, уже даже не отказался, и вышел я оттуда совершенно обессиленный, ещё и эта музыка доканала меня. Они уже все завалились спать, хоть не стреляли вослед.

Подморозило, и в часть я возвращался по льду. «Вот и зима», – приговаривал я, стуча зубами под так и не высохшей плащ-палаткой. Один чеченец хотел её у меня отобрать, но то ли это было шутка, то ли он забыл.

Майор с тех пор заметил меня и стал относиться ко мне более лояльно. Думаю, он лелеял по моему поводу какие-то тёмные планы. Может быть, хотел свалить на меня некое должностное преступление, если таковому следовало произойти. Доказательства в суде в таком случае были бы неотразимы: «Все же знают, что он ходил к чеченцам? Вот он и продал». Слава Богу, он так и не использовал меня как карту в своей игре.

Слава Богу! Но теперь моя удача не казалось мне такой очевидной. Не без труда я сосчитал, что за всю службу ходил к чеченцам всего тринадцать раз. Не так уж много. У некоторых в части, несмотря на это, я заслужил репутацию «мальчика по вызову» и «друга собак», хотя уже довольно давно мне никто не решался высказывать это в лицо. Я, что называется, забурел. Ни в роте, ни во всём отряде у меня к последней весне почти не осталось серьёзных врагов. Но и с друзьями была проблема.

Каждый раз вызов был неожиданностью, и каждый раз, преодолевая страх, я в буквальном смысле слова лез на стену. Это помогало мне меньше, чем раньше, но и страх был меньше, уже сказывалась привычка. Хотя ни разу из этих тринадцати раз я не был уверен, что вернусь живым.

Многие поддерживали с чеченцами коммерческие отношения, но, кажется, никто не просиживал с ними столько за столом, сколько я. Однако, и они не стали мне друзьями. Я, конечно, запомнил имена некоторых из них, помнится, даже с кем-то здоровался за руку. Но, честно говоря, мне потом хотелось её отмыть. Такая же реакция, впрочем, была бы и если, скажем, наш майор пожал мне руку.

Тринадцать раз. А кажется, я бегал на развалины каждую неделю. Особенно, конечно, трудно было карабкаться на них, когда они были во льду. Я даже, развеселясь, подумывал, не заняться ли мне в самом деле на гражданке скалолазанием. Всё же опыт уже какой-никакой есть. К тому же мне здесь всё это приходилось делать без страховки и в гордом одиночестве. Если бы я упал и, переломавшись, остался живым, вряд ли бы меня кто вовремя нашёл. Сомневаюсь, что вообще стали бы искать.

В последнюю зиму меня, впрочем, не беспокоили. У чеченцев возникли какие-то серьёзные проблемы. Ходили упорные слухи, что мои знакомые вовсе куда-то переместились из этих мест. Я не очень этому верил, но с каждым днём крепла моя надежда дослужить спокойно.

В тоже время я, сам того не ожидая, пристрастился к траве и дымил с другими старослужащими когда можно и нельзя чуть ли не дни напролёт. Время, правда, от этого тянулось ещё медленнее и действительность в промежутках выглядела ещё более угрожающе.

И вот наступил час X, и меня, расслабленного дембеля, не дав мне спокойно доспать до отправки, опять дернули в штаб.

– Опять вызывают, – улыбнулся мне майор.

– Что им от меня надо?

Он лукаво пожал плечами. Потом опять улыбнулся, заметив, как у меня изменилось выражение лица. Я думаю, лицо у меня посерело. Хотя оно и без того было зелёным, от нездорового образа жизни.

«Это последний раз» – хотелось сказать мне. Но я не мог не учитывать, что за последние два месяца здесь ещё многое может измениться. Не надо дразнить гусей. А что надо? Погибать? Ну да, как и положено солдату – сам погибай, а товарища выручай. Этим-то я и занимался.

– Есть, товарищ майор, – сказал я, и он не оценил моего сарказма. Тупой всё-таки человек.

Тем временем внутри у меня образовывалась уже знакомая пустота, звенящий вакуум, немного усугублявшийся ещё не выветрившейся последней обкуркой.

Стоял март, но было уже тепло, и я решил не одеваться. Лучше быстрее добегу и легче будет лезть на стену.

На КПП я мог уже ничего никому не говорить. Дежурный боец с автоматом со смешанным чувством смотрел мне вслед. Я постарался улучшить свою выправку и зашагал чуть ли ни строевым шагом, от этого самому стало смешно. «Выстрелил бы хоть он на прощание», – подумал я.

В поле уже распустились первоцветы, пахло травой, в траве жужжали первые насекомые. Но дрейфующая в небе тучка и прохладный ветерок всё же настраивали на более тревожный лад.

Давненько меня не трогали. Неужели рассчитали, что я собираюсь на дембель, и хотят попрощаться? Нет, я никак не мог подозревать чеченцев в подобной сентиментальности. А может... Да, раз уж всё равно приходится расставаться с игрушкой, не лучше ли её... Мне вспомнился старый партизан из романа Ремарка, который стреляет в спину немцу, выпустившему его из клетки. Одним меньше...

Ну что ж, возможно это была моя последняя гастроль. Нервы стали ни к чёрту. Чем ближе к лету, тем больше надежд. Опять захотелось бежать. Этого давно не хотелось. Может, всё-таки ещё обойдётся? Может, тревога от травы? Но что-то опять-таки подсказывало мне, что на этот раз, скорее всего, не обойдётся. А я привык доверять своей интуиции.

Я был близок к панике. "Да, да, так всегда и бывает, – твердил я себе. – Всегда в последний момент. Чтобы служба мёдом не казалась..." Но почему я? А почему один утонул,

а другой отравился водкой, третий... Но если бы не я... Да, может, кому-нибудь пришлось погибать за меня. Но лучше всё-таки постараться выжить. Даже если есть один шанс из тысячи – нужно его использовать. Но оптимистическая пропаганда не проходила. Я снова чувствовал себя агнцем, самостоятельно идущем на заклание или, может быть, дисциплинированным быком, стремящимся на бойню. Мне захотелось плакать, чего тоже со мной давно не случилось, наверное, с самой гражданки. Я чувствовал слабость и пугался собственной слабости. Я ненавидел себя.

Не надо было курить траву, не надо было пить водку. Не надо было соглашаться идти в эту проклятую армию. Не надо было вообще родиться – вот что! Придя к такому выводу, я несколько повеселел.

И вот она наконец, моя спасительная стена! Я прижался к ней, как к родной и охладил разгорячённый лоб остатками облицовки. Сейчас полезем.

Сейчас. Но почему-то я никак не мог решиться. «Давненько не брали мы в руки шашек», – заговаривал я сам себя. Но разговоры не успокаивали. Я не чувствовал силы в руках, ноги хотели сказать, что они ватные. Проклятая трава! Неужели из-за неё?

Ничего, ничего, ничего. Я должен сделать это! Ещё хуже будет, если я этого не сделаю. В таком состоянии я не могу ни пойти к чеченцам, ни вернуться обратно. Меня засмеют

или расстреляют. Но чего, чего на самом деле мне надо было бояться?

Я растерялся и решил присесть, чтобы собраться с мыслями. Мне, и правда, на несколько минут полегчало, но затем я понял, что только оттягиваю время. "Перед смертью не надышишься", – сказал я себе. К тому же, сидеть было холодно, и я испугался, что у меня так закоченеют пальцы, что я не смогу цепляться. Вообще, было совсем не так тепло, как мне показалось вначале.

Я поочерёдно растёр себе мышцы на руках, поприседал и полез. Полез по уже неоднократно пройденному мною маршруту. Теперь мне даже не могло прийти в голову экспериментировать.

Ноги сами угадывали знакомые уступы и выбоины. Я даже стал торопиться, пока у меня ещё хоть что-то получалось. Я добрался уже до пятого этажа, а участок между четвёртым и пятым я сам для себя считал наиболее трудным. Я мог бы с облегчением вздохнуть, но та самая пресловутая интуиция, подсказывала мне, что это всё-таки в последний раз.

– Почему-у? – застонал я и чуть не сорвался.

Я перевёл дух. Из-под левой ноги вниз скалилось несколько камешков, вернее, даже песчинок. Я прижался щекой к стене. «Спаси меня», – хотелось сказать мне ей.

Стена молчала. Вообще кругом стояло гробовое молчание. Солнце ушло за тучу, дождь ещё не собирался, но всё было серо. Никогда, никогда я не видел здесь никого. И как

же не любят сюда ходить, ни эти, ни те. Только разве что какой-нибудь усталый наркоман поправит здоровье между Сциллой и Харибдой. Даже стервятники больше не кружили надо мной.

Мне захотелось завывать от одиночества. Но дело было ещё не сделано. Вперёд! Вернее, вверх!

Когда я оказался на своём знакомом месте верхом, меня начал бить крупный озноб. Так меня ещё никогда не било. Во всяком случае, здесь, наверху.

Всё-таки я на вершине. Достиг. И это утешает? Надо идти к проклятым чеченцам.

«А может сброситься вниз, а?» – подумал я. "Нет, это самое простое", – подумал я. Но почему не поступить просто? Что это за привычка у меня такая – всё усложнять?

Меня разозлило то, что я принялся в таком неподобающем месте читать сам себе лекции.

«Лезь назад и всё. Ишь умник!» – сказал я сам себе.

Между восьмым и седьмым этажом я почувствовал, что силы мои кончаются.

Случалось, я уставал и раньше, лазая по этой бессмысленной стене. Было и труднее, тогда зимой, когда снежинки скапывались из амбразур, а в ушах звенело от мороза. Что ж ты тогда не упал?

Но теперь в моём бессилии было что-то фатальное. Я уговаривал себя, что тринадцать раз уже пройдено, и теперь этот, четырнадцатый, не должен быть несчастным. Но, может

быть, я умер уже тогда, в тринадцатый раз? Может, я этого не заметил?

Этот странный вопрос вдруг лишил меня даже страха. А если я умер? Когда это произошло? Мало ли когда это могло произойти... Зачем же всё это тогда?

Нет, двигаться дальше я сейчас не мог. Следующий шаг вниз точно мог стоить мне жизни. Я решил забраться в ближайшее окно. Насколько я помнил, там, с другой стороны, должен был находиться выступающий вроде полочки кусок уцелевшей лестничной площадки.

Беда заключалась в том, что окно вровень с которым я оказался, было не свободно, его на половину прикрывала, свешивающаяся на единственной арматурине, бетонная глыба. Не пролезть.

Я пошатал глыбу рукой. Она подалась. Тяжёлая и может оборваться. Я попробовал протиснуться справа или слева, но глыба упорно не хотела отодвигаться ни в ту ни в другую сторону. У меня не хватало сил. Единственное, что мне осталось, – попытаться пролезть под неё.

Мне просто необходимо было передохнуть, а на это можно было надеяться, только оказавшись с противоположной стороны, на уступе.

Царапая затылок, я просунул под глыбу голову. «Голова прошла, значит и всё пройдёт», – подумал я. Но мне не на что было опереться, чтобы продвинуть в окно остальное тело. Сколько я ни искал ногой какую-нибудь щель, она со-

скальзывала.

«Ну же, последний рывок!» – умолял я себя. Висеть так уже не было никакой возможности. И я решился. Собрав все подобия сил, которые у меня ещё остались, я стал подтягиваться, одновременно стараясь вроде какого-нибудь бурава или змеи всверлиться между подоконником и нависшим куском бетона.

Ноги мои повисли в воздухе, и какие-то несколько мгновений я держался только за счёт прижавшейся а глыбе спины. Безжалостно сдирая с неё одежду и кожу, я сделал ещё рывок. У меня потемнело в глазах и, возможно, я даже на какое-то время потерял сознание, потому что вновь я осознал себя лишь уже лежащим на животе, перевалившимся через подоконник на ту сторону. Кусок бетона придавил меня, как могильный камень. Я хотел отдышаться, но дышать почти не мог, я чувствовал, как трещит мой позвоночник.

Я подумал, что умереть под этим камнем, пожалуй, было бы самым нелепым способом смерти. Мне представилось, как мой, уже оголившийся скелет, снимают оттуда военные строители при помощи крана. Я усмехнулся, и толика воздуха попала мне в лёгкие, вместе с тем я почувствовал боль в спине.

Я стал двигать всем чем мог, руками и ногами, я извивался, как недораздавленный червяк.

В конце концов, мне удалось протащить почти отнявшуюся задницу и одеревеневшие ноги через чуть было не погу-

бившую меня щель.

Я выпал на площадку, к которой так стремился и которой там могло бы и не быть. Мне удалось удержаться.

Места было очень мало, так что пришлось свернуться эмбрионом на левом боку. В правом что-то мучительно болело, наверное, было сломано ребро.

Как только я соприкоснулся с холодной плоскостью площадки, меня опять начала лупить дрожь. На стучащих зубах хрустела не то пыль, не то обсыпающаяся эмаль.

Я зажмурил глаза и закрыл их руками. Я ловил сам себя, чтобы уж слишком не содрогаться и не соскользнуть со своего узкого ложа. То, что со мной происходило, было очень похоже на агонию.

Всё-таки мне удалось совладать с собственными руками и ногами. Дрожь понемногу затихала, вернее, перешла куда-то внутрь. Она мешала мне создавать какие-либо мысли или образы.

Я, конечно, надеялся, что ещё отлежусь, что ещё соберусь с силами и спущусь отсюда вниз. Но надежда моя потеряла какое-либо словесное выражение. Я уже ничего не мог сказать себе или подумать. Я только чувствовал как кровь тысячами экспрессов бежит по моим венам и артериям, я чувствовал, как она ударяет в мозг. Между этими толчками, впрочем, ещё оставались какие-то промежутки, в которые я готовился. Когда же посылка от сердца доходила до шеи и неотвратимо наполняла мою голову кипятком, я переставал

быть способным на какие бы то ни было осмысленные действия. Раскалённое золото тысячей искр взрывалось у меня в мозгу, фонтан за фонтаном. От этого становилось даже тепло. И не больно. Тук-тук, тук-тук.

Так и лежал я, скрючившись на боку и, может быть, плакал. Но никто меня не слышал. Даже сам себя я уже больше не слышал.

2002-2003, Москва